

И. М. Савельева
А. В. Полетаев

ИСТОРИЯ И ВРЕМЯ

в поисках утраченного



«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Москва 1997

Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы и средних специальных учебных заведений готовится и издается при содействии Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках программы «Высшее образование».

Взгляды и подходы автора не обязательно совпадают с позицией программы. В особо спорных случаях альтернативная точка зрения отражается в предисловиях и послесловиях.

Редакционный совет: В. И. Бахмин, Я. М. Бергер, Е. Ю. Генеева, Г. Г. Дилигенский, В. Д. Шадриков.

Савельева И. М., Полетаев А. В.

История и время. В поисках утраченного. — М.: «Языки русской культуры», 1997. — 800 с., 1 илл.

ISBN 5-7859-0025-4

Монография является первым комплексным исследованием проблемы времени как категории исторического дискурса. История не только определяет времяположение прошлого, настоящего и будущего. Она конструирует и множество сложных временных форм: настоящее в прошлом, прошлое в настоящем, будущее в прошлом и т. д. Анализ роли темпоральных представлений в историческом сознании и историческом познании позволяет дать нетрадиционную трактовку эволюции европейской историографии и ее места в системе современных социальных наук. В книге рассматривается широкий круг тем, связанных с историческим временем, — от часов и календарей до дисциплины и аллокации времени, а также различные способы сегментации и структурирования истории: хронологические системы, концепции периодов и эпох, стадийные и циклические схемы, контрфактические и экспериментальные модели, методы декронологизации и деконструкции.

На контртитule — картина П. Брейгеля «Триумф Времени» (Нью-Йорк, Музей Метрополитен); ее описание см. на странице 10.

ББК 63

ISBN 5-7859-0025-4

© И. М. Савельева, А. В. Полетаев, 1997

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	11
Глава 1. ВРЕМЯ И МЕСТО ИСТОРИИ	15
§ 1. ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ	27
1. Классификация «по предмету»	28
2. Общество и человек	39
§ 2. МЕТОД ИСТОРИИ	43
1. Классификация «по методу»	44
2. Специфика исторического познания	57
§ 3. ВРЕМЯ ИСТОРИИ	72
1. Два образа времени	73
2. Темпоральные характеристики исторических исследований	89
§ 4. ИСТОРИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК	97
1. История и политология	99
2. История и экономическая наука	104
3. История и социология	111
4. История и психология	117
5. История и культурная антропология	125
6. История и география	128
Глава 2. ОТ ХРОНОЛОГИИ К ИСТОРИОГРАФИИ	137
§ 1. СОБЫТИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ	142
1. Событие как элемент исторического анализа	143
2. Событие и время	150
§ 2. КАЛЕНДАРНОЕ ВРЕМЯ	159
1. Календари	160
2. Календарные периоды	171
§ 3. ХРОНОЛОГИЯ	178
1. Системы ex ante	181
2. Системы ex post	185



§ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ	196
1. Концепция эпох	200
2. Новое время	212
3. Власть схемы	222
§ 5. ВЕКА И СТОЛЕТИЯ	228
1. «Время чего-либо, замечательное чем-либо»	231
2. Века-столетия	238
Приложение. «Игра в цифири»	250
Глава 3. «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ» ИЛИ «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ»	273
§ 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОРМАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА	280
1. От древности до Возрождения: история мира	285
2. Новое время: история общества	297
§ 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ И УТОПИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ	308
1. Ухронии	311
2. Прогнозы	322
§ 3. СХЕМЫ «ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ»	329
1. Выделение ядра	331
2. «Время по Гринвичу»	339
3. Синхронизация диахронии	342
Глава 4. ЦИКЛЫ И СТАДИИ	355
§ 1. МЕХАНИЗМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ	359
1. Смена поколений	360
2. «Циклы жизни»	371
3. Космические факторы	377
4. Механические модели	382
§ 2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ	387
1. От трех до тридцати	391
2. Пятьдесят—шестьдесят	400
3. Сто и больше	421
4. Проблема выбора	431

§ 3. СТАДИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	433
1. Типология стадияльных схем	438
2. «Разрывы» истории	447
3. Стадии и циклы как способы периодизации	457
Приложение. Датировки экономических циклов	467
Глава 5. ИСТОРИЯ ВРЕМЕНИ	481
§ 1. СТРУКТУРИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ	492
1. Измерение и структурирование времени	494
2. Время как ресурс: ценность и собственность	514
3. Использование времени: аллокация и дисциплина	538
§ 2. ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	566
1. Эмпирические представления	579
2. Семейные представления	584
3. Сакральные представления	593
4. Исторические представления	600
Глава 6. HISTORICUS LUDENS	617
§ 1. ИГРЫ С ПРОШЛЫМ	622
1. Историзм	624
2. Структуризация времени	636
3. Анахронизм	644
4. «Экспериментальная» история	647
5. Дехронологизация	654
§ 2. НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ	660
1. От настоящего к прошлому	664
2. Политические течения: откуда и куда?	674
3. Историческая закономерность и случайность	684
Литература	697
Указатели имен	779

Доктрина времени, наука о когда-то бывших вещах, принимает наименование исторической, так как ее изучение создает историю.

Жан Гарнье. Библиотечная система Парижской коллегии общества иезуитов, 1678 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Питер Брейгель. Триумф Времени

В центре гравюры помещена фигура Времени-отца (образ, укоренившийся в эпоху Возрождения) в виде Кроноса или Сатурна, пожирающего собственного сына. В левой руке он держит змею, кусающую свой хвост — обозначение бесконечной цикличности времени в восточных культурах. Повозка, символизирующая движение Времени, запряжена лошадьми Солнцем и Луной, а ее колесами служат мандалы, означающие «колесо времени» в буддистской мифологии.

Левая половина гравюры с осенним пейзажем изображает умирание и разрушение, весенний пейзаж в правой части отождествляется с рождением и созиданием. Одновременно река отделяет передний — сакральный — план композиции от заднего — мирского.

На переднем плане повозка Времени везет Древо жизни, растущее из шара, окруженного двенадцатью знаками Зодиака (аллегория Космоса). В качестве плодов Древа жизни справа, на цветущих ветвях, изображены механические часы с колоколом, отбивающим часы жизни, а на засохших ветвях слева — весы, которые традиционно (начиная с египетской мифологии) ассоциировались с взвешиванием душ умерших во время загробного суда. На заднем плане горящему зданию в левой части противопоставлено справа изображение элементов повседневной жизни — домов, мельниц, церкви, а также людей, танцующих в хороводе вокруг Майского шеста.

В результате движения Времени разрушается все создаваемое человеком: орудия труда, утварь, музыкальные инструменты и даже книги. За Временем следует Смерть на кляче, но завершает триумфальное шествие не она, а аллегорическая фигура Славы на мощном слоне. Как гласит последняя строфа подписи под гравюрой, из всего на свете остается одна лишь Слава, услаждающая своими звуками мир.

*Наша земля приходит в упадок;
взяточничество и коррупция процветают;
дети перестали слушаться родителей;
каждый хочет написать книгу
и конец мира уже близок.*

Папирус Присса
1 половина III тыс. до н. э.

Как известно, все люди делятся на тех, кто не стремится писать книги, и тех, кто их пишет. Сочинители, в свою очередь, либо предваряют свои книги введением, либо ограничиваются предисловием (попытки отдельных экстремистски настроенных авторов вообще не писать предисловия в большинстве случаев незамедлительно пресекаются рецензентами и редакторами). Введение создается по строгим канонам: оно содержит постановку проблемы, определяет границы и параметры исследования и, бесспорно, свидетельствует о серьезности намерений автора. Предисловие же пишется как сочинение на вольную тему и в большинстве случаев является симптомом усталости от собственного труда.

Дань «смертельной серьезности», пользуясь выражением М. Вебера, мы отдаем в первой главе, которая, кажется, отвечает всем требованиям «Введения», а здесь хотим ограничиться предисловием. Но и это не очень облегчает задачу, и остается лишь повторить вслед за автором «Дон Кихота»: «Должен сознаться, что хотя я потратил на свою книгу немало труда, однако ж еще труднее мне было сочинить это самое предисловие, которое тебе предстоит прочесть» (*Сервантес* 1976 [1605], т. 1, с. 11).

Во введении обычно говорится о том, что можно найти в данной работе. Поэтому в предисловии мы решили написать о том, чего в нашей монографии искать не следует. На наш взгляд, это тоже может быть бесполезно для читателя.

Прежде всего, в своей книге мы не выходим за рамки обсуждения европейской концепции исторического времени. Это ни в коей мере не свидетельствует о европоцентристской позиции авторов, а определяется только пределами их компетенции. Представления об

историческом времени в иных регионах настолько отличны от европейского, что требуют другого исследования и других исследователей.

Мы пытались уйти и от обсуждения проблем философии времени. Конечно, полностью избежать его нам вряд ли удалось, но по крайней мере мы сознательно не цитировали сакраментальное изречение Св. Августина: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю» (*Августин. Исповедь... 11, XIV, 17*).

В работе отсутствует и специальный анализ социологических, экономических и культурологических темпоральных концепций. Нас преимущественно интересовали возможности разработки проблемы времени в исторической науке. И поэтому, хотя тема исследования с очевидностью имеет междисциплинарный характер, подходы к изучению времени в других социальных науках рассматриваются нами не сами по себе, а только с точки зрения их потенциального интереса для историков.

В книге нет панорамы всемирной истории, равно как и исчерпывающих обзоров литературы. Мы отнесли бы свое сочинение к жанру «теоретической истории». «Иллюстративный» материал — исторические и историографические примеры — используется лишь в той мере и в том ракурсе, в каком нам это казалось необходимым и достаточным для демонстрации многообразия возможностей темпорального подхода к истории. В этом смысле книга не традиционна.

Отсутствуют и модные ныне постмодернистские веяния, и неоправданно мало написано о постмодернизме: несмотря на все наши старания, этот «другой» остается для нас «чужим». В этом смысле книга старомодна.

Парадоксально, но в этой книге о времени нет «духа времени» (в смысле *Zeitgeist*). Во всяком случае нам так кажется, хотя выйти из своего времени никто не волен. Но речь не об этом. Здесь читатель не обнаружит примет нашего времени, озабоченности нашего времени, напряженности нашего времени, сиюминутности. Скажем прямо, в ней нет размышлений на тему о том, «куда идет Россия?». В этом смысле книга не современна.

Полагаем, что перечень отсутствующего в книге уже достаточно длинен для того, чтобы заинтересовать читателя и побудить его выяснить, что же все-таки в ней есть.

* * *

Еще в XV в. итальянский гуманист Лоренцо Валла перечислил пять важнейших условий, необходимых для ученых занятий. В начале этого списка стоят «общение с образованными людьми» и «изобилие книг». Далее следуют «удобное место», «свободное время» и, наконец, «душевный покой» (цит. по: *Баткин, 1995, с. 72*).

Мы в полной мере насладились первыми двумя условиями. В последние годы, очень нелегкие для научного сообщества в нашей стране, нам выпало удовольствие общения с коллегами по альманаху «*THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем*»: В. С. Автономовым, С. А. Афонцевым, А. В. Беляниным, Т. Б. Гвоздевой, Ю. А. Кимелевым, Э. Г. Соловьевым, А. Ф. Филипповым. Именно «труды в досуге» с этими замечательными людьми сделали возможной нашу книгу.

Что касается замысла этой работы, то он возник в беседах с Ш. Айзенштадтом, И. Уоллерстайном, а также М. А. Баргом, который, к сожалению, не дожидаясь выхода этой книги в свет.

Написав книгу о времени, мы как никто другой можем оценить труд, взятый на себя Я. М. Бергером, Т. Д. Венедиктовой, Г. Г. Дилигенским, М. М. Духановым, Г. И. Зверевой, Л. Л. Лисюткиной, Н. Б. Маньковской, Л. П. Репиной, В. Г. Федотовой и Б. М. Шпотовым, равно как и коллегами по «*THESIS'у*». Время, потраченное ими на чтение и рецензирование нашей работы, они, конечно же, могли использовать с гораздо большей пользой для себя. Но ценность сделанных ими советов и замечаний для нас была необычайно высока.

Второе условие — изобилие книг — настолько, насколько это возможно, обеспечивала нам библиотека ИНИОН РАН, сотрудникам которой, остающимся хранителями духа «старого ФБОНа», мы тоже хотим выразить нашу сердечную благодарность.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВРЕМЯ И МЕСТО ИСТОРИИ

— Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синееет, и все, что за лесом, все мое.

Н. В. Гоголь. Мертвые души.

История поисков места для истории в общей системе знаний восходит к древнегреческим авторам. Общества, начиная с древних, приписывали истории целый ряд важных задач, связанных с культурно-политическими функциями, функциями накопления и обобщения социального опыта. Но несмотря на столь важную роль, вплоть до конца XVI в. история, как ни странно, вообще не рассматривалась в качестве самостоятельной области знания.

В XVII—XVIII вв., в эпоху главенства естественнонаучного подхода, история по-прежнему оставалась вне науки (к которой относились лишь естественные дисциплины), но за пределами естествоведения и философии занимала господствующие позиции.

В XIX в., когда стали формироваться социальные науки (экономика, социология, психология, политология, антропология), их многоголосие заглушило партию истории, и в то время у многих возникло впечатление, что история как наука не состоится, что она лишилась монополии на предмет и не обрела своего метода. «В XIX в., веке науки, истории и романа, историки упорно стремились разместить свою дисциплину во владениях науки...» (Hartog 1980; цит. по: Мило 1994 [1990], с. 186), но все попытки утвердить специфику своего предмета и (или) найти собственные методы были не слишком успешными.

В 1930-е годы, когда завершился период становления большинства общественных дисциплин, выяснилось, что слухи о смерти истории оказались несколько преувеличенными. История сохранила и свою самобытность, и, в значительной мере, престиж. Но ее отношения с другими социальными науками остаются непроясненными, существуют проблемы взаимодействия, приоритетов и разделения сфер исследования.

В основе всех классификаций наук — от Платона до наших дней — лежали два принципа: классификация *по предмету* и *по методу*. При этом история не вполне укладывалась в классификационные схемы, основанные на этих двух принципах членения. В результате ее либо вообще «истребляли» как самостоятельную область знания или научную дисциплину (начиная с Эпикура и кончая позитивистами XIX в.), либо, наоборот, включали в нее почти все мыслимые науки, в том числе и естественные (как это делали, например, Ф. Бэкон и Д. Дидро). Аналогичные проблемы возникали даже при сужении предмета истории до сферы изучения общества — она или вообще выпадала из классификационных схем, или начинала занимать в них непропорционально большое место.

Правда, авторами подавляющего большинства концепций и схем, определявших место истории в системе знания, были философы, а не историки. Между тем гораздо более интересной (и менее разработанной) является проблема самоидентификации истории. Но историки, в большинстве своем, предпочитают уклоняться от обсуждения этой темы.

На наш взгляд, сложности с определением места истории в системе научного и тем более общего знания состоят в том, что наряду с классификацией по предмету и методу науки могут (и должны) классифицироваться *по времени*, к которому принадлежит объект их изучения, — прошлому, настоящему и, вообще говоря, будущему (хотя в настоящий момент науки о будущем фактически не существуют в самостоятельном виде).

Идея о том, что прошлое тем или иным образом вплетено в природу исторического познания, достаточно банальна для рефлексий по поводу истории. Очень часто само «прошлое» определяют как объект истории: «Поскольку предметом истории как теоретического построения является прошлое — отделенное от настоящего и будущего — то время, во всяком случае, принадлежит к важнейшим ее понятиям» (Зиммель 1996 [1917], с. 517). Или: «Историей называют нынче науку, которая всесторонне изучает прошлое человечества...» (Дьяков 1974, с. 11) и т. п.

Другая распространенная позиция сводится к ассоциированию истории с изучением самого времени. Например, еще в эпоху античности историка называли *translator temporis* (передатчиком времени). И еще совсем недавно выдающийся французский историк Ф. Бродель упрекал представителей других социальных наук в том, что

они «проявляют склонность игнорировать как труды историков, так и тот специфический объект социальной реальности, который лучше всего изучается историей... Этим аспектом оказывается социальное время, сложное, противоречивое человеческое время, составляющее материю прошлого и саму структуру современной социальной жизни» (Бродель 1977 [1958], с. 117).

Но, как справедливо заметил известный английский социолог Э. Гидденс, «историки могут рассматриваться как специалисты в области времени не в большей степени, чем географы могут рассматриваться как специалисты в области пространства. Эти обычно применяемые дисциплинарные различия свидетельствуют лишь о подавлении времени и пространства в социальной теории» (Giddens 1981, p. 353). Историки изучают не «прошлое» и не «время», а некий объект в прошлом (общество, его подсистемы, индивида). Именно этим история отличается от социальных наук, которые, условно говоря, занимаются анализом *настоящего*, подразумевая под этим разработку теоретических схем, моделей, категорий и понятий, способствующих пониманию существующего ныне общества и современного человека.

Как ни удивительно, это различие до сих пор практически не акцентировалось в научной литературе. Нам удалось найти лишь одно высказывание такого рода: «Разделение „сфер влияния“ между историей и конкретной социологией... проходит по той подвижной линии, которая отделяет прошлое от настоящего. Конечно, здесь... много точек соприкосновения и даже прямого совпадения; настоящее ежечасно, ежеминутно переходит в прошлое, и данные конкретных социологических исследований быстро становятся историческими источниками» (Гулыга 1969, с. 28 сн.). Правда, А. Гулыга, которому принадлежит эта формулировка, говорил лишь о водоразделе между историей и конкретной социологией, да и то в сноске, но общая идея созвучна предлагаемому нами подходу.

Разделение труда в современной науке сложилось так, что на плечи историков лег комплексный анализ обществ, отличных от современного. Как отметил французский историк М. де Серто, историографический дискурс конструируется как *познание другого*. «... Прошлое в первую очередь связано с *репрезентацией различия*. Производимая историком операция состоит в определении того, что именно, в соответствии с современными установлениями, отличается от своего „другого“ (прошлого), в предположении о наличии дистанции, отде-

ляющей нынешнюю ситуацию <от прошлого>, и тем самым в маркировании посредством дискурса значимых изменений, обуславливающих эту дистанцированность. Эта операция имеет двойной смысл. С одной стороны, она историзирует настоящее время. Точнее говоря, она позиционирует настоящее время переживаемого момента... Но, с другой стороны, образ прошлого сохраняет свою первичную функцию репрезентации *утраченного*... Таким образом, история всегда амбивалентна: установление места прошлого в равной мере является формой *выделения места для будущего*» (Certeau 1988 [1975], p. 85).

Тем самым определяется граница между настоящим и прошлым: к настоящему, т. е. предмету специализированных общественных наук, относится та часть прошлого, когда общество было похоже на сегодняшнее, и поэтому к нему применимы схемы, модели, теории и концепции, созданные для анализа современности. Ясно, что эта граница условна и размыта; по отдельным дисциплинам и даже внутри каждой из них грань между прошлым и настоящим может сильно колебаться: например, в экономической науке аппарат производственных функций пригоден даже для второй половины XVIII в., а, скажем, портфельная теория финансовых активов — лишь начиная с 30-х годов нашего века.

Надо сказать, что социальные науки далеко не сразу определились как дисциплины, которые преимущественно концентрируются на изучении настоящего, — так, на начальном этапе крупные работы по исторической социологии не были исключением, каковым они стали впоследствии. Причина заключалась не только в том, что социология проходила некий этап самоопределения и еще не сделала окончательного выбора. Дело и в некоторых характерных для XIX в. обобщениях относительно возможности разработки универсальных или «естественных» законов, пригодных для «всех времен и народов». Естественнаучная парадигма, идущая от О. Конта, толкала социологов к определению всеобщих законов развития общества. Эволюционный подход, связанный с признанием социальной динамики, также ориентировал на поиски *законов* — в данном случае законов развития, законов перехода от одной общественной системы к другой. Но затем по целому ряду причин социологи охладели к истории, а если и обращались к ней, то, за редкими исключениями типа М. Вебера и Н. Элиаса, делали это столь неумело, что ничего кроме раздражения у историков это вызвать не могло.

То же самое можно было наблюдать, скажем, в экономической науке: если в работах Адама Смита, Томаса Мальтуса, Карла Маркса и многих других экономистов XVIII—XIX вв. исторический анализ был неотъемлемым элементом теоретических построений, то в XX в. экономическая теория стала все больше пренебрегать историей. Сказанное справедливо и по отношению к другим социальным дисциплинам. Выработка ими самостоятельного категориального и теоретического аппарата, отказ от некогда модного «исторического» подхода и обращение к методам структурно-функционального анализа в некотором смысле отрезало их от прошлого. Как справедливо заметил американский историк Л. Стоун, ни одна группа представителей социальных наук не интересуется серьезно ни фактами, ни интерпретацией изменений, если они происходили в прошлом (Stone 1987, p. 9).

Однако мы не можем согласиться с распространенным мнением, будто бы историк лишь транспортирует в прошлое проблемы, которыми применительно к современному обществу занимаются представители других социальных наук (Bobinska 1967, S. 85—86). Дело в том, что теории общественной жизни применимы только к определенному историческому периоду и адекватны только ему. А. Гулыга верно заметил, что «каждая область человеческой деятельности имеет свое прошлое, свои закономерности развития, а следовательно, и свою историю» (Гулыга 1969, с. 27), добавим к этому еще: и свою теорию. В общественных науках не существует «теории вообще», не привязанной к времени и пространству. Даже самые формальные экономические модели исходят из некоей реальности, существующей в определенное время и в определенных странах¹.

Вопрос о том, насколько оправдана предлагаемая нами точка зрения, решать читателю. Существует и противоположная позиция, сформулированная Э. Гидденсом. Он считает, что социальную науку нельзя рассматривать ни как обобщения вне времени и пространства,

¹ Заметим, что описанная ситуация относится прежде всего к общественным наукам, предмет которых подвержен существенным изменениям во времени. Для наук о живой природе эта проблема выражена гораздо слабее, поскольку скорость изменений в природе относительно невелика по сравнению с обществом, как социальным организмом, и с изучением эволюции здесь вполне справляются такие науки, как палеозоология и палеоботаника. Наконец, для неживой природы, где скорость изменений еще меньше, анализ прошлых состояний предмета изучения той или иной науки уже не требует специальных дисциплин и решается непосредственно в рамках астрономии, геологии и т. д.

ни как науку о настоящем. На вопрос о том, что тогда отличает ее от истории, Э. Гидденс отвечает так: «Думаю, что, вслед за Дюркгеймом (хотя он пришел к этому выводу другим путем), мы должны ответить: ничто, что можно было бы сформулировать в концептуально целостной форме. Если и существуют различия между социальной наукой и историей, то только в области разделения труда, логических или методологических схизм. Историки, которые специализируются в области текстов, языков или „периодов“, несвободны от концепций и дилемм социальной теории. Историческое исследование является социальным исследованием, и наоборот» (Giddens 1981, p. 358).

Нам представляется, что, думая так, Гидденс выдает желаемое за действительное и в реальности дело обстоит иначе. Социальные науки и история неразличимы лишь в идеале, и Гидденс, таким образом, предлагает нормативную теорию, объясняющую, как должно было бы быть. Подобную нормативную установку формулирует, например, и австрийский историк Р. Зидер, справедливо полагающий, что *если* социология, этнология, политология и другие социальные науки будут учитывать исторический характер объектов своих исследований, то возникнет высокоспециализированная и в то же время высокоинтегрированная «историческая социальная наука», способная интерпретировать, систематизировать, квантифицировать, рассказывать и объяснять (Зидер 1993 [1990], с. 178).

Мы, со своей стороны, предлагаем концепцию дескриптивную, описывающую реальное, сегодняшнее положение истории в системе социальных наук. Если вдуматься, сфера действия и применимости большинства современных экономических, социологических, политологических концепций не превышает 100—150 лет (а во многих случаях много меньше). Все, что находится за пределами этого периода, требует иного теоретического и категориального аппарата, на создание которого обществоведы, как правило, просто не имеют времени (или желания, т. е. это явно не вписывается в ту часть науки, которая ценится их сообществом и оплачивается властью предержащими).

Ясно, например, что для анализа экономики XVIII в., не говоря уже о более отдаленных периодах, кроме самых общих понятий — производство, потребление, цена и т. д. — практически ничего из экономической теории XX в. использовать невозможно, будь то эффект реальных кассовых остатков, равновесие IS—LM, а тем паче изыски последних десятилетий типа теории реального делового цикла или концепции «состязательных рынков» (contestable markets).

Поскольку по мере углубления в прошлое современный теоретический аппарат становится все менее пригодным для анализа менявшегося общества, то, начиная с какого-то момента, для теоретического анализа исчезнувшей реальности надо разрабатывать другие схемы, модели и концепции². Очевидно, что эту функцию тоже должны выполнять историки.

Таким образом, историческое знание оказывается не одной наукой, а системой наук, точнее даже множеством систем, каждая из которых соответствует какому-либо типу общества из существовавших в прошлом. Условно говоря, в идеале, например, для эпохи Просвещения должны существовать своя социология, экономическая наука, политология и т. д. Или по-другому: должны существовать социология эпохи Просвещения, Возрождения, позднего Средневековья, раннего Средневековья и т. д.

Общественные науки (экономика, социология, политология) обычно трактуются как анализирующие, но лишь благодаря тому, что функция сбора и систематизации информации вынесена за рамки «чистой» науки или играет в науке вспомогательную роль, которую берет на себя «младший научный персонал». В основном первичным сбором и обработкой экономической, социальной, политической и т. д. информации занимаются государственные статистические ведомства, центры, проводящие социологические опросы, наконец, журналисты и информационные агентства. Но все это относится лишь к существующей, сегодняшней реальности — для прошлого эту работу должны выполнять историки (в этом смысле популярная историческая литература представляет собой не что иное, как журналистику, опрокинутую в прошлое, — яркое, красочное, доходчивое описание происходивших когда-то событий).

Так или иначе, для каждой из «теоретических» наук, относящихся к прошлому, должна быть создана эмпирическая «подклад-

² Применительно к экономике эту идею развивали представители немецкой историко-экономической школы XIX — начала XX в. (К. Бюхер, А. Шпитгоф и др.), считавшие необходимой разработку специальных экономических теорий для каждой «хозяйственной стадии» или «хозяйственного стиля». Такие теоретические концепции, привязанные к тому или иному историческому периоду, они именовали «наглядными теориями» в противоположность «вневременной» или «формальной» теории хозяйства, которая должна объяснять явления, не подверженные историческим изменениям. Этот подход представляется нам вполне разумным, хотя он часто подвергается критике (см., например: Ойкен 1996 [1940], с. 89—91).

ка» в виде соответствующих описательных дисциплин — например, экономической статистики, фактов политической жизни, данных о психологическом поведении и т. д.

Ясно, что эта идеальная картина (а нечто подобное и имеет в виду Э. Гидденс) не будет реализована ни при каких условиях — человечество просто не может позволить себе роскошь тратить столько ресурсов на изучение исчезнувших реальностей. «Зачем возвращаться к прошлому, к этой обедненной, заброшенной, схематизированной, погруженной в молчание стране? Не мертво ли это прошлое и действительно ли его следует реконструировать?...» — с обидой за ремесло историка вопрошал Ф. Бродель (*Бродель* 1977 [1958], с. 131). Вследствие низкой общественной приоритетности изучения прошлого, относительно немногочисленному сообществу историков приходится заниматься огромным количеством научных дисциплин, располагая для этого совершенно неадекватными ресурсами. Последнее обстоятельство обычно проходит мимо внимания тех, кто определяет сферу интересов исторической науки.

Историки вынуждены заниматься не только сбором данных, но и разработкой теории (экономической, политической, социальной, психологического поведения) применительно к обществам, существовавшим раньше и сильно отличавшимся от нынешнего³. В какой-то мере это напоминает антропологию, если не считать того, что антропологи имеют дело с очень простыми обществами (в которых фактически отсутствует экономическая и политическая система, а социальные отношения строго регламентированы). Понятно, что в силу объективных причин историки не в состоянии справиться с анализом прошлых обществ на столь же высоком теоретическом уровне, на каком работают представители социальных наук, сосредоточенные на познании современности. Не говоря уже о том, что огромные усилия приходится тратить просто на сбор материала, в идеале нужно овладеть теориями других общественных наук и, отталкиваясь от них, создать новые. Добавьте сюда географические различия и необходимость их учета при теоретическом анализе прошлых типов общества (те варианты «теорий», которые связаны с географическими

³ Понимание того факта, что историческая наука должна заниматься не только описанием, но и теоретическим анализом, возникло еще в начале нашего века. Например, Н. Кареев предлагал для обозначения «описательной» истории использовать термин «историография», а для «теоретической» — термин «историология» (*Кареев* 1915).

различиями — социология арабского Востока, экономика африканских стран и т. д., также имеющих свою собственную временную структуру), и задача оказывается просто необозримой.

Даже с учетом того, что общества прошлого были несколько менее сложными, чем современное, интеллектуальных ресурсов отдельных исследователей для их изучения явно недостаточно. Это почувствовал немецкий историк В. Конце, писавший в середине нашего века: «Время одинокого историка прошло. Наступило время коллективных действий, потому что компоненты „структурного“ (хозяйство, политика, культура, социальное и т. д.) могут быть изучены только при разделении труда» (*Conze* 1956, S. 22).

Но, видимо, и в обозримом будущем задача создания «теоретической истории» не будет иметь удовлетворительного решения. Пока она решается за счет отдельных перебежчиков из стана экономистов, социологов и т. д., которые, став специалистами в своей области, начинают интересоваться историей (обычно это происходит ближе к пенсии). Столь же немногочисленны и историки, пытающиеся уже в зрелом возрасте всерьез овладеть какой-либо теоретической социальной дисциплиной. В обоих случаях человек выпадает из своего научного круга и должен начинать все сначала в другом (чуждом ему) сообществе.

Ясно, что надеяться на то, что обществоведы-теоретики станут в массовом порядке всерьез заниматься анализом прошлых обществ, отличных от нынешнего, не приходится. Вряд ли можно рассчитывать и на то, что историки начнут изучать многочисленные теории общественного устройства, чтобы затем на их основе создавать новые, адекватные иным научным задачам, — существующая система исторического образования на это явно не ориентирована (хотя некоторые сдвиги в этом направлении и происходят).

В силу нехватки людских ресурсов историк обречен на междисциплинарный, а точнее, на полидисциплинарный подход. Понимание того, что история является полидисциплинарной областью знания, мы обнаруживаем в размышлениях самых разных ученых. По существу это имел в виду Т. Н. Грановский, утверждая, что обширная сфера «наук политико-экономических должна быть пройдена историком» (*Грановский* 1986 [1849—1850], с. 9). Видимо, по той же причине Ф. Бродель история представлялась наименее дифференцированной из всех социальных наук (*Бродель* 1977 [1958], с. 116). «Историческая наука изучает социально-экономическую, обществен-

но-политическую и культурную жизнь общества во всех ее многообразных проявлениях и аспектах», — пишет В. Дьяков (Дьяков 1974, с. 11). Развернутое высказывание по этому поводу мы находим у И. Ковальченко: «Объект познания исторической науки, — пишет он, — вся совокупность явлений общественной жизни на протяжении всей истории общества. Таким образом, по сравнению с другими конкретными общественно-гуманитарными науками история выступает как наука комплексная, интегральная» (Ковальченко 1987, с. 44).

Итак, по нашему мнению, в идеале история должна представлять собой систему, точнее, даже набор *систем* общественных наук, каждая из которых соответствовала бы определенному типу прошлых обществ. Кроме того, история должна заниматься и проблемой перехода от одного типа общества к другому, от одной равновесной системы к другой. Но человеческие ресурсы, участвующие в этом предприятии, весьма и весьма ограничены, и поэтому, как нам кажется, по современным меркам система *исторических* наук еще не вышла из «дотеоретической» стадии, за которой должны следовать специализация и выделение функций сбора информации за рамки собственно науки. Достигнет ли когда-нибудь история соответствия нормативному «научному» идеалу, и нужно ли к этому стремиться? Или же стоит последовать призыву С. Утченко, который писал: «Давайте попробуем оставить историю историей. Она, пожалуй, этого заслуживает...» (Утченко 1966, с. 243).

Конечно, историческое знание со времен Геродота и Фукидида претерпело фундаментальные изменения, и предлагаемая нами концепция применима только к современной научной эпистеме, в которой существует целый ряд сложившихся социальных дисциплин, отвечающих стандартам научного знания. И методы, которые использует, разрабатывает (или должна была бы найти и применять) историческая наука для познания своего объекта, отражают (или должны отражать) состояние социального знания на данный момент. Но, как нам кажется, внесение третьей «классификационной оси» — времени — позволяет не только точнее определить место истории в системе наук, но и проследить эволюцию представлений о реальной роли истории в системе знания под нетрадиционным ракурсом.

§ 1. ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ

— Вопрос не в том, кому принадлежит Содержимое, а в том, кто имеет на него больше прав. Всякой вещи — достойный хозяин! Вы все видели Морру, и я спрашиваю: может ли она при такой внешности иметь право на Содержимое чемадана?

Туве Янссон. Шляпа Волшебника

Первоначальное значение слова «история» восходит к греческому *ιστορία*, что значит «расследование», «узнавание», «установление». Таким образом «история» отождествлялась со способом узнавания, установления подлинности событий и фактов. Однако в римской историографии это слово приобрело уже второе значение и «относилось не к способу узнавания, а к узанному и обозначало рассказ о событиях прошлого, т. е. центр тяжести был перенесен с исследования былого на повествование о нем. Вскоре „историей“ называли уже всякий рассказ о любом случае, происшествии, действительном или вымышленном» (Барг 1979, с. 29). В эпоху Возрождения возникает третий смысл понятия «история» — род литературы, специальная функция которой заключается в установлении и фиксировании *истины*. Все три способа определять и, соответственно, писать историю доказали свою состоятельность тем, что сосуществуют до настоящего времени. Но разнообразие и противоречивость способов исторического познания изначально затрудняли определение места истории в системе знания.

Вплоть до начала XX в. эта проблема решалась в рамках построения общих схем классификации знания⁴. Основы этих схем, использовавшихся в Европе более двух тысячелетий, были разработаны (как, впрочем, и многое другое) еще Платоном (428/27—348/47 до н. э.). Намеченные им подходы и лежат, по существу, в основе всех последующих представлений о классификации знаний (по крайней мере в европейской и отчасти в арабской культуре).

⁴ При анализе схем классификации знания мы в существенной степени опираемся на фактологический материал, собранный в фундаментальной работе Е. Шамурина (Шамурин 1955—1959; см. также Кедров 1961—1965).

1. Классификация «по предмету»

Первая схема была дана Платоном в виде перечня предметов или дисциплин, которым должны обучаться юноши, предназначенные быть «стражами-воинами» идеального государства, или те, кому предстоит править им (*Платон. Государство* II, 376—412; VII, 521—532). Предваряет этот список гимнастика или физическое воспитание, а собственно «научные» предметы можно разделить на две группы: 1) чтение (включая письмо), словесность и диалектика; 2) арифметика, геометрия, астрономия и музыка⁵ (сам Платон перечисляет предметы в несколько ином порядке, но позднее утвердилась именно эта последовательность).

Платоновский список из семи дисциплин получил всеобщее признание в Древнем Риме, а позднее среди христианских авторов⁶. В IV—V вв. список постепенно стандартизируется под названием «*Septem artes liberales*», что обычно переводится как «семь свободных искусств». Тогда возникает деление семи дисциплин на две группы: так называемые «*trivium*» (трехпутье), куда входили грамматика, риторика и диалектика, и «*quadrivium*» (четырепутье), включавший арифметику, геометрию, астрономию и музыку. В VI в. Флавий Магн Аврелий Кассиодор (490—583), по-видимому, одним из первых расширил платоновский список, добавив к нему три «более сложные» дисциплины — медицину, космографию и богословие.

В VII в. платоновская схема была использована в первой средневековой европейской энциклопедии — «Этимологиях» Исихора Севильского (570—636), состоявшей из двадцати книг и служившей в течение нескольких веков одним из основных сводов знаний в

⁵ Присутствие музыки в этом списке не должно вызывать удивления — речь шла, в частности, о законах гармонии, ритма и механики, что связывало музыку с астрономией. Например, Пифагор был известен не только как математик, но и как видный музыкальный теоретик, построивший систему тонов, основанную на том факте, что при уменьшении длины струны на $\frac{1}{3}$ высота извлекаемого из нее звука увеличивается на $\frac{1}{3}$.

⁶ С небольшими вариациями (в основном касавшимися порядка изучения предметов) этот список воспроизводился в работах Марка Теренция Варрона (116—27 до н. э.), Филона Александрийского (Иудеянина; 25 до н. э. — 39 н. э.), Св. Августина (354—430), Марциана Миннея Феликса Капеллы (IV — начало V в.); см.: *Шамурин* 1955—1959, т. 1, с. 40. Отличие их схем от платоновской заключалось, по существу, лишь в том, что название предмета «чтение» было изменено на «грамматику», а «словесность» — на «риторику».

средневековой Европе. В качестве «дополнительных» дисциплин Исидор ввел в список предметов медицину, право и богословие (далее в его энциклопедии следовали «прочие» области знания, от «разных вещей, расположенных по алфавиту», до географии и «орудий ухода за лошадьми»).

С VIII в. семь «изящных» или «свободных» искусств утверждаются в качестве стандарта образования в так называемых «придворных» (светских) школах, а с XII в. образуют программу университетского обучения на факультете «изящных искусств». Кроме факультета искусств, считавшегося подготовительным, в университетах обычно существовало и три «высших» факультета — богословия, медицины и права, на которые могли поступать успешно окончившие факультет искусств. В таком неизменном виде система университетского образования, а тем самым и список изучаемых предметов просуществовали вплоть до XVII в.

Другая распространенная классификация «по предмету» в сущности также шла от Платона. Дело в том, что в трудах Платона можно найти некоторые высказывания, предполагающие деление «философии», т. е. человеческого познания, на три части по видам или способам познания: познание в понятиях (диалектика), чувственное восприятие предметов окружающего мира (физика) и проявления воли и желания, служащие источником человеческих действий (этика), — эта схема была реконструирована учеником Платона Ксенократом (396—314 до н. э.).

Позднее триада «диалектика—физика—этика» была интерпретирована не в смысле метода, а в смысле предмета: диалектика как наука о чистых понятиях, т. е. о мышлении, физика как наука о чувственных ощущениях, т. е. о мире, и этика как наука о проявлениях воли и действия людей, т. е. о нравственности. Подобная интерпретация идей Платона почти одновременно появилась в Древней Греции в конце IV — начале III в. до н. э. в трудах основателей двух разных философских школ — стоицизма и эпикурейства (соответственно, у Зенона из Китиона [ок. 336—264 до н. э.] и Эпикура [341—270 до н. э.]⁷. С этого времени членение знания на логику—

⁷ Схемы стоиков и эпикурейцев, естественно, имели некоторые отличия как по форме (у Зенона платоновская «диалектика» была переименована в «логику», а у Эпикура в «канонику»), так и по содержанию (например, у Эпикура этика представляла собой учение о свободном наслаждении земными благами, у стоиков же — учение об отказе от жизненных благ).

физику—этику приобрело характер стандартного и также использовалось в течение многих столетий.

Так, в начале нашей эры учение стоиков и предлагавшаяся ими схема классификации философии привлекли римских мыслителей (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и др.). От них этот подход к делению знаний «по предмету» унаследовал Св. Августин (354—430). Затем, после нескольких столетий доминирования схемы «семи искусств», деление на логику—физику—этику вновь возрождается в XII—XIII вв. (в частности, этот подход прослеживается у Роджера Бэкона [1210—1294]). Особую популярность схема «логика—физика—этика» снискала в XVII в. — ее можно встретить, в частности, в «Своде философии» французского философа П. Гассенди (Гассенди 1966—1968 [1658], т. 1), в «Опыте о человеческом разуме» английского философа Дж. Локка (Локк 1960—1961 [1690]), который заменил «логику» на «семиотику», а также у многих других авторов.

Новую известность эта схема обрела в начале XIX в. благодаря работам Г. В. Ф. Гегеля. Во «Введении в философию (философской пропедевтике)» и в «Философии природы» Гегель изложил свою концепцию деления общей системы знаний на три части: науку логики (о бытии, сущности и понятии), философию природы (механизм, химизм и организм) и философию духа (познание субъективного, объективного и абсолютного духа) (см.: Гегель 1927 [1808—1811]; 1929—1958 [1817]).

При более детальном рассмотрении двух основных схем классификации знаний «по предмету», использовавшихся со времен античности до начала XIX в., сразу обнаруживается, что история в этих схемах почти никогда не упоминалась. Так, изредка «историю» в очень узком смысле (как разъяснение текстов древних авторов) включали в «грамматику», открывавшую список «семи изящных искусств» (например, у Филона Александрийского или у Исидора Севильского). Другим мало-мальски известным исключением из общего правила игнорирования истории в Средние века можно считать составленную в 1244—1254 гг. энциклопедию доминиканского епископа Винченца из Бове, библиотекаря Людовика IX (1226—1270). Эта энциклопедия, озаглавленная «Большое зеркало» («*Speculum majus*»), состояла из трех самостоятельных трудов: «Природного зеркала» («*Speculum naturale*»), «Научного зеркала» («*Speculum doctrinale*») и «Исторического зеркала» («*Speculum historiale*»). Тем самым исторические

знания были выделены в большой самостоятельный раздел наравне со знаниями о природе и «общими» знаниями.

Некоторые признаки изменения отношения к истории намечаются лишь в XV—XVI вв. В университетах увеличивается число «реальных» комментариев, разъясняющих смысл текстов изучаемых античных авторов, т. е. увеличивается объем сведений по истории, археологии, мифологии. Появляются крупные исторические работы, в частности «История Флоренции» Никколо Макиавелли (Макиавелли 1973 [1532]).

В трудах Лоренцо Валлы (1407—1457) и других итальянских авторов эпохи Возрождения филология начинает трактоваться в широком смысле и часто включает в себя «науку о древностях» (следуя средневековой традиции присоединения «истории» к «грамматике»). По существу, этот же принцип использовал Анжело Полициано в своем «Панэпистемоне» (1491), включив историю в раздел «рациональной философии» наряду с грамматикой, диалектикой, риторикой и поэтикой (легко заметить, что список предметов у Полициано в этом разделе в основном совпадает с «тривиумом»).

Марио Ниццолио в работе «Об истинных принципах и истинном основании философствования против псевдофилософов» (1553) несколько модифицирует традиционную схему «логика—физика—этика», включая историю в «логику» и переименовывая третий раздел в «политику», сближая его по содержанию с «практической философией» Аристотеля, о которой пойдет речь чуть ниже.

В энциклопедии Рафаэля Маффеи (Рафаэля Волатерануса), вышедшей в начале XVI в., материал разделен на три тома: 1) «Географический», включая историю разных стран; 2) «Антропологический»: биографии великих людей прошлого и хронология правлений императоров; 3) «Филологический»: основы зоологии, ботаники, минералогии, общественных наук (этика, право, политика), словесные науки и математические науки (подробнее об энциклопедиях эпохи Возрождения см.: Гуковский 1932).

Но приведенные примеры были скорее исключением, чем правилом. Более того, даже в эпоху Просвещения история еще не рассматривается как самостоятельная область знания, тем более научного. По существу ей так же, как в период античности, Средних веков и Возрождения, отказано в собственном предмете. Как согласуется этот факт с достаточно высоким престижем и большой распространенностью исторических знаний? Как увязать его с огромным количеством содержащих исторические сведения произведений, от Геродота и Фукидида,

через бесчисленные средневековые хроники, летописи и «жития», до исторических исследований начала Нового времени?

Этот кажущийся парадокс на самом деле не так трудно объяснить. История была интегрирована в общую систему знаний, и сведения «о прошлом» соединялись со сведениями «о настоящем». Неразделенности исторических и «современных» знаний способствовали и некоторые особенности античного и средневекового сознания, в частности, его мифологичность (подробнее об этом см. ниже, в гл. 5). Во многих случаях прошлое сливалось с настоящим, точно так же, как реальные факты тесно переплетались с вымыслом.

Общая роль исторического знания в системе представлений, господствовавших в этот период, удачно охарактеризована французским философом М. Фуко, который отметил, что, «прилаживая человеческое время к становлению мира (нечто вроде обширной космической хронологии, как, например, у стоиков) или, напротив, простирая на каждую мельчайшую частицу природы принцип, движущий человеческой судьбой (подобие христианского Провидения), мы везде видим обширную историю, гладкую и единообразную в каждой своей точке, вовлекающую в единый сдвиг, единое низвержение или восхождение, в единое круговращение всех людей, а вместе с ними вещи, животных, живую и неживую природу... Однако это самое единство раскололось в начале XIX в. при великом перевороте западной эпистемы...» (Фуко 1994 [1966], с. 386).

В принципе потребность в новых подходах к структурированию знания, и прежде всего в вычленении собственно научного знания, стала ощущаться уже начиная с времен естественнонаучной революции XVII в.⁸ Тем не менее до начала XIX в. продолжала сохраняться известная «нерасчлененность» философского и научного знания, с одной стороны, и самой науки по дисциплинам, с другой. Едва ли не каждый крупный мыслитель был и философом, и «специалистом» в самых различных областях науки⁹. Лишь в XIX в. идущая от «предмета» традиционная схема классификации знаний «логи-

⁸ Одним из первых опытов такого рода можно считать схему Ф. Бэкона, построенную на разделении «наук о природе», «наук о человеке» и «наук о Боге» (Бэкон 1977—1978 [1623]). Но хотя Бэкон использовал термин «науки», по существу он по-прежнему следовал традиции классификации всего познания или даже мыслительной деятельности в целом.

⁹ Ярким примером сохранявшейся до начала XIX в. «нерасчлененности» знания может служить деятельность И. Канта, читавшего в Кенигсбергском университете, где он преподавал с 1755 по 1797 г., лекции по филосо-

ка—физика—этика» модифицируется и окончательно превращается в классификацию наук.

Первый вариант этой классификации был предложен А. де Сен-Симоном (Сен-Симон 1948 [1923]). Выделив из триады знаний в качестве объекта классификации «физику» как научное знание, Сен-Симон разделил «физику», т. е. «науку», на физику неорганических тел (астрономия, собственно физика и химия) и физику органических тел (физиология).

Позднее эта схема, ориентированная на классификацию «физики», сиречь «науки», была развита О. Контом, который в молодости несколько лет работал секретарем и помощником Сен-Симона. В первом томе «Курса позитивной философии», который вышел в 1830 г., Конт воспроизвел классификацию Сен-Симона, переименовав «физику органических тел» в «биологию» и добавив к списку «социальную физику» или «социологию» (см.: Конт 1899 [1830], с. 24—25).

До конца 1860-х годов контовская схема пользовалась колоссальной популярностью и неоднократно воспроизводилась многими авторами. (Милль 1914 [1843]; Спенсер 1897 [1864]). Наконец, ее почти дословно скопировал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге», заменив лишь название «социология» на «история» (но в основном сохранив при этом контовское понимание предмета данной дисциплины: Энгельс 1961 [1878]).

Как правило, в позитивистских схемах список наук был упорядочен по некоему критерию (например, степени общности), но при этом оставался качественно однородным. Эти схемы знаменовали собой апофеоз натурфилософского подхода, впервые возникшего в XVII в., в рамках которого главной целью познания в целом и научного познания в частности было познание Природы. В соответствии с этим общество и человек рассматривались как части природы, подчиняющиеся общим естественным законам. В сущности, последней

фии, истории, математике, механике, физике, географии и антропологии. Помимо всего прочего, Кант внес существенный вклад в развитие астрономии, впервые сформулировав в 1755 г. так называемую небулярную космогоническую гипотезу, которую впоследствии — независимо от него — выдвинул и развил П. Лаплас. В современной научной литературе эта концепция именуется «гипотеза Канта—Лапласа».

Точно так же О. Конт, считающийся «отцом социологии», читал в парижской Политехнической школе лекции по математике, химии и физике, и именно естественнонаучным дисциплинам посвящена основная часть его «Курса позитивной философии».

точкой натурфилософии стал выдвинутый Ч. Дарвином тезис о родстве человека и обезьяны (*Дарвин 1935—1959 [1871]*).

Господство позитивизма и соответствующих схем классификации наук оказалось весьма непродолжительным. Эти схемы, ориентированные прежде всего на естественнонаучное знание, появились как раз в период возникновения и становления новых форм познания человека и общества. Как отмечает известный американский социолог И. Уоллерстайн, новые формы познания, возникшие в XIX в., были названы социальными науками вследствие стремления придать им легитимность и уравнивать в статусе с науками естественными, ибо именно наука стала новым стандартом мыслительной деятельности, заменив собой теологию и философию, а синонимами научности стали точность выводов и верифицируемость данных (*Wallerstein 1992, р. 1—2*). Но по мере накопления знаний о человеке и обществе все настойчивее ощущалась необходимость проведения различий между естественными и социальными науками.

Как отмечалось выше, еще Ф. Бэкон в 1623 г. попытался ввести разделение наук о природе и наук о человеке, но в течение двух последующих столетий его идеи оставались фактически невостребованными. Только в начале XIX в. снова начинают предприниматься попытки отделения «духа», т. е. человека, от «природы». Едва ли не первым такую попытку предпринял английский философ И. Бентам (*Bentham 1816—1817*), разделивший онтологические науки на соматологию (науки о телесном) и пневматологию (науки о духе).

В 1834 г., т. е. вскоре после выхода в свет первого тома «Курса позитивной философии» Конта, была опубликована работа французского физика А. Ампера «Опыт по философии наук или Аналитическое изложение естественной классификации всех человеческих знаний» (*Ampère 1834*). Используя метод последовательного бинарного членения, Ампер жестко разделил естественные и общественные науки, используя для обозначения последних термин «науки о разуме» (ноологические), которые делились на науки о духе (общественном сознании) и об обществе (собственно социальные). В свою очередь науки об обществе подразделялись на этнологические и политические, и т. д.

Термин «науки о разуме» или «ноологические науки» получил достаточно широкое распространение: его использовали, например французский философ и психолог П. Жане (*Janet 1897*), российский ученый В. Вернадский и многие другие. Но гораздо большую извест-

ность получил термин «науки о духе», обязанный своим возникновением ошибке переводчика.

Дело в том, что еще Дж. С. Милль в «Системе логики» в рамках контовской схемы разделил науки на две части — науки о природе и «нравственные науки» (*moral sciences*), к которым он относил психологию (науку об индивидуальном человеке) и «этологию» (науку об обществе: *Милль 1914 [1843]*, с. 759 и далее). При переводе работы Милля на немецкий язык в 1849 г. термин «моральные науки» превратился в «науки о духе» (*Geisteswissenschaften*), и в этом виде он просуществовал до начала XX в.

В немецкоязычной литературе классификация по принципу деления на «науки о природе» и «науки о духе» приобрела особую популярность благодаря работе В. Дильтея «Введение в науки о духе» (*Dilthey 1883*). В качестве еще одного примера использования данного термина можно привести классификационную схему известного немецкого психолога и историка В. Вундта (*Вундт 1902 [1889]*).

Наконец, один из основоположников баденской философской школы Г. Риккерт предложил заменить «науки о духе» термином «науки о культуре» (*Риккерт 1911 [1889]*), и благодаря популярности неокантианства в конце XIX — начале XX в. деление на «науки о природе» и «науки о культуре» также получило широкое распространение.

Параллельно с этим в англоязычной литературе уже со второй половины XIX в. вошел в обиход термин «общественные» или «социальные науки» (*social sciences*), и в нашем столетии это обозначение стало общепринятым. Впрочем, дискуссии о классификации знаний «по предмету» на этом отнюдь не закончились — возникли проблемы с разделением общественных и гуманитарных наук, а также «наук о человеке». Одни авторы используют эти понятия как синонимы, другие жестко разделяют их, притом каждый своим, не всегда артикулируемым способом.

Например, по мнению известного французского историка Э. Ле Руа Ладюри, «вплоть до предшествующего столетия научное познание как таковое основывалось на диалоге двух культур: точных и гуманитарных наук, математики и интуиции, духа геометрии и духа изящного. Со времен Фукидида и до Мишле история являлась частью гуманитарных наук. А позднее появилась, сначала украдкой, затем открыто и демонстративно, „третья культура“ — социальные науки» (*Ле Руа Ладюри 1993 [1974]*, с. 172).

В свою очередь М. Фуко пишет о нескончаемой полемике между гуманитарными науками и науками о человеке, «причем первые неустанно притязают на обоснование вторых, а вторым приходится искать свое собственное обоснование, оправдывая свой метод и очищая свою историю от „психологизма“, „социологизма“ и „историцизма“». Вместе с тем не прекращается и другая дискуссия — «между философией, которая упрекает гуманитарные науки, ищущие собственного обоснования, в наивности, и самими гуманитарными науками, которые объявляют своей собственностью то, что некогда составляло область философии» (Фуко 1994 [1966], с. 365—366). Характеристика замечательна своей образностью, но при этом читатель должен помнить, что Фуко определяет «науки о человеке» и «гуманитарные науки» весьма специфично: к первым он относит лингвистику, биологию и экономику, а к гуманитарным наукам — психологию, социологию, а также анализ литератур и мифологий.

Что касается истории, то одна из первых попыток определить ее место как *научной* дисциплины, обладающей собственным предметом, была предпринята в масштабной работе немецкого философа В. Круга «Опыт систематической энциклопедии знаний» (Krug 1796—1797). Используя бинарный принцип последовательного членения, Круг делил науки на филологические и реальные, реальные — на позитивные (юридические и богословские) и естественные, естественные — на исторические и рациональные и т. д. В свою очередь «исторические» науки подразделялись на географические (место) и собственно исторические (время) дисциплины.

Следующая попытка выделить историю как самостоятельную дисциплину в рамках системы социальных наук принадлежала упоминавшемуся выше А. Амперу. В его классификации (Ampère 1834) история относилась к группе «этнологических» наук, куда входили также этнология, археология и религиоведение.

В конце XIX в. французский философ А. Навиль (Navelle 1888), развивая гегелевский подход к классификации «по предмету», подразделял науки на три группы: 1) «Теорематика» — «Науки о пределах возможностей или о законах» (математика, физика, химия, биология, психология, социология); 2) «История» — «Науки о реализованных возможностях или фактах» (астрономия, геология, минералогия, ботаника, зоология, история человечества); 3) «Каноника» — «Науки о возможностях, реализация которых была бы благом, или об

идеальных правилах поведения» (мораль, теория искусств, медицина, право, педагогика и т. д.)¹⁰.

В XX в. классификационные схемы постепенно стали уходить в прошлое, ибо все они напоминали, по остроумному замечанию немецкого историка И. Фогта, буллу 1493 г. «Inter caetera divini» папы Александра VI Борджиа, согласно которой через Атлантический океан был проведен условный меридиан. На запад от него все «возможные» (в смысле их открытия) земли должны были принадлежать испанцам, а на восток — португальцам. Но вскоре выяснилось неожиданное обстоятельство: если плыть как можно дальше на запад, то... попадешь на восток (см.: Утченко 1966, с. 238).

Одна из немногих запоздалых («несвоевременных») попыток построения классификационной схемы научного знания принадлежит М. Фуко (Фуко 1994 [1966]). По его мнению, область современной эпистемы представляет собой трехмерное пространство, ограниченное тремя осями (или лучами), выходящими из общей «нулевой» точки. На одной из этих осей размещаются математические и физические науки; на другой — «науки о человеке»: о языке (лингвистика), жизни (биология) и производстве (экономика); на третьей — философия. Этим трем измерениям знания соответствуют три разных метода или модели познания: 1) формализация; 2) категоризация (построение основополагающих моделей); 3) метафора (средство наглядно представить процесс). Взятые попарно, эти оси образуют три плоскости, на которых размещаются «промежуточные» или смешанные науки.

Гуманитарные науки исключены из этого эпистемологического пространства, ограниченного тремя плоскостями, — по крайней мере, их нельзя обнаружить ни в одном из трех выделенных измерений. «Но можно также сказать, что они и включены в него, поскольку именно в пробелах между этими областями знания, а точнее — в том самом

¹⁰ Навиль пытался создать синтетическую схему, учитывающую наиболее известные предшествующие классификации. В частности, его деление «по предмету» соответствует вопросам, которые ставит человеческий разум: 1) Что есть возможное; 2) Что есть реальное; 3) Что есть хорошее? Эти вопросы перекликаются с теми, которые ставил Кант при классификации знания «по методу», о которой речь пойдет ниже: 1) Что я могу знать; 2) Что я должен делать; 3) На что я смею надеяться? (см.: Гулыга 1980, с. 8). В свою очередь список наук в разделе «теорематика» у Навиля близок к контовско-спенсеровской схеме.

объеме, который очерчен этими тремя измерениями, находят свое место гуманитарные науки» (Фуко 1994 [1966], с. 366—367).

Что касается истории, то она — главная героиня романа Фуко, и он пишет ее всегда с большой буквы. «... Место ее <Истории> не среди гуманитарных наук и даже не рядом с ними; можно думать, что она вступает с ними в необычные, неопределенные, неизбежные отношения, более глубокие, нежели отношения соседства в некоем общем пространстве» (Фуко 1994 [1966], с. 385—386). «... История образует „среду“ гуманитарных наук... Каждой науке о человеке она дает опору, где та устанавливается, закрепляется и держится; она определяет временные и пространственные рамки того места в культуре, где можно оценить значение этих наук; однако вместе с тем она очерчивает их точные пределы...» (Фуко 1994 [1966], с. 389).

Здесь присутствует интуитивное ощущение того, что история не укладывается в общую классификационную схему, но рассуждения Фуко, прямо скажем, не слишком способствуют прояснению места истории в системе научного знания.

Для полноты картины можно упомянуть и предпринимаемые по сей день попытки составления «списочной» классификации наук. Замечательным современным образчиком такого подхода является перечень «Гуманитарных и социально-экономических наук» из «Классификатора направлений и специальностей высшего профессионального образования», утвержденного Государственным комитетом РФ по высшей школе, в соответствии с которым место исторической науки определено где-то между «науками» «журналистика» и «книговедение», с одной стороны, и «физическая культура» и «коммерция» — с другой.

Так или иначе, к концу XX столетия вопрос о предмете истории в системе научного знания и, в частности, о ее соотношении с общественными науками по-прежнему остается непроясненным. Характерная для современной эпистемы нечеткость междисциплинарных границ порождает, в частности, массу саркастических высказываний. «Лексика исторических исследований кишит знаками показного коленопреклонения перед загадочными письменами полубогов, — иронизирует Л. Стоун. — ...Например, автор статьи, опубликованной недавно в одном из британских исторических журналов, умудрился враз упомянуть следующие имена: Соссюр, Барт, Лиотар, Деррида, Альтюссер и Лакан из Франции; Ницше и Хайдеггер из Германии; Стэнли Фиш, Хейден Уайт и Ла Капра из Америки» (Стоун 1994, с. 168).

Но кто сказал, что историк не вправе обращаться к этим именам, а тем самым к философии, социологии, психологии, семиотике и т. д. и т. п.? Ведь для этого пока еще не требуется ни специальная лицензия, ни членство в соответствующей научной гильдии. Тем самым мы снова возвращаемся к тому, с чего начали, — к вопросу о предмете исторической науки. И этот предмет приходится определить как «общество и человек».

2. Общество и человек

Долгое время, а особенно во второй половине XIX в., основным объектом исторических исследований было общество. Но затем это понятие как обозначение предмета истории отошло на второй план, т. к. общество — очень сложный предмет исследования. Во-первых, трудно устранить путаницу различных значений слова «общество». Во-вторых, невозможно перечислить все характеристики, которые могут исчерпывающе описать общество, организацию и даже группу. В-третьих, изучение общества — это изучение структуры (модели, типа) в динамике. Размеры, сложность и объем объединений, к которым применимо понятие общества, изменяются в разные исторические периоды. Поэтому необходимо введение критериев для отнесения той или иной совокупности людей к обществу — территориальных, этнических, политических и т. д. Неизбежны также и значительные упрощения при моделировании объекта исследования. «Историки всегда будут подвергаться искушению (с моей точки зрения совершенно оправданному), — писал английский историк Э. Хобсбоум, — выбрать один из комплексов отношений как центральный и характерный для данного общества, а весь остальной материал группировать вокруг него. Так, например, сделал М. Блок, выбрав „отношения взаимозависимости“ в своем исследовании „Феодальное общество“» (Хобсбоум 1977 [1971], с. 305).

Требование целостности исторической науки, неоднократно выдвигавшееся на протяжении XX в., не было реализовано, и развитие историографии пошло другим путем. Произошло постепенное выделение отдельных подсистем — политической, экономической, социальной, культурной, психологической — в прошлых обществах, описывать и анализировать которые в целом, нерасчлененно оказалось, конечно, непосильной задачей для историков.

Структурирование предмета пока еще выражено не всегда четко — скорее в форме «преимущественно экономического», «преиму-

щественно политического» и т. д. анализа той или иной эпохи. Однако отдельные подсистемы, например, религия или культура, анализируются в достаточной степени специализированно. Все чаще самостоятельно рассматривается экономика (ее легче выделить, чем социальные процессы). В целом тенденция к специализации очевидна: как правило, мы уже имеем дело со специалистами не просто по римской истории или по Византии, но по разным подсистемам этих обществ. По крайней мере, это проявляется на уровне отдельных работ (хотя один и тот же историк пока еще нередко пишет работы и по экономике какого-либо прошлого общества, и по социальной структуре, и по культуре и т. д.).

Предмет исторических исследований модифицируется также под влиянием научной моды, определяющей приоритетность той или иной исторической тематики. Например, в последние годы макроистория (глобальная история, всеобщая история, история в целом) отступает на задний план, а микроистория выходит на авансцену (см., например: *Медик* 1994). Надо сказать, что диверсификация и специализация истории с одной стороны чрезвычайно обогатила область исторических знаний, а с другой — породила определенные проблемы. «Например, французы недавно создали масштабные труды по истории сексуальности, обоняния и чистоплотности. Однако как связать историю обоняния и чистоплотности с историей политики? Никто этого толком не знает» (*Стоун* 1994, с. 165).

Наряду с обществом столь же значимым предметом исторической науки является человек. Тема «человек в истории», будучи чрезвычайно многообразной, включает хорошо знакомую нам проблему роли личности в истории, биографии великих людей, появившиеся сравнительно недавно жизнеописания «маленького человека», многие сюжеты политической истории, истории повседневности и исторической антропологии. Человек (герой) появляется в истории очень рано, затем в классической натуралистической парадигме он изгоняется из истории, создается механистическая картина исторического процесса. «Изгнание» человека закрепляется достижениями социологии XIX в., ориентирующей историю на изучение макропроцессов. Случай и роль выдающейся личности были «свалены на обочину исследований во время поисков псевдонаучных законов истории» (*Стоун* 1994, с. 173). История личностей (но не человека) становится уделом нарративной историографии.

Теоретическая история концентрировала внимание на массах, причем последние зачастую выступали в роли категории. Отсутствие теоретического интереса к человеку объяснялось и тем, что «никакая философия, никакое мнение политического или этического характера, никакая из уже существующих эмпирических наук, никакое наблюдение над человеческим телом, никакое исследование ощущения, воображения или страстей ни в XVII, ни в XVIII веке ни разу не столкнулись с таким предметом, как человек...» (*Фуко* 1994 [1966], с. 364). Историки Просвещения, исходя из того, что человек — часть природы, а культура — лишь способ адекватной реализации природы человека, исключили для себя возможность разработать концепцию самого человека, ибо такая концепция предполагает изменчивость, а не постоянство человеческой природы. «Поэтому под именем человека или человеческой природы XVIII в. передал... некоторое очерченное извне, но пока еще пустое внутри пространство» (там же).

Между тем на рубеже XIX—XX вв. начала меняться парадигма общественнознания. Этот процесс был связан с осознанием различий природы и культуры, отличия природных объектов от социальных и появлением в связи с этим культуро-центристской исследовательской парадигмы. Понимание культуры как второй после природы онтологической реальности означало отказ от ее интерпретации как деятельности, направленной на реализацию природной сущности человека. Когда культура была открыта как особая реальность, как продукт истории и сама история человека, началось освоение пространства «под именем человек» (см.: *Федотова* 1982, с. 92).

Эпицентром создания новой научной парадигмы в последней трети XIX в. стал Венский университет. (Вообще в наше время роль научных центров и научных школ часто недооценивается. В прошлом их роль была колоссальной.) В Вене учениками К. Менгера, произведшего субъективистскую революцию в экономике, были Е. Бем-Баверк и Ф. Визер (хотя они окончили университет незадолго до того, как К. Менгер получил там кафедру); учениками Е. Бем-Баверка были Л. Мизес и Й. Шумпетер, учениками Л. Мизеса — Ф. Хайек, Г. Хаберлер, Ф. Махлуп, О. Моргенштерн (см.: *Автономов* 1993, с. 35—37). У другого профессора Венского университета, Ф. Брентано (1838—1917), основателя функциональной психологической школы, учились Э. Гуссерль и З. Фрейд, учеником Гуссерля был М. Хайдеггер, и т. д.

Новая парадигма обществознания была связана с появлением действующего (лица) (*англ.* *actor*; сам термин появился лишь в 1930-е годы и главным образом в социологии). В последней трети XIX в. происходит «субъективизация» всех общественных наук. Если в течение предшествующих ста лет обществоведы пытались найти прежде всего «объективные законы» общественного развития, действующие независимо от воли и сознания отдельных людей (что с наибольшей силой было сформулировано К. Марксом), то в последней трети XIX в. на первый план выходит человек, личность, со своим субъективным, индивидуальным сознанием¹¹. Поскольку новая качественная переориентация обществознания началась, когда предыдущая была еще в разгаре, она долго оставалась незамеченной, и этап ее становления определили *post factum*. Это не означает, конечно, что парадигма XIX в. окончательно умерла в конце прошлого столетия, — и в XX в. многие выдающиеся исследователи продолжали и продолжают работать в рамках старой парадигмы.

Но хотя надындивидуальные характеристики общества на протяжении всего XX в. продолжают привлекать внимание исследователей, индивид начинает играть доминирующую роль в общественных науках. При этом, как писал немецкий философ М. Шелер, «ни в одну историческую эпоху взгляды на *сущность и истоки человека* не были более зыбки, неопределенны и многообразны, чем в наше время... Наша эпоха оказалась за примерно десяти тысячелетнюю историю первой, когда человек стал целиком и полностью „проблематичен“, когда он больше *не знает*, что он такое; но одновременно он также *знает, что не знает* этого» (Шелер 1993 [1929], с. 132).

Парадоксально, но в то самое время, когда в социальных науках происходила «субъективистская» революция, история переключилась на изучение структур, систем и институтов (что, вероятно, тоже свидетельствует о теоретической инерционности этой дисциплины). Исторический субъект был выведен за рамки исследования или по меньшей мере нейтрализован, «что на практике привело к усилившемуся безразличию по отношению к сознанию и воле действующих лиц», к «замещению субъекта Филиппа II субъектом Фернаном Бродемом» (Мило 1994 [1990], с. 187). В структурной истории

¹¹ В этом состоит один из основных парадоксов, связанных с влиянием марксизма. Марксова теория была своего рода вершиной обществоведения конца XVIII — середины XIX вв., но именно в конце прошлого века наступил качественно новый этап в развитии социальных наук.

человек изучался как часть разных общностей. Проникновение в тайну человека предполагалось через исследование социальных целостностей. В представлении историков исторический процесс оставался «историей социально-экономических формаций и способов производства, классов и классовой борьбы, политики и общественных институтов, идеологических систем и религий, — словом, чем угодно, но только не историей человека как индивида и общественного существа» (Дилигенский 1994, с. 85).

Только в 70-е годы акцент стал смещаться от изучения социального поведения, активности человека в группе и группового менталитета к исследованию индивидуального поведения и его мотивации. Как отмечал французский историк П. Нора в 1974 г., «человек как целое — его тело, его пища, его язык, его представления, его технические орудия и способы мышления, изменяющиеся более или менее быстро, — весь этот прежде невостребованный материал стал хлебом историка» (цит. по: Стоун 1994, с. 160). Таким образом, сегодня с полным правом можно говорить о возвращении человека уже в качестве объекта научного анализа в историографию (социальная история, историческая антропология, история повседневности, микроистория, история женщин и т. д.).

§ 2. МЕТОД ИСТОРИИ

— *Итак, — продолжал Арамис, принимая в кресле такую изящную позу, словно он находился на утреннем приеме в спальне знатной дамы, — ... господин настоятель хотел бы, чтобы моя диссертация была догматической, тогда как я предпочел бы, чтобы она была умозрительной.*

Александр Дюма. Три мушкетера

Обсуждение проблемы исторического метода целесообразно начать, как и в случае с «предметом», с краткого обзора соответствующих схем классификации знания, создававшихся в течение двух с лишним тысячелетий европейской истории. При этом если родоначальником классификаций «по предмету» считается Платон, то появление классификаций «по методу» обычно связывается с именем Аристотеля (384—322 до н. э.).

Более того, некоторые исследователи, например социолог Э. Дюркгейм и антрополог М. Мосс, отдают Аристотелю приоритет в разработке самого понятия классификации. «В основе нашего понимания класса лежит идея четкого разграничения. Однако можно, вероятно, сказать, что это понимание классификации возникает не раньше, чем у Аристотеля. Аристотель — первый, кто провозгласил существование и реальность специфических различий, кто доказал... что не существует прямого перехода от одного рода к другому. Платону в гораздо меньшей степени было присуще ощущение этого различия... поскольку для него роды были в определенном смысле гомогенны и могли сводиться одни к другим посредством диалектики» (Дюркгейм, Мосс 1996 [1903], с. 7).

Идущие от Аристотеля классификации знания «по методу» можно условно разделить на два основных типа. Во-первых, знания могли различаться по характеру познания и своему целевому назначению; во-вторых, были распространены классификации по средствам познания и духовным способностям человека.

1. Классификация «по методу»

Так же как и в случае со схемой Платона, классификация Аристотеля по характеру познания и целевому назначению знания не была сформулирована в явном виде и представляет собой позднейшую реконструкцию, основанную на анализе отдельных высказываний, содержащихся в разных его работах. Согласно наиболее распространенному варианту этой схемы, вся умственная деятельность (т. е. философия) делится на три типа — теоретическую, практическую и творческую. Философия теоретическая или умозрительная включала аналитику (логику), физику и метафизику¹². Философия практическая охватывала этику, экономику и политику. Наконец, в философию творческую или изобразительную входили поэтика, риторика и искусство.

Позднее эта схема (с небольшими вариациями) неоднократно воспроизводилась в работах арабских мыслителей, в частности, в трактате «Даниш-Намэ» (Книга знания) Абу Али Ибн Сины (Авиценны)

¹² Напомним, что, вопреки распространенному заблуждению, сам Аристотель никогда не использовал термин «метафизика», обозначая обычно онтологию как «первую философию». Термин «метафизика» был введен в I в. до н. э. Андроником Родосским в качестве названия для составленного им собрания онтологических работ Аристотеля.

(ок. 980—1037). В Европе эта схема обретает популярность, начиная с XII в., в результате ознакомления европейцев с трудами арабских мыслителей и самого Аристотеля. Ее можно встретить у Гуго Сен-Викторского, автора известной в свое время энциклопедии «*Eruditio didascalorum*» (ок. 1120), и у мыслителей итальянского Возрождения (например, «Панэпистемон» [1491] Анджело Полициано).

Второй тип классификаций «по методу» был в большей мере ориентирован на различия по средствам познания и способам мышления человека. В частности, у Аристотеля же встречается подразделение духовной деятельности человека на память (воспоминание о впечатлениях, полученных на основе ощущений), воображение (представления, доставляемые чистой фантазией) и рассудок (сравнение впечатлений, полученных в прошлом на основе ощущений, с новыми ощущениями и их различение; см.: *Аристотель*. О возникновении животных).

Членение знаний по принципу «разум—память—воображение» также применялось арабскими мыслителями, в том числе Ибн Синоу в трактате «Толкование снов».

Как и предыдущая схема, этот принцип классификации через посредство арабов перенимается европейскими средневековыми мыслителями. В XII в., например, он используется Гильомом Коншским (Шартрским), в XIII в. — Роджером Бэконом, в XVI в. — испанским философом Хуаном Уарте.

Надо сказать, что история довольно долго вообще не упоминалась в классификациях знания «по методу». Впервые в качестве самостоятельной формы познания история была выделена в работе Ф. Бэкона «О достоинстве и приумножении наук» (Бэкон 1977—1978 [1623]), положившей начало качественно новому представлению об историческом знании.

Используя в качестве отправной точки деление знаний по способностям мышления (разум—память—воображение), предлагавшееся Аристотелем, Ибн Синоу, Хуаном Уарте и др., Бэкон ввел разделение знания «по методу» на науки разума («философию» или «чистую науку»), науки памяти («историю») и науки воображения («поэзию»). Бэкон также впервые в явном виде использовал матричный принцип классификации знания: как отмечалось в предыдущем разделе, «по предмету» он различал «науки о природе», «науки о человеке» и «науки о Боге». В рамках этой матричной классификации «история» (или «науки памяти») подразделялась «по предме-

ту» на естественную историю (историю природы), гражданскую историю (историю человека) и священную историю (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1.

Классификация Фрэнсиса Бэкона

Метод Предмет	Разум	Память	Воображение
Природа	Философия	Естественная история	Повествовательная поэзия
Человек	Философия человека	Гражданская история	Драматическая поэзия
Бог	Богословие	Священная история	Параболическая поэзия

Источник: Бэкон 1977—1978 [1623].

«История... имеет дело с единичными явлениями (individua), которые рассматриваются в определенных условиях места и времени... Все это имеет отношение к памяти... Поэзия... тоже говорит о единичных явлениях, но созданных с помощью воображения... Философия имеет дело не с единичными явлениями и не с чувственными впечатлениями, но с абстрактными понятиями, выведенными из них... Это полностью относится к области рассудка... Историю и опытное знание мы рассматриваем как единое понятие, точно так же как философию и науку» (Бэкон 1977—1978 [1623], с. 149—150)¹³.

Схема Ф. Бэкона получила широкую известность и использовалась многими философами XVII—XVIII вв. Она оказала огромное влияние на развитие представлений о месте исторического знания и его функциях. С одной стороны, Бэкон необычайно возвысил историю, отведя ей самое почетное место в системе познания и придав ей исключительно широкий смысл. С другой стороны, с его легкой руки «исторические науки» по существу стали синонимом «описатель-

¹³ Перевод уточнен нами. — И. С., А. П.

ных наук» или «фактографии», и это стойкое представление во многом не преодолено до сих пор.

Т. Гоббс, воспроизведший бэконовскую схему в своей известной работе «Левиафан» (Гоббс 1989—1991 [1651]), еще отчетливее подчеркнул синонимичность «истории» и «описательных наук» с одной стороны и «философии» и «теоретических наук» — с другой. «Имеются два рода знаний, — писал он, — из которых первый есть знание факта, второй — знание последовательной зависимости одного утверждения от другого. Первый род знаний есть не что иное, как ощущение и память, и является абсолютным знанием... Второй род знания называется наукой и является условным... Запись знания факта называется историей... Записями науки являются книги, содержащие доказательства последовательной зависимости одного утверждения от другого...» (Гоббс 1989—1991 [1651], с. 81—89).

Аналогичные идеи можно найти у Ж. Гарнье, профессора «позитивной теологии» и библиотекаря иезуитского колледжа Клермонта в Париже (Garnier 1678; см.: Шамурин 1955—1959, т. 1, с. 165—166), подразделявшего знания на «философию» (или собственно науку) и «историю». В системе Гарнье «история» включала, в частности, географию, хронологию, всеобщую историю, естественную историю (историю природы), искусственную историю (историю общественных институтов) и литературную (художественную) историю.

В середине XVIII в. схема Бэкона обрела новую популярность благодаря французским энциклопедистам. Д. Дидро (автор «Прспекта Энциклопедии наук, искусств и ремесел») и Ж. д'Аламбер (автор статьи «Очерк происхождения и развития наук» в первом томе «Энциклопедии», вышедшем в свет в 1751 г.) сохранили все три компонента бэконовской схемы, изменив лишь их порядок: 1) история (память), 2) философия (рассудок) и 3) поэзия (воображение; см.: д'Аламбер 1910 [1751])¹⁴. Схема Дидро и д'Аламбера получила

¹⁴ Еще одна схема такого типа, правда, уже без упоминания истории, была предложена И. Кантом в конце XVIII в. Продолжая аристотелианскую традицию, Кант выделял три «способности души» — познавательную, волевую (способность желания) и оценочную (чувство удовольствия и неудовольствия), которым ставил в соответствие три «познавательные способности» — разум, рассудок и способность суждения. Этим трем познавательным способностям и посвящены три главные работы Канта, соответственно: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788) и «Критика способности суждения» (1790), апеллирующая к «художественным потенциям человека» (см.: Гулыга 1980, с. 6—8).

широкую известность во многом благодаря необычайному успеху и популярности французской энциклопедии. Например, в России статьи Дидро и д'Аламбера, содержавшие упомянутую классификацию, были переведены и опубликованы уже в 1763 г. и после этого неоднократно переиздавались вплоть до начала XX в.

В XIX в. классификационные схемы, идущие от «метода», существенно видоизменяются. Как и в случае с «предметом», прежде всего это было связано с тем, что на смену классификации знаний или процесса познания в целом приходят классификации наук и научного знания. Эти новые схемы, сохраняя некоторые черты преемственности с двумя традиционными типами членения знаний «по методу», становятся более разнообразными и индивидуализированными. Это и понятно: классификация собственно научного знания в прошлом веке была делом сравнительно новым и допускала интенсивное экспериментирование.

Развернувшиеся в прошлом столетии дискуссии вокруг классификаций «по методу» имели еще более жаркий характер, чем дискуссии по поводу классификаций «по предмету». Самую яркую, на наш взгляд, характеристику этого явления дал поэт Осип Мандельштам. В XIX в., писал он, «все науки превратились в собственные отвлеченные и чудовищные методологии (за исключением математики). Торжество голого метода над познанием по существу было полным и исключительным, — все науки говорили о своем методе откровеннее, охотнее, более одушевленно, нежели о прямой своей деятельности. Метод определяет науку, сколько наук, столько методологий. Наиболее типична философия, на всем протяжении столетия она предпочитала ограничиваться „введениями в философию“, вводила без конца, куда-то заводила и бросала» (Мандельштам 1987 [1922], с. 81).

Существенным импульсом для возникновения дискуссий «о методе», как и дискуссий «о предмете», послужила работа О. Конта «Курс позитивной философии». В его схеме различия по методу специально не анализировались, но по существу учитывались, хотя и играли в ней второстепенную роль (см.: Конт 1899 [1830], с. 24—25). В частности, Конт делил науки на теоретические и практические, а теоретические, в свою очередь, на общие (абстрактные) и конкретные. Отнеся историю к разряду «конкретных наук», О. Конт акцентировал ее второстепенную, вспомогательную роль в научном познании.

Дальнейшее развитие эта схема получила, например, в работе известного французского математика и экономиста О. Курно «Опыт об основах наших знаний и характере философской критики» (Cournot 1912 [1851]). Наряду с делением по предмету на пять «классов», науки в схеме Курно делятся на три «ряда»: абстрактно-теоретические, конкретно-теоретические (описательные) и практические. История «по предмету» относилась к «классу» политических и исторических наук, а «по методу» — к «ряду» конкретно-теоретических (описательных).

Схемы такого типа были достаточно популярны в XIX в. (см., например: Janet 1897 и др.). Под влиянием позитивистских установок утверждалась спецификация истории как области познания конкретных фактов в противоположность «настоящей» науке, занимающейся познанием общих законов. «Историю, в которой нет имен индивидов и даже имен народов» О. Конт первый назвал социологией, считая, что эта новая наука должна начинаться с открытия фактов о жизни человека (решение этой задачи он отводил историкам), а затем переходить к поиску причинных связей между этими фактами. Социолог тем самым как бы поднимал историю до ранга науки, осмысливая научно те факты, о которых историк мыслит только эмпирически (Коллингвуд 1980 [1946], с. 123—124).

Позитивистские установки О. Конта и его последователей, требовавших, чтобы исторические факты использовались в качестве сырья для чего-то более важного и интересного, чем сами факты, разделялись не только философами, но и многими историками. Эта концептуальная граница между историками и «учеными» на практике отдаляла историков от читателей, так как исторические работы становились слишком специальными (сухими и скучными).

Заметим, что все это происходило на фоне всеобщего увлечения историей. Например, в Оксфорде в конце XIX столетия не меньше трети студентов изучали историю (Зелдин 1993 [1976], с. 156). О популярности этой науки свидетельствует повсеместное появление исторических обществ, исторических журналов, исторических музеев, публикаций обширных серий источников национальной истории, расцвет исторической научной и научно-популярной литературы, необычайный успех исторических романов, увлечение исторической тематикой в поэзии, театре, живописи. За XIX в. утверждается репутация «исторического», противопоставляемого «антиисторическому» веку Просвещения.

Историки, в большинстве своем смилившиеся с определением места исторического познания «по методу», отнюдь не смирились с навязывавшейся позитивистами трактовкой истории как второстепенной или вспомогательной научной дисциплины. Поэтому историки, считавшие вполне достаточным открывать и устанавливать факты сами по себе, в течение всего периода господства позитивистского подхода «испытывали какую-то неловкость, связанную с конечной целью всех этих скрупулезнейших исследований» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 123). «Мы должны искать методы. Ибо для исследования разных проблем требуются разные методы». Этот призыв известного немецкого историка И. Дройзена, прозвучавший в 1864 г., отражал ситуацию, сложившуюся в середине XIX в. и на много десятилетий определившую ход дальнейших дискуссий по поводу места истории в системе научного знания.

В последней четверти XIX в. начинается период антипозитивистской «контрреформации». Суть этого процесса с точки зрения интерпретации исторического познания сводилась к двум тезисам. Во-первых, история стала трактоваться не как конкретная научная дисциплина, а как иной вид познания или как целая группа научных дисциплин, характеризующихся своим собственным, специфическим методом. Во-вторых, утверждалась «инакость», а не второстепенность этого другого, по сравнению с естественнонаучным, вида познания. Легко заметить, что такой подход по существу представлял собой возврат к идеям Ф. Бэкона и французских энциклопедистов XVIII в.

Один из первых шагов в этом направлении сделал популяризатор дарвинизма Томас Хаксли (Huxley 1881), предложивший проводить различие между проспективными науками — химией, физикой (где объяснение идет от причины к следствию), и науками ретроспективными — геологией, астрономией, эволюционной биологией, историей общества (где объяснение исходит из следствия и «поднимается» до причины). Два типа наук, по его мнению, предполагают соответственно два типа причинности. Проспективные науки предлагают «достоверные» объяснения, в то время как ретроспективные (по существу исторические) науки, в том числе история общества, могут предложить лишь объяснения «вероятные».

Но особую роль в развитии рассматриваемого подхода сыграл так называемый «историцизм» (не путать с «историзмом», о котором пойдет речь в гл. 6). Историцизм возник в Германии в послед-

ней трети XIX в. как течение, противостоящее контовско-спенсеровскому «натурализму», стремившемуся превратить историю в придаток социологии с ее «объясняющими законами». Основоположителем «историцизма» был известный немецкий историк культуры и философ В. Дильтей. В работе «Введение в науки о духе» Дильтей разграничил «по предмету» мир природы и мир духовной деятельности человека, одновременно поставив им в соответствие два принципиально разных метода познания: метод «объяснения» (Erklärung) и метод «понимания» (Verstehen). Метод «объяснения», применимый в науках о природе, имеет дело с внешним опытом и связан с конструирующей деятельностью рассудка. Метод «понимания» как непосредственного постижения некоторой духовной целостности родственен интуитивному проникновению в жизнь (Dilthey 1883; см. также: Дильтей 1909; 1987).

Как отмечает П. Гайденок, «человек, по Дильтею, не имеет истории, но сам есть история, которая только и раскрывает, что он такое» (Гайденок 1991, с. 96). В соответствии с этим подходом «науки о духе» являются историческими, поскольку дух постоянно развивается и изменяется. Понимание духа невозможно вне истории его развития.

Дильтей оказал большое влияние на многих немецких мыслителей, в том числе на М. Вебера, транслировавшего идеи Дильтея в концепцию «понимающей социологии». В частности, и в вопросе о классификации наук Вебер, вслед за Дильтеем, делал акцент прежде всего на методе: «В основе деления наук лежат не „фактические“ связи „вещей“, а „мысленные“ связи проблем: там, где с помощью нового метода исследуется новая проблема и тем самым обнаруживаются истины, открывающие новые точки зрения, возникает новая „наука“» (Вебер 1990 [1904], с. 364).

В дальнейшем историцизм разделился на два основных течения — неокантианское (В. Виндельбанд, Г. Риккерт и их последователи) и неогегельянское, наиболее известными представителями которого были Б. Кроче и Р. Коллингвуд.

Отталкиваясь от упомянутой выше кантовской классификации процесса познания по «способностям души» и соответствующим им «познавательным способностям», неокантианцы распространили аксиологический подход на научное познание. В опубликованной в 1889 г. работе «Науки о природе и науки о культуре» Г. Риккерт попытался развить выдвинутую Дильтеем идею о различии между «науками о природе» и «науками о духе» (заменив последние на

«науки о культуре» (Риккерт 1911 [1889]). Риккерт свел противоположность двух типов наук к противоположности двух методов — генерализирующего и индивидуализирующего, с помощью которых трансцендентальное сознание творит соответствующую реальность, в одном случае — природу, в другом — культуру. Науки о природе (естественные науки) оперируют генерализирующим методом, приводящим к познанию общего, присущего многим однородным объектам, а науки о культуре (исторические науки) — методом, индивидуализирующим познание отдельных объектов в их конкретности.

При этом генерализирующие науки отвлекаются от всяких ценностей, кроме логических, индивидуализирующее же знание интересуется лишь теми явлениями, которые имеют прямое отношение к признаваемым людьми ценностям. По мнению Риккерта, использование процедуры генерализации в «науках о культуре» противоречило бы методу созидания «культуры», т. е. деятельности индивидуального сознания. Именно субъективный характер результатов этого творчества — «фактов культуры» — превращает каждый из них в единственный и неповторимый (Риккерт 1911 [1889], с. 209).

Другой программной работой неокантианцев стала лекция В. Виндельбанда, произнесенная им при вступлении в должность ректора Страсбургского университета в 1894 г. (Виндельбанд 1904 [1894]). Критикуя предложенную Дильтеем классификацию, идущую от «предмета» к «методу», Виндельбанд отстаивал первичность различения «по методу», разделив науки на номотетические и идиографические. Науки номотетические, т. е. преследующие цель открытия законов, противопоставлялись наукам идиографическим, цель которых заключается в описании единичного и неповторимого. «Одни из них суть науки о законах, другие — науки о событиях. Первые учат тому, что всегда имеет место, последние — тому, что было однажды» (Виндельбанд 1904 [1894], с. 319—320). Правда, отталкиваясь от «метода», Виндельбанд в конечном счете все равно приходил к делению по предмету — на естественные (в число которых попадала социология) и исторические науки.

Чуть позже Г. Риккерт в работе «Границы естественнонаучного образования понятий» попытался соединить подход Виндельбанда со своей собственной схемой, предложив более сложную классификацию (Риккерт, 1903 [1896]). Две пары методов (генерализирующие—индивидуализирующие по Риккерту и номотетические—идио-

графические по Виндельбанду) в комбинации позволяют выделить четыре типа наук: 1) номотетические и генерализирующие, или чистые естественные науки; 2) номотетические и индивидуализирующие, или квазиисторические науки о природе, такие как геология, эволюционная биология; 3) идиографические и генерализирующие, или квазинаучные исторические дисциплины (социология, экономика, юриспруденция); 4) идиографические и индивидуализирующие, или история в собственном смысле слова.

Схемы Риккерта и Виндельбанда получили широкую известность в конце XIX — начале XX в. Во многих работах они воспроизводились буквально или с небольшими вариациями. В частности, среди последователей неокантианцев можно указать на целый ряд российских философов истории начала века (см., например: Хвостов 1919 [1909]; Лаппо-Данилевский 1910).

Заметим, что в самом общем виде (не вдаваясь в нюансы каждой концепции) схемы Дильтея, Риккерта, Виндельбанда и их последователей по сути дела имели «матричную» структуру, т. е. отражали классификацию не только «по методу», но и «по предмету», хотя и в очень специфичной форме (см. табл. 1.2). В этих схемах были заполнены только две клеточки из четырех возможных, поскольку каждому предмету соответствовал свой метод.

Таблица 1.2.

Классификация В. Дильтея, Г. Риккерта и В. Виндельбанда

Метод Предмет	Объясняющий Генерализирующий Номотетический	Понимающий Индивидуализирующий Идиографический
Науки о природе	Естественные науки	—
Науки о духе (науки о культуре)	—	Исторические науки

Источники: Diltthey 1883; Риккерт 1911 [1889]; Виндельбанд 1904 [1894].

Еще дальше пошли представители так называемой неогегельянской школы историцизма — прежде всего Б. Кроче и Р. Коллингвуд. Они стали трактовать историю не как науку, а как особый вид познания, вернувшись, по существу, к «донаучным» философским классификационным схемам XVII—XVIII вв. Акцент в этом случае делался на гегелевской идее истории как развитии идеи абсолютного духа, соответственно определялось и место исторического познания. Неогегельянцы более последовательно, чем неокантианцы, отстаивали одномерную схему членения познания «по методу», перейдя от традиционной бэконовской схемы «философия—история—поэзия» к модернизированному варианту «философия—история—наука».

Правда, Б. Кроче в своих ранних работах отождествлял историю с искусством («История, подведенная под понятие искусства» 1893), но уже в статьях 1912—1913 гг. (см.: *Croce* 1915) он перенес акцент на утверждение автономности истории от философии и науки (анализ взглядов Кроче см. в: *Коллингвуд* 1980, [1946], с. 182—195). Философия по его мнению — это методология истории, а по отношению к естественным и «позитивным» (социальным) наукам история — источник научных фактов (идеи опыта и факта у Кроче синонимичны). Для Кроче вся история есть история мысли и, как таковая, не подчинена никакой закономерности: «История, как поэзия, как моральное сознание, как мысль, не имеет управляющих ею законов, подобных тем, которые человек формулирует в позитивных (т. е. социальных. — И. С., А. П.) или естественных науках» (*Croce* 1950, р. 91).

Р. Коллингвуд в работах, опубликованных между двумя мировыми войнами, и особенно в «Идее истории», вышедшей в 1946 г., уже после его смерти, также отводит историческому знанию самостоятельное место как воплощению конкретной мысли, противопоставляя его науке, выделяющей на одном полюсе абстрактно-всеобщий закон, а на другом — иррациональность единичного факта (см.: *Коллингвуд* 1980 [1946]). Как отмечает М. Киссель, Коллингвуд сближает историю с естествознанием в логико-методологическом отношении и одновременно отстаивает ее гносеологическую автономию как особой деятельности духа, основанной на априорном воображении (*Киссель* 1980, с. 454—455).

В конце XIX — начале XX в. предлагались и иные подходы к определению места исторического познания, основанные на попытке

о том, что оно представляет собой не отдельную научную дисциплину, а как минимум группу дисциплин, а то и особую область познания.

Существовали, естественно, и другие схемы деления наук «по методу». В качестве примера можно привести классификацию, предложенную В. Вундтом. В работе «О классификации наук» (1889) Вундт делил науки «по предмету» на «формальные» и «реальные», а последние, в свою очередь, на науки о природе и науки о духе. «По методу» «реальные» науки одновременно подразделялись на феноменологические, генетические (т. е. исторические) и систематические. История общества, в соответствии с этой схемой, относилась к «генетическим» наукам о духе (см.: *Вундт* 1902 [1889]).

Другая попытка определения истории как группы наук принадлежит русскому ученому Е. Чижев (Чижев 1896). С его точки зрения, «по методу» науки делятся на «науки анализа», или теоретические, «науки пространства», или географические, и «науки времени», или исторические. Одновременно Чижев делил науки «по предмету» (вещество, организмы, человек, общество и т. д., с дальнейшим дроблением). Логика Чижева состоит в том, что в каждой научной дисциплине должен присутствовать теоретический, пространственный и временной анализ. Т. е., например, в экономических науках при акценте на пространство возникает экономическая география, при акценте на время — экономическая история, при акценте на проблему — экономическая теория (политическая экономия, в терминологии Чижева).

В принципе, и после второй мировой войны многие исследователи, в том числе и вполне авторитетные, продолжали специфицировать историю по методу. Так, известный немецкий историк и социолог Р. Козеллек считает, что как наука история «не имеет собственного эпистемологического предмета исследования, напротив, она делит этот предмет с другими социальными и гуманитарными науками. Научный дискурс истории определяется только ее методами, с помощью которых она приходит к верифицируемым выводам» (*Koselleck* 1985 [1979], р. 93). Еще более категорично в «неокантианском» стиле высказывался К. Поппер: «Историк интересуется действительными единичными или специфическими событиями, а не законами и обобщениями» (*Поппер* 1993 [1957], с. 165).

Точно так же и по мнению И. Уоллерстайна, история «представляет собой изучение и объяснение частного и особенного, происшедшего в прошлом. Социальные же науки устанавливают общие

законы, объясняющие человеческое/социальное поведение» (Wallerstein 1987, p. 313). Впрочем, пятью годами позже он же утверждал, что история и универсализирующие социальные науки — это идентичные виды деятельности (Wallerstein 1992, p. 6).

Но в целом в последние десятилетия все шире распространяется понимание того, что историю нельзя специфицировать только по методу. Об этом писал, в частности, известный философ науки К. Гемпель еще в середине нашего века: «Широко распространено мнение, что в противовес так называемым физическим наукам история больше занята описанием отдельных событий прошлого, нежели поисками общих законов, которые управляют этими событиями. Как характеристика теоретической функции общих законов в научно-историческом исследовании это определение неприемлемо» (Hempel 1959, p. 346).

В начале нашего столетия увлечение проблемой классификации наук начинает постепенно идти на убыль. В 20-е — начале 30-х годов еще было предложено несколько схем (П. Оппенгейм, В. Оствальд, Р. Карнап и др. — см.: Кедров 1961—1965, т. 2, с. 169—198.), но формализованные в них *объяснения* были усложнены до пределов, выходящих за рамки *понимания*. Со второй трети нашего столетия классификационные схемы, за редкими исключениями, практически исчезают из научного оборота.

Во многом это было связано с возникновением философии науки как самостоятельного философского направления, исследующего характеристики научно-познавательной деятельности. В первой трети века существенный вклад в развитие этого направления философской мысли внесли Э. Мах, Ж. А. Пуанкаре, П. Дюэм; во второй трети — Р. Карнап, К. Гемпель, Х. Рейхенбах, К. Поппер; в последней трети — М. Полани, С. Э. Тулмин, Т. Кун, И. Лакатос, Дж. Агасси, П. Фейерабенд, У. Куайн и многие другие. Сфера интересов философов, занимающихся вопросами научного познания, кардинально изменилась по сравнению с XIX в.

Для современной философии науки характерен отказ от упрощенных классификационных схем, основанных на различении «предмета» и «метода». Сегодня стало ясно, что не существует однозначной экспликации метода, — методов много, и они по-разному сочетаются в разных науках. Методология из науки о методах превратилась в науку об активности субъекта познания. Задачи типологии, дисциплинарной организации науки отошли в сферу новой

дисциплины — науковедения — и перестали быть тождественны задачам классификации (т. е. нахождения сходства и отличия) научных дисциплин.

В свою очередь в рамках современной философии науки стал активно использоваться целый ряд принципиально новых концепций. В частности, заметную роль ныне играет предложенное И. Лакатосом понятие «исследовательской (научной) программы», включающее в себя характеристику предмета и метода исследования, общих предпосылок научной теории, способов перехода от философской системы к научным построениям (см.: Гайденко 1980, с. 10—11).

В контексте такого подхода идеи, развивавшиеся Дильтеем и неокантианцами, трансформируются в концепцию существования двух «исследовательских (научных) программ» — натуралистической и культурцентристской (см.: Федотова 1982). При этом происходит отказ от жесткого размежевания наук «по методам» «объяснения» и «понимания», они рассматриваются лишь как элементы разных исследовательских программ, каждая из которых имеет право на реализацию (и реализуется) едва ли не в любой науке (включая естественные). Проще говоря, в одной отрасли научного знания, например в социологии или экономике, может реализовываться как натуралистическая, так и культурцентристская исследовательская программа.

В соответствии с этими представлениями история не может специфицироваться «по методу» «понимания», ибо этот метод является только элементом культурцентристской научной программы, реализуемой в той или иной мере практически во всех общественных науках. Но, что еще более существенно, при таком подходе выясняется, что в историографии вообще не реализуется в целостном виде никакая «исследовательская программа» — ни культурцентристская, ни тем более натуралистическая. Упрощая, можно сказать, что история отличается от других социальных наук отсутствием собственной теории, а подавляющая часть так называемых «теорий» или «моделей» исторического процесса заимствуется из других общественных наук или разрабатывается философами.

2. Специфика исторического познания

Наука отличается от других способов познания прежде всего тем, что научные исследования ведутся в соответствии с определенными правилами, организующими и направляющими научный про-

цесс. Совокупность этих правил именуется «научным методом». Проблема метода — это история научных традиций, научных школ и внутринаучной коммуникации. Это проблема ярлыков и искренней веры, пожизненных научных споров, нелицеприятных нападок и резких отповедей. Ибо, как отмечал крупнейший специалист в области методологии науки, американский философ П. Фейерабенд, процедура, осуществляемая в соответствии с правилами, считается научной; процедура, нарушающая эти правила, считается ненаучной. Тот факт, что эти правила существуют, что наука своими успехами обязана их применению и что правила эти рациональны в некотором безусловном, хотя и расплывчатом смысле, сомнению не подвергается. При этом основное содержание научного метода образуют научные теории.

Понятно, что пока не было социальных наук, не было научных методов и в распоряжении истории. Она представляла собой свод историй, хроник, сведений и т. д. «До конца XIX — начала XX в., — пишет Коллингвуд, — исторические исследования находились в положении, аналогичном положению естественных наук догалилеевской эпохи... Историограф в конечном счете, — как бы он ни пыжился, морализировал, выносил приговоры, — оставался компилятором, человеком ножниц и клея. В сущности его задача сводилась к тому, чтобы знать, что по интересующему его вопросу сказали „авторитеты“, и к колышку их свидетельства он был накрепко привязан, сколь бы длинной ни была эта привязь» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 367).

Под историческими методами в узком смысле слова подразумеваются приемы критики источников, прежде всего письменных. Как способ верификации фактов исторические методы усложнялись и эволюционировали вместе с расширением пределов исторической науки.

Природа исторических исследований такова, что в них значительное место занимает работа с источниками. Как пишет французский историк М. Ферро, система источников, на которую опирается история, подчинена строгой иерархии. «Во главе ее красуются сверкающие письма автографов высоких особ и другие священные манускрипты, принадлежащие Магомету, Марксу или Мао. За ними следуют уже менее внушительные комментарии, законы, трактаты и хадисы, а также данные статистики. В хвосте кортежа плетутся, как смиренное третье сословие, одетое в черное, документы, непосредственно касающиеся жизни общества и семьи, разные анонимы и свидете-

ли берут слово лишь для того, чтобы еще раз подтвердить чудесные деяния тех, в чьих руках власть» (Ферро 1992 [1986] с. 306).

Источники повествуют о событиях, причем последние могут быть и фактами, и вымыслом. В критическом анализе описанных событий, в отделении фактов от вымысла и состоит первый этап работы историка с источниками. Обычно исторические события называют «историческими фактами», но подобное клише имеет оценочный и весьма субъективный характер — в историографии разделение событий на «факты» и «вымысел» всегда было и остается до некоторой степени условным. Кроме того у каждого составителя документов свой набор фактов и, соответственно, своя «область исключенного». Как пишет Ю. Лотман, «можно было бы составить интересный перечень „не-фактов“ для различных эпох» (Лотман 1996 [1990], с. 303).

Выбор тех или иных событий в качестве «исторических фактов» зависит от эпохи — присущих ей знаний, идеологических установок и т. д., равно как и от субъективных представлений конкретного историка. Для любого средневекового хрониста эпизоды библейской истории были «историческими фактами» в не меньшей, если не в большей степени, чем непосредственно описываемая им вчерашняя битва. Не менее богата примерами условности «исторических фактов» и современная историография — назовем в качестве примера такое всем известное событие, как принятие Декларации независимости США 4 июля 1776 г. (как показано американским историком Д. Бурстином, речь идет не об «историческом факте», а о чистой воды вымысле — см.: Бурстин 1993 [1958—1973], т. 2, с. 477—489).

Достоверность события, установленная *post factum*, все равно остается достоверностью уже несуществующего и не идентична реальности — историк всегда наблюдает отсутствующий объект. Из этого вытекает и другая важная особенность исторического «расследования». Историк на самом деле никогда не имеет дело с «объективными фактами», а всегда только с их интерпретацией. Он не интерпретирует факты, а реинтерпретирует их интерпретацию даже тогда, когда опирается только на источник и не использует научные результаты своих предшественников.

«Борьба с документами» (известное выражение М. Блока) отличает историка-профессионала от любителя. Однако критический подход к источникам — явление довольно позднее. Техника критики текстов и анализа фактов зарождается в эпоху Возрождения и в непродолжительное время, «от Лоренцо Валлы и итальянского гума-

низма XV в., через труды бенедиктинцев Святого Маврикия¹⁵, появившихся на фоне кризиса европейского сознания накануне эпохи Просвещения, до исторического толкования Библии в немецких университетах XIX в.», достигает «такого уровня формального совершенства, который, видимо, никогда не будет превзойден» (Шоню 1993 [1974], с. 142).

В XIX в. методология исторических исследований, несмотря на доминирование идиографии и индивидуализации, испытала существенное влияние естественнонаучного метода, что отмечал, в частности, немецкий философ М. Хайдеггер: «Естественнонаучному эксперименту соответствует в историко-гуманитарных науках критика источников. Это название означает теперь весь комплекс разыскания, сопоставления, проверки, оценки, хранения и истолкования источников. Основанное на критике источников историческое объяснение, конечно, не сводит факты к законам и правилам. Однако оно не ограничивается и простым сообщением о фактах. В исторических науках, не меньше чем в естественных, метод имеет целью представить постоянное и сделать его предметом. Предметной история может стать только, когда она ушла в прошлое. Постоянное в прошлом, то, на что историческое истолкование пересчитывает единственность и непохожесть всякого исторического события, есть всегда-уже-однажды-имевшее место, сравнимое» (Хайдеггер 1993 [1950], с. 45).

Главная заслуга в создании методики определения подлинности документов, их датировки и локализации принадлежит школе немецкого историка Л. фон Ранке. Именно в его семинаре в Берлинском университете была выведена «новая порода» академических историков (среди них: Г. фон Зибель, Г. Вайц, В. Гизебрехт, В. Ваттенбах и др.), практиковавшихся прежде всего в критическом изучении и оценке

¹⁵ Конгрегация Св. Маврикия или Мавра (Mauristes) — французская конгрегация бенедиктинцев, сыгравшая выдающуюся роль в собирании и публикации западноевропейских средневековых рукописей. Основана в 1618 г. (центр — парижский монастырь Сен-Жермен-де-Пре). С целью отстоять от критики протестантов авторитет католической Церкви мавристы выявили и издали огромное количество источников по ее истории. Кроме того ими была составлена история французской литературы (более 40 томов), а также многотомные истории отдельных провинций (Лангедока, Бретани и др.), в приложениях к которым напечатано множество документов. Их заслуга — выработка правил критического издания памятников, создание вспомогательных исторических дисциплин (палеографии, дипломатики и др.). Наиболее видными мавристами были Ж. Мабильон, М. Буке, Б. Монфокон.

источников в соответствии с позитивистскими представлениями о научности. Создавались громадные коллекции тщательно просеянного материала: своды латинских надписей, новые издания исторических текстов и документов всякого рода; история чрезвычайно обогатилась за счет находок археологии. Историческая добросовестность отождествлялась с предельной скрупулезностью в исследовании любого фактического материала. Историки славились не только как авторы фундаментальных исследований, но и как величайшие знатоки исторической детали (Коллингвуд 1980 [1946], с. 123).

Позитивистская методика критики источников, сохранявшая свое значение на протяжении всего нашего века, в последние десятилетия столкнулась с серьезным вызовом со стороны постмодернистов, сделавших главной и почти исключительной темой своих исследований семиотическую критику текстов. Семиотическое истолкование источников подразумевает реконструкцию кодов (как тех, которыми пользовался создатель документа, так и тех, которыми пользуется историк) и установление корреляции между ними. Тем самым в последние годы осуществляется перенос современных методов критики художественных произведений на анализ собственно исторических источников.

Кроме того, инструментарий историков, традиционно изучавших письменные источники с помощью текстологии, палеографии, эпиграфики и т. д., в последние десятилетия обогатился методами сопредельных социальных наук. Благодаря появлению квантитативной истории в обиход вошли процедуры критики статистических источников, а социология, антропология и демография способствовали укоренению в исторических штудиях контент-анализа, устного анкетирования и т. д., вплоть до технических процедур климатологии, примененных Э. Ле Руа Ладжори. Таким образом, целая совокупность традиционных и современных методов используется в настоящее время для сбора, обработки и первичной систематизации данных о прошлых обществах.

Но, как отмечалось выше, в современных социальных науках операции подобного рода вынесены за рамки собственно науки и являются вспомогательными. Нас же интересуют в данном случае исторические методы (методология) в широком смысле, как аналитические концепции исторического процесса, способы познания причинных и структурных связей, теоретический анализ прошлых обществ и процессов перехода от одного типа общества к другому, модели, объясняющие динамику и статику истории.

Со второй половины XIX в. историки, склонные к теоретизированию, обращались за методами к появившимся одна за другой социальным и гуманитарным наукам. Социальные науки на протяжении длительного времени «составляли хорошую партию с историей; между ними по разным линиям — от Маркса до Вебера, от Дюркгейма до Фрейда — наблюдался постоянный обмен концепциями и перебежчиками. Однако совсем недавно кое-кому вздумалось отрицать толщину старого Хроноса. Этим занялись социальные науки, претендующие на безупречность и твердость, в противоположность истории, обвиненной в мягкости...». Но представители «нападающей стороны» забыли, что «история подверглась научной мутации. Однажды во время купания она взяла одежды социальных наук, а те даже не заметили своей наготы» (*Ле Руа Ладюри* 1993 [1974], с. 172).

Историки поняли, что нельзя оставлять полностью имплицитными теоретические послышки, которыми они руководствуются. «Настойчивые утверждения „охвостья“ профессиональных историков, что теория не является частью их ремесла, постепенно становятся все менее эффективной базой для „институционализации“ истории и все более откровенной и бессмысленной формой ностальгии», — писал американский социолог Ф. Эбрамс (*Abrams* 1982, p. 300). Главное в развитии исторического метода в XX в. — важнейший методологический прорыв, связанный с утверждением социальной и культурной истории, ориентированной на структурный анализ, и вызов, брошенный структуралистам следующим поколением «сердитых молодых историков», ныне, впрочем, уже немолодых. Во второй половине XX в. взаимодействие истории с социальными науками привело к разделению на «старую» и «новую» историю.

«Новая» история разительно отличалась от «старой». Исследования, написанные в духе «новой» истории, характеризовались отчетливо выраженным аналитическим, а не нарративным подходом. В центре исследований «новой» истории оказались отношения между человеком, обществом и средой применительно к прошлому. Соответственно в поле зрения, точнее даже в фокус работ этого направления попали проблемы экологии, демографии, географии, технологии и экономики.

«Новая» история сконцентрировала внимание на структурах, функциях и композиции социальных институтов, будь то институты государственной власти, социализации, социального контроля, рас-

пределения, образования, организации труда, досуга и культуры и т. д. Не меньший интерес «новая» история проявила к социальным процессам, таким как миграция, урбанизация, индустриализация, различные формы мобильности в обществе, проблемы адаптации в переходные периоды и общественные движения. Введение в «новую» историю методов демографии, экономики, антропологии, культурологии и, главное, социологии происходило на разных этапах ее развития и, естественно, меняло не только акценты, но и объекты исследования. «Новая» история становилась то почти экономической, то преимущественно культурной, то, как в последние годы, тяготела к изучению повседневности.

«Новая история» по существу представляла собой попытку «продлить настоящее в прошлое». Ее сторонники на первом этапе явно или неявно исходили из возможности применения аппарата современных общественных наук к прошлому. Тем самым по существу постулировалась относительная неизменность общества, его социальной или экономической структуры. Однако чем больше отличалось от современного то общество, которое пытались реконструировать представители «новых историй», тем очевиднее были неудачи. Типичный пример — книга американских историков Р. Фогеля и С. Энгермана «Время на кресте» (*Fogel, Engerman* 1974), где общество, основанное на рабском труде, анализировалось в терминах современной рыночной экономики. После этого в большинстве случаев американская новая экономическая история старалась не углубляться в периоды, предшествовавшие окончанию Гражданской войны в США, или предпочитала ограничиваться историей нерабовладельческих штатов.

Политическое лицо представителей «новой» истории прежде всего определялось провозглашенным интересом к широким массам как к главному, но «забытому» субъекту истории. В области обработки источников «новые» историки также произвели настоящий переворот, широко используя математические методы, позволившие в свою очередь освоить огромные массивы статистики, дотоле недоступной историкам. Но главный вклад «новых историй» в историческую науку состоял не столько в распространении количественных методов или компьютерной обработки массовых источников информации, сколько в активном использовании теоретических моделей для анализа прошлых обществ. Наконец, ориентация «новой» истории на теоретические достижения социальных наук, новые источники и

методы их обработки и принципиально новую тематику привела в ее стан многих молодых талантливых ученых.

Местоположение истории в системе знания определяется также условностью и неопределенностью границы между научным и художественным методами познания прошлого, иначе говоря, между историей как наукой и историей как искусством. «Если история и „не менее, чем наука“, то она, вне всякого сомнения, и нечто большее», — писал Р. Коллингвуд (*Коллингвуд* 1980 [1946], с. 237). А. Гулыга в статье «О характере исторического знания» (*Гулыга* 1962) напоминал, что о близости истории к искусству известно довольно давно и что в античном мире «эта идея олицетворялась символическим образом музы истории — Клио».

Историки в большей мере, чем представители других социальных наук, испытывают ограниченность возможностей человеческого познания, которые относятся ко всем дисциплинам, изучающим человека. Социолог Р. Нисбет так определил эти пределы: во-первых, все попытки постижения реальности содержат в себе элемент *искусства*, независимо от претенциозности методологии и компьютерных методов; во-вторых, сколь бы велико ни было стремление к объективности и истине, невозможно избежать ограничений, налагаемых формой исследования; и, в-третьих, многие слова, с помощью которых представители социальных и гуманитарных наук описывают реальность, невыразимо метафоричны (см.: *Stone* 1987, p. 42).

Спор о том, что есть история — наука или искусство, — далеко не нов, и уж во всяком случае он старше модного спора об идиографическом или номотетическом характере исторической науки.

Еще Аристотель, сравнивая историков и поэтов, утверждал: «Различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть» (*Аристотель*. Поэтика 9, 1451b). В противоположность Аристотелю афинский логограф и учитель риторики Исократ (436—338 до н. э.) прямо объявил историю риторикой. Эту тенденцию унаследовала и римская историография. Например, в диалоге «О законах» Цицерон (106—43 до н. э.) высказывался за то, чтобы историю писали поэты. Правда, как заметил М. Барг, Цицерон «проводил различие между „всеобщей“ (связной) историей, в которой вещи выступают в связи, соизмеримыми друг с другом, и „частичной“ (монографической) историей, в которой освещается какой-нибудь один изолированный эпизод. В первом случае историк следует хронологии, его

цель — истина и польза, во втором случае задача более сродни поэзии и на первый план выдвигается удовольствие» (*Барг* 1979, с. 30)¹⁶.

Еще более категоричную позицию занимал знаменитый ритор Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35 — ок. 100), который писал: «... История имеет определенную близость к поэзии и может рассматриваться как род поэмы в прозе, когда она пишется с целью повествования, а не доказательства и предназначена от начала и до конца... не для мону-ментальных нужд... а для описания событий для пользы потомков». Исходя из этого он различал три рода повествования: 1) вымышленное (каким оно предстает в поэмах и трагедиях), 2) реалистическое (каким оно предстает в комедиях), 3) историческое (в котором излагается действительный ход вещей) (*Quintilian*. *Institutia oratoria* II, 4, 2—3; цит. по: *Барг* 1979, с. 30).

Дискуссия вокруг сформулированного Аристотелем различия между историей и поэзией (литературой) возобновилась на пороге Нового времени, в эпоху Возрождения, и продолжается по сей день (еще один пример преемственности европейской культурной традиции).

Так, Ф. Бэкон в начале XVII в. полагал, что «под именем поэзии мы рассматриваем... историю, произвольно воссозданную фантазией писателя» (*Бэкон* 1977—1978 [1623], с. 176). В свою очередь Декарт, во многом определивший представления о «новой науке», сформировавшиеся в XVII в., считал историю родом литературы, а не наукой.

Позднее немецкие романтики XVIII—XIX вв. возродили традиции творческого, интуитивного, эстетического подхода к истории: например, для Шеллинга наиболее адекватной формой постижения прошлого было «историческое искусство».

В конце XIX — начале XX в. тезис о принадлежности истории к искусству отстаивал молодой Б. Кроче. Таких же взглядов придерживался Б. Расселл, основываясь на том, что история — область духа человеческой личности и ее реконструкция историком возможна только потому, что он сам личность и обладает духовностью. Типичное обоснование этой позиции мы находим у Г. Зиммеля: «Как могут чисто субъективные картины, созданные умом историка, проеци-

¹⁶ Напомним, что авторство крылатых выражений «история — свет истины» (*lux veritatis*), «история — учительница жизни» (*magistra vitae*), равно как и присвоение Геродоту титула «отца истории», принадлежит Цицерону (*Цицерон*. О законах I, 5).

роваться в прошлое и расцениваться как описание того, что в действительности произошло?» (Зиммель 1898 [1892], с. 163).

В 60-е годы нашего века Ролан Барт снова вернулся к вопросу о характере исторического познания: «Действительно ли описание событий прошлого, отданное... в распоряжение исторической „науке“, обеспеченное высокомерными гарантиями „реальности“, обосновываемое принципом „рационального“ объяснения... отличается, в силу своей неоспоримой значимости или каких-то специфических характерных черт, от воображаемого описания, каковое можно найти в эпосе, романе или драме?» (Barthes 1967, p. 65). И сам же дал ответ: «Исторический дискурс не следует за реальностью, скорее он только обозначает ее путем бесконечного повторения того, что она имела место, но это утверждение не представляет собой ничего кроме очевидной подкладки всех исторических описаний» (Barthes 1967, p. 73—74).

В то же время, замечает французский историк Д. Мило, «как и всякое сравнение, сравнение ученого, художника и историка имеет свои границы. Прежде всего, различна природа реальности, с которой имеет дело каждый из них. В этом плане соответствующие обязательства сильно отличаются друг от друга. Историк, как и ученый, вынужден обращаться с явлениями, какими они были в действительности (wie es eigentlich gewesen ist), в то время как художник вправе говорить о том, „что могло бы иметь место в силу правдоподобия или необходимости“, говоря словами „Поэтики“ Аристотеля» (Мило 1994 [1990], с. 191). По отношению к реальности искусство выступает как область свободы (Лотман 1992, с. 233), ибо обладает свойством превращать условное в реальное и прошедшее в настоящее.

Безусловно, в арсенале познавательных средств историка образное мышление занимает значительное место. «В том-то и заключается трудность условий исторического таланта, — писал В. Белинский, — что в нем должны быть соединены строгое изучение фактов и материалов исторических, критический анализ, холодное беспристрастие с поэтическим одушевлением и творческой способностью сочетать события, делая из них живую картину, где соблюдены все условия перспективы и светотени» (Белинский 1955 [1843], с. 52—53).

Как отметил М. Блок, крайние позиции в вопросе о характере исторического познания породили две тенденции в историографии: жесткий подход социологической школы, когда за бортом оставалось все, что не поддавалось рациональному объяснению и не укла-

дывалось в схему, и последовательное отношение к истории как к эстетической игре (Блок 1986 [1949], с. 12—13).

Надо отметить, что не только историческое сочинение, но и литературное произведение на историческую тему — это в определенном смысле пограничный жанр. Писатель, как и историк, может воссоздать исторический облик прошлого, хотя художественное воссоздание отличается от научного. Опираясь на исторические данные, писатель полагается на творческий вымысел. Он свободен в создании контрфактической истории, размышляя не только над тем, что было, но и над тем, что могло бы быть в данных исторических условиях. Обращаясь к прошлому для того, чтобы раскрыть определенные идеи и взгляды, писатели широко использовали исторические аллегории. Тем самым у исторической литературы изначально были очень свободные отношения не только с вымыслом, но и с историческим временем.

Для писателей обращение к истории — нередко прием «остраннения», означающий снятие привычности, превращение знакомого предмета в чуждый. Понятие остраннения было сформулировано В. Шкловским в статье 1917 г. «Искусство как прием»¹⁷. «Автоматизация (восприятия. — И. С., А. П.) съедает вещи, платья, мебель, жену и страх войны... вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим». Задача искусства (во всяком случае авангардного), по мнению Шкловского, состоит в том, чтобы «остранить» знакомую вещь, поместив ее в непривычный контекст (Шкловский 1983 [1917], с. 15).

Как писал У. Эко, в литературе существует три способа рассказывать о прошлом. Первый — когда прошлое используется как предлог, как фантастическая предпосылка, дающая свободу воображению. Второй — «роман плаща и шпаги в духе Дюма». В этом случае узнаваемость прошлого обеспечивается «наличием персонажей, взятых из энциклопедии (Ришелье, Мазарини), которые здесь совершают действия, не зафиксированные в энциклопедии (интриги с миледи, сотрудничество с неким Бонасье), но не противоречащие тому, что сказано в энциклопедии». Эко называет это обстановкой так называемой подлинности, потому что и реальные, и вымышленные герои действуют, руководствуясь общечеловеческими мотивами, не увязан-

¹⁷ По типографскому недосмотру слово «остраннение» было набрано с одним «н», затем ошибка стала традицией (Гулыга 1978, с. 34).

ными жестко с психологическими и моральными характеристиками времени.

Третий способ представить прошлое, по Эко, как раз и есть *исторический* роман, в котором реальные или вымышленные герои говорят и действуют так, как должны были говорить и действовать люди того времени, которое описывается в романе (Эко 1989 [1980], с. 464—465).

Резкое возрастание степени свободы по отношению к реальности делает искусство полюсом экспериментирования. Искусство создает свой мир, который строится как трансформация внехудожественной действительности по закону: «если — то...» (Лотман 1992, с. 234). Постмодернистское направление в исторических исследованиях предельно развило именно эту особенность исторического познания. Граница между фактом и художественным вымыслом, которая когда-то казалась четкой, в постмодернистскую эпоху подверглась эрозии. (На самом деле только сейчас стало ясно, что эта граница всегда была открыта.)

На этой пограничной территории мы находим таких писателей, как Г. Маркес и У. Эко, романы которых представляют собой попытку восстановить прошлое художественными средствами, но с позиций сегодняшнего объективного знания. Здесь же можно назвать авторов, которых привлекает идея создания так называемого «нехудожественного романа», таких, как Т. Капоте («Хладнокровное убийство», 1965) или Н. Мэйлер («Армии тьмы», 1968 — о марше протеста в Пентагон с подзаголовком «История как роман/Роман как история»; см.: Weber 1980). (Отсюда споры о художественных достоинствах известных литературных произведений, например, исторических романов А. И. Солженицына.) Литераторы давно использовали в своих текстах документы, газетные публикации и другие исторические источники. Л. Толстой, например, включил в повесть «Хаджи-Мурат» подлинное письмо кавказского наместника графа Воронцова.

Беллетристам, которые пытаются писать «романы как историю», в научной среде соответствуют историки, способные писать «историю как роман». Так, В. Белинский писал: «Читая „Историю завоевания Англии норманнами“ Огюстена Тьерри, как его же „Рассказы о временах меровингских“, думаешь, что читаешь роман Вальтера Скотта; а между тем в этих сочинениях знаменитого историка французского нет ни одной черты, которая не основывалась бы на фактах и не подтверждалась бы хрониками; но и те, которым коротко и ученым образом знакомы были эти хроники, в творениях Тьерри впер-

вые познакомились с той и другой эпохой, удивляясь, что в этих творениях могло оказаться столько жизни, поэзии и разумности» (цит. по: Далин 1981, с. 15—16).

В 1966 г. американский историк Х. Уайт обвинил своих коллег в том, что они все еще живут в XIX в., веке реализма, и призвал их использовать формы современной художественной репрезентации (White 1978 [1966]). Однако если автор художественного произведения с помощью воображения *создает свой материал*, то «для историка любое отступление от архивного материала — непростительный грех» (Стоун 1994, с. 169). Действительно, сейчас существует небольшая группа историков, которые экспериментируют с «творческим nonfiction». Например, известный историк Голо Манн, сын знаменитого Томаса Манна, написал биографию генерала XVIII в. Альбрехта фон Валленштайна¹⁸, используя для достижения научных целей метод потока сознания, и сам назвал свою работу «совершенно настоящим романом». Впрочем, английский историк П. Берк, приводящий этот пример, примечания Манна находит более убедительными, чем его текст (Burke 1993, p.128). Своей сознательно литературной манерой славится итальянский историк К. Гинзбург.

Представление о времени действующего, сформулированное как научное понятие психологами, в исторических исследованиях, конечно, не избежало и влияния беллетристики. То же самое справедливо будет отнести к методам вживания, вчувствования, интуитивного ощущения прошлой, «другой» эпохи. Такой, например, стала для историков уникальная попытка М. Пруста, для которого история вообще не процесс, а поток калейдоскопических изменений. Пруст, этот исследователь утраченного времени как такового, «наотрез отказывается навязывать прошлому схему настоящего, практикуя строгое невмешательство, решительно уклоняясь от какого-либо конструирования... Вместо того чтобы реставрировать утраченное время, он довольствуется созерцанием его обломков» (Ортега-и-Гассет 1991 [1923a], с. 179). Многие попытки антипрезентистского написания истории, характерные для наших дней, осуществляются вполне по букве Пруста (в духе «невозможно»).

На протяжении веков эволюционировали не только способы исторического познания, изменялись и функции истории. Несмотря

¹⁸ Валленштайн, Альбрехт Венцеслав (1583—1634) — полководец, главнокомандующий имперской армией в Тридцатилетней войне.

на то, что история долго находилась вне общепризнанной системы научного знания, авторитет ее был высок. Например в 1559 г. в Англии было опубликовано «Зерцало для правителей» — собрание стихотворных трагедий на исторические темы. И каждая трагедия, в основе которой лежала судьба какой-либо исторической личности, сопровождалась прозаическим комментарием, указывавшим, какой исторический урок из нее можно извлечь (Барз 1979, с. 111).

Культурно-политические функции, выполняемые историей, перечень которых мы обнаруживаем во многих трудах по историографии, обеспечивали удовлетворение многочисленных социальных потребностей. Например, потребности в житейской мудрости (начиная с «прагматической истории» Макиавелли). Гуманисты, высоко поднимавшие авторитет истории, наделяли ее «двумя „общественно-полезными“ функциями: она должна была служить школой морали и школой политики» (Барз 1979, с. 32). Историю использовали для легитимизации власти, доказательства благородства происхождения, нахождения общего языка между разными социальными или национальными общностями или утверждения национального превосходства. С помощью истории обосновывали необходимость возврата к прошлому (романтизм), воспевали настоящее и конструировали будущее. Ей также всегда приписывали способность давать воспитательные уроки (начиная с «моральной истории» Плутарха). И кроме того, особенно на любительской стадии, до второй половины XIX в., история служила развлечением для тех, кто ею занимался.

Начиная с Ренессанса, и особенно в XIX в., престиж истории был необыкновенно высок. Для этого периода характерны бурный рост исторического сознания, всеобщий интерес к истории. Историю стали рассматривать как средство обеспечения национального единства, воспитания граждан и даже орудие националистической пропаганды. Тогда же история была поставлена на службу государству, а многие известные историки состояли на государственной службе, занимая высшие государственные должности. Особенно показателен пример Франции середины XIX в., где два популярнейших историка, Тьер и Гизо, возглавляли соперничающие политические партии, а затем их «сбросили» другие историки — Луи Блан, Токвиль и Наполеон III (Зелдин 1993 [1976], с. 157).

Но к концу XIX в., как отметил Р. Коллингвуд, с историей случилось нечто подобное тому, что во времена Галилея произошло с естествознанием, «(только очень невежественный или же очень уче-

ный человек рискнул бы кратко сказать, что же именно), внезапно и в громадной степени ускорившее движение историков вперед и расширившее их кругозор» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 367).

Между 1870 и 1930 гг. история превратилась в независимую профессиональную дисциплину. Историки стали писать для историков. Они больше не обращались к образованной публике, они говорили с горсткой профессиональных коллег (Stone 1987, p. 4, 7). Историки в большинстве своем отказались от претензий на роль философов и наставников в повседневной жизни. «Как это ни парадоксально, именно тогда, когда у истории появилось столько читателей, сколько никогда раньше не было, историки стали скромнее, чем когда бы то ни было. Популяризаторов оттеснили профессионалы» (Зелдин 1993 [1976], с. 157).

Историки уже не участвовали столь активно и в политической жизни. В силу последнего обстоятельства между трепетным отношением к моральным урокам истории прошлых поколений и скептическими взглядами современников образовался большой разрыв (Stone 1987, p. 3). Падение политического престижа истории объяснялось не только, а может быть и не столько, ее профессионализацией. Произошло в своеобразном смысле возвращение к точке зрения древних греков, для которых, как отмечал английский историк Дж. Покок, история во многом была упражнением в политической иронии, формой размышления о том, как действия человека производят результаты, противоположные намерениям (Росовск 1975, p. 6).

Исторический опыт XX в. свидетельствовал о невозможности учитывать уроки истории, показывая, что возможности индивидуальных действий жестко ограничены экономическими процессами, социальными силами и политическими институтами. «Этот опыт начал осознаваться представителями высших и средних слоев (а именно к ним большей частью принадлежали историки) самое позднее со времени становления индустриального капитализма, — пишет немецкий историк Ю. Кокка, — а после взрыва социальных движений XIX в., великих, в большинстве своем непонятных, кризисов рыночной экономики, после мировых войн и политических катастроф XX в. его уже нельзя было игнорировать. В нижних социальных слоях это ощущение относительного бессилия отдельных людей перед обстоятельствами появилось, видимо, гораздо раньше» (Кокка 1993 [1986], с. 177).

Интересно, что часть влиятельных историков тоскует об утраченных общественных позициях и, видимо, считает неадекватной роль

представителей своей профессии в принятии политических решений. Конечно, теперь речь идет прежде всего не о способности истории «учить жизни» на опыте прошлого, а о состоятельности ее экспертных оценок. Как пишет Стоун, «только продемонстрировав политикам и общественности, что нам есть что сказать важного, интересного и полезного, мы, профессиональные историки, сможем добиться процветания в обществе, все более обращающемся к технике за рецептами быстрого решения своих проблем, и к мифотворцам, левым или правым, за уверенностью и надеждой» (Стоун 1994, с. 175).

§ 3. ВРЕМЯ ИСТОРИИ

Нормальный взрослый человек никогда не размышляет о проблемах пространства и времени.

Альберт Эйнштейн

У истории много общего с другими дисциплинами. Она делит с ними предмет и заимствует их методы. И в то же время отдельность ее бесспорна. Она связана с отсутствием изучаемого объекта в настоящем. Именно поэтому мы считаем, что категория времени для определения специфики истории является столь же значимым критерием, как предмет и метод. Ведь «историк ни на минуту не может выйти за пределы исторического времени. Время липнет к его мыслям как земля к лопате садовника» (Бродель 1977 [1958], с. 134).

Время — категория познания, центральная для нашего исследования, — фигурирует в исторических сочинениях в разных ипостасях: как инструмент анализа, а иногда и как относительно самостоятельный объект изучения. Сосредоточенные на реконструкции прошлого, историки явно или неявно используют некие образы времени. По своей сути эти образы, или представления, являются инструментальными: с их помощью, а точнее, на их основе формулируются научные гипотезы и выводы. Первичные представления о времени, на которые опираются историки, по существу имеют вненаучный, а именно, философский характер. Поэтому для характеристики исторического времени нам придется хотя бы кратко остановиться на релевантных философских концепциях.

1. Два образа времени

В философии проблема времени занимает весьма почетное место. Количество трудов, специально посвященных этой теме, исчисляется сотнями, если не тысячами, не говоря уже о том, что почти каждый крупный философ так или иначе ее затрагивал¹⁹. Одной из главных тем философии времени является сакраментальный вопрос «что есть время?», который несомненно можно отнести к числу «основных вопросов философии». Для нашего анализа, однако, существует несколько иной вопрос, а именно, *как выглядит время*. Речь идет об образе времени, складывающемся в сознании, и о тех качествах, которыми наделяется этот образ.

Анализируя взгляды крупнейших философов на проблему времени, прежде всего обращая внимание на то, что почти все они говорили о *двух* типах, точнее, образах времени. Подобные представления, несмотря на некоторые различия в способах описания, остаются практически неизменными вот уже два с половиной тысячелетия европейской истории. От античности и до поздней современности (или постмодернизма, существующего если не в социальной жизни, то, безусловно, в социальной мысли) подавляющее большинство философов, говоря о времени, мыслит категориями поразительно устойчивой структуры. Этот факт, как нам кажется, достаточно уникален и представляет самостоятельную тему для размышлений.

В европейской культуре четкое различие двух образов времени было впервые введено, насколько можно судить, Платоном, хотя он сам при этом ссылаясь на «древних и священных философов» как на своих предшественников (см.: Борхес 1994 [1936a], с. 163). Для обозначения этих образов он использовал два термина — «эон» (αἰών) и «хронос» (χρόνος), которые в русских переводах традиционно звучат как «вечность» и «время»²⁰. Платон утверждал, что бог «за-

¹⁹ Обзоры философских работ по проблеме времени см., например, в: Сапек 1961; 1971; Уитроу 1964 [1961]; Whitrow 1975; Brandon 1965; Аскин 1966; Грюнбаум 1969 [1963]; Молчанов 1977; 1985; 1990; Ерунов 1978; G. Schlesinger 1980; Ахундов 1982; Рейхенбах 1985 [1928]; Алексина 1994 и др.

²⁰ Трудность перевода заключается в том, что термины «эон» и «хронос» активно использовались в множестве философских и литературных произведений, написанных на греческом языке в течение более чем двух с половиной тысячелетий — от Гомера до поздневизантийских авторов. Естественно, что разные авторы, среди которых были и собственно греческие философы, и иудеи-эллинисты, и раннехристианские отцы Церкви, и византийцы, вкла-

мыслил сотворить некое движущееся подобие вечности; устрояя небо, он вместе с ним творит для вечности, пребывающей в едином, вечный же образ, движущийся от числа к числу, который мы назвали временем» (Платон. Тимей 37d—e).

Аристотель, насколько можно судить по дошедшим до нас сочинениям, не анализировал специально соотношение между «эоном» и «хроносом», однако противопоставлял «вечную сущность (αἰὲ ὄν)» и «время (χρόνος)». По его мнению, «вечная, неподвижная и обособленная от чувственно воспринимаемых вещей сущность... движет неограниченное время» (Аристотель. Метафизика 1073a). В другом случае он замечает, что «вечные существа, поскольку они существуют вечно, не находятся во времени, так как они не объемлются временем и бытие их не измеряется временем; доказательством этому <служит> то, что они, не находясь во времени, не подвергаются воздействию со стороны времени» (Аристотель. Физика 221b).

Анализируя время прежде всего как меру движения, Аристотель попутно сделал несколько замечательных наблюдений, послуживших основой для многих последующих рассуждений на тему о времени. Например: «Теперь есть непрерывная связь времени: оно связывает прошедшее с будущим... Так как „теперь“ есть... конец прошедшего и начало будущего, то... время всегда начинается и кончается... И оно никогда не прекратится, потому что всегда начинается» (Аристотель. Физика 222a—b). Или: «... Без души не может существовать время, а разве <лишь> то, что есть как бы субстрат времени» (223a). Такое впечатление, что эти высказывания принадлежат не древнегреческому философу, а какому-то экзистенциалисту XX в.!

Развернутое обсуждение различий между «эоном» и «хроносом» содержится в 7-й главе третьей Эннеады Плотина (ок. 204/205—269/270 н. э.). Там, в частности, сформулирована использованная позднее Св. Августином идея о том, что «время есть жизнь души, пребывающая в переходном движении от одного жизненного проявления к другому... Существующее до него есть вечность, не сопровождающая его в течении и не сораспространяющаяся с ним» (Плотин. Эннеады III, 7, 10).

Иногда в эти термины разные смыслы, не всегда соответствующие русским «вечность» и «время». Об употреблении термина «эон» см., например: Брагинская 1975, где приведена также библиография по этой проблеме.

Оппозиция «вечность—время» продолжала оставаться исходным пунктом философских дебатов о времени в рамках христианской доктрины. Возникнув в эпоху античности как проблема разграничения сфер приложения понятий вечности и времени, она превратилась в проблему отношения Бога к сотворенному им миру. На смену эону и хроносу, отождествлявшимся с языческими божествами, пришла идея «вечности» (aeternitas — божественного времени) и собственно «времени» (tempus — земного времени)²¹.

Начало этой традиции положил Св. Августин, давший яркую характеристику «времени Бога»: «Все годы Твои одновременны и недвижны: они стоят; приходящие не вытесняют идущих, ибо они не проходят... Твой сегодняшний день не уступает места завтрашнему и не сменяет вчерашнего. Сегодняшний день Твой — это вечность...» (Августин. Исповедь... 11, XIII, 16).

Не менее блистателен пассаж, содержащий размышления Св. Августина о «земном времени». Здесь Августин по существу предвосхитил философскую концепцию времени, приобретшую популярность в XX в.: «Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен — прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего — это память; настоящее настоящего — его непосредственное созерцание; настоящее будущего — его ожидание» (Августин. Исповедь... 11, XX, 26).

Аналогичные идеи мы находим у Боэция (ок. 480—524/526): «... Наше „теперь“ как бы бежит и тем самым создает время и беспрестанность (sempiternitas), а божественное „теперь“ — постоянное, неподвижное и устойчивое — создает вечность (aeternitas)... „Беспрестанность“ (sempiternitas) — имя того беспрестанного, неутомимого, и потому беспрерывно продолжающегося бега нашего „теперь“» (Боэций. Каким образом...).

Упомянем, наконец, известное высказывание Св. Фомы Аквинского (1225/1226—1274) о том, что смысл различия между време-

²¹ Термин «aeternitas» активно использовался уже римскими авторами — Сенекой, Плинием Младшим и др. — в значении «бессмертная слава», «увечковечить чье-либо имя». Цицерон употреблял его в значении «незапамятная древность».

нем и вечностью «некоторые ищут в том, что вечность лишена начала и конца, а время имеет начало и конец. Однако это различие имеет акцидентальный, а не сущностный характер. Ведь <даже> если мы примем, что время всегда было и всегда будет, в согласии с утверждением тех, кто полагает движение небес вечным, то различие между вечностью и временем останется, по словам Боэция («Утешение Философией», кн. 5, гл. VI), в том, что вечность целокупна, времени же это не присуще, а также и в том, что вечность есть мера пребывания, а время — мера движения» (Фома Аквинский. Сумма теологии I, q. 10, 4с).

Заметим, что хотя внешне в центре христианских теологических дебатов постоянно находилась проблема соотношения божественного времени (вечности) и земного времени, на протяжении Средневековья трактовка этой оппозиции постепенно изменялась. В частности, если Св. Августин, Боэций и Беда Достопочтенный (672/673—ок. 735) в основном интересовались проблемой времени, то начиная с XII в. в центр теологических изысканий выдвинулась проблема вечности.

Отход от раннехристианской традиции начался под влиянием Аристотеля и других античных авторов, сочинения которых стали доступны европейским мыслителям в XII в. Аристотелианцы (Сигер Брабантский, Св. Фома Аквинский и др.) ослабили оппозицию «Бог — мир», подвергнув сомнению представление об одинаковости бренности всех элементов мира. Св. Фома ввел промежуточное понятие «век» (aevum), поместив его между «вечностью» (aeternitas) и «временем» (tempus), между божественным постоянством и все разрушающими земными изменениями. Вечность оставалась исключительной характеристикой Бога, ниже располагались ангелы, души, небесные тела и Церковь, существование которых предполагалось неизменным и определялось идеей «века». Самый нижний уровень иерархии занимали бранные тела, подверженные процессам развития и разрушения (Фома Аквинский. Сумма теологии I, q. 10, 5с). Однако, по мнению большинства исследователей, эта усложненная конструкция не отменила оппозицию «вечность — время» в христианской доктрине, а лишь инкорпорировала в нее проблему постоянства и изменчивости. Утверждая «вневременность» некоторых элементов мира (небесных тел и Церкви), аристотелианцы тем самым наделили одного Бога. Что касается времени, то его содержание сводилось к циклу созревания и распада бранных вещей.

Но что особенно существенно, Фома Аквинский, по-видимому, одним из первых детализировал проблему, которую, используя современную терминологию, можно обозначить как темпоральное сознание действующего субъекта (подробнее о ней см. ниже, гл. 5). В частности, он писал, что благоразумие (prudentia), эта духовная добродетель (virtus intellectualis), включает в себе, среди прочего, следующие подчиненные добродетели:

- память о прошедшем (memoria praeteritorum);
- понимание настоящего (intelligentia praesentium);
- предвидение (providentia) и умение принимать в расчет будущие события (sollertia in considerandis futuris eventibus) (цит. по: Зомбарт 1994 [1913], с. 186).

Переход от Средневековья к Новому времени знаменовался, среди прочего, замещением религиозной картины мира естественнонаучными представлениями. Поэтому уже в XVII в. концепция двух времен приобретает новый вид: идея божественной вечности сменяется идеей абсолютной длительности, а на смену представлениям о сущностном отличии «божественного» и «земного» времени приходит тезис о наличии объективного (абсолютного) времени и его субъективного восприятия (относительного времени).

Одним из первых этот новый подход сформулировал, по-видимому, Р. Декарт: «... Время, которое мы отличаем от длительности, взятой вообще, и называем числом движения, есть лишь известный способ, каким мы эту длительность мыслим» (Декарт 1950 [1644], с. 451).

Более развернутую формулировку этой идеи мы находим у Б. Спинозы: «... Длительность — атрибут, под которым мы постигаем существование сотворенных вещей так, как они пребывают в действительности... Время не состояние вещей, но только модус мышления... служащий для объяснения длительности» (Спиноза 1957 [1663], с. 278—279). Примерно так же формулировал различие между «длительностью» и «временем» Г. Лейбниц: «Длительность и протяженность суть атрибуты вещей, но время и пространство рассматриваются как нечто вне вещей лежащее и служат для того, чтобы измерять их» (Лейбниц 1890 [1685]; цит по: Дубровский 1985, с. 10).

Наконец, приведем известное высказывание И. Ньютона на ту же тему: «Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью.

Относительное, кажущееся или обыденное время есть или точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо движения, мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни вместо истинного математического времени, как-то: час, день, месяц, год» (Ньютон 1936 [1687], с. 30).

Свое окончательное оформление идея двух образов времени получила в конце XIX — начале XX в. По мере вытеснения натурфилософии философией человека на смену представлениям о наличии двух *сущностно* разных времен пришло понимание того факта, что речь должна идти лишь о двух разных мыслительных *образах* времени.

Существенный вклад в разработку такого подхода к проблеме времени внес, по общему признанию, А. Бергсон (подробнее об этом см., например: Блауберг 1992; Сапек 1971). По мнению Бергсона, следует «отличать длительность-качество, которую наше сознание постигает непосредственно ... и „материализованное“ время, становящееся количеством благодаря своему разворачиванию в пространстве» (Бергсон 1992 [1889], с. 104—105).

Мысль о том, что разные типы времени есть не что иное, как разные его образы, сосуществующие в сознании, была особенно четко выражена в работах основоположника феноменологии Э. Гуссерля. Вообще говоря, концепция времени Гуссерля имеет два уровня классификации. На первом уровне он выделяет три типа времени: «объективное время» — время мира; «являющееся время» («являющаяся длительность») — восприятие времени; «существующее время» — имманентное время протекания сознания. Для нас, однако, особый интерес представляет второй уровень классификации, на котором Гуссерль рассматривает два типа «являющегося времени», т. е. два образа времени, формирующиеся в сознании (точнее, два типа восприятия времени), — «объектив<ирован>ное время» и «интенциональное время»²².

Итак, Гуссерль дает следующую характеристику процесса формирования «объектив<ирован>ного» времени: «Возьмем событие во времени; я могу пережить его еще раз... я могу снова вернуться к нему в моем мышлении... Таким образом конституируется объектив<ирован>ное время» (Гуссерль 1994 [1928], с. 124). «Интенцио-

²² Мы обозначаем здесь первый тип представлений как «объектив<ирован>ное время», чтобы отличать его от «объективного времени», упоминаемого Гуссерлем на первом уровне его классификации.

нальное» же время формируется совершенно иным образом: «Каждое ощущение (т. е. первичное сознание времени. — И. С., А. П.) имеет свои интенции, которые ведут от Теперь к новому Теперь и т. д.: интенции к будущему, а, с другой стороны, интенции к прошлому» (Гуссерль 1994 [1928], с. 118).

Даже у М. Хайдеггера за нарочитой терминологической усложненностью изложения просматриваются два разных образа времени. «Когда нам приходится характеризовать время исходя из настоящего, мы, конечно, понимаем настоящее как Теперь в отличие от уже-не-теперь прошлого и еще-не-теперь будущего.... Так увиденное, время оказывается рядом последовательных Теперь... Время, известное как рядоположность последовательных Теперь, имеется в виду, когда время измеряют и рассчитывают» (Хайдеггер 1993 [1968], с. 397).

Наряду с этим, по Хайдеггеру, существует так называемое «пространство-время» или «собственно время»: «... Наступающее, осуществившееся, настоящее... протягивают друг другу самих себя, и это значит: протяженное в них присутствие. В этом последнем высвечивается то, что мы называем *пространством-временем*. Под словом „время“ мы только подразумеваем уже не последовательность Теперь одного за другим. Тем самым пространство-время тоже означает уже не отстояние между двумя пунктами Теперь расчисленного времени... *Пространство-время* означает... открытость, просвечивающую во взаимном протяжении наступающего, осуществившегося и настоящего» (Хайдеггер 1993 [1968], с. 399).

Таблица 1.3.

Характеристики философских концепций времени

	Время-1	Время-2
1.	Статическое	Динамическое
2.	Гомогенное (количественное)	Гетерогенное (качественное)
3.	Дискретное (математически непрерывное)	Континуальное (динамически непрерывное)
4.	Каузально-нейтральное	Каузально-эффективное

Следует заметить, что все процитированные нами и многие другие философы не просто говорят о двух образах времени, но и представляют их примерно одинаковым способом. Эти два образа, доминирующие в философской литературе, мы условно обозначим как «Время-1» и «Время-2», дабы избежать оценочных названий. Различия между ними можно свести всего к нескольким пунктам, которые суммированы в табл. 1.3.

1. Статичность или динамичность.

Статическая концепция предполагает реальное и в определенном смысле одновременное существование событий прошлого, настоящего и будущего, рассматривая становление и исчезновение материальных объектов как иллюзию, возникающую в момент осознания того или иного изменения. Динамическая концепция полагает реально существующими лишь события настоящего времени, рассматривая события прошлого и будущего как реально уже или еще не существующие (Молчанов 1990, с. 101).

Подобное различие можно найти уже в работах античных философов, но наиболее четко оно было сформулировано Св. Августином, полагавшим божественную «вечность» статичной, а земное «время» динамичным: «Годы Твои не приходят и не уходят, а наши, чтобы прийти им всем, приходят и уходят». Душа же человека существует лишь в настоящем, «через которое переправляется будущее, чтобы стать прошлым» (Августин. Исповедь... 11, XIII, 16; XXVIII, 38).

На современном научном языке это различие было сформулировано в начале XX в. в работе английского философа Дж. Мак-Таггарта (McTaggart 1908). В рамках первого подхода, который Мак-Таггарт назвал Б-сериями событий, за каждым событием закреплена фиксированная временная точка, и события соотносятся по некоей абсолютной шкале в терминах «до» («раньше чем»), «одновременно» и «после» («позже чем»). Во втором варианте (А-серии событий) связь между событиями устанавливается наблюдателем, для которого все события упорядочены относительно его собственного времени, и связь между событиями задается представлениями о «прошлом», «настоящем» и «будущем». Временная шкала в этом случае имеет относительный характер.

В первом случае, например, убийство Цезаря произошло «раньше» Великой французской революции, а первая мировая война — «позже». Во втором случае временные позиции этих трех событий могут быть самыми разнообразными: во время Галльской войны все они были «будущим», во время штурма Бастилии убийство Цезаря было «прошлым», революция — «настоящим», а первая мировая война — «будущим», и т. д. В свою очередь «прошлое», как и «будущее», может быть более и менее отдаленным, и восприятие (оценка, представление) событий зависит от временной позиции наблюдателя относительно этих событий.

2. Гомогенность или гетерогенность.

Данная оппозиция характеризует прежде всего качественную однородность или неоднородность времени. В первом случае подразумевается, что время является «пустым» или «открытым» и не имеет никакого самостоятельного содержания. Оно заполняется, только если мы помещаем в него некое событие. Это означает, что все моменты времени ничем не отличаются друг от друга, разве что положением на некоторой условной временной оси. В соответствии же с альтернативным подходом каждый момент времени имеет собственную смысловую наполненность, задаваемую присущими тому или иному индивиду представлениями о прошлом и будущем.

Представления о качественной однородности или неоднородности времени существенным образом влияют и на его количественные измерения. В первом случае предполагается существование некоторой универсальной абсолютной шкалы времени, расстояние между отдельными точками которой зафиксировано раз и навсегда (временной интервал между двумя данными событиями всегда неизменен). В рамках второго подхода никаких фиксированных промежутков времени между событиями не существует и мера времени зависит от субъективных представлений каждого человека (ср.: с тех пор прошло много времени, мало времени, мгновение и т. д.).

Отсюда вытекают и различия в определении понятия «скорости течения» времени. В первой концепции время не имеет собственной меры, оно измеряется движением, т. е. в конечном счете пространством, — достаточно вспомнить школьную формулу «время = $\frac{\text{расстояние}}{\text{скорость}}$ » или тот факт, что все привычные единицы времени — секунда, минута, сутки, год и т. д. — непосредственно определяются

на основе движения небесных тел. В контексте же представлений второго типа время не только обладает собственной мерой, но и может служить для определения характера процесса (время текло медленно, быстро летело и т. д.).

3. Дискретность или континуальность (математическая или динамическая непрерывность).

Проблема дискретного и континуального времени является одной из древнейших в философии времени — она была поставлена в явном виде еще Зеноном Элейским (ок. 490—430 до н. э.) в его апориях «Ахиллес», «Стрела» и др.

Концепция дискретного времени представляет процесс как «совокупность состояний изменяющегося предмета, каждое из которых должно обладать строго определенной пространственно-временной локализацией. В соответствии с этим каждый движущийся предмет находится либо там, где он еще находится, либо там, куда он движется. Это предполагает невозможность его нахождения в некотором переходном состоянии, ибо если предмет не там, где он пока есть, и не там, где он, переместившись, окажется, то он должен был бы находиться и здесь и там, а это невозможно» (Маркина 1985, с. 49—50).

Представление о дискретности времени подразумевает так называемую математическую непрерывность (в данном случае речь идет не о непрерывности в смысле взаимосвязи череды мгновений, а о непрерывной делимости). Отсюда следует, что на какие бы малые промежутки мы ни делили время, один промежуток или точка всегда отделены от других, и между ними есть некоторое расстояние. Т. е. каждая точка времени отделена (изолирована) от других (точно так же, как не пересекаются точки на числовой прямой).

В соответствии с континуальной концепцией время обладает, условно говоря, динамической непрерывностью. Динамическая структура времени состоит из двух элементов: *памяти и ожиданий*. Благодаря им текущий момент времени связан со всеми остальными через восприятие индивида. Прошлое и будущее определяются «настоящим» и не существуют вне его, но точно так же текущий момент времени не может существовать без прошлого и будущего, ибо именно они и образуют настоящее.

4. Каузальная нейтральность или эффективность.

Представление о каузальной нейтральности времени подразумевает независимость течения времени от его содержания. Само течение времени, т. е. переход из одного момента в другой, не вызывает изменений. Пространственная ориентированность этой концепции времени означает, в частности, что нам безразлично, сравнивать ли разные состояния в пространстве или во времени.

Альтернативная концепция времени предполагает его каузальную эффективность. Это означает, что само течение времени порождает изменения — например, увеличение накопленного объема знаний становится эндогенной силой, движущей развитие общественной системы. Переход из одного момента времени в другой меняет представления как о прошлом, так и о будущем, т. е. меняется не только настоящее, но и множество других связанных с ним моментов времени. Кроме того, в соответствии с принципом каузальной эффективности состояние системы в определенный момент зависит от состояния системы в предшествующий момент времени — например, наши сегодняшние представления о будущем непосредственно влияют на это будущее.

Итак, «Время-1» является статическим, дискретным, гомогенным и каузально-нейтральным, «Время-2» — динамическим, континуальным, гетерогенным и каузально-эффективным.

В рамках первого образа время, как правило, пространственно ориентировано (spatialized). Разные даты описываются как отрезки или точки временной оси. В любом случае, время оказывается аналогично пространству. Как подчеркивал А. Бергсон, сторонники концепции «Время-1» (которое он называл «ньютоновским»), представляют время «как ряд состояний, каждое из которых гомогенно и, соответственно, само по себе неизменно» (Bergson 1911 [1907], p. 163). Отсюда следует, что каждое движение происходит извне системы, т. е. является экзогенным. В «ньютоновской» системе просто связаны вместе статические состояния, и она не генерирует эндогенные изменения. Каждый период изолирован от остальных. В результате или

нам дан один период, в котором не происходит изменений, или есть изменение, но мы не можем показать, как оно было вызвано предшествующим периодом.

В рамках образа, обозначаемого нами как «Время-2», время является необратимым — эта мысль выражена, в частности, в известном изречении по поводу невозможности дважды войти в одну и ту же реку. При этом само течение времени образует «Творческую (в смысле созидательную. — И. С., А. П.) эволюцию» (название работы Бергсона, опубликованной в 1907 г.), порождает непредсказуемые изменения, а тем самым задает неопределенность будущего.

Следует заметить, что каждый из двух образов времени представляется несколько односторонним и, будучи доведенным до абсолюта, вызывает определенное недоумение. Вот, например, как выглядит последовательное развитие образа «Время-1»:

«... Чем отличается в смысле статуса реального существования Бородинское сражение, произошедшее в 1812 г., от битвы за Москву в 1941 г.? И то и другое событие сейчас уже в прошлом, т. е. с точки зрения динамической концепции нереально, но когда-то оба они были такой же реальностью, как и переживаемый нами сейчас момент настоящего времени... Где у нас доказательство того, что на каких-то интервалах мирового пространственно-временного континуума они не остаются реальностью? Что там не гремят пушки и не льется кровь? Только то, что мы их не воспринимаем? Но это как раз доказывает субъективный характер момента настоящего времени, как на этом настаивает статическая концепция» (Молчанов 1990, с. 118—119).

В свою очередь, наглядным примером абсолютизации образа «Время-2» могут служить некоторые рассуждения А. Бергсона: «Длительность предполагает, следовательно, сознание; и уже в силу того, что мы приписываем вещам длящееся время, мы вкладываем в глубину их некоторую долю сознания... Постепенно мы распространяем эту длительность на весь материальный мир. Так рождается идея всеобщей длительности, то есть идея безличного сознания...» (Бергсон 1923 [1922], с. 39)

Согласитесь, что образ, например, стола, предающегося грустным воспоминаниям о тех временах, когда он был деревом, вызывает некоторую оторопь, равно как и видение продолжающих стрелять пушек Бородинского сражения...

В современной литературе широко распространен тезис о том, что любые концепции (представления о) времени являются продук-

тами человеческого сознания. Наряду с этим со времен Э. Дюркгейма, укоренилось представление, что продукты сознания являются социально и культурно обусловленными. Очевидно, что оба тезиса не слишком хорошо согласуются с феноменальной стабильностью «двух образов» времени. Взгляды на проблему времени оказались необыкновенно устойчивыми — ни рост научного знания, ни творческая индивидуальность мыслителей не проявляются здесь столь же сильно, как в случаях с иными философскими концепциями.

Означает ли это, что время все же является некоей «объективной реальностью» (если пользоваться марксистской терминологией) и возникающие в человеческом сознании образы времени только отражают эту реальность, «данную нам в ощущениях»? Следует ли из этого, что образы времени — всего лишь «коллективные представления» и поэтому не могут рассматриваться как социально обусловленные? Или устойчивость представлений о времени означает, что в каких-то кардинальных аспектах европейская культура и общество уже два с половиной тысячелетия остаются неизменными?

В сущности, здесь мы действительно видим наглядное подтверждение преемственности европейской культурной традиции. Философские взгляды на проблему времени не являются изолированными или, говоря языком математиков, «независимыми наблюдениями». Как правило, каждый из философов, занимавшихся проблемой времени, усердно цитировал своих предшественников начиная с Платона, а если даже и не делал этого, то демонстрировал явное знакомство с ними. Можно лишь повторить вслед за У. Эко: «Так мне открылось то, что писатели знали всегда и всегда твердили нам: что во всех книгах говорится о других книгах, что всякая история пересказывает историю уже рассказанную» (Эко 1989 [1980], с. 437).

Факт многовекового сосуществования двух образов времени не означает, естественно, их равноправия и одинаковой значимости на протяжении всей истории европейской цивилизации. В частности, разработка концепции «Время-1» существенно продвинулась в XVII в., когда начала бурно развиваться математика и механика. Развитие концепции «Время-2» интенсифицировалось в конце XIX — начале XX в., когда произошла резкая «субъективизация» общественных наук. Соответственно, с некоторой долей условности можно говорить о доминировании образа «Время-1» в XVIII—XIX вв. и образа «Время-2» в XX в. Впрочем, хотя большинство современных философов уделяет основное внимание разработке концепции «Время-2», почти

никто из них, даже ярые экзистенциалисты, не отрицает существование «Времени-1» полностью.

Заметим, что два рассмотренных нами образа времени сосуществуют не только в философии — они широко используются в общественных науках.

В социологической литературе факт наличия двух образов или концепций времени впервые был отмечен, по-видимому, в статье П. Сорокина и Р. Мертона (*Sorokin, Merton 1937*). Эти два образа времени они определили как «астрономическое время» («время часов») и «социальное время»: «Астрономическое время одинаково, однородно, оно является чисто количественным, лишенным качественных различий. Можем ли мы так же охарактеризовать социальное время? Очевидно, что нет — существуют праздники, дни, посвященные выполнению определенных общественных функций, „счастливые“ и „несчастливые“ дни, базарные дни и т. д.» (*Sorokin, Merton 1937, p. 621*).

В течение почти трех десятилетий статья Сорокина и Мертона оставалась едва ли не единственной социологической работой, в которой проблема «двух времен» обсуждалась в явном виде. По существу, лишь в книге У. Мура (*Moore 1963a*) была предпринята попытка развить и дополнить эти первые, довольно простые, характеристики различий между «астрономическим» и «социальным» временем.

Ситуация кардинально изменилась в 80-е годы, которые знаменовали собой резкое усиление интереса социологов к проблеме «двух времен». Отметим прежде всего анализ двух концепций времени, содержащийся в работе Н. Элиаса (*Elias 1984*), который обозначил их как «структурное» и «экспериментальное» время.

Довольно широкую известность получила и работа Э. Жака (*Jaques 1982*) — в ней двум типам времени «хронос» и «кайрос», т. е. «времени эпизодов», имеющему начало, середину и конец, и «проживаемому времени интенций» (*living time of intentions*) соответствуют две разных временных оси — «последования» (*succession*) и «намерений» (*intent*; ср. с «интенциональным временем» у Э. Гуссерля и «сетью интенциональностей» у М. Мерло-Понти). В концепции Э. Жака хронос является научным и логическим временем, ассоциирующимся с идеей «времени часов», а кайрос — человеческим циклическим временем, ассоциирующимся с идеей экзистенциального времени («Время-1» и «Время-2» в наших обозначениях).

Еще один пример — работа Т. Хагерстранда (*Hägerstrand 1985*), который различает «символическое» и «воплощенное» (*embedded*)

время, т. е. концептуализированное время часов и календарей и время, воплощенное в событиях, вещах, условиях. «Воплощенное» время, по его мнению, является составной частью знания социального исследователя.

Обсуждение двух концепций времени в экономической литературе, как и в социологии, началось лишь в 1930-е годы, в работах шведских экономистов Г. Мюрдаля и Э. Линдаля. В частности, они первыми поставили вопрос о непригодности «Времени-1» для анализа динамических процессов установления равновесия и попытались решить эту проблему с использованием концепции «Время-2» (*Myrdal 1939 [1934]; Lihndal 1939*; см. также: *Currie, Steedman 1990*). Из ранних исследований можно отметить также не очень известную работу У. Худа (*Hood 1948*), в которой был поставлен вопрос о двух типах измерения экономического времени.

Однако опять-таки, как и в социологии, всерьез проблема двух времен стала осознаваться экономистами лишь в 1960-е годы, прежде всего благодаря работам Дж. Шэкла (*Shackle 1958; 1961; 1965; 1972*). Как отмечал Шэкл, существуют две концепции времени: бесконечное время, о котором можно мыслить, и моментное время (*momentary time*), в котором возникает мысль. Время как схема мышления отличается от времени как двигателя опыта. Первое — время, наблюдаемое извне вневременным наблюдателем. Второе — реальное время, в котором существует наблюдатель и в котором действуют экономические субъекты. Второе время является одномоментным, но именно оно обладает реальной динамической структурой, задаваемой памятью и ожиданиями (*Shackle 1961, p. 14—16*).

Можно выделить также проблему различий в трактовке «скорости течения» времени, присущих двум его образам: в одинаковые промежутки астрономического времени может происходить больше или меньше событий, и скорость течения времени воспринимается как более и менее высокая. Эта тема весьма популярна в современной литературе по психологии восприятия времени, где рассматривается проблема формирования чувства «длительности» времени на индивидуальном уровне и выделяются факторы, от которых зависит индивидуальное ощущение «скорости» и «плотности» времени (см. например: *Flaherty 1986*; о психологии времени см. ниже, § 1 гл. 5).

Наконец, нельзя не упомянуть о разработке образов времени в художественной литературе (см. например: *Meyerhoff 1955*). Так,

проблема «скорости течения» времени была прекрасно описана У. Шекспиром в комедии «Как вам это понравится», акт III, сцена 2 (подробнее о времени в произведениях Шекспира см.: *Барз* 1979, гл. 2). Позволим себе привести соответствующий отрывок полностью, дабы перевести дух после нашего краткого экскурса в философию времени.

«Розалинда. Скажите, пожалуйста, который час?

Орландо. Вам следовало спросить меня — какое время дня: в лесу часов нет.

Розалинда. Значит, в лесу нет ни одного настоящего влюбленного: иначе ежеминутные вздохи и ежечасные стоны отмечали бы *ленивый* ход времени не хуже часов.

Орландо. А почему не *быстрый* ход времени? Разве не все равно, как сказать?

Розалинда. Никоим образом, сударь: время идет различным шагом с различными людьми. Я могу сказать Вам, с кем оно идет иноходью, с кем — рысью, с кем — галопом, а с кем — стоит на месте.

Орландо. Ну скажи, пожалуйста, с кем время идет рысью?

Розалинда. Извольте: оно трусит мелкой рысцой с молодой девушкой между обручением и днем свадьбы; если даже промежуток этот только в семь дней, время тянется для нее так медленно, что он кажется ей семью годами.

Орландо. С кем время идет иноходью?

Розалинда. С попом, который не знает по-латыни, и с богачом, у которого нет подагры: один спит спокойно, потому что не может заниматься наукой, а другой живет спокойно, потому что не испытывает страданий; одного не гнетет бремя сухого, изнуряющего ученья, другой не знает бремени тяжелой, печальной нищеты. С ними время идет иноходью.

Орландо. А с кем оно несется галопом?

Розалинда. С вором, которого ведут на виселицу: как бы медленно он ни передвигал ноги, ему все кажется, что он слишком скоро придет на место.

Орландо. А с кем же время стоит?

Розалинда. Со стряпчими во время судебных каникул, потому что они спят от закрытия судов до их открытия и не замечают, как время движется!»

(Шекспир 1957—1960, т. 5, с. 62—63).

Наличие двух разных образов времени плодотворно используется авторами научно-фантастических произведений, посвященных «путешествиям во времени». Но если философы и обществоведы стараются разделить эти два образа, то писатели-фантасты, наоборот, стараются их объединить. И объясняется это тем, что «смещение времен», т. е. одновременное сосуществование в сознании двух образов времени, приводит к довольно любопытным художественным эффектам.

С одной стороны, во всех научно-фантастических описаниях путешествий во времени (начиная с Г. Уэллса, а особенно ярко у А. Азимова в «Конце вечности») отчетливо присутствует «Время-1», в котором все события, происходящие в разные времена, сосуществуют или происходят как бы одновременно, что и делает возможным перемещение в некую «точку» прошлого или будущего. С другой стороны, в литературных произведениях такого типа обычно присутствует и «Время-2», т. к. предполагается, что изменение прошлого (которое для действующего является настоящим в момент действия) может повлечь за собой изменение нашего настоящего (которое является будущим относительно этого настоящего-прошлого). Именно в результате одновременного использования двух, в некотором смысле противоположных, концепций — «Времени-1» и «Времени-2» в наших обозначениях — возникает большинство так называемых «парадоксов путешествий во времени» (встреча самого себя в прошлом, вмешательство в прошлые события, приводящее к изменениям настоящего и будущего, и т. д.).

2. Темпоральные характеристики исторических исследований

Не в пример философам историки проявляли поразительное (учитывая специфику их профессии) равнодушие к методологическим проблемам исторического времени — в числе немногих исключений можно упомянуть интересные работы М. де Серто, Р. Козеллека и Д. Лоуэнталя (*Certeau* 1988 [1975]; *Kosellek* 1985 [1979]; *Lowenthal* 1985). В данном параграфе мы попытаемся очертить лишь самые общие

контуры сюжета «историческое время в исторических сочинениях», оставив его более детальное рассмотрение для последующих разделов нашей работы.

Прежде всего ясно, что историки самым активным образом используют концепцию «Время-1» — это выражается в попытках «заполнить» время событиями. «Время-1» присутствует, в частности, в хронологии, без которой немыслима история: например, для любого современного европейского историка падение Рима произошло в 476 г., а первая мировая война началась в 1914 г. и между двумя этими событиями прошло именно 1438 лет независимо от субъективных представлений того или иного исследователя. Далее, для историка все исторические события прошлого присутствуют в его сознании: он может практически одновременно размышлять, например, об убийстве Цезаря, крестовых походах и Ватерлоо, что подразумевает одновременное «сосуществование» каждого из этих событий в сознании, т. е. каждое из них находится в своей собственной «точке» времени.

Но вместе с тем историческое время воспринимается и как достаточно неоднородное: оно может быть более плотным, насыщенным или, наоборот, разреженным. Одни и те же интервалы времени, измеренные в календарных годах, представляются более или менее продолжительными. Точно так же очевидно, что упоминавшиеся выше Св. Августин (354—430) и Боэций (ок. 480—524/526) жили примерно «в одно время», а И. Кант (1724—1804) и А. Бергсон (1859—1941) — «в разное», хотя промежутки времени, отделяющие смерть одного мыслителя от рождения другого, в обоих случаях более или менее одинаковы. Для любого российского историка дистанция, например, между 1909 и 1913 гг. совсем не такая же, как между 1913 и 1917 гг., хотя в обоих случаях речь идет о промежутке в четыре года. Наконец, типичный историк Нового времени, начиная с эпохи Просвещения, размышляет в контексте каузально-эффективного времени. Выявление причинно-следственных связей между последовательными событиями является почти непременным атрибутом любого исторического сочинения.

Подобные примеры можно приводить и дальше, но, по-видимому, уже ясно, что в исторических исследованиях присутствуют как «Время-1», так и «Время-2». Вопрос заключается лишь в пропорциях этой «смеси», равно как и в определении факторов, влияющих на эти пропорции.

В связи с этим мы хотели бы остановиться еще на одной проблеме взаимодействия двух образов времени, а именно времени наблюдателя и времени действующего. В социологической и экономической литературе, посвященной проблемам времени, «Время-1» иногда ассоциируется с представлениями «наблюдателя», а «Время-2» — с представлениями «действующего» социального субъекта (см. например: *Shackle* 1961 и др.). Правомерность такого подхода, наверное, нуждается в дальнейшем уточнении, но для целей нашего исследования он вполне удобен и позволяет более четко структурировать обсуждаемую проблему.

Изучая общество, каждый исследователь, с одной стороны, является как бы внешним «наблюдателем», и в таковом качестве он использует в своем анализе «Время-1» — события социальной жизни при этом размещены во времени и заполняют его. С другой стороны, сам процесс «наблюдения» как действия протекает во «Времени-2». Описание и анализ социальных процессов зависят от положения наблюдателя во времени, от того, что именно для него является «прошлым», «настоящим» и «будущим» и, соответственно, от его представлений о каждом из этих трех компонентов временного процесса — его «памяти» (знаний, информации, представлений о прошлом) и его «ожиданий» (прогнозов, представлений о будущем). Существенное значение имеет, наконец, степень осознания исследователем своей двойственной роли — наблюдателя и действующего.

Довольно четко эта двойственность была сформулирована К. Ясперсом. «Историческое сознание заключено в рамки некой полярности, — писал он. — В одном случае я отступаю, вижу в истории нечто противоположное, подобное далекому горному хребту, в ее целостности, в ее основных линиях и особых явлениях. В другом — полностью погружаюсь в настоящее в его целостности, в данное мгновение, которое есть, в котором нахожусь я, в глубинах которого история становится для меня настоящим, тем, что есть я сам. То и другое необходимо в равной степени — как объективность истории в качестве другого, существующего и без меня, так и субъективность этого „теперь“, без которого то другое не имеет для меня смысла. Каждое из них в отдельности лишает историю ее действительности, либо превращает ее в бесконечное знание, наполненное любым содержанием, либо предает ее забвению» (*Ясперс* 1991 [1948], с. 275).

Заметим, далее, что время действующего (т. е., условно говоря, «Время-2») также выступает в научных исследованиях в двух раз-

ных качествах. В первом случае темпоральные представления действующего в обществе субъекта или субъектов могут являться *объектом* анализа, проводимого наблюдателем, и исследоваться как самостоятельный феномен социальной жизни (этот вопрос мы детально рассматриваем ниже, в гл. 5). Во втором случае, который мы, собственно, и обсуждаем в данном разделе, речь идет о концепции времени, используемой самим исследователем (социологом, экономистом, историком и т. д.) при анализе общественного развития. Здесь образ «Время-2» выступает не как объект, а как инструмент исследования.

Рассматривая эволюцию исторического времени, можно отметить, что до середины XVIII в. историю пытались писать исключительно с позиций наблюдателя; т. е. в рамках концепции «Время-1». Сообщавшиеся в работах исторические сведения претендовали на роль абсолютной истины (независимо от степени их надежности). Соответственно, историческое знание предполагалось «абсолютным», а история прошлого — однозначной. Требовалось лишь установить характер и очередность событий, т. е. «заполнить» историческое время, и, будучи однажды расположена во времени, история прошлого не должна была претерпевать никаких изменений. Конечно, это не означает, что все писали одну и ту же историю, но каждый автор исходил из того, что рассказанная им «история» — единственно верная и не подлежит дальнейшему пересмотру.

Со второй половины XVIII в. время все чаще начинает рассматриваться не просто как среда, в которой происходят все «истории», — оно приобретает историческое качество (подробнее см. ниже, гл. 2). Начиная с этого периода в исторической эпистемологии стало складываться представление, что истина в истории не едина. Историческое время приобрело качество, производное от опыта, и это означало, что прошлое в ретроспективе можно интерпретировать по-разному. Стало само собой разумеющимся, что история должна постоянно переписываться (Koselleck 1985 [1979], p. 249—250).

История была темпорализована в том смысле, что, благодаря течению времени, она изменялась в соответствии с данным настоящим, и по мере дистанцирования изменялась также природа прошлого. Как следствие, история теперь происходит не *во* времени, а *через* время. В XX в. эту мысль четко сформулировал Ж.-П. Сартр: «Мы должны понять, что ни люди, ни их действия не находятся *во времени*: время, как конкретное свойство истории, создается людьми

ми на основе их изначального времяполагания (temporalisation)» (Сартр 1994, с. 113 сн.).

Но «Время-1» не исчезло. Оно продолжает существовать как в традиционных формах — хронологическом принципе построения истории, нарративах и т. д., — так и в модернистских попытках использования каузально-нейтрального времени при создании «контрфактической» и «акцидентальной» истории. «Время-2», в свою очередь, в соответствии с научной модой все полнее воплощается в постмодернистских подходах к интерпретации истории, в попытках заменить рациональные способы реконструкции прошлого интуитивным «вчувствованием». По существу, как отмечал М. де Серто, «каждая историография использует *время вещей* как контрапункт и условие *дискурсивного времени*» (Certeau 1988 [1975], p. 88)²³.

История издавна обладала монополей на время мира в самом широком, предельном смысле. Но в отличие от настоящего, которым занимается целый ряд социальных наук, прошлое изучено крайне неравномерно и по тематике, и по периодам. С одной стороны, предполагается, что история «заполнена» событиями, которые сосуществуют одновременно. С другой стороны, эта «заполненность» истории не являет себя в некоем абсолютном абстрактном смысле. Историческое время «заполняют» историки. И как наблюдатели они действуют во *Времени-2*, «заполняя» прошлое в соответствии с представлениями своего «настоящего». Временная неоднородность заполнения прошлого и субъективность этого заполнения являются отличительными признаками исторического знания. «В старину географические карты не знали единого масштаба; наряду с более или менее правильным воспроизведением местности они содержали фантастические картинки и просто белые пятна. Иное историческое повествование и поныне напоминает подобную карту...» (Гулыга 1969, с. 22).

Эти рассуждения легко пояснить на примере любой хронологической таблицы, с которой знаком каждый. Если вас попросят составить хронологическую таблицу, скажем, для XV в., то вы приведете в ней список важных с вашей точки зрения событий, проставив соответствующие даты (вообще говоря, идеология хронологических таблиц, о которых мы поговорим более подробно в следующей главе,

²³ Понятия «времени вещей» и «дискурсивного времени» у Серто примерно соответствуют используемым нами концепциям «Время-1» и «Время-2».

имеет еще более выраженные параметры «Времени-1», т. к. сначала пишется год, т. е. указывается «время», а уже затем событие, т. е. то, чем это «время» было «заполнено»). Но так или иначе, у любого изучающего вашу таблицу возникнут вопросы: что происходило между указанными датами и какие еще события имели место в отмеченные вами годы. Очевидно, что и выбор дат, и выбор заполняющих их событий является достаточно субъективным, ибо любая хронологическая таблица, да и история в целом, пишутся во «Времени-2».

Как отметил К. Леви-Стросс, «меняющееся количество дат, применительно к периодам равной протяженности, измеряет то, что можно назвать напором истории: есть „горячие“ хронологии, являющиеся хронологиями эпох, где, на взгляд историка, много событий имеют черту дифференциальных элементов; другие же, с точки зрения этого же историка (но не людей, их переживших), имеют весьма мало событий, а иногда и никаких» (Леви-Стросс 1994 [1962], с. 318).

Содержательное наполнение времени детерминировано разными факторами. Прежде всего возможность «заполнить» время зависит от наличия сведений о нем — источников. Именно отсутствием письменных или материальных источников объясняются большие провалы в истории, особенно древней. Немаловажным обстоятельством является также их доступность. Под доступностью имеется в виду и возможность обработки: например, чтобы прочесть многие древние рукописи, нужно было расшифровать мертвые языки. Когда появилась возможность обработки больших массивов статистики с помощью компьютеров, в среде историков возник интерес к малопопулярным до того темам: изучению долговременных тенденций развития в исторической демографии, экономической истории и др. — и прошлое совершенно преобразилось.

«Заполненность» времени определяется также политическими обстоятельствами и идеологическими доктринами. Например, в марксистской концепции доминирует история социальных движений и революций, в новой левой историографии — история движений протеста. Весьма показателен в этом смысле случившийся в последние десятилетия небывалый всплеск интереса к истории женщин. Если судить по количеству соответствующих публикаций и особенно конференций и секций на исторических симпозиумах, то самыми популярными историографическими направлениями в последнее десятилетие являются история женщин и гендерная история (см.: Бок 1994 [1988]). Это — реакция на общепризнанную важность женского воп-

роса в западном обществе, на борьбу женщин за равноправие. (Сегодня по этой теме легче публиковаться, защищать диссертации, добиться признания в научном сообществе, получить место в университете и т. д.) Столь же «многообещающей» была у нас в свое время проблематика рабочего движения. В годы перестройки интерес резко сместился к истории реформаторских инициатив в России.

Помимо политической моды или политических обстоятельств в Новое время существует и диктат научной моды, влиятельных или ярких социальных теорий. Например, после того как появились теории конфликта или власти в социологии, историки начали разрабатывать эти сюжеты применительно к прошлому. Аналогичным было влияние теории модернизации, породившей множество исследований, анализировавших конкретно-исторические общественные трансформации. Разработка концепций перехода, изменений вызвала в исторической науке интерес к началу Нового времени, генезису капитализма. Результатом подобной концентрации интереса на отдельных проблемах нередко становится деформация истории.

И наконец, не следует забывать о духе времени. Именно он нередко порождает увлеченность определенными историческими периодами. Так, историки Возрождения разделяли со своими современниками пристрастие к античности, романтики XIX в. — к Средним векам, а, к примеру, националисты XX в. — к временам, в которых обнаруживаются исторические корни нации и т. д.

Таким образом, историки изучают свой предмет во времени диверсифицированно, частями, под разными углами зрения. Неупорядоченность, дробность, неравномерность, мозаичность изученности различных подсистем в разные исторические эпохи и в разных географических ареалах, «белые пятна» и «серые ниши» прошлого — таково полотно исторического времени. Но историческое знание в целом позволяет, когда необходимо, перевести взгляд и увидеть все многообразие «мира истории»: структуры и связи, события и действия, бытие народов и повседневную жизнь, героев и «маленького человека», обыденное сознание и глобальные мировоззрения.

Мы уже неоднократно возвращались к мысли о том, что у истории нет объекта исследования, отдельного от других социальных наук. Все определения времени свидетельствуют, что как таковое оно не может быть предметом истории. Другие объекты, на которые претендуют историки, — человек и общество — как предметы изучения находятся у социальных наук в коллективном пользовании. Более

того, парадоксально, но факт: существует homo economicus, homo politicus, homo sociologicus, но науке неизвестен homo historicus (известен только доисторический человек). Историческими объектами человека и общество делает время, но это скорее качественная характеристика объектов исследования — человека и общества.

Структура времени (прошлое—настоящее—будущее) не одинакова. Прошлое и будущее предполагаются бесконечными, в то время как настоящее — это всего лишь точка на оси времени. Но мало кто понимает настоящее как мгновение — подразумевается, что «настоящее», во-первых, представляет собой некоторый отрезок времени, во-вторых, зона «настоящего» несимметрична по отношению к прошлому и будущему²⁴. Будущее отделено от настоящего четко, а прошлое как бы сливается с ним, и границу между прошлым и настоящим мы проводим интуитивно. Т. е. «настоящее» включает ближайшее прошлое, отрезок ближайшей истории. При этом, как подчеркивал Й. Хейзинга, «исторически ориентированный индивидуум, как правило, охватывает больший кусок прошлого в своем представлении о современном, чем тот, кто живет близоруко, настоящим моментом» (Хейзинга 1992 [1938], с. 220).

«Пока я наблюдаю человека с деревянной ногой, я говорю о дряхлеющем настоящем, как только я говорю о человеке, который потерял ногу, я говорю о прошлом», — пишет английский философ М. Оукшот (Oakshott 1983, p. 7), и этот образ можно использовать для определения объекта истории. Как заметил К. Поппер, «все истории исходят из того, что история — это то, что случилось в прошлом, но в то же время многие полагают, что история всегда заканчивается сегодня, в этот самый момент времени» (Поппер 1993 [1957], с. III). Кардинальный вопрос методологии истории — это вопрос о том, как изучать исчезнувший объект, объект, существовавший в прошлом. Поскольку объект познания в истории, как правило, невозможно наблюдать или воспроизвести экспериментально, постольку возникает вопрос о реальности прошлого как объекта познания. Так что же все-таки изучает историк? Человека, потерявшего ногу? Или человека до того, как он потерял ногу? Или, может быть, саму потерянную ногу?..

²⁴ Выражаясь языком математиков, можно сказать, что настоящее — это «односторонняя ε -окрестность» данного мгновения.

§ 4. ИСТОРИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Существует устойчивое мнение, что гуманитарии являются наименее развитой частью научного сообщества. В действительности это — ошибочное суждение.

Е. В. Семенов. О пользе самостоятельности²⁵

Поскольку историческое познание в Новое время развивалось в тесном взаимодействии с другими социальными науками, важнейшей характеристикой этой эволюции были междисциплинарные отношения, в которые вступала история. Последовательные и постоянные контакты с социальными и гуманитарными науками и даже с литературой и другими видами искусства модифицировали облик истории, давали ей возможность проникать в закрытые для нее самой зоны знания, использовать новые методы, экспериментировать с историческим материалом. Благодаря такому синтезу история всегда соответствовала своему времени, т. е. последовательно отражала основные научные парадигмы эпохи.

Осмысливая взаимоотношения истории с другими науками о человеке и обществе, Э. Ле Руа Ладюри считал необходимым подчеркнуть их соподчиненный характер: «Представителей более сложных дисциплин мы пропускаем вперед, в разведку, часто с угрозой для жизни, через минные поля, лежащие на общем пути. Что же касается нас, историков, то мы широко пользуемся богатствами, накопленными отраслями знания, обладающими количественными характеристиками, а именно: демографией, экономикой, даже эконометрикой. Мы без стыда заимствуем — хотя и возвращаем сторицей... из кладовой этнографии...» (Ле Руа Ладюри 1993 [1974], с. 157—158).

Но важно иметь в виду, что всякий раз, когда история использует достижения других наук, щелкает переключатель времени: история заимствует методы и приемы извне с целью изучения прошлого. Тем самым, даже если эти методы сами по себе не имеют временного измерения, в руках (головах) историков они становятся инструментом, в том числе, а иногда и в первую очередь, для анализа темпо-

²⁵ Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1995. № 1, с. 21.

ральности. История, по смыслу своему имеющая дело прежде всего с временем наблюдателя (интерпретацией прошлого), не может просто заимствовать достижения социальных наук, занимающихся современностью, но должна видоизменять и развивать их применительно к отсутствующему социальному объекту.

Схему развития отношений истории с другими областями знания, а затем науками, можно представить следующим образом. В эпохи античности и Средних веков история существовала и развивалась в сочетании с мифологией, религией, теологией, литературой и в какой-то мере с географией. В эпоху Возрождения мощный импульс дали истории географические открытия, расцвет искусства, политические теории. В XVII — первой половине XIX в. история сохраняла связь с политической теорией, географией, литературой и культурой; затем, стремясь к научности, синонимом которой является точность, она начала все больше опираться на данные новых по тем временам дисциплин — археологии и лингвистики. В то же время первая половина XIX в. — это период наиболее тесного синтеза истории и философии, золотой век «философии истории», время создания исторических схем всемирного масштаба.

Утверждение позитивного метода и во многом, но далеко не во всех случаях связанное с ним формирование таких социальных наук, как социология, социальная психология, антропология, представители которых в большей мере, чем историки, считали делом чести использование концепций и теорий (*Burke* 1993, p. 2), дали очень неоднозначную картину взаимовлияния истории и социальных наук. П. Берк справедливо отмечает: «Мы живем в век расплывчатых линий и открытых интеллектуальных границ, век одновременно волнующий и приводящий в замешательство. Ссылки на Михаила Бахтина, Пьера Бурдьё, Фернана Броделя, Норберта Элиаса, Мишеля Фуко, Клиффорда Герца можно найти в работах археологов, географов и литературных критиков, так же как и в работах социологов и историков» (*Burke* 1993, p. 21).

Отношения истории с другими социальными науками в разные периоды складывались по-разному, но крупнейшие представители историографии всегда верили в «общий рынок» общественных наук (*Бродель* 1977 [1958]). Эта вера сохраняется и сегодня, поубавилось только эйфории по поводу «неограниченных» возможностей синтеза. Взаимопроникновение и взаимообогащение социальных наук, так называемая междисциплинарность, — явление в принципе характерное для последнего столетия, и обусловлено оно именно размеже-

ванием социальных наук, их выделением в самостоятельные области знания. В результате процесс разделения труда и специализации сопровождается углублением взаимосвязей; модели и методы одних дисциплин все чаще используются в других, нередко модифицируя и предмет исследования. История в этом смысле не представляет исключения.

Не вдаваясь более в дискуссию об определении социальных наук, отметим, что в данном параграфе мы остановимся на взаимодействии истории со следующими дисциплинами: политологией, экономической наукой, социологией, психологией, культурной антропологией и географией. «Что касается лингвистики, которую многие мои коллеги, в основном не-лингвисты, почитают за маленькую королеву среди общественных наук, то я ни в коей мере не недооцениваю ее достоинств. Однако — увы! — она находится вне области моих исследований. Действительно, должен признать, что вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на тот интерес, который вызывают занятия лингвистикой, я из чисто личной склонности совершенно не уделял времени „словам“, больше занимаясь „вещами“, стоящими за ними... Ведь я с таким трудом научился считать, где уж мне выкроить время на овладение чтением» (*Ле Руа Ладюри* 1993 [1974], с. 155).

Здесь мы не ставим своей целью дать сколько-нибудь полный обзор работ по всем перечисленным направлениям, поскольку это было бы равнозначно обзору едва ли не всех исторических исследований. Наша задача состоит в том, чтобы проследить развитие пространства социальных наук, в фокусе которого в данном случае находится история, на протяжении Нового времени и одновременно показать каналы влияния отдельных научных дисциплин на способы исторической интерпретации прошлого. История, которую можно рассматривать как систему социальных наук, анализирующих прошлые, уже несуществующие общества, естественным образом взаимодействует с социальными науками, занимающимися современностью. Это взаимодействие проявляется как в общности предметов и методов исследования, так и в обоюдных нарушениях условной границы, отделяющей прошлое от настоящего.

1. История и политология

Хотя сейчас кажется, что история всегда и прежде всего была историей политического, на самом деле политическая тематика в

ней утверждалась медленно. Раньше всего, как считает французский историк Ж. Ле Гофф, под стимулирующим воздействием эволюции «сеньории», политическая история завоевывает позиции в Италии (Ле Гофф 1994 [1971], с. 179). Появление исторических способов объяснения общественной жизни в период Возрождения во многом было связано с преодолением средневекового религиозного взгляда на мир и приходом ему на смену представлений более светского и темпорального характера. Немалая роль в этом процессе принадлежала политике, точнее, ранней республиканской политической теории Нового времени. Важный компонент республиканской теории — да и любой политической теории — составляют идеи о времени, о происхождении случайных событий, измеряемых временем, о неизбежной последовательности отдельных происшествий, которые в совокупности и образуют то, что мы называем историей. Именно эти особенности республиканской теории позволяют считать ее ранней формой историзма, хотя, как указывает Дж. Покок, многие коннотации нашего слова «история» в то время обозначались другими словами и их эквивалентами (Посок 1975, р. 7).

Аристотелианское учение, в особенности начиная с XIII в., когда появились сочинения Фомы Аквинского, в разных версиях предлагало набор понятий и терминов, вполне пригодных для описания новой политической реальности. Республика Аристотеля в том виде, в каком ее концепция возродилась в гражданской гуманистической мысли XV в., была одновременно универсальной, в том смысле, что она существовала, чтобы реализовать для граждан все ценности, которые человек способен реализовать в своей жизни, и частичной, в том смысле, что она была конечной и расположенной в пространстве и времени.

Возрождение республиканского идеала в трудах Н. Макиавелли и других флорентийцев поставило проблему создания общества, в котором воплотилась бы политическая природа человека, описанная Аристотелем, и которое при этом стремится существовать в рамках христианской схемы времени, отрицающей возможность любого секулярного воплощения (fulfillment). Возможности европейской мысли того времени были слишком ограничены, чтобы объяснить секулярное время. Но решение проблемы существования республики во времени могло быть найдено при использовании таких понятий, как обычай, добродетель и фортуна, что и определило специфику мысли флорентийцев (Посок 1975, р. 3).

Сам политический словарь того времени: «искусство возможного», «авантюризм правителей», «корабль, прокладывающий себе путь в бездонном и безбрежном море», — говорит о том, что политика оказывала сильное влияние на развитие светской историографии, если иметь в виду область случайного в истории, «игру случайного, неожиданного и непредсказуемого» (Посок 1975, р. 8).

Таким образом, история в период Нового времени генетически оказалась связанной прежде всего с политическими процессами, характерными для трансформации традиционного общества в современное. «Не философия открыла историзм духа (так называемое „историческое сознание“), — замечает Манхейм, — а политическая жизнь...» (Манхейм 1994 [1929], с. 64). Создание властных структур, характерных для абсолютизма, политическое оформление новой социальной структуры общества, отражавшее становление буржуазии, формирование новой государственности, равно как и сопровождающие все эти, невидимые для современников трансформации, войны, бунты и революции, стали благодатной почвой для развития исторического знания. Напомним еще, что это была эпоха исторических персонажей. «Возвышение монархического государства, государя и его слуг, — пишет Ле Гофф, — вывело на авансцену исторических подмоштов этого театра теней марионеток двора и администрации, которые заворожали историков, равно как и обывателей». Сфера политического — сфера элиты. «Политическая история, концентрируя внимание на таком объекте, сама обретает лоск и благородство. Она приобщается к аристократическому миру и стилю» (Ле Гофф 1994 [1971], с. 180).

Тем не менее поступь политической истории, обычно определяемой как изучение всех аспектов прошлого, связанных с формальной организацией власти в обществе, которая практически у всех цивилизованных народов отождествляется с государством, была неспешной. Франции, столь богатой политическими событиями, пришлось дожидаться XVII столетия, чтобы существенное «политика» стало широкоупотребительным и тем упрочило позиции, которые с XVI в. обеспечило себе прилагательное «политический». Лишь с этого времени во французском языке утверждается целый комплекс слов, производных от *polis*, которые, равно как и производные от *urbs*, «захватили семантическое поле цивилизации» (Ле Гофф 1994 [1971], с. 179).

И все же в целом историография XVIII и начала XIX в. еще не свидетельствует о господстве политической истории. Век Просвещения славится прежде всего сочинениями, целью которых было опре-

деление исторических тенденций развития, типов социальных и политических систем. Особое внимание привлекала, в частности, история Рима: подтверждение этому — соответствующие работы Ш. Монтескье, Э. Фергюсона и А. Гиббона (*Монтескье* 1955 [1748]; *Фергюсон* 1817—1818 [1765]; *Гиббон* 1883—1886 [1776—1788]). Тогда же появились знаменитые труды по социальной истории и истории нравов — упомянем хотя бы «Опыт о нравах и духе народов» Вольтера (*Voltaire* 1765—1769).

Столетие спустя отношения между социальной теорией и политической историей радикально изменились. В историографии утвердился вариант исторического исследования, в котором обосновывалась положительная роль государства и власти. В то же время проблема соотношения государства и общества оказалась вне поля зрения большинства историков. Соответственно изменился и баланс между социальным и политическим компонентами. Политическая история стала бесспорным лидером историографии, и надолго. Известный немецкий историк А. Шлецер говорил: «История без политики — это просто монашеские хроники» (цит. по: *Butterfield* 1955, p. 41). Шлецер предложил совершенно новый взгляд на всемирную историю. Подъем политической истории во второй половине XIX в. объяснялся не только обстоятельствами развития исторической науки, но и политическими факторами. В это время национальные движения в Европе использовали историческое мифотворчество как свое главное орудие. Становление национальных государств, формирование национального самосознания, подъем национализма — все эти процессы активизировали воспитательную функцию истории, которая приобрела прямо-таки государственный характер.

Свое классическое выражение политическая история обрела в немецкой исторической школе. Высокий статус «политического» и «государственного» привлек внимание историков к совершенно новым источникам — государственным документам. Революция в источниках и методах их критики, связанная с именем Ранке, привела к падению престижа историков, разрабатывающих социальные темы, работы которых выглядели непрофессионально в сравнении с работами ранкеанцев²⁶. Отождествление политической истории с науч-

²⁶ Общеизвестным уже в то время исключением являлось сочинение Н. Фюстеля де Куланжа «Гражданская община античного мира» (*Фюстель де Куланж* 1867 [1864]); см.: *Burke* 1993, p. 5.

ным, *позитивным*, исследованием редко подвергалось сомнению. Шатобриан, сумевший распознать сиюминутность политической истории и выступавший против нее, остался одинок (*Ле Гофф* 1994 [1971], с. 180).

Лишь в XX в. начинается отступление политической истории, а затем, по мере оформления «новой истории» — экономической, социальной, рабочей и т. д., — и ее кризис. С той же категоричностью, с какой век назад ее относили к самой передовой отрасли исторического знания, ее стали считать чуть ли не самой теоретически отсталой.

К 1970-м годам демонстративное пренебрежение политикой, событием и рассказом приобрело догматический характер, а главное — лишило историю ее важнейших атрибутов и сильно ослабило хронологический код. Потребовалось полное методическое переоснащение политической истории: конструирование структур, использование методов социального анализа и достижений семиотики, — для того чтобы она смогла присоединиться к «новым» историческим субдисциплинам, однако дискуссия о способах «возрождения» политической истории продолжается до сих пор. В конце 1960-х годов внимание историков привлекла проблема механизмов власти. Огромную роль в этом процессе сыграли работы М. Фуко о власти, насилии и принуждении. Возвращение к теме политики явилось также реакцией на уничтожение сюжета в истории (*Дюби* 1992, с. 57). В политической истории появились совершенно новые темы: политический символизм, политическая ментальность, политический компонент в истории культуры (пропасть, отделявшая *litterati* от *illitterati*, естественно предполагала разные формы и разные степени в обладании властью) и религии (значение политического в религиозных движениях и ересь). Однако мы готовы согласиться с распространенным мнением, что главный вклад социологии и антропологии в политическую историю — понятие *власти* и те реалии, которые оно включает, и что «анализ политической истории в категориях *власти* выходит и должен в интересах дела выходить за рамки, очерчиваемые при изучении политической истории в категориях *государства* и *нации*» (*Ле Гофф* 1994 [1971], с. 181).

Политическая теория немало способствовала темпорализации истории Нового времени. Она оказалась одним из первых элементов в фундаменте возникающего историзма. Республиканизм, будучи одновременно доступным средневековому сознанию и сознанию Возрождения, объединял в единое целое событие, случай и время как

среду, организующую ход и последовательность событий. Позже изучение политических объектов и форм во времени, поставленное во главу угла немецкой исторической школой, и выбор ее представителями в качестве основных предметов исследования государства и нации, позволил разработать современные принципы историзма. Не исключено, что историзм мог бы развиваться как подход и вне рамок политической истории, но случилось так, как случилось: проблемы традиции и преемственности, как факторов, обеспечивающих стабильность и развитие государства-нации, сформулировала именно немецкая историческая школа. Политическая доминанта, мощно звучавшая в истории Нового времени, привела к тому, что на временной оси прежде всего располагались политические события, и их чередой определялась связь времен. Представления из области политической теории во многом определили и формы исторического детерминизма как системы причинно-следственных связей во времени.

2. История и экономическая наука

Несмотря на то, что хозяйственная деятельность (производство, распределение, обмен и потребление) имеет столь же древнюю историю, как сама цивилизация, экономическая наука является относительно молодой. Достаточно сказать, что первый самостоятельный курс экономической теории был прочитан лишь в 1801 г. в Эдинбургском университете Д. Стюартом, учеником и другом А. Смита (*Аникин* 1979, с. 121).

Вместе с тем зачатки экономического анализа, как, впрочем, и многого другого, можно найти еще в трудах греческих философов V—IV вв. до н. э. Одной из первых экономических работ является, по видимому, сочинение Ксенофонта (ок. 430—355/354 до н.э.) «О домашнем хозяйстве» или «Экономика» (этим термином — от *oikos* — дом и *nomos* — закон или правило — Ксенофонт обозначал практическую мудрость в управлении домашним хозяйством; см.: *Ксенофонт. О домашнем хозяйстве*). Целый ряд экономических суждений о прибыли, ссудах, проценте и т. д. можно найти также в работах Платона и Аристотеля. Греческим философам, в частности, принадлежит честь изобретения не только самого слова «экономика», но и целого ряда других экономических терминов, таких, например, как «монополия» (*μόνος* — единственный и *πωλέω* — продавать). Но начиная с этих первых работ и вплоть до конца XVIII в. экономическая

наука сводилась к обсуждению фактически лишь двух проблем — нравственной сути (внутреннего философского смысла) экономических явлений и государственной экономической политики²⁷.

Первая линия проходит через труды средневековых схоластов, занимавшихся поисками «справедливой цены» и боровшихся со ссудным процентом как с попытками присвоения плодов Божьего создания — времени, через работы философов-просветителей XVIII в. — Юма, Гельвеция, Кондильяка, до сочинений классиков — А. Смита, Д. Рикардо и их многочисленных последователей, пытавшихся понять, что есть стоимость, откуда она берется и справедливо ли распределяется. В XIX в. следы этого направления в развитии экономической мысли достаточно отчетливо проявлялись в работах социалистов-утопистов Р. Оуэна и Ш. Фурье, в «утилитаризме» И. Бентама и Дж. С. Милля, у К. Маркса и многих других мыслителей. В XX в. эту линию пытались продолжить многие достаточно известные экономисты — от С. Булгакова в России до Л. Мизеса и Ф. Хайека в Австрии, но постепенно она сходит на нет и вытесняется за пределы экономической науки, куда-то в неопределенную область, именуемую «экономической философией» или «философией хозяйства».

Вторая линия, связанная с анализом государственной экономической политики, с момента своего зарождения и вплоть до конца XIX в. занимала доминирующие позиции в экономических исследованиях. Об этом свидетельствуют даже названия работ знаменитых греков, в которых рассматривались экономические проблемы, — «Государство» и «Законы» Платона, «Политика» Аристотеля. Для обозначения этой функции экономической науки малоизвестный автор XVII в. А. Монкретьен ввел в оборот термин «политическая экономия», и этот термин использовался для обозначения всей экономической науки вплоть до конца XIX в., когда А. Маршалл заменил «political economy» на «economics» (*Маршалл* 1983—1984 [1890]). Дань «политической экономии» отдали практически все выдающиеся экономисты XVIII — первой половины XIX в., от Ф. Кене, А. Тюрго и А. Смита до Д. Рикардо, Ф. Листа и К. Маркса.

²⁷ По истории экономической мысли написано огромное количество работ: отошлем читателя прежде всего к фундаментальному труду Й. Шумпетера (*Schumpeter* 1954; см. также: *Шумпетер* 1989—1990). Не-экономисты могут составить весьма полное представление о развитии экономической мысли до середины XIX в. на основе работы: *Аникин* 1979.

Не считая некоторых разрозненных попыток, предпринимавшихся в первой половине XIX в. (Ж.-Б. Сэ, О. Курно, И. Тюнен), лишь в последней трети прошлого столетия экономика из смеси философии и государственной политики начинает превращаться в науку об эффективном использовании ограниченных ресурсов. В XX в. именно эта трактовка предмета экономической науки становится доминирующей (см.: Роббинс 1993 [1935]).

Отношения экономической науки с историей складывались на протяжении последних двух с половиной столетий, т. е. с момента появления первых значительных экономических работ, мягко говоря, по-разному. В принципе, уже в XVIII в. предпринимались попытки проведения внеисторического экономического анализа — типичным примером могут служить «Размышления о создании и распределении богатств» А. Тюрго, написанные в форме 100 «теорем» или «аксиом» (Тюрго 1961 [1769]). Но хотя именно в «Размышлениях» исторический анализ фактически отсутствует, самого Тюрго, как известно, вряд ли можно обвинить в отсутствии интереса к истории или в пренебрежении историческим анализом.

В большинстве экономических трудов, написанных до начала XIX в., содержится подробный и, как правило, весьма интересный и содержательный исторический компонент. Здесь уместно указать на работы А. Смита, который в третьем томе своего знаменитого сочинения по существу предложил краткую экономическую историю Европы, или Т. Мальтуса²⁸, посвятившего немало страниц истории народонаселения (Смит 1962 [1776]; Мальтус 1868 [1798]). В XIX в. ситуация постепенно начинает меняться, и экономисты все чаще пренебрегают историей. Один из наглядных примеров — работы Д. Рикардо, который хотя и считается последователем и продолжателем теории А. Смита, но, будучи практическим финансистом, вообще не обращался к истории в своих экономических изысканиях. С последней трети XIX в. акцент в экономической теории переносится на проблемы статики, тем самым история по определению выносится за рамки исследования.

Тем не менее на протяжении почти всего XIX в. активное использование исторического анализа в экономических исследованиях

²⁸ Мальтус, кстати сказать, получил в 1805 г. кафедру профессора современной истории и политической экономии в только что основанном колледже Ост-Индской компании (Аникин 1979, с. 246).

еще не вызывало нареканий у большинства экономистов. Например, в Германии работы Ф. Листа, В. Рошера, Б. Гильдебранда и других представителей так называемой немецкой историко-экономической школы пользовались гораздо большей известностью, чем работы И. фон Тюнена или Г. Госсена, в которых история начисто отсутствовала²⁹. Но в XX в. Тюнен и Госсен стали считаться предшественниками и основоположниками современной экономической теории, а работы Листа и его последователей — чем-то относящимся к разряду «донаучных» древностей.

С последней трети XIX в., т. е. с начала так называемой маржиналистской революции, охлаждение отношений между экономикой и историей постепенно перерастает в настоящий разрыв. Представители чистой экономической теории начинают полностью отказываться от исторического анализа, а историки в свою очередь оказываются вынужденными создавать собственную историческую субдисциплину, именуемую историей народного хозяйства, и все дальше отдаляются от магистрального направления экономической науки. В среде профессиональных экономистов интерес к истории стал считаться чем-то вроде хобби или эстетического увлечения, наподобие классической музыки, а историки, в массе своей, вообще перестали читать серьезные экономические работы (в частности потому, что они не могли понять все чаще встречавшиеся там математические формулы).

Хотя историко-экономическая школа сыграла заметную роль в историографии, особенно в медиевистике, большая часть историко-экономических исследований представляла, по существу, описательную историю народного хозяйства, в рамках которой лишь фиксировались те или иные факты прошлой экономической жизни отдельных стран. В значительной мере история народного хозяйства продолжала линию «политической экономии» и уделяла основное внимание истории государственной экономической политики (в таком-то году английский парламент принял такой-то закон, а такой-то русский царь издал такой-то указ, что оказало такое-то влияние на... и т. д. и т. п.).

Несмотря на то, что с середины XIX в. экономическая наука постепенно отдаляется от истории, именно с этого времени последняя начинает испытывать огромное «идеологическое» влияние со стороны экономической теории, сохранявшееся едва ли не до середи-

²⁹ Ср.: Лист 1891 [1841]; Рошер 1891 [1854]; Гильдебранд 1860 [1848]; Тюнен 1926 [1826]; Gossen 1854.

ны XX в. Экономическая жизнь общества (т. е. «базис» в марксистской терминологии) рассматривается как основа всех исторических процессов, и «экономизм» и, более того, экономический детерминизм получает колоссальное распространение в исторических работах. Только после второй мировой войны историки начинают избавляться от «экономизма» и роль экономики в историческом процессе, особенно до XVIII в., оценивается более сбалансированно.

Если говорить о собственно историко-экономических исследованиях, то они, впервые возникнув в середине XIX в., с этого времени интенсивно развивались, причем усилиями как отдельных экономистов, так и некоторых историков. Одной из ключевых областей, в которой пересекались интересы экономистов и историков, был анализ экономической динамики, требовавший, в свою очередь, развития исторической статистики, в том числе и уходящей в отдаленное прошлое. Экономическая динамика, в свою очередь, довольно долго, а именно до второй мировой войны, рассматривалась в основном через призму циклического развития экономики. Дань этому направлению отдали многие выдающиеся экономисты второй половины XIX — первой половины XX в., начиная с К. Маркса и У. Дживонса и кончая Дж. М. Кейнсом и Дж. Хиксом. Не меньшее внимание в этот период уделяли изучению циклических процессов в экономике историки, особенно французские (Ф. Симиан и Э. Лабрусс).

Анализ циклических колебаний подразумевал изучение повторяемости экономических явлений во времени и по определению должен был опираться на историческую статистику. Уже в конце XIX в. начинается сбор материала и построение статистических рядов различных показателей цен, а с начала XX в. возникает настоящий поток работ, вводивших в научный оборот все новые и новые ряды цен, охватывающих все больше стран и все более отдаленное прошлое³⁰.

В 20-е годы с образованием Национального бюро экономических исследований США разработка исторической экономической статистики переходит на качественно новый уровень. Сбор статис-

³⁰ Среди первых работ такого плана упомянем труды Т. Роджерса (*Rogers* 1866—1902; 1884) в Англии, Г. Вибе (*Wiebe* 1895) в Германии, Ж. д'Авенеля (*d'Avenel* 1894—1926) и Д. Золя (*Zolla* 1893—1894) во Франции. В начале XX в. значительный вклад в разработку этого направления внесли А. Озе (*H. Hauser*) и Э. Лабрусс (*E. Labrousse*) во Франции, У. Беверидж (*W. Beveridge*) в Англии, А. Маньков в России, Н. Постхумус (*N. Posthumus*) в Голландии и многие другие (см.: *Braudel, Spooner*, 1967).

тической информации и ее обработка перестают быть уделом одинок и превращаются в продукт коллективных усилий, производство которого ставится на научную основу. Работы основателя НБЭИ У. Митчелла и его многочисленных учеников и сотрудников³¹ позволили выйти за рамки статистики цен и ввести в научный оборот ряды, характеризующие долговременную динамику производства, финансов, уровня жизни и т. д.

Особо следует упомянуть о начатых в 30-е годы работах будущего лауреата Нобелевской премии по экономике С. Кузнецца, разработавшего систему статистики национальных счетов и сделавшего первые оценки динамики национального дохода и продукта США с 1869 г. Работы Кузнецца не только создали качественно новый класс статистических данных, но и послужили основой для появления принципиально нового направления экономической теории, а именно анализа экономического роста (подробнее см.: *Абрамовиц* 1993 [1986]). В 60-е годы, период бурного экономического подъема во всех развитых странах, это направление становится доминирующим не только в экономических, но и в историко-экономических исследованиях, вытесняя проблемы циклического развития на второй план.

Заметный вклад в развитие историко-экономических исследований внес еще один лауреат Нобелевской премии — Милтон Фридмен. Его работы по истории денежного обращения и финансовой системы, написанные в соавторстве с Анной Шварц (*Friedman, Schwartz* 1963; 1970; 1982), не менее известны, чем труды в области теории денег. Более того, исторические исследования Фридмена являются органической составной частью его теоретических построений, и концепция монетаризма во многом опирается на исторический опыт (см., например: *Tobin* 1965).

В 60-е годы на авансцену историко-экономических исследований выходит так называемая новая экономическая история, лежащая в основе исторических исследований, основанных на применении математических методов и получивших позднее наименование «клиометрика» (подробнее см.: *Полетаев* 1989). Первые работы американских «клиометристов» были посвящены экономике рабства и роли железных дорог в развитии американской экономики (один из основателей этого направления, Р. Фогель, в дальнейшем также

³¹ В число сотрудников НБЭИ входили У. Кинг (*W. King*), А. Коул (*A. Cole*), Т. Берри (*T. Berry*), А. Бернс (*A. Burns*), Э. Фрике (*E. Frickey*) и многие другие известные экономисты.

стал лауреатом Нобелевской премии по экономике). Сфера применения математических методов к анализу истории существенно расширилась и стала охватывать не только экономику, но и политическую и социальную историю, однако экономическая история продолжала оставаться ядром «клиометрики».

В 80-е годы был достигнут своего рода баланс интересов к различным направлениям историко-экономических исследований. Наряду с традиционной историей народного хозяйства выходили работы по долговременным тенденциям экономического развития — циклических процессов, экономического роста, финансовых потоков. Новая экономическая история хотя и несколько сдала свои позиции после бума 70-х годов, тем не менее обрела прочные права гражданства в историко-экономических исследованиях. Заметную роль стала играть история экономических институтов и организаций и история бизнеса.

В историко-экономических исследованиях сложилось определенное разделение труда между историками и экономистами. История народного хозяйства, государственной экономической политики, а также институциональная история и история бизнеса являются в основном вотчиной историков (точнее, тех, кто получил историческое образование), в то время как анализ экономической динамики и проблем эффективности в разные исторические периоды стал вотчиной экономистов. Иными словами, историко-экономические исследования, условно говоря, разделены на два типа: экономическую историю и историческую экономику. К сожалению, это разделение, основанное на степени использования экономической теории, часто продолжает выступать в качестве барьера, разделяющего историко-экономическую дисциплину на две относительно самостоятельные части.

Как отмечалось выше, в определенные периоды, в частности, во второй половине XIX — первой половине XX в., экономическая мысль оказывала весьма существенное влияние на исторические исследования. В полной мере это относится и к категории времени и формам ее использования в экономической науке. Дело в том, что в экономической теории в этот период фактор времени или вообще не учитывался (в рамках так называемого статического анализа), или же использовался в очень ограниченном виде, а именно в механистических моделях экономического развития (см.: *Shackle* 1965). Этот второй подход проник и во многие исторические работы. Речь идет о

концепциях, подразумевающих наличие жестких причинно-следственных связей, разворачивающихся в строгой временной последовательности. В подобных моделях (которые историки, впрочем, формулировали лишь на вербальном уровне) предполагается, например, что состояние системы в момент T зависит от состояния системы в момент $T-1$, или что изменение фактора X в момент T должно привести к изменению показателя Y в момент $T+1$, и т. д. и т. п.

Начиная с 30-х годов нашего века экономисты стали учитывать параметр времени в экономике гораздо более гибко и разнообразно. Прежде всего, больше внимания стало уделяться неопределенности и риску (см.: *Найт* 1994 [1921]), что повлекло за собой развитие стохастических и игровых экономических моделей. Представление о недетерминированности, многовариантности экономического развития обусловило, в свою очередь, повышенный интерес к проблеме будущего — начиная с влияния ожиданий на текущее экономическое поведение и кончая составлением различных экономических прогнозов и нормативных планов будущей деятельности (подробнее см. ниже, гл. 5, § 1). Отчасти эти новые веяния в экономической науке нашли отражение и в исторических исследованиях, а именно, в популярных в 60—70-е годы «контрфактических» моделях прошлого, среди которых особую известность стяжали знаменитые работы Р. Фогеля и С. Энгермана (*Fogel* 1964; *Fogel, Engerman* 1974). Их нетривиальные выводы относительно роли железных дорог в развитии американской экономики и экономической эффективности рабства в США стали предметом едва ли не самых бурных дискуссий в современной историографии.

Еще один аспект учета параметра времени, пришедший в историю из экономики, — трактовка времени как ресурса, ценного блага, которое должно использоваться максимально эффективно. В качестве примера упомянем многочисленные исследования истории рабочего времени, его использования и организации и исследования по истории досуга (подробнее см. ниже, гл. 5).

3. История и социология

«Историки и социологи (в особенности) не всегда были добрыми соседями», — пишет П. Берк (*Burke* 1993, p. 2), потому что, добавим, с некоторых пор они живут не на одной лестничной площадке, а в коммунальной квартире. Ф. Бродель высказался еще категоричнее.

Он назвал диалог историков и социологов «диалогом глухих» (*Бродель* 1977 [1958]). Но сто лет назад ситуация выглядела совсем иначе.

Под воздействием О. Конта развился тип историографии, названный позитивистским. Г. Спенсер создал целостную модель социальной эволюции и социальных изменений, которая в разных модификациях (важнейшая из них — теория модернизации) развивалась на протяжении всего XX в. К. Маркс разработал модель последовательной смены обществ (социальных формаций), основанных на сменяющих друг друга экономических системах (способах производства), движущей силой изменений в которой выступают противоречия между постоянно развивающимися производительными силами и производственными отношениями, разрешаемые в антагонистическом обществе путем социальной революции. М. Вебер предложил теорию возникновения современного мира, главными характеристиками которой были процессы секуляризации («расколдовывание мира») и возникновения рациональных форм организации («бюрократизация мира»), с протестантским чувством «призвания» и аскезой в качестве необходимого условия этих процессов.

«Поколения последних десятилетий XIX и первых десятилетий XX века жили, как бы замороженные очень негибкой схемой мира естественных наук», — писал М. Блок; сущность ее состояла в том, что настоящая наука должна приводить путем неопровержимых доказательств к непреложным истинам, сформулированным в виде универсальных законов (*Блок* 1986 [1949], с. 12—13). Поэтому можно привести множество взаимоисключающих мнений по поводу воздействия упомянутых мыслителей на развитие исторической науки. Так, Коллингвуд утверждал, что «исторический материализм Маркса и других оказал незначительное непосредственное влияние на практику исторических исследований» (*Коллингвуд* 1980 [1946], с. 122). У Сартра, напротив, были веские основания полагать, что развитие социальных наук в XX в. по существу определялось согласием или несогласием с Марксом.

Так или иначе, Конт, Токвиль, Спенсер, Маркс, Шмоллер и Вебер, соединявшие высокую теорию с интересом к конкретному историческому исследованию, представляли собой явление исключительное. Однако эта исключительность не мешала притягательности и необыкновенно длительному влиянию их социальных доктрин. Огромное значение для развития истории имело даже их «второе откры-

тие»: переводы на английский язык сочинений М. Вебера и новая волна интереса к раннему К. Марксу и Э. Дюркгейму, по словам Л. Стоуна, оказались мощным стимулом для историков, которые не могли ни понять язык признанного дуайена современной американской социологии Т. Парсонса, ни плодотворно использовать его структуралистские теории. Поэтому они с облегчением повернулись к классикам XIX и начала XX в. (*Stone* 1987, p. 13).

Что касается социологизированной истории, созданной эпигонами, то она отличалась умозрительностью и игнорировала все, что не укладывалось в схему. В результате сложилось устойчивое представление о том, что «социология является теоретической историей» (*Ponner* 1993 [1957], с. 48). «По меньшей мере в Великобритании, — замечает П. Берк, — многие историки до сих пор рассматривают социологов как людей, которые выражают очевидные вещи на варварском и абстрактном жаргоне, у которых отсутствует чувство места и времени, которые без всякой жалости распределяют индивидов по жестко определенным группам и еще называют все эти действия „научными“» (*Burke* 1993, p. 3).

С исторической точки зрения ясно, что, упрекая друг друга, и социологи и историки впадают в анахронизм (вообще анахронизм весьма заразная болезнь!). Еще сравнительно недавно многие социальные теоретики смотрели на историков как на специалистов, сосредоточенных на пересказе политических событий, словно в науке по-прежнему господствует подход Л. Ранке. Аналогично некоторые историки продолжают говорить о социологии так, как будто живут во времена О. Конта, в середине XIX в., когда глобальные обобщения либо не подкреплялись эмпирическими исследованиями, либо это делалось весьма тенденциозно (*Burke* 1993, p. 3).

Существуют достаточно устойчивые варианты связи между социологией и историей, в которых присутствие социологии привносит ориентацию на систематическую концепцию и создание теории. Это — социальная история, социологическая история, историческая социология и ретроспективная социология (*Martins* 1974).

Среди названных комбинаций историкам ближе всего социальная история. Предмет социальной истории едва ли поддается определению, ибо в рамках самой общей дефиниции (социальная история — это история общества или история социальных структур, процессов и явлений) диапазон ее тематики то безгранично расширяется, то оказывается предельно узким. В какой-то мере это объяс-

няется характером самого понятия «социальный». В нем уже заложена способность к почти неограниченному распространению. Например, рубрика «социальная история» в Международной энциклопедии социальных наук начинается со следующего определения: «Социальная история — исследование структуры и процесса человеческих действий под углом зрения того, как они происходили в социокультурном контексте прошлого» (International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968, v. VI, p. 455). Или созвучная с ним дефиниция известного американского историка Редфорда: «Социальная история — это не часть истории. Это вся история с социальной точки зрения» (цит. по: *Finberg* 1962, p. 54). Трудность, впрочем, состоит в выяснении того, что подразумевается под «социокультурным контекстом» и «социальной точкой зрения».

«Социальная история» в историографии Нового времени по праву гордится старыми традициями. К уже упоминавшимся работам Вольтера, Н. Фюстеля де Куланжа и Э. Гиббона можно добавить труды Я. Буркхардта, Т. Маколей и многих других авторов³². Элементы анализа и описания, характерные для социальной истории, широко представлены в трудах известных французских историков XIX в. — Ф. Гизо, Э. Левассера, Ф. Минье, О. Тьерри.

Социальная история, сумевшая к началу XX в. как минимум сформулировать многие проблемы, оказавшиеся впоследствии в центре ее внимания, в последующие десятилетия была оттеснена на обочину. Как писал В. Конце, в условиях двойной конфронтации, когда друг другу противостояли социология и историческая наука, а также политико-экономическая и социальная истории, развитие последней в первой половине XX в. могло протекать только в «стесненных» условиях (*Conze* 1952, S. 652). Хотя в 1920—1930-е годы очень немногие историки отдавали свои силы разработке социальных сюжетов, тем не менее в историографии этого периода социальная история представлена великими именами. Известный английский историк Джордж Маколей Тревельян (1876—1962), продолживший в историографии традиции своего деда Т. Б. Маколей, подробно охарактеризовал круг тематических интересов «социальной истории» того времени. В социальном ракурсе рассматривались «экономические и неэкономические

³² См.: *Voltaire* 1765—1769; *Фюстель де Куланж* 1867 [1864]; *Гиббон* 1883—1886 [1776—1788]; *Буркхардт* 1996 [1860]; *Маколей* 1860—1866 [1848].

ческие отношения между классами, характер семьи и домашнего хозяйства, условия труда и досуга, отношение человека к природе, культура каждого века, вырастающая из общих условий жизни и принимающая постоянно изменяющиеся формы в религии, литературе, музыке, архитектуре, а также система образования и общественная мысль» (цит. по: *Finberg* 1962, p. 55). Предтечами так называемой «новой социальной истории», которая стала формироваться в 1950-е годы в качестве самостоятельного историографического направления, бесспорно, являются Блок и Февр.

И все же молодое поколение историков 1950—1960-х годов называло труды своих знаменитых предшественников «старой социальной историей», подчеркивая тем самым свое отличие. «Новая социальная история» характеризовалась специфической ориентацией познавательных интересов и характерной системой исследовательских методов. Хотя категориальное, структурное мышление «нового» социального историка, отличающее его от «старого», с большей четкостью формулировало основные темы социальной истории, предмет ее по-прежнему оставался предельно широким.

Отчасти причина этого крылась в рано проявившемся стремлении представителей социальной истории к использованию методологического инструментария разных общественных наук, в результате чего в русле социальной истории формировались и развивались другие исторические субдисциплины, о которых мы говорили выше. Единственное, чем социальная история всегда подчеркнуто старалась *не быть*, так это историей политической, событийной. И это отталкивание от «мира политического» оказалось, пожалуй, непрерываемой традицией в эволюции социальной истории, представители которой, накопив огромный исследовательский багаж, все еще пребывают в раздумьях по поводу своего предмета исследования.

С одной стороны, социальная история — это история конкретных социальных явлений: детства, досуга, семьи, болезней и врачевания; с другой — реконструкция жизни маленьких городков, рабочих поселков и сельских общин. Но одновременно это и история громадных территориальных и временных пространств, массовых социальных движений и насилия в истории, социальных процессов исторической трансформации, свидетельством чему служат работы П. Стирнза, Ч. Тилли, Э. Хобсбоума, Ф. Броделя, Ю. Кокки, Г.-Ю. Велера и др.³³.

³³ См.: *Stearns* 1967; *Tilly* 1984; *Tilly et al.* 1975; *Hobsbawm* 1972; 1975; 1987; 1994; *Бродель* 1986—1992 [1979]; *Kocka* 1986; *Wehler* 1987.

«Историческая социология», хотя и включает в себя исторический компонент, по существу относится к социологии. Представители этого направления либо делают конкретные исторические проблемы предметом социологического анализа, либо предлагают теории синтеза социологии и истории. В качестве известных примеров разработки исторической проблематики и создания на этой базе обобщенных моделей власти, социальных революций, коллективных действий и т. д. можно назвать исследования М. Манна о происхождении власти в обществе начиная с доисторических времен; оригинальную теорию предпосылок диктатуры и демократии Б. Мура; анализ политического механизма революций, предложенный Т. Скокпол; теорию коллективного действия, разработанную Ч. Тилли, и многие другие работы (Mann 1986; Moore 1966; Skockpol 1979; Tilly et al. 1975).

Начало современной теории исторической социологии положила известная работа Н. Элиаса (Elias 1978), в которой предлагалась новая теоретическая программа. Вслед за ней в скором времени появились исследования других авторов, в которых разрабатывались оригинальные теории исторического подхода к социальной реальности (Tilly 1981; 1984; Abrams 1982; Lloyd 1986; подробнее см.: Штомпка 1996 [1993], с. 255—267). Но и десятилетие спустя в статье «Отступление социологов в настоящее» Элиас по-прежнему упрекал социологов в утрате интереса к историческому времени (Elias 1987).

Помимо исторической социологии Г. Мартинз считает возможным выделить отдельно «социологическую историю» — специфические исторические исследования, оперирующие частными социологическими концепциями, такими как роль, относительная лишенность, профессионализация и т. д. Сюда же он относит и исторические работы, в которых прослеживается влияние социологических способов анализа, например концепции социальной структуры или логики структурно-функционального подхода. От исторической социологии это направление отличается степенью концептуальной эксплицитности и систематизации. Отчасти это вопрос ориентации ученого: является ли его задачей вклад в историю или в социологию, со всеми вытекающими отсюда нормативными ограничителями (Martins 1974, p. 272). Социологическая история может быть больше ориентирована на период и страну, историческая социология — на концепцию и проблему.

О том, насколько условно деление на разные варианты историко-социологического синтеза, можно судить, анализируя работы

Ч. Тилли «Вандея», Ш. Айзенштадта «Революции и трансформация обществ», Н. Смелзера «Социальные изменения в индустриальной революции» (Tilly 1964; Eisenstadt 1978; Smelser 1959) и уже упомянутые работы Б. Мура, М. Манна, Н. Элиаса. Они и многие другие с достаточными основаниями могут быть отнесены к любой категории.

Ретроспективная социология использует в социологии данные о прошлом, например исследования по исторической демографии или социальной мобильности в XIX в., но, как отмечает Мартинз, в том виде, в каком она существует, у нее нет чувства прошлого или исторической глубины и перспективы (Martins 1974, p. 273).

Суммируя, можно сказать, что если часть исторических работ XX в. избежала влияния социологии, то другая, в определенном смысле, была даже перегружена социологической теорией. При этом, вследствие характера своего образования, историки оперировали в основном «поддержанными концепциями» конца XIX — начала XX в. Активное экспериментирование с современными социологическими теориями — социальной стратификации, власти, конфликта и др. — началось лишь с появлением «новой» социальной истории, обнаружив как совершенно иные возможности для анализа исторического материала, так и пределы этих возможностей, применительно к прошлому.

4. История и психология

Психология как наука в современном смысле возникла лишь в последней трети XIX в. «Классическая мысль и все, что ей предшествовало, вполне могли говорить о духе и теле, о человеческом существе, о его столь ограниченном месте во вселенной, о пределах, ограничивающих его познание и его свободу; и в то же время ни одна эпоха не знала человека, как он дан современному знанию. „Гуманизм“ Ренессанса, „рационализм“ классиков вполне могли уделить роду человеческому привилегированное место в миропорядке — помыслить человека они не могли» (Фуко 1994 [1966], с. 399). В то же время психология, «помыслившая человека», с самого начала не ограничивалась психологией индивида самого по себе, а пыталась выявить социальные аспекты тех или иных психических процессов. Две ведущие европейские психологические школы конца XIX в. — В. Вундта в Германии и Ф. Brentano в Австрии — оказали колоссальное воздействие на развитие всех общественных и гуманитарных наук как на переломе веков, так и в последующие десятилетия.

Выдающийся немецкий психолог В. Вундт, известный как создатель экспериментальной психологии, в 1900-е годы, отталкиваясь от идеи психологии народов, разработанной в трудах немецких ученых Х. Штейнтала (1823—1899) и М. Лацаруса (1824—1903), приступил к созданию социальной (культурно-исторической) психологии, изучающей высшие функции мозга по объективным продуктам культуры (язык, миф, искусство и т. д.). Вундт исходил из предположения, что физиологическая психология не охватывает реального содержания зрелого сознания. Высшие психические процессы, и прежде всего мышление, — результат исторического развития сообщества людей, и потому должны изучаться особой наукой — социальной психологией. Выступая против прямой аналогии индивидуального и народного сознания, имевшей место у его предшественников, Вундт утверждал, что как сознание индивида не сводится к исходным элементам ощущения и чувства, а представляет собой их синтез, так и народное сознание представляет собой синтез индивидуальных сознаний, в результате которого возникает новая реальность, обнаруживающаяся в продуктах сверхличностной деятельности: языке, мифах и морали (см.: *Вундт* 1912 [1886]). Десять томов «Психологии народов», написанные Вундтом (*Wundt* 1900—1920), представляют собой впечатляющий образец синтеза психологических, этнографических, лингвистических, историко-филологических и антропологических исследований.

Помимо научной плодovitости Вундт прославился своими учениками и последователями. У него учился Э. Дюркгейм; выдающийся французский социальный психолог Ж. Пиаже в свою очередь считал себя учеником Дюркгейма, а многие современные социальные психологи считают себя последователями Пиаже (см.: *Якимова* 1993).

Ф. Brentano, с 1874 г. преподававший философию в Венском университете, является создателем не менее представительного направления в психологии (у него учились Э. Гуссерль и З. Фрейд). В своей работе «Психология с эмпирической точки зрения» (*Brentano* 1924—1928 [1874]) Brentano заложил основы нового направления — феноменологии, выдвинув тезис о том, что «объект <сознания> не реален, а феноменален, поскольку его бытие мыслится зависящим от актуализации его сознанием субъекта. Сам субъект, в свою очередь, сведен к системе актов, имеющей основание в самой себе, а ни в чем внешнем» (*Ярошевский* 1976, с. 233)³⁴.

³⁴ Как отмечает М. Ярошевский, в принципе феноменологический подход утверждался сторонниками как Brentano, так и Вундта — объектом

Рождение экспериментальной психологии и ее институционализация в качестве самостоятельной дисциплины способствовали проникновению психологизма в другие социальные науки. Но не в меньшей степени почвой для психологизации общественных наук была и «понимающая психология» В. Дильтея (см.: *Дильтей* 1909), которая провозгласила отказ от объяснения психических явлений с помощью принципа каузальности. Усиление психологизма как общей тенденции к психологическому обоснованию научного знания и объяснению самых разнородных явлений было связано с кризисом биолого-натуралистических теорий в конце XIX в., результатом которого стал своеобразный антинатурализм. В общем у Вундта имелось достаточно оснований для утверждения, что «вся наша философия — это современная психология» (*Wundt* 1862, S. XIII).

История, как, впрочем, и другие гуманитарные и социальные науки конца XIX в., не избежала влияния психологии. Из научного багажа последней историческая литература заимствовала прежде всего идею об иррациональности масс. Этот тезис получил широкое распространение как в позитивистских (Тэн), так и в антипозитивистских (Ницше) исследованиях. Большой популярностью пользовались на рубеже XX в. книги Г. Лебона «Психологические законы эволюции народов» (*Лебон* 1906 [1894]) и «Психология народов и масс» (*Лебон* 1995 [1895]), где обосновывалось предположение о вступлении европейского общества в «эру толпы», когда разумное критическое начало, воплощенное в личности, подавляется иррациональным массовым сознанием (идея, позднее развитая уже на опыте XX в., прежде всего Х. Ортегой-и-Гассетом).

Другой французский психолог, Г. Тард, применил свои теоретические положения к изучению общественного мнения и психологии

анализа и тех и других были феномены сознания. «Различие же состояло в том, что последователи Вундта устремлялись к гипотетическим структурным элементам, недоступным неискушенному наблюдателю, тогда как воспитанники Brentano культивировали исследование сознания в его целостности и доподлинности, свободной от предвзятых теоретических схем». Соответственно, «Вундта относят к структуралистам на том основании, что главной для его программы была задача выяснить, из каких компонентов построено сознание и каков характер их структурирования. Для Brentano исходным являлось понятие не об элементе сознания, а о его акте, понимаемом как функция субъекта, выраженная в его направленности на объект», поэтому основанное им направление обычно обозначается как функционализм (*Ярошевский* 1976, с. 232—233).

толпы (Тард 1902 [1901]), оспорив популярный тезис о том, что наступивший век является «веком толпы». По мнению Тарда, это скорее «век публики или публик», и в публике личность, наоборот, получила возможность самовыражения (см.: Кон 1979, с. 106—107). Предыстория публики — в салонах и клубах XVIII в., а настоящая ее история начинается с появления газет.

Ни одно направление психологических исследований не приобрело столь громкой известности за пределами психологии, как фрейдизм. В основе психоанализа З. Фрейда лежала концепция подсознательного, части сознания, сохраняющей опыт детских травм и переживаний, которая определяет эмоциональную реакцию индивидов на окружающий мир во взрослом возрасте. Фуко отметил, что появление в западной научной эпистеме понятия «бессознательного» и феномена человека как объекта изучения произошло в одно и то же время³⁵. Концепция бессознательного нашла свою нишу практически во всех науках о человеке. Сам Фрейд считал, что его теория может быть ключом к пониманию исторических личностей, а эссе Фрейда о Леонардо да Винчи, написанное в 1910 г. (Фрейд 1991 [1910]), по существу было первым опытом психоистории.

Иногда, как, например, в своей последней книге «Моисей и монотеизм» (Фрейд 1993 [1936]), Фрейд рассуждал о сложности причинных связей в истории и общественной жизни, опираясь на теорию факторов. К существенным социально-историческим факторам он причислял экономические, технические, демографические, географические и др. Но самого Фрейда интересовали только исторические личности, лидеры народов и общественных групп, создатели моральных норм и ценностей.

³⁵ «Легко заметить, что как только человек возник как позитивный образ в поле знания, все бывшие привилегии рефлексивного познания — мысли, мыслящей самое себя, — должны были исчезнуть; и, однако, объективному мышлению была дана тем самым возможность охватить человека в его целостности — с риском обнаружить как раз то, что никогда не могло быть дано ни человеческой рефлексии, ни даже человеческому сознанию вообще, скрытые механизмы, безликие причинности, весь тот теневой мир, который так или иначе называется бессознательным... Человек вообще не мог бы обрисоваться как конфигурация в эпистеме, если бы одновременно мысль не нащупала в себе и вне себя, на своих границах, но также и в переплетениях собственной ткани нечто ночное, некую явно инертную плотность, в которую она погружена, некую немислимость, которая ее и переполняет, и замыкает» (Фуко 1994 [1966], с. 347).

С 30—40-х годов предпринимаются попытки применить фрейдизм к исследованию определенных исторических проблем, и постепенно эти попытки становятся все более систематическими. Психоанализ в исторических исследованиях получил наибольшее распространение в США. Под преимущественным влиянием Фрейда были созданы работы в рамках американской школы «культуры и личности», например, сочинение Р. Бенедикт о культурных образцах (Benedict 1959 [1934]) или коллективное исследование тоталитарной личности под руководством Т. Адорно (Adorno et al. 1950).

Знаменитую работу Н. Элиаса «Цивилизационный процесс» (Elias 1978 [1939]) П. Берк рассматривает как синтез идей М. Вебера и З. Фрейда, а не менее знаменитую работу Э. Фромма «Бегство от свободы» (Фромм 1990 [1941]) — как синтез идей З. Фрейда и К. Маркса (Burke 1993, p. 115). Н. Элиас призывал к созданию «исторической психологии», упрекая одновременно и историков, изучающих идеи, и адептов психоанализа за односторонний подход к трактовке человека, и определял объект исторической психологии как нечто противостоящее и истории идей, и психоаналитическим исследованиям (Elias 1978 [1939], v. 2, p. 284—285). Он видел задачу исследователя в создании единого подхода, позволяющего охватить и сознание человека, продуцирующее идеи и мысли, и бессознательные импульсы, и создать «целостный человеческий облик» и «целостную ткань человеческой личности» (Chartier 1988, p. 91).

Термин «психоистория» появился в 50-е годы в США, в исследовании психоаналитика Э. Эриксона истории молодого Лютера (Эрикссон 1995 [1958]). Бесспорно выдающийся талант автора обеспечил его опыту успех — реакция на него была столь бурной, что даже тогдашний президент Ассоциации американских историков, вполне «традиционный» ученый У. Лангер, удивил своих коллег, определив первоочередную задачу историков как более внимательное отношение к возможностям психологии (Langer 1958). С этих пор стали выходить журналы по психоистории. Героями психоистории стали такие исторические личности, как Гитлер, Троцкий, Ганди и другие (Burke 1993, p. 114). Психоанализ оказал большое влияние на критику некоторых источников — дневников, писем (например, стал учитываться факт психологической потребности автора в фантазиях). Отдельной темой стало изучение дневниковых записей о снах.

Сегодня для историков очевидны и значимость, и ограниченность возможностей психоанализа для их дисциплины. Если «ба-

зисная» личность варьируется от общества к обществу, то она изменяется и от одного периода к другому. Области, где может эффективно использоваться психоанализ, очерчены достаточно четко: исследование выдающейся личности, изучение культурной традиции. А. Безансон, использовавший психоанализ для интерпретации культурных традиций России, в другой книге применил его не к истории, а к историку (Мишле), который сам изучал проблему ведовства (*Besançon* 1975). Известны и примеры применения психоанализа к социальным группам, например к истории крестьянских и городских религиозных движений, при изучении которых историк постоянно имеет дело с отклонениями. Ле Руа Ладюри признается, что именно ранние работы Фрейда и Брейера о конвульсивной истерии, какими бы устаревшими они ни казались специалистам, натолкнули его на интересные гипотезы в исследованиях конвульсивных истерий прошлого, имевших сексуальное или историко-культурное происхождение (*Ле Руа Ладюри* 1993 [1974], с. 157).

Но в целом расцвет психоистории оказался непродолжительным, а возможности ее ограниченными. Задача синтеза истории и психологии, если она имеет смысл, все еще остается делом будущего. Одна из причин подобной неторопливости — разнообразие конкурирующих подходов: фрейдистский, неопрейдистский (Э. Фромм, Р. Бенедикт, А. Кардинер), юнгианский (учение о «коллективном бессознательном») и т. д. Другая причина — безусловная трудность использования методов Фрейда по отношению к умершим, психоанализ документов, а не людей. Кроме того, психоанализ во фрейдистском духе основывается на изучении детства пациента, а такие материалы у историка, как правило, практически отсутствуют. К тому же, как подчеркивает английский историк Дж. Тощ (*Tosh* 1991, р. 80), анализ эмоционального развития у Фрейда в высшей степени культурно обусловлен: он основан на опыте воспитания детей и установок (особенно в отношении к сексу) средних слоев городского общества конца XIX в.

Уже Февр говорил о невозможности использовать для изучения ретроспективной психологии заключения психологов, пользующихся данными, поставляемыми им современной эпохой (*Февр* 1991 [1938], с. 107). Применение выводов Фрейда (или любой другой современной школы психоанализа) к людям, удаленным во времени, представляет собой чистейший анахронизм. «У Фрейда, — заметил

Ле Руа Ладюри, — сложные отношения с историей, еще проблематичнее его отношения с историками... Он пугает значительное число их: может ли историк, который сам не подвергался психоанализу, компетентно использовать психоанализ как инструмент исследования при изучении документов?» (*Le Roy Ladurie* 1981, р. 84).

С конца 60-х годов в историографии начинается мощное движение против увлечения историческими личностями, за изучение истории низов, истории масс. На этом фоне историка интересует уже не личность — например, Гитлера, — а подверженность немецкого народа его политическому стилю руководства страной. Поэтому в последние десятилетия психологизм более ощутимо присутствует в исторической науке не в качестве психоистории, а в виде такого направления, как история ментальности, впервые появившейся еще в 20—30-е годы в работах основателей школы «Анналов» — М. Блока и Л. Февра (см.: *Duby* 1961, р. 937—966).

Если история идей имеет дело с артикулированными принципами и идеологическими конструктами, то под ментальностью понимают психологизированные и аксиологизированные социокультурные конструкты. Жизнь этому понятию дала книга Л. Леви-Брюля «Ментальные функции в отсталых обществах» (в русском переводе — «Первобытное мышление»: *Леви-Брюль* 1930 [1910]). «Ментальность — понятие, альтернативное понятию психики как обобщению лабораторно-эмпирических действий с человеком. В нем сопряжены социолого-культурологический анализ и психологизирующая интерпретация, что позволяет использовать его в диапазоне от специальных исторических тем до общегуманитарных рассуждений» (*Шкуратов* 1992, с. 109). Таким образом, история ментальности связана с эмоциональным, инстинктивным и имплицитным, иными словами, с теми областями мышления, которые часто вообще не находят непосредственного выражения.

В определенном смысле объекты психологии начинают использоваться как темы исторических исследований. Если история массовых истерий и отклонений в поведении толпы — сюжет довольно «старый» в исторических штудиях, то история сумасшествия и отношений между «безумными» и «нормальными» людьми освоена совсем недавно (см. например: *Porter* 1987).

В истории утверждаются такой предмет исследования, как чувства и, соответственно, такое направление, как история эмоций или эмоциональная история человека. «Подумать только — у нас нет

истории Любви! Нет истории Смерти. Нет ни истории Жалости, ни истории Жестокости. Нет истории Радости», — писал когда-то Л. Февр (Февр 1991 [1941], с. 123). Прошло чуть более пятидесяти лет — и появилась и история любви, и история сексуальности, и история милосердия, и история смерти, и многое другое. Р. Мандру достаточно последовательно воплотил программу синтеза истории и психологии Февра в работе по исторической психологии во Франции в 1500—1640 гг. (Mandrou 1976). Известный двухтомник английского историка Т. Зелдина о Франции 1848—1945 гг. состоит из следующих шести разделов: честолюбие, любовь, политика, интеллект, вкус и беспокойство (Zeldin 1973). В этом ряду можно назвать исследования Ф. Арьеса (Арьес 1992 [1977]), М. Фуко (Foucault, 1976—1984) и многие другие.

Так же как и прочие социальные науки, психология помогла историкам открыть определенные грани времени, прежде всего времени действующего, и значение таких явлений культуры, как мифы, эпос, религия для понимания ментальности человека ушедших времен. Как считает французский историк А. Бургьер, уже в опытах основоположников школы «Анналов» просматриваются два разных способа реконструкции времени с помощью методов психологии: для Февра типично построение моделей «базисной личности» эпохи, а для Блока моделирование субъективного элемента традиционными приемами этнолого-культурологического описания (Burguière 1983).

В то же время Февр предостерегал от опасности психологического анахронизма, который называл «самым коварным», «самым непростительным» видом исторического анахронизма, отмечая, что недопустимо отождествлять ментальность людей предшествующих периодов с современной ментальностью (Февр 1991 [1938], с. 106). Говоря о ретроспективной или исторической психологии, Февр отмечал, что не только первобытные племена, чьи мысли, чувства и поступки проанализированы Л. Леви-Брюлем, но и люди, населявшие Европу всего несколько веков назад, обладали, например, совсем иным эмоциональным складом, характерным для соответствующего исторического времени. «Невозможно, — писал он, — изучать жизнь, нравы, привычки и поступки людей средневековья... невозможно читать подлинные тексты о жизни вельмож, сообщения о празднествах, шествиях, публичных казнях, народных клятвах и т. д., не поражаясь удивительному непостоянству настроения, чрезмерной впечатлительности, свойственным людям того времени» (Февр 1991 [1938], с. 104).

Определенную роль в воссоздании исторического времени сыграла и «понимающая психология» как метод постижения людей прошлого, их эмоций и сознания. Однако следует иметь в виду, что основным резервуаром идей для специалистов по истории ментальности является не психология, а антропология.

5. История и культурная антропология

Сфера интересов культурной антропологии — новая территория, сравнительно недавно аннексированная исторической наукой. Историческая антропология как самостоятельное направление складывалась в борьбе с концепцией структурной истории, которая ставила своей целью разъяснение социальной действительности методом реконструкции объективных процессов и структур. По мере того как структурная история приближалась к своему идеалу, она становилась историей без человека. В противоположность ей в фокус интересов исторической антропологии помещен конкретный исторический человек с его опытом и образом поведения, обусловленными культурой. Как писал немецкий историк Т. Ниппердей, антропологический анализ как раз и может объяснить связь между объективной структурой и субъективной практикой (Nipperdey 1973, S. 244).

Современная антропология в значительной мере концентрируется на изучении образцов смыслов, проявляющихся в ритуалах и символах и определяющих индивидуальное и коллективное поведение, то есть на том, что сами антропологи называют «культурой» в широком смысле. Антропологические case-studies вполне убедительно показали, что странные и иррациональные характеристики культуры на самом деле отражают целостность мысли и поведения и именно это в конечном счете цементирует общество (и обеспечивает длительность его существования). Работы Дж. Гуди о браке и семье или об умении читать и писать в традиционных обществах (Goody 1975; 1983; 1986), «Культура и практический разум» М. Салинза (Sahlins 1976) и особенно работы К. Герца, М. Дуглас, Э. Эванс-Притчарда и П. Бурдьё (Geertz 1973; 1983; 1988; Douglas 1973; 1982a; 1982b; Evans-Pritchard, 1962; Bourdieu 1977; 1990) столь историчны, что их авторы поистине стали для историков новыми властителями дум. В немалой степени популярность антропологов среди историков можно объяснить тем, что, говоря словами Л. Стоуна, «многие антропологи писали и пишут, словно ангелы» (Stone 1987, p. 9), чего не скажешь о представителях других социальных наук.

Более всего значение антропологии понятно тем историкам, которые занимаются третьим миром. Но и историкам, занятым более традиционными темами, данные антропологии тоже необходимы. В одной из своих программных работ известный представитель исторической антропологии Р. Дарнтон, чья книга «Великая резня кошек и другие эпизоды французской культурной истории» (Darnton 1984) вошла бы в список культурантропологических бестселлеров, если бы таковой существовал, коротко и емко суммировал те преимущества, которые антропология может предложить историку: подход (вхождение в другую культуру, начиная с «невнятного», «темного» <opaque> обряда, текста или действия); программу (пытаться увидеть вещи глазами туземца, понять, что он имеет в виду, и выявить социальные параметры смысла) и концепцию культуры как символического мира, в котором общепризнанные символы определяют мысль и действие (Darnton 1980, p. 347).

Но особенно большое влияние антропология оказала на историю ментальности, о которой мы говорили выше. Поскольку, в отличие от антрополога, историк не имеет возможности получить непосредственные свидетельства ментальности давно ушедших из жизни людей, то он использует другие методы, позволяющие ему, говоря словами Дарнтон, «снова между текстом и контекстом» (Darnton 1980, p. 260).

Поистине неоценимыми для историков оказались материалы судебных процессов, особенно судов Инквизиции. Поскольку в период Средневековья Церковь контролировала мораль духовенства и пастырей, то протоколы допросов обвиняемых и свидетелей по процессам над еретиками содержат огромную информацию о родственных и соседских отношениях, времяпрепровождении, верованиях и суевериях и т. д. Две знаменитые исторические книги нашего времени: «Монтайю...» Э. Ле Руа Ладюри (*Le Roy Ladurie* 1978 [1975]) и «Сыр и черви» К. Гинзбурга (*Ginzburg* 1976) — написаны именно на основе этих источников.

Второй источник историка — это произведения искусства, но не «высокой» культуры, а культуры плебейской, создаваемой и распространяющейся в народе. Здесь можно назвать работы П. Берка (*Burke* 1978) о народной культуре Европы начала нового времени и Э. П. Томпсона «Плебейская культура и моральная экономика» (Thompson 1980).

Третий подход, еще более обязанный антропологии, чем первые два, — культурологическая интерпретация повседневного поведения

(см. например: Гуревич 1984 [1972]; Davis 1975). Н. З. Дэвис утверждает, что историю карнавалов и праздников, торжественных церемоний и посиделок можно «прочитать» с той же пользой, что и дневник, политический трактат, проповедь или свод законов (Davis 1975, p. XVI—XVII).

История ментальности существует еще и в специфически французском варианте «серийной истории третьего уровня» (третий уровень после экономического и социального — культурный; см.: Chaunu 1973). В этом случае гомогенные данные, характеризующие культуру в широком смысле, используются точно так же, как серийные данные «квантитативной экономической, социальной или демографической истории». Саркастически перечисляя все, подлежащее подсчету в истории ментальности: «службы по умершим, изображения чистилища, названия книг, академические речи, мебель по инвентарным спискам, преступления по полицейским отчетам, обращения к Деве Марии в завещаниях и фунты свечей, возжженных во имя святых в церквях», — Дарнтон оспаривает этот метод по двум причинам. Во-первых, объекты культуры надо прочитывать, а не подсчитывать. Во-вторых, культуру нельзя рассматривать как один из уровней социальной целостности, сконструированной по образу трехэтажного дома, потому что все межличностные отношения имеют культурную природу, в том числе и те, которые мы определяем как экономические или социальные (Darnton 1984, p. 258).

Историческая антропология, выдвигающая на первый план проблемы механизма развития культуры, пытается ответить на вопросы о том, каким образом культура передается во времени (от поколения к поколению), как осуществляется процесс взаимодействия культур, каково содержание этого взаимодействия и куда направлен его вектор.

Многие достижения антропологии историки просто применили к прошлому как к «другому», т. е. использовали для реконструкции времени. Нередко сегодня можно услышать мнение, уж во всяком случае от представителей исторической антропологии, что ни одна другая дисциплина не проникла столь глубоко в мыслительный процесс обществ, отличных от нашего (Tosh 1991, p. 104). Во всяком случае бесспорно, что открытия антропологии дали новый ключ к изучению ментальности людей, которые страдали от холода и болезней, не владели средствами «научного» контроля над окружающей средой и были привязаны к местам своего обитания, т. е. людей Средневековья и начала Нового времени. Историки, открывая прошлое, если

они не модернизируют его, рискуют испытать не менее сильный культурный шок, чем те, кто изучает экзотические примитивные общества. Давно утраченные черты европейского общества, например, кровная месть или обвинения в колдовстве, до сих пор сохраняются в некоторых социумах, и, со всеми оговорками об условности подобных сопоставлений, материалы непосредственных наблюдений могут подкрепить воображение историков.

Наконец, изыскания антропологов дали историкам и конкретный материал по истории самого времени. Именно антропологические наблюдения демонстрировали колоссальное разнообразие представлений о времени и его знаковых форм.

6. История и география

Поставив в центр исследования категорию времени, мы не можем умолчать о категории пространства. О. Шпенглер полагал, что «пространство есть понятие. Время есть слово, служащее для обозначения чего-то непонятного» (Шпенглер 1993 [1918], с. 188). Но, как и во многих других случаях, со Шпенглером нельзя согласиться. Пространство в истории тоже достаточно неопределенно — может быть, столь же неопределенно, как и время. И четкость его контуров на современной географической карте не менее обманчива, чем ясность хронологических таблиц.

Можно сказать, что география открывает неизвестное пространство (территории), а история открывает неизвестное время (прошлое). Такая постановка соответствует концепции «Время-1», рассмотренной в предыдущем параграфе: предполагается, что время «заполнено» некоторыми событиями и мы лишь должны узнать, какими именно. Это аналогично географии: поверхность земного шара «заполнена» чем-то — сушей или водой, — остается только выяснить, чем именно заполнена та или иная часть. Но в контексте данной работы для нас существенно то, что в реальной истории время и пространство взаимосвязаны и не расчленены, историческое время всегда соотносится с конкретным *историческим* пространством.

Когда Р. Коллингвуд говорил о том, что история «напоминает науку, ибо в каждой из наук знание носит выводной характер, достигается путем логического умозаключения», он тут же добавлял, что «в то время как наука живет в мире абстрактных универсалий, которые в одном смысле даны повсюду, а в другом смысле нигде не

существуют, в одном смысле действительны для всех времен, а в другом не действительны ни для одного времени, объекты, которыми занимается мысль историка, не абстрактны, а конкретны, не всеобщи, а единичны, не индифферентны ко времени и пространству, но обладают своим „где“ и „когда“, хотя это „где“ не должно быть „здесь“, а это „когда“ не должно быть „теперь“» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 223).

Мы уже немало рассуждали о том, что такое «когда», которое не «теперь»; что же такое «где», которое не «здесь»? Короче: что такое *историческое* пространство? Содержательно оно никогда не равно самому себе и изменяется во времени, более того, понятие исторического времени объединяет в себе и время, и пространство. «Так, когда мы говорим „время Грозного“, мы сознаем, что речь идет также и о стране, которой он правил, другими словами, в этом понятии время и пространство выражены в их неразложимом единстве, в котором смысл одного прозревается в очертаниях другого: пространственное олицетворение времени, равно как и временное обозначение пространства» (Барз 1979, с. 52).

Л. Февр считал, что проблема соотношения между географической средой и человеческими обществами относится «к числу самых важных, какие только ставит перед нами наука о человеке» (Февр 1991 [1923], с. 159). Географическая среда, которую описывает Ф. Бродель, «это не вневременная среда. Это среда, которую Средиземное море создает для человеческих объединений XVI в., или, точнее, второй половины XVI в. Точно так же, как... описание Франш-Конте в начале моей диссертации — это не Франш-Конте, зафиксированное вне времени, в своего рода географическом постоянстве, граничащем с вечностью. Это среда, в которой в XVI веке развивались человеческие группы, сформированные ею и одновременно ее формирующие» (Февр 1991 [19506], с. 182). То же самое можно сказать о знаменитом исследовании Э. Ле Руа Ладюри «Монтайю...» (Le Roy Ladurie 1978 [1975]), жестко привязанном к одной географической точке, деревне в Пиренеях, но столь же жестко и к времени — 1294—1324 гг.

Роль *исторического* пространства многозначна.

Во-первых, пространство — это природные условия, определяющие жизнь людей на определенной территории. Как пронизательно заметил Н. В. Гоголь, «география должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение зем-

ли имело влияние на целые нации; как оно дало особенный характер им; как часто гора, вечная граница, взгроможденная природою, дала другое направление событиям, изменила вид мира, преградив великое разлитие опустошительного народа или заключивши в неприступной своей крепости народ малочисленный, как это могущее положение земли дало одному народу всю деятельность жизни, между тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление, законы» (Гоголь 1978 [1835], с. 41).

Во-вторых, пространство в истории содержательно. Город остается на одном и том же месте веками, а то и тысячелетиями, но это не один и тот же город. Что общего между Древним Римом, его средневековым преемником и Римом сегодняшним? Что общего между столицей Пруссии Берлином, столицей тысячелетнего Рейха и городом, который был разделен Берлинской стеной? Мы вовсе не хотим сказать, что ничего. Время одновременно разделяет и объединяет их. И ответы на эти вопросы могут быть очень пространными, но скорее всего они окажутся умозрительными.

В-третьих, историческое пространство подвижно. Оно расширяется вместе с перемещениями народов и завоевателей, аннексиями, объединениями и географическими открытиями. Оно, по тем же причинам, и сжимается. Теряя историческое качество, оно даже бесследно исчезает.

В-четвертых, историческое пространство может изолировать не только от соседей, но и от самой истории. Предельный случай такого рода — затерявшиеся в пространствах народы, отрезанные от цивилизации. Но можно привести и совсем другой пример — историю США, где переселенчество, перемещение населения из одного географического пространства в другое породило феномен страны без исторического прошлого, а потому — «страны Будущего».

В-пятых, подавляющая часть исторических сочинений представляет собой истории стран или регионов. Локальные, специфические особенности каждого общества, каждой культуры, каждой страны, иногда даже поселения должны быть в полной мере учтены при объяснении исторических событий. К тому же, как заметил Леви-Стросс, «даже история, называющая себя всеобщей, — все же не что иное, как сочленение нескольких локальных историй, среди которых (и между которыми) пустоты гораздо более многочисленны, чем заполненные места» (Леви-Стросс 1994 [1962], с. 317).

И, наконец, точно так же, как переходные времена (эпохи), историки знают переходные пространства (территории), «на которых происходило усиленное столкновение и скрещивание культур, например, эллинистический Восток, Испания Кордовского халифата и реконкисты, Сицилия XI—XIV вв.» (Баткин 1995, с. 33).

Понимание важности проблемы пространства-времени родилось практически вместе с историей. Идею о том, что природные условия влияют на общество и его историю, можно найти уже у Геродота, Фукидида и Платона. Аристотель в «Политике» рассматривал природные условия, наиболее благоприятные для основания полиса. Арабский средневековый историк Ибн Хальдун объяснял своеобразие развития отдельных стран различием их природных условий, полагая, что географическая среда непосредственно влияет на характер и сознание людей, а через них на развитие общества в целом. В XVII—XVIII вв. географию часто рассматривали как вспомогательную дисциплину по отношению к истории (см.: Шамурин, 1955—1959, т. 1).

В Новое время географические знания сыграли значительную роль в формировании исторических концепций. Возникло целое направление, объяснявшее нравы и историю народов природными условиями. В знаменитом сочинении «О духе законов» (1748) Ш. Монтескье писал, что географическая среда, и прежде всего климат, детерминируют психологию, нравы и обычаи людей, а эти последние обуславливают характер законодательства соответствующих стран. Особую роль географический фактор играл в исторических концепциях И.-Г. Гердера, А. Тюрго и многих других философов XVIII в.

К середине XIX в. в исторических исследованиях наметились два «географических» направления: геоистория и историческая география. Историческая география, в отличие от геоистории, дисциплины с ощутимой проблемной начинкой, относительно менее притязательна. Она подразделяется на историческую физическую географию, историческую географию населения, историческую географию хозяйства и историческую политическую географию. В последнюю входят география внешних и внутренних границ, размещение городов и крепостей, пути военных походов, картосхемы сражений и т. п.

Что касается геоистории, то во второй половине XIX в. она была тесно связана прежде всего с геополитикой. Английский историк-позитивист Г. Бокль писал, что жизнь и судьбы народов определяют

ся четырьмя главными факторами: климатом, почвой, пищей и ландшафтом (Бокль 1895 [1857—1861], с. 17). Значение леса, степи, почв и рек для формирования особенностей исторического развития России подчеркивал С. Соловьев. В. Ключевский в интерпретации истории России важнейшую роль отводил географическому фактору.

Ключевыми фигурами, оказавшими влияние на развитие геоистории, были немецкий географ Ф. Ратцель и французский — П. Видаль де ла Блаш, основатели «географии человека». В этом плане эпохальным произведением стала «Антропогеография» Ф. Ратцеля (Ratzel 1899). Хотя Ратцель говорил о том, что природные условия полностью определяют характер истории каждого народа, он, находясь под влиянием Э. Дюркгейма, утверждал также, что социальная организация является независимым феноменом. П. Берк сравнивает Ф. Ратцеля по значению с психологом В. Вундтом, отмечая, что оба создали сходные по масштабу сочинения о так называемых «детях Природы» (Naturvölker). Один при этом сосредоточился на проблеме адаптации к физической среде, а другой — на коллективной ментальности. П. Видаль де ла Блаш начинал свою карьеру как историк, и, может быть, именно исторические корни сделали его концепцию *genre de vie* (Vidal de la Blache 1922) столь влиятельной в среде французских историков, от Л. Февра до Ф. Броделя, и в геоистории 1960-х годов.

В американской историографии с климатической интерпретацией истории выступил в середине XIX в. ученый-энциклопедист, известный своими открытиями в области физики, химии, физиологии, и одновременно автор целого ряда работ по истории и социологии Д. Дрепер. Дрепер, на которого большое воздействие оказали идеи Бокля, пытался решить вопрос о зависимости политических идей от влияния географической среды. Идея централизации, чувство «единства нации», согласно Дреперу, ощутимо присутствовали в политическом сознании в США уже в XVIII в., однако разнообразие природных условий, различный климат на севере и юге страны привели все же к временному торжеству идеи разделения. Жаркий климат Юга развил стремление использовать невольничий труд и породил аристократическую форму правления; «сознательная демократия», напротив, была следствием климата американского Севера (Дрепер 1871 [1867—1870]).

Несколько позднее факторы пространства и времени в истории связал Ф. Тернер, предложив оригинальную интерпретацию эволю-

ции американских институтов и национального характера как следствия постоянного приспособления к конкретной географической и социальной среде (F. Turner 1920 [1893]). Оспаривая общепризнанные концепции, в которых опыт США рассматривался как естественное продолжение европейского, Тернер заявил, что американская история — это прежде всего продукт естественных условий самой Америки, продукт последовательных этапов продвижения «границы» (frontier), что обусловило специфику американского национального характера и общественно-политических институтов американского общества. Каждый шаг «границы» на Запад отдалял Америку от Европы, и чем дальше продвигалась «граница», тем сильнее становилось влияние Америки на общественное развитие, в процессе которого возник американский «демократический индивидуализм», отличающийся жестким эгалитаризмом, практичностью и материалистическим взглядом на жизнь (см.: Гаджиев 1981, с. 170).

Пространство как предмет истории приобрело совершенно новые измерения в трудах представителей школы Анналов во Франции в середине XX в. вследствие, как считает французский историк П. Шоню, «инстинктивного выбора в пользу непрерывности в историческом исследовании» и благодаря «изобретательному гению Фернана Броделя» (Шоню 1993 [1974], с. 142). Если до того пространство деление определялось в основном интересами политической истории и совпадало с политическими (обычно государственными) границами, то французские историки стали рассматривать исторические ареалы, жизнь которых определялась единой геодемографической средой независимо от границ политических образований. Ф. Бродель в «Средиземноморье» (Braudel 1949) совершил переход от средиземноморской политики Филиппа II к Средиземноморью и Средиземноморскому миру эпохи Филиппа II. П. Шоню писал о «Средиземноморье» Ф. Броделя, что это «пространство в три миллиона квадратных километров воды, два миллиона квадратных километров суши, четыре тысячи лет истории (поскольку письменные источники зародились тоже здесь). Средиземноморье оказалось — и это явилось потрясающим открытием — пространством без государства, пространством реальным, то есть пейзажем, диалогом человека с землей и климатом, извечным сражением человека с материальным миром вещей, без государственного посредничества, без ограничивающих права человека национальных пределов с их

административной географией и границами» (*Шоню* 1993 [1974], с. 143).

Основоположники школы «Анналов» выступали за целостное изучение истории начиная с геологической предистории Земли (*Febvre, Batallon* 1922; *Morasé* 1949). Как считал Бродель, географический детерминизм — самый яркий пример границы действий и опыта человека. «Человек — пленник своего времени, климата, растительного и животного мира, культуры, равновесия между ним и средой, создаваемого в течение столетий, равновесия, которого он не может нарушить, не рискуя многого потерять. Посмотрите на сезонные перегоны овец в горы, характерные для жизни горцев, на постоянство некоторых экономических форм деятельности жителей приморских районов, связанное с биологическими особенностями побережья, взгляните на устойчивость местоположения городов, на постоянство путей сообщения и торговли, на удивительную прочность географических рамок цивилизации» (*Бродель* 1977 [1958], с. 124).

До 1960-х годов влияние географии обнаруживается в исследованиях многих представителей французской исторической школы. Источниками для них служили «не только тексты, но и ландшафт, со всеми запечатленными на нем следами прошлого, названиями местностей, расположением дорог, полей, жилищ» (*Дюби* 1991, 1992, с. 51). При этом французская историография в 1950—1960-е годы развивалась, осваивая различные пространства: от небольших областей и провинций (*Goubert* 1960; *Vilar* 1962; *Le Roy Ladurie* 1974 [1966]) до океанских просторов (*Mauro* 1960; *Chaunu, Chaunu* 1955—1957; *Godinho* 1960).

Использование фактора пространства в исторических работах позволяет сосредоточиться на аспектах постоянного, неизменного в истории культур и наций. Благодаря географическому подходу в исторических исследованиях была открыта «неподвижная история» (*Ле Руа Ладюри* 1993 [1974]). Но что особенно важно, использование категории пространства позволило связать два измерения, характерные для исторических работ, стимулируя размышления о связи пространства и времени.

* * *

История XX в. разнообразием интересов, направлений и школ, безусловно, во многом обязана достижениям социальных наук. Как

мы старались показать, многим из своего багажа социальные науки делятся с историей вполне бескорыстно, а история достаточно активна в попытках использовать их методы и «стать с веком наравне». Однако, несмотря на сознательное стремление к «научности» и обновлению, характерное для части историков особенно в последние десятилетия, история по-прежнему не вполне соответствует стандартам современных социальных наук. Видимо, совсем непросто применить модели и концепции социальной теории к исторической науке, которая в общественном сознании стоит особняком, отделенная границей Времени.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОТ ХРОНОЛОГИИ К ИСТОРИОГРАФИИ

Было бы весьма затруднительно изучать историю народов сплошь, без всякого перерыва, и потому мудрая природа озаботилась устроить ряд интервалов, которые дают возможность легче ориентироваться любознательному уму.

Осип Дымов. Из «Всеобщей истории, обработанной „Сатириконом“»

В предыдущем разделе мы старались отделить историческое время от других разновидностей времени, а историю, с этой целью, — от других областей знания и научных дисциплин. Наконец мы остаемся с историей наедине и обращаемся непосредственно к историческому времени. История овладевала временем как способом познания прошлого издавна, постепенно расширяя сферу применения этого понятия. В итоге категория времени в историческом исследовании выполняет самые разные функции. Важнейшие из них: обеспечение социальной памяти, организация прошлого, его реконструкция и интерпретация. Данная глава посвящена анализу одной из базовых функций времени — классификации исторических свидетельств, определения их последовательности и организации прошлого и настоящего.

Философская концепция времени в исторической науке транслируется в проблему периодизации истории. Общественная потребность организовать и упорядочить исторические свидетельства существует испокон веков. Для периодизации истории базовыми являются два элемента: событие и календарь. Календарные системы, основанные на астрономических единицах времени, позволяли фиксировать события во времени, соблюдая принцип последовательности. Но только появление хронологических систем (создание абсолютной хронологической шкалы, т. е. установление некоей точки начала отсчета времени) позволило не просто измерять интервалы между событиями, но и датировать их, помещая каждое событие в

определенной точке временной шкалы, иначе, перейти от относительной датировки к абсолютной. Как писал К. Леви-Стросс, в хронологии состоит код истории. «Нет истории без дат... Если даты не вся история и не более интересное в истории, они являются тем, без чего собственно история исчезла бы, поскольку вся ее оригинальность и ее специфика состоят в постижении отношения предшествующего и последующего, которое было бы обречено на размывание, если, пусть даже предположительно, его термины не могли бы датироваться» (Леви-Стросс 1994 [1962], с. 318).

Хронология, составляя временные ряды из дат и событий, дает начало организации свидетельств о прошлом. Но развитие исторического знания предполагает различение отдельных этапов исторической жизни и осмысление их специфического содержания. Выделение этапов по существу означает определение единицы времени, которое отличается наполненностью историческим смыслом. «Когда для нас важна длительность правления, существования конституции, формы хозяйства, — писал Г. Зиммель, — то нами подразумевается множество единичных, следующих друг за другом событий. Подразумевается, что к концу этого периода состояние настолько изменилось, что лишь из воспоследовавшего мы способны понять то, что не было ясно по начальному состоянию этого периода. Если из в остальном темной для нас эпохи мы получили сведения, что некий король правил тридцать лет, то исторически это говорит нам ничуть не больше, чем известие о десяти годах правления. Это дает лишь возможность будущих открытий...» (Зиммель 1996 [1917], с. 523—524).

Единицы не календарного, а именно исторического времени (правления, династии и т. д.) известны еще глубокой древности. Более того, уже в Древнем мире и в Средние века историки знали понятия эпохи и других, не столь масштабных периодов истории, но осмысливали их в рамках теологических или философских учений. Понятия исторической эпохи и исторического периода — отрезков исторического времени, наполненных определенным содержанием, — явление относительно недавнее. Только в Новое время произошло осмысление единиц времени разной значимости и продолжительности в контексте исторической концепции, распространяемой на все общество во всех его проявлениях. С тех пор не просто события, но и «дух» времени, совокупность всех системных и духовных характеристик определенного этапа, составляют содержание исторического периода. Как писал Зиммель, содержание того или иного отрезка

истории «не делается историческим ни из-за нахождения во времени, ни из-за того, как оно понимается. Только с их соединением, когда содержание делается временным по причине вневременного понимания, оно является историческим...» (Зиммель 1996 [1917], с. 521).

В Новое время периодизации подлежит не только всемирная история или история того или иного общества в целом, но и история социальных подсистем. Например, барокко, классицизм, модерн — это не только стили, но и периоды в развитии европейской культуры, они имеют временные характеристики. Такие же параллели справедливы в отношении экономического или политического развития общества.

Периодизация необходима исторической науке как организующая и упорядочивающая схема систематизации знаний об исторических событиях и процессах. «Прежде всего историография отделяет свое настоящее время от прошлого. Но она постоянно повторяет этот начальный акт разделения. Так, хронология делится на „периоды“ (например, Средние века, новая история, современная история), между которыми в каждом случае проступает решение быть иным или не таким, как до этого времени (Возрождение, Французская революция)... Разрывы, таким образом, являются предварительным условием интерпретации (которая конструируется из настоящего времени) и ее объектом (разделение, организующее репрезентацию, должно реинтерпретироваться)» (Certeau 1988 [1975], р. 3—4).

За видимым утилитарным смыслом периодизации различим и познавательный и идейный (или идеологический) подтекст. Выбор периодизационной схемы несет на себе печать времени и мировоззрения историка. «„Периодизация“ постоянно пересматривается, по мере того как меняется угол зрения историков и отодвигается видимая им линия горизонта» (Зелдин 1993 [1976], с. 160). По периодизационной схеме легко судить о приверженности автора таким методологическим ориентирам, как эволюция, прогресс, историческая закономерность, целенаправленность общественного развития, рациональность, или прямо противоположным: повторяемость, регресс, случайность, непредсказуемость, иррациональность. Подобные приметы мы обнаружим и в смысловом наполнении единицы времени: век, период, этап, эпоха и т. д.

«Деление» процесса бытия на отрезки времени от простых календарных до достаточно сложных единиц исторического времени,

используемых в современной историографии, и составляет предмет данной главы.

§ 1. СОБЫТИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

*И прибых собственною персоною в Глу-
пов и возопи:
— Запорю!
С этим словом начались исторические вре-
мена.*

*М. Е. Салтыков-Щедрин.
История одного города*

В рамках концепции «Время-1», о которой шла речь в предыдущей главе, время «заполняется» событиями и датировка событий по существу означает маркирование точек на временной оси. «Единицы измерения времени повторяются снова и снова и всегда одинаковы: один день похож на другой. Только события — рождение и смерть, хороший или плохой урожай — выделяют единицы времени, делая их неодинаковыми по значению и, таким образом, запоминающимися» (Бикерман 1975 [1969], с. 57).

Однако события не только маркируют точки на оси времени. В историческом повествовании (или исследовании) они используются как средство организации времени. Как писал Л. Февр, историки без конца выковыывают и укрепляют цепь событий и стараются все плотнее окутать историческое прошлое человечества целой сетью таких цепей, «стремясь „организовать прошлое“, внести ясность и упорядоченность в его беспрестанно волнующие глубины, в беспорядочное сверкание и кружение фактов» (Февр 1991 [1938], с. 99). Таким образом, датировка событий есть форма темпоральной организации истории.

Событие всегда было и остается основой, исходным пунктом историографии. В отличие от происшествия или случая, событие — это категория исторического анализа. Но отбор «исторических» событий, т. е. событий, значимых для историка, их интерпретация, да и общая оценка роли событий в истории и историческом исследовании имеют дискуссионный характер.

1. Событие как элемент исторического анализа

На протяжении большей части своего существования историография была, прежде всего, историей событийной и писалась в форме рассказа (см., например: Барг 1987, с. 54—75). Как античная, так и средневековая историография имели преимущественно событийный характер.

В Новое время в изучении истории постепенно сложились два основных подхода, ни один из которых в конкретном исследовании последовательно реализовать невозможно, но можно декларировать. Сторонники первого полагают, что история и состоит собственно в описании событий, сторонники второго пытаются анализировать историю, игнорируя исторические события. При этом чем прочнее становились позиции рационалистической науки, тем с большим презрением представители «научной истории» относились к истории нарративной, описательной¹.

Показательны в этой связи попытки самоопределения историографии Нового времени, ее отделения от хроники как воплощения средневековых исторических сочинений. Отличие новой «истории» от традиционной «хроники» в значительной мере связывалось именно с различиями в качестве событий, которые были объектами исторических исследований. Например, индивидуальные события относили к хронике, а общезначимые — к истории, несущественные — к хронике, а важные — к истории. Или — подчеркивали тесную взаимосвязь между событиями в истории и их несвязанность в хронике, логическую упорядоченность — в истории, сугубо хронологический порядок — в хронике, способность проникать в суть событий — в истории, поверхностность — в хронике, и т. д.².

¹ Наиболее типичны в этом отношении высказывания представителей французской школы «Анналов»: «Событие — это взрыв, «звонкая новость», как говорили в шестнадцатом столетии. Его удар заполняет все, но он кратковременен и пламя его едва заметно» (Бродель 1977 [1958], с. 118). Или: события — «это „поверхностный слой истории“. Пена. Гребешки волн, рябь на поверхности мощных дыхательных движений океана... Мелкая пыль индивидуальных поступков, судеб, происшествий» (Февр 1991 [1950a], с. 185).

² «На самом деле, — как считал Б. Кроче, — правда в том, что хроника и история различимы не как две формы истории, взаимодополняющие или соподчиненные, а как разные духовные отношения. История — живая хроника, хроника — мертвая история; история — современная история, хроника — прошлая история; история — в первую очередь — акт мысли, хроника — акт воли... Хроника — это своего рода сухой остаток истории» (Croce 1959 [1916], p. 231).

Представления о значимости событий, о том, какие из них являются «историческими» и поэтому должны попадать в поле зрения историка, значительно менялись на протяжении веков.

Для иудейской и христианской историографии существенное значение имели события библейской истории. Так, в древнеиудейской историографии главными событиями считались сотворение мира и человека, потоп, переселение Авраама в Ханаан, рождение Исаила, введение обряда обрезания, рождение Иакова, исход евреев из Египта под водительством Моисея, постройка Первого (Соломонова) Храма, разрушение Храма Навуходоносором, начало вавилонского пленения, конец персидского владычества (времена первосвященника Иаддуя) (см.: *Каменецкий б. г.*).

Значительная часть этих событий была воспринята в качестве исторически значимых христианской историографией. К ним были добавлены новые события религиозной жизни — прежде всего рождение Христа, события его земной жизни и Воскресение, а также Вселенские соборы, принятие христианства в разных странах, рождение или смерть праведников, мучеников или деятелей Церкви, возведение храмов и т. д., которые совмещались с событиями гражданской истории — вступлениями на престол правителей и проч.³

К числу значимых событий традиционно относились события политической истории. Исторически государство претендовало на главенство в анналах истории, и правящие элиты с древнейших времен были заинтересованы в определенной интерпретации событий. Во все времена и у всех народов, имеющих историю, последовательно отмечается приход к власти очередного правителя, и значимость события такого рода не требует проверки временем. Она признается автоматически, что свидетельствует о значении власти. Издавна важными считались и другие события военной и дипломатической истории: победы и поражения в битвах, чужеземное иго, революции, вос-

³ Например, в русской средневековой Начальной летописи в качестве хронологической канвы выделяются следующие события: «... От Адама до потопа лет 2242; а от потопа до Оврама лет 1000 и 82, а от Авраама до исхоженья Моисеева лет 430; а (от) исхожения Моисеева до Давида лет 600 и 1; а от Давида и от начала царства Соломона до плененья Иерусалимля лет 448; а от плененья до Олексанѡдра лет 318; от Олексанѡдра до рождества Христова лет 333; а от Христова рождества до Коньстянтина лет 318; от Костянтина же до Михаила сего лет 542; а от первого лета Михайлова до первого лета Олгова, русскаго князя, лет 29...» и т. д. (ПСРЛ, т. 11, стб. 12—13; цит. по: *Пронштейн, Кияшко* 1981, с. 74).

стания, бунты, мятежи. Безусловной значимостью, в глазах историков, всегда обладали такие события, как возникновение и падение государства, города. Помимо бесспорной завораживающей силы подобных событий, содержащих в себе аналогию со смертью, здесь, видимо, велика роль связи конкретной человеческой общности с пространством, на которое распространяется легитимность власти⁴.

Вообще смерть традиционно относилась к числу значимых «исторических» событий. Да так оно и было. Вспомним хотя бы, как круто изменилось течение Семилетней войны, когда в результате смерти русской императрицы Елизаветы Петровны на престол вступил Петр III, ярый поклонник Фридриха II. Он немедленно прекратил военные действия против Пруссии и возвратил ей завоеванные русскими войсками территории без всякой компенсации, а корпусу Чернышева приказал присоединиться к прусской армии для войны против Австрии.

Надо сказать, что значимость смерти признавалась не только в отношении правителей, но и когда речь шла о «широких массах населения» — отсюда то внимание, которое уделялось историками стихийным бедствиям, эпидемиям и голоду. Например, чума, война и голод являются главными событиями исторической эпопеи средневековой Франции, нарисованной мэтром современной историографии Э. Ле Руа Ладюри в его знаменитой лекции «Застывшая история» (*Ле Руа Ладюри* 1993 [1974]). Много размышляющий о современности Д. Бурстин продлил этот список. «Помимо Чумы, Войны, Голода и Смерти стала ли Наука пятым всадником из Апокалипсиса?» — спрашивает он (*Бурстин* 1993 [1958—1973], т. 3, с. 732).

Интерпретация события требует различать его внешнюю сторону и внутреннее содержание. Сущность подобного различия хорошо сформулирована Р. Коллингвудом. «Под внешней стороной со-

⁴ Типичным примером хронологического перечня значимых событий может служить отрывок из работы древнегреческого историографа и математика Эратосфена, жившего в III в. до н. э.: «От падения Трои до возвращения Гераклидов — 80 лет; от этого события до ионийской колонизации (ионийской миграции) — 60 лет, затем до попечительства Ликурга — 159 лет; от него до начала олимпиад — 108 лет; от 1-й олимпиады до похода Ксеркса — 297 лет; от этого похода до Пелопоннесской войны — 48 лет; а до окончания этой войны и конца гегемонии Афин — 27 лет, а до битвы при Левктрах — 34 года; от этого времени до смерти Филиппа — 35 лет и, наконец, до смерти Александра — 12 лет» (цит. по: *Бикерман* 1975 [1969], с. 79—80).

бытия, — писал он, — я подразумеваю все, относящееся к нему, что может быть описано в терминах, относящихся к телам и их движениям: переход Цезаря в сопровождении определенных людей через реку, именуемую Рубикон, в определенное время или же капли его крови на полу здания сената в другое время. Под внутренней стороной события я понимаю то в нем, что может быть описано только с помощью категорий мысли: вызов, брошенный Цезарем законам Республики, или же столкновение его конституционной политики с политикой его убийц. Историк никогда не занимается лишь одной стороной события, совсем исключая другую... Историк интересуется переходом Цезаря через Рубикон только в связи с его отношением к законам Республики и каплями крови Цезаря только в связи с их отношением к конституционному конфликту» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 203).

Очевидно, что анализ «внутренней стороны события» — это и есть его интерпретация, неизбежно помещающая отдельное событие в исторический континуум. Этот тезис четко сформулировал Г. Зиммель: «Историческое содержание обретает свой характер вместе с установлением пункта во времени — между всем предшествующим и всем последующим» (Зиммель 1996 [1917], с. 522).

Одно и то же происшествие может считаться событием, а может и нет также в зависимости от задач исторического исследования. Например, датировка событий, существенных для Э. Ле Руа Ладюри в книге «Монтайю...» (Le Roy Ladurie 1978 [1975]), вряд ли привлечет внимание специалистов по общей истории средневековой Франции.

Наконец, важность событий далекой истории определяется исключительно по документальным источникам, и если источники молчат, то событие отсутствует. Однако знание о событии и даже понимание его способны «указывать только на относительную определенность во времени, а не помещенность во время вообще — это было бы равноценно простому утверждению о действительности события, а как раз этого не дает понимание» (Зиммель 1996 [1917], с. 521).

Вообще при работе историка с источниками события порой формируют его видение прошлого. В исторических штудиях нередки случаи, когда содержание источников заставляло даже изменить тему исследования. Так случилось с Э. Ле Руа Ладюри, когда, работая над книгой «Крестьяне Лангедока», он хотел использовать источники, чтобы подтвердить убеждения, сложившиеся у него в молодые годы, но в конце концов источники овладели им, «навязав собственный

ритм, собственную хронологию и собственную особенную правду». Случившееся он назвал не просто злоключением, но «классическим злоключением», подчеркивая типичность такого происшествия (Le Roy Ladurie 1974 [1966], р. 4). Часто, однако, бывает наоборот: предварительно заданная структура или сформулированная проблема диктуют выбор событий, на которые опирается повествование.

Понимание значимости события современниками может корениться в настоящем, а может ориентироваться на будущее. Но отнесение происшествия к рангу исторических событий не всегда определяется его важностью в глазах современников. Часто это происходит *post factum*, когда очевидными становятся последствия случившегося. Ведь какой бы прозорливостью ни отличались те или иные современники, они никогда не переживают исторический момент так, как историк, который знает, что случилось *потом*. Они просто не в состоянии увидеть день завтрашний с той же отчетливостью, с какой его видит исследователь как день вчерашний.

Например, известно, что историческое значение английской революции XVII в. было совершенно бесспорно для англичан — современников революции. Томас Гоббс (1588—1679) писал: «Если бы во времени, как на местности, были свои высоты и впадины, я убежден, что высшая точка во времени находилась бы в интервале между 1640 и 1660 гг.» (цит. по: Barg 1990, р. 5). Но выходящим за рамки британской истории значение английской революции XVII в. было признано лишь в середине XIX в., и, видимо, благодаря К. Марксу, который придал ей значение победы нового общественного строя, полагая, что эта революция ознаменовала «победу буржуазной собственности над феодальной, нации над провинциализмом, конкуренции над цеховым строем... просвещения над суеверием... буржуазного права над средневековыми привилегиями» (Маркс 1957 [1848], с. 115).

На этом примере мы видим, что для определения важности события оказалось необходимым поместить его в конкретный исторический контекст, произвести сравнительный анализ, т. е. разместить событие в определенной структуре, в данном случае формационной. «Точно так же как нельзя буквально „нарисовать“ (draw) точку, так нельзя буквально „описать“ уникальное „событие“» (Wallerstein 1987, р. 315). Иными словами, описание события, как и рисунок точки, всегда охватывает некую область — времени и пространства.

С конца XIX в. в историографии идет непрекращающаяся дискуссия о роли событий в историческом исследовании. Одним из ее контрапунктов стало противопоставление «событий» «структурам». При дихотомическом подходе событие и структура рассматриваются как оппозиции, взаимоисключающие друг друга. Но нам представляется более конструктивной точка зрения К. Ллойда, который считает, что концепция структур и концепция событий образуют не дихотомию, а симбиотическую дуальность. Разница между дихотомическим и дуальным подходом состоит в том, что последний трактует события и структуры как относительно автономные объекты, несводимые один к другому и в то же время неразрывно связанные (Lloyd 1993, p. 40).

Ведь события не только подлежат историческому объяснению и связываются между собой в форме истории (Люббе 1994 [1973], с. 219). Даже самое нейтральное изложение событий невозможно без их интерпретации, которая, по образному выражению Т. Зелдина, скрепляет события, подобно цементу (Зелдин 1993 [1976], с. 160). Изучение хода событий, их реконструкция, связанная в том числе с их интерпретацией, делает «видимыми» социальные, политические, экономические и даже сами временные структуры. Здесь наряду со знаменитой трилогией Ф. Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.» (Бродель, 1986—1992 [1979]) можно привести в пример главы из известного трехтомника «Американцы», принадлежащего перу Д. Бурстина (Бурстин 1993 [1958—1973]). В третьем томе, в главе «Уравнивая времена и пространства» проблема начавшегося в США со второй половины XIX в. изменения структур пространства и времени рассматривается на основе реконструкции цепи таких событий, как изобретение сгущенного молока, мясных консервов и технологии замораживания фруктов. Формирование структуры потребительского общества анализируется на фоне подробного рассказа о создании индустрии готовой одежды и обуви, изобретении торговых центров и супермаркетов, овладении искусством рекламы. А для формирования статистического сообщества существенным, по мнению Бурстина, было даже установление стандартных размеров одежды, способствовавших появлению категории «среднего человека» (Бурстин 1993 [1958—1973], т. 3).

Конечно, «события могут быть только рассказаны, а структуры могут быть только описаны» (Koselleck 1985 [1979], p. 105), но рассказ и описание взаимосвязаны. С одной стороны, события являются

предпосылкой для конструирования структур, с другой — устойчивые структуры могут определять форму события и даже саму его возможность. (В СССР 1980 г. не могло произойти такое событие, как массовый митинг против войны в Афганистане.) В подобном духе рассуждал Л. Толстой, замечая, что если «Наполеон во все свое царствование отдает приказания об экспедиции в Англию, ни на одно из своих приказаний не тратит столько усилий и времени и, несмотря на то, во все свое царствование даже ни разу не пытается исполнить своего намерения, а делает экспедицию в Россию, с которою он, по неоднократно высказываемому убеждению, считает выгодным быть в союзе, то это происходит оттого, что первые приказания не соответствовали, а вторые соответствовали ряду событий» (Толстой 1957, т. 2, с. 747).

Нередко одно и то же явление можно трактовать и как событие, и как элемент в формировании определенной структуры. К таковым относятся, например, политические судебные процессы. (Нюрнбергский процесс — увлекательное историческое событие и важная ступень в формировании практики международного военного суда над военными преступниками.)

Распределение событий между различными структурами и уровнями, решение проблемы взаимосвязи между ними подразумевает использование исторических концепций. Эта традиция шла от историков Просвещения и была подхвачена представителями социологического направления в историографии, в том числе и Марксом.

В середине XX в. влияние «научной» социологии привело к настоящему гонению на события. «Состарившаяся, прозябавшая в эмбриональной форме повествования, долго перегруженная вымыслами, еще дольше прикованная к событиям, наиболее непосредственно доступным», — так характеризовал М. Блок событийную историю (Блок 1986 [1949], с. 12). Представители школы «Анналов» придали колоссальное ускорение развитию аналитической и структурной истории, которая ставила своей целью разъяснение социальной действительности методом реконструкции объективных процессов и структур, низводя роль событий в историческом процессе до второстепенной. Эти идеи получили широкий отклик и в других странах. Например, В. Конце, выделяя роль хозяйственных, социальных и культурных факторов, утверждал, что именно они образуют «опорную структурно-историческую» основу событий (Conze 1956, S. 16). Однако, как справедливо замечает Р. Зидер, ни Конце, ни Бродель, подходу которого он следовал, не предприняли попыток более

подробно истолковать или разъяснить, как соотносятся эти факторы друг с другом и каково их отношение к событиям (Зидер 1993 [1990], с. 170).

По мере того как структурная история приближалась к своему идеалу, она все больше рисковала превратиться в историю без событий. Но в последние десятилетия историки стали преодолевать односторонность структурного анализа, и все чаще при изучении общества используется множество подходов, причем исходным пунктом нередко становится событие, маленькое или значительное, жизненный путь одного индивида или событие в жизни специфической группы. Более всего это характерно для таких направлений, как история повседневности, история семьи, но и в истории ментальности или истории женщин мы легко обнаружим примеры подобного рода. Нередко целью такого подхода становится создание структуры, но не путем конструирования серий, которые потом соотносятся одна с другой, а на основе «одновременно специфического и глобального понимания общества через событие, экзистенцию или практику» (Chartier 1988, p. 59).

«История событий» рассказывает о макром мире, представляя его как констелляцию или цепь микрособытий разных уровней. Другой вариант, типичный для современной историографии, — применение комплексного подхода, который был традиционно характерен для макроистории, к единичному микрособытию, локализованному во времени и в пространстве. Он предполагает пристальный (что недостижимо при изучении крупных событий и протяженных периодов) и всесторонний (экономический, социальный, политический, ментальный и т. д.) анализ на примере конкретных явлений. Популярностью макроисторического подхода также объясняется характерное для современной историографии внимание к микрособытиям.

Надо сказать, что реабилитация события, связанная с появлением макро- и микроистории, несколько повысила и престиж традиционных исторических работ, написанных в жанре рассказа. Стало как-то само собой очевидно, что без такого способа реконструкции реальности и ее интерпретации тоже не обойтись.

2. Событие и время

Отношения события с временем очень тесные, но не столь простые, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, как

отмечал Ф. Бродель, время можно измерять событиями (Бродель 1977 [1958], с. 119), с другой — событие само измеряется астрономическим временем («битва длилась до захода солнца», «Столетняя война»). Более того, именно в отношениях между событиями (или между вещами) мы можем постичь время и пространство: «они являются способами, в которых выражаются отношения между объектами и событиями» (Giddens 1981, v. 1, p. 30—31).

Роль события как исходного элемента исторического времени связана прежде всего с датировкой. Сама природа события такова, что событийная история привязана к хронологии. Именно хронология задает рамки, в которых располагаются происшествия, из которых и отбираются события. На оси времени откладываются события — собственно, ничего другого там и нет.

Проще говоря, датировка как маркировка времени означает, что когда нас спрашивают, что происходило в таком-то году, мы называем некие события, придавая этому времени определенные качественные характеристики. В свою очередь датировка как темпоральная организация истории означает, что при ответе на вопрос о каком-либо событии мы прежде всего называем время, когда оно произошло, тем самым помещая это событие в общую историческую канву. По формулировке Г. Зиммеля, «мы помещаем событие в объективно протекающее время не для того, чтобы оно соучаствовало в его протяженности, но для того чтобы каждое событие получило соотносимое с другими местоположение» (Зиммель 1996 [1917], с. 524).

Когда Кант возражал против организации всей истории по хронологическому принципу, он критиковал теологическую концепцию времени как провиденциалистский план, которому должна следовать история, но вовсе не отрицал хронологию. Однако, по его мнению, хронология должна следовать за историей (цит. по: Koselleck 1985 [1979], p. 246). Кант выдвинул задачу создания исторически имманентных временных критериев, и эти критерии все четче проявлялись в исторических и теоретических дискуссиях конца века Просвещения.

Так или иначе события, происшествия, случаи в историческом повествовании располагаются последовательно, а их датировка издавна входила в обязанности историка и для многих составляла одну из увлекательнейших сторон исторического поиска. Но при этом как способы датировки, так и отношение к ней существенно различались в разные эпохи (подробнее см. ниже, § 3). Например, хронология Средневековья имела знаковый характер, т. е. она не опреде-

лялась объективным временем, которое может быть точно измерено. «Средневековые, столь же жадные на даты, как и наша эпоха, датировали события по другим правилам и с другими целями» (*Ле Гофф* 1992 [1964], с. 165). Средневековый человек не испытывал нужды в отсылке к числу, но ему нужна была ссылка на время. Поэтому историки Средневековья не терзались сомнениями, характерными для современных историков, рассказывая «подряд о событиях, единственная связь между которыми состояла в том, что они происходили в одно время: град, появление удивительных метеоров вперемешку с битвами, договорами, кончинами героев и царей» (*Блок* 1986 [1949], с. 17).

Новое время породило иное отношение к датировке событий. Она в гораздо большей степени стала нести смысловую нагрузку, и цепь событий, выстроенных в хронологическом порядке, стала подчиняться некоему замыслу, концепции, априорным правилам отбора значимых событий и т. д. Одновременно возрос интерес к научной хронологии, который достиг своего апогея в XVIII—XIX вв. (подробнее см. ниже, § 3).

В XX в., особенно в первые десятилетия после второй мировой войны, доминирование структурной истории проявилось в резком снижении интереса к хронологии. «Датирование событий, еще недавно *sine qua non* исторического знания, — писал Т. Камм, — забыто настолько, что большинство французских школьников не знают ни того, что Французская революция началась в 1789 г., ни того, к какому веку принадлежит этот год» (цит. по: *Chartier* 1988, p. 223). Между тем для установления каузальной связи существенно, *когда* произошло то или иное событие, и дата — важный вклад историка в обществознание. Кроме того, если хронологическое время легко разрушается в структурной истории, в истории ментальности или в истории культуры, то в событийной истории, больше чем в какой-либо другой, мы сталкиваемся с необратимостью исторического времени. Именно поэтому поветрие пренебрежительного отношения к хронологии оказалось недолгим, а сознательное стремление к дехронологизации истории замкнулось в основном в рамках постмодернистской историографии. В целом же, поэкспериментировав, большинство историков в конце 1970-х годов признали «необходимым... вернуть историческому тексту единство и стройность, утвердить его на надежных хронологических опорах» (*Дюби* 1992, с. 57).

Первоначально в историографии событие полагалось как единичное — происшествие, возведенное в ранг значительного, затем по-

явились «не точечные», или макрособытия — политические, социальные, экономические. Они обычно понимаются как целая цепь событий, охватывающих достаточно протяженный период (война, революция и др.). В подобные критические периоды следующие одно за другим события, которые обычно относятся к рядовым (встречи, переговоры и т. д.), уже в глазах современников становятся историческими и определяют параметры макрособытия.

Впрочем, даже за многими единичными событиями обычно кроются предшествующие. Это пронизательно заметил еще Л. Толстой: «Когда мы говорим, например, что Наполеон приказал войскам идти на войну, мы соединяем в одно одновременно выраженное приказание ряд последовательных приказаний, зависевших друг от друга. Наполеон не мог приказать поход на Россию и никогда не приказывал его. Он приказал нынче написать какие-то бумаги в Вену, в Берлин и в Петербург; завтра — такие-то декреты и приказы по армии, флоту и интендантству — и т. д., и т. д. — миллионы приказаний, из которых составилась ряд приказаний, соответствующих ряду событий, приведших французские войска в Россию» (*Толстой* 1957, т. 2, с. 748).

События, следующие одно за другим, образуют временной ряд, который не является простой совокупностью несвязанных событий. Историческое мышление как раз и основывается на предположении (или априорном принципе, как сказали бы Кант и Фихте) о существовании внутренних, или необходимых, связей между событиями во временном ряду, так что одно событие необходимо ведет к другому, и поэтому возможно вести исследование от настоящего к прошлому. «Конечно, — писал Бродель, — событие обладает целым рядом значений и связей. Иногда оно свидетельствует об очень глубоких движениях, и с помощью надуманной игры в „причины“ и „следствия“, игры, излюбленной историками прошлого, может быть связано с временем, далеко выходящим за пределы его собственной длительности. Растяжимое до бесконечности, оно легко или с некоторыми трудностями увязывается со всей цепью событий, с предшествующими фактами и кажется нам неотделимым от них» (*Бродель* 1977 [1958], с. 119).

В цепи событий, характеризующих макрособытия, нередко можно выделить событие-символ: например, похищение Елены, Бостонское чаепитие, взятие Бастилии, выстрел в Сараеве, залп «Авроры», поджог Рейхстага (сплошной терроризм и экстремизм!).

В современной историографии способность одного события вызывать целую цепь последующих событий была использована при создании контрфактической истории. Авторы исследований, относящихся к этому жанру (например, уже упоминавшиеся нами Р. Фогель и С. Энгерман), для определения истинного значения того или иного события условно изымали его из истории и пытались сконструировать хронологическую цепочку событий, которая могла бы стать следствием отсутствия интересующего их события. Цель подобного анализа состояла в проверке основательности общепринятой интерпретации.

Следующая функция события, связанная со структурированием исторического времени, — демаркация исторических периодов. Событие — это разрыв исторического времени, перерыв в постепенности. «Вещь, событие, о которой или о котором говорят или что-то написано, не есть ли во всех случаях своего рода срыв, своего рода нарушение непрерывности? — задавался вопросом Т. Карлейль. — Ведь даже когда происходит какое-то радостное событие, оно все-таки несет с собой изменение, несет с собой убыток... — так было всегда, и раньше, и теперь, — оно несет с собой нерегулярность...» (Карлейль 1991 [1837], с. 25).

Уже античные историографы в основу деления истории на периоды помещали события, но не любые, а только «значимые». Еще более характерна разметка истории по важным событиям для христианской историографии. «Разделив историю прошлого на две части, христианская универсальная история, естественно, будет стремиться и к дальнейшему делению. Поэтому она станет выделять и другие события, не столь решающие, как рождение Христа, но также по-своему важные, события, делающие все произошедшее после них отличным от того, что им предшествовало. Таким образом история делится на эпохи или *периоды*, каждый из которых имеет специфические особенности и отличается от периода, предшествовавшего ему, каким-нибудь событием» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 49—50). Историография Нового времени придала эпохам и периодам совершенно новое звучание, наполнив их качественным содержанием (подробнее см. § 4).

В бесконечной череде исторических событий выделяются события эпохальные. Это события, определяющие век или эпоху. Историки рассматривают их как источник множества последующих событий и считают эпоху исчерпанной, когда влияние этих событий сходит на нет. Именно о таких событиях писал Н. Гоголь в упоминавшейся

статье, посвященной преподаванию истории, призывая «показывать их так, чтобы все видели ясно, что они великие маяки всеобщей истории»; они «должны быть обозначены ярко, сильно, должны выдвигаться на первом плане со всеми своими следствиями, изменившими мир» (Гоголь 1978 [1835], с. 42).

Эпохальные события конденсируют вокруг себя эпоху, выражая ее сущность и дух. К несчастью для современников, это преимущественно события драматического, даже трагедийного плана. Но по понятным причинам эпохальные события привлекают к себе особенное внимание историков. Споры о них не утихают и длятся нередко не один век.

Если мы понимаем под эпохальным событием начало начал, то «с той оговоркой, однако, что для большинства исторических реальностей само понятие этой начальной точки как-то удивительно неуловимо» (Блок 1986 [1949], с. 21). Поиски исходного события, события-ядра, требуют установления некоего предела, «порога фрагментации» (Koselleck 1985 [1979], р. 106), за которым событие как таковое разрушается. «Значимое для нас как неразложимый элемент истории событие предполагает, что его части не могут быть заменены другими из внешних ему рядов» (Зиммель 1996 [1917], с. 524). Выделение события немыслимо без установления хронологических «до» и «после». Как замечает Козеллек, содержание события может простираться за временные границы «до» и «после», но нам представляется, что в этом случае речь идет не о событии, а о цепи событий, в которую оно включается. Если же мы понимаем под эпохальным событием первопричину, то мы непременно сталкиваемся с известными всем трудностями причинно-следственного анализа.

В историографии существуют и общепризнанные случаи эпохальных событий. Один из них — Великая Французская революция. Значение этой революции в Европе и США было очевидно уже современникам. «Люди того времени считали, что они живут в эпоху преобразований, в эпоху революции, которая сотрясла континент, и не сомневались, что этот процесс будет продолжаться» (Хобсбаум 1991 [1990], с. 20). Возьмем для примера слова великого Гете, произнесенные им в обращении к прусским офицерам накануне проигранной затем битвы при Вальми против войск Французской революции: «Отсюда и сегодня начинается эпоха в мировой истории, и вы можете сказать, что вы были при этом» (цит. по: Hornung 1993, S. 9).

Значение Французской революции было признано определяющим для всего хода XIX в. Как писал в конце прошлого века английский историк Дж. Роуз, именно «цепь самых страшных и важных для всей истории событий» Французской революции возвестила о наступлении XIX в., «ибо этот великий переворот оказал глубокое влияние на политическую и еще более глубокое на общественную жизнь Европейского континента» (Rose 1895, p. 1).

Многие шли еще дальше, возводя Французскую революцию в ранг исключительных по своему значению событий мировой истории. По мнению немецкого историка К. фон Роттека, высказанному в 1848 г., в мировой истории не было более важного события, чем Великая французская революция; более того, не было события, сопоставимого с ней по своему значению. Как иронически отмечает Э. Хобсбаум, не все историки были столь категоричны. Одни считали, что это было наиболее значительное событие со времен падения Римской империи в V в. н. э., другие — «из слишком активных защитников христианства» или «слишком прогермански настроенных немцев полагали крестовые походы или Реформацию в Германии событиями не менее важными» (Хобсбаум 1991 [1990], с. 24).

Примером значения эпохальных событий из более близкой нам истории может служить идущая сейчас среди историков дискуссия о том, какое событие воплотило в себе сущность XX в. и определило его лицо. Американский историк Дж. Лукач настаивает на том, что XX столетие определялось двумя мировыми войнами. Русская революция, атомная бомба, конец колониальной империи, образование коммунистических государств, господство двух супердержав, раздел Европы и Германии — это все, по его мнению, последствия обеих мировых войн (Lukacs 1994, S. 11). Тезис о мировых войнах как основополагающих событиях XX в. убедительно обосновывают и многие другие весьма авторитетные авторы.

Расстояние между ними было столь небольшим, что в литературе для обозначения 1918—1939 гг. прочно утвердился термин «межвоенный период». Авторитетный немецкий специалист по истории международных отношений К. Хилдебранд обозначает это время как «войну в мире и мир в войне»⁵, а К. Брахер, объединяя обе войны и межвоенный период, дает повод для размышлений о том, не были ли эти годы

⁵ Так называется статья Хилдебранда (Hildebrand 1989).

(1914—1945) современной версией Тридцатилетней войны (Bracher 1992, S. 206).

Органическая связь обеих войн выражается не только в коротком интервале между ними. По сути дела одна война в определенной мере продолжала другую. Семена второй войны были засеяны еще в ходе первой, так что межвоенный период был в равной мере и послевоенным, и довоенным. Как пишет К. Брахер, то, что в зачатках имелось в 1918 г. «как идея или фермент, техническая возможность и крайняя последовательность, — воплощалось грубыми методами национал-социализма во второй мировой войне» (Bracher 1992, S. 205). Нельзя переоценить и груз последствий первой мировой войны. Известный американский дипломат и крупный историк Дж. Кеннан называл ее «великой исходной катастрофой этого столетия» (цит. по: Bracher 1992, S. 204), а Голо Манн — «катастрофой-матерью» всех катастроф XX в. (Mann 1992 [1960], S. 547).

Социально значимое событие делает время социально значимым. Такова, например, социальная значимость для американцев октября 1929 г. или 1860—1864 гг. для южан в США. Социальная значимость времени, отмеченного определенным событием, может существовать для одних социальных или политических групп и отсутствовать для других. Например, 1937 г. в России. Впрочем, значимость того или иного момента или периода, связанного с конкретным событием, может определяться не только политическими пристрастиями, но и кругозором той или иной общественной группы, спецификой ее образования или интересов. Сказанное справедливо для событий, относящихся к сферам культуры, науки, техники и т. д.

Представители школы «Анналов», и прежде всего Ф. Бродель, принимали попытки «несобытийного» структурирования исторического времени, в основе которого лежала классификация исторических процессов. Акцент на структуры подразумевал упорядоченность причинных факторов и постулировал, что репрезентация событий подчиняется ментальным и идеологическим конструкциям, в основе которых лежат экономические функции, социальные иерархии или другие элементы структуры, а не временная последовательность. В. Конце также предлагал отказаться от системы периодизации истории, основанной на событиях (Conze 1956, S. 16 ff.).

В то время как события инициируются и переживаются конкретными людьми, структуры надындивидуальны и интерсубъектив-

ны. Их никогда нельзя свести к отдельным личностям и лишь изредка можно связать с четко определенными группами. Временные константы структур пересекают хронологически обозримое пространство опыта, доступного субъектам, вовлеченным в события. Методологический подход к структурам требует введения функциональных характеристик. Конечно, и структуры не существуют вне времени, но это время имеет скорее характер процесса (Koselleck 1985 [1979], p. 108).

Надо сказать, что периодизация истории на основе структурных характеристик все равно имеет связь с событием, поскольку выбор исторического периода формирует последующий отбор и интерпретацию событий. В рамках структурного подхода объектом исследования может быть период времени, наполненный определенным содержанием, например: Афины V в. до н. э., Англия XVII в., Викторианский век, 1930-е годы. Но существенно, что во всех подобных работах события, попадающие в поле зрения историка, будут задаваться периодом, избранным для исследования. Например, замечательные исследования К. Брахера, объединенные в сборнике «Переломные времена в истории» (Bracher 1992), хотя и ставят в центр исследования важнейшие исторические события, предлагают системный анализ переломных исторических периодов. В подобных работах бал правит все-таки не событие, а интерпретация сложных исторических структур. В конце концов сама длительность может стать событием, что и произошло в знаменитых трудах Ф. Броделя.

Даже протяженность рассматриваемого периода оказывает влияние на отбор «значимых» событий и их интерпретацию. «Чем короче фаза времени для исторического события, тем больше наша история будет состоять из разрушений, катастроф, битв, убийств и внезапных смертей», — писал Коллингвуд (цит. по: Martins 1974, p. 265).

Однако как бы плотно ни был заполнен событиями период, привлекавший внимание историка, между временем событий и их историей пролегает глубокий разрыв. Процитируем пример из Зиммеля: «Историческая картина, именуемая нами Семилетней войной, не содержит в себе пустот, она тянется с августа 1756 г. по февраль 1763 г. Но в действительности непрерывны только события, которые длились в этих временных границах, а также в локализуемых войной пространственных границах. „История“ этого времени никоим образом не является непрерывной... Историческая картина, которой мы

действительно *располагаем* на основе исследований и фантазии, состоит из прерывных отдельных картин...» (Зиммель 1996 [1917], с. 525).

Очевидно, что масштабы периода, избранного историком для исследования, определяют калибр значимых для этого периода событий. Как отмечал, например, К. Леви-Стросс, «не только иллюзорно, но и противоречиво мыслить историческое становление как непрерывное развертывание, начатое с доистории, закодированной десятками или сотнями тысячелетий, развивающейся в шкалу из тысяч, начиная с четвертого или третьего, а затем продолжаясь в виде секулярной истории, наспигованной, по прихоти каждого автора, ломтями годичной истории в рамках столетия или по дням в рамках года, если даже не по часам в течении дня. Все эти даты не образуют одного ряда: они принадлежат различным видам... События, которые являются значащими по одному <временному> коду, не остаются таковыми по другому. Закодированные в системе доистории, наиболее известные события новой и современной истории перестают быть существенными; за исключением, возможно (и опять-таки мы об этом ничего не знаем), некоторых мощных аспектов демографической эволюции, осуществляемой в глобальных масштабах, открытия парового двигателя, электричества и ядерной энергии» (Леви-Стросс 1994 [1962], с. 319).

Таким образом, наряду с наглядным представлением о точках-событиях на оси времени, у историков существует представление о некоем «историческом *континууме*», прошлом, настоящем, а затем будущем, в котором события вступают между собой в отношения последовательности, причинности и взаимозависимости и по воле историка образуют самые разнообразные структуры и комбинации.

§ 2. КАЛЕНДАРНОЕ ВРЕМЯ

Числа не помню.

Месяца тоже не было.

Было черт знает что такое.

Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего

Календарь является одним из древнейших изобретений человечества. Календари возникают всюду, где появляется письменность, — показательно, что цивилизация майя, не знавшая колеса, меди, желе-

за и бронзы, сумела создать необычайно сложный и весьма точный календарь.

История календарей — это в значительной мере история астрономии и смежных с ней наук (от математики до оптики). Но вместе с тем очевидно, что все календарные системы представляют собой социальные конвенции (подробнее об этом см. гл. 5). Поэтому история календарей — это также и история государственности, и история религии, и история социальных отношений.

Все календарные системы основаны на трех единицах времени, т. е. трех периодах: во-первых, периоде обращения Земли вокруг Солнца (тропический или солнечный год), во-вторых, периоде смены фаз Луны (синодический или лунный месяц), и, в-третьих, периоде обращения Земли вокруг своей оси (земные сутки). Проблема, стоящая перед разработчиком любой календарной системы, состоит прежде всего в их состыковке: как известно, продолжительность тропического (солнечного) года составляет 12,36826... синодических (лунных) месяцев или 365,242195... земных суток, а продолжительность синодического (лунного) месяца — 29,530588... земных суток. Перипетии борьбы человечества с этими дробями составляют увлекательную страницу истории знания, но, к сожалению, мы не имеем возможности останавливаться на ней в деталях⁶. Здесь мы только вкратце напомним об основных этапах развития календарных систем, существенных для понимания истоков хронологического и исторического времени.

1. Календари

Все календари в той или иной мере используют три упомянутых выше периода — тропический год, синодический месяц и земные сутки. В зависимости от степени учета каждого из этих периодов календари обычно делятся на лунные, лунно-солнечные и солнечные.

Древнейшей разновидностью календарей являются, по-видимому, лунные, основанные на самых ранних и примитивных астрономических наблюдениях, согласно которым предполагалось, что календарный год равен 12 лунным месяцам. В этих календарях неделя также определялась на основе фаз луны как одна четвертая часть

⁶ Читателей, интересующихся историей календарных систем и календарей, мы отсылаем к работам: *Идельсон* 1976 [1925]; *Селешников* 1977; *Климишин* 1981; *Цыбульский* 1982 и др.

лунного месяца, т. е. семь дней (хотя на самом деле синодический месяц не делится на четыре семидневных недели нацело).

Поскольку продолжительность календарного года в чисто лунном календаре меньше продолжительности тропического года на 10,875... суток, начало года в таких календарях постоянно перемещается по климатическим сезонам. Переход к оседлому образу жизни и развитие земледелия потребовали учета годовых изменений климата, связанных с вращением Земли вокруг Солнца, что и послужило причиной перехода к более точным лунно-солнечным и солнечным календарям.

Заметим, что современный солнечный календарь унаследовал от древнейших лунных число месяцев — 12 (однако теперь календарные месяцы никак не связаны с синодическими). Точно так же из лунного календаря мы унаследовали и 7-дневную неделю (в других календарных системах существовали 3-, 5-, 8-, 10-дневные недели).

Лунно-солнечные календари, впервые появившиеся в третьем тысячелетии до нашей эры, позволяли приблизить среднюю продолжительность календарного года к истинной величине тропического (солнечного) года за счет периодической вставки в годовой календарь дополнительного тринадцатого месяца. В этом смысле все лунно-солнечные календари относительно однотипны и различаются лишь способом или системой этой вставки⁷.

На основании дошедших до нас клинописных документов можно полагать, что в Шумере лунно-солнечный календарь использовался уже к III тыс. до н. э., хотя в разных городах шумерского государства применялись разные календари (со своими названиями месяцев и способами вставки тринадцатого месяца). Лунно-солнечные календари продолжали существовать в этом регионе и после завоевания Шумера Аккадским государством (2310 г. до н. э.), и после покорения Шумера Вавилоном при Хаммурапи (1792—1750 гг. до н. э.). В XII в. до н. э. названия месяцев из вавилонского календаря были заимствованы ассирийцами.

После захвата вавилонянами в 597 г. до н. э. Палестины и Иерусалима, точнее в период так называемого Вавилонского пленения (586—539 гг. до н. э.), вавилонский календарь полностью уко-

⁷ Год из тринадцати синодических месяцев называется эмболисмическим (от греч. ἐμβολή — вставка), а вставной месяц или день — интеркалярием (от лат. intercalo — вставлять).

реняется среди иудеев и практически в неизменном виде сохраняется вплоть до наших дней в качестве официального церковного календаря в Израиле⁸. Год в иудейском календаре до начала III в. до н. э. начинался с весеннего месяца Нисана, позже — с осеннего месяца Тишри. За начало месяца принималась неомения (т. е. первое появление видимого лунного серпа), причем вплоть до I в. до н. э. при иерусалимском синедрионе существовала специальная комиссия, которая 29-го числа каждого месяца высылала наблюдателей за город, чтобы они могли засвидетельствовать появление видимой Луны (согласно библейским установлениям таких свидетелей должно быть не менее двух). В зависимости от показаний очевидцев первым днем нового месяца провозглашался день, следующий за 29-м или за 30-м днем предыдущего месяца. Об этом событии население окрестностей Иерусалима оповещалось с помощью сигнальных огней или через специально снаряжаемых гонцов.

Как минимум в начале I тыс. до н. э. лунно-солнечные календари появились в Древней Греции, причем в каждом городе опять-таки существовал собственный календарь со своими названиями месяцев, временем начала года и правилами вставки дополнительного тринадцатого месяца. В Афинах, например, год начинался с первого новолуния (точнее, неомении) после летнего солнцестояния.

Наконец, у римлян еще в VIII в. до н. э., в эпоху Ромула (по свидетельству Цезорина), существовал чисто аграрный «год Ромула» продолжительностью десять месяцев (304 дня), длившийся с весны до зимы. Зимой счет месяцев не производился, а просто ждали наступления весны. Первоначально месяцы именовались по порядку (от первого до десятого), затем первые четыре месяца получили имена: Мартиус (в честь бога войны Марса, призванного защищать мирный труд), Априлис (здесь есть несколько этимологических версий), Майус (в честь богини земли Майи), Юниус (в честь верховной римской богини Юноны), — а дальше сохранялся порядковый счет месяцев: Квинтилис — пятый, Секстилис — шестой, Септембер — седьмой, Октобер — восьмой, Новембер — девятый, Децембер — десятый.

По существу, лунно-солнечный календарь был введен в Древнем Риме лишь в VII в. до н. э. при Нуме Помпилии. В ходе проведенной им календарной реформы к десяти месяцам, существовавшим

⁸ О первоначальном еврейском календаре практически ничего не известно — в Библии в разных местах упоминаются лишь названия четырех месяцев, связанные с земледельческими периодами.

ранее, были добавлены еще два: Януариус (в честь Януса — бога всяких начинаний, одно из двух лиц которого было обращено в прошлое, а другое — в будущее) и Фебруариус (в честь бога подземного царства Фебрууса). Тогда же была принята система счета дней в месяце: первый день месяца стал называться *Calendae*, седьмой или пятый — *Nonae*, пятнадцатый или тринадцатый — *Idus*. День перед ними назывался кануном, и счет дней в месяце велся по числу дней до календ, нон и ид⁹.

Как отмечает Э. Бикерман, на первом этапе использования лунно-солнечных календарей практически во всех государствах вставка дополнительного месяца производилась весьма произвольно, исходя из неких общих соображений.

Например, в Вавилоне при Хаммурапи добавочный тринадцатый месяц вставлялся по распоряжению правителя. «Так как год имеет недостаток, то пусть месяц, который сейчас начинается, получит название второго Улулу, а полагающаяся в Вавилоне на 25-й день месяца Ташриту подать будет доставлена 25-го дня месяца Улулу второго» (цит. по: Бикерман 1975 [1969], с. 42). Такими указами вставка дополнительного месяца регулировалась вплоть до V в. до н. э.

В иудейском календаре в VI в. до н. э. тринадцатый месяц был добавлен, как свидетельствуют сохранившиеся документы, старшим судьей иерусалимского синедриона по причине природных условий: «Поскольку голуби еще малы, ягнята еще слабы, а ячменные хлеба еще не созрели... я решил прибавить к году еще тридцать дней» (цит. по: Бикерман 1975 [1969], с. 45).

Следующий этап развития лунно-солнечных календарных систем характеризуется попытками упорядочения календаря и введения некоего правила вставок.

Самая примитивная и наименее точная система применялась в римском календаре, использовавшемся с VII до середины I в. до н. э. В каждом втором году производилась вставка 20-дневного месяца Мерцедония (позднее его длительность была увеличена до 22—23 дней). Этот дополнительный месяц вставлялся в календарь между VI и V днем до мартовских календ (отсюда — ждать «до мартовских календ», т. е. очень долго).

Более точной системой вставки была так называемая октаэдридная система, при которой вставлялось три дополнительных лун-

⁹ Заметим, что римская система датирования дней в месяце по календам, нонам и идам сохранялась в Западной Европе до XVI в.

ных месяца в течение каждых восьми лет. Например, в Вавилоне вставка дополнительного месяца по правилу октаэдериды начала производиться примерно с 600 г. до н. э. В Древней Греции такая же система была разработана в начале VI в. астрономом Клеостратом и официально введена в Афинах Солоном в 593 г. до н. э.

Наиболее точным способом вставки дополнительного месяца является 19-летний цикл, в течение которого вставляется семь дополнительных лунных месяцев, при этом ошибка в один день накапливается примерно за 210 лет. Раньше всего 19-летний цикл был разработан в Китае, где он начал использоваться с середины эпохи Чунцю (722—481 гг. до н. э.). В иудейском календаре эта система вставок была введена в 499 г. до н. э. В Древней Греции 19-летний цикл вставок обосновал астроном Метон (отсюда — «метонов цикл»), и он начал постепенно применяться в отдельных греческих городах начиная с 432 г. до н. э. Наконец, в Вавилоне 19-летний цикл стал использоваться ок. 380 г. до н. э., в период правления Артаксеркса II (здесь разработка схемы этого цикла принадлежала астроному Киденасу).

Таким образом, начиная с IV в. до н. э. в большинстве государств, использовавших лунно-солнечные календари, вставка дополнительного месяца производилась уже по некоей системе. Но формальное наличие системы вставок отнюдь не гарантировало точность и упорядоченность этих календарей.

Например, в иудейском календаре, согласно религиозным предписаниям, начало года не может приходиться на воскресенье, среду и пятницу. Поэтому, несмотря на формальное использование системы «семь дополнительных месяцев за 19 лет», решение о том, вставлять или не вставлять дополнительный месяц, принимается раввином (ранее — верховным жрецом Иерусалимского храма), с тем чтобы начало года и некоторые ключевые праздники попадали на «правильные» дни.

В Древней Греции, несмотря на формальное введение метонова цикла, произвольная вставка дополнительного месяца сохранялась вплоть до II в. до н. э. Вдобавок почти во всех городах власти нередко манипулировали календарем. Например, «афиняне могли переименовать месяц Мунихион сначала в Антестерион, а затем в Боздромион, чтобы дать возможность Деметрию Полиоркету во время его непродолжительного пребывания в городе познакомиться с малыми (празднуемыми в Антестерионе) и большими (празднуемыми в Боздромионе) элевсинскими таинствами» (Бикерман 1975 [1969], с. 31).

В Риме до середины I в. до н. э. правом вставлять дополнительный месяц Мерцедоний и устанавливать начало месяцев и года обладала коллегия понтификов во главе с верховным жрецом (Pontifex Maximus). Это право часто использовалось для сокращения пребывания у власти (на выборных должностях) врагов и удлинения сроков правления друзей понтификов. Кроме того, удлинить срок своего пребывания на выборной должности путем «корректировки» календаря довольно часто можно было за взятку. Возникавшая в результате всех этих махинаций неразбериха с календарем стала притчей во языцех. Как писал по этому поводу Вольтер, «римские полководцы всегда побеждали, но они никогда не знали, в какой день это случилось...».

Наш календарь, который является чисто солнечным (т. е. в нем постоянное число месяцев и «подгоняется» только число дней в году), берет начало в египетской календарной системе.

Уже в III тыс. до н. э. египтяне начали использовать гражданский солнечный календарь, в котором год состоял из 365 суток (наряду с этим существовали самостоятельные ритуальные и бытовые календари). В гражданском египетском календаре было 12 месяцев продолжительностью по 30 дней каждый (они, естественно, уже не были привязаны к синодическим месяцам), а в конце года к ним добавлялось пять «лишних» дней (греки позднее назвали их «эпигомены», т. е. «те, что над годом»). Каждый месяц делился на три большие недели по 10 дней и на шесть малых недель по 5 дней в каждой (т. е. в конце года добавлялась одна малая неделя).

Исходным пунктом для построения египетского календаря был момент летнего солнцестояния, т. е. вскоре после него начинался разлив Нила. Учитывая техническую сложность определения даты солнцестояния, в качестве отправной точки был взят первый после 70-дневного отсутствия на небе (так называемый гелиактический) восход Сириуса (звезды Сотис), который на территории Египта наблюдался в сроки, близкие к моменту солнцестояния. Следующий за восходом Сириуса день был принят за начало года (первое число месяца Тот).

Календарный год, состоящий из 365 суток, короче тропического на 0,242... суток, поэтому начало календарного года также перемещается по климатическим сезонам, хотя и не так быстро, как в случае с лунными календарями, состоящими из 12 синодических месяцев. В результате этой постоянной передвижки начало года в египетском календаре (первый день месяца Тот) возвращается «на

место» через 1461 египетский год или 1460 тропических лет. Период в 1461 календарный год назывался Великим годом или Годом Сотис. Заметим, что перемещение начала года по климатическим сезонам не препятствовало определению сроков разлива Нила — достаточно было знать порядковый номер года в Году Сотис, чтобы произвести необходимые вычисления¹⁰.

Известно, что попытка ввести периодическую вставку дополнительного 366-го дня, чтобы уравнивать среднюю продолжительность египетского календарного года с тропическим и тем самым прекратить постоянное перемещение начала года по сезонам, была предпринята, в частности, в 238 г. до н. э. Птолемеем III Эвергетом (т. е. Благодетелем), но она оказалась безуспешной. Только после реформы календаря в Риме и завоевания римлянами Египта в 26 г. до н. э. там были введены високосные годы (о происхождении названия «високосный» см. ниже).

Несмотря на очевидные дефекты, египетский календарь привлекал многих астрономов своей простотой и стабильностью и использовался в астрономических трудах начиная с Клавдия Птолемея и до Коперника. Но главное, этот календарь послужил основой для всех более поздних солнечных календарных систем, в том числе и той, которая применяется в настоящее время.

В середине I в. египетский опыт был использован при реформе римского календаря, проведенной Юлием Цезарем. После путешествия в Египет и знакомства с тамошней календарной системой Юлий Цезарь, занимавший в это время должность верховного жреца в Риме, пригласил группу александрийских астрономов во главе с Созигеном для разработки новой календарной системы, которая была введена в 46 г. до н. э.

Этот календарь, позднее получивший название юлианского, с одной стороны, был основан на египетском опыте построения сол-

¹⁰ Надо сказать, что помимо перемещающегося по сезонам начала нового года египетский календарь имел еще один недостаток. Дело в том, что дата гелиактического восхода Сириуса постепенно сдвигается относительно момента летнего солнцестояния — в 4000 г. до н. э. восход Сириуса опережал момент солнцестояния примерно на шесть суток, в 3000 г. до н. э. совпадал с ним, в 2000 г. до н. э. уже запаздывал на восемь суток, в 1000 г. до н. э. «опоздание» Сириуса составляло около 16 суток и т. д. В настоящее время восход Сириуса наблюдается в Египте около 4 августа, т. е. спустя 43 дня после солнцестояния.

нечного календаря, с другой — учитывал некоторые чисто римские традиции, в том числе названия месяцев.

Год состоял из 12 месяцев, не привязанных к синодическим (так же, как у египтян), и начинался с первого дня месяца Януариуса, поскольку уже со 153 г. до н. э. в этот день вступали в должность новые римские консулы. Начало года, как и в египетском календаре, было привязано к астрономическому событию — в данном случае к зимнему солнцестоянию, но с некоторыми особенностями. В год принятия нового календаря, т. е. в 46 г. до н. э., 1 Януариуса было приурочено к первой неомении после зимнего солнцестояния, которая наступала в том году на шестой день после солнцестояния. Для совмещения 1 Януариуса с «правильной» датой относительно зимнего солнцестояния в год реформы календаря (получившего название *annus confusiois* — год путаницы) после Децембера было добавлено три дополнительных месяца (общей продолжительностью 89 дней).

Одна из причин установления этого разрыва между зимним солнцестоянием и началом нового года, ставшего затем традиционным, кроется в том, что римский праздник урожая — сатурналии — обычно праздновался около даты зимнего солнцестояния и традиционно отмечался в Децембере, последнем месяце года. Поэтому Децембер в новом календаре включал пять дней после момента солнцестояния (наподобие «эпигомен» в египетском календаре), и лишь затем начинался новый год. Изначально обусловленный традицией проведения сатурналий в Децембере разрыв между датой зимнего солнцестояния и началом нового года перешел в современную календарную систему, хотя в результате различных подвижек и модификаций календаря этот разрыв ныне достигает уже восьми дней.

В юлианском календаре каждый нечетный месяц (начиная с первого — Януариуса) состоял из 31 дня, каждый четный — из 30 дней. Поскольку в этом случае год состоял из 366 дней, то эта «правильная» система расположения дней по месяцам соблюдалась только один раз в четыре года, в остальные годы в Фебруариусе, который традиционно подвергался манипуляциям, должно было быть 29 дней. Опять-таки в соответствии с традицией дополнительный 30-й день в Фебруариусе вставлялся между VI и V днем до мартовских календ, т. е. в тот же день, когда ранее начинался вставной месяц Мерцедоний, — в новой юлианской системе после 24 Фебруариуса. Поскольку в юлианском календаре сохранялась система обратного счета дней

в месяце от календ, нон и ид, то этот дополнительный день именовался *bis sextum Cal. Mart.* — дважды шестой до мартовских календ, отсюда — *annus bissextus*, или високосный год¹¹.

Упомянем еще об одном продолжении египетских календарных традиций в Древнем Риме. Во время гелиактического восхода Сириуса, примерно совпадавшего с датой летнего солнцестояния, Сириус (он же египетская Сотис) наблюдался в созвездии Большого Пса. Поэтому в Риме Сириус именовался *Stella canicula*, т. е. Песья звезда. При этом летнее солнцестояние, а соответственно и гелиактический восход Сириуса, совпадали с наступлением самого жаркого времени года, когда в городе объявлялся перерыв в работе. Эти дни римляне называли *dies caniculares* (собачьи дни, откуда пошло и общее для всех европейских языков выражение «собачья погода»). В Средние века словом «каникулы» стали обозначать летний перерыв в учебных занятиях в университетах.

В благодарность за реформу, а также учитывая выдающиеся военные заслуги Цезаря (который был убит через два года после реформы), в 44 г. до н. э. римский сенат переименовал месяц Квинтилис, в котором родился Юлий Цезарь, в Юлиус. Правда, через несколько лет после реформы снова началась календарная путаница, которую исправил Октавиан Август в 8 г. до н. э. Поскольку римские жрецы после смерти Цезаря начали вставлять дополнительный високосный день в каждом третьем, а не четвертом году, то для исправления календаря с 9 г. до н. э. по 8 г. н. э. високосные дни не вставлялись вообще, и только начиная с 9 г. н. э. юлианский календарь начал функционировать нормально.

В знак уважения к заслугам Августа римляне в 8 г. н. э. переименовали Секстилис в Августус и добавили к нему один день от все того же многострадального Фебруариуса (чтобы месяц Августа был не короче, чем у Цезаря). А в качестве компенсации (чтобы не было три месяца подряд по 31 дню) от Сентября один день был перенесен на Октябрь, а от Ноября — один день на Декабрь.

После принятия христианства Константином в IV в. юлианский календарь получил статус официального в христианской Европе. Поэтому по христианской традиции датой введения календаря

¹¹ Традиция считать дополнительным днем в феврале следующий день после 24 февраля (а не 29 февраля) сохранилась и в григорианском календаре: дни святых в церковном календаре в високосные годы передвигаются с 25—28 февраля на 26—29 февраля.

считается не 46 г. до н. э., а 325 г. н. э. (год проведения Никейского собора).

Напомним, что в юлианском календаре каждые 128 лет набегает ошибка в одни «лишние» сутки. К началу IV в. с момента введения календаря Цезарем накопилась ошибка в три дня, т. е. начало нового года отстояло от зимнего солнцестояния уже не на пять, а на восемь дней (солнцестояние приходилось на 22—23 Декабря). Тем не менее историческая исходная точка построения даты начала года — 25 Декабря — сохранилась и в «христианском» варианте, но вместо начала сатурналий это число стало знаменовать рождение Иисуса Христа¹².

Но все же главной исходной точкой отсчета годового цикла в иудео-христианском календаре является не дата зимнего солнцестояния, а дата весеннего равноденствия. В соответствии с унаследованной от иудеев традицией именно Пасха, приуроченная к весеннему равноденствию, является главным христианским праздником (в отличие от сатурналий, приуроченных к зимнему солнцестоянию). Поскольку в соответствии с новозаветной мифологией Пасха приурочена не только к дню весеннего равноденствия, но и должна приходиться на воскресенье, 325 год оказался необычайно удачным для принятия календаря — в этом году весеннее равноденствие пришлось на 21 марта, которое совпало с воскресеньем. При введении юлианского календаря в качестве официального календаря христианской Церкви предполагалось, что это совпадение будет примерно сохраняться и в дальнейшем, поэтому согласно постановлению Никейского собора Пасха должна была праздноваться в воскресенье после равноденствия, но не ранее 21 марта. Но поскольку из-за накопления ошибок юлианский календарь все время «уходил вперед», календарное 21 марта стало постепенно отдаляться от равноденствия, т. е. смещаться ближе к дате летнего солнцестояния.

В середине XVI в. весеннее равноденствие по юлианскому календарю приходилось уже на 10 марта, и смещение Пасхи относительно климатического сезона года стало достаточно очевидным. Назревшую реформу календаря осуществил папа Григорий XIII в 1582 г. на основе проекта итальянского врача и математика Луид-

¹² Заметим, что в результате наложения на римский календарь иудео-христианских традиций и мифологии в качестве начала нового года мы отмечаем довольно странную дату — день обрезания Христа.

жи Лилио (Алоизий Лилиус, 1520—1576). В целом система осталась той же, что и в юлианском календаре, но из каждых 400 лет теперь выбрасывается три лишних дня, т. е. не считаются високосными столетия, первые две цифры которых не делятся на 4. При переходе к новому календарю была скорректирована ошибка в 10 дней, накопившаяся с 325 г., и, согласно папской булле, после четверга 4 октября 1582 г. пятница считалась не 5, а 15 октября.

В XVI в. григорианский календарь приняли католические страны (Испания, Португалия, Польша, Франция, часть Италии, император и католические княжества Германии), а также протестантские Голландия и Швейцария. В 1700 г. присоединились лютеранские Дания и Норвегия, в середине века — Англия, Швеция и Финляндия. Протестантские города и княжества Германии держались за старый стиль на протяжении всего XVII в. Целый ряд стран (Болгария, Сербия, Румыния, Греция, Турция, Египет, Россия) приняли этот календарь только в XX в. (напомним, что в 1700 г. Россия перешла лишь от летосчисления «от сотворения мира» к юлианскому календарю).

Заметим, что египетский календарь послужил прообразом не только нашего календаря, но и целого ряда других календарных систем. В частности, одним из его вариантов является так называемый александрийский календарь, который до сих пор используется коптской церковью. Он был введен в 26 г. до н. э., после того как Египет был завоеван римлянами. При сохранении старой египетской системы счета месяцев и дней — 12 месяцев по 30 дней в каждом и пять дополнительных дней — в александрийском календаре введены високосные годы (дополнительный день, т. е. шестой эпигомен, вставляется 8 раз в каждом 33-летнем цикле).

В 632 г. н. э. календарь подобного типа был введен Йездигером III в Иране, где он использовался вплоть до XI в. В этом календаре каждые 119 лет вставлялся дополнительный 30-дневный месяц.

Другим известным вариантом египетского календаря был так называемый Республиканский календарь, принятый Национальным конвентом 5 октября 1793 г. и действовавший во Франции 13 лет, вплоть до 1805 г. Каждый четвертый год был високосным, а начало года приходилось на день осеннего равноденствия.

Каждый месяц, состоявший из 30 дней, делился на три декады. В конце обычного года добавлялось 5, а в конце високосного года — 6 праздничных дней, именовавшихся «санкюлотидами». Первый день

был праздником Гения, второй — праздником Труда, третий — праздником Подвигов, четвертый — праздником Наград, пятый — праздником Мнения. Шестой день в високосные годы посвящался спортивным играм и состязаниям (отголоски этого слышны, в частности, в системе проведения современных Олимпийских игр, возрожденных французом Пьером де Кубертенем и приуроченных им к високосным годам).

2. Календарные периоды

Итак, в современном мире, несмотря на его внешнюю взаимосвязанность и унифицированность, продолжают использоваться самые разные типы календарей — чисто лунные (в арабских странах), лунно-солнечные (в Израиле) и, наконец, разные варианты солнечного календаря — александрийский (в коптской церкви), юлианский (в русской православной Церкви) и, наконец, европейский григорианский календарь. Но так или иначе основой всех календарных систем, а тем самым хронологии и хронографии, являются три единицы времени — сутки, месяц и год, в основе которых лежат три астрономических периода — обращения Земли вокруг своей оси и Земли вокруг Солнца, а также период смены фаз Луны.

Начало каждого из календарных периодов варьируется у разных народов и в разные эпохи: так, день может начинаться с восходом (в средневековой христианской Европе), с закатом (у иудеев), в полночь, т. е. в «0 часов» (в нашей системе исчисления времени). Начало месяца также может быть привязано к первому появлению видимой Луны (неомении) или задаваться формально путем установления определенного числа дней в месячных периодах. Наконец, огромным разнообразием характеризуется время начала года: летнее или зимнее солнцестояние, осеннее или весеннее равноденствие, Благовещение, Рождество, обрезание Христа, день рождения Октавиана Августа и т. д. и т. п. (мы вернемся к обсуждению этой темы в гл. 5). Но по существу любой календарный период в виде события фиксирует только астрономическое явление — приход данного небесного тела в определенную точку орбиты.

На основе трех первичных календарно-астрономических периодов — суток, месяца и года — позднее были образованы различные их производные. Традиционным является деление суток на день и

ночь, и далее — на часы, которые по-разному определялись в разные эпохи. В свою очередь часы делятся на половины, четверти и, наконец, минуты. Затем идут секунды, миллисекунды, наносекунды и т. д.

Одновременно сутки объединяются в более длительные календарные периоды (или, в зависимости от типа календарной системы, месяцы делятся на более короткие периоды) — недели, которые могут иметь самую разную продолжительность (3, 5, 7, 8, 10 и т. д. дней). Месяцы объединяются в (или годы делятся на) сезоны, кварталы, полугодия и т. д. Наконец, годы объединяются в более длительные календарные периоды, охватывающие несколько лет.

Отличительной чертой всех календарных периодов — от самых мелких до крупнейших — является их условно постоянная (для каждого периода) продолжительность. Если отбросить незначительные вариации, связанные, например, с изменениями скорости вращения Земли или неравномерностью движения Луны и Земли по своим орбитам, а также небольшие различия в длительности календарных месяцев и лет, обусловленные спецификой календарных систем, то можно считать, что календарно-астрономические периоды имеют примерно постоянную длительность, т. е. по существу являются не просто периодами, а циклами.

В главе 5 мы вернемся еще раз к обсуждению единиц времени — часов, суток, недель, месяцев, сезонов — в рамках рассмотрения проблемы психологического восприятия времени. Здесь же мы хотим коротко остановиться на более крупных календарных периодах или циклах, охватывающих несколько лет и активно используемых в историографии. Среди них можно выделить те, которые связаны с особенностями той или иной календарной системы, а также те, которые возникают на основе периодического повторения некоего события общественной жизни — праздника, переписи, выборов и т. д.

В частности, одним из древнейших укрупненных календарных периодов являются олимпиады. Как известно, в Греции по крайней мере с VIII в. до н. э. раз в четыре года проводились Олимпийские игры, являвшиеся крупным событием общественной жизни, и четырехлетний период от одних игр до других получил название «олимпиады». Олимпиады как четырехлетние календарные периоды были введены в оборот в 264 г. до н. э. греческим историком Тимеем Сицилийским и математиком Эратосфеном, которые также установили дату проведения первых Олимпийских игр (776 г. до н. э. по со-

временному летосчислению)¹³. При датировке событий по этой системе указывался номер года в олимпиаде, а затем порядковый номер олимпиады (т. е. четырехлетнего периода).

Начиная с рубежа III—II вв. до н. э. счет времени по олимпиадам получил широкое распространение в Греции, а затем и в Риме, и использовался в историографических работах вплоть до начала V в. н. э. (формально проведение Олимпийских игр было запрещено императором Феодосием в 394 г.).

Еще один вариант четырехлетнего цикла задают високосные годы, использовавшиеся в юлианском, а затем и в современном григорианском календаре. Впрочем, вплоть до XVIII в. четырехлетия между високосными годами обычно не рассматривались в качестве самостоятельных периодов, т. е. не являлись единицей времени.

Тем не менее в современную эпоху четырехлетний цикл високосных годов все же приобрел самостоятельное значение. Дело в том, что к ним приурочены как минимум два значительных события общественной жизни — президентские выборы в США и современные Олимпийские игры. Тем самым по крайней мере для двух групп — американских политиков и участников олимпийского движения — четырехлетние периоды являются значимой единицей времени, поскольку их деятельность в существенной мере подчинена данному циклу.

В XX в. в СССР и социалистических странах Восточной Европы для больших групп населения (в том числе и для некоторых историков) значимой единицей времени были пятилетние периоды — так называемые «пятилетки», связанные с принятием и попытками выполнения партийных экономических планов.

В средневековой Европе и на Руси в течение нескольких столетий в качестве одной из единиц времени использовался 15-летний период — «индиктион», появление которого относится к времени правления римского императора Диоклетиана (284—305 н. э.). Для упорядочения денежных налогов и традиционных поставок продовольствия провинциями Риму Диоклетиан принял решение о проведении периодических переписей или переоценок имущества. Первая такая перепись была проведена в 297 г. в Египте, который был тогда римской провинцией, а следующая перепись, проведенная им-

¹³ Вообще говоря, Олимпийские игры, видимо, проводились и раньше, но лишь с этого момента начали вестись списки победителей Игр.

ператором Константином в 312 г., охватывала уже большую часть Римской империи. С этого момента переписи стали проводиться регулярно с интервалом в 15 лет — сложившийся случайно, он был узаконен императором Константином (имп. 306—337 н. э.) в качестве официальной единицы летосчисления.

Поскольку перепись именовалась индикцией (*indictio* — провозглашение), 15-летний период между переписями получил название индиктиона, а порядковый номер года в этом цикле стал называться индиктом. В качестве точки отсчета индиктионов Константин выбрал 23 сентября 312 г. (поскольку в этом году была проведена первая действительно всеобщая перепись, а 23 сентября было датой рождения Октавиана Августа, от которой во многих странах Востока в то время отсчитывалось начало Нового года). В 462 г. в Западной Римской империи начало года и отсчета индиктов по практическим соображениям было перенесено на 1 сентября. Это ставшее в Византии традиционным начало Нового года позднее пришло на Русь.

С 537 г. при императоре Юстиниане указание индикта в документах стало обязательным, а Верховный трибунал Священной Римской империи использовал индикты до 1806 г., когда империя прекратила свое существование. На всех исторических и юридических документах Империи индикт указывался после обычной календарной даты. При этом в официальных документах номер самого индиктиона обычно не ставился — помечался лишь номер индикта, т. е. порядковый номер года в пятнадцатилетнем цикле. Но многие хронисты так или иначе учитывали номер индиктиона: в европейских странах отсчет велся от 312 г., в Византии и на Руси — от Сотворения мира по византийской эре или от Рождества Христова, которое при счете по индиктионам приходилось на 3 г. до н. э. по современному летосчислению (мы вернемся к этому вопросу чуть ниже).

В странах, использовавших лунно-солнечные календари, в качестве единицы времени фигурировали периоды, соответствовавшие циклу вставок дополнительных лунных месяцев: соответственно 8-летний цикл вставки трех дополнительных месяцев или 19-летний «метон» цикл вставки семи дополнительных месяцев.

В III—IV вв. н. э. в связи с распространением христианства возник еще один значимый календарный цикл — 28-летний, обусловленный попытками совмещения солнечного юлианского календаря с лунно-солнечным иудео-вавилонским календарем. Проще

говоря, речь идет об утверждении в Европе 7-дневной недели (напомним, что ни в первоначальном юлианском календаре, ни в его предшественнике — египетском солнечном календаре 7-дневная неделя не использовалась). При 7-дневной неделе, как известно, дни недели постоянно сдвигаются относительно чисел месяцев, и лишь каждые 28 лет дни недели приходятся на те же числа (28-летний цикл образуется при взаимодействии 7-дневного недельного цикла и 4-летнего юлианского цикла високосных лет, т. е. $7 \times 4 = 28$).

Необходимость следования библейской традиции вынудила христианскую Церковь использовать и еще один элемент вавилоно-иудейского календаря — вышеупомянутый 19-летний цикл вставок дополнительных лунных месяцев, поскольку дата праздника Пасхи, перенятого христианами, традиционно определялась по лунно-солнечному календарю.

Оба календарных периода — 19-летний и 28-летний — использовались христианской Церковью начиная с IV в. при расчете даты Пасхи. Наряду с этим в христианской хронологии использовался и «гражданский» 15-летний период индиктионов. Показательно, что применявшийся христианами специалистами по хронологии период, равный произведению 19×28 , т. е. 532 годам, назывался великим индиктионом. Конечно, использование 19- и 28-летних периодов в качестве единиц времени не имело массового характера — оно ограничивалось в основном узким кругом священнослужителей, занимавшихся расчетом пасхалий. Но одновременно эти периоды использовались в христианской историографии и тем самым превращались в единицы исторического времени.

Обращаясь в своей работе главным образом к европейскому опыту, скажем попутно, что укрупненные календарные периоды существовали и в странах Востока. Один из наиболее известных примеров — восточный 5-летний цикл первоэлементов/стихий: воды, огня, металла дерева и земли, которые находятся в движении, взаимосвязи и циклическом подчинении (вода тушит огонь, огонь плавит металл, металл рубит дерево, дерево растет в земле, земля родит воду). Наряду с 5-летним используется также 12-летний цикл «земных ветвей» и 60-летний (полный) цикл, образованный произведением 5×12 . В Китае эти календарные периоды используются уже с середины III тысячелетия до н. э., а затем они получили распространение и в других странах Азии (Вьетнам, Япония, Корея, Монголия и т. д.). Хотя сами циклы не нумеруются, а обозначаются только

порядковый номер года в цикле (в XX в. начальные годы 60-летних циклов приходились на 1924 и 1984 г.), начало циклического счета лет обычно относят к 2397 или 2697 гг. до н. э.

Говоря об укрупненных календарных единицах, нельзя не упомянуть и о том, что десятичная система счисления породила хронологические периоды, кратные 10 годам, — десятилетие, столетие (век) и тысячелетие. Легко видеть, что эти три «арифметических» укрупненных периода нашли самое широкое распространение в историографии (например: 1950-е годы, XVIII столетие, II тысячелетие до нашей эры и т. д.). При этом столетие (век) и тысячелетие постепенно стали приобретать не только содержательный смысл, но и относительно гибкие хронологические границы (об этом подробнее см. чуть ниже).

Завершая обсуждение календарных периодов, остановимся коротко еще на одной проблеме — качественном различии календарных единиц времени. Однородность и однотипность календарно-астрономических периодов всегда вызывала желание ввести какие-то различия между ними. Простейшим способом придать единицам времени качественный характер было присвоение им неких значащих названий или обозначений.

Например, в средневековой Европе, когда сутки делились на восемь неравновеликих часов, каждый час имел свое значащее наименование (хвалины и т. д.). Еще очевиднее пример с названиями месяцев — в календарях большинства народов они носили значащие названия, как правило, связанные с сезонными характеристиками природных условий и соответствующих видов человеческой деятельности (мы вернемся к этой теме в гл. 5). Точно так же и части года у большинства народов имели название: как минимум год делился на зиму и лето, а во многих случаях в качестве самостоятельных частей года выделялись также весна и осень. Наконец, до сих пор мы сталкиваемся с отголосками попыток придания содержательного характера календарному году. Речь идет об определении годов по некоторому качественному параметру (финансовый, сельскохозяйственный, учебный и т. д.), независимо от принятого календарного определения года и времени его начала.

Одним из использовавшихся в прошлом вариантов придания календарным единицам времени качественных различий были так называемые эпонимы. Эпонимом (греч. ἐπώνυμος, от ἐπί — после и ὄνομα — имя) в Древних Афинах назывался первый из десяти архон-

тов. Поскольку «срок службы» архонтов был ограничен годовым периодом, каждый год по традиции обозначался именем первого архонта. В современной историографии эпонимами обычно называют любых должностных лиц, имена которых присваивались тому или иному календарному периоду.

Кроме архонтов в Греции, можно назвать как минимум еще три варианта эпонимов, существовавших в истории Древнего мира. Прежде всего в самих Афинах наряду с годом, обозначаемым именем первого архонта, в официальных документах использовалась более мелкая эпонимическая единица — период нахождения у власти пританов (членов афинского городского Совета, осуществлявших текущее управление городскими делами). Этот период составлял 35—36 дней, т. е. в течение года сменялось 10 групп пританов. В классических Афинах счет времени по пританам был как бы рабочим календарем правительства. Подобный способ датировки встречается, например, у Фукидида, который указывал, что перемирие 423 г. до н. э. было принято народным собранием, когда у власти были пританы из филы Акмантия (Фукидид. История IV, 119).

Древнейшими эпонимами были, по-видимому, высшие должностные лица (лимму) в Ассирии. Как считает И. М. Дьяконов, «лимму» первоначально были, вероятно, казначеями городского совета в г. Ашшуре, одновременно выполнявшими какие-то обрядовые обязанности, а позже (по крайней мере с I тысячелетия до н. э., но может быть и раньше) — ассирийскими царскими должностными лицами, включая самого царя, его важнейших советников и начальников областей, которые принимали на себя функцию *лимму* — эпони́ма года — поочередно в определенном иерархическом порядке; при этом со смертью каждого царя порядок *лимму* начинался снова» (см. комментарии И. Дьяконова в: Бикерман 1975 [1969], с. 307).

Упомянем, наконец, о наиболее известных эпонимах, с которыми знаком, по-видимому, каждый историк, а именно о римских консулах, именами которых обозначались соответствующие годы.

Как свидетельствуют исторические данные, традиция использования эпонимов для придания календарным годам значащих названий была устойчивой: только сохранившиеся и дошедшие до нас списки лимму в Ассирии охватывают период 893—666 гг. до н. э., первых архонтов в Греции — 496—293 гг. до н. э., консулов в Риме — период с 509 г. до н. э. по 337 г. н. э. Однако эпонимические годы

были лишь самым первым шагом на пути от календарного к историческому времени.

§ 3. ХРОНОЛОГИЯ

Давным-давно — кажется, в прошлую пятницу — Винни-Пух жил в лесу один-единешенек под именем Сандерс.

А. А. Милн. Винни-Пух и все-все-все

Сетуя на то, что даты и хронология вышли из моды, американский историк Д. Лоуэнталь писал: «Когда я учился в школе, моя историческая перспектива начиналась с Египта и Вавилона и доходила до XX в. В этом континууме многие эпохи я едва знал, но последовательность позволяла все легко воспроизводить. Списки, объединяющие фараонов, королей и президентов в одной хронологической таблице с научными открытиями и изобретениями, поэтами и художниками, создавали убеждение, что история познаваема, потому что датирована» (Lowenthal 1985, p. 223).

Календарные системы, основанные на повторяемости астрономических событий, задают первичные единицы измерения времени: сутки, месяц, год и их производные (часы, недели, календарные циклы и т. д.). Но эти единицы времени (годы и календарные периоды) могут быть использованы только для создания так называемой относительной хронологии, в рамках которой определяется промежуток времени, разделяющий те или иные события¹⁴.

Следующим шагом в развитии концепции исторического времени является создание абсолютной хронологической шкалы, т. е. установление некоторой точки начала отсчета времени. Благодаря этому появляется возможность не только измерять интервал между событиями, но и датировать их, размещая каждое событие в определенной точке хронологической шкалы, т. е. переходить от относи-

¹⁴ Типичный образец архаичной хронологии можно найти, например, у Фукидида, указывающего, что Пелопоннесская война началась «на пятнадцатом году (после четырнадцатилетнего сохранения тридцатилетнего договора, заключенного в связи с покорением Евбеи), в сорок восьмой год жречества Хрисиды в Аргосе, когда эфором в Спарте был Энесий, а архонством Пифодора в Афинах оставалось до срока четыре месяца, на шестнадцатом месяце после сражения при Потидее, в начале весны» (Фукидид. История II, 2).

тельной датировки к абсолютной. «... Элементы абсолютной хронологии — не изолированные даты, но однородные отрезки времени, непрерывный ряд которых приводит к настоящему. Абсолютная хронология заимствует понятие „год“ из календаря, но хронологический год — это единица измерения истории, т. е. звено в цепи лет, обозначенных другим способом. Это сквозное обозначение и отличает хронологический год от календарного» (Бикерман 1975 [1969], с. 58).

Хронологические системы возникают лишь немногим позже календарных, и в основе любой из них лежит понятие эры (аэга — исходное число), которое, в свою очередь, определяется лежащим в основе этой системы событием. Поэтому количество существовавших в истории хронологических систем существенно превосходит число известных человечеству календарей — если любая календарная система базируется на весьма ограниченном числе астрономических событий, о чем шла речь выше, то в основе хронологической системы может лежать, вообще говоря, любое событие — как реальное, так и вымышленное.

Огромное разнообразие хронологических систем, создававшихся и использовавшихся в разных странах в разные периоды, описывает историческая хронология — наука о датировке исторических событий и методах летосчисления. Несмотря на свой вспомогательный характер, она тем не менее играла важную роль в исторической науке.

Первые известные исторические работы, включавшие хронологические сведения, начали создаваться в III в. до н. э. египетскими (Манефон), греческими (Эратосфен) и иудео-эллинскими (Димитрий) авторами. В период со II в. до н. э. по III в. н. э. исследования в области хронологии становятся весьма популярными среди римских (Марк Теренций Варрон, Цензорин, Клавдий Птолемей) и иудейских (Эвполем, Филон Александрийский, Иосиф Флавий, Юстус Тивериадский) авторов.

Большую роль в развитии хронологии сыграли работы раннехристианских историографов III—IV вв. — Секста Юлия Африканского, Евсевия Кесарийского (Памфила) и Св. Иеронима, по сути сформировавших основы современных представлений в этой области. Позднее существенный вклад в развитие хронологии внесли среди других Дионисий Малый (VI в.), Исидор Севильский (VII в.), Беда Достопочтенный (672/73—735), Георгий Синкелла (VIII в.), арабский ученый Бируни (XI в.) и россиянин Кирик Новгородец (XII в.).

Создателями современной хронологии являются французские ученые Йозеф (Жозеф) Скалигер (1540—1609), Дионисий Петавий (Петавиус) (1583—1652) и Ж. Кассини (1677—1756), а общая теория и история хронологии была разработана в начале XIX в. немецким ученым Х. Иделером (*Ideler* 1825—1826). Из многочисленных последующих работ в этой области следует выделить прежде всего фундаментальное исследование другого немецкого ученого — Ф. Гинцеля, опубликованное в начале нашего столетия (*Ginzler* 1906—1914)¹⁵.

Заметим, что несмотря на многовековую историю хронологических исследований, в этой области остается немало темных мест и белых пятен, что, в частности, создает предпосылки для появления самых невероятных хронологических измышлений — типичным примером служат работы А. Фоменко (см.: *Фоменко* 1990 и др.)¹⁶. Впрочем, обсуждение проблем, связанных с датировкой исторических событий, выходит за рамки нашей работы и является предметом многочисленных специальных исследований. Свою же задачу мы видим прежде всего в анализе наиболее известных хронологических систем, выступающих в качестве основы исторического времени, и выделении некоторых общих принципов их построения.

На наш взгляд, в самом общем виде хронологические системы можно разделить на два типа, которые мы условно будем именовать системами *ex ante* и *ex post*¹⁷. При построении систем первого типа отсчет начинается от некоего «сегодняшнего» события — тем самым утверждается его значимость с точки зрения настоящего и одновременно предполагается, явно или неявно, что эта значимость будет сохраняться и в будущем. В системах второго типа в качестве

¹⁵ Подробнее о теории и истории хронологии см., например: *Бикерман* 1975 [1969]; *Гусарова* 1990; *Каменецкий* б. г.; *Каменцева* 1967; *Климишин* 1981; *Пронштейн*, *Кияшко* 1981; *Селешников* 1977; *Сюзюмов* 1971; *Цыбульский* 1982 и др.

¹⁶ К сожалению, подавляющему большинству профессиональных историков просто жалко тратить время на демонстрацию научной несостоятельности фантастических концепций А. Фоменко и его последователей. В тех же случаях, когда профессионалы снисходят до критики, их работы остаются неизвестными массовому читателю. См., например: *Пономарев* 1996; *Володихин* 1996.

¹⁷ Термины *ex ante* [factum] и *ex post* [factum] были впервые введены в научный оборот в середине 1930-х годов шведским экономистом Г. Мюрдалем (*Myrdal* 1939 [1934]), использовавшим их применительно к анализу сбережений и инвестиций.

точки отсчета выбирается значимое событие, произошедшее в прошлом, но при этом значимость этого события опять-таки оценивается исходя из «сегодняшних» представлений. Реальность события в этом случае не имеет существенного значения, да и его датировка, как правило, является весьма условной: обычно выбранное событие просто приписывается к некоему моменту времени в прошлом, в соответствии с представлениями или потребностями «сегодняшнего дня».

Иными словами, все хронологические системы создаются в настоящем, но системы типа *ex ante* экстраполируют настоящее в будущее, а системы типа *ex post* «опрокидывают» настоящее в прошлое. Это различие наглядно проявляется при рассмотрении истории создания хронологических систем: в случае с системами *ex ante* отсчет сразу начинается вести от настоящего в будущее, а при построении систем *ex post* вначале производится отсчет от настоящего в прошлое и лишь затем — от прошлого к настоящему и в будущее. Ну а теперь, пожалуй, пора перейти к конкретным примерам, которые, как мы надеемся, помогут прояснить эти предварительные рассуждения.

1. Системы *ex ante*

Одним из наиболее древних способов выбора точки отсчета времени является сопряжение ее с началом правления властителя. Этот способ практиковался еще в Древнем Египте (счет лет от начала царствования фараона), в Ассирии, Вавилоне и его провинциях (отсчет от начала правления каждого царя или вавилонского наместника). Аналогичный способ использовался в Риме в императорскую эпоху. Показательно, что, по мнению многих исследователей, слово *aera* представляет собой аббревиатуру «*ab exordio regni Augusti*» — «от начала царствования Августа» (т. е. от 29 августа 30 г. до н. э., когда император Гай Юлий Цезарь Октавиан, будущий Цезарь Август, был возведен в ранг пожизненного трибуна).

Подобные системы датировки событий сохранялись и в средневековой Европе. В Византии летосчисление по году правления императора (*annus imperii*) встречается в императорских грамотах начиная с постановления Юстиниана от 537 г., которое касалось как раз этого вопроса. Франкские монархи стали обозначать годы своего царствования уже в меровингскую эпоху, а римские папы — с Адриана II. С X в. епископы и архиепископы также начали датировать доку-

менты по своему правлению. Наконец, с эпохи Карла Великого распространился обычай, в соответствии с которым в том случае, если один властитель правил в нескольких странах, год его правления ставился для каждой страны отдельно. Так, германские императоры рядом с годом восшествия на имперский престол (*annus imperii*) помечали год своего правления (*annus regni*), допустим, в Италии. При этом начало правления пап до XIV в. отсчитывалось со дня освящения (*consecratio*), а с XIV в. — еще и от момента выборов (*creatio*); у германских императоров — со дня коронации (Гусарова 1990, с. 181).

Все «эры» такого типа действовали на очень небольшом промежутке времени, ограниченном сроком пребывания у власти действующего монарха или правителя. Только в некоторых случаях отсчет лет от начала правления продолжался и после смены данного властителя, превращаясь в более или менее полноценную хронологическую систему.

Судя по дошедшим до нашего времени документам, первым случаем подобного рода была так называемая эра Селевкидов, возникшая в III в. до н. э. на Ближнем и Среднем Востоке. Селевк, как известно, был одним из военачальников Александра Македонского и спустя несколько лет после его смерти стал наместником Македонского царства в Сирии (в 311 или 312 г. до н. э.). В соответствии с принятой в те времена практикой Селевк ввел на подвластной ему территории отсчет лет от начала своего наместничества и, став позднее царем Сирии (Селевком I Никатором), он продолжил отсчет лет от первоначальной даты. Традиция была закреплена его сыном Антиохом I Сотером (правил в 281—261 гг. до н. э.), так же поступали и преемники Антиоха. Позднее эта эра получила название «селевкидской», хотя в самой Сирии она именовалась как «годы греческого господства», а в Иудее называлась «эрой контрактов» (поскольку при заключении сделок на документе указывался год селевкидской эры).

Начало этой эры определялось неодинаково у разных стран и народов: так, в Вавилоне отсчет велся от 22 апреля 311 г. до н. э. (по современному летосчислению), в Персии — от 7 февраля 311 г. до н. э. После некоторых разногласий постепенно утвердилась дата начала эры 1 октября 312 г. до н. э. Формально правление династии Селевкидов продолжалось до 64 г. до н. э., когда их государство было завоевано Римом. Тем не менее летосчисление по эре Селевкидов сохранялась в этих регионах еще много веков (у иудеев — по край-

ней мере до XII в., а среди христианского населения Сирии — вплоть до XIX в.).

В Египте и некоторых регионах Ближнего и Среднего Востока была распространена так называемая «Филиппийская эра» или «эра Александра», начальным годом которой был 323 г. до н. э. (по некоторым источникам 324 г. до н. э.), т. е. год смерти Александра Македонского и начала царствования его сына Филиппа Арридея. Тем же годом датировал начало своего правления первый царь из династии Птолемеев — Птолемей I Сотер, а значит «эра Александра» была одновременно и «эрой Птолемеев» (это название не получило широкого распространения). Аршакиды в Парфии вели счет лет от начала правления своей династии — 247 г. до н. э. (в греческих городах Парфянского царства счисление по эре Аршакидов начиналось с 248 г. до н. э.). Еще один пример — эра царей Понта и Вифинии (начиная с 297/6 или 283/2 до н. э.), которая использовалась также в Боспорском царстве. В Риме и отдельных его провинциях после смерти императора Августа точкой отсчета продолжала служить дата его назначения пожизненным трибуном (29 августа 30 г. до н. э.). Основой датировки у неоплатоников было время восшествия на престол Юлиана Отступника — римского императора (361—363), попытавшегося отказаться от христианства и вернуться к языческой религии. «Эра Йездигерда» в Иране вела отсчет от воцарения сасанида Йездигерда III (16 июня 632 г.). Все эти эры, впрочем, были относительно непродолжительны — как правило, не дольше нескольких столетий.

Одной из наиболее устойчивых «правительственных» эр, не считая селевкидской, была эра римского императора Диоклетиана (даты правления 284—305 гг. н. э.). Первоначально эта система летосчисления использовалась в Египте (тогдашней провинции Рима) местными астрономами, потом она появилась в документах Александрийской христианской церкви, а оттуда проникла в Византию и на Запад, тогда как в самом Египте нашла широкое применения только с VI в. н. э.

Началом эры Диоклетиана считалось 29 августа 284 г., хотя на самом деле Диоклетиан пришел к власти 17 сентября. «Корректировка» была связана с тем, что начало эры было отнесено на 1 Тота — начало «стабильного» египетского года, введенного в Египте в 26 г. н. э. Летосчисление от Диоклетиана сохранялось несколько веков, но уже под именем «эры мучеников чистых», поскольку Диоклетиан,

как известно, жестоко преследовал христиан. Эта эра до сих пор используется в документах коптской христианской церкви в Египте, Эфиопии и Судане.

К системе *ex ante* помимо «правительственных» относится и целый ряд других «политических» эр, в которых в качестве исходного момента принималась дата того или иного важного политического события.

К таким событиям относится прежде всего обретение независимости от иностранного владычества. Например, в городах, которые освобождались от господства Селевкидов, вводился отсчет лет от года освобождения — в Араде с 259 до н. э., в Амизоне с 167 до н. э., в Тире с 126 до н. э. и т. д. Эра подобного типа некоторое время использовалась в Иудее — за точку отсчета был взят 143 г. до н. э. (170 г. эры Селевкидов), когда первосвященником стал Симон Макавей, добившийся политической независимости Иудеи.

Другой тип значимых политических событий, становившихся точкой отсчета в хронологии, связан с потерей независимости и/или поражением в войне. Например, в рамках так называемых «провинциальных» или «римских» эр типа «эры Суллы», использовавшейся в Малой Азии, годы отсчитывались от даты установления римского владычества в данной местности (в «македонской» — с 148 до н. э., «ахейской» — с 146 до н. э. и т. д.). В иудейской историографии наряду с селевкидской эрой в течение нескольких столетий в качестве точки отсчета использовалась дата разрушения так называемого Второго (Иерусалимского) Храма при завоевании Иудеи римлянами (Титом) в 70 г. н. э.

Упомянем, наконец, еще один класс событий, которые пытались делать точкой хронологического отсчета уже в Новое время, а именно революции. Например, декретом Конвента от 5 октября 1793 г. одновременно с реформой календаря во Франции была введена эра Республики. Эра начиналась со дня провозглашения Республики, который совпал с днем осеннего равноденствия — 22 сентября 1792 г. Эта эра просуществовала всего 13 лет и была отменена Наполеоном в 1805 г. Заметим, что в СССР тоже предпринимались попытки введения собственной эры, начинающейся с революции 1917 г., но они оказались еще менее успешными. Единственное, что удалось сделать большевистским реформаторам, — это заменить название общепринятой эры «от Рождества Христова» (Р. Х.) на «новую», или «нашу» эру (н. э.).

Все «политические» эры, несмотря на разницу в выборе исходного события, в основе своей однотипны и построены по одним и тем же принципам. Во-первых, они изначально вводятся «сверху» в качестве официальных государственных систем летосчисления. Наиболее значительным историческим событием власть предержащие считают именно момент своего прихода к власти — персонифицированной, как в случае с империями или царствами, или коллективной, как в случае с вольными городами, римскими провинциями или революционными республиками. Так или иначе, всегда присутствует расчет на то, что это событие будет рассматриваться потомками в качестве «эрообразующего» и после смены данного правителя или правителей. Увы, в подавляющем большинстве случаев этим расчетам было не суждено сбыться, а даже если они и реализовались благодаря воле наследников, то системы летосчисления подобного типа имели относительно локальный характер.

2. Системы *ex post*

Гораздо более устойчивыми и «глобальными» (по степени географического распространения) оказываются, как показал исторический опыт, хронологические системы второго типа, создаваемые *ex post*. В этих системах, которые носят явно выраженный историографический характер, в качестве точки отсчета выбирается не текущее политическое событие, а некое событие в прошлом, причем, как правило, отдаленном. Тем самым изначально хотя бы отчасти гарантируется историческая значимость данного события, независимо от того, является оно реальным или вымышленным. Еще одно отличие «историографических» эр от «политических» состоит в том, что первые вводились не «сверху», а «снизу», т. е. вначале они создавались историками, философами или астрономами, а уже затем постепенно получали признание, вплоть до обретения статуса официальных (гражданских или церковных) систем летосчисления.

В отличие от систем первого типа, число известных «историографических» хронологических эр сравнительно невелико. Среди них прежде всего можно выделить две хронологические системы, связанные, пусть и по-разному, с астрономией, — речь идет о так называемых «эре фараонов» и «эре Набонассара».

Первая обязана своим возникновением работе египетского жреца Манефона, создавшего первую хронологию Древнего Египта. Манефон был верховным жрецом в Себенните (в Дельте) (по неко-

торым источникам — в Гелиополисе) во времена первых двух Птолемеев. Труд Манефона был написан на греческом языке в середине III в. до н. э. (после 271 г. до н. э.) и, к сожалению, не дошел до нас, но его содержание известно по многочисленным и обширным цитатам, приведенным в работе Иосифа Флавия «Против Аппиона», а также в трудах христианских хронологов Секста Юлия Африканского (221 г.) и Евсевия Кесарийского (Памфила; 326 г.), откуда они впоследствии заимствовались другими авторами. Заметим, что по существу работа Манефона до сих пор остается одним из главных источников по хронологии Древнего Египта (подробнее см.: *Струве* 1937).

Если судить по упомянутым цитатам и пересказам, в труде Манефона был приведен полный список египетских фараонов с годами их правления, охватывавший период с начала V тысячелетия до н. э. до III в. до н. э. Весь список, включавший около трехсот фараонов, был поделен Манефоном на 30 династий (по 10 фараонов в каждой). Династии были поделены на три царства — Древнее, Среднее и Новое, каждому из которых соответствовало по 10 династий. И хотя это деление носило весьма условный характер, поскольку династии определялись чисто механически, а не по принципу кровного родства, манефоновская система членения истории Древнего Египта по «династиям» и «царствам» сохранилась до наших дней.

Хронология Манефона и существовавшая в Египте календарная система стали основой «эры фараонов», которую исследователи стали применять для датировки истории Древнего Египта. Начало эры было определено на основе календарно-астрономического подхода. Как отмечалось в предыдущем разделе, в Египте наряду с годом, состоявшим из 365 дней, использовался «год Сотис», равный 1460 тропическим годам или 1461 египетскому календарному году. Началом «года Сотис» считался момент совпадения первого гелиактического восхода звезды Сотис (Сириуса) с началом египетского календарного года (1-й день месяца Тот), которое наблюдалось, в частности, в 4241 и 2780 гг. до н. э. по современному летосчислению. С точки зрения хронологического удобства начало царствования фараонов было естественно отождествить с началом «года Сотис». Но при отсчете с 2780 г. не все перечисленные Манефоном династии фараонов вписывались в этот период, поэтому началом «эры фараонов» был выбран именно 4241 г.

Другой занятый пример «историографической» хронологической системы, также связанной с астрономией, — «эра Набонассара».

Во II в. н. э. александрийский астроном Клавдий Птолемей (ок. 90—160 гг. н. э.) в приложении к своему астрономическому трактату, известному под арабским названием «Альмагест» и содержавшему знаменитый звездный каталог, привел так называемый «Канон царей» — таблицу, в которой были указаны имена и годы правления вавилоно-ассирийских, персидских и македонских (греческих) царей и римских императоров, начиная от воцарения вавилонского царя Набонассара (отметим, что «Канон» также не сохранился — он дошел до нас лишь в комментариях Феона к труду Птолемея).

Поскольку Птолемей писал астрономический трактат, в качестве точки отсчета в «Каноне» был взят год проведения первых известных Птолемею астрономических наблюдений, выполненных в царствование Набонассара, — именно поэтому в его хронологии не фигурируют предшествующие вавилонские правители. При этом начало правления каждого следующего царя или императора датируется первым днем египетского года (первый день месяца Тот), независимо от того, в каком месяце реально началось это правление. В результате точкой отсчета — 1 Тота первого года правления Набонассара — оказалось 26 февраля 747 г. до н. э. по юлианскому календарю.

Список открывают вавилонские цари (747—538 гг. до н. э.), затем идут персидские (538—324 гг. до н. э., т. е. до смерти Александра Македонского), македонские цари и Птолемеи (до всем известной Клеопатры VII, 52—30 гг. до н. э.) и, наконец, римские императоры до Антонина Пия (138—161 гг. н. э.)¹⁸. Как видим, первоначально «Канон» охватывал 907 египетских календарных лет. Позже он был продолжен христианскими историографами за счет постепенного включения новых римских и византийских императоров, вплоть до падения Константинополя в 1453 г. Как и в случае со списком фараонов Манефона, список Птолемея до настоящего времени остается едва ли не главным хронологическим источником для охватываемого им периода и географического региона.

Следующая условно объединяемая нами пара хронологических систем — хорошо известные историкам античности эры «от начала Олимпийских игр» и «от основания Рима». Распространение в Греции и Риме «историографических», а не «политических» систем лето-

¹⁸ Некоторые датировки у Птолемея были явно неточны — например, согласно современным данным Александр Македонский умер в 323, а не в 324 г. до н. э., а Клеопатра правила с 51 по 31 г. до н. э.

счисления во многом определялось тем обстоятельством, что на протяжении длительного периода там превалировала республиканская, а не монархическая форма правления с ежегодной сменой архонтов и консулов, соответственно.

«Эра олимпиад» была сконструирована в последней трети III в. до н. э. (точнее, между 275 и 264 гг. до н. э.) греческим историком Тимеем Сицилийским и математиком Эратосфеном. Используя имевшиеся списки победителей Олимпийских игр, Тимей и Эратосфен в качестве даты первой Олимпиады установили 776 г. до н. э. (на самом деле, как отмечалось выше, Олимпиады проводились и до этого момента). «Эра Олимпиад», строго говоря, не имела официального государственного статуса в греческих полисах, но необычайно широко применялась в сочинениях античных авторов. Формально эта эра могла использоваться до 394 г., когда император Феодосий запретил проведение Олимпийских игр, тем не менее в исследованиях по истории античной Греции она живет по сей день. (Заметим, что точная датировка «эры Олимпиад» по современной хронологической системе была произведена довольно поздно, после того как астрономами были рассчитаны даты прошлых солнечных затмений.)

Другая эра — «от основания Рима» (*ab urbe condita* — от основания города) — также имела полуофициальный характер. С одной стороны, день основания Рима — 21 апреля — был одним из главных римских праздников. Однако долгое время год основания Рима, ввиду отсутствия каких бы то ни было письменных свидетельств, оставался предметом дискуссий и его признание в качестве официального зависело от произвола властей.

В III—II вв. до н. э. общепринятой датой считался 749 г. до н. э. (в частности, в 249 и 149 гг. до н. э. праздновались так называемые «секулярные [вековые] игры», *ludi saeculares*, приуроченные, соответственно, к 500-летию и 600-летию со дня основания города — подробнее см. в следующих разделах данной главы). Начиная с Полибия (210/03—122/21 до н. э.) получила популярность другая дата — 751 г. до н. э., ее использовали Цицерон, Тит Ливий и Диодор. Атик в своем труде «*Liber Annalis*» («Летописи») передвинул ее на 753 г. до н. э., и, популяризованная Марком Теренцием Варроном (116—27 до н. э.), а вслед за ним Иосифом Флавием (37 — после 100 г. н. э.), она была впоследствии принята большинством историков (впрочем, еще в составленном при императоре Августе списке должностных лиц Римской республики в качестве года основания Рима фигу-

рирует 752 г. до н. э.). Так или иначе, за начало эры «от основания Рима» оказался принятым 753 г. до н. э., и датировка римской истории по этой эре также используется и сегодня.

Наконец, последняя пара «историографических» эр, на которой мы хотим остановиться, — сакральные хронологические системы, ведущие отсчет времени от «Сотворения мира» и от «Рождества Христа», т. е. событий священной истории.

Возникновение хронологической системы «от Сотворения мира» было связано с библейской традицией, и на первом этапе, естественно, она разрабатывалась в иудаистической историографии. Первые известные нам расчеты даты библейского Сотворения мира были сделаны в работах иудео-эллинистических историков, живших в Александрии и писавших на греческом языке, — Димитрия (III в. до н. э.), Эвполема (ок. 140—100 до н. э.) и Филона Александрийского (Иудейнина) (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.). Во второй половине I в. н. э. аналогичные подсчеты были сделаны еще двумя известными иудейскими историками, принимавшими участие в иудео-римской войне, — Иосифом Флавием и Юстом Тивериадским¹⁹. В середине II в. аналогичные расчеты проделал раввин Иосиф бен Халафт (ок. 150 г.). Все эти авторы определяли дату Сотворения мира около 5000 г. до н. э. по современному летосчислению.

В 240 г. н. э. иудейский талмудист Мар-Самуил произвел новый расчет библейской даты Сотворения мира и получил, что мир был создан (по современному летосчислению) 7 октября 3761 г. до н. э. (Нетрудно заметить, что в этом случае момент проведения расчетов приходился на первый год пятого тысячелетия от Сотворения мира.) Предложенная Мар-Самуилом дата была узаконена в Иудее первосвященником Гиллелем II ок. 360 г. н. э. и в настоящее время является основой официальной хронологической системы, принятой в Израиле.

¹⁹ Сохранились только работы Филона Александрийского, в том числе «О творении мира» (см.: *Филон Александрийский* 1783) и Иосифа Флавия (*Иосиф Флавий*. Иудейские древности; О древности еврейского народа). Работы Димитрия и Эвполема дошли до нашего времени в отрывках, приведенных в трудах Климентия Александрийского (? — до 215 г.) и Евсевия Кесарийского (260/65—338/339). Расчеты Юста известны по пересказу, содержащемуся в работах Иосифа Флавия (прежде всего в «Иудейских древностях»), и по отрывкам, использованным Секстом Африканским.

Все подсчеты библейской даты Сотворения мира, как в рамках иудаизма, так и, позднее, в рамках христианской доктрины, в известном смысле однотипны. Расчет выполняется на основе фигурирующих в Библии перечней поколений начиная с Адама. Библейский счет поколений является единственной основой для библейской хронологии вплоть до правления царя Соломона, царствование которого и некоторые последующие события ветхозаветной истории уже могут быть датированы по иным (в частности, вавилонским и ассирийским) источникам. Поэтому все различия в датировках «Сотворения мира» сводятся к разнице в представлениях того или иного автора о сроках жизни поколения (мы вернемся к этому вопросу в гл. 4).

С III в. н. э. возникает христианская хронология, которая поначалу следовала иудейской ветхозаветной традиции. Первые христианские хронологи видели свою задачу не столько в установлении даты Сотворения мира (в значительной мере полагаясь в этом на расчеты иудейских авторов), сколько в определении даты Рождения Христа в рамках иудейской хронологии.

Одним из первых создателей христианской хронологии был Секст Юлий Африканский, закончивший работу над своей «Хронографией» в 221 г. Опираясь на «Хронику» Юста Тивериадского, Секст Африканский доказывал, что Христос родился в 5500 г. от Сотворения мира, которое, согласно Юсту, произошло в 5503 г. до н. э. по нашему летосчислению.

Большую роль в развитии христианской календарной системы и хронологии сыграли работы Евсевия Кесарийского (Памфила; 260/65—338/339). В частности, он первым ввел систему расчета христианских пасхалий с использованием 19-летнего «метонова» цикла лунного календаря и 28-летнего цикла, возникающего при введении в юлианский солнечный календарь семидневной недели (см. предыдущий параграф). Календарные разработки Евсевия Кесарийского нашли отражение в решениях Никейского собора 325 г. и до сих пор используются христианской Церковью.

Что касается хронологии, то Евсевий пытался собрать воедино и использовать все основные хронологические исследования: расчеты иудейских историков-эллинистов Димитрия, Эвполема и Филона; труды греческих историков, ведших счет по олимпиадам (в частности, в «Хронике» Евсевия названы олимпийские победители до 249-й олимпиады включительно, т. е. до 220 г. н. э.); составленные

Манефоном списки фараонов и т. д. Значительная часть этих хронологических сведений дошла до нас именно в изложении Евсевия.

«Хроника» Евсевия была написана ок. 300 г., позднее она была переведена Св. Иеронимом с греческого на латынь и продолжена им до 378 г. Не будет преувеличением сказать, что на хронологии Евсевия—Иеронима базировалась вся последующая христианская историография и труд Евсевия до сих пор служит одной из основ наших хронологических представлений об истории Древнего мира (см.: *Евсевий Памфил* 1848).

Заметим, что Евсевий критически относился к системе отсчета лет «от Сотворения мира», справедливо полагая, что библейская история мало-мальски достоверно может быть датирована не ранее, чем с Авраама. По его расчетам, Авраам родился в 2016 г. до н. э. (по современному летосчислению), а Христос — в 2015 г. от рождения Авраама.

Первые активные попытки установления собственно «христианской» даты Сотворения мира начали предприниматься лишь в V в. Примерно в 400 г. александрийский монах Панодор отнес дату Рождества Христова к 5493 г. от Сотворения мира, причем «первый» год существования мира начинался у него 29 августа (это число удивительным образом совпало с календарной датой начала использовавшейся тогда эры правления императора Августа). Через несколько лет его соотечественник Анниан «уточнил», что начало счета следует вести с 25 марта, следовательно, от Сотворения мира до Рождества Христова прошло 5492 года. Позже эта эра, устанавливающая в качестве начала отсчета 25 марта 5493 г. до н. э. (по современному летосчислению), была названа александрийской.

В Средние века популярностью пользовалась также «Пасхальная хроника» (руководство по установлению дня Пасхи), написанная анонимным византийским автором после 628 г. В этой «Хронике» за исходную дату Сотворения мира было принято 21 марта 5507 г. до н. э. Среди других датировок можно упомянуть так называемую «болгарскую» эру, согласно которой сотворение мира произошло в 5504 г. до н. э., а также «антиохийскую» эру, в которой точкой отсчета служило 1 сентября 5968 г. до н. э.

Одной из наиболее распространенных (в том числе на Руси) была «византийская» эра, введенная императором Константином в 353 г., по которой летосчисление велось с воскресенья 1 сентября 5509 г. до н. э. или, согласно другому варианту, с пятницы 1 марта

5508 г. до н. э. Как и у Манефона, датировка начальной точки отсчета этой эры была непосредственно увязана с началом использовавшихся в IV в. календарных циклов: 19-летнего «метонова», 28-летнего «евсевиева» и 15-летнего «константинова» цикла индиктов.

Методика расчета «византийской» даты Сотворения мира, впервые сделанного в 353 г. (69 г. принятой тогда эры Диоклетиана), сводилась к следующему. В соответствии с существовавшей в те времена системой расчета пасхалий этот год был девятым в 28-летнем солнечном цикле, девятым в 19-летнем лунном и одиннадцатым в 15-летнем цикле индиктионов. Задача состояла в том, чтобы найти год, который был бы началом всех трех циклов, ибо «не может быть, чтобы мир был создан не в начале циклов». Таким годом и был 5509 г. до н. э. (по современному летосчислению). При этом, как ни странно, полученная дата Сотворения мира оказалась близкой к датировкам, основанным на счете поколений от Адама.

Система отсчета от Сотворения мира нашла косвенное отражение и в работах одного из основоположников современной хронологии (как исторической дисциплины) Жозефа (Йозефа) Скалигера. В работах «Об улучшении счета времени» («Opus novum de emendatione temporum», 1583), «Сокровище времен» («Thesaurus temporum», 1606) и других произведениях Ж. Скалигер собрал и систематизировал предшествовавшие изыскания христианских хронологов, сопоставил их с данными астрономических наблюдений и разработал систему унификации летосчисления, оказавшую огромное влияние на последующие научные разработки и до сих пор широко применяющуюся в астрономических и хронологических подсчетах.

Эта система была основана не на годовой хронологии, а на сплошном счете дней от некоторой условной даты (1 января 4713 г. до н. э.), по существу являющейся аналогом «Сотворения мира». Для получения этой даты Скалигер использовал все те же 28-, 19- и 15-летний циклы, что и создатели византийской эры «от Сотворения мира». Произведение $28 \times 19 \times 15 = 7980$ лет было названо им «Юлианским периодом» (не то по имени его отца Жюля [Юлия] Скалигера, не то из-за приверженности юлианскому календарю и неприятия календаря григорианского). Сплошной счет дней существенно облегчает переходы от одной системы летосчисления к другой.

Идеи хронологов прошлых времен находят иногда неожиданное отражение в современном мире. Так, в современных компьютерных программах типа «рабочая таблица» для задания календарной

даты также используется сплошной счет дней от некоей условной точки — в программе QuattroPro «первым днем» является 31 декабря 1899 г., в Excel — 1 января 1900 г. и т. д. Хронологическая система «от Сотворения мира» перекликается и с современными космогоническими теориями «Большого взрыва» и «расширяющейся Вселенной», в соответствии с которыми у нашей Вселенной, а тем самым и у времени, существовало «начало» (возраст Вселенной от момента «Большого взрыва» оценивается в 10—20 миллиардов лет).

Идея хронологии «от Сотворения мира» была заимствована христианством из иудаизма, и расчет даты рождения Христа довольно долго также проводился в иудейской ветхозаветной хронологии, т. е. определялось количество лет, прошедших от Сотворения мира до рождения Христа. В частности, в рамках принятой на Руси вплоть до 1700 г. «византийской» эры «от Сотворения мира» рождение Христа датировалось (в современной системе летосчисления) 3 г. до н. э. В этом случае, в соответствии с упомянутым выше принципом соблюдения кратности календарных циклов, использованном при расчете «византийской» эры, период от Сотворения мира до Рождества Христова оказывался равен целому числу индиктионов.

Первые самостоятельные расчеты даты рождения Христа, не связанные с хронологией Ветхого Завета, были сделаны в 525 г. папским архивариусом Дионисием Малым. Составляя по указанию папы Иоанна I таблицу пасхальных циклов, Дионисий попутно «установил» дату Рождества Христова, которую и предложил считать начальной точкой летосчисления.

Методика этих подсчетов выглядела примерно следующим образом. Основываясь на Евангелии, Дионисий полагал, что Христа распяли на 31 году жизни и что он воскрес 25 марта в воскресенье, которое было первым днем Пасхи. Дионисий проводил свои вычисления в 241 г. принятой тогда эры Диоклетиана, и ближайший год, когда 25 марта было воскресеньем, был 279 г. эры Диоклетиана. От этого года Дионисий отнял 532 года («великий индиктион», т. е. произведение 28×19) и еще 30 лет, получив таким образом год рождения Христа.

Эра, предложенная Дионисием Малым, была использована его современником Кассиодором, столетием позже — Юлианом Толедским, еще почти через столетие — Бедой Достопочтенным. На протяжении VIII—IX вв. эта система летосчисления стала постепенно распространяться в Западной Европе (так, надпись на могиле Карла Великого гласит, что он «умер в 814 году по Рождестве Христовом»). С X—XI вв.

счет лет «от Рождества Христова» начинает все чаще использоваться в христианской историографии, хотя еще и не в качестве официальной хронологической системы. Распространению счета лет «от Рождества Христова» способствовало, в частности, наступление круглой даты — 1000-летия от Рождества Христова, приближение которого сопровождалось бурным всплеском различных апокалиптических пророчеств (мы вернемся к этому вопросу в следующих разделах данной главы).

В официальных папских документах датировка «от Рождества Христова» впервые встречается в начале VII в., затем она применялась при папе Иоанне XIII, который занимал папский престол в 965—972 гг. Но только при папе Евгении IV (в 1431 г.) счет лет «от Рождества Христова» начинает регулярно использоваться в папской канцелярии и лишь после этого постепенно превращается в официальную хронологическую систему в европейских государствах.

Впрочем, современный вид эта система летосчисления приняла только в XVII в. благодаря работам Дионисия Петавия (Петавиуса). В работе, изданной в 1627 г., Дионисий Петавий впервые предложил расширить христианскую систему летосчисления за счет лет до Рождества Христова. Правда, применив идею числовой оси, Петавий допустил «маленькую» ошибку, забыв ввести 0-й год. В результате в нашей системе летосчисления 1-й год до н. э. непосредственно примыкает к 1-му году н. э. Только в 1740 г. Жак Кассини разработал методику корректировки этой ошибки в хронологических вычислениях, но к тому времени предложенная Петавием система уже утвердилась в качестве официальной.

Заметим, что идея отсчета от события «назад» не нова: ее часто применяли историки и до Петавия. Например, для Полибия основной датой (событием) было разграбление Рима галлами (387 г. до н. э.), которое, как он указывал, произошло через 19 лет после сражения при Эгоспотамах и за 19 лет до битвы при Левктрах²⁰.

Согласно современным представлениям, дата рождения Христа приходится на 4 г. до н. э. Она получена на основе сопоставления евангельских текстов, исторических работ и расчетов дат лунных затмений. В частности, по Иосифу Флавию, иудейский царь Ирод воцарился

²⁰ Эгоспотамамы — река и город в Херсонесе Фракийском, место победы Лисандра над афинянами в 405 г. до н. э.; Левктры — город в Беотии, около которого в 371 г. до н. э. фиванские войска под командованием Эпаминонда разбили спартанцев.

в консульство Гнея Домития Кальвина и Гая Асиния Поллиона (714 г. от основания Рима) и умер на 37 году своего царствования, в том самом году, когда перед иудейской Пасхой произошло лунное затмение. Астрономы полагают, что речь идет о затмении в ночь с 12 на 13 марта 750 г. от основания Рима, или 4 г. до н. э. по современному летосчислению (см.: *Болотов* 1907, т. 1, с. 88). Что касается вифлеемской звезды, то, согласно китайской хронике Ма-Туанлинь, вспышка сверхновой звезды наблюдалась в 4 г. до н. э. в созвездии Орла. По современным расчетам, эту звезду можно было видеть над Иудеей в первый день еврейского календарного года, что, по мнению некоторых ученых, и обусловило появление легенды.

Эра «от Рождества Христова» перекликается с некоторыми неевропейскими системами летосчисления, также основанными на событиях священной истории. Так, в Индии среди прочих используется буддийская эра Нирваны (отсчет ведется с 543 г. до н. э., т. е. первого года после смерти Будды). В Китае, Японии и Монголии буддийская эра начинается с 950 г. до н. э. Манихеи отсчитывали годы от рождения или смерти пророка Мани, который жил в III в. н. э. Особым изыском отличается «эра хиджры», утвердившаяся на Ближнем Востоке в арабских странах, — счет ведется от даты бегства Мухаммеда из Мекки в Медину (ночь с 15 на 16 июля 622 г.).

Из приведенного нами краткого обзора «историографических» эр с очевидностью следует, что все эры этого типа являются весьма условными с точки зрения датировки события, формально лежащего в основе каждой из таких хронологических систем. Датировка начальных событий таких эр всегда устанавливалась произвольно, исходя из соображений «текущего момента».

Начало эры, в частности, могло подгоняться под существующую календарную систему (например, манефоновская «эра фараонов», «византийская» эра «от Сотворения мира» или эра «от Рождества Христова»). В других случаях датировка начального события устанавливалась таким образом, чтобы обеспечить «круглый» промежуток времени от начала эры до момента ее изобретения. Например, появление «эры Олимпиад» и эры «от основания Рима» оказалось приурочено к 500-летию соответствующих событий; официальная иудейская эра «от Сотворения мира» была создана на первом году пятого тысячелетия от момента Творения, и т. д.

Как отмечалось в начале этого параграфа, при создании «историографических» эр их разработчики вначале ведут отсчет лет «на-

нако, как заметил Д. Бурстин, «самым большим открытием было осознание того, как мало знала Европа о мире. Никогда раньше столь внезапно не обнаруживались такие большие пласты незнания» (Boorstin 1994, p. 23). Серия географических открытий, показавшая единство и разнообразие мира, не меньше, чем панорама прошлого, способствовала формированию исторического сознания.

Наконец, XV—XVI вв. — это эпоха великих научных открытий, которая начинается итальянскими гуманистами с их школами и кружками, многочисленными трактатами и рассуждениями. Макиавелли «стоит на рубеже между средним и новым миром. Он положил основание новым политическим идеям в Европе» (Грановский 1986 [1849—1850], с. 57). Во Франции в этом направлении действовали Ж. Боден и М. Монтень, в Германии — Эразм Роттердамский и У. фон Гуттен, в Англии — Т. Мор, в Испании — Х. Уарте.

«И естествознание, развивавшееся в атмосфере этой революции, — писал Энгельс, — было насквозь революционным, шло рука об руку с пробуждающейся новой философией великих итальянцев, посылая своих мучеников на костры и в темницы» (Энгельс 1961 [1925 (1886)], с. 508). В эпоху Возрождения были сделаны великие открытия в области астрономии — прежде всего гелиоцентрическая теория Н. Коперника, нашедшая дальнейшее обоснование у Дж. Бруно, И. Кеплера, Г. Галилея. Значительные успехи были достигнуты в медицине и анатомии (Ф. Парацельс, А. Везалий, М. Сервет), математике (Дж. Кардано и др.). Своей кульминации развитие научного знания достигает в век науки — XVII век, — связанный с именами Р. Декарта, Г. Лейбница, И. Ньютона и других.

Результатом трех процессов «колониализации» — прошлого, пространства и знания — стал четвертый: «колонизация» времени. Освобождение представлений об истории от богословского толкования привело к тому, что единицы времени дифференцировались и наполнились определенным историческим содержанием. Важной отправной точкой для различения исторических событий в свете философии истории, разработанной в эпоху Нового времени, согласно К. Манхейму, стали элементы хилиастического сознания, для которого «существуют эпохи, полные внутреннего смысла, и эпохи, лишенные смысла... без такой дифференциации исторического времени — часто латентной и потому незаметной — с позиций философии истории невозможно и эмпирическое изучение истории» (Манхейм 1994 [1929], с. 190).

Гуманисты ввели в методологию истории разграничение далекого и близкого прошлого, в свою очередь отделенного от настоящего. Настоящее трактовалось не как пролонгация непосредственно предшествующего, а как возобновление далекого прошлого (вспомним письма Петрарки к Ливию, Цицерону и другим как к своим современникам). Ренессанс воспринимался как возвращение к античности, а Средневековье осмысливалось как провал в развитии европейской цивилизации, лишившейся на много веков истинной литературы, искусства, философии. (Эти представления во многом не преодолены и сегодня!) При этом люди Возрождения считали свое время в лучшем случае приближающимся к эпохе античности, но никак не превосходящим ее.

Но самое важное — начиная с эпохи Возрождения в историческом сознании укореняется разница между прошлым, настоящим и будущим, между опытом и ожиданиями. Настоящее время начинает пониматься как переход от прошлого к будущему. «Модус „настоящего“ (или, как мы говорим, „современность“), которым христианская историческая традиция, по сути, пренебрегала, теперь превратился в средоточие исторической жизни и энергии. „Настоящее“ — решающее звено, соединяющее всю цепь времен. Тем самым из чего-то неподвижного, застывшего, всегда равного самому себе, „современность“... преобразуется в момент движения истории, в зеркало всех времен» (Барз 1979, с. 58). В частности, Ж. Боден в работе «Метод легкого изучения истории» (1566 г.) выдвинул совершенно новую для своего времени идею о том, что история позволяет установить закономерности, которые объясняют прошлое и настоящее и помогают предвидеть будущее. Именно поэтому, считал он, история является особой наукой, значительно более трудной, чем науки о природе.

Концепция исторического процесса, сформировавшаяся в эпоху Нового времени, на определенном этапе впитала в себя философию прогресса, идею эволюции и соответствующие представления о будущем. В ее контексте наполнились смыслом такие привычные для нас определения, как «человек своего времени», «человек прошлого», «человек, опередивший свое время». В рамках этой концепции стало возможным сформулировать постулат ускорения исторического процесса.

Наконец, знакомство с разными культурами, произошедшее благодаря географическим открытиям и этнографическим экспедициям, вызвало к жизни сравнительную историю. Из этих сравнений родился опыт мировой истории, все больше интерпретируемой в понятиях

прогресса, а также представления об исторической синхронии и диахронии. Была осознана неодновременность разнообразных, но в хронологическом смысле одновременных историй и, соответственно, неодновременность неодновременного²².

1. Концепция эпох

Важным элементом исторического сознания, которое начало формироваться в период Возрождения, стало возникновение и постепенное укоренение понятия исторических эпох.

«У Средних веков была своя география, свое государство, своя церковь и наука, — писал Т. Грановский. — И вот в исходе XV столетия является Христофор Колумб и разбивает рубежи, поставленные миру в Средних веках... У Средних веков было свое государство, свои политические теории. В конце XV и начале XVI столетия раздается страшный голос флорентийского гражданина Николая Макиавелли. Более резкого отрицания средневековых теорий трудно себе представить. И единство средневековой церкви было разбито Реформацией в немногих личностях, которые смело начали борьбу... Наконец, средневековая наука, схоластика, некогда столь блестящая и смелая... и эта наука развивается усилиями гуманистов» (*Грановский* 1986 [1849—1850], с. 9).

Добавим к этому, что у Средних веков была и своя историография, которая также «разбивается усилиями гуманистов». Средневековая историография оставалась довольно нейтральной к эпохальным событиям и историческим периодам. История была хроникой всего происходящего во времени и одновременно представляла собой рассуждения о всемирной истории. Характеризуя контраст между притязаниями на глобальный исторический охват и узостью конкретного кругозора средневековых хронистов, Ж. Ле Гофф, переходя на язык кино, заметил, что модель средневековой истории представляла собой резкие переходы от общего плана к узким кадрам, «которые внезапно расширялись в молниеносных наездах на бесконечность, вселенную и вечность» (*Ле Гофф* 1992 [1964], с. 156—157).

История имела заданные крайние точки — начало и конец, т. е. Сотворение мира и Страшный Суд, — которые являлись одновремен-

²² Например, К. Маркс писал: «Отвергая немецкие порядки 1843 г., я, по французскому летосчислению, нахожусь едва ли даже в 1789 г. и уж никак не в фокусе современности» (*Маркс* 1955 [1844], с. 416).

но позитивными и нормативными, историческими и телеологическими. На практике это проявлялось в том, что средневековые хроники, анналы и летописи всегда строились по законам временной последовательности, с фиксированным началом и концом. В качестве начала истории обычно фигурировало Сотворение мира, но в большинстве случаев хроника фактически начиналась с какого-то менее эпохального «сотворения», «создания» или «основания» — государства, династии, города, монастыря и т. д. Что касается конца истории, то «глобально» под ним подразумевался Страшный Суд, а на практике изложение доводилось до настоящего времени. Принцип *usque ad tempus scriptoris* (вплоть до времени пишущего) использовался в исторических сочинениях на протяжении всех Средних веков. При этом история не переписывалась каждый раз заново, с позиций сегодняшнего дня, а в буквальном смысле списывалась у предшественников, чей авторитет не подвергался сомнению. (Это не означает, конечно, что она не дописывалась и не досочинялась.)

Понятие эпохи было знакомо и античности, и Средним векам, но оно концептуализировалось в рамках философских или теологических представлений (эти концепции мы подробнее обсудим в следующей главе), а не ассоциировалось с историческим развитием. Например, хотя в схеме четырех «мировых монархий» они «следовали во времени одна за другой, история каждой из них представляла собой замкнутый круг, в котором повторялись одни и те же стадии: становление, расцвет, упадок и гибель. Эпохи не соединялись между собой продолжающейся историей: каждая приходила к концу, следующая начиналась с начала» (*Барг* 1979, с. 47). Лишь историческое сознание Возрождения «приблизилось вплотную к догадке о существовании социального времени, т. е. что с точки зрения общественно-исторической непрерывное и безликое время подразделяется на „времена“, „полосы“, на обособленные периоды, каждый из которых имеет свой „лик“» (*Барг* 1979, с. 104).

Первым шагом на пути формирования концепции исторических эпох стало утверждение понятия эпохального исторического события, делящего прошлое на две части — древнюю и новую историю. Событие такого рода уже фигурировало в христианской историографии: им было Рождество Христово. Но в этом случае речь шла о божественной истории мира, соответствующей Ветхому и Новому Завету, а не об истории человечества и тем более общества. В рамках же «мирской» истории, как правило, использовалась концеп-

ция четырех царств, в соответствии с которой «современная» история начиналась с возникновения Рима и продолжалась «до времени пишущего». При этом подразумевалось, что Римская империя продолжает существовать, будь то в форме Восточной Римской империи или Священной Римской империи германской нации.

В эпоху Возрождения проводится новая демаркационная линия в истории — утверждение христианства и/или падение Западной Римской империи. В результате возникает деление истории на «древнюю» и «новую», принципиально отличающееся от деления на «до и после» Рождества Христова. Первым шагом в становлении этой концепции стало нарушение принципа «до времени пишущего»: в эпоху Возрождения появляются специальные работы, посвященные античной истории (например, «Речь о ложности Константина дара» Лоренцо Валлы, «На первую декаду Тита Ливия» Никколо Макиавелли — размышления по поводу первых десяти книг сочинения Тита Ливия, и т. д.).

Началом «новой» истории начинает считаться уже не сотворение или возникновение мира, царства, династии, города, но такие события, как Миланский эдикт о веротерпимости (313 г.), принятие «символа веры» на Никейском соборе (325 г.), перенесение столицы Римской империи из Рима в Константинополь (330 г.), официальный запрет язычества императором Феодосием I (эдикт *De fide catholica*, 380 г.), раскол Римской империи на Западную и Восточную (395 г.), взятие Рима вестготами (410 г.), разграбление Рима вандалами (455 г.), низложение последнего императора Западной Римской империи Ромула Августа (476 г.). Но что еще более важно, эти события одновременно начинают рассматриваться как *конец* «старой» или «древней» истории.

В работах итальянских гуманистов — Л. Бруни, Л. Валлы, Дж. Пико делла Мирандолы, П. Помпонацци и др. — для обозначения древней истории использовался термин «античность» (от *antiquitas* — древность, старина). Эта история охватывала лишь Древнюю Грецию и Древний Рим. Первоначально термин «античный», в отличие от «варварского», с одной стороны, и «средневекового», с другой, применялся прежде всего к культуре и понимался как синоним классического, непревзойденного образца. Эта традиция сохранялась и в последующие века — вспомним хотя бы написанные в XVIII—XIX вв. труды И. Винкельмана, Б. Нибура и др. Но с конца XVIII в. интересы специалистов по античности распространяются и на политическую, со-

циальную, правовую и хозяйственную историю (работы Э. Гиббона, И. Дройзена, Дж. Грота, Т. Моммзена и др.). Постепенно понятие античности детализировалось: появились понятия «античный город», «античная система хозяйства», «античная форма собственности» (Маркс). Параллельно менялись и представления о хронологических рамках античности, которые отодвигались все дальше в прошлое, к границе I—II тысячелетий до нашей эры.

Что касается обширного ареала, лежавшего за пределами античного мира, то отрывочные сведения о нем привлекали внимание исследователей уже в XVI—XVII вв. (П. Ланглуа, А. Кирхер, Б. Спиноза и др.). Однако вплоть до конца XVIII в. временной горизонт авторов, писавших о древности, был очень узок. Так, история Древнего Востока, гораздо более «старого», чем античный мир, за редкими исключениями оставалась нетронутой. Этот огромный временной пласт истории человечества был открыт по-настоящему только в XIX в. — веке великих археологических и, добавим, филологических открытий. Очевидно, что когда Древний Восток соединился с классической древностью, произошло не только колоссальное приращение исторического времени, но и огромное расширение исторического пространства.

В результате двумя частями древней истории или истории Древнего мира стали классическая древность (античность) и Древний Восток. В современной исторической науке под античностью понимается период древней истории (примерно с начала I тысячелетия до н. э. по V в. н. э.), охватывающий историю греко-римского общества, включая эллинистические государства. Под понятием «Древний Восток» имеется в виду комплексная пространственно-временная данность — совокупность ряда стран Южной и Восточной Азии, Северной и Северо-Восточной Африки с середины IV тысячелетия до нашей эры для Шумера, с конца IV тысячелетия до н. э. для Египта, со II тысячелетия до н. э. для Индии и Китая и до первых веков н. э.

Однако объединение разных частей древней истории до сих пор остается довольно формальным, и вопрос о том, как соотносятся античность и Древний Восток, а в границах последнего Ближний и Средний Восток с Китаем и Индией, судя по всему, вызывает немалые затруднения даже у специалистов.

В формировании истории Древнего мира колоссальную роль сыграла археология. Именно эта дисциплина дала возможность воссоздать историю, не изложенную ни в каких письменных источниках,

узнать о событиях, не упомянутых ни в каких книгах. Она же позволила обнаружить и расшифровать древние, давно утраченные языки и прочесть неизвестные дотоле источники и манускрипты. Открыв мир бесписьменной эпохи и письменные памятники исчезнувших цивилизаций, археология необыкновенно далеко отодвинула исторический горизонт прошлого. Именно археология, в отличие от «аристократической» истории, занятая изучением самых разных памятников культуры, в том числе и культуры материальной, впервые получила и систематизировала данные о быте, повседневной жизни людей.

Первые известные нам попытки археологических раскопок относятся еще к VI в. до н. э. — тогда вавилонский царь Набонид искал надписи древних царей в фундаментах построек (кстати, эти сведения также были получены в результате археологических раскопок, проведенных, правда, спустя две с половиной тысячи лет). Описания древних памятников можно найти у Фукидида, Павсания, Плиния и т. д., а само слово «археология» первым, как всегда, использовал Платон.

Интерес к поискам и коллекционированию древностей возникает в эпоху Возрождения; но лишь с начала XVII в., когда увлечение древностями охватило всю Европу, начинаются попытки систематической классификации и изучения древних находок, прежде всего памятников искусства и надписей. В XVIII в. организуются первые археологические раскопки с научными целями (до этого раскопки велись в целях наживы и были разновидностью кладоискательства). В частности, научные раскопки Геркуланума и Помпей привлекли внимание к особенностям античного быта. В начале XIX в. египетский поход Наполеона и расширяющееся влияние Ост-Индской компании открыли археологам доступ в страны Востока.

Великие археологические открытия в XIX и XX вв. были сделаны в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. В Греции велись раскопки в Афинах и других городах, были найдены знаменитые святилища в Дельфах и Олимпии. В Италии, кроме Геркуланума и Помпей, большие раскопки производились в Риме и Остии. В Малой Азии раскапывались важные ионийские центры Милет и Эфес и эллинистические города Приена и Пергам, в Сирии — Гелиополь, Пальмира и многие другие. Особенно большое научное значение имели раскопки Кносса (А. Эванс) и Феста на острове Крите, Трои в Малой Азии, Тиринфа и Микен в континентальной Греции (Г. Шлиман и В. Дерпфельд).

Для исследования Древнего Востока весьма важными оказались открытие хеттской культуры в Малой Азии (Г. Винклер) и исследования в Финикии, Сирии и Египте (О. Мариет, Г. Масперо, У. Петри Флиндерс). Раскопки в Месопотамии (П. Ботта, О. Г. Лэйард) открыли для историков ассирийские города. Раскапывались Вавилон и Ашшур (Р. Колдуэй, В. Андре). Археологами была обнаружена древнейшая в мире шумерская цивилизация (Л. Вулли, Э. де Сараек).

Но не только археология способствовала историческим открытиям древности. Современная историография, чрезмерно озабоченная своими отношениями с социальными науками, как-то потеряла из виду ту роль, которую сыграла в ее судьбе филология. Именно с нее началось изучение истории античности в период Возрождения (Лоренцо Валла). И не случайно в области изучения древней истории в XIX в. имена блестящих филологов — Ж. Шампольона, Г. Гротефенда, Б. Нибура — едва ли не затмевали имена историков.

Уже в эпоху Возрождения начинается работа с текстами, являющаяся составной частью процесса становления исторических исследований: сбор, расшифровка, датировка, атрибуция, классификация, публикация, комментирование, критика. Из этого почтенного занятия в XVIII в. возник целый ряд вспомогательных исторических дисциплин — археография, палеография, дипломатика, эпиграфика, папирология и т. д.

Особую роль филология сыграла в изучении Древнего Востока, позволив расшифровать, перевести и начать комментировать и анализировать найденные археологами письменные источники. В 1802 г. немецкий филолог Г. Гротефенд нашел ключ к персидской клинописи, а спустя два десятилетия англичанин Г. Роулинсон завершил ее дешифровку. В 1822 г. француз Ж. Шампольон дешифровал египетскую иероглифику. В середине XIX в. тот же Роулинсон вместе с другими специалистами дешифровал вавилонскую клинопись. А в 1915—1916 гг. чешский ученый Б. Грозный интерпретировал хеттские клинописные тексты. Таким образом, благодаря усилиям ученых из многих стран, постепенно складывался облик эпохи Древнего мира.

Что касается концепции «Средних веков», то первым шагом в формировании этого понятия стало, как отмечалось выше, установление времени конца «древней» истории. Но исходно эпоха, следующая за древностью, считалась не средней, а «новой» историей. Первоначально при написании подобной «новой» истории по-прежнему

соблюдался принцип «вплоть до времени пишущего»²³. Даже в XVI в. доминирующей формой исторических сочинений оставались анналы и хроники, рассказывающие о событиях вплоть до настоящего момента. Но постепенно укореняется традиция писания истории «по периодам» — в частности, в Англии в тюдоровскую эпоху возникает историография «дотюдоровского периода», повествующая о времени войн Алой и Белой Розы (см.: *Барз* 1979). Эта новая традиция блестяще реализуется в исторических драмах Шекспира. Несмотря на то, что пьесы называются «хроники», время действия в них отделено от времени их создания изрядной дистанцией.

Определения «средние века», «средние времена» входят в историографию постепенно, по мере того как настоящее все четче дистанцируется в сознании от недавнего прошлого. Их можно встретить уже у некоторых итальянских гуманистов — в частности, у Петрарки, который употреблял словосочетание *medium tempus* в историческом, а не в эсхатологическом смысле. Дальнейшее развитие принцип деления истории на древнюю, среднюю и новую получил в сочинении французского ученого Ж. Бодена «Метод легкого изучения истории» («*Methodus ad facilem historiarum cognitionem*», 1566), но эта работа еще не содержала ни четкой концепции, ни датировки соответствующих эпох.

Выработка понятия «средней» истории как самостоятельного периода, равно как и укоренение принятых ныне датировок заняли довольно длительное время. В начале XVIII в., например, Ф. Бэкон, который являлся в глазах современников крупнейшим авторитетом в области философии истории, совершенно иначе определял рамки «средней истории». «Провидению было угодно явить миру два образцовых государства в таких областях, как военная доблесть, состояние наук, моральная добродетель, политика и право, — государство Греции и государство Рима, — писал он. — Их история занимает срединную часть <исторических> времен. Известна более древняя по отношению к упомянутым государствам история, именуемая одним общим названием — „древности“ мира, равно как и последую-

²³ Один из наиболее известных примеров — работа итальянского гуманиста Флавио Бьондо (1392—1463) «История со времен падения Римской империи» (*Historiarum ab inclinatione Romanorum*), в которой он рассматривал тысячелетний период 412—1442 гг., «дотянув» тем самым эту «новую» историю (которая по сути была историей Средних веков в позднейшей терминологии) до своего времени.

щая за ним история, именуемая новой» (*Bacon. Works*, v. 3, p. 345; цит. по: *Барз* 1990, с. 227).

Современное представление о периоде «Средних веков» утвердилось в европейской науке лишь после того, как профессор университета в Галле Х. Келлер (Целлариус) назвал одну из трех книг своего учебника «Историей Средних веков» (*Historia medii aevi, a temporibus Constantini Magni ad Constantinopolim a Turcas captam deducta*). Таким образом Келлер первым ввел близкую к современной периодизацию эпох всемирной истории, поделив ее на древнюю (до Константина Великого), историю Средних веков (до 1453 г. — даты завоевания Константинополя турками-османами и утраты этим городом своего значения как политического и религиозного центра христианского мира) и новую (после 1453 г.; *Cellarius* 1685—1698).

Итак, впервые появившееся в XV в. латинское словосочетание *media aetas* (средние века) и его эквиваленты в европейских языках получили статус относительно общепринятого определения эпохи в периодизации истории только в конце XVIII в. (*Spangenberg* 1922, S. 7 ff; *Koselleck* 1985 [1979], p. 233). Наряду с этим до начала XVIII в. в историографии продолжала применяться средневековая схема «четырех царств». Наконец, до середины XIX в. многие историки использовали двухчастную схему, состоящую только из «древней» и «новой» истории (в качестве границы между ними рассматривалось вторжение варваров; *Butterfield* 1955, p. 46).

Тем не менее можно считать, что начиная с XVIII в. концепция «Средних веков» как определенной исторической эпохи была принята историческим сообществом. Содержание же этого понятия, его внутренний смысл, равно как и хронологические рамки эпохи, продолжают оставаться объектом дискуссий по сей день.

Л. Февр, который почему-то сильно недолюбливал создателя современной периодизации исторических эпох Х. Келлера, писал: «Глупец, убожество, невежественный магистр обнаруживает между „древним веком“ (*aetas antiqua*) и „веком современным“ (*aetas moderna*), которые уже были выделены его современниками, — он обнаруживает обширную страну фактов и деяний, не имеющих своего прозвания. Он окрестил ее „промежуточным“ или „средним веком“ (*aetas intermedia*). И это название остается. И „созданное“ таким образом средневековье обретает плоть и обретает жизнь. Мало-помалу становится реальностью... Существом, которое рождается, растет, переживает пору расцвета, деградирует и умирает. Личностью, чью психоло-

гию изучают. Изучают всерьез. Как будто эта личность в самом деле существует. Как будто она когда-нибудь существовала» (Февр 1991 [1950в], с. 387).

Со времен Возрождения укоренилось представление об образе Средних веков, которое сохранялось в течение нескольких столетий. Средневековые считали «темным», или «мрачным» периодом европейской истории. Развернутую метафору этого представления можно найти, в частности, у Н. Гоголя, при том что он весьма высоко оценивал значение Средневековья в развитии человечества: «... Средние века, величественные как колоссальный готический храм, темные, мрачные как его пересекаемые один другим своды, пестрые как разноцветные его окна и куча изузуривающих его украшений, возвышенные, исполненные порывов, как его летящие к небу столпы и стены, оканчивающиеся мелькающим в облаках шпием» (Гоголь 1978 [1834], с. 39).

Историки-просветители XVIII в. видели в Средневековье период упадка культуры и духовного диктата Церкви. Они стали отождествлять средневековый период с господством феодализма, понимая под ним, однако, лишь политическую (раздробленность, феодально-ленная организация) или правовую (господство феодального поземельного права) систему. Именно просветители ввели в научный обиход понятие «феодализм».

В конце XVIII — начале XIX в. в связи с распространением романтических идей и настроений в Европе пробуждается наконец интерес к истории Средних веков. Начинается идеализация Средневековья как времени господства «чистой веры в Бога» и традиций, в которых усматривалась точка опоры в эпоху революционных потрясений и преобразований.

Огромный вклад в изучение средневековой истории внесла немецкая историческая школа, в том числе историческая школа права (К. Эйхгорн, Ф. Савиньи и др.) и историко-экономическая школа (Ф. Лист). Л. Ранке и его последователи создали многотомные исследования по политической и дипломатической истории Средних веков. В свою очередь французские либеральные историки первой половины XIX в. — О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье и др. — стали подходить к истории средневековой Франции с точки зрения выдвинутой ими теории классовой борьбы между «третьим сословием» и дворянством. В Англии историки вигской школы (Дж. Кембл, Г. Галлам и др.) сосредоточили внимание на конституционной истории, отыс-

кивая в Средневековье истоки буржуазного парламентаризма, который, как они полагали, сложился в борьбе «нации» за свободу против тирании крупных феодалов и королей.

Позитивизм привнес в медиевистику стремление к широким обобщениям и одновременно накоплению фактического материала. Еще больше усилился социально-экономический ракурс в исследованиях Средних веков.

Наконец, в марксистской историографии Средневековье отождествлялось с «феодальной общественно-экономической формацией». Поэтому Средние века делились на «период генезиса и ранний феодализм», «развитой феодализм» и «период разрушения феодализма». Но, учитывая явную бесперспективность поиска феодалов в поздней Римской империи и среди варварских племен, уже в 1960-е годы А. Неусыхин обозначил раннее Средневековье как «дофеодальный период», нарушив тем самым характерную для марксистской концепции жесткую связь исторических периодов со схемой общественно-экономических формаций (см.: Неусыхин 1967).

Надо заметить, что ассоциация Средневековья с феодализмом шла от просветителей и долго сохранялась и развивалась в западной историографии (см., например, фундаментальную работу М. Блока «Феодальное общество»). Это опять-таки объяснялось смещением интереса историков к «развитому» и «позднему» Средневековью (т. е. истории, начинающейся не ранее IX—X вв.) при почти полном игнорировании предшествующего «варварского» периода. Только в середине XX в., с появлением знаменитой работы голландского историка Хейзинги и многочисленных исследований целой плеяды современных французских историков, произошел содержательный прорыв в изучении Средневековья. Образ его расцветается все более и более яркими красками и становится необыкновенно разноплановым.

Особенно заметный прогресс был достигнут в изучении раннего Средневековья (в частности, благодаря работам А. Гуревича). Как оказалось, и эти наиболее «темные» века таят в себе немало материала для истории и отнюдь не являются исторической «черной дырой».

Отдельную проблему представляет собой проведение демаркационной линии между Древним миром и Средними веками, даже в рамках европейской истории. Конечно, первоначальное представление о том, что Средние века начались чуть ли не в одночасье, не могло удовлетворять требованиям развивавшейся исторической науки. С возникновением представления о переходных эпохах, показываю-

щего, что старое продолжает существовать наряду с новым достаточно долго, возникли и не утихают до сих пор споры историков о том, чем было раннее Средневековье: эпилогом античности или прологом следующей эпохи. Безусловно, между античностью и Средневековьем существовала преемственность, но неясно, по какому рубежу прошел разлом. Однако, как пронизательно заметил Э. Трельч, эти споры ничего не меняют в том, что античность была крупным культурным единством и что западное Средневековье открывает качественно иной мир. «Завершать ли античность основанием Византийской империи, или реформированием империи Диоклетианом, или почти канонической датой 476 г., вторжением варваров, ориентализацией, начиная с Северов, или уменьшением роли рабов, исчезновением металлических денег или победой христианства — совершенно безразлично» (Трельч 1994 [1922], с. 604).

Обычно начало Средневековья относят к IV—V вв., но эта хронология может варьироваться в больших пределах. Иногда его датируют III, а то и II в., в других случаях отодвигают к VI в. Наконец, существует концепция «переходного периода» (III—V вв.), который одновременно «принадлежит» античности и Средневековью (мы вернемся к ее обсуждению чуть ниже).

Не меньше разногласий вызывает и датировка конца Средних веков. Распространенная точка зрения, что Средневековье завершается в конце XV — начале XVI в., отнюдь не является единственной. Более того, даже весьма уважаемые авторы превосходного во всех отношениях школьного учебника по истории Средних веков в одном месте пишут: «Завершением средневековья мы считаем начало XVI в.», в другом утверждают, что «Средние века... завершились к середине XVI в.», и, наконец, в рубрике «Средневековая художественная литература» указывают произведения живших в конце XVI — начале XVII в. Сервантеса (1547—1616) и Шекспира (1564—1616) (Гуревич, Харитонович 1994, с. 252, 312, 333).

В марксистской историографии конец Средневековья датировался (и датируется) серединой XVII в. и даже более точно — Английской революцией 1649 г.

Наконец, в работе, опубликованной в 1985 г., Ж. Ле Гофф выдвигает понятие «долгого Средневековья», не завершающегося Ренессансом, связь которого с Новым временем, по его мнению, преувеличена. Свою сегодняшнюю позицию он специально разъясняет в предисловии к русскому изданию книги «Цивилизация средневеко-

вого Запада», написанной в 1964 г., в которой он еще оперировал общепринятой периодизацией Средневековья. Как считает ныне Ле Гофф, Средневековье «длилось, по существу, до XVIII в., постепенно изживая себя перед лицом Французской революции, промышленного переворота XIX в. и великих перемен века двадцатого» (Ле Гофф 1992 [1964], с. 5—6). Примерно такой же точки зрения придерживаются, например, и английские историки Дж. Чэмберс и Дж. Мингей, относящие европейскую аграрную революцию к периоду 1750—1880 гг. (Chambers, Mingay 1966).

Не менее расплывчатыми являются и датировки отдельных этапов Средневековья. Так, в сквозной периодизации созданного Римской империей политического и культурного мира Европы, предложенной Л. фон Ранке, история Средневековья делилась на следующие части: период германских и арабских завоеваний, становление самостоятельного западного мира (V—IX вв.); период принятия римской идеи каролингскими и немецкими императорами (IX—XI вв.); XI—XIII вв. — господство иерархии, преобразование римской идеи империи в идею папства; и, наконец, XIV—XV вв. — период разрыва тесной связи между государством и Церковью, время образования наций. Хотя Ранке полагал, что «каждая эпоха стоит в непосредственном отношении к Богу», в то же время каждый исторический период, по его мнению, имеет свою «руководящую идею», и наряду с религиозной идеей важное место занимает идея политическая (Ранке 1898 [1854], с. 4).

Ныне выделяются иные этапы Средневековья и для их описания используются другие ключевые слова. Например, Ж. Ле Гофф, который, как отмечалось, отнес завершение Средневековья к концу XVIII в., проводит внутренние водоразделы этой эпохи по «существенным поворотным моментам» (около 1000 г., 1200 г., 1500 г., 1680 г.). Периоды, следующие за этими водоразделами, он условно обозначает как «подъем Запада», «сошествие ценностей с небес на землю», «обмирщение истории», «рождение идеи прогресса» (Le Goff 1987, р. 232—233). Примечательно, что хотя Ле Гофф обосновывает свою концепцию Средневековья и соответствующую периодизацию необходимостью акцента на аграрном характере средневекового общества и присущего ему «ментального инструментария», используемые им критерии абсолютно не связаны с этой исходной посылкой. Речь здесь идет о духовных или культурных характеристиках обще-

ства в целом, и даже скорее его «просвещенной» части, а вовсе не «аграрного» населения!

Но при всем разнообразии периодизаций эпохи Средних веков, можно все-таки утверждать, что наиболее традиционным является деление Средневековья на три части: раннее, зрелое или классическое и позднее. Начало позднего Средневековья обычно датируется рубежом XIII—XIV вв., а период XIV—XV вв., вслед за Хейзингой, часто именуется «осенью Средневековья». Граница же между ранним и зрелым Средневековьем вызывает гораздо больше разногласий, варьируясь в пределах IX—XI вв.

2. Новое время

В современной науке термины «история Нового времени» и «новая история» употребляются как синонимы, обозначая историческое описание определенного периода, охватывающего примерно 500-летний отрезок времени с конца XV — начала XVI в. до самого ближайшего прошлого — буквально, до вчерашнего дня. Однако смысловое объединение этих терминов произошло далеко не сразу.

Что касается понятия «новой», в смысле недавней, истории, то оно использовалось издавна. Например, еще к V — началу VI в. относится сочинение византийским историком Зосимой «Новой истории» в шести книгах, действительно охватывающей *новый* для него период от Августа до взятия Рима Аларихом в 410 г. (см.: *Martin* 1866). Как уже отмечалось, с эпохи Возрождения и до середины XVII в. началом «новой истории» считали принятие христианства или падение Западной Римской империи, т. е. IV—V вв. (конкретные рубежи начала «новой» истории могли существенно варьироваться в пределах этих двух столетий).

С течением времени датировка «новой» истории постепенно меняется — со второй половины XVII в. ее начало переносят на 1453 г. (падение Византии), а позже начинают датировать рубежом XV—XVI вв. В качестве конкретных дат начала «новой истории», как правило национальной, фигурировали 1479 г. — объединение Арагона и Кастилии, 1485 г. — конец войны Роз и начало правления династии Тюдоров (Генриха VII) в Англии, 1492 г. — открытие Америки Колумбом, 1500 г. — как «круглая» дата, 1517 г. — начало Реформации и т. д.

Т. Грановский, говоря о «самоуправном» делении истории на периоды, подчеркивал в то же время, что отделение истории средневековой от новой основано на самой сущности предмета. «Если мы рассмотрим в отличительный характер этих отделов истории, — писал он, — мы увидим здесь глубокое различие, мало — отрицание новой историей того, что служило содержанием истории средней» (*Грановский* 1986 [1849—1850], с. 5). Поэтому постепенно граница Нового времени стала связываться не с определенной датой, а с неким новым содержательным периодом истории.

Как считает Р. Козеллек, смысл определения «новый» применительно к времени истории имеет три значения:

— период, который считается новым по контрасту со Средними веками;

— современный (сегодняшний);

— качественно новый, совсем другой, даже лучший, что придает новому эпохальный, темпоральный характер (*Koselleck* 1985 [1979], p. 238).

Все эти характеристики в совокупности и определяют содержание концепции Нового времени, в котором, с европоцентристской точки зрения, мы живем уже более пяти веков. Ощущение хода и духа времени настолько характерно для этой эпохи, что само слово «время» (*Zeit, time, temps*) употребляется преимущественно когда речь идет о Новом времени. Так, в русском языке Средневековье обозначается словом «века», в европейских языках словом «возраст» (*Mittelalter, Middle Ages, Moyen âge*), а «древность» или «античность» вообще не имеют указания на время, но иногда — на пространство или некую целостность пространства-времени. Тогда говорят: Древний мир.

Исходным моментом в генезисе термина «Новое время» является представление о современности, «модернизме» («*modernus*», «*moderni*», «*modernitas*»), которой гуманисты противопоставляли «темные» Средние века. Латинское *modernus* означает «сегодняшний», «современный». Ле Гофф писал, что при изучении употребления терминов, производных от *modernitas*, возникает ощущение, что в концепции времени и в историческом сознании что-то было готово измениться уже в XII в., знакомом с этим термином. Безусловно, слова эти имели по преимуществу нейтральный смысл. Они обозначали современников, живущих — в отличие от предшествовавших им *antiqui* — в настоящее время, которое Уолтер Map определял как промежуток в сто лет. И хотя тогда эти слова, как и сама новизна, очень часто вызывали подозрения, «однако *modernitas* и *moderni* все больше и боль-

ше утверждали себя в XII в. с гордостью, в которой чувствуется вызов прошлому и обещания на будущее. Приближалась эпоха, когда понятие „новое время“ станет программой, утверждением, знаменем» (Ле Гофф 1992 [1964], с. 164). Действительно, понятие «модернизм» приобрело со временем ценностный, позитивный смысл и сохраняет его до нашего времени²⁴.

С XV в. термин *modernitas* употребляется в значении «Новое время». Но гуманисты и деятели Реформации под «Новым временем» понимали не историю, а современность, свое настоящее как противоположность прошлому, т. е. «истории Нового времени» для них не существовало. Потребовалось некоторое время для того, чтобы это настоящее стало восприниматься как прошлое, сохранив при этом свое качественное отличие от предыдущего исторического периода.

Со второй половины XVIII в. появляется все больше свидетельств того, что концепция Нового времени приобретает законченную форму. Уже французские просветители д'Аламбер и Дидро конструировали всю историю в соответствии с временным ритмом этой концепции. Время больше не рассматривалось просто как среда, в которой происходят все истории, оно приобрело историческое качество. Вследствие этого история теперь происходит не во времени, а как бы проходит сквозь время. Время становится самостоятельной исторической и динамической силой. История обретает целостность и становится не историей чего-то, а историей вообще. С тех пор как история стала пониматься как некое единство, ее необходимое отношение к историческому времени было включено в общую концепцию всемирной истории. В Новое время стало очевидным и пространственное различие новой, средней и древней истории (Грановский 1986 [1849—1850], с. 8).

Однако еще в первой половине XIX в. диапазон представлений о начале современности или Нового времени составлял несколько веков: одни историки связывали начало *modernitas* с концом раннего Средневековья, другие считали, что современность открывается Французской революцией.

²⁴ Только ближе к концу XX в., как замечает американский историк Дж. Лукач, слово «модерн» потеряло свой блеск. Если еще в 1960-е годы, особенно в Америке, у слова «модернистский» была коннотация позитивного, то сейчас во всех областях жизни, даже в искусстве, это не так (позитивный смысл приобрел термин «постмодернизм»; см.: *Lukacs* 1994, S. 340—341).

Целостная по форме и по смыслу концепция Нового времени утверждается только к 1850-м годам (например, она присутствует в многотомном «Словаре немецкого языка», выпускавшемся братьями В. и Я. Гримм, которые были не только сказочниками, но и крупными филологами), т. е. спустя четыре века после начала того периода, который она обозначает (*Koselleck* 1985 [1979], p. 233). С тех пор понятия «Древний мир», «Средние века» и «Новое время» подразумевают не просто конкретные периоды, а концепцию определенного социального устройства и исторического процесса.

С этого времени можно четко «развести» понятия «Новое время» и «*modernitas*». Новое время — это время всего мира, всего человечества, диктуемое Европой, независимо от типа или ступени развития того или иного общества. Модернизм (современность) — это модель конкретного общества, характеризующегося определенными признаками. Таким образом, Новое время и модернизм на определенном этапе совпадают только в Европе и странах переселенческого капитализма.

Именно исходя из модели модернизированного общества, начало Нового времени обычно связывают с возникновением современного единого национального государства, капиталистического хозяйства, захватом колоний, а также установлением духовной автономии научного мышления. Однако Э. Трельч считал, что к этим сущностным чертам необходимо добавить и другие, ибо «подлинное Новое время родилось из разрыва с абсолютизмом и конфессионализмом... Гражданское общество, автономия и способность к организации осознанной науки — его признаки... Таким образом, следует различать Новое время в широком и узком смысле. В первом смысле оно начинается с XV в., с нового военного и бюрократического государства, с суверенитета по отношению к церкви и империи; во втором — с Английской революции и Просвещения...» (Трельч 1994 [1922], с. 648).

В марксистской историографии содержанием поворота от Средневековья к Новому времени считается переход от феодализма к капитализму, политическим механизмом которого являлись буржуазные революции. В соответствии с этим в 20-х и в первой половине 30-х годов в советской историографии начало Нового времени связывалось с развитием капиталистического уклада и первыми буржуазными революциями в Европе, но решающим событием, обусловившим победу капитализма над феодализмом, называлась Великая французская революция. С конца 30-х годов периодизационная схема, при-

нятая в советской исторической науке, полностью подчиняется учению о классовой борьбе и устанавливаются четкие водоразделы, возможные лишь в политической истории. (Нельзя ведь установить год начала развития капиталистических отношений, а революции датировать можно, хотя свершение Английской революции не означало конца феодализма даже в пределах Англии.) В результате утвердилась периодизация, согласно которой рубежом между Средневековьем и Новым временем считалась английская буржуазная революция XVII в. Однако среди советских историков существовали и другие мнения о начале Нового времени: его связывали или с XVI в., или с Великой французской революцией.

В западной историографии наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой Новое время начинается с Возрождения и Реформации (этот же подход был характерен для российской историографии XIX в. — см., например: *Грановский* 1986 [1849—1850]; *Кареев* 1892—1917). Но это мнение, как и сама концепция Возрождения, — тоже итог длительных размышлений и дискуссий.

Возрождение, Ренессанс — термины, принятые ныне для обозначения определенного периода в развитии ряда стран Западной и Центральной Европы (в Италии — XIV—XVI вв., в других странах — XV—XVI вв.)²⁵. Утверждение доктрины Возрождения, которое сознательно противопоставлялось Средним векам, и ее включение в общую концепцию периодизации заняло еще больше времени, чем становление концепции Средних веков, начавшееся в эпоху Ренессанса. Хотя гуманисты любили использовать глаголы и прилагательные для обозначения обновления или возврата, пробуждения или расцвета, или для описания повторения, «Ренессанс» (*rinascita*, *renaissance*) как более общее понятие впервые появился лишь в середине XVI в. и использовался очень избирательно (см.: *Ferguson* 1948; *Ullmann* 1952). У Дж. Вазари в «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (*Вазари* 1933 [1550]) термин *rinascita* обозначал всестороннее развитие нового искусства, базирующегося на изучении природы.

²⁵ Существует также хорошо аргументированное мнение, что эпоха Ренессанса была только в Италии. Как полагает, например, Л. Баткин, «в других странах ренессансность — мгновенный и освежающий порыв ветра, тридцать — сорок — пятьдесят лет, жизнь одного поколения, притом этот порыв захватил только некоторые области духовного производства и на слишком узкой социальной основе» (*Баткин* 1995, с. 37).

Как термин, в первую очередь характеризующий эпоху в истории искусства и литературы, «Ренессанс» впервые регулярно стал использоваться в литературе Просвещения. Такой смысл придавался Возрождению, например, в «Историческом и критическом словаре» П. Бейля (*Бейль* 1968 [1695—1697]). Но уже Вольтер видел в Возрождении не только прогресс человеческого таланта и разума, но и хозяйственный подъем и богатство итальянских городов.

Ж. Мишле в седьмой части своей 17-томной «Истории Франции» выделил Возрождение (*La Renaissance*) как самостоятельный период европейской истории и придал понятию «Возрождение» смысл переворота в мировоззрении (*Michelet* 1833—1867, т. 7). Мишле, говоря словами Февра, концептуализировал Возрождение как блистательный период истории Запада, когда «все воспрянуло» сразу: искусство и литература — безусловно, но еще и науки, космография, география, анатомия, естествознание. И еще — христианская религия, обретающая новые формы; а также — экономическая активность, богатство века, удвоившего свой золотой запас, удесятирившего свои запасы серебра; и, наконец, само представление, которое составляют себе люди на Западе, — представление о мире, о жизни, о предназначении человека» (*Февр* 1991 [1950в], с. 378). По хрестоматийному определению Мишле, эпоха Возрождения дала человечеству два открытия: «открытие Мира» и «открытие Человека».

Таким образом, если Келлер «нашел» Средние века, то Мишле принадлежала заслуга обнаружения «Возрождения» как исторического явления, обозначающего совокупность материальных, духовных и эстетических перемен, произошедших в жизни Запада в XV—XVI вв.²⁶

Я. Буркхардт в работе «Культура Возрождения в Италии» (*Буркхардт* 1997 [1860]) утвердил представление об итальянском Возрождении как о времени. Содержательно он характеризовал это время как период торжества сильной, не признающей никаких ограничений личности, ниспровергающей средневековые церковные представления о мире и выдвигающей вместо религиозно-этических критериев гуманистически-эстетические. Из индивидуалистического мировоззрения нового человека Буркхардт выводил всю культуру Возрождения.

²⁶ Говоря о могуществе понятий, созданных исторической наукой, об их способности жить своей жизнью и как бы создавать сам феномен, который они обозначают, Февр резюмирует значение этих двух открытий: «Безымянный педаант. Гениальный Мишле. Результат одинаковый» (*Февр* 1991 [1950в], с. 387).

Строго говоря, лишь с появлением теорий Мишле и Буркхардта Возрождение было включено как содержательный период в общую систему периодизации истории. Таким образом, определение «Ренессанс» позникло не одновременно с появлением определения «Средние века» и не в качестве его контрконцепции, а сформировалось позднее как форма историко-хронологической детерминации. Слово «Ренессанс» изначально было метафоризировано, и процесс «очищения» его значения был очень долгим.

В протестантской литературе, где теологическая традиция переплеталась с гуманистическим рационализмом, более распространенным стал соотносимый с Ренессансом термин «Реформация». Ф. Энгельс писал об этом периоде: «Это было *время*, нуждавшееся в гигантах и породившее гигантов, гигантов учености, духа и характера. Это было *время*, которое французы правильно называли Ренессансом, протестантская же Европа односторонне и ограниченно — Реформацией» (Энгельс 1961 [1925 (1886)], с. 508; курсив наш. — И. С., А. П.). Мишле первым квалифицировал Возрождение и Реформацию как явления одного порядка, хотя в современной науке это представление не считается бесспорным. Так, Л. Баткин вслед за Я. Буркхардом считает, что то, что принято называть «Северным Возрождением», отличалось от итальянского Возрождения, прежде всего тем, что там «не было возрождения: т. е. не было принципиально нового и основополагающего обращения к античности. Европейский „Север“ в XIV—XV вв. (а затем в решающей степени и в Реформации XVI в.) выходил из средневековой культуры с опорой на нее же — постепенно разлагая, перерабатывая ее изнутри», и культурная жизнь Северной Европы развивалась в зависимости от протестантизма и иных факторов (Баткин 1995, с. 35—37).

«Реформация» вначале ассоциировалась не с периодом, а с *рубежом, началом* новой эпохи, но позднее тоже стала концепцией определенного временного этапа. Вместе с тем термин «Реформация» сохранял и свое нехронологическое, общее значение, связанное с религиозной жизнью, преобладающее и в настоящее время. Наступление эпохи Реформации рассматривалось как заключительный период христианства, одновременно предполагалось, что им закончится и история (Koselleck 1985 [1979], p. 236).

Выделение Возрождения или Реформации как начального периода Новой истории явилось существенным элементом в формировании общих представлений о ее членении. Поскольку это произош-

ло к середине XIX в., когда эпоха Нового времени длилась уже достаточно долго, возникла потребность выделить в ней определенные этапы и вместе с тем — отграничить последний период, воспринимающийся как современность. В результате Новое время в исторических исследованиях разделилось на Возрождение (или Реформацию), собственно Новое время и новейшую историю.

Конечно, существует множество более дробных периодизаций Нового времени. Так, Ранке в своих «Эпохах» характеризует периоды Нового времени следующим образом. По его схеме вслед за венчающим Средневековье пятым периодом наступает шестой — период Реформации и религиозных войн, когда в ходе общей децентрализации постепенно возникает система великих европейских держав, седьмой — период великих держав и восьмой — эпоха революций. Последний период у Ранке частично находился уже в ведении новейшей истории, как и следующий за ним этап конституционализма (Ранке 1898 [1854]).

В марксистской историографии периодизация эпохи Нового времени оказалась в значительной мере построенной на основе политических критериев. В рамках Нового времени выделяется эпоха или период победы и утверждения капитализма в Европе и Америке (1640—1870 гг.). Событием, определяющим начало этого периода, является Английская буржуазная революция. Следующий период (1871—1917 гг.) открывается Парижской Коммуной. Внутри первого периода новой истории выделяются такие этапы, как 1640—1789 гг. — от Английской до Великой французской революции; 1789—1815 гг. — от Французской революции до разгрома наполеоновской империи; 1815—1849 гг. — от Венского конгресса до поражения революций 1848—1849 гг.; 1849—1871 гг. — до Парижской коммуны; и, наконец, завершает эту эпоху 1871—1917 гг. — «вполне законченный исторический период, именно: от Парижской Коммуны до первой Социалистической Советской Республики...» (Ленин 1963 [1920а], с. 16—17).

В современной историографии нередко выделяется отдельно период раннего Нового времени (early modern history). Конец этого периода связывают с промышленной революцией, произведшей радикальный перелом в социальной структуре, сознании и культуре западного общества.

Существует и множество других периодизаций Нового времени, но последним пределом в них является рубеж, отделяющий новую

историю от новейшей, рубеж, который движется вместе с реальным временем исторического бытия.

Термин «новейшее время», в отличие от «Нового времени», в историческом обиходе укоренился быстро. На протяжении всей своей преподавательской деятельности Л. фон Ранке читал «историю новейшего времени» или «новейшую историю», которую он начинал с Американской и Французской революций. Только обращаясь к текущей истории, он переходил на традиционное «история нашего времени» (Ранке 1898 [1854]). Работа известного немецкого историка Ф. Шнабеля, которая с 1924 по 1932 г. выдержала шесть изданий, называлась «1789—1919. Введение в историю новейшего времени» (Schnabel 1925 [1924]). Во Франции многие историки именовали весь период после Великой французской революции современной историей (histoire contemporaine), в Англии использовались термины contemporary history, current history. А недавно появилась histoire présente (present history) — уже совсем сегодняшняя история.

Однако в цехе историков изучение текущих событий считалось не особенно почетным. Постепенно сложилось убеждение, что только временная дистанция позволяет писать «объективную» или «научную» историю. Серьезные историки считали, что требуется существенный разрыв во времени, «историческая давность», чтобы соблюсти требуемую научную беспристрастность. Приступая к исследованию царствования императрицы Екатерины II, В. Ключевский писал: «Вопросы того времени для нас простые факты: мы считаемся уже с их следствиями и думаем не о том, что из них выйдет, а о том, как быть с тем, что уже вышло... Значит, счеты потомства с Екатериной II сведены. Для нас она не может быть ни знаменем, ни мишенью; для нас она только предмет изучения» (Ключевский 1989 [1921], с. 284).

В канонической форме этот подход был сформулирован А. К. Толстым в «Истории государства Российского»:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

(А. Толстой 1981 [1868], с. 263)

Текущей историей занимались, как правило, политически ангажированные историки и философы (см. работы К. Маркса о рево-

люции 1848 г. и о Парижской Коммуне, Л. фон Штайна о Прусской конституции, а также труды представителей так называемой «мало-германской» школы — Г. фон Зибеля, И. Дройзена, Г. фон Трейчке и др.). Их отличительной чертой была склонность к прогнозированию, и импульсом для исторических сочинений о событиях современности, написанных этими авторами, служило будущее. Интерпретация события всецело подчинялась представлению о направленности всемирно-исторического процесса (см. ниже, гл. 3) и политическим предпочтениям. В целом же занятия современной историей считались чем-то второсортным и были передоверены журналистам.

В XX в., по мнению Коллингвуда, в подходе к изучению прошлого появился «новый дух отрешенности». Историки стали думать о прошлом «как о предмете, наиболее подходящем для беспристрастного, а потому и подлинно научного исследования, об области, в которой дух партийной пристрастности, хвала и порицание должны быть запрещены. Они стали критиковать Гиббона не за то, что он принял сторону противников, например, христианства, а за то, что он вообще стал на чью-то сторону» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 141).

Мы уже отметили, что термин «новейшее время» в западной исторической науке имел не столько содержательное, сколько временное, хронологическое значение. Иначе обстояло дело в советской историографии. Она отказалась от ассоциации новейшего времени с текущей историей и утвердила в качестве начала новейшей истории незыблемую дату — 1917 год. Эпохальный характер этой даты несомненен — ее нередко приравнивали к началу новой эры. Эта идея восходит к ленинской характеристике Октябрьской революции как начала новой эпохи всемирной истории, основным содержанием которой является переход от капитализма к социализму²⁷. Соответственно в отечественной историографии период «новейшей истории» обладал не менее содержательным характером, чем период «новой». Справедливости ради следует признать, что 1917 г., положивший начало раз-

²⁷ «Уничтожение капитализма и его следов, введение основ коммунистического порядка составляют содержание начавшейся теперь новой эпохи всемирной истории» (Ленин 1963 [19206], с. 425). Советские историки начали следовать указанной схеме с конца 1930-х годов. По-видимому, данная периодизация была введена неким декретом, однако борьба с культом личности во времена Хрущева совершенно стерла следы этой истории (story), и нам не удалось выяснить, в каком именно постановлении ленинская мысль обрела императивный характер.

делению мира на два лагеря, в основе которого лежали враждебные политические системы и идеологии, действительно многими признавался эпохальным, но западная историография никогда не рассматривала его в качестве символического конца Нового времени.

3. Власть схемы

Шпенглер назвал схему «Древний мир — Средние века — Новое время» «невероятно скудной и лишенной смысла» и в то же время признал ее «абсолютное владычество над нашим историческим сознанием» (Шпенглер 1993 [1918], с. 49).

И действительно, триада «Древний мир — Средние века — Новое время» в известной степени является искусственной конструкцией, к тому же она в своей значительной части возведена на европейской почве. Историкам постоянно приходится преодолевать несовершенство этой схемы, и процесс «внесения поправок» с годами становится все более интенсивным.

Прежде всего нельзя не упомянуть о существовании четвертой, «доисторической» эпохи, которая формально не относится к сфере интересов исторической науки, но активно участвует в формировании современных исторических представлений. История «открытия» этой эпохи также не лишена интереса.

Дело в том, что едва ли не до середины XIX в. абсолютно все историки (а тем более неспециалисты) твердо верили в библейскую хронологию истории человечества. Как отмечалось в предыдущем параграфе, в соответствии с этими представлениями Сотворение мира произошло примерно за 5500 лет до Рождества Христова (в рамках иудаистической традиции история человечества была еще короче — ее начало относилось на 3761 г. до н. э.). Начало «реальной» истории связывалось, впрочем, не с Сотворением мира, а со всемирным потопом, который и служил исходной точкой для упорядочения и хронологической систематизации всей информации о прошлом.

Для определения даты потопа обычно использовалась библейская хронология смены поколений, в соответствии с которой потоп случился в 1656 г. от Сотворения мира²⁸. Таким образом, вплоть до

²⁸ Согласно Книге Бытия, Адам родил Сифа, когда ему было 130 лет, Сиф родил Еноса в 105 лет, Енос родил Каинана в 90 лет, Каинан родил Малелеила в 70 лет, Малелеил родил Иареда в 65 лет, Иаред родил Еноха в 162 года, Енох родил Мафусаила в 65 лет, Мафусаил родил Ламеха в 187 лет,

середины XIX в. история человечества в представлении любого образованного европейца начиналась примерно в 3800—3900 гг. до н. э.

Заметим, что известные к середине прошлого века исторические факты и датировки в целом не выходили за эту границу. Единственным исключением была хронология правления фараонов, составленная Манефоном в III в. до н. э. и начинавшаяся с 4241 г. до н. э. До XVIII в. эта хронология просто отвергалась как недостоверная. Лишь в первой половине XIX в., после египетской экспедиции Наполеона, возрастания интереса к египетским древностям и расшифровки иероглифов Ж. Ф. Шампольоном в 1822 г. хронология Манефона снова привлекла к себе внимание историков, но и ее вначале пытались уложить в библейскую схему. Полагая, что сроки жизни первых потомков Адама были несколько завышены, равно как и возраст, в котором у них рождались сыновья, и предполагая средний период смены поколений (до рождения первенца мужского пола) равным 30—35 годам, можно было считать, что охватываемый девятью поколениями — от Адама до Ноя — период составлял около 300 лет, т. е. потоп произошел примерно в 5200 г. до н. э.

Активизация археологических исследований в первой половине XIX в. не изменила этих представлений. Найденные в 1830—1840-е годы датскими археологами К. Томсеном и Е. Ворсо орудия, изготовленные из разных материалов, послужили основой для распространения схемы «каменного—бронзового—железного веков» истории человечества, но периодизация каменного века еще вписывалась ими в библейскую «послепотопную» историю.

Открытие древнейшей истории человечества связывают обычно с именем французского археолога-любителя Ж. Буше де Перта (1788—1868), который в 1837 г. обнаружил при раскопках на берегах Соммы орудия каменного века. Буше де Перт выдвинул гипотезу о том, что люди, изготовившие эти орудия, были современниками мамонтов и других вымерших животных. Впрочем, и в этом случае речь все еще шла о библейской хронологии — Буше де Перт полагал, что им открыты следы «допотопных» людей, живших в период между Сотворением мира и потопом. Но даже эта скромная гипотеза не получала признания вплоть до 60-х годов прошлого века.

а Ламех родил Ноя в 182 года (Быт. 5); от момента же рождения Ноя до потопа прошло 600 лет (Быт. 7, 11). Суммируя, получаем, что от Сотворения мира и Адама до потопа прошло 1656 лет.

По существу, переход к современным представлениям об истории человечества начался только после выхода в свет в 1859 г. «Происхождения видов...» Ч. Дарвина. В последовавших затем работах французских археологов Э. Ларте (*Sur l'ancienneté géologique de l'espèce humaine dans l'Europe occidentale*, 1860) и Г. де Мортилье (*Le préhistorique antiquité de l'homme*, 1869), а также английского археолога Дж. Леббока (*Prehistoric Times*, 1865) начало человеческой истории было впервые отодвинуто за пределы библейской хронологии.

Если отвлечься от предыстории и постистории, явно лежащих за пределами триады «Древний мир — Средние века — Новое время», то очевидно, что модель эта весьма произвольно базируется на совершенно разных критериях. Один критерий — политический (падение Западной Римской империи, падение Восточной Римской империи, Великая французская революция и т. д.). Другой критерий — религиозный (утверждение христианства — Реформация). Третий — культурологический (утверждение христианско-религиозной культуры — появление светской культуры, основанной на гуманистических принципах). Четвертый — экономический (аграрный, индустриальный). И это еще не все: можно добавить правовые, коммуникационные, технологические и другие критерии. Конечно, все они взаимосвязаны, но в то же время и достаточно самостоятельны в претензиях на установление собственных временных рубежей.

Так, если понимать античность и Средневековье как противостояние языческого и христианского мира, то очевидно, что последний утверждается раньше Средневековья, а первый отнюдь не исчезает в IV—V вв. Если же видеть в этих эпохах истории прежде всего воплощение рабовладельческой и феодальной формации, то ясно, что феодальный способ производства складывается гораздо позже начала Средних веков. Наконец, если рассматривать историю с точки зрения государственной и ставить во главу угла политические события, то можно, пожалуй, поставить и точную дату.

Еще сложнее с водоразделом между Средневековьем и Новым временем. Эти эпохи можно трактовать с помощью дихотомий: аграрное и индустриальное общество, традиционное и современное, феодальное и капиталистическое, религиозное и светское и др. Хотя, безусловно, основной пласт времени у перечисленных типологий обществ, границы их никогда не совпадают. Все эти структуры утверждались и сдавали свои позиции в разное время.

Отдельно следует сказать о пространственном аспекте схемы трех эпох. В сопоставлении с античностью Древний Восток — это и

период, и одновременно отдельный географический ареал. (Вот один из ярчайших примеров взаимосвязи времени и пространства в историографии.) Это — цивилизации, открытые намного позднее античности, и к тому же цивилизации, чуждые Европе. Поэтому Древний Восток, существуя до античности и вместе с нею во времени, существует всегда отдельно, в собственном географическом и цивилизационном пространстве. Но несмотря на указанное пространственно-временное размежевание, Древний мир — в большей мере временное понятие, чем Средние века. Включая в себя в качестве автономных единиц и античность, и Древний Восток, термин «Древний мир» для всего исторического мира подразумевает весь отрезок времени до начала Средневековья. Смысл этого термина включает в себе все разнообразное содержание исторической жизни.

Если история Древнего мира в силу своей неоднородности действительно охватывает весь мир или по крайней мере все его главные цивилизации, то Средневековье в содержательном плане — это все-таки понятие, применимое только к ограниченному региону, включающему Европу и частично Ближний и Средний Восток. Попытки обнаружить Средние века в других местах (например в Китае) представляются надуманными. Видимо, в ряду многих задач, стоящих перед историками, существует еще и задача создания концепции Средневекового Востока и других ареалов, которые «нарастят» концепцию Средних веков, подобно тому как Древний Восток «нарастил» античность²⁹.

В свою очередь, одной из главных черт эпохи Нового времени является процесс глобализации. В эту эпоху возникли система национальных государств, мировая капиталистическая экономика, мировой военный порядок, международное право, международное разделение труда; произошло распространение почти по всему миру григорианского календаря; были введены временные зоны; установлено телеграфное и воздушное сообщение. При этом все происходящее в Европе приняло всемирно-историческое качество, базирующееся уже не на универсализации священной истории, а на той роли, которую начала играть Европа в мире. Эти претензии распространялись и на пространство, и на время, т. е. на прошлое, настоящее и будущее. С наступлением капитализма все страны оказались в Новом времени, независимо от того, на какой стадии развития они находились.

²⁹ И. Дьяконов считает, что Европа имела в период Средневековья «как раз своеобразное развитие, азиатские же пути развития были типичными» (Дьяконов 1994, с. 65).

Акцентируя роль пространства в членении исторического времени, русский социолог Л. Мечников в работе «Цивилизации и великие исторические реки» предложил весьма любопытное, на наш взгляд, деление всемирной истории на три эпохи по географическому признаку: период «древних речных цивилизаций», сложившихся в долинах великих рек, «средиземноморскую эпоху» и океаническую цивилизацию. Соотнося эту схему с общепринятой, легко увидеть, что период «древних речных цивилизаций» примерно соответствует истории Древнего Востока. «Средиземноморская эпоха» объединяет вторую часть истории Древнего мира, т. е. античность, со Средневековьем. (Правда, здесь возникают проблемы с норманнами, которые никак не вписываются в «средиземноморскую эпоху».) Начало перехода к «океанической цивилизации», соответствующей эпохе Новой истории, Мечников видел в географических открытиях XV—XVII вв. (Мечников 1924 [1889])³⁰.

Очевидно, что главным недостатком триады «Древний мир — Средние века — Новое время» является ее предельно общий характер. Но, видимо, это тот недостаток, который переходит в достоинство, позволяя историкам свободно интерпретировать свой материал, несмотря на заданные этой моделью ограничения. Наверное, именно поэтому по вопросу об исторических эпохах уже на протяжении нескольких веков существует консенсус и лишь самые одиозные историки оспаривают наличие таких эпох в истории человечества. Но как только начинаются попытки концептуализации больших исторических периодов внутри самих эпох, согласие кончается и временные границы расползаются в разные стороны.

У специалистов нет и не может быть единого мнения относительно рубежей, разделяющих эти эпохи во времени. Кроме того, внутри исторических эпох и между ними существуют размытые с точки зрения временных границ зоны перехода, которые во времени могут растягиваться на несколько веков, а в пространстве как раз и создавать эффект одновременности неодновременного. Размышляя о границах между периодами, «какой историк не ломал головы над проблемой: „еще“ или „уже“?» (Баткин 1995, с. 22).

³⁰ Отклики этой концепции можно найти, в частности, в работах представителей французской школы «геоистории» — Ф. Броделя с его «Средиземноморьем», а также П. Шоню и др., изучавших историю освоения Атлантики (см. выше, раздел «История и география» в гл. 1, § 4).

На наш взгляд, различие в датировках эпох является объективно обусловленным. Совершенно очевидно, что хронологические границы между древней, средней и новой историей размыты в пределах неких переходных периодов, которые еще сохраняют черты предшествующей эпохи, но уже приобретают очертания последующей. Поэтому, с одной стороны, античники и медиевисты, как правило, продлевают «свои» эпохи «вперед», обнаруживая в последующих веках хорошо известные им черты «старого». С другой стороны, в поисках времен начала «своей» эпохи специалисты по античности, Средним векам и Новому времени отодвигают временные границы «своих» эпох «назад», находя признаки новой эпохи в недрах старой.

Например, по мнению Ж. Ле Гоффа, традиционное отнесение начала Нового времени к периоду Возрождения объясняется тем, что историки Нового времени, проникнутые идеей прогресса, изучали города, торговлю, подъем бюргерства, зарождение представительных форм правления, — словом, все те явления, в которых прорастало новое буржуазное общество. Однако специалисты по средневековой аграрной истории, труды которых стали особенно многочисленными в XX в., сконцентрировав внимание на особенностях эпохи безотносительно к индустриальному будущему, обнаружили, что дух Средних веков сохранялся в консервативных и традиционных аграрных (численно преобладающих) слоях европейского общества гораздо дольше, чем это представлялось историкам-урбанистам.

Интенсивное накопление нового исторического знания на протяжении последних полутора столетий постепенно все больше расшатывает сложившуюся схему трех исторических эпох.

Одним из ответов на этот вызов являются попытки предложить некие нетрадиционные способы временного членения истории. Например, простейшую «арифметическую» периодизацию эпох, которая грубо корреспондирует с важными поворотными пунктами истории, предложил не так давно А. Г. Франк. Он рассуждает предельно просто: «Начинаю с 1500 г. и иду вглубь от периода к периоду. Для удобства я делю историю на тысячелетия и подразделяю далее на периоды по 500 лет». Таким образом, по Франку, Новое время начинается с 1500 г., Средневековье охватывает период 500—1500 гг., античность или поздняя древность — 500 до н. э. — 500 н. э., ранняя древность — 1500 — 500 до н. э., и так далее вглубь времен. Каждую из этих датировок можно оспорить, но нельзя не согласиться с А. Г. Франком в том, что «это удобное деление» (Frank 1990, p. 164).

Другой вариант состоит в придании «промежуточным» или «переходным» периодам статуса самостоятельных. В первую очередь это относится к периоду Возрождения. Л. Баткин по этому поводу пишет: «Если „переходность“ действительно успевает составить эпоху в истории культуры, выработать неповторимый способ мировосприятия и собственную полнокровную классику, так что продуктивность, цельность и величие переходной эпохи кажутся в известном отношении недостижимыми последующим, пусть и непереходным временам, — то сумеем ли мы основательно и тонко понять такую эпоху, делая „переходность“ (в тривиальном смысле) ее ключевым определением? Если же мы прилагаем огромный исторический масштаб, интересуясь не столько тем, что собой представляет Ренессанс „изнутри“, сколько его ролью водораздела между средневековой и новоевропейской цивилизациями, то можно и Средневековье истолковать как переход от античности к Ренессансу и Новому времени. Все это равные величием эпохи и все они, в конце концов, переходные» (*Баткин* 1995, с. 33).

Но так или иначе, схема трех исторических эпох, несмотря на ее очевидные недостатки, продолжает доминировать в историографии и по сей день. Сохранение этой схемы закрепляется, в частности, институциональными механизмами, действующими в профессиональном историческом сообществе. В соответствии со схемой «Древний мир — Средние века — Новое время» делятся научные школы, кафедры, специализации, диссертации, научные журналы и т. д. На ее основе осуществляется профессиональная идентификация историков — специалистов по древней, средней и новой истории. Мог ли Келлер подумать, что он определит институциональную структуру всей исторической науки на три столетия вперед?!

§ 5. ВЕКА И СТОЛЕТИЯ

И дело тут не в метрике, столетие —

пустяк!

Столетие, столетие, столетие — пустяк...

Александр Галич. Гусарская песня

Деление истории на периоды, ее «фрагментация», являющаяся одним из непереносимых условий исторического анализа, изначально базировалась на отборе значимых событий, отделявших один период

от другого. Следующий этап развития историографии как науки был связан с представлением об «исторических эпохах», прежде всего древней, средней и новой истории, и последующей эволюцией этой концепции. Объективная потребность в еще более дробных единицах исторического времени привела к выделению соответствующих исторических периодов, характеризующихся определенной целостностью. Одним из первых и наиболее широко используемых в историографии временных отрезков такого типа является век.

В русском языке слово «век» имеет, как минимум, четыре значения. В частности, в словаре В. Даля век определяется, во-первых, как «срок жизни человека или годности предмета» (ср. у Б. Окуджавы «кавалергарда век недолог»); во-вторых, как «бытие вселенной в ее нынешнем порядке» (ср. «до скончания века»); в-третьих, как столетие, и в-четвертых, как «продолжительная пора; время чего-либо, замечательное чем-либо» (выделено нами. — *И. С., А. П.*). Заметим, что первое значение было исходным, поскольку изначально «век» в русском и других славянских языках означал силу, здоровье, жизнь (ср. «увече»).

В других языках перечисленные значения могут быть заключены как в одном слове, так и в разных. Например, в древнегреческом для обозначения «века» использовалось слово «эон» (αἰών), смысл которого постепенно менялся (мы уже упоминали об этом в гл. 1): если у Гомера оно употребляется в значении «срок жизни человека», то у Платона и в дальнейшем — в значении «бытие вселенной в ее нынешнем порядке» или «вечность», противопоставляемая земному «времени» (хроносу). Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.) называл золотой, серебряный и т. д. века словом γένος, т. е. «поколение» (например, золотой век — χρυσεόν γένος ἀνθρώπων)³¹.

В латинском языке разным значениям «века» также соответствовали разные слова, их семантика могла переосмысливаться со временем или существенно зависела от контекста. Прежде всего век обозначался словом *aevum*, которое истолковывалось как: 1) вечность (*in aevum* — на вечные времена, *omnibus aevis* — на все времена); 2) время жизни, жизнь, поколение; 3) возраст, лета, преклонный возраст, глубокая старость; 4) время, век. Близкое значение имело латинское *aetas* (производное от *aevum*) — 1) время жизни, жизнь; 2) возраст; 3) люди

³¹ Отметим попутно греческое происхождение и некоторых других слов, используемых в русском и романо-германских языках для обозначения отрезков исторического времени: «период», «стадия», «фаза», «цикл» и т. д.

определенного возраста, поколение; 4) век, время; период (*dura aetas* — жестокий век, *aurea aetas* — золотой век). От этого же корня произошло *aeternitas* — вечность, незапамятная древность (*ex aeternitate* — испокон веков). Помимо *aevum* и его производных в латыни для обозначения «века» существовало и слово *saeculum*, также имевшее несколько смыслов: 1) род, поколение, человеческий век; 2) век, времена; дух времени, нравы, обычаи; 3) век, столетие (*saecularis* — столетний, вековой; *ludi saeculares* — столетние игры, устраиваемые раз в столетие).

Использование *saecula* в значении «естественный век» или «срок жизни человека» было подробно описано римским философом и историком Цензорином в III в. н. э. Согласно Цензрину, ссылавшемуся на ряд других римских историков, в частности на Варрона, исчисление «естественного века» было принято в этрусских городах и заключалось в следующем. Первый *saeculum* отсчитывался от момента основания города до смерти последнего человека, родившегося в этом «начальном» году. Второй *saeculum* определялся как срок жизни последнего человека, родившегося в год смерти первого долгожителя, и т. д. Продолжительность *saeculum*, по Цензрину, составляла обычно от 100 до 120 лет (*Censorinus. De die natali* XVII; цит. по: Sorokin 1937—1941, v. 4, p. 475). Таким образом *saeculum* по продолжительности был близок к столетию, но не равен ему.

В современных романо-германских языках семантика слова «век» обычно реализуется в разных словах. Так, для обозначения срока жизни человека или годности предмета во французском используется слово *âge*, в английском — происходящее от него *age*, в немецком — *Alter*, и все они толкуются как «возраст, срок жизни», а также «продолжительная пора; время чего-либо, замечательное чем-либо» — например, «Средние века» (*Middle ages, Moyen âge, Mittelalter*). В английском и французском слова *age* и *âge* используются для обозначения века в смысле эпохи практически во всех случаях (золотой век — *Golden age, âge d'or*, железный век — *Iron age, âge de fer*), а в немецком языке используется также слово *Zeit* (время, например, бронзовый век — *Bronzezeit*, железный век — *Eisenzeit*) или комбинированное *Zeitalter* (время-возраст) — *Atomzeitalter* (атомный век), *Zeitalter der Technik* (век техники).

Век как столетие в романо-германских языках обычно обозначается отдельным словом. Французское «*siècle*» произошло от *saeculum*, а английское «*century*» — от латинского *centuria* (*centum* — сто; *centuria* в Древнем Риме — воинское подразделение, состоящее из 100 чело-

век, сотня). Немецкое «*Jahrhundert*» тоже буквально означает «столетие». Впрочем, слово «столетие» также может использоваться в расширительном смысле, не связанном с периодом в сто лет, особенно во французском языке, — например, *le Grand siècle* — век Людовика XIV, *depuis des siècles* — испокон веков.

В исторических работах термин «век» употребляется, как правило, лишь в двух смыслах: «продолжительная пора; время чего-либо, замечательное чем-либо» и «столетие». Первое значение имеет достаточно расплывчатый характер, и временные границы «веков» в этом случае определяются содержательными, материальными или личностными характеристиками. Во втором значении век формально определяется абсолютно фиксированным образом, но, как мы увидим далее, современное историческое сознание не принимает жесткости, заданной веком-столетием, и в Новое время хронологические границы столетий также начинают размываться.

1. «Время чего-либо, замечательное чем-либо»

В значении «относительно продолжительный период времени, характеризующийся некоторыми специфическими чертами» термин «век» обычно используется в историографии в трех типичных случаях. Во-первых, в рамках гесиодовской схемы регрессивного развития человечества (золотой, серебряный, медный и железный века). Во-вторых, в рамках схемы прогрессивного развития человечества, предложенной Лукрецием (каменный, бронзовый и железный век). В-третьих, для обозначения периода правления властителя, сближаясь в этом случае со значением «срок жизни человека».

Схема смены «веков» от золотого к железному, предложенная Гесиодом в «Работах и днях» в VIII в. до н. э., была весьма популярна в Древнем мире. В модифицированном варианте она встречается в первой части библейской «Книги пророка Даниила», относящейся к временам правления вавилонского царя Навуходоносора II (606—562 гг. до н. э.). «Настоящее», т. е. период правления Навуходоносора, в этой схеме представлено образом «золотого» царства, а будущее — последовательно сменяющимися друг друга «серебряным», «медным», «железным» и «железно-глиняным», после которого наступит шестое «каменное» царство, которое будет стоять вечно (Дан. 2:32—44).

В обеих схемах центральным является понятие «золотого века», которое имеет как абсолютное значение (счастливое, благодатное

время), так и относительное, прежде всего пропагандистское и утопическое. В первом случае золотой век рисуется как утраченный мир прошлого, во втором золотым веком объявляется настоящее.

С этой точки зрения весьма показателен опыт Римской империи. Если в работах римских философов и писателей, как правило, мы видим первую, обращенную в прошлое, концепцию «золотого века» (одним из наиболее известных примеров являются «Метаморфозы» Овидия), то римские императоры предпочитали вторую трактовку, восхваляя свое правление как время наступления «золотого века».

В III в. н. э. император, подобно Солнцу, становится источником и распределителем времени. С одной стороны, он обеспечивает вечность Риму, римскому народу, империи, простирающейся на весь «круг земель», с другой — приносит людям «золотой век». Начиная с III в. пропаганда императоров, якобы приносящих «золотой век», приняла масштабы, значительно превосходящие масштабы славословия Августу и императорам I в. Обращенные к императору речи должны были начинаться с прославления его «золотого века», и так же начинались прошения колоннов, утверждавших, что в его «век» все, кроме них, счастливы. Надписи посвящались «золотому веку» того или иного императора (см.: *Штаерман* 1987, с. 285—286).

Традиция пропаганды настоящего как «золотого века» была временно прервана в Средние века, с их господством христианской эсхатологии, но в эпоху Возрождения она снова обретает популярность. Многие итальянские гуманисты воспринимали свое время как «золотой век, который вернул свет свободным искусствам, до того почти униженным: грамматике, красноречию, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке» (*Марсилио Фичино*; цит. по: *Дружинин и др.* 1955, с. 135—136).

В современной историографии словосочетание «золотой век» употребляется довольно часто, но скорее как метафора, для обозначения субъективно определяемого периода расцвета какого-либо явления. Типичными примерами могут служить заглавия типа «Золотой век: Европа в 1598—1715 гг.» (*Ashley* 1968), «Голландская сельская экономика в золотом веке, 1500—1700» (*de Vries* 1974), «Шок богатства: интерпретация голландской культуры золотого века» (*Schama* 1987), «Золотой век капитализма» (*Marglin, Schor*, 1990) и т. д.

Словосочетание «серебряный век» семантически ассоциируется с неким «хорошим» (но не «отличным») историческим периодом.

После появления в 1873 г. романа Марка Твена и Ч. Уорнера «Позолоченный век» (*Твен, Уорнер* 1980 [1873]) это определение сразу же вошло в историческую литературу применительно к периоду 1870—1880-х годов в истории США. Подразумевалось, что, с одной стороны, это был период богатства, появления королей бизнеса, а с другой — невиданной дотоле коррупции, взяточничества, политических обманов и, как следствие подобной амальгамы золота и фальши, краха иллюзий множества простых американцев (см.: *Fine* 1956). В настоящее время это понятие так утвердилось, что в США существует даже Общество историков «позолоченного века».

Т. Карлейль в свое время изобрел понятие «бумажный век» — 1774—1789 гг. во Франции. Историк, по мнению Карлейля, может с легкостью пропустить этот период, не находя в нем ни важных событий, ни значительных дел. Большинству современников это спокойное время казалось «золотым веком», но Карлейль считал более правильным назвать его бумажным, «ведь бумага так часто заменяет золото. Когда нет золота, на ней можно печатать деньги, еще на ней можно печатать книги...» (*Карлейль* 1991 [1837], с. 26). Отсылка к книгам, конечно, не случайна; она напоминает о литературе Просвещения и во многом кажущемся спокойствии Старого режима в его последние десятилетия.

По существу все концепции «веков», идущие от гесиодовской схемы, ныне используются отдельными авторами или, в лучшем случае, небольшими группами единомышленников в основном в качестве метафоры. Достаточно вспомнить блоковский «Век девятнадцатый, железный» или «серебряный век» русской поэзии³². Подобные определения вряд могут рассматриваться как научное понятие, принятое сколько-нибудь значительной частью профессионального сообщества историков.

Совершенно иная ситуация сложилась с другой схемой «веков», предложенной Лукрецием в виде идеи прогрессивного развития человечества от каменного века через бронзовый к железному (*Тит Лукреций Кар*. О природе вещей). В отличие от гесиодовской, в его

³² Определение «серебряный век» применительно к русской поэзии начала XX в. первыми стали использовать Н. Оцуп, Н. Бердяев и С. Маковский (см.: *Крейд* 1993, с. 6). Заметим попутно, что в 1829 г. П. Вяземский написал известное стихотворение «Три века поэтов», в котором он характеризовал существовавшую тогда моду писания стихов в альбомы как «железный век» поэзии.

схеме был заложен «технологический» принцип: «века» в ней определялись как периоды использования соответствующих орудий и технологии их изготовления.

В середине XIX в. эта схема после длительного забвения была взята на вооружение К. Томсеном и Е. Ворсо в качестве основы для периодизации древнейшей истории человечества. Во второй половине XIX в. она получила дальнейшее развитие в работах Дж. Леббока и Г. де Мортилье, а затем и многих других исследователей, и в настоящее время является общепризнанной в археологии. В табл. 2.1 мы приводим соответствующие названия «веков» и периодов (эпох) в рамках этой схемы и их наиболее распространенные современные датировки.

Согласно современным представлениям, неолит оканчивается появлением первых металлов (VI тысячелетие до н. э. на Древнем Востоке и IV—V тысячелетие до н. э. в Европе). Медно-каменный век (энеолит, от *лат.* *aeneus* — медный и *греч.* *λίθος* — камень), который был введен в эту схему уже в XX в. в качестве переходного периода от каменного века к бронзовому, обычно датируется IV—III тысячелетием до н. э. Бронзовый век датируется концом III тысячелетия — началом I тысячелетия до н. э.

Периодизация, приведенная в табл. 2.1, условна. Названия эпох или периодов внутри «веков» могут различаться в отдельных археологических школах, равно как и датировка тех или иных периодов. Универсальность этой схемы в значительной мере ослабляется неравномерностью развития отдельных регионов мира. Например, так называемые ориньякская, солютрейская и мадленская эпохи верхнего палеолита прослежены только в приледниковой Европе. Древние цивилизации (Месопотамия, Египет, Греция, Индия, Китай), возникшие в медно-каменном и бронзовом веках (VII—I тысячелетие до н. э.), обычно не включаются и рассматриваются как самостоятельные объекты исследования. Соответственно, к железному веку относят только культуры первобытных племен, обитавших вне ареала древних цивилизаций. На территории Западной Европы железный век, как правило, делится на два периода — гальштатский и латенский.

Но несмотря на существующие между археологическими школами разногласия в датировках (что неудивительно) и даже названиях отдельных периодов, схема «веков» в данном случае выступает как вполне строгая и определенная, т. е. обладает признаками научной периодизации, которые отсутствуют у последователей гесиодовской схемы.

Таблица 2.1.

Схема археологических «веков»

«Века»	Периоды
Каменный век	2 млн. — 3 тыс. до н. э.
Палеолит	800—8 тыс. до н. э.
Древний (нижний, ранний)	800—100 тыс. до н. э.
Дошелльская эпоха	
Шелльская эпоха	
Ашелльская эпоха	
Средний (мустьерская эпоха)	100—40 тыс. до н. э.
Верхний (поздний)	40—8 тыс. до н. э.
Мезолит (протонеолит, эпипалеолит)	10—5 тыс. до н. э.
Неолит	8—3 тыс. до н. э.
Ориньякская эпоха	
Солютрейская эпоха	
Мадленская эпоха	
Медно-каменный век (халколит, энеолит)	4—3 тыс. до н. э.
Бронзовый век	конец 3 — нач. 1 тыс. до н. э.
Железный век	1 тыс. до н. э.
Гальштатский период	900—400 до н. э.
Латенский период	400 до н. э. — начало н. э.

Удачный опыт выделения «веков-периодов» на основании «технологического» подхода стимулировал немало попыток продлить эту схему за счет включения современности. Наиболее распространенные из этих попыток хорошо известны — достаточно вспомнить «века» пара и электричества, ядерный и космический «век» и т. д. Однако ни новая схема, ни связанная с ней терминология не утвердились в серьезных исторических исследованиях.

Еще одним (и, пожалуй, наиболее древним) способом выделения исторических периодов являются годы правления властителей. Подобный способ членения истории восходит к семейному или родовому времени, когда периоды датировались по главам рода или племени (подробнее об этом см. ниже, гл. 5, § 2).

Периоды правления считались значимыми единицами времени еще в древних цивилизациях — у ассирийцев, вавилонян, египтян и т. д. Благодаря этому сохранились до наших дней списки царей Вавилонии и Ассирии от I Вавилонской династии (династии Хамму-

рапи) до начала VII в. до н. э., списки царей Месопотамии с середины III по середину II тысячелетия до н. э., упоминавшийся в предшествующих разделах список египетских фараонов, равно как и списки римских и византийских императоров, многочисленных правителей различных стран средневековой Европы и, наконец, правителей эпохи Нового времени, вплоть до современных президентов и премьер-министров. Пожалуй, ничто так хорошо не сохранилось в истории, как имена и периоды правления властителей, поскольку именно об этом они заботились едва ли не в первую очередь.

Периоды правления давно и прочно вошли в историческую науку в качестве значимых и общепринятых единиц исторического времени. При этом следует подчеркнуть, что периоды правления (называемые, как правило, именем властителя) следует отличать от эпонимических периодов, о которых шла речь выше, в § 2. Напомним, что эпонимические периоды представляют собой календарные единицы времени с жестко заданной продолжительностью, и присваиваемое каждому периоду имя есть лишь способ различения одинаковых календарных отрезков. Периоды же правления различаются по своей продолжительности и выступают в качестве единицы исторического, а не календарного времени.

Членение истории по периодам правления является первым приближением к формированию концепции стадий исторического развития, о которой мы будем говорить более подробно в гл. 4. Здесь же отметим, что, как и любые стадии, периоды правления представляют собой членение истории по однотипному критерию и позволяют четко отделять один временной отрезок от другого. Вступление нового правителя на престол всегда рассматривалось как событие, придававшее последующей истории качественно новый характер, причем эту точку зрения разделяли не только сами властители, но и их подданные, равно как и будущие историки. В связи с этим и весь период правления превращался в качественную единицу времени.

Идентификация времени по имени правителя активно используется в исторических работах вплоть до сего дня — будь то «сталинские времена», «брежневская эпоха», «период президентства Рональда Рейгана» или «годы пребывания у власти Маргарет Тэтчер». Наконец, в некоторых случаях период правления получает наименование «век». Интересно, что этим словом определяются, как правило, не бурные, а благополучные периоды, например, «век Людовика XIV» во Франции (1643—1715), «екатерининский век» в России (1762—

1796), «викторианский век» в Англии (1837—1901). Ни Иван Грозный, ни Петр I такой чести не удостоились.

«Веками» традиционно именуют периоды правления европейских монархов, ставших символами абсолютизма, — помимо Людовика XIV к ним обычно относят Елизавету I (Тюдор) в Англии (1558—1603) и Филиппа II в Испании (1556—1598). Впрочем, периоды их царствования иногда называют не «веками», а «эпохами» (ср. «Средиземноморье в эпоху Филиппа II» — Braudel 1949). Можно упомянуть еще одного монарха, правление которого часто выделяется в качестве особого исторического периода. Речь идет об английском короле Георге III, годы правления которого (1760—1820) получили особую известность благодаря работе Арнольда Тойнби (дяди знаменитого историка цивилизаций Арнольда Тойнби), опубликованной в 1884 г. (Тойнби 1924 [1884]). В этой работе, которая в оригинале называлась «Лекции о промышленной революции в Англии», А. Тойнби-старший датировал промышленную революцию в Англии 1760—1820 годами, что соответствовало формальному периоду правления Георга III³³, которому, собственно говоря, и были посвящены лекции Тойнби.

В целом можно сказать, что «века» в качестве обозначения периодов правления, хотя и не имеют большого распространения, тем не менее являются вполне респектабельным способом периодизации истории, признаваемым профессиональным сообществом, а главное, не вызывающим (за редкими исключениями) разногласий в датировках.

Заключая обсуждение сферы применения термина «век» в значении «продолжительной поры; времени чего-либо, замечательного чем-либо» следует отметить, что эта сфера не слишком велика. Если не считать археологической схемы «веков» (которая, вообще говоря, выходит за рамки собственно истории как научной дисциплины) и некоторых периодов правления особо выдающихся монархов, в подавляющем большинстве случаев «век» в указанном смысле остается не более чем художественным образом. Впрочем, в таковом качестве он широко используется в исторических исследованиях — к вышеперечисленным примерам можно присовокупить, например, целую серию работ Э. Хобсбоума: «Век революций», «Век капитала», «Век импе-

³³ Фактически же с 1811 г., когда Георг III заболел психическим расстройством, правителем был регент принц Уэльский, ставший в 1820 г. королем Георгом IV.

рии», «Век крайностей» (Hobsbawm 1972; 1975; 1987; 1994). Две из трех частей последнего сочинения, в свою очередь, называются «Век катастроф» (1914—1950 гг.) и снова «Золотой век» (1950—1973 гг.). В заголовках исторических сочинений слово «век» фигурирует в самых разнообразных сочетаниях: от традиционных «века индустриализации» (Slotkin 1985) и «века империализма» (Headrick 1988) до «века ортодоксии» (Clouse 1980), «века рекогносцировки» (Parry 1963) и «века кризиса» (de Vries 1976).

Кстати, определение какого-то периода как «кризиса» также необычайно популярно в исторической литературе (см., например: Jacquart 1974; Petersen 1967; Stone 1965 и др.). Это приводит к забавным результатам: при сопоставлении нескольких работ с соответствующими заглавиями возникает картина своего рода «перманентного европейского кризиса» — ср., в частности, «Время реформ: кризис христианства, 1250—1550» (Chaunu 1975b), «Кризис Ренессанса, 1520—1600» (Chastel 1968), «Кризис в Европе, 1560—1660» (Ashton 1965), «Европа в кризисе, 1598—1648» (Parker 1979) и «Экономика Европы в век кризиса, 1600—1750» (de Vries 1976).

2. Века-столетия

Казалось бы, нет ничего определеннее, чем границы века в значении столетия. Однако в контексте концепции «Нового времени» определенность понятия «век-столетие» была разрушена и содержательный характер столетий стал доминировать над чисто хронологическим. Оставаясь средством демаркации, столетие все больше характеризовалось исторически независимым содержанием, обозначая дух времени (Zeitgeist). Возник своего рода детерминизм, приписывающий столетиям характер эпохи. Н. Гоголь писал вполне в духе времени: «... Хорошо рассмотреть за одним разом весь мир по столетиям. Тогда всеобщая история представит у меня великую лестницу веков. Я должен непременно показать, чем ознаменовано начало, середина и конец каждого столетия, потом дух и отличительные черты его. Чтобы лучше определить каждый век и избежать монотонности числ, я назову его именем того народа или лица, который стал в нем выше других и ярче действовал на поприще мира» (Гоголь 1978 [1835], с. 52).

Историческое сознание Нового времени определяет сущность столетия, исходя из всей совокупности его системных, геополитиче-

ских, культурных характеристик, а также руководствуясь теми событиями и личностями, которые оказались в эпицентре истории века. Века-столетие рассматривается как некая целостность, наделенная собственным смыслом, и тем самым века становятся хронологическими вехами исторического опыта, безошибочно определяя как его идентичность, так и его уникальность³⁴. «В действительности, — как писал И. Гердер, — все что изменяется имеет в себе собственную меру времени» (Herder 1955 [1799], S. 68).

Иногда портрет века — не более чем описание социально-экономических характеристик и политических событий столетия (см. например: Лависс, Рамбо 1938—1939 [1897—1903]; Mackenzie 1891; Hill 1988); в этом случае век аккуратно укладывается в свои хронологические рамки. Так, Э. Лависс и А. Рамбо без всяких преамбул начинают многотомную «Историю XIX века» с 1801 г., несмотря на очевидное уже для современников начало этой эпохи с Великой французской революции или хотя бы с консульства Наполеона (1799 г.).

Но гораздо чаще при упоминании о том или ином веке память и воображение сразу подсказывают события, катаклизмы и мифы, которые и определяют портрет века. Является ли в этом случае рубеж века больше чем разделительным знаком? Означает ли он нечто вроде нового этапа? И вообще, когда начинается и когда кончается тот или иной век?

Поскольку содержание века-столетия не подчиняется жесткой хронологии, то, как бы ни разнились оценки века, как бы велики ни были расхождения по поводу его духа, мало кто найдет начало века в первом году столетия или его конец в девяносто девятом.

Впрочем, человек всегда позволял себе вольное обращение со столетиями. Удивительно, как много информации о веке можно извлечь, к примеру, из определения столь незначительного с точки зрения всеобщей истории события, как секулярные игры, данного в «Словаре античности»: «Секулярные игры (лат. ludi saeculares), праздник, заключающий saeculum (столетний цикл) (от принятой в эти века даты основания Рима в 749 г. до н. э. — И. С., А. П.). Он проводился в 249 и 149 до н. э. как искупительный праздник, сопровождавшийся ночными жертвоприношениями силам подземного мира, и дол-

³⁴ Ныне это поветрие охватило и декады. «Gay nineties», «Depression thirties», «Swinging sixties» означают отчетливый образ жизни и характерный для него тип личности (Lowenthal 1985, p. 221).

жен был знаменовать собою конец старого, отягощенного проклятиями века. Август изменил характер праздника. Наряду с идеей искупления на первый план он выдвинул идею очищения перед началом новой счастливой эры... В 17 г. до н. э. состоялся трехдневный праздник, завершившийся играми... Позже секулярные игры устраивались императорами через произвольные промежутки времени, как торжества, знаменующие наступление счастливого века» (Ирмшер, Йоне 1989 [1987], с. 515—516). Мы видим здесь целый набор манипуляций с временем. Во-первых — значимость события (основание Рима), во-вторых — особая важность столетий для демаркации этого события, в-третьих — использование традиционных дат в целях текущей политики, вследствие чего акцент был перенесен на начало «счастливой эры», связанной, конечно, с правлением того или иного императора, и, наконец, пренебрежение «круглой» датой в интересах текущей политики.

Известно определение Ф. Броделя «долгий XVI век», который, по его мнению, завершился в 1650 г. (Бродель 1986—1992 [1979], т. 3, с. 74). Позднее это клише было использовано Дж. Арриги, назвавшим свою работу «Долгий XX век» (Arrighi 1994). Наиболее развернутую хронологию веков предложил Дж. Лукач (хотя само выражение «хронология веков» достаточно парадоксально): XX в., по его мнению и вопреки метафоре Арриги, был коротким, он продолжался 75 лет (с 1914 по 1989 г.); XIX столетие длилось 99 лет (с 1815 по 1914 г.); XVIII в. был еще длиннее — 126 лет — начиная с войны Франции и Англии (война с Аугсбургской лигой) до Ватерлоо (1689—1815 гг.); XVII в. продолжался 101 год — от уничтожения испанской Армады в 1588 г. до 1689 г., Славной революции в Англии (Lukacs 1994, p. 11). Вехи, разделяющие века, у Лукача связаны почти исключительно с войнами (всего одна революция).

С особой четкостью идея о несовпадении содержательных границ веков с хронологическими рамками была выражена Анной Ахматовой: «XX век начался осенью 1914 года, вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют» (Ахматова 1990 [1965], с. 278).

Первое содержательное столетие «Нового времени» — XVI в. — это, несомненно, «век Реформации». За ним следует относительно «безликий» XVII в., который иногда называют «веком науки». Далее наступает «век Просвещения» (Enlightenment, siècle des Lumières, Zeit

der Aufklärung). Он существовал уже в понятиях современников — термин «Просвещение» встречается у Вольтера, И. Гердера и др. и окончательно утверждается с выходом статьи И. Канта «Что такое Просвещение?» (1784).

XIX в. вошел в историю как «век революций». «Девятнадцатый век был революционным по сути, — писал Ортега-и-Гассет. — И суть не в живописности его баррикад — это всего лишь декорация, — а в том, что он поместил огромную массу общества в жизненные условия, прямо противоположные всему, с чем средний человек свыкся ранее. Короче, век перелицевал общественную жизнь. Революция — не покушение на порядок, но внедрение нового порядка, дискредитирующего привычный» (Ортега-и-Гассет 1991 [1930], с. 318).

В статье Г. Плеханова «На пороге XX века» череда веков описывалась с точки зрения революционной борьбы. «Подобно тому, — писал он, — как XVI, XVII и XVIII столетия озаглаивались освободительным движением буржуазии, XIX век был веком освободительного движения рабочего класса. В этом заключается главнейшая отличительная черта его культурной истории и драгоценнейшее наследие, переданное им XX веку» (Плеханов 1924 [1902], с. 63—64).

Но на самом деле XIX в. был веком реформ в не меньшей степени, чем революций (здесь уместно назвать таких крупнейших исторических деятелей, как К. фон Меттерних, Александр II и О. фон Бисмарк). К концу XIX в. идеалы революционного и реформистского пути развития приобрели почти законченный облик, за каждым стояли определенные социальные силы, социальные ожидания и политическая стратегия. Но до сих пор, даже когда имеются в виду реформы или изменения, нередко предпочитают говорить о революции. «Веку после гражданской войны (в США. — И. С., А. П.), — пишет Д. Бурстин, — суждено было стать революционной Эпохой — эпохой бесчисленных, едва заметных революций, которые совершались не в залах законодательных собраний и не на полях сражений или баррикадах, но в домах, на фермах и фабриках, в школах и магазинах, на земле и в воздухе, — столь мало заметных, потому что они происходили слишком стремительно, потому что они затрагивали американцев повсеместно и ежедневно. Не только вся страна, но и сама общественная практика американцев, самый смысл человеческого сообщества, времени и пространства, настоящего и будущего вновь и вновь подвергались изменениям; американцы, где бы они ни жили,

открывали для себя новое, демократическое общество» (Бурстин 1993 [1958—1973], т. 3, с. 8).

Вошедший в исторические штудии прежде всего как революционный, мир XIX в. в действительности представлял собой смесь огромного множества самых разнородных явлений. Нам кажется, что с точки зрения главенствующей мировой тенденции это был век индустриализации, век национализма, век европейской культуры. Несмотря на кровопролитные войны и непрерывные революции, XIX в. был веком оптимизма: господствовало убеждение в том, что развитие науки победит болезни и нищету, а политический процесс приведет к распространению демократии (Fukuyama 1992, p. 4), короче говоря, господствовала вера в прогресс. Именно уверенность в прогрессивности хода истории, при всех зигзагах и отклонениях, в течение долгого времени придавала смысл происходящему, помогала человеку существовать в неконтролируемом многообразии социальных и политических конфликтов. «XIX в. был свидетелем беспрецедентно быстрого развития, т. к. именно в этом веке были опрокинуты все барьеры, препятствовавшие прогрессу», — писал английский историк Маккензи (Mackenzie 1891, p. 459—460)³⁵.

XX в., пришедший на смену XIX в., разительно от него отличался и по своему духу, и по напряжению ключевых событий.

Одной из центральных характеристик нашего столетия стало явление, которое можно обозначить как массовизацию. «Веком масс» называли уже XIX в., в котором массы впервые стали постоянным действующим лицом политической истории и начали бороться за расширение своих прав. Но отличительной чертой нашего столетия стала широкомасштабная манипуляция массами, формирование общественного мнения, создание массовой культуры и стиля жизни. Разрушительная способность этих характеристик с особенной отчетливостью проявилась в тоталитарных движениях и тоталитарных государствах, но она отнюдь не является только их специфической принадлежностью. По аналогии с поп-артом, который тоже явился порождением этого века, XX в. можно назвать поп-веком.

³⁵ Среди тех немногих, кто пессимистически смотрел в будущее, можно назвать французского историка А. Дебидура. «Весьма печально, — писал он в 1893 г., — когда приходится констатировать, что на закате века, в котором столько говорилось о праве, справедливости и братстве, у так называемых цивилизованных государств не существует еще иных правил поведения, кроме грубого эгоизма, и что право сильного, видимо, остается первым и последним словом европейской политики» (Дебидур 1947 [1893], с. 525).

Именно вследствие массовизации политических и идеологических процессов, XX в., приняв наследство от XIX в. — века революций, вошел в историю как век широкомасштабных социальных экспериментов. Бесспорно, XX в. справедливо назвать веком конфронтации классов и социальных систем.

Конечно, XX в. был и веком мировых войн. (Само понятие «мировая война» впервые появилось в 1915 г. в американском обиходе, когда американцы поняли, что им придется вступить в войну.) В текущем столетии завершился процесс глобализации. Параллельно произошел распад колониальной системы.

Согласно другому заключению, также распространенному в кругах ученых, сущность XX в. определяло противостояние демократии и тоталитаризма — главное противоречие эпохи. После окончания первой мировой войны Европу потряс продолжительный кризис демократии. Обусловленный тяжелейшими последствиями войны, а также нерешенностью многих жизненно важных экономических, социальных, политических и национальных проблем, он привел к тому, что более чем в половине европейских стран рухнули демократические устои, а взамен были установлены различные формы «сильной власти» в виде авторитарных и даже тоталитарных режимов.

XX в. был веком фетишизации техники и в то же время он стал веком, когда впервые в эпоху Нового времени возникли сомнения в исключительно созидательной силе человеческого разума и оптимальности рационального метода в познании мира. И, наконец, XX в. — это век психологизации, саморефлексии, век пессимизма, сменивший оптимистический XIX в.

XX в. был коротким веком, и нам представляется равно убедительными спрессованное в нескольких строках интуитивное ощущение А. Ахматовой, возникшее в середине нашего столетия, и умозаключения Дж. Лукача или Э. Хобсбаума, обоснованные в увесистых фолиантах, изданных на исходе века (Lukacs 1994; Hobsbawm 1994). Наше столетие началось в 1914 г. и окончилось приблизительно к 1990-м годам распадом социалистической системы.

В определении содержательных рубежей столетий огромную роль играет также геополитика. В историко-политической литературе XX в. сложилось вполне отчетливое представление о том, что «каждый век, как будто бы следуя закону природы, выдвигает одну стра-ну, которая располагает силой, волей, интересами и моральным зарядом для того, чтобы формировать миросистему согласно своим

представлениям» (Kissinger 1992, p. 12). В концептуальной форме идея гегемонии (экономической или военной) того или иного государства в определенный век наиболее последовательно развита в работах И. Уоллерстайна (Wallerstein 1974—1989) и представителей его школы. Однако несмотря на очевидность самого факта гегемонии, нам неизвестно, чтобы какой-либо из предыдущих веков называли «век Португалии», «век Испании», «век Франции» или «век Британии». (Отчасти это, конечно, объясняется незавершенностью процесса глобализации, большей национальной обособленностью и «национальной гордостью» государств, не являвшихся лидерами, что, возможно, не позволяло мыслить в таких категориях.) Но в целом, как ни грустно, приходится признать, что концепция гегемонии, предложенная в XX в., отражает скорее иерархию ценностей нашего столетия. В первую половину эпохи Нового времени европейцы больше ценили культурно-духовные характеристики (Возрождение, Реформация, Просвещение).

Если XIX в. называли европейским веком, то в XX в., после второй мировой войны, распространяется определение «американский век». Признание лидерства США объяснялось их подавляющим превосходством в мире после второй мировой войны, когда Европа и Япония лежали в руинах. К этому необходимо добавить, что США сделали огромный рывок в экономическом развитии во время самой войны. Но XX в. называют «американским веком» не только вследствие экономической и военной мощи Соединенных Штатов. Все «американское» во второй половине нашего столетия завоевало в мире высокий престиж. Следует учесть и роль средств массовой информации, способствовавших распространению и внедрению американских ценностей, американской культуры, американского стиля жизни. Не следует забывать также о том, что с 1930-х годов США становятся центром мировой науки.

В то же время правомерность определения XX в. как американского далеко не бесспорна. В литературе достаточно распространено убеждение, что судьба XX в. целиком определялась двумя мировыми войнами, и все другие «великие» события: Октябрьская революция в России, приход Гитлера к власти, образование коммунистического лагеря, раскол Европы и Германии, — лишь производные от мировых войн, их последствия. Не менее весом и аргумент в пользу того, что содержание XX в. определила конфронтация двух систем.

Однако сама дискуссия относительно судеб и перспектив «американского века» представляет определенный интерес. Еще в 1975 г. Д. Белл в известной статье «Конец американской исключительности» сетовал, что американцы более не верят в то, что их страна наделена уникальной моральной ролью в мировых делах. «Ослабление мощи и потеря веры в будущее нации, — писал Белл, — превратили США в такое же государство, как все другие страны» (Bell 1975, p. 193). В 1980-е годы появилась целая серия работ, в которых обосновывался тезис об относительном упадке влияния США на мировой арене как экономической, политической и военной сверхдержавы в пользу других стран и регионов, прежде всего Западной Европы и Японии (работы Р. Мида, П. Кеннеди, К. Престовица и др.).

Так, рассматривая Японию как наиболее вероятную соперницу США в борьбе за статус «державы № 1», К. Престовиц утверждал: «Американскому веку пришел конец. Самым крупным событием конца столетия является восхождение Японии в качестве великой супердержавы». Однако по мнению цитирующего это высказывание американского политолога С. Хантингтона, анализ реального положения вещей скорее подтверждает позицию не американца К. Престовица, а японца С. Сато, который писал: «Двадцатый век был американским веком. Двадцать первый век тоже будет американским веком... Если следующий век не американский век, то более всего вероятно, что он будет европейским веком» (цит. по: Huntington 1988, p. 92—93).

Нам представляется, что в споре об американском веке более прав К. Гаджиев, который переводит дискуссию в иную плоскость. Он считает, что в сущности ни XX в. в целом, ни даже его вторая половина не были американским веком. Если говорить о Pax Americana как о сколько-нибудь реальном феномене, то его можно применить лишь к сравнительно короткому периоду (охватывающему примерно полтора десятилетия после второй мировой войны) и сравнительно небольшому числу государств (определяемых довольно расплывчатым понятием «свободный мир»). Очевидно, что Pax Americana по меньшей мере разделял пространство и власть с Pax Sovietica (Гаджиев 1993, с. 49), а соответственно и «американский век» разделял время и влияние с «советским веком». Для того чтобы объяснить, почему клише «советский век» не пришло даже на пространствах Pax Sovietica, можно напомнить, что, насколько мы можем судить, назва-

ние века (в разных его смыслах) никогда не фиксировало негативный исторический опыт.

Наконец, нельзя умолчать и о том, как определяется XXI в., на пороге которого находится человечество. Надо сказать, что этот рубеж уже давно привлекает к себе взоры всевозможных мыслителей. Среди утопий Нового времени XXI в. пользуется наибольшим успехом. Мистика начала и конца столетия, а в данном случае речь ведь идет одновременно и о тысячелетии, издавна стимулировала прогнозистическую мысль. Например в 1790 г. Н. Ретиф де Ла Бретон написал героическую комедию «Год 2000-й», в 1888 г. Э. Беллами — «В 2000 году».

Этот список был существенно дополнен в 1970-е годы, во времена обольщения возможностями научной футурологии. К этому времени относятся знаменитый прогноз Г. Кана и другие попытки научного моделирования. В 1972 г. Японское агентство по использованию компьютеров представило правительству доклад «План создания информационного общества: Национальная цель к 2000-му году». Автором плана, принятого Японией, был Й. Масуда, ведущий специалист в области компьютеров, который определил наше время как наступление «компутопии» (Rifkin 1987, p. 152; не путать с комутопией!).

В последнюю декаду нашего столетия, когда рубеж тысячелетий так близок, что речь уже идет не столько о прогнозах и пророчествах (хотя в последних недостатка нет), сколько о социально-политическом анализе определившихся тенденций, литература о XXI в. пополняется работами таких аналитиков, как, например, З. Бжезинский или Р. Хайлбронер (Brzezinski 1993; Heilbroner 1994).

В 1958 г. французский философ Р. Арон заметил, что «все мы слишком захвачены XX веком, чтобы терять время, размышляя о XXI. Долгосрочные исторические предсказания вышли из моды» (цит. по: Bell 1965, p. 119). Это высказывание вполне соответствовало духу середины столетия. Однако интеллектуалов второй половины XX в. уже поджидала хорошо известная болезнь Нового времени: *fin de siècle*.

Понятие *fin de siècle* впервые возникло в Париже в конце XIX в. применительно к искусству, осмысливающему жизнь в контексте кризиса. В оксфордском словаре английского языка *fin de siècle* означает «1890-е годы». Применительно к Франции оно используется также в значении «характерный для конца XIX в. — прогрессив-

ный, модернистский, также декадентский» (цит. по: Lukacs 1994, S. 335). Но само явление, им называемое, задним числом было обнаружено и на предыдущих рубежах веков Нового времени, и за рубежами Франции. Сейчас существует точка зрения, что 1790-е годы также дали искусство *fin de siècle*. Как замечает английский социолог Б. Тернер, нечто подобное наблюдалось и еще столетием раньше, и в подтверждение он указывает на культуру барокко эпохи кризиса абсолютизма (в Испании, Франции, Германии, центральной и южной Европе). Менталитет барокко воспринимал мир как сконструированную внешнюю среду и, соответственно, увлекался временем, смертью, руинами, упадком (Maravall 1986). Его характерными типажам и темами были Гамлет, «Анатомия меланхолии» Роберта Бертона, сюжеты Веласкеса и лейбницевская «Монадология» (Тернер 1994 [1993], с. 160).

А. Шлезингер-мл. идет еще дальше, утверждая, что убеждение в испорченности человека, в ужасающей непрочности человеческого бытия, которым пропитано кальвинистское учение, хотя и звучит мелодраматично для живущих в XX в., но, «возможно, мы, современные люди, можем легче воспринять это как метафорическое изложение того, что сторонники идеи умершего Бога называют экзистенциальным кризисом» (Шлезингер 1992 [1986], с. 16).

Однако, как бы далеко в прошлое ни заходили ученые в поисках аналогий, кризисное сознание, характерное для XIX в., имеет совершенно специфические приметы. Кажется более перспективным (или актуальным?) рассматривать тенденции, направленные от него в будущее — в XX и XXI вв. Первым наиболее ярким его выразителем был С. Кьеркегор, а в полную силу оно проявилось на рубеже прошлого и нынешнего веков в интеллектуальных кругах Вены, Берлина и Парижа. Философия конца XIX — начала XX в. (А. Шопенгауэр, О. Шпенглер, Ф. Ницше, К. Ясперс, П. Тиллих, Н. Бердяев и многие другие) сумела предвосхитить тревогу, страх и непрерывающееся ощущение конца, которыми ознаменовался в последующем наш век.

Уникальным центром в географическом пространстве кризисного сознания стала Вена (см.: Schorske 1992 [1961]). Как пишет П. Гай в своем известном исследовании о Веймарской культуре, «австрийцы — поэты, романисты, психологи, культурологи — заражали публику своей поглощенностью декадансом и стремлением сладить с эросом: Зигмунд Фрейд, Хуго фон Гофмансталь, Карл Краус и Артур Шницлер имели в Берлине, Мюнхене и Франкфурте не меньше читателей, чем в Вене, а может быть, и больше» (Gay 1981, p. 7). Мыслители

ли, публицисты и художники столицы Австро-Венгрии (Витгенштейн, Малер, Музиль, Фрейд, Климт) в острой и эпатажной форме поставили проблемы наступающего XX в.: «анализ бессознательного и роль иррационального в коллективной жизни, подъем национализма как основа политического самосознания, представление о реальности как результате непосредственного влияния особых грамматических структур» и радикальное восстановление общины (Тернер 1994 [1993], с. 158). Австрийская культура выступила как «осознание сомнительности цивилизаторской роли закона как чего-то окультирующего, цивилизующего, преобразующего стихии человеческой органики или человеческого естества» (Мамардашвили 1992, с. 402).

Искусство *fin de siècle* XIX в. не было адресовано массам, оно было подчеркнуто неоаристократическим, богемно-элитарным, антибуржуазным, и «венские» настроения оставались в целом чуждыми духу XIX в., который, как мы уже писали, был веком оптимизма. До начала первой мировой войны европейский мир игнорировал, а может быть, и вовсе не слышал тревожные голоса австрийской культурной элиты. Как вспоминал С. Франк, в довоенные годы, «в столь недавнее и столь далекое уже от нас время, которое кажется теперь каким-то невозвратным золотым веком (! — И. С., А. П.), все мы верили в „культуру“ и в культурное развитие человечества» (Франк 1924, с. 35).

Первая мировая война и революционный шквал начала XX в. не оставили и следа от былого оптимизма. Английский историк Г. Фишер писал в 1934 г.: «Люди более умные и ученые, чем я, обнаруживали в истории замысел, ритм, predetermined образец. Эта гармония скрыта от меня. Я вижу лишь бедствия, следующие одно за другим, как волна следует за волной» (цит. по: Ekssteins 1989, p. 291).

Начиналось одно из самых трагических разочарований Нового времени — утрата веры в исторический прогресс. К концу XX в. оно приобрело характер очередной эпидемии *fin de siècle*. Это разочарование означает гораздо больше, чем потерю еще одной надежды. Оно означает, что потенциально каждый отдельный индивид может оказаться лицом к лицу с миром, все более непредсказуемым в своей сложности, без ориентира, без понимания связи происходящего с будущим. Исподволь на фоне нарастающего психологического дискомфорта, осязаемого, конечно, далеко не всеми, рождается предвкусение конца всей эпохи Нового времени. «Новые времена, — писал французский социолог А. Горц, — подошли к своему концу: в тече-

ние... столетий Запад жил в уверенности, что завтра будет лучше, чем сегодня... и будущее заслуживает того, чтобы во имя его пожертвовать настоящим, так как наука и техника своим развитием обещают свободу и изобилие. Эта вера мертва. Будущее не обещает нам ничего» (Bosquet [псевдоним А. Горца] 1978, p. 30).

Fin de siècle XX в. имеет более широкое распространение и резонанс, чем *fin de siècle* XIX. Когда искусство и наука прошлого рубежа веков вынесли приговор рациональности и культуре и предупреждали о грядущих потрясениях, Европа их не услышала. В результате историческое время мыслителей, публицистов и художников Вены растянулось почти на весь XX в., о чем свидетельствует и их непроходящая популярность. Расчленение целостного сознания, возникновение и распространение самых причудливых идей, течений, школ в искусстве, ставших известными под собирательным названием «дегуманизация искусства», изменение привычных форм жизни, потеря устойчивости оказались и причиной, и следствием мировых катаклизмов XX в.

На исходе XX в. мысль о том, что «катастрофические явления глобального масштаба не есть результат отклонения, но фактически являются самой заурядной практической иллюстрацией инструментальной рациональности» (Bauman 1989), многими воспринимается как новая, но она не нова. Просто в «век массовизации» она стала достоянием массового сознания. Новое в значении *fin de siècle* сегодня состоит в том, что некоторые крупнейшие мыслители современности достигли предела в противопоставлении индустриального и постиндустриального общества. Они видят в происходящих сегодня переменах не более не менее как второй великий перелом в истории человечества, сравнимый по масштабам только с первым — переходом от варварства к цивилизации. Соответствующие высказывания, сформулированные крупнейшими мыслителями (в их числе Л. Мамфорд, Ю. Галтунг, Т. Розак, К. Керам), выразительны и категоричны. В этой атмосфере бестселлерами становятся книги, озаглавленные «Конец идеологии» (Bell 1960), «Конец истории» (Fukuyama 1992), «Конец природы» (McKibben 1989). Дж. Лукач пишет, что, точно так же, как и Средние века, наша эпоха проходит постепенно. «Нет такого события или скопления событий, которые точно обозначали бы конец нашего времени, потому что историческая эпоха не исчезает полностью. Эпоха начинает подходить к своему концу раньше и длится дольше, чем может показать какой-либо разделительный знак...» (Lukacs 1994, p. 337—338).

Подобные оценки рожают соблазн назвать переживаемое время осевым временем (в том смысле, который заложен Ясперсом), временем смены самих цивилизационных основ жизнеустройства европоцентристского мира.

Но и это еще не все. XX в. известен и как век антиутопий, суливших человечеству в третьем тысячелетии весьма мрачное будущее. Однако здесь начинается другой сюжет, и мы обратимся к нему в следующей главе. А неожиданно возродившуюся в рациональном европейском сознании тему миллениаризма, видимо, следует ограничить констатацией того, что рубеж тысячелетий уже прочно связывается с концом большой исторической эпохи — Нового времени, модерна, индустриализма.

ПРИЛОЖЕНИЕ. «ИГРА В ЦИФИРИ»

Взрослые очень любят цифры.

*А. де Сент-Экзюпери.
Маленький принц*

Завершая эту главу, приведем результаты небольшого библиографического исследования, позволяющие проиллюстрировать предшествующий анализ проблем периодизации истории.

С этой целью была взята выборка монографий, посвященных истории Нового времени, в названии которых фигурируют датировки рассматриваемого в данной монографии периода (не использовались работы, в которых в качестве периода исследования фигурируют столетия без указания лет). В наш список включены исследования, которые охватывают периоды, заканчивающиеся не ранее начала XV в. и начинающиеся не позднее конца XIX в. Иными словами, в него не входят работы, посвященные только Средним векам или только новейшей истории XX в. Всего таким образом было отобрано 288 работ.

В некотором смысле эта выборка является случайной, поскольку мы использовали списки литературы из нескольких книг, которые оказались у нас под рукой. Впрочем, наше небольшое исследование не претендует на абсолютную научную строгость, и по ряду параметров эта выборка безусловно является смещенной — например, в ней доминирует англоязычная литература (список использованных работ см. в конце данного Приложения).

В отобранных монографиях встречается 553 даты (в некоторых работах период обозначается только с одной стороны — «от древности до такого-то года» или «от такого-то года до наших дней»). Из этих 553 дат было отброшено 25, относящихся к периоду до 1420 г., и 28 дат, относящихся к периоду после 1919 г. Для наглядности *размеры* выборки были подобраны таким образом, чтобы она включала ровно 500 дат, относящихся к 500-летнему периоду 1420—1919 гг. На основании этой выборки можно попытаться определить, какие даты историки используют в качестве хронологических границ исторических периодов.

Распределение датировок по периодам не вполне равномерно — наименьшее число наблюдений приходится на столетие 1420—1519 гг. (60 наблюдений, или 12% выборки), и с каждым следующим столетием число наблюдений возрастает, достигая 137 (27,4% выборки) для столетия 1820—1919 гг. (см. табл. П.2.1). Это смещение в распределении по столетиям частично может объясняться характером выборки, но, на наш взгляд, оно скорее отражает реальную ситуацию, сложившуюся в историографии. По мере удаления в прошлое количество точных датировок сокращается и от десятилетий историки постепенно переходят к векам, а затем — к тысячелетиям. Впрочем, наблюдаемое смещение в распределении наблюдений по столетиям практически не выходит за границы статистической достоверности (см. табл. П.2.1).

Внешне историческое время «заполнено» достаточно плотно, о чем свидетельствует значительное количество дат, фигурирующих в выборке. Ясно, что если бы историческое время было «заполнено» целиком, то количество «значимых» (упоминаемых в выборке) дат должно было бы равняться числу лет в рассматриваемом периоде, т. е. 500. На самом деле в нашем списке фигурирует 118 дат, но и этот показатель достаточно высок — он означает, что в среднем каждый четвертый год является «значимым» для историков (см. табл. П.2.1). Даже если отбросить даты, упоминаемые по одному разу (поскольку такие единичные случаи могут быть обусловлены специфичной темой исследования или наличием исходного фактографического материала), то окажется, что «значимыми» на рассматриваемом нами 500-летнем периоде являются 63 даты, т. е. формально в среднем не реже, чем раз в восемь лет происходит событие, привлекающее внимание историков.

Таблица П.2.1.
Характеристики выборки

Период	Объем выборки	%	Количество упоминаемых дат	В том числе	
				1 раз	2 и более
1420—1519	60	12,0	15	6	9
1520—1619	71	14,2	24	13	11
1620—1719	108	21,6	26	14	12
1720—1819	124	24,8	27	12	15
1820—1919	137	27,4	26	9	16
Всего	500	100,0	118	54	63
Средняя	100,0		23,6		12,6
Среднекв. отклонение	33,4		4,9		2,9
Довер. min	66,6		18,7		9,7
Довер. max	133,4		28,5		15,5

Однако при более детальном рассмотрении сразу обращает на себя внимание обилие датировок, кратных 10 годам. Количество таких датировок, приходящихся на «круглые» даты, приведено в табл. П.2.2. На первом месте по частоте использования идут, естественно, целые столетия (21,2% всех наблюдений), на втором — середины столетий, т. е. даты, оканчивающиеся на 50 (13,4% всех наблюдений). На прочие даты, кратные 10, приходится 28,2% наблюдений. В результате оказывается, что «круглые» даты составляют 62,8% нашей выборки, т. е. почти $\frac{2}{3}$ всех наблюдений!

Конечно, в отдельных случаях использование дат, кратных 10, может определяться и некими содержательными соображениями — на ту или иную «круглую» дату может приходиться некоторое событие, которое служит историографическим водоразделом, отделяющим один период от другого. Чтобы учесть этот фактор, мы оценили среднюю частоту использования каждого целого десятилетия и определили верхние и нижние границы доверительного интервала (равные средней \pm среднеквадратичное отклонение). После этого были определены частоты, превышающие эти статистические границы более чем на 15% (в табл. П.2.2 соответствующие годы выделены полужирным шрифтом). В частности, существенно превышает среднюю частота упоминания 1660, 1790, 1830, 1870 гг.; в свою очередь частота упоминания 1900 г. существенно меньше средней (к этим «отклонениям» мы вернемся чуть ниже).

Таблица П.2.2.
«Круглые» датировки

Период	Количество датировок, оканчивающихся на										Всего	% вы- борки
	20	30	40	50	60	70	80	90	00	10		
	20	30	40	50	60	70	80	90	00	10		
1420—1519	4	0	0	7	3	1	2	0	27	0	44	73,3
1520—1619	2	0	5	5	4	1	6	0	20	1	44	62,0
1620—1719	8	2	4	12	17	3	4	0	24	0	74	68,5
1720—1819	3	2	2	22	5	2	7	4	31	0	78	62,9
1820—1919	6	7	1	21	9	19	6	1	4	0	74	54,0
Всего	23	11	12	67	38	26	25	5	106	1	314	62,8
% выборки	4,6	2,2	2,4	13,4	7,6	5,2	5,0	1,0	21,2	0,2	62,8	
Средняя	4,6	2,2	2,4	13,4	7,6	5,2	5,0	1,0	21,2	0,2	62,8	
Среднекв. отклонение	2,4	2,9	2,1	7,8	5,7	7,8	2,0	1,7	10,4	0,4	17,2	
Довер. min	2,2	-0,7	0,3	5,6	1,9	-2,6	3,0	-0,7	10,8	-0,2	45,6	
Довер. max	7,0	5,1	4,5	21,2	13,3	13,0	7,0	2,7	31,6	0,6	80,0	

Переходя к анализу содержательных событий, используемых для демаркации и членения исторического времени, сразу можно заметить, что их набор невелик и сводится к нескольким основным типам.

В пределах столетия 1420—1519 гг. исторически значимым считается, судя по нашей выборке, период 1492—1495 гг. (9 наблюдений). На этот период, помимо открытия Америки Колумбом, приходится завершение Реконкисты в Испании, падение дома Медичи и начало Итальянских войн. Следующей «значимой» датой является 1517 г., который традиционно считается исходным пунктом Реформации (3 наблюдения). В целом для периода 1420—1519 гг. «круглые» даты и датировки, относящиеся к 1492—1495 гг. и к 1517 г., составляют 93,3% всех наблюдений (56 из 60).

В период 1520—1619 гг. значимыми являются 1558—1559 и 1603 гг., связанные с правлением Елизаветы I Тюдор (1558—1603) (9 датировок), а также 1598 г. — окончание правления Филиппа II (1556—1598) и издания Генрихом IV Нантского эдикта, ознаменовавшего прекращение религиозных войн во Франции (эта дата упоминается 5 раз). Вместе с «круглыми» упомянутые даты составляют 81,7% датировок (58 из 71), относящихся к 1520—1619 гг.

В период 1620—1719 гг. «значимыми» являются 1648—1649 гг., связанные с окончанием Тридцатилетней войны и Английской революцией (8 наблюдений), 1688—1689 гг. — Славная революция в Англии и начало войны между Францией и Аугсбургской лигой (8 наблюдений), а также 1715 г. — окончание правления Людовика XIV (1643—1715) (5 наблюдений). Можно отметить также «избыточную» частоту упоминания 1660 г., на который приходится начало Реставрации Стюартов в Англии. Перечисленные «значимые» даты вместе с «круглыми» составляют 88,0% датировок (95 из 108), относящихся к 1620—1719 гг.

В период 1720—1819 гг. «значимыми» являются 1775—1776 гг. — начало Американской революции и провозглашение Декларации Независимости (4 наблюдения), 1789 г. — начало Французской революции (11 наблюдений), а также 1815—1816 гг., связанные с завершением Наполеоновских войн и подписанием Венского мира (17 датировок). Превышающая среднюю частота упоминания «круглого» 1790 г. также объясняется его привязкой к Французской революции. В совокупности с «круглыми» упомянутые «значимые» да-

тировки составляют 88,7% датировок (110 из 124), относящихся к 1720—1819 гг.

Наконец, в период 1820—1919 гг. «значимыми» являются революционный 1848 г. (5 наблюдений), 1861 и 1865 гг. — начало и окончание Гражданской войны в США (5 наблюдений), 1871 г., связанной с Франко-Прусской войной, Парижской коммуной и образованием Германской империи (4 наблюдения) и, естественно, 1913—1918 гг. — период от кануна до окончания первой мировой войны, на который приходятся также революции в России и других странах (37 наблюдений). «Значимыми» являются также еще один «революционный» год — 1830 — и связанный с упомянутыми выше событиями 1870 г., что отражается в более высокой частоте упоминания этих «круглых» дат. Наконец, следует отметить необычайно низкую для своего «класса» частоту упоминания 1900 г. Первая мировая война оценивается как столь значимое событие, что «перетягивает» на себя часть «законных» упоминаний начала ближайшего столетия. Вместе «значимые» и «круглые» датировки составляют 91,2% датировок (125 из 137), относящихся к 1820—1919 гг.

Суммируя, мы получаем, что для периодизации Нового времени, наступление которого связывается с датами открытия Америки или начала Реформации, историки оперируют весьма ограниченным набором содержательных событий, состоящим из дат правления нескольких монархов, полудюжины войн и десятка революций. Вкупе с «круглыми» датами эти события, судя по нашей выборке, используются для периодизации почти в 90% случаев (444 из 500). Конечно, этот результат является не более чем иллюстрацией к анализу, проведенному в предшествующих разделах данной главы, но даже с учетом возможных смещений он представляется достаточно выразительным.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Albrecht-Carrié R.** Europe, 1500—1848. Totowa (NJ): Littlefield & Adams, 1973.
- Allen J. W.** English Political Thought, 1603 to 1660. V. 1. L.: Methuen, 1938.
- Anderson M. S.** Europe in the Eighteenth Century, 1713—1789. L.: Longman, 1976.
- Angermeier H.** Die Reichsreform, 1410—1555: Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart. München: Beck, 1984.
- Aptheker H.** Negro Slave Revolts in the United States, 1526—1860. N.Y.: International Publishers, 1939.
- Armstrong W. H. G.** Heavens Below: Utopian Experiments in England, 1560—1960. L.: Routledge & Kegan Paul, 1961.
- Ashley M.** The Golden Century: Europe, 1598—1715. N.Y.: Praeger, 1968.
- Ashton T. S.** The Industrial Revolution, 1760—1830. L.: Oxford Univ. Press, 1948.
- Ashton T. S.** Economic Fluctuations in England, 1700—1800. Oxford: Clarendon Press, 1959.
- Ashton T. (ed.).** Crisis in Europe, 1560—1660. N.Y.: Basic Books, 1965.
- Ashworth W.** An Economic History of England, 1870—1939. L.: Methuen; N.Y.: Barnes & Noble, 1960.
- Ashworth W.** A Short History of the International Economy since 1850. L.: Longman & Green, 1952.
- Attman A.** The Bullion Flow between the Europe and the East, 1000—1750. Göteborg: Kungl. vet.- och vitterhets — samhället, 1981.
- Attman A.** American Billion in the European World Trade, 1600—1800. Göteborg: n. s., 1986.
- Avenel G. d'** Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général, depuis 1200 jusqu'à l'an 1800. En 7 vol. P.: Leroux, 1894—1926.
- Bachrel R.** Une croissance: La Basse-Provence rurale (fin du XVI^e siècle — 1789). En 2 vol. P.: SEVPEN, 1961.
- Bagwell P. S.** The Transport Revolution from 1770. L.: Battersford, 1974.
- Ball J. N.** Merchants and Merchandise: The Expansion of Trade in Europe, 1500—1630. N.Y.: Croom Helm, 1977.

- Ball B. W.** A Great Expectations: Eschatological Thought in English Protestantism to 1660. Leiden: Brill, 1975.
- Baxter D.** Servants of the Sword: French Intendants of the Army, 1630—1670. Urbana (Ill.): Univ. of Illinois Press, 1976.
- Beeson C. F. C.** English Church Clocks, 1280—1850: History and Classification. L.: Antiquarian Horological Society, 1971.
- Berend I. T. and Ranki G.** The European Periphery and Industrialization, 1780—1914. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982.
- Bidwell P. W. and Falconer J. I.** History of Agriculture in the Northern United States, 1620—1860. Washington, D. C.: Carnegie Institution, 1925.
- Bloomfield A. I.** Monetary Policy under the International Gold Standard, 1880—1914. N.Y.: Federal Reserve Bank of New York, 1959.
- Bloomfield A. I.** Patterns of Fluctuation in International Investment before 1914. Princeton: Princeton Univ. Press, 1968.
- Blum J.** Noble Landowners and Agriculture in Austria, 1815—1848. Baltimore: John Hopkins Press, 1948.
- Bog I. (Hrsg.).** Der Aussenhandel Ostmitteleuropas, 1450—1650: Die ostmitteleuropäischen Volkswirtschaften in ihren Beziehungen zu Mitteleuropa. Köln; Wien: Böhlau, 1971.
- Bondi G.** Deutschlands Aussenhandel, 1815—1870. Berlin: Akademie-Verlag, 1958.
- Bossy J.** Christianity in the West, 1400—1700. Oxford: Oxford Univ. Press, 1987.
- Boxer Ch. R.** The Dutch Seaborn Empire, 1600—1800. Oxford: Oxford Univ. Press, 1965.
- Boxer Ch. R.** Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415—1825: A Succinct Survey. Johannesburg: Witwaterstrand, 1961.
- Boxer Ch. R.** The Portuguese Seaborn Empire, 1415—1825. L.: Hutchinson, 1969.
- Boyer P.** Urban Masses and Moral Order in America, 1820—1920. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1978.
- Broc N.** La géographie de la Renaissance (1420—1620). P.: Bibliothèque nationale, 1980.
- Brody D. et al.** Output, Employment and Productivity in the United States after 1800. N.Y.: Columbia Univ. Press, 1966.
- Brunschwig H.** French Colonialism, 1871—1914. N.Y.: Praeger, 1966.
- Burke P.** Culture and Society in Renaissance Italy, 1420—1540. L.: Batsford, 1972.

- Burns A.** Production Trends in the United States Since 1870. N.Y.: NBER, 1934.
- Busson H.** Le rationalisme dans la littérature française de la Renaissance (1533—1601). P.: Vrin, 1957.
- Cairncross A.** Home and Foreign Investment, 1870—1913. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1953.
- Cameron R.** France and the Economic Development of Europe, 1800—1914. Princeton: Princeton Univ. Press, 1961.
- Carman H. G.** Social and Economic History of the U. S. V. I. From Handicraft to Factory, 1500—1820. Boston: Heath, 1930.
- Carrol J. C.** Slave Insurrections in the United States, 1800—1865. Boston: Chapman & Grimes, 1938.
- Carter Ch.** The Western European Powers, 1500—1700. Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1971.
- Cassedy J. H.** American Medicine and Statistical Thinking, 1800—1860. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1984.
- Chambers J. D.** The Workshop of the World: British Economic History, 1820—1880. 2nd ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 1968.
- Chambers J. D. and Mingay G. E.** The Agricultural Revolution, 1750—1880. L.: Batsford, 1966.
- Chandaman C. D.** The English Public Revenue, 1660—1688. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- Charters J.** Internal Trade in England, 1500—1700. L.: Macmillan, 1977.
- Chastel A.** La crise de la Renaissance, 1520—1600. Genève: Skira, 1968.
- Chastel A.** Le mythe de la Renaissance, 1420—1520. Genève: Skira, 1969.
- Chaudhuri K.** The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660—1760. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1978.
- Chaunu P.** Le temps des réformes. La crise de la chrétienté: L'éclatement, 1250—1550. P.: Fayard, 1975.
- Chaunu P.** Eglise, culture et société: Essais sur Réforme et Contre-Réforme (1517—1620). P.: Société d'éditions enseignement supérieur, 1981.
- Chaunu H. et Chaunu P.** Séville et l'Atlantique (1504—1650). En 8 vol. P.: Armand Colin, 1955—1960.
- Checkland S. G.** The Rise of Industrial Society in England, 1815—1885. N.Y.: St. Martin's Press, 1964.

- Cipolla C. M.** Mouvements monétaires dans l'Etat de Milan (1580—1700). P.: Colin, 1952.
- Cipolla C. M.** Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion, 1400—1700. L.: Collins, 1965.
- Cipolla C. M.** Clocks and Culture: 1300—1700. L.: Collins, 1967.
- Cipolla C. M.** Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000—1700. 2nd ed. N.Y.: Norton, 1981.
- Cipolla C. M. (ed.).** Fontana Economic History. V. 4: Industrial Revolution in Europe, 1700—1914. L.: Collins/Fontana Books, 1972.
- Clapham J. H.** The Economic Development of France and Germany, 1815—1914. 4th ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1953.
- Clark P.** English Provincial Society from the Reformation to the Revolution: Religion, Politics and Society in Kent, 1500—1640. Hassocks: Harvester Press, 1977.
- Clarkson L. A.** The Pre-Industrial Economy in England, 1500—1750. L.: Batsford, 1971.
- Clay C. G. A.** Economic Expansion and Social Change: England, 1500—1700. In 2 vol. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984.
- Clifford E. C., Jr.** The American Family Home, 1800—1900. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1986.
- Clouse R. G.** The Church in the Age of Orthodoxy and the Enlightenment: Consolidation and Challenge from 1700 to 1800. St. Louis: Concordia, 1980.
- Coleman D. C.** The Economy of England, 1450—1750. L., etc.: Oxford Univ. Press, 1977.
- Contamine P.** Guerre, Etat et Société à la fin du Moyen Age. Etude sur les armées des rois de France (1337—1494). P.; La Haye: Mouton, 1972.
- Coontz S.** The Social Origins of Private Life: A History of American Families, 1600—1900. L.: Verso, 1988.
- Corfield P. J.** The Impact of English Towns, 1700—1800. Oxford: Oxford Univ. Press, 1982.
- Corvisier A.** Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789. P.: Presses univ. de France, 1976.
- Cottrell P. L.** Industrial Finance, 1830—1914: The Finance and Organization of English Manufacturing Industry. L.; N.Y.: Methuen, 1980.

- Court W. H. B.** The Rise of the Midland Industries, 1600—1838. L.: Oxford Univ. Press, 1938.
- Couturier M.** Recherches sur les structures sociales de Chateaudum (1525—1789). P.: SEVPEN, 1969.
- Cowan A. F.** The Urban Participle: Lubeck and Venice, 1580—1700. Köln; Wien: Böhlau, 1986.
- Coward B.** The Stuart Age: A History of England, 1603—1714. L.; N.Y.: Longman, 1980.
- Craven A.** The Repressible Conflict, 1830—1861. Louisiana: Louisiana State Univ. Press, 1939.
- Crouzet F., Chaloner W. H. and Stern F. (eds.).** Essays in European Economic History, 1789—1914. N.Y.: St. Martin's Press, 1970.
- Cullen L. M.** Anglo-Irish Trade, 1660—1800. Manchester: Manchester Univ. Press, 1968.
- Davis R.** English Overseas Trade, 1500—1700. L.: Macmillan, 1973.
- Deane Ph. and Cole W. A.** British Economic Growth, 1688—1959. 2nd ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1967.
- Desai A.** A Real Wages in Germany, 1871—1913. Oxford: Clarendon Press, 1968.
- Dickson P.** The Financial Revolution in England: A Study in the Development of Public Credit, 1688—1756. L.: Macmillan; N.Y.: St. Martin's Press, 1967.
- Doyle W.** Old European Order, 1660—1800. Oxford; N.Y.: Oxford Univ. Press, 1974.
- Dülmen R., van (Hrsg.).** Entstehung des frühneuzeitlichen Europa, 1550—1648. Frankfurt am Main: Fischer Tachenb. Verlag, 1985.
- Earl P. (ed.).** Essays in European Economic History, 1500—1800. Oxford: Clarendon Press, 1974.
- Ebeling D. und Irsigler F.** Getreideumsatz, Getreide- und Brotpreise in Köln, 1368—1797. Cologne: Böhlau-Verlag, 1976.
- Elliot J. H.** The Revolt of the Catalans: A Study in the Decline of Spain, 1598—1640. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1963.
- Elliott J. H.** Imperial Spain, 1469—1716. N.Y.: Mentor Book, 1966.
- Elliott J. H.** Europe Divided, 1559—1598. N.Y.: Harper & Row, 1969.
- Evans R. J. W.** The Making of the Habsburg Monarchy, 1550—1700. Oxford: Clarendon Press, 1984.

- Feis H.** Europe, the World's Banker, 1870—1914. New Haven (CT): Yale Univ. Press, 1930.
- Fieldhouse D. K.** Economics and Empire, 1830—1914. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1973.
- Fisher H. E. S.** The Portugal Trade: A Study of Anglo-Portuguese Commerce, 1700—1770. L.: Methuen, 1971.
- Flinn M. W.** British Population Growth, 1700—1850. L.; Brighton: Harvester, 1970.
- Flinn M. W.** The European Demographic System, 1500—1820. Brighton: Harvester Press, 1981.
- Floud R. and McCloskey D. (eds.).** The Economic History of Britain Since 1700. V. 1: 1700—1860. V. 2: 1860 to the 1970's. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981.
- Foreman-Peck J.** A History of the World Economy: International Economic Relations since 1850. Brighton: Wheatsheaf Books, 1983.
- Frank A. G.** World Accumulation, 1492—1789. N.Y.: Monthly Review Press, 1978.
- Frederickson G. M.** The Black Image in the White Mind: The Debate on Afro-American Character and Destiny, 1817—1914. Middletown (Conn.): Wesleyan Univ. Press, 1971.
- Freedeman Ch. E.** Joint-Stock Enterprise in France, 1807—1867: From Privileged Company to Modern Corporation. Chapel Hill (NC): Univ. of North Carolina Press, 1979.
- Friedman M. and Schwartz A. J.** A Monetary History of the United States, 1867—1960. Princeton: Princeton Univ. Press, 1963.
- Friedman M. and Schwartz A. J.** Monetary Trends in the United States and the United Kingdom: Their Relation to Income, Prices and Interest Rates, 1867—1975. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1982.
- Fuà G.** Notes on Italian Economic Growth, 1861—1964. Milan: Giuffrè, 1965.
- Furber H.** Rival Empires of Trade in the Orient, 1600—1800. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1976.
- Gayer A. D., Rostow W. W. and Schwartz E.** The Growth and Fluctuations of the British Economy, 1790—1850. Oxford: Clarendon Press, 1953.
- Geyl P.** The Netherlands Divided (1609—1648). L.: Williams and Norgate, 1936.
- Glamann K.** Dutch-Asiatic Trade, 1620—1740. Copenhagen: Danish Science Press; Hague: Nijhoff, 1958.

- Good D. F.** *The Economic Rise of the Habsburg Empire, 1750—1914.* Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 1984.
- Goreux L. M.** *Agricultural Productivity and Economic Development in France, 1852—1950.* N.Y.: Arno Press, 1977.
- Gostinga C. Ch.** *The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580—1680.* Assen: Nijhoff, 1971.
- Goubert P.** *Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730.* En 2 vol. P.: SEVPEN, 1960.
- Greene L. J.** *The Negro in Colonial New England, 1620—1776.* N.Y.: Columbia Univ. Press, 1942.
- Greyerz K., von (ed.).** *Religion and Society in Early Modern Europe, 1500—1800.* L., etc.: Allen & Unwin, 1984.
- Gutman H. G.** *The Black Family in Slavery and Freedom, 1750—1925.* N.Y.: Vintage, 1976.
- Gysik et al. (Hrsg.).** *Geschichte der Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart.* Bd. 4: Von 1480 bis 1600. Berlin: Volk und Wissen, 1960.
- Habakkuk H. J.** *Population Growth and Economic Development Since 1750.* Leicester: Leicester Univ. Press, 1971.
- Hall A. R. (ed.).** *The Export of Capital from Britain, 1870—1914.* L.: Methuen, 1968.
- Hamilton E. J.** *American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501—1650.* N.Y.: Octagon Books, 1965 [1st ed. 1934].
- Hanagan M. P.** *The Logic of Solidarity: Artisans and Industrial Workers in Three French Towns, 1871—1914.* Urbana (IL): Univ. of Illinois Press, 1980.
- Handlin D. P.** *The American Home: Architecture and Society, 1815—1915.* Boston: Little & Brown, 1979.
- Hansen M. L.** *The Atlantic Migration, 1607—1860.* Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1940.
- Hanson C. A.** *Economy and Society in Baroque Portugal, 1668—1703.* Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1981.
- Harris R. W.** *Absolutism and Enlightenment, 1660—1789.* N.Y.: Harper & Row, 1966.
- Hassinger E.** *Das Werden des neuzeitlichen Europa, 1300—1600.* Braunschweig: Westermann, 1959.
- Headrick D. R.** *The Tentacles of Progress: Technology Transfer in the Age of Imperialism, 1850—1940.* Oxford: Oxford Univ. Press, 1988.

- Heiss G. und Klingenstein G. (Hrsg.).** *Das Osmanische Reich und Europa 1683 bis 1789: Konflikt, Entspannung und Austausch.* Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1983.
- Henderson H. O.** *Britain and Industrial Europe, 1750—1850.* Liverpool: Univ. Press, 1954.
- Henderson W. O.** *The Rise of German Industrial Power, 1834—1914.* Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 1975.
- Higgs R.** *The Transformation of the American Economy, 1865—1914.* N.Y.: John Wiley, 1971.
- Hill B. W.** *The Growth of Parliamentary Parties, 1689—1742.* L.: Allen & Unwin, 1976.
- Hoffmann W. G.** *British Industry, 1700—1950.* Oxford: Basil Blackwell, 1955.
- Hofstadter R.** *Social Darwinism in American Thought, 1860—1915.* 2nd ed. N.Y.: Brazillier, 1959.
- Holderness B. A.** *Pre-Industrial England: Economy and Society, 1500—1750.* Totowa (NJ): Rowman and Littlefield, 1976.
- Holmes G.** *The Florentine Enlightenment, 1400—1540.* L.: Weidenfeld and Nicolson, 1969.
- Hovde B. J.** *The Scandinavian Countries, 1720—1865: The Rise of the Middle Classes.* In 2 vol. Port Washington (NY); L.: Kennikat Press, 1972.
- Hufton O. H.** *Europe: Privilege and Protest, 1730—1789.* Brighton: Harvester Press, 1980.
- L'Humanisme allemand (1480—1540) / XVIII^e colloque internationale de Tours.** München: Fink; P.: Vrin, 1979.
- Hunt B. C.** *The Development of the Business Corporation in England, 1800—1867.* Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1936.
- Irsigler F. und Lassotta A.** *Bettler und Gaukler, Dirnen und Henken: Randgruppen und Aussenseiter in Köln, 1300—1600.* Köln: Greven, 1984.
- Jacquart J.** *La crise rurale en Ile-de-France, 1550—1670.* P.: Libr. Colin, 1974.
- Jones E. L.** *The Development of English Agriculture, 1815—1873.* L.: Macmillan, 1968.
- Jones E. L. (ed.).** *Agriculture and Economic Growth in England, 1650—1815.* L.: Methuen, 1967.
- Kellenbenz H. (Hrsg.).** *Schwerpunkte der Eisengewinnung und Eisenverarbeitung in Europa, 1500—1650.* Köln; Wien: Böhlau, 1974.

- Kellenbenz H. (Hrsg.).** Schwerpunkte der Kupferproduktion und des Kupferhandels in Europa, 1500—1650. Köln; Wien: Böhlau, 1977.
- Kellenbenz H. (Hrsg.).** Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 3: 1350—1650. Stuttgart: Klett-Cotta, 1986.
- Kemp T.** Economic Forces in French History: An Essay on the Development of the French Economy, 1760—1914. L.: Longman, 1971.
- Kennedy P.** The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. N.Y.: Random House, 1987.
- Kenwood A. G. and Lougheed A. L.** The Growth of the International Economy, 1820—1960. L.: Allen and Unwin, 1971.
- Kern S.** The Culture of Time and Space, 1880—1918. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1983.
- Kiernan V. G.** State and Society in Europe, 1550—1650. N.Y.: St. Martin's Press, 1980.
- Kirby M. W.** The Decline of British Economic Power since 1870. L.: Allen & Unwin, 1981.
- Kitchen M.** The Political Economy of Germany, 1815—1914. L.: Croom Helm, 1978.
- Klein J.** The Mesta: A Study in Spanish Economic History, 1273—1836. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1920.
- Koenigsberger H. G.** The Habsburgs and Europe, 1516—1660. Ithaca (NY); L.: Cornell Univ. Press, 1971.
- Kriedte P.** Peasants, Landlords and Merchant Capitalists: Europe and the World Economy, 1500—1800. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983.
- Landes D.** The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1969.
- Langton J. and Morris R. J. (eds.).** Atlas of Industrializing Britain, 1780—1914. L.; N.Y.: Methuen, 1986.
- Lebergott S.** Manpower in Economic Growth: The American Record since 1800. N.Y.: McGraw-Hill, 1964.
- Lee E. S. et al.** Population Redistribution and Economic Growth, United States, 1870—1950. Philadelphia: American Philosophical Society, 1957.
- Léon P.** Economies et sociétés préindustrielles. V. 2: 1650—1780. P.: Colin, 1970.
- Lesthaeghe R. J.** The Decline of Belgian Fertility, 1800—1970. Princeton: Princeton Univ. Press, 1978.

- Levy J. S.** War in the Modern Great Power System, 1495—1975. Lexington (Kentucky): Univ. Press of Kentucky, 1983.
- Lewis W. A.** Growth and Fluctuations, 1870—1913. L.: Allen & Unwin, 1978.
- Liebel H. P.** Enlightened Bureaucracy versus Enlightened Despotism in Baden, 1750—1792. Philadelphia: American Philosophical Society, 1972.
- Lipset S. M. and Raab E.** The Politics of Unreason: Right-Wing Extremism in America, 1790—1970. N.Y.: Harper & Row, 1970.
- Lodge R.** The History of England from the Restoration to the Death of William III, 1660—1702. N.Y.: AMC Press, 1969.
- Lynch J.** Spain Under Habsburgs. V. 1: Empire and Absolutism, 1516—1598. V. 2: Spain and America, 1599—1700. Oxford: Blackwell, 1964—1969.
- Maingueneau D.** Les livres d'école de la République, 1870—1914. P.: Le Sycomore, 1979.
- Maland D.** Europe at War, 1600—1650. Totowa (NJ): Rowman & Littlefield, 1980.
- Malcolmson R. W.** Popular Recreations in English Society, 1700—1850. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1973.
- Mandrou R.** Louis XIV et son temps, 1661—1715. P.: Presses univ. de France, 1973.
- Mandrou R.** Introduction to Modern France, 1500—1640: An Essay in Historical Psychology. N.Y.: Holmes & Maier, 1976.
- Mandrou R.** L'Europe absolutiste: Raison et raison d'Etat, 1649—1775. P.: Fayard, 1977.
- Mann M.** The Sources of Social Power. V. 1: A History of Power from the Beginning to AD 1760. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986.
- Martines L.** The Social Works of the Florentine Humanists (1390—1460). Princeton: Princeton Univ. Press, 1963.
- Mathias P.** The First Industrial Nation: An Economic History of Britain, 1700—1914. L.: Methuen, 1969.
- Mauro F.** Le Portugal et l'Atlantique au XVII^e siècle, 1570—1670: Etude économique. P.: SEVPEN, 1960.
- Mauro F.** L'Expansion européenne (1600—1870): Aspects économiques. P.: Presses univ. de France, 1964.
- May A. J.** The Habsburg Monarchy, 1867—1914. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1951.

- McCloskey D. N.** *Economic Maturity and Entrepreneurial Decline: British Iron and Steel, 1870—1913.* Harvard: Harvard Univ. Press, 1973.
- McCusker J. J.** *Money and Exchange in Europe and America, 1600—1775.* L.: Macmillan, 1978.
- McFarlane I. D.** *Renaissance: France, 1470—1589.* L.; Tonbridge: Benn; N.Y.: Barnes & Noble, 1974.
- McKay D. and Scott H. M.** *The Rise of Great Powers, 1648—1815.* L.; N.Y.: Longman, 1984.
- Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel: Histoire économique du monde méditerranéen, 1450—1650.* Toulouse: Privat, 1973.
- Meller H.** *Leisure and the Changing City, 1870—1914.* L.: Routledge & Kegan Paul, 1976.
- Michalet C. -A.** *Les Placements des épargnants français de 1815 à nos jours.* P.: Presses univ. de France, 1968.
- Midelfort H. C. E.** *Witch Hunting in Southwestern Germany, 1562—1684.* Stanford (CA): Stanford Univ. Press, 1972.
- Miller J.** *Popery and Politics in England, 1660—1688.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1973.
- Milward A. S. and Saul S. B.** *The Economic Development of Continental Europe, 1780—1870.* L., etc.: Allen & Unwin, 1979.
- Milward A. S. and Saul S. B.** *The Development of the Economies of Continental Europe, 1850—1914.* Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1977.
- Miskimin H. A.** *The Economy of Early Renaissance Europe, 1300—1460.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1975.
- Miskimin H. A.** *The Economy of Later Renaissance Europe: 1460—1600.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977.
- Mitchell B. R.** *European Historical Statistics, 1750—1975.* 2nd ed. L.: Macmillan, 1981.
- Mokyr J.** *Industrialization in the Low Countries, 1795—1850.* New Haven (CT): Yale Univ. Press, 1976.
- Morineau M.** 1492—1610: *Le XVI^e siècle: L'âge de Jean Le Coullon.* P.: Livre de poche, 1968.
- Mousnier R.** *Les hierarchies sociales de 1450 à nos jours.* P.: Presses univ. de France, 1969.
- Mousnier R.** *Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598—1789.* En 2 vol. P.: Presses univ. de France, 1974—1980.

- Neale R. S.** *Bath: A Social History, 1680—1850.* L.: Routledge, 1981.
- Nenner H.** *By Colour of Law: Legal Culture and Constitutional Politics in England, 1660—1689.* Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1977.
- Nordmann C.** *Grandeur et liberté de la Suède, 1660—1792.* P.: Béatrice—Nauwelaerts, 1971.
- North D.** *The Economic Growth of the United States, 1790—1860.* Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1961.
- O'Brien P. and Keyder C.** *Economic Growth in Britain and France, 1780—1914: Two Paths to the Twentieth Century.* L.: Allen & Unwin, 1978.
- Olin J. S.** *The Catholic Reformation: Savonarola to Ignatius Loyola. Reform in the Church, 1495—1540.* N.Y., etc.: Harper & Row, 1969.
- Olson A. G. and Brown R. M. (ed.).** *Anglo-American Political Relations, 1675—1775.* New Brunswick: Brunswick Univ. Press, 1970.
- Palmer R. R.** *The Age of Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760—1800.* Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1959.
- Parker G.** *Europe in Crisis, 1598—1648.* Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1979.
- Parry J. H.** *The Age of Reconnaissance: Discovery, Exploration and Settlement, 1450—1650.* L.: Weidenfeld & Nicolson, 1963.
- Parry J. H.** *The Establishment of the European Hegemony, 1415—1715.* 3rd ed. N.Y.: Harper & Row, 1966.
- Penrose B.** *Travel and Discovery in the Renaissance, 1420—1620.* Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1952.
- Perry P. J. (ed.).** *British Agriculture, 1875—1914.* L.: Methuen, 1973.
- Petersen L. E.** *The Crisis of Danish Nobility, 1580—1660.* Odense: Odense Univ. Press, 1967.
- Phelps Brown E. H. and Browne M. H.** *A Century of Pay: The Course of Pay and Productivity in France, Germany, Sweden, the U. K., and the USA, 1860—1960.* L., etc.: Macmillan, 1968.
- Platt D. C. M.** *Foreign Finance in Continental Europe and the USA, 1815—1870.* L.: Allen & Unwin, 1984.
- Pollard S.** *European Economic Integration, 1815—1870.* N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1974.
- Postan M. M.** *The Medieval Economy and Society: An Economic History of Britain, 1100—1500.* Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 1972.

- Pounds N. J.** *An Historical Geography of Europe, 1500—1840.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985.
- Pounds N. J.** *An Historical Geography of Europe, 1800—1914.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979.
- Pred A.** *Place, Practice and Structure: Social and Spatial Transformation in Southern Sweden: 1750—1850.* Cambridge: Polity Press, 1986.
- Rand B.** *Economic History since 1763.* N.Y.: McGraw-Hill, 1911.
- Redwood J.** *Reason, Ridicule and Religion: The Age of Enlightenment in England, 1660—1750.* L.: Thames & Hudson, 1976.
- Reeve R. M.** *The Industrial Revolution, 1750—1850.* L.: Univ. of London, 1971.
- Ringrose D.** *Madrid and the Spanish Economy, 1560—1850.* Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 1983.
- Rogers T. J. E.** *A History of Agriculture and Prices in England from the Year After the Oxford Parliament to the Commencement of the Continental War (1793).* In 7 vol. Oxford: Clarendon Press, 1866—1902.
- Roover R., de.** *The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397—1494.* Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1966.
- Rose H. J.** *A Century of Continental History, 1780—1880.* L.: Macmillan, 1895.
- Rosenberg H.** *Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy: The Prussian Experience, 1660—1815.* Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1958.
- Rule J.** *The Labouring Classes in Early Industrial England, 1750—1850.* L.; N.Y.: Longman, 1986.
- Salzman L. F.** *Building in England Down to 1450.* L.: Oxford Univ. Press, 1967.
- Saul S. B.** *Studies in British Overseas Trade, 1870—1914.* Liverpool: Liverpool Univ. Press, 1960.
- Scoville W. C.** *The Persecution of the Huguenots and French Economic Development, 1680—1720.* Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 1960.
- Semmel B.** *The Rise of Free Trade Imperialism, 1750—1850.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1970.
- Shorter E. C. and Tilly Ch.** *Strikes in France, 1830—1968.* L.: Cambridge Univ. Press, 1974.
- Singer J. D. and Small M.** *The Wages of War, 1816—1965.* N.Y.: John Wiley, 1972.

- Slither van Bath B. H.** *The Agrarian History of Western Europe, AD 500—1850.* L.: Edward Arnold, 1963.
- Slotkin R.** *Regeneration through Violence: The Mythology of the American Frontier, 1600—1860.* Middletown (Conn.): Wesleyan Univ. Press, 1973.
- Slotkin R.** *The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800—1890.* N.Y.: Athenaeum, 1985.
- Smith C. T.** *An Historical Geography of Western Europe before 1800.* N.Y.: Longman, 1967.
- Smith M. S.** *Tariff Reform in France, 1860—1900.* Ithaca (NY); L.: Cornell Univ. Press, 1980.
- Spitz L. W.** *The Protestant Reformation, 1517—1559.* N.Y., etc.: Harper & Row, 1984.
- Solomou S.** *Phases of Economic Growth, 1850—1973: Kondratieff Waves and Kuznets Swings.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987.
- Spooner F. C.** *The International Economy and Monetary Movements in France, 1493—1725.* Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1972 [Fr. ed. 1956].
- Stavrianos L. S.** *The World to 1500: A Global History.* Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970.
- Stearns P. N.** *European Society in Upheaval. Social History Since 1800.* N.Y.: Macmillan, 1967.
- Stearns P. N.** *Paths to Authority: The Middle Class and the Industrial Labor Force in France, 1820—1848.* Urbana (IL): Univ. of Illinois Press, 1978.
- Stigler S. M.** *The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900.* Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1986.
- Stolleis M.** *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Bd. 1: Reichspublizistik und Policywissenschaft, 1600—1800.* München: Beck, 1988.
- Stolper G. et al.** *The German Economy, 1870 to the Present.* N.Y.: Weidenfeld & Nicolson, 1967.
- Stone L.** *The Crisis of Aristocracy, 1558—1641.* Oxford: Oxford Univ. Press, 1965.
- Stone L.** *The Causes of the English Revolution, 1529—1642.* L.: Routledge & Kegan Paul, 1972.
- Stone L.** *The Family, Sex and Marriage in England, 1600—1800.* L.: Weidenfeld & Nicolson, 1971.

- Stone L. and Fawtier-Stone J. C.** *An Open Elite? England, 1540—1800.* Oxford: Oxford Univ. Press, 1984.
- Stoye J.** *Europe Unfolding, 1648—1688.* N.Y.: Collins, 1969.
- Stradling R. A.** *Europe and the Decline of Spain: A Study of the Spanish System, 1580—1720.* L., etc.: Allen & Unwin, 1981.
- Taylor A. J. P.** *The Habsburg Monarchy, 1815—1918.* L.: Macmillan, 1941.
- Taylor A. J. P.** *The Struggle for Mastery in Europe, 1848—1918.* Oxford: Clarendon Press, 1954.
- Thirsk J. (ed.).** *Agrarian History of England and Wales. V. 4: 1500—1640.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1967.
- Thomis M.** *Responses to Industrialisation: The British Experience, 1780—1850.* Hamden (Conn.): Arehon Books, 1976.
- Thompson I. A. A.** *War and Government in Habsburg Spain, 1560—1620.* L.: Allen & Unwin, 1972.
- Tilly Ch., Tilly L. and Tilly R.** *The Rebellious Century, 1830—1930.* Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1975.
- Tilly R. H.** *Financial Institutions and Industrialization in the Rhineland, 1815—1870.* Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1966.
- Trevor-Poper H. (ed.).** *The Age of Expansion: Europe and the World, 1559—1660.* N.Y.: McGraw-Hill, 1968.
- Vaughan D.** *Europe and the Turk: A Pattern of Alliances, 1350—1700.* Liverpool: Univ. Press, 1954.
- Vilar P.** *Or et monnaie dans l'histoire, 1450—1970.* P.: Flammarion, 1974.
- Vogler B.** *Le monde germanique et helvétique à l'époque des réformes, 1517—1618.* V. 1. P.: Presses univ. de France, 1968.
- Vries J., de.** *The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500—1700.* New Haven (CT): Yale Univ. Press, 1974.
- Vries J., de.** *The Economy of Europe in the Age of Crisis, 1600—1750.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1976.
- Vries J., de.** *European Urbanization, 1500—1800.* L.: Methuen, 1984.
- Wallerstein I.** *The Modern World-System. V. 2: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600—1750.* N.Y.: Academic Press, 1980.
- Walvin J.** *Leisure and Society, 1830—1950.* L.: Longman, 1978.

- Weiner M. J.** *English Culture and the Decline of the Industrial Spirit, 1850—1980.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981.
- Wellesz E. and Sternfeld F. (ed.).** *The Age of Enlightenment, 1743—1790.* L.: Oxford: Oxford Univ. Press, 1973.
- Willan T. S.** *The English Coasting Trade, 1600—1750.* Manchester: Manchester Univ. Press, 1967 [1st ed. 1938].
- Williams J. B.** *British Commercial Policy and Trade Expansion, 1750—1850.* Oxford: Clarendon Press, 1972.
- Williams N.** *Chronology of the Expanding World, 1492—1762.* N.Y.: McKay, 1969.
- Wilson Ch.** *England's Apprenticeship, 1603—1763.* L.: Longman, 1965.
- Wilson Ch.** *The Transformation of Europe, 1558—1648.* Berkeley (CA): Univ. of California Press, 1976.
- Wilson Ch. and Parker G. (eds.).** *An Introduction to the Sources of European Economic History, 1500—1800.* Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1977.
- Wilson Ch. and Parker G. (ed.).** *An Introduction to the Sources of European Economic History, 1500—1800.* Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1977.
- Wolf J. B.** *Toward a European Balance of Power, 1620—1715.* Chicago: McNally, 1970.
- Woloch I.** *Eighteenth-Century Europe: Tradition and Progress, 1715—1789.* N.Y.; L.: Norton, 1982.
- Wood J. B.** *The Nobility of the Election of Bayeux, 1463—1666: Continuity through Change.* Princeton: Princeton Univ. Press, 1980.
- Woodruff W.** *The Impact of Western Man: A Study of Europe's Role in the World Economy, 1750—1960.* L.: Macmillan, 1966.
- Wrightson K.** *English Society, 1580—1680.* L.: Hutchinson, 1982.
- Wrigley E. A. and Schofield R. S.** *The Population History of England, 1541—1871.* L.: Arnold, 1981.
- Zagorin P.** *Rebels and Rulers, 1500—1660.* In 2 vol. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982.
- Zeldin T.** *France, 1848—1945.* In 3 vol. Oxford: Oxford Univ. Press, 1970.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ»,
ИЛИ
«ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ»

*Такой некультурный человек, что видел
во сне бактерию в виде большой собаки.*

Илья Ильф. Из записных книжек

Особое положение истории в системе знания определило колоссальную зависимость ее теоретического аппарата от философии. Философам издавна принадлежала прерогатива осмысления исторического процесса, разработки основных исторических категорий и схем всеобщей истории. «Умы, не склонные к строгой систематике, т. е. прежде всего историки и филологи, имеющие дело с созерцательно-эмпирическим, нуждаются в то же время в установлении понятий», — заметил известный немецкий философ Э. Трельч (Трельч 1994 [1922], с. 241), и притом без тени высокомерия. В этом смысле проблема исторического времени до сих пор в основном принадлежала не историкам, а философам и ассоциировалась именно с философскими подходами. Это обстоятельство заставляет нас задержаться на перекрестке философии и истории, именуемом философией истории или историософией.

Как справедливо заметил отечественный историк Н. Конрад, под этим именем фигурируют самые разнообразные объекты. «Предметом философии истории может быть историческое знание как таковое, его природа, его границы, его формы; философия истории в этом случае, собственно, теория познания в приложении к истории. К философии истории может быть отнесено изучение общих законов исторической жизни, раскрываемых в судьбах человечества; тут философия истории в сущности общая теория исторического процесса. Задачу философии истории могут видеть в выяснении вопроса о смысле истории: есть ли в ней какой-нибудь смысл вообще, а если есть, то в чем он заключается, да и что именно понимать под „смыслом“, когда дело идет об истории? Философией истории могут быть, наконец, названы размышления о пользе истории: откладывается ли исто-

рический опыт, пережитый человечеством, в его последующих судьбах; влияет ли он на историческую деятельность людей; вообще участвует ли он кого-нибудь чему-нибудь?» (Конрад 1972, с. 47).

Само понятие философии истории, или историософии, равно как и ее отношения с историческим знанием, или историографией, на протяжении веков изменялись¹. Термин «философия истории», как известно, был изобретен Вольтером в середине XVIII в. Вольтер, впрочем, подразумевал под ним всего лишь критическую или научную историю, способ исторического мышления, когда историк самостоятельно судит о предмете, вместо того чтобы повторять «истории», вычитанные из книг предшественников. Но, так или иначе, многие авторы не без оснований полагают, что философия истории возникла лишь в век Просвещения, когда философы создали концептуальный фундамент исторического знания и, говоря словами Пушкина о Вольтере, внесли «светильник философии в темные архивы истории» (цит. по: Томашевский 1960, с. 202).

Вторая точка зрения, представленная, в частности, в работах М. Барга (см., например: Бург 1987), сводится к тому, что философское осмысление исторического процесса начинается в эпоху Возрождения, поскольку именно тогда возникает собственно историческое сознание: «... Только с эпохи Возрождения историческое прошлое, мир исчезнувший, становится по-настоящему проблемой познания» (Бург 1984, с. 83).

Третья группа авторов связывает появление философии истории с сочинениями Св. Августина: «... Древности философия истории... была неизвестна, так как античному миру чуждо представление о внутреннем единстве человеческого рода... Только в христианскую эпоху мы и встречаемся с первой системой философии истории» (Бернгейм 1909, с. 7—8).

¹ Обзоры, историю эволюции и анализ основных историософских концепций до начала XX в. см., например, в: Кареев 1883; Раппопорт 1898; Бернгейм 1909; Герье 1915; Хвостов 1919 [1909]. Хорошее представление о философии истории первой половины XX в. дают, в частности, работы: Meyerhoff 1959; Hook 1963; Кон 1966; Гулыга, Левада 1969. Из числа недавних изданий можно отметить учебное пособие: Гобозов 1993. Наконец, упомянем два превосходных компендиума, содержащих статьи или отрывки из наиболее известных монографических произведений западных философов истории: Gardiner 1959; Кон 1977.

Наконец, распространена и точка зрения, согласно которой философия истории существовала уже в эпоху античности. Наиболее ярко эта позиция представлена, в частности, в работах А. Лосева, одна из которых так и называется: «Античная философия истории». Как подчеркивал Лосев, «именно древней Греции принадлежит честь систематического построения философии истории» (Лосев 1977, с. 199).

На наш взгляд, эта разногласия обусловлена не чем иным, как понятийной путаницей, т. е. смешением совершенно разных объектов изучения. До начала Нового времени философия истории была историософией мира, начиная с XVI в. она превращается в историософию общества.

В свою очередь понятие «мира» также было весьма неоднородным. «Если мир греческой философии и греческой поэзии — это „космос“, т. е. законсообразная и симметричная пространственная структура, то мир Библии — это „олам“², т. е. поток временного свершения, несущий в себе все вещи, или мир как история» (Аверинцев 1975, с. 269).

В эпоху Возрождения традиционная христианская философия истории мира постепенно утрачивает свои позиции, но лишь в начале XVI в. впервые наряду с ней появляется самостоятельная философия истории общества, и эта смена объекта изучения связана прежде всего с именем Никколо Макиавелли (1469—1527). Следующей крупной вехой в становлении историософии общества стали труды Ф. Бэкона (1561—1626), но настоящий ее расцвет начался в XVIII в., с работ Дж. Вико (1668—1744) и Ш. Монтескье (1689—1755). Конец же этого века знаменовался уже настоящим бумом историософских сочинений. Интересно в этом смысле даже название работы И. Гердера: «Еще одна философия истории...» (Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, 1774).

² «Исходное значение слова 'olam — „сокрытое“, „завешенное“, отсюда — „древность“, начальное правремя, но также „будущность“: две темные бездны времени позади и впереди человека. Постольку это слово означает „вечность“, но не в смысле неподвижной изысканности из времени, а в смысле совокупности и полноты времени. Точнее, это не „вечность“, а „мировое время“ (в немецком переводе Бубера и Розенцвейга — „Weltzeit“), которое, во-первых, движется и, во-вторых, может кончиться и смениться другим „оламом“, другим состоянием времени и вещей в нем. Иначе говоря, „олам“ — мир как время и время как мир» (Аверинцев 1975, с. 283).

Гердер, Гегель и другие авторитетные представители немецкой классической философии в конце XVIII — начале XIX в. придали понятию «философия истории» новый смысл: всеобщая или всемирная история (см.: *Гердер* 1977 [1784—1791]; *Гегель* 1929—1958 [1837]). В этот период она начинает выступать в качестве глобальной теории исторического развития: философы стремились определить цель, движущие силы и смысл исторического прогресса.

Во второй половине XIX в. метафизическая и онтологическая философия истории постепенно теряет былое значение. Онтологическую проблематику во многом перехватывают позитивисты и марксисты, предложившие историкам набор готовых социологических законов. Вместо философии истории марксисты разработали исторический материализм, а позитивисты попытались создать новую теоретическую дисциплину — социологию, трактуя ее как «положительную науку» о законах развития и функционирования общества.

Что касается современной философии истории, то она, как заметил Р. Арон, «начинается с отказа от гегельянства. Постигание смысла становления человечества перестает быть идеалом; философ отказывается от веры в то, что он — единственный хранитель секретов провидения» (*Aron* 1950, p. 15).

Со второй половины XIX в. в рамках философии формируется так называемая критическая (аналитическая) философия истории, в которой главное внимание уделяется гносеологической и логико-методологической проблематике, анализу процесса и результатов исторического познания (подробнее см.: *Meyerhoff* 1959). У истоков гносеологического направления стояли В. Дильтей, Г. Зиммель, Б. Кроче, В. Виндельбанд, Г. Риккерт³. Основной пафос этого нового подхода — в утверждении предметной, гносеологической и методологической специфичности истории. Для Дильтея, Кроче, а позднее и Коллингвуда (*Коллингвуд* 1980 [1946]) важно было определить, чем на самом деле является история, каков ее предмет, и выделить черты, которые присущи только ей и которыми нельзя пренебрегать во имя теоретического идеала эпистемологического единства.

Представители другого направления, сложившегося в XX в. и известного прежде всего работами К. Поппера и К. Гемпеля⁴, огра-

³ См., например: *Дильтей* 1909; *Зиммель* 1898 [1892]; 1996 [1917]; *Виндельбанд* 1904 [1894]; *Риккерт* 1908 [1904]; *Croce* 1959 [1916].

⁴ *Поппер* 1993 [1957]; *Гемпель* 1977 [1963]; см. также: *Danto* 1965.

ничивают свои интересы логико-методологическим исследованием самой историографии, считая, что задача философии не в разработке исторического метода, а лишь в описании и анализе используемых историками исследовательских процедур и объяснительных приемов.

Однако сущность философских проблем (что четко осознали уже позитивисты XIX в.) радикально отличается от тех, которые возникают в эмпирических науках, в частности в истории. Философская история, или философия истории, «означает не что иное, как мыслящее рассмотрение» истории, сформулировал Гегель, подчеркивая ее рефлексивный характер (*Гегель* 1929—1958 [1837], с. 18). Эта особенность философствующего сознания — думать не просто об объекте, но, размышляя о каком бы то ни было объекте, думать одновременно и о своей собственной мысли об этом объекте (*Коллингвуд* 1980 [1946], с. 5), — сильно ограничивает возможности историков пользоваться плодами философских размышлений, в том числе и о времени. Водораздел остается, большая часть наследства философии истории так и не востребована исторической наукой.

Вместе с тем исследования проблемы времени в социальных науках (см. гл. 5), возможно, более продуктивные для историков, им практически незнакомы. В итоге разработка категории исторического времени в сознании научной общественности четко ассоциируется с немногими известными историософскими произведениями и именами их создателей. О. Шпенглер и К. Ясперс вспоминаются прежде и чаще других.

И все же существуют по крайней мере три области историософского знания, которые оказывали и продолжают оказывать влияние на исторические исследования в целом и на понимание исторического времени в частности. Прежде всего имеется в виду выработка представлений о форме исторического процесса, наиболее распространенными из которых являются линейные и циклические характеристики развертывания событий во времени. Второе направление связано с размышлениями о будущем, попытками предвидения или формирования его облика. Наконец, к третьему направлению можно отнести построение схем «всемирной истории», позволяющих хотя бы условно упорядочить историю человечества в рамках единой временной шкалы. Эти проблемы, имеющие существенное значение для разработки категории исторического времени, мы обсудим в данной главе.

§ 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОРМАХ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Аллах рассудит между ними в день воскресения относительно того, в чем они расходились.

Коран, Сура 2 (Корова), 107 (113)

Образ времени, складывающийся в сознании, во многом определяется представлениями о формах движения времени, наиболее распространенные из которых сводятся к циклическим и линейным (напомним, что вечность обычно подразумевается статичной).

По мнению польского ученого К. Помиана, известно три способа сделать время «видимым», перевести его в знаки: хронометрия, хронология и хронософия. Хронометрия переводит время в знаки с помощью часов и календарей, хронология — с помощью систем летоисчисления, хронософия — делая время объектом дискурса (Potian 1979).

Хронометрическое время может быть только циклическим (например, время часов, недельное время, годовое время или время циклических календарных систем, распространенных в Китае и других азиатских странах). Во всех этих случаях время (суток, недели, года и т. д.) периодически «заканчивается» и затем «начинается» снова (с нуля часов, понедельника, 1 января и т. д.).

Но циклическое время — не единственная форма течения времени. В большинстве обществ оно фактически сосуществует с хронологическим временем, которое является линейным или хотя бы частично линейным. Хронология фиксирует события — не случайно различные хронологические системы ведут отсчет от великих событий-водоразделов (эту тему мы обсуждали в гл. 2).

В рамках философии времени, которую можно условно обозначить как хронософию, могут существовать и даже сосуществовать разные представления о форме движения времени — как циклические, так и линейные. Типичным примером циклических представлений о движении самого времени являются различные концепции Великого года, развивавшиеся древнегреческими философами. Начиная с IV—III вв. до н. э. движение самого времени обычно рас-

сматривается как линейное, и это представление прочно закрепилось в европейской культурной традиции, которой мы ограничиваем сферу нашего исследования (в буддизме и индуизме представления о цикличности движения времени сохраняются, насколько мы можем судить, до настоящего момента). Наконец, в некоторых современных астрофизических теориях (в частности, «пульсирующей Вселенной») время опять приобретает циклический характер.

Заметим, что представления о движении времени, вообще говоря, существуют только в концепции «Время-2». Альтернативная концепция «Время-1» отрицает движение самого времени, предполагая его полную статичность. Такая статическая трактовка времени получила наиболее яркое воплощение в идее «вечности» или божественного времени в трудах средневековых теологов.

Но в данном случае нас интересуют не столько представления о формах движения (или о неподвижности) времени, относящиеся к хронософии, или философии времени, сколько подходы к изменениям, происходящим во времени, являющиеся предметом историософии, т. е. философии истории. Эти подходы находят отражение в различных теориях общественного развития, разрабатываемых в социальных науках, равно как и в идеологических концепциях. Кроме того, как мы покажем в последующих главах, эти идеи активно используются в исторических исследованиях.

Итак, мы будем учитывать лишь «линейную» концепцию «движения» или «течения» времени, подразумевающую его необратимость, поскольку, как отмечалось выше, начиная примерно с IV в. до н. э. именно эта концепция становится доминирующей в европейской культурной традиции.

В частности, выдающийся физик С. Хоукинг характеризует современные научные представления о движении времени следующим образом: «... С точки зрения законов науки, направление движения времени не является существенным. Однако имеются по крайней мере три стрелы времени, устанавливающие различие между прошлым и будущим. Это — термодинамическая стрела, определяющая направление увеличения энтропии; психологическая стрела, задающая такое направление времени, при котором мы помним прошлое, а не будущее; наконец, космологическая стрела, т. е. такое направление движения времени, при котором вселенная расширяется, а не сужается» (Hawking 1988, p. 152).

Оговоримся также, что мы не будем проводить специального различия между историческим «движением», «изменением» и «процессом» и используем эти термины как синонимы⁵. «Движение» обычно считается наиболее общей философской категорией, но представители общественных наук часто придерживаются иной точки зрения. Например, П. Сорокин в качестве такой категории выделял «процесс», под которым он понимал «любой вид движения, модификации, трансформации, чередования или „эволюции“, короче говоря, любое изменение данного изучаемого объекта в течение определенного времени, будь то изменение его места в пространстве либо модификация его количественных или качественных характеристик» (Sorokin 1937—1941, v. 1, p. 153). В свою очередь Н. Кондратьев максимально широкий смысл придавал понятию «изменения», обосновывая это следующим образом: «Верно, что всякое движение есть изменение. Но не верно, что всякое изменение есть движение. Понятие изменения шире, чем понятие движения. Движение является тем изменением, которое связано не только с категорией времени, но и пространства» (Кондратьев 1989 [1924], с. 56).

С этими оговорками мы можем констатировать наличие весьма небольшого числа вариантов представлений о форме исторического процесса. П. Сорокин, на обзорную работу которого мы существенным образом опираемся в ходе дальнейшего изложения, делил все концепции исторических изменений всего на две группы — «циклическую» и «линейную» (см.: Sorokin 1937—1941, v. 2, ch. 10). Но такая классификация отражает в основном лишь разные геометрические образы исторического процесса. Для целей нашего исследования больше подходит иной принцип классификации, в основе которого лежат различия в соотношении прошлого, настоящего и будущего.

В сущности, уже как минимум два с половиной тысячелетия философы оперируют всего тремя образами исторического процесса (или в лучшем случае их несложными комбинациями). Эти три типа исторических изменений, которые условно изображены на рис. 3.1, можно обозначить как «прогрессивные», «циклические» и «регрессивные»⁶.

⁵ Обсуждение некоторых философских различий между категориями «движение» и «изменение» см., например, в: Лосев 1977, с. 3—7.

⁶ Некоторые дополнительные варианты графического представления трех основных форм исторического движения см., например, в: Hart 1959; Moore 1963b, p. 34—40; Filipcova, Filipec 1986; Штомпка 1996 [1993], с. 31—37.

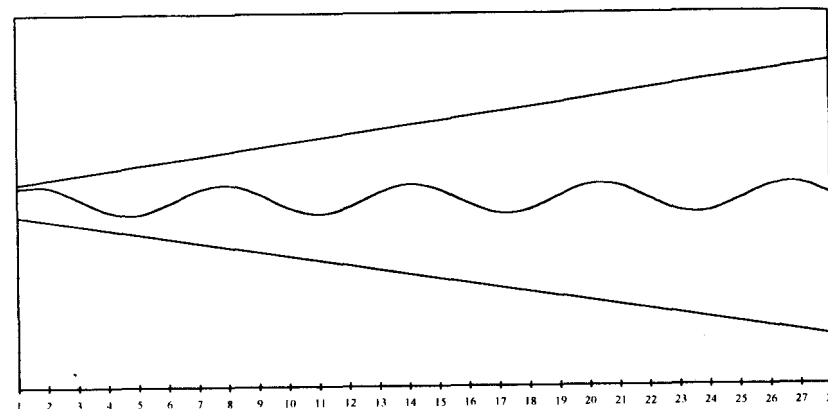


Рисунок 3.1. Формы исторического движения

Конечно, этот рисунок отражает понятия Нового времени, поскольку он выполнен в так называемой декартовой системе координат (придуманной, соответственно, Рене Декартом в XVII в.), но по существу схемы подобного типа начали использоваться довольно давно. Небольших комментариев, видимо, требует «циклическая» схема, которая обычно интерпретируется как движение по кругу. Но подобная интерпретация возможна только в контексте циклической модели движения самого времени (это же относится и к любимому многими образу спирали). В рамках же гипотезы о линейном течении времени круговое движение трансформируется в волновое, т. е. в синусоиду.

Итак, «прогрессивные» концепции исторического процесса предполагают, что настоящее превосходит (по некоему критерию или параметрам) прошлое, а будущее будет по тому же критерию превосходить настоящее (подробнее об эволюции идеи прогресса см.: Nisbet 1980).

В соответствии с «циклическими» концепциями постулируется периодическое повторение одних и тех же явлений. От того, в какую точку цикла мы помещаем настоящее, зависит видение будущего и прошлого. Заметим, что речь не идет о тождественности прошлого, настоящего и будущего (подобным представлениям на нашем

рисунке соответствовала бы горизонтальная прямая). «Циклическая» схема исторического процесса, как и две другие, учитывает факт наличия изменений, но эти изменения, во-первых, имеют ограниченный диапазон, во-вторых, они периодически повторяются в неизменной последовательности (о вариантах циклических концепций см., например: Борхес 1994 [1936]).

Наконец, «регрессивная» концепция отражает пессимистический взгляд на историю: настоящее уступает (по некоему критерию или параметрам) прошлому, а будущее будет по тому же критерию уступать настоящему (по крайней мере, если все будет идти так, как оно шло раньше).

Заметим, что все три типа представлений, как правило, содержат аксиологический, ценностный компонент. «Под „прогрессом“ мы понимаем направленный процесс, который неуклонно подводит систему все ближе либо к более предпочтительному, лучшему состоянию (или, другими словами, к реализации определенных ценностей этического порядка, таких, например, как счастье, свобода, процветание, справедливость, достоинство, знания и т. д.), либо к идеальному состоянию общества» (Штомпка 1996 [1993], с. 26). Но точно такие же или подобные ценностные установки присутствуют и в регрессивных и в циклических моделях исторического движения, с той лишь разницей, что в качестве нормативного идеала в них выступает не будущее, а, соответственно, прошлое или настоящее.

Эти три подхода используются начиная с ранней античности до сегодняшнего дня, и хотя в отдельные, порой длительные, периоды мог доминировать какой-то один из них, два других никогда не исчезали полностью из сферы историко-философской мысли. Попутно можно заметить, что те же три образа исторического процесса существуют как на уровне обыденного сознания, так и в общественно-научном знании.

Прежде чем мы попытаемся проследить эволюцию концепций исторических изменений, напомним еще раз, что античная и средневековая христианская историософия была прежде всего философией истории мира, а в Новое время на смену ей приходит философия истории общества. Конечно, речь идет лишь о доминировании тех или иных взглядов, что не исключает присутствия альтернативных воззрений в каждом из периодов. С одной стороны, можно упомянуть работы некоторых римских авторов, например, Марка Теренция Варрона и Тита Лукреция Кара (I в. до н. э.), у которых довольно

отчетливо проступает стремление осмыслить историю прежде всего как историю общества. С другой стороны, философия истории Г. Гегеля и отчасти К. Маркса несет на себе явный отпечаток средневековой христианской традиции и в определенной мере представляет собой попытку репрезентации истории не только общества, но и мира.

1. От древности до Возрождения: история мира

До начала Нового времени философские концепции исторического движения испытывали сильнейшее влияние мифологических и религиозных представлений. Мифологические описания истории, хотя и наделенные многими типическими чертами, общими для большинства народов, обладают и колоссальным разнообразием, обусловившим не меньшее разнообразие историко-философских воззрений.

Уже на самых ранних этапах развития человеческой цивилизации, судя по дошедшим до нас источникам и современным этнографическим наблюдениям, в сознании людей возникают как циклические, так и линейные представления о развитии жизни и общества, однако характер соотношения этих двух типов представлений остается предметом дискуссий среди специалистов. Так, согласно М. Элиаде, циклическая картина развития мира была главной особенностью сакральных (мифологических) архаичных темпоральных образов («миф о вечном возвращении»), в то время как профанное (мирское) время в архаичном сознании было линейно и необратимо (Элиаде 1987 [1949]; 1994 [1957]). Однако, по мнению Е. Мелетинского, Элиаде ошибочно приписывал мифологическому мышлению сознательное и последовательное неприятие истории, поскольку он отталкивался от ритуала. Ритуалы возрождения времени призваны поддерживать истощившиеся силы природы, они связаны с культом плодородия, а циклическое восприятие времени в них вторично (Мелетинский 1976, с. 74). Как полагает Е. Мелетинский, архаическая мифическая модель времени прежде всего представляла собой дихотомию «начальное время — эмпирическое время» и имела сугубо линейный характер (Мелетинский 1980а, с. 253).

В развитие этой позиции заметим, что циклическое восприятие было, по-видимому, присуще не столько сакральному, сколько профанному сознанию: именно в повседневной жизни люди в первую очередь сталкивались и продолжают сталкиваться с различными циклическими процессами, связанными с движением космических тел (смена времен года, фаз луны, дня и ночи). Для архаичного же

мифологического сознания, на наш взгляд, действительно типичны скорее линейные, чем циклические представления о движении во времени (подробнее см. ниже, гл. 5, § 3).

Как мы видим, трактовка темпоральных образов даже в наиболее простых мифологиях представляет значительную трудность и до сих пор является объектом дискуссии. Еще нагляднее это проявляется при анализе сложных мифологических и религиозных систем — греческой, римской, иудаистической и, наконец, христианской, с ее многочисленными разновидностями. Представляется, что попытки выделить единственную или главную историософскую концепцию развития в каждом из этих случаев (как это делается во многих работах) вряд ли правомерны. Практически в любой культуре — будь то античная Греция, Рим, древняя Иудея или средневековая Европа — существовали прогрессивные, циклические и регрессивные модели исторического движения. Иногда эти концепции возникали последовательно и сменяли друг друга, но чаще они существовали параллельно, в том числе в трудах одних и тех же мыслителей.

Классический пример тому являют воззрения Гесиода (ориентировочно VIII в. до н. э.), едва ли не наиболее раннего из известных нам греческих авторов (не считая Гомера). В дошедших до нас двух поэмах Гесиода в явном виде представлены и прогрессивная, и регрессивная, и циклическая модели исторического развития. В «Теогонии» («Происхождение богов»), где излагается сакральная история, используется прогрессивная концепция: развитие от «низших» божеств к «высшим», от «диких» титанов к «цивилизованным» богам-олимпийцам (Гесиод. Теогония 117ff). В «Работах и днях», повествующих прежде всего о «земной» (профанной) истории человечества, дается регрессивная модель, сформулированная в форме знаменитой схемы пяти веков — золотого, серебряного, бронзового, века героев и железного века, к которому Гесиод относит свое время (Гесиод. Работы и дни 104—201). Наконец, в обоих случаях — как божественной, так и земной истории — мы находим циклическую модель смены поколений (богов или людей соответственно)⁷.

⁷ Как уже отмечалось в гл. 2, исторические периоды, передаваемые словом «век» в русском переводе, у Гесиода называются «поколения» (γένος); о смене поколений как об одном из главных механизмов исторических циклов см. ниже, в гл. 4, § 1.

Говоря о греческой мифологии, можно напомнить, что наряду с описанной Гесиодом регрессивной схемой истории человеческого рода в ней присутствуют и прогрессивные мотивы, выраженные в мифах об Афине, Деметре и Прометее. Во всех этих мифах говорится о первоначальном жалком существовании людей, которое позднее было облегчено благодаря наделению человеческого рода благами культуры.

Уже в первых дошедших до нас работах греческих философов отчетливо проступает идея о циклическом характере протекания процессов во времени. При этом циклический ритм рассматривался не как результат механического движения истории, связанного с какой-то природной или социальной причиной, а как проявление высшего начала. «... Для древнегреческой... культуры представление о мировом бытии в пространстве и времени было связано прежде всего с идеей порядка. Само слово „космос“ означает „порядок“» (Аверинцев 1975, с. 266). Эти воззрения проявлялись и в философских концепциях упорядоченного исторического движения, понимаемого как «круговорот веществ и душ внутри замкнутого космоса, а также вращение самого космоса» (Лосев 1977, с. 32).

Насколько позволяют судить сохранившиеся оригинальные отрывки и позднейшие пересказы, циклические схемы истории мира разрабатывались уже в VI—V вв. до н. э.⁸ В эту эпоху идея периодичности выражалась прежде всего в концепциях длительных (Великие годы) и коротких временных циклов, которые идентично воспроизводят не только мир в целом, но и каждый его элемент. В V—IV вв. до н. э. традицию циклического толкования истории мира и общества продолжали самые известные греческие философы того времени, прежде всего Платон и Аристотель (подробнее см.: Лосев 1975). Широко известна, например, описанная Платоном модель циклов форм правления (к ней мы вернемся в § 3). В III—I вв. до н. э. циклические взгляды активно отстаивали стоики. Позднее идея исторических циклов получила развитие в трудах Плотина (ок. 204/205—269/270 н. э.) и других неоплатоников, трактовавших их как

⁸ В частности, в работах философов милетской школы — Фалеса (ок. 624 — ок. 546 до н. э.), Анаксимандра (ок. 610 — ок. 546 до н. э.) и Анаксимена (ок. 585 — ок. 525 до н. э.); в трудах Пифагора (ок. 571—497 до н. э.), Гераклита Эфесского (кон. VI — нач. V в. до н. э.), Эмпедокла (ок. 483—423 до н. э.) и др.

проявление Души мира или его Разума (подробнее см. например: Brandon 1951).

Точно так же уже начиная с V в. до н. э. в работах древнегреческих авторов появляются некоторые мотивы линейного прогресса, конечно, не в виде системных теорий, а лишь в форме негативных оценок прошлого развития человечества, представлений о прогрессе науки и искусства и, наконец, в выражении надежды на улучшение⁹. При этом многие авторы сочетали прогрессивную концепцию исторического движения с циклической — типичными примерами служат работы Демокрита (р. ок. 470/460 до н. э.) и Полибия (ок. 200 — ок. 120 до н. э.).

Что касается последовательно регрессивных моделей исторического развития, то в Древней Греции они проявляются не столь отчетливо, как циклические и прогрессивные. Большая часть регрессивных взглядов так или иначе сводилась к схеме Гесиода, пользовавшейся необычайно широкой известностью.

Представления римских авторов об историческом движении носили еще более эклектический характер, чем воззрения древних греков. Историко-философские взгляды римлян формировались частично под влиянием греческих мыслителей, частично благодаря Александрийской школе; определенное воздействие оказали на них и иранские религиозные учения — зороастризм, зерванизм, манихейство и т. д. Существенное значение имели и реальные исторические и политические факторы.

В отличие от Греции, где история в значительной мере была историей отдельных полисов, история Рима была историей единого государства — от основания города, через период постепенного расширения и до превращения в гигантскую мировую державу. Это естественным образом усиливало мотивы развития, экспансии и прогресса в древнеримской историографии.

Наиболее отчетливо идея линейного исторического прогресса была сформулирована в работах Марка Теренция Варрона (116—27 до н. э.) и Тита Лукреция Кара (99/95—55 до н. э.), но ее разделяли

⁹ В разных формах мотивы прогресса выражены в надгробной речи Перикла (ок. 490—429 до н. э.) в честь павших в Пелопонесской войне, трагедиях Эсхила (ок. 525—456 до н. э.) и Еврипида (ок. 480—406 до н. э.), трудах Гиппократов (ок. 460 — ок. 370 до н. э.), Анаксагора (ок. 500—428 до н. э.) и др.

и многие другие римские мыслители¹⁰. «Прогрессивные» концепции исторического движения были весьма многочисленными и разнообразными, однако как правило не достигали уровня целостных схем. Сравнивая настоящее с прошлым, они признавали прогресс науки, искусства, форм социальной жизни и политических режимов — вспомним хотя бы известное изречение Плиния Старшего (23/24—79 до н. э.): «Пусть никто не теряет надежду, что век от века будет все лучше» (*Gaius Plinius Secundus. Naturalis historia* II, 15, 62; цит. по: Sorokin 1937—1941, v. 2, p. 366).

Очевидно, что использовавшиеся древними понятия прогресса и их смыслы существенно отличались от тех, которые сформировались в Новое время. Как полагают некоторые исследователи, главное отличие античного представления о прогрессе состояло не столько в самой идее, сколько в ее историко-политическом контексте и функциях (*Edelstein* 1967). Хотя мысль об усовершенствовании, увеличении, улучшении (*auxesis, progressus*) фигурировала издавна, она, как правило, была подчинена идее цикличности всех вещей и времен. Даже когда идея прогресса становилась элементом государственной идеологии — «цивилизующий прогресс» в античной Греции или «противодействие распаду», которым угрожали нашествия варваров, в Римской империи, — античные авторы допускали лишь частичный прогресс, предвещая рано или поздно распад (*Bracher* 1992, S. 17—18).

В периоды упадка или особой разнузданности нравов распространялись и регрессивные схемы исторического движения. Иногда они формулировались только по отношению к будущему (Лукреций, Цицерон и др.), но чаще в форме неблагоприятного сравнения настоящего с прошлым. И если воспроизведение гесиодовской регрессивной схемы смены веков в «Метаморфозах» Публия Овидия Назона (43 до н. э. — ок. 18 н. э.) можно рассматривать просто как использование популярного художественного образа, то одновременное проявление регрессивных взглядов на историю сразу у нескольких современников — Децима Юния Ювенала (ок. 60 — ок. 127 н. э.), Публия Корнелия Тацита (ок. 58 — ок. 117 н. э.) и Плиния Младшего (61/62 — ок. 114 н. э.) — было, по-видимому, неслучайно (хотя у каждого из них были для этого свои, чисто политические, мотивы).

¹⁰ Среди них можно отметить Марка Туллия Цицерона (106—43 до н. э.), Квинта Горация Флакка (65—8 до н. э.), Витрувия (I в. до н. э. — I в. н. э.), Авла Корнелия Целсы (I в. н. э.), Галена (ок. 130 — ок. 200) и др.

Циклические взгляды на историческое движение исповедовали в основном римские последователи греческих философов — стоики, софисты, неоплатоники, неопифагорейцы. Среди наиболее известных сторонников циклических концепций можно упомянуть Луция Аннея Сенеку (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.), Апулея (р. ок. 124 н. э.), Цензорина (III в. н. э.) и многих менее знаменитых авторов. Классическую формулировку концепции циклической повторяемости истории можно найти у римского императора Марка Аврелия Антонина (121—180 н. э.), который «по совместительству» был философом-стоиком: «... Все от века единообразно и вращается по кругу, и безразлично, наблюдать ли одно и то же сто лет, двести или бесконечно долго... Кто видит нынешнее, все увидел, что и от века было и что будет в беспредельности времен — ведь все однородно и единообразно» (*Марк Аврелий Антонин. Размышления* II, 14; VI, 37).

Ну и конечно, у многих римских авторов можно одновременно найти прогрессивные, циклические и регрессивные взгляды на историю, как прошлую, так и будущую, — наиболее типичными примерами являются Лукреций и Сенека.

Весьма нетривиальная картина исторического процесса, отличная от большинства мифологических концепций, сформировалась в иудаизме. Во-первых, в иудаизме не существует отдельной истории богов, которая в том или ином виде присутствует в других мифологиях (у Яхве нет ни предков, ни божественных «соплеменников»). Вся история есть история человечества (хотя и реализуемая во взаимодействии с Богом). Во-вторых, представления о форме исторического развития в иудаизме на протяжении многих веков оставались в основных чертах неизменными и у всех философов были относительно единообразны. В-третьих, образ траектории исторических изменений имел необычную геометрическую форму, а именно, нечто вроде параболы, когда настоящее рассматривается как низшая точка истории. Иными словами, применительно к прошлому постоянно использовалась регрессивная модель исторического движения, а применительно к будущему — прогрессивная.

Такая специфика видения исторического процесса была во многом обусловлена реальной историей иудеев. Традиционная регрессивная мифологическая модель прошлого, реализуемая в мифах о золотом веке и конкретизированная в иудаизме в виде жизни до изгнания из Рая (которая продолжалась, судя по всему, всего несколько часов), была подкреплена и многократно усилена реальными исторически-

ми событиями. Объективно существовавший период расцвета иудейской государственности при Давиде и Соломоне (конец XI в. — ок. 928 до н. э.) сменился длительным периодом утраты независимости, завершившимся ее полной потерей после иудейской войны с Римом в 66—73 гг. и восстания 132—135 гг., запретом для евреев под страхом смерти вступать на территорию Иерусалима.

Вся история древних иудеев — это история пленений (египетского, вавилонского, македоно-сирийского), поражений и унижений, перемежаемая относительно непродолжительными периодами улучшения: исход из Египта, упомянутый период царствования Давида и Соломона, временная независимость после восстания 142 г. до н. э.

Неудивительно, что при такой устойчивой регрессивной модели восприятия прошлого и настоящего, заданной объективными обстоятельствами, формируется столь же устойчивая прогрессивная модель будущего — в противном случае вряд ли можно было рассчитывать на сохранение национального самосознания. Именно этим объясняется столь сильное развитие мессианских мотивов в иудаизме, относительно нетипичное для большинства мифологических систем. «Мечта о возрождении своей государственности, о восстановлении Иерусалима, о возвращении к власти потомков Давида поднимается на мистический уровень: государственность, которую хотят возродить, мыслится как теократическая, а царь из рода Давида — как мессия; общая для всех деспотий Востока мифологизация царской власти переплавляется в теологию „царства божьего“» (*Аверинцев, Мейлах* 1980, с. 584).

Примечательно, что в нынешней израильской начальной школе при изложении иудейской истории вслед за эпохой Соломона сразу следует рассказ об образовании современного израильского государства и победоносных израильско-арабских войнах, что позволяет, по мнению израильских педагогов, избежать формирования традиционных еврейских комплексов в детском возрасте. При изложении же иудейской истории в старших классах этот пробел заполняется, но ее образ начинает напоминать концепции мыслителей эпохи Возрождения: исторический процесс имеет традиционный для иудаистической философии истории U-образный вид, но настоящее помещается уже не в нижнюю, а в верхнюю правую точку этой подковы, т. е. представляется как приближение к уровню некоего прошлого «золотого века» (см. выше, гл. 2, § 4).

В результате стандартную иудаистическую регрессивно-прогрессивную модель исторического развития можно, с некоторой долей условности, одновременно трактовать и как циклическую, в рамках которой присутствует идея «возврата» или «повторения». Уместно также упомянуть и о своего рода гимне циклическим представлениям, каковым является «Книга Екклесиаста»¹¹. И хотя в целом в иудаистической философии циклические образы исторического движения играют относительно небольшую роль, их существование нельзя полностью игнорировать.

С утверждением христианства характер переплетения прогрессивных, циклических и регрессивных представлений о развитии мира еще больше усложняется. В рамках формально единой доктрины оказываются совмещенными разные подходы, что обусловило многие из последующих теологических дискуссий, взаимных обвинений в ереси и церковных расколов.

Как отмечается многими исследователями, христианская концепция истории мира и человека несет в себе существенный элемент линейных воззрений, которые задаются начальной и конечной точками отсчета эсхатологической концепции. Начальной и конечной точками истории человечества в теологических трактатах считались моменты утраты благодати и ее предстоящего обретения: Рай до изгнания Адама и Евы и Град Божий после Страшного Суда. Между ними пролегает некий континуум мирской истории, где есть относительные спады и подъемы, но, главное, существует точка, делящая историю на два качественно разных отрезка — до и после Воплощения Господа (подробнее см., например: *Brabant* 1937; *Barr* 1962; *Cullmann* 1964, *Аверинцев* 1975 и др.).

В широком смысле такое видение истории не было ни прогрессивным, ни регрессивным. Строго говоря, в этой концепции не было исторического движения как такового, и по существу она была статичной. Для эсхатологической ментальности история мира и человечества имела сравнительно небольшое значение, как преходящее, временное явление; сторонники этой точки зрения не интересовались ходом событий мирской жизни и не пытались выявить прогрессивные,

¹¹ Ср.: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: „смотри, вот это новое“; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:9—10).

регрессивные или циклические тенденции исторического движения. Условно можно считать, что вся земная история рассматривалась ими как настоящее, как мгновение между прошлым и будущим в божественной «вечности».

Подобные статичные или «экстемпоральные» представления об истории мира сформулировали еще первые христианские теологи — Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (ок. 160 — после 220), Св. Августин (354—430), Орозий (ок. 380 — ок. 420) и др. Особую роль в утверждении этих взглядов сыграла так называемая александрийская школа: «Продолжая традиции эллинистического толкования мифов и поэтических текстов, основанная Оригеном александрийская школа христианского богословия разработала метод аллегорической интерпретации „священной истории“... — подход к событию, совершающемуся во времени, как к иносказанию о смысле, пребывающем вне времени» (*Аверинцев* 1975, с. 273).

В дальнейшем стремление утвердить статичный образ мира распространяется и на некоторые элементы общественной жизни. Подобные попытки особенно отчетливо проявляются начиная с XIII в. До этого времени вечность, подразумевавшая неизменность и статичность, полагалась атрибутом одного Бога. Введенное Св. Фомой Аквинским (1225/1226—1274) промежуточное между «временем» (*tempus*) и «вечностью» (*aeternitas*) понятие «век» (*aevum*) открыло возможности для утверждения непреходящего характера и постоянства некоторых общественных институтов. Прежде всего этой возможностью воспользовалась Церковь, провозгласив себя институтом, неподвластным разрушительному влиянию земного времени. Вслед за этим и представители светской власти попытались изменить господствовавший в то время образ преходящего характера земной власти, циклической смены государств и правителей и выдвинули тезис о том, что государство также не подвержено изменениям (см., например: *Kantorowicz* 1964, p. 273 ff).

Но статичная концепция истории мира была далеко не единственной в христианском мировоззрении, в нем также присутствовали отчетливо выраженные регрессивные мотивы. Средневековое мышление и мироощущение были пронизаны глубоким пессимизмом. Начиная со Св. Августина, предложившего схему шести «возрастов мира», и в бесчисленном ряду последующих произведений проводилась идея *mundus senescit* (старения мира). «Стареющий мир усы-

хает, уменьшается в размерах, уподобляясь, говоря словами Данте, „плащу, который быстро укорачивает своими ножницами Время“. Учитель в „Светильнике“ говорит ученику, которого интересуют подробности конца света: „Люди станут меньше ростом, чем мы, потому что и мы не столь высоки, как древние“» (цит. по: *Ле Гофф* 1992 [1964], с. 159).

Регрессивная модель часто применялась не только к прошлому, но и к будущему — унаследованное от иудаизма традиционное ожидание наступления Царства Божьего во многих случаях трансформировалось в ожидание конца света и Страшного Суда, придавая будущему апокалиптический характер.

Тем не менее страх перед будущим и вневременной пессимизм Средневековья, покоившиеся на образе вечности, не исключали совершенно попыток оценить настоящее и будущее в терминах прогресса. Особое место здесь занимают труды византийских теологов, от Псевдо-Дионисия Ареопагита (V в.), затем Максима Исповедника (ок. 580—662) и до Григория Паламы (1296—1359). У византийцев «образ мира членится во времени и в пространстве на две части, и части эти неравны по своему достоинству; их отношение иерархично. У времени два яруса: „сей век“ и превосходящий его „будущий век“» (*Аверинцев* 1975, с. 280).

В католицизме первые попытки бросить вызов прошлому и дать надежду на будущее возникают в XII—XIII вв.¹² Но в то время «прогрессивные» мотивы еще тесно переплетаются с «регрессивным» подходом к истории. Как отмечает Ж. Ле Гофф, принимая схему возрастов мира и диагноз о наступившей старости, католические теологи, например Св. Бонавентура (1221—1274), начинают подчеркивать преимущества старческого возраста с точки зрения приумножения человеческих знаний (*Ле Гофф* 1992 [1964], с. 164).

Смешанное прогрессивно-регрессивное видение истории воплотилось, например, и в известном сравнении Бернара Шартрского (XII в.), уподобившего себя и своих современников карликам, стоящим на плечах гигантов. Таким образом, эта идея была высказана как минимум за пять столетий до Ньютона, которому обычно приписывается ее авторство (подробнее см.: *Merton* 1965).

¹² Некоторые намеки на прогрессивные идеи можно найти, в частности, в работах Гуго Сен-Викторского (ок. 1096—1141), Св. Бернара Клервосского (1091—1153), Иоахима Флорского (ок. 1132—1202), Св. Фомы Аквинского (1225/1226—1274), Роджера Бэкона (ок. 1214—1292) и др.

В работах большинства мыслителей этого периода «прогрессивные» представления об историческом движении выражались не столько в форме целостных концепций, сколько в виде отдельных высказываний или осторожных «дополнений» и «уточнений». Одно из немногих исключений — схема, предложенная Иоахимом Флорским, обвиненным, впрочем, в ереси. Согласно Иоахиму, мировая история делится на три «мировых состояния»: прошлую эру Ветхого Завета (эру Отца), нынешнюю эру Нового Завета (эру Сына) и будущую эру «Вечного Завета» (эру Святого Духа), каждая из которых превосходит предыдущую (мы вернемся к этой схеме в § 3).

Наконец, в христианстве можно выделить и отчетливые циклические концепции исторического движения, имеющие в своей основе как минимум четыре компонента.

Первый из них — это циклические мотивы, унаследованные от иудаизма и связанные прежде всего с трактовкой будущего конца света как возвращения к исходному божественному состоянию (о христианском учении как концепции одного мирового цикла см.: *Cairnes* 1962).

Другой вариант «циклизма» был унаследован христианством от греческой философии. Циклические концепции исторического движения, выражавшиеся обычно в идее последовательной смены «миров» или «эонов», разрабатывали главным образом ранние христианские философы¹³. Позднее подобные мотивы можно обнаружить у Иоанна Скота Эриугены (ок. 810 — ок. 877).

Третья основа циклических воззрений в христианстве связана с влиянием астрологических теорий, издревле популярных на Ближнем и Среднем Востоке. В период становления христианского учения влияние астрологических циклических концепций и различного рода «сакральных чисел» особенно заметно проявлялось (наряду с эллинистическими образами космоса) в трудах гностиков II в. — Валентина, Василида и др.

Новый всплеск интереса к астрологическим циклам возник в XII—XIV вв. благодаря влиянию арабов, которые принесли с собой в Европу не только тексты древних авторов, прежде всего Аристотеля, но и восточную астрологию. На протяжении XII—XIV вв. теории

¹³ Например, у Тита Флавия Климента (Александрийского) (ок. 150 — до 215), Оригена (ок. 185—253/254), Евсевия Кесарийского (260/265—338/339) и некоторых других (см.: *Брагинская* 1975).

циклического развития становились все более разработанными, а в их основе все чаще оказывались астрологические концепции. Циклы и периодичность в истории мира и человека определялись влиянием небесных тел, которое связывалось либо с волей Божьей, либо — и эта тенденция проявлялась все четче — с имманентными законами их собственного движения. Так объяснялись рождения, смерти, браки, болезни, формы правления, чередования войны и мира, катастрофы и периоды процветания, перевороты, кризисы и другие социальные процессы.

Наконец, четвертая основа «циклизма» в христианстве уже не связана с посторонними влияниями и является собственным изобретением христианских теологов. Речь идет о сопоставлении двух частей Библии — Ветхого и Нового Завета¹⁴ — и поиске так называемых «параллельных мест», которым занимались многие поколения христианских философов начиная с Оригена. Иногда подобные изыскания вели к распространению идеи о воспроизведении ветхозаветной истории в новозаветной, вплоть до установления параллелей между Иисусом Навином и Иисусом Христом (подробнее см.: *Бицилли* 1995 [1919], с. 147 ff).

В целом циклические трактовки истории мира были широко распространены среди раннехристианских авторов до IV в. Затем на несколько веков возобладала жесткая «антициклическая» позиция Св. Августина, против которой решались выступать лишь отдельные еретики типа Эриугены. Ситуация начала меняться только в XII в., который иногда называют «первым Возрождением». С этого времени поток работ, в которых развивались те или иные циклические мотивы — будь то эллинистические, астрологические или какие-либо иные, — начал быстро нарастать¹⁵.

Попытки преодоления эсхатологического финализма христианских темпоральных воззрений с помощью циклических концепций

¹⁴ Напомним, что в иудаизме «завет» означает не «наказ» или «завещание», а «союз» или «договор», заключенный Яхве со своим народом (см.: *Аверинцев, Мейлах* 1980).

¹⁵ Циклическими идеями увлекались (грешили?) Аделард из Баты (ум. ок. 1110), Пьер Абеляр (1079—1142), Гуго Сен-Викторский (ок. 1096—1141), Иоахим Флорский (ок. 1132—1202), Св. Фома Аквинский (1225/1226—1274), Роджер Бэкон (ок. 1214—1292), Сигер Брабантский (ок. 1235 — ок. 1282), Уильям Оккам (ок. 1285—1349) и множество других менее известных авторов.

предпринимались не только в Западной Европе, но и в Древней Руси: так, еще во второй половине XV в. бытовало устойчивое представление о приближающемся конце света, который должен был наступить по истечении 1492 г. н. э. Конец света представлялся столь неминуемым, что пасхалии рассчитывались только до этого года. «Далее пасхалии не составлялись — время не предвиделось и, следовательно, жизнь не планировалась» (*Успенский* 1996, с. 105, сн. 5).

Датировка «конца света» базировалась на принятой в то время на Руси системе летосчисления, в соответствии с которой 1492 г. от Рождества Христова был 7000 годом от Сотворения мира (подробнее см. выше, гл. 2, § 3). При этом на основе библейских текстов, согласно которым «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петр 3:8; ср.: Пс. 89:5), седьмое тысячелетие отождествлялось с седьмым божественным днем, субботой Господней, которой кончается история. Но в 1492 г. глава русской церкви, митрополит Зосима, составляет «Изложение пасхалии», предвещающее наступление нового, восьмого, тысячелетия существования мира. Это сочинение начинается с рассуждений о «завершении одного временного цикла и начале другого цикла, который в некотором смысле повторяет первый» (*Успенский* 1996, с. 94).

Постепенно на смену попыткам преодоления эсхатологического финализма с помощью циклических концепций стало приходить иное историческое видение — история мира начинает превращаться в историю общества.

2. Новое время: история общества

Качественно новое представление о циклическом характере исторического развития сформулировали, развили и утвердили представители эпохи Возрождения. В отличие от античной традиции, цикл уже не рассматривался как движение по кругу. Речь шла не о слепом и изначально предопределенном повторении, а лишь об уподоблении античности, о более или менее осознанной попытке приблизиться к вершинам античного искусства и культуры (см. например: *Баткин* 1989, с. 42—47).

Возникновение циклического образа исторического движения поставило перед общественной мыслью вопрос о причинах Возрождения. Ответ был найден в утверждении, что расцвет и увядание являются всеобщим законом природы, распространяющимся и на

общество. Позднее ответ подвергся уточнению: подъемы и спады в развитии цивилизаций определяются поведением людей, которые в одни периоды приближаются к природе, детерминируя тем самым фазу подъема, а в другие отдаляются от нее, обрекая себя на упадок. Идея совместимости линейного развития с циклическим отрицалась тезисом о существовании верхнего предела, тоже определенного природой и достигнутого якобы уже в античное время. Поскольку превзойти его нельзя, не только цикл развития, но и его амплитуда уже заданы исторически установленными рамками, и Возрождение способно только приблизиться к уровню духовных завоеваний античности, но не превзойти его.

Доминирование прогрессивных схем исторического движения сказывалось и на альтернативных подходах к историческому развитию, в частности, на циклических моделях. Конечно, астрологические интерпретации истории все еще продолжали пользоваться популярностью¹⁶. Но наряду с этим и все более отчетливо начинают звучать иные, неастрологические концепции исторических циклов. Одним из наиболее ярких примеров стала «История Флоренции» Никколо Макиавелли, в которой он пытался представить цикличность как универсальный закон, управляющий не только историей государств, но самыми разными сторонами жизни общества (см.: Макиавелли 1973 [1532], кн. V).

Неастрологические циклические модели развития общества появляются в XVI в. в работах Жана Бодена (1530—1596), Джордано Бруно (1548—1600), Томмазо Кампанеллы (1568—1629), Фрэнсиса Бэкона (1561—1626). Однако быстрое развитие техники и научного знания уже в XVI в. наглядно продемонстрировало существенное отличие новой эпохи от античной, и уже у перечисленных авторов циклические воззрения активно совмещаются с линейной прогрессивной концепцией истории.

Рационалистическое мировоззрение, отвергнув идею близости к природе как фактора эволюции общественных процессов, по-иному поставило проблему отношений между циклическими и линейными образами движения истории. Каждый, кто претендовал на со-

¹⁶ В частности, в XV в. астрологические концепции исторических циклов развивал Николай Кузанский (1401—1464), а в XVI — начале XVII в. — датчанин Тихо Браге (1546—1601), немец Иоганн Кеплер (1571—1630), итальянец Галилео Галилей (1564—1642) и многие другие выдающиеся ученые.

здание глобальной исторической теории, должен был преодолеть сопротивление исторического материала и решить этот сложный философский вопрос, который приобретал форму «или — или».

С конца XVI — начала XVII в. в Европе все шире распространяется представление о прогрессивной направленности общественного развития. Диалектика упадка и прогресса, конечно, не ограничивается только Новым временем¹⁷, но только Новое время почти идентифицировало себя с идеей прогресса.

На протяжении XVI—XVII вв. идеи прогресса все сильнее овладевали умами мыслителей — начиная с Лютера и кончая Гюйгенсом, Декартом и Лейбницем. Типичными в этом смысле являются, например, рассуждения Ф. Бэкона. «Что же касается древности, то мнение, которого люди о ней придерживаются, вовсе не обдуманно и едва ли согласуется с самим словом. Ибо древностью следует почитать престарелость и великий возраст мира, а это должно отнести к нашим временам, а не к более молодому возрасту, который был у древних. Этот возраст по отношению... к самому миру — нов и менее велик. И подобно тому, как мы ожидаем от старого человека большего знания и более зрелого суждения о человеческих вещах, чем от молодого, по причине опыта и разнообразия и обилия вещей, которые он видел, о которых он слышал и размышлял, так и от нашего времени, если только оно познает свои силы и пожелает испытать и напрячь их, следует ожидать большего, чем от былых времен, ибо это есть старшее время мира, собравшее в себе бесконечное количество опытов и наблюдений» (Бэкон 1977—1978 [1620], с. 45—46).

В 1744 г. Вольтер опубликовал работу «Новые размышления об истории», в которой выступил одним из провозвестников буржуазной теории прогресса. Основную задачу своей «Всемирной истории» Вольтер видел в том, чтобы показать, «через какие ступени люди пришли от грубого варварства прежних времен к культуре нашего»

¹⁷ Концепция прогресса рассматривается иногда как разновидность необычайно устойчивой во времени идеи девелопментализма, последовательно воплощающейся в древнегреческой мысли, теодицее Св. Августина, а в XIX—XX вв. — в эволюционном функционализме Г. Спенсера и функциональном эволюционизме Т. Парсонса (Martins 1974, p. 273). Но, на наш взгляд, с XVII в. рассуждения о прогрессивной направленности общественного развития приобрели качественно иное содержание, даже если внешне они и выглядели сходно с прогрессивными концепциями античных и средневековых авторов.

(*Voltaire* 1877—1885, v. 24, p. 547). Главным двигателем исторического процесса Вольтер считал совершенствование человеческого разума, главными препятствиями на его пути — суеверие, религиозный фанатизм, невежество. Развитие человечества, по его представлениям, осуществляется в тяжелой борьбе этих двух сил. «В конечном счете дух просвещения берет верх. Европа теперь более населена, более цивилизована, более богата, чем в период, например, Карла Великого и даже в римские времена» (*Voltaire* 1877—1885, v. 13, p. 283).

В явном виде идея общественного прогресса была впервые сформулирована А. Тюрго в лекции «Последовательные успехи человеческого разума», прочитанной в Сорбонне в 1750 г. Рассматривая развитие общества как закономерное поступательное движение по восходящей линии, Тюрго признавал, что бывают времена упадка, кровавых войн, великих бедствий, но это не меняет того, что «вся масса человеческого рода, переживая попеременно спокойствие и волнения, счастливые времена и годы бедствия, всегда шествует, хотя медленными шагами, ко все большему совершенству» (*Тюрго* 1937 [1750a], с. 52). Всемирная история — это «рассмотрение последовательных успехов человеческого рода и подробное изучение вызвавших их причин» (*Тюрго* 1937 [1750b], с. 78). Прогресс для Тюрго был не только фактом, определявшим будущее развитие, он был принципом существования человека в противоположность естественному порядку. Отсчет этой новой эры начинался с резко обозначенного рубежа между прошлым, на которое не распространяется принцип улучшения, и будущим, где совершенству нет преград.

Концепция линейного прогресса завоевала господствующие позиции в философии, политических науках, социальной теории. Ее развивали Б. Фонтенель, Ш. Монтескье, Вольтер, Д. Юм, А. Смит, энциклопедисты, Ж. Кондорсе, Г. Лессинг, И. Гердер, И. Кант. Вера в нее не только определяла дух эпохи, она вселяла надежду в размышляющего индивида, задавала координаты индивидуального мироощущения. Приговоренный правительством Робеспьера к смертной казни, Кондорсе, которому на некоторое время удалось скрыться, пишет одно из самых оптимистических историко-философских сочинений — «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума», задача которого состояла в том, чтобы показать «путем рассуждения и фактами, что не было намечено никакого предела в развитии человеческих способностей, что способность человека к совершенствованию действительно безгранична...» (*Кондорсе* 1936 [1794], с. 5).

Идеология Просвещения, механически делившая историю на иррациональное прошлое и рациональное будущее, была развита И. Кантом, трактовавшим смысл всеобщей истории как процесс саморазвития человеческого духа, благодаря которому человеческая раса постепенно становится все более рациональной и потому все более свободной. Р. Коллингвуд суммировал «кантовскую идею» в четырех положениях: 1) *Универсальная история* — это достижимый идеал, но его реализация требует союза исторической и философской мысли: факты должны быть не только рассказаны, но и поняты, увиденны не только извне, но и изнутри. 2) Она предлагает *план*, т. е. в ней обнаруживается прогресс, в ней можно увидеть нечто такое, что возникает и развивается неуклонно и последовательно на каждом ее этапе. 3) Этим объектом, развивающимся в ходе исторического процесса, оказывается *человеческая рациональность*, т. е. интеллект, нравственная свобода. 4) Средством же, благодаря которому она осуществляется, оказывается *человеческая иррациональность*, т. е. страсти, невежество, эгоизм» (*Коллингвуд* 1980 [1946], с. 100). Однако, несмотря на упования Канта на будущее, применительно к задачам истории он подчеркивал, что цель прогресса не в будущем, а в настоящем, ибо в настоящем совершается история. «Задача историка состоит в том, чтобы показать, как возникло настоящее: он не может показать, как возникнет будущее, ибо не знает, каким оно окажется» (цит. по: *Коллингвуд* 1980 [1946], с. 101).

В XVIII—XIX вв. идея прогресса становится господствующей. Ее усваивают не только мыслители, но и широкие слои. «Обиходное понятие о прогрессе есть понятие телеологическое, — писал Г. Спенсер. — Все явления рассматриваются с точки зрения человеческого счастья» (*Спенсер* 1866 [1857], с. 2). Идея прогресса стала верой и в конце концов догмой и начала служить легитимации политических действий, господства и власти. Путь к идеологизации общественной жизни оказался открытым. «Великие Обещания Безграничного Прогресса — предчувствия господства над природой, материального изобилия, наибольшего счастья для наибольшего числа людей и неограниченной личной свободы — питали надежду и веру поколений с самого начала индустриального века», — писал Э. Фромм (*Фромм* 1986 [1976], с. 32).

Представления об историческом развитии, утвердившиеся в конце XIX в., радикально отличались от понятия прогресса в философии Просвещения. Просветители как раз в прогрессивности истории

видели черту, отличающую ее от природы, которую полагали статичной. Напротив, эволюционистская метафизика конца XIX в. считала, что все процессы, развертывающиеся во времени, прогрессивны по своему характеру как таковые и что история прогрессивна просто потому, что она представляет собой последовательность событий во времени. Таким образом, исторический прогресс, с точки зрения тогдашних философов истории, был лишь одним из случаев эволюции природы.

Развитие идеи прогресса в XIX в. было неразрывно связано с эволюционизмом. Строго говоря, существовало две разновидности эволюционизма — «социологический» и «биологический» (дарвинистский). Социологический эволюционизм был «теорией онтогенеза, в которой человеческое сообщество рассматривалось как единственное уникальное целое, тогда как дарвинизм был теорией филогенеза, в рамках которой исследовалось происхождение особей или видов» (Штомпка 1996 [1993], с. 136).

Первое направление, игравшее доминирующую роль в XIX в., ассоциируется прежде всего с именами О. Конта и Г. Спенсера. Сформулированные ими идеи надолго определили направление развития всех социальных наук, ориентируя бесчисленные специальные теории на линейные принципы эволюции общества, и одно время угрожали свести почти всю социологию и другие социальные науки к бесконечным вариациям на тему социального прогресса, его стадий, тенденций, особенностей каждой стадии, уровня, достигнутого тем или иным обществом, и т. д.

В философии позитивизма прогресс человечества рассматривался как результат простого развития основного порядка, который по необходимости содержит в себе зародыш всех возможных успехов. Антропологи, социологи, историки, экономисты, философы, политологи, даже теологи создавали теории эволюции человека и человечества, трактуя ее как движение от невежества к науке, от инстинкта к разуму, от беспорядка к порядку, от нищеты к высоким стандартам потребления, от фетишизма к монотеизму, от деспотизма к свободе, от общины к обществу, от механической солидарности к органической, от неравенства к равенству. При этом считалось, что исторический прогресс наличествует только в Европе и, следовательно, только там человеческая жизнь приобрела подлинно исторический характер.

Как отметил А. Камю в «Бунтующем человеке», «Коммунистический манифест» вышел в свет в том же году, что и «Будущее науки» Ренана. «Этот труд, скучноватый с точки зрения современного читателя, дает, однако, исключительно четкое представление о почти мистических надеждах на будущее, пробужденных в XIX в. развитием промышленности и поразительными успехами науки» (Камю 1990 [1951], с. 268). А Коллингвуд даже советовал «покопаться в самых неаппетитных отходах третьеразрядного исторического труда», для того чтобы понять, сколь всесильной оказалась догма прогресса. В пример он приводил известную в конце века книгу Р. Маккензи, в которой история XIX в. представала как триумф идеи общественного прогресса (Коллингвуд 1980 [1946], с. 139).

Вместе с тем нельзя не отметить и наличие регрессивных концепций исторического развития, которые проявлялись в Новое время в нескольких формах. Об одной из них пишет, в частности, С. Токарев: «Продолженный в христианском учении о земном рае, утерянном первыми людьми, миф о золотом веке оказал сильнейшее влияние и на европейскую науку Нового времени. Когда европейские мореплаватели в эпоху Великих географических открытий столкнулись с жителями внеевропейских стран, жившими первобытнообщинным строем... они зачастую воспринимали их быт как подтверждение знакомой картины библейского рая — золотого века. Отсюда идея о „добром дикаре“, живущем по разумным законам природы. Эта идея часто встречается в литературе XVI в. (П. Мартир, М. Монтень и др.), в XVII в. (Ж. дю Тертр), XVIII в. (Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Г. Гердер) и даже у ученых XIX в., склонных идеализировать „естественное“ состояние древнего человечества (Л. Морган, Н. Зибера и др.)» (Токарев 1980, с. 472).

Следует упомянуть и о втором, «биологическом», ответвлении эволюционизма. Одним из первых его использовал для обоснования регрессивной схемы развития человечества Т. Мальтус. В XIX в. его идеи не получили большого распространения, но в XX в., особенно в 1960—70-е годы, вариации на тему «биологического эволюционизма» и соответствующие концепции регресса человечества как биологического вида приобрели весьма широкую популярность.

Еще один пример регрессивных воззрений — идеи, воплощенные первоначально в историографии консервативного романтизма, идеологии европейского клерикально-монархического движения. Так, Ж. де Местр

идеально упорядоченным обществом считал средневековую Европу XII—XIII вв., предлагая реставрировать теократический конгломерат государств, объединенных духовным авторитетом папы («О Папе римском», 1819). Еще в 1796 г. вышел знаменитый антиреволюционный трактат де Местра «Суждения о Франции». В том же году Л. де Бональд издал «Теорию политической и религиозной власти», Ф. де Шатобриан — «Исторический, политический и моральный опыт о революциях древних и новых, рассмотренных в связи с современной французской революцией». В этом же ряду — Ф. де Монлозье и Э. Берк. Наиболее яркое проявление консервативный романтизм получил в Германии. Его выразителями стали писатели Л. Тик, Новалис (Фридрих Филипп фон Гарденберг) и Э. Гофман, для произведений которых характерно погружение в ирреальный мир фантазии, чудес, мистических переживаний, идеализация старины, культ Средневековья, иррациональный способ постижения действительности.

Идеология консервативного романтизма и большая часть последующих идейных течений, отрицающих значимость прогресса, исходили из одного корня — из неприятия образа жизни, который навязан обществу капиталистическим способом производства, убожеством его религии наживы и индивидуального успеха (*laissez-faire* Т. Карлейль назвал «свинской философией»).

Идея общественного прогресса вызывала возражения не только у представителей консервативной аристократии, но и у так называемых социальных критиков: Э. Золя, Г. Ибсена, Б. Шоу, американских «разгребателей грязи» и др.

В антипрогрессистском ключе рассуждали, конечно, Ф. Ницше, О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет, З. Фрейд. «Человечество не развивается в направлении лучшего, высшего, более сильного — в том смысле, как думают сегодня, — писал Ницше. — „Прогресс“ — это просто современная, т. е. ложная идея. Европейец наших дней по своей ценности несравненно ниже европейца Ренессанса; поступательное развитие отнюдь не влечет за собой непременно возрастания, возвышения, умножения сил» (Ницше 1989 [1888], с. 20).

Однако если в начале XX в. антипрогрессистские взгляды были уделом или привилегией элитарного меньшинства социальных мыслителей, то трагический опыт 1914—1945 гг. породил волну пессимизма относительно хода исторического развития. Тем не менее нельзя сказать, что эта волна деморализовала западное общество.

Как пронизательно заметил Р. Хайлбронер, сомнения в прогрессивности истории не породили настроений отчаяния. «Наоборот, мы видим удивительные примеры личной убежденности и стойкости, и европейский дух, во всяком случае на поверхностный взгляд, полон решимости. Недостатка в личном оптимизме нет. Но нет исторического оптимизма» (Heilbroner 1961, p. 47—48).

При доминирующем положении «прогрессивного» видения исторического процесса в XVIII — первой половине XIX в. все же присутствовали и некоторые представления о циклическом характере развития. Во-первых, сохранялись мотивы эпохи Возрождения, утверждавшие повторение античных традиций после «мрачного Средневековья». Во-вторых, продолжали существовать и различные астрологические концепции — их поток практически не иссякал. Наконец, циклические схемы время от времени появлялись в трудах некоторых философов.

В XVIII в. одной из немногочисленных, но ставшей широко известной попыткой совместить идеи циклического кругооборота («возвращения человеческих вещей») и линейного развития («поступательного движения наций») явилось сочинение Дж. Вико «Основания новой науки об общей природе наций» (Вико 1994 [1725]). В качестве другого примера можно упомянуть работу Г. Форстера «Руководящая нить будущей истории человечества» (1789), в которой он уподоблял развитие отдельных цивилизаций циклам жизни человека — от рождения до смерти, — опять-таки пытаясь совместить циклическую модель с линейно-прогрессивной.

Довольно явственно циклические мотивы звучат и у Г. Гегеля в «Лекциях по философии истории». Наряду с общей линейной схемой всемирной истории, состоящей из четырех стадий (на этой схеме мы остановимся более подробно в § 2), Гегель выделял три периода внутри высшей, четвертой стадии — «Германского мира». Первый период — от переселения народов и завоевания Рима германскими племенами (V в.). Второй период — от коронации франкского короля Карла Великого (742—814, франкский король с 768) папой на империю в 800 г., заканчивается во времена Карла V (1500—1558, император Священной римской империи германской нации в 1519—1556). Третий период Германского мира начинается в первой половине XVI в., в эпоху Реформации.

По мнению Гегеля, периоды истории Германского мира можно сравнить с царством Отца, Сына и Святого Духа. При этом, поскольку

Германский мир есть царство целостности, мы находим в нем повторение прежних эпох. Эпоху Карла Великого можно сравнить с персидским царством, эпоху до Карла V — с Греческим миром, а третью эпоху — с Римским миром (*Гегель* 1929—1958 [1837], с. 318—322).

Но хотя циклические концепции развития общества уже присутствовали в философской мысли конца XVIII — начала XIX в., их подлинный расцвет начался лишь в середине прошлого века. Пожалуй, главную роль здесь сыграли экономические исследования. Именно интерес к проблеме экономических циклов послужил, как нам кажется, отправной точкой для возрождения представлений о циклическом характере исторического процесса. Благодаря К. Жугляру и К. Марксу проблема циклов все больше занимает умы экономистов, и к XX в. в представлениях об экономическом развитии соответствующие теории начинают играть не менее важную роль, чем концепция прогресса. Характерно, в частности, что если у представителей немецкой историко-экономической школы в XIX в. мы практически не находим циклических мотивов, то у В. Зомбарта и А. Шпитгофа обсуждение идеи циклов занимает уже самое существенное место.

В конце XIX — начале XX в. с новой силой расцветают и астрологические циклические теории, модифицированные с учетом космических и природных факторов. И, наконец, в первой половине нашего века состоялся своего рода «прорыв» циклических концепций в историческую науку. Этот прорыв осуществлялся по двум направлениям.

Представителей первого — О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина — можно объединить весьма условно. От событийной истории эти «энциклопедисты XX в.» сделали скачок к истории цивилизаций и, продолжая традиции Дж. Вико, предложили оригинальные схемы исторического развития (*Шпенглер* 1993 [1918]; *Тойнби* 1991 [1934—1961]; *Sorokin* 1937—1941)¹⁸. Эту же традицию развивал Л. Гумилев (*Гумилев* 1990 [1979]).

¹⁸ Наиболее ярким «циклистом» был П. Сорокин, который доказывал наличие длительных, продолжительностью около 500 лет, циклов в развитии «культур» (*Sorokin* 1937—1941). Наряду с этими большими циклами, по мнению Сорокина, в развитии общества можно наблюдать огромное количество других циклов, отличающихся разной протяженностью, структурой и т. д. Они могут быть синхронными и диахронными, «охватывающими и охватываемыми», двух-, трех- и четырехфазными, и проявляться в самых разных сферах — политике, искусстве, экономике и т. д.

Второе направление, способствовавшее распространению циклических моделей развития общества в первой половине нашего века, в основном связано со школой «Анналов», и прежде всего с работами Ф. Броделя (подробнее см. ниже, гл. 4).

Но популярность работ Шпенглера, Тойнби, Броделя и их громкий успех у «широкой читающей публики» отнюдь не свидетельствовали о доминировании циклических взглядов в философии истории XX в. (см., например: *Гайденок* 1969). «Прогрессивный» подход сохранял прочные позиции до 70-х годов нашего века («осевое время» К. Ясперса, стадийные схемы У. Ростоу, О. Тоффлера, Д. Белла и многих других — подробнее см. ниже, § 3).

* * *

В последние десятилетия в борьбу между прогрессивными, циклическими и регрессивными концепциями исторического движения вторгаются новые мотивы. Идея прогресса вызывает все больше сомнений. В частности, и либеральная идеология, и экосоциализм на Западе основаны на отрицании его позитивности. Но и циклические схемы также стали утрачивать свою популярность.

«Прогресс» и «регресс», «развитие» и «статика» — все эти оппозиции характерны для мышления Нового времени. Но не переживает ли европейская цивилизация этап, когда само «Новое время» истекает? В частности, хронософия постмодернизма предлагает совершенно новое отношение к прошлому и к истории как к общечеловеческому «архиву». Все его элементы могут извлекаться и произвольно комбинироваться отдельным исследователем в рамках доминирующего направления общественной мысли, культурной и теоретической «моды», а то и просто в силу прагматической потребности. Между «архивом» и актуальным временем нет резкой границы, ибо в постмодернистском дискурсе исчезают стилистические различия, определявшие в предшествующей истории хронологические рамки эпох и периодов. Все сосуществует в одном времени и пространстве: барокко и классицизм, готика и ренессанс, модернизм и постмодернизм. В конце века происходит своего рода возврат к эклектике начала века, но уже на иных основаниях: возвращается не художественный стиль, а потребительское отношение к нему как к материалу собственной истории со стороны личности, живущей «в

конце времен». Исследователь-постмодернист располагает этим багажом: он играет с ним, он комбинирует его содержимое по собственному усмотрению, ставит мысленные и компьютерные эксперименты с непройденными путями в собственном прошлом, настоящем и будущем. Тем самым он стирает грани между ними, по крайней мере в своем творческом воображении.

Но кто с кем в данном случае играет, человек с временем или время с человеком, сегодня определить невозможно. Не исключено, что в данном случае имеет место не случайный зигзаг историософской мысли, а новая тенденция, усложняющая представление о прошлом человека, общества, мира. Об этом можно будет судить, когда и это время пройдет.

§ 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ И УТОПИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

*Партия торжественно провозглашает:
нынешнее поколение советских людей будет
жить при коммунизме!*

Программа Коммунистической партии
Советского Союза, 1961 г.

В историософских построениях будущее связано с прошлым как минимум двумя способами: прошлое рассматривается как ориентир для будущего, а будущее выступает как фактор, формирующий прошлое. Первая зависимость, утверждающая значение прошлого опыта для грядущих поколений, — очень древняя. Еще Фукидид (ок. 460 — ок. 404/400) писал о своем сочинении, что его «сочтут достаточно полезным все те, которые пожелают иметь ясное представление о минувшем, могущем по свойству человеческой природы повториться когда-либо в будущем в том же самом или подобном виде» (Фукидид. История I, 22).

Вторая зависимость, рассматривающая будущее как фактор формирования прошлого, предполагает гораздо более сложное отношение времен. Еще несуществующее вторгается в пределы уже несуществующего и видоизменяет его.

Моделирование будущего — это явление, характерное для Нового времени. Средневековая история, окаймленная вечностью, путала прошлое, настоящее и будущее, а средневековый человек, в том чис-

ле и историк, существовал преимущественно в настоящем. Об этом свидетельствуют не только тексты, не только язык, на котором разговаривали герои исторических сочинений, но и долго сохранявшийся анахронизм костюмов в изобразительном искусстве и в театре¹⁹.

Однако мнение, согласно которому у человека Средневековья не было будущего, является сильно упрощенным, если не сказать — ошибочным. Средневековый человек не полагал себя способным творить будущее или управлять им, и даже планировать его, но представления о будущем у него, безусловно, были. Как отмечал П. Бицилли, они сводились к двум основным разновидностям — хилиазму (миллениаризму) и эсхатологии²⁰, граница между которыми была достаточно условной: «Эсхатологические и хилиастические представления взаимно влияют друг на друга; небо и земля в дали будущего сливаются вместе и обмениваются своими красками» (Бицилли 1995 [1919], с. 157).

Конечно, эти образы формировались прежде всего теологами и официально утверждались (или отрицались как ересь) Церковью. Но наряду с многочисленными «официальными» вариантами буду-

¹⁹ Так, Р. Козеллек подробно описывает грандиозное батальное полотно немецкого художника Альтдорфера, написанное в 1529 г. по заказу баварского герцога Вильгельма IV и изображавшее сражение между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария при Иссе в 333 г. до н. э. На этой картине (для создания которой Альтдорфер внимательнейшим образом изучал описание битвы, данное римским историком I в. н. э. Квинтом Курцием Руфом, чтобы представить число людей, участвовавших в битве, количество пленных и погибших) воины Александра напоминают рыцарей императора Священной Римской империи Максимилиана I (1459—1519), а персы выглядят точь-в-точь как турки, которые как раз в год создания картины потерпели поражение при осаде Вены. Немецкий историк Ф. Шлегель, который три века спустя увидел эту картину и был потрясен, «созерцая это чудо», заметил, что для него три века, отделяющие его от Альтдорфера, оказались куда более долгими, чем для последнего 18 веков, пролежавшие между ним и Александром Македонским (см.: Koselleck 1985 [1979], р. 3—5).

²⁰ Хилиазм или миллениаризм — учение о грядущем лучшем времени, «субботе Божией на земле», тысячелетнем земном царстве Христа; эсхатология — учение о конце света. Разработка обоих вариантов представлений о будущем особенно активизировалась в XII в., в частности в работах Св. Бернара Клервосского (1091—1153), его современника Исаака из Стеллы, Гонория Отенского (ум. 1152), Оттона Фрейзингенского (ум. 1158), Иоахима Флорского (ок. 1132—1202) и др. (см.: Бицилли 1995 [1919], гл. 3).

щего Средние века также не знали недостатка в «неофициальных» предсказаниях и пророчествах, а значит, и в прорицателях и пророках. Католическая Церковь относилась к ним неоднозначно (ведь видения могли быть и у святых, и у искушаемых дьяволом), но в любом случае заботилась о том, чтобы контролировать эту область. На пятом Латеранском соборе (1512—1517) было постановлено, что все предсказания будущего должны вначале получать одобрение Церкви. Нарушавшие это предписание нередко кончали жизнь на костре.

Как отметил Дж. Покок, диалектический парадокс состоял в том, что, хотя христианская доктрина спасения веками препятствовала возможности видения исторической перспективы, в конце концов именно она сделала возможным историческое время. Республиканская теория, утвердившаяся в гуманистической мысли XV в., внедрила в политическое сознание мысль о будущем, которое можно предвидеть и как-то формировать или воспринимать как должное на уровне государственной политики (см: *Роскок* 1975, р. 7 ff).

Последовавшая за Возрождением эпоха Просвещения закрепила в историческом сознании идею прогресса, неотвратимого «лучшего будущего», которое, при правильном понимании исторического процесса, можно еще и приближать, и строить.

Уже Шиллер и Гегель почувствовали опасность, заключенную в склонности философии истории к прогнозированию. Философия истории, по Гегелю, — это прежде всего сама история, но философски осмысленная, т. е. рассмотренная изнутри. Однако историк ничего не знает о будущем; на основе каких документов, каких свидетельств он установит факты, которые еще не произошли? Поэтому история, полагал Гегель вслед за Шиллером, достигает кульминации не в Утопии, а в фактически данном настоящем. Будущее — предмет незнания, а надежд и страхов. Но надежды и страхи лежат вне истории (цит. по: *Коллингвуд* 1980 [1946], с. 110, 116).

Но хотя социально-политическая мысль Нового времени разместила многочисленные утопические проекты будущего вне истории, они парадоксальным образом совместились с развитым историческим сознанием. Рациональная модель прогресса, определившая историческое сознание Нового времени, сосуществовала с утопической моделью и нередко была просто пронизана ею. Это оказалось возможным благодаря тому, что европейский интеллект Нового време-

ни, «возникнув, разделился надвое: на практический интеллект и рассуждающую фантазию» (*Шкуратов* 1994, с. 184).

Отметим, что оба типа интеллекта могут использоваться и для анализа прошлого, и для построения моделей будущего, ибо и те, и другие построения в конечном счете являются умозрительными. И прошлое, и будущее даны нам как недоступные чувственному опыту, как *не-существующее*. В этом смысле они различаются «лишь эмпирически, но не экзистенциально: различие между ними обусловлено исключительно разницей в нашем опыте (поскольку будущее еще нам не дано, тогда как прошлое уже было воспринято), но не степенью реальности их существования. Будущее предстает как то, что уже где-то существует, но еще до нас не дошло. Можно сказать, что будущее, как и прошлое, дано в виде последовательно организованного текста, но текст этот нами еще не прочитан» (*Успенский* 1996 [1988—1989], с. 35). Однако размышления об уже не существующих и еще не существующих объектах предполагают совершенно разные типы умозрительности.

Основанные на представлении об историческом прогрессе и принципе исторического детерминизма модели будущего с известной долей условности можно разделить на утопии времени (ухронии) и прогнозы.

1. Ухронии

Утопические модели можно классифицировать по-разному, но в самом общем виде их можно поделить на фантастические дескриптивные и фантастические нормативные. Утопии первого типа, описывающие общества, никак не соотносящиеся с реальным, восходят к мифам, ожиданиям Мессии в Ветхом Завете, представлениям о потустороннем мире и средневековому миллениаризму — вере в пришествие Царства Божьего на Земле. Утопические описания обществ, которые должны быть «построены», имеют прообразом «идеальное государство» Платона. Эти конструкции рассматривались их авторами как нормативные модели будущего, а не просто описания несуществующего. К первым, безусловно, относятся «утопии места», а также многие «утопии времени». Среди вторых преобладают «утопии времени», а именно будущего. Но напомним, что в эпоху современности предпринимались и продолжают предприниматься попытки реализовать эти модели, и следовательно, они в таком случае

становятся утопиями не только настоящего времени, но и настоящего места, существуя «здесь и сейчас».

Главной христианской утопией, естественно, является Рай (а антиутопией — Ад), представляющий утопию места²¹. Но Рай — одновременно и утопия времени: это *будущее* праведников. С точки зрения теологии, о Рае известно только одно — что там человек всегда с Богом. Мифологизирующая, наглядно-опредмечивающая разработка образов Рая в христианской литературной, иконографической и фольклорной традиции идет по трем линиям: Рай как сад; Рай как город; Рай как небеса. Для каждой линии исходной точкой служат библейские и околобиблейские тексты: для первой — ветхозаветное описание Эдема (Быт. 2:8—3:24); для второй — новозаветное описание Небесного Иерусалима (Апок. 21:2—22:5); для третьей — апокрифические описания надстроенных один над другим и населенных ангелами небесных ярусов (начиная с книг Еноха Праведного). Каждая линия имеет свое отношение к человеческой истории: Эдем — невинное начало пути человечества; Небесный Иерусалим — эсхатологический конец этого пути; напротив, небеса противостоят пути человечества как неизменное — переменчивому, истинное — превратному, ясное знание — заблуждению (Аверинцев 1990).

Если новоевропейская секуляризация темы Рая как сада вела к идеализированному образу природы, то секуляризация темы Рая как города вела к идеализированному образу общества и цивилизации, т. е. к утопии. Урбанистические фантазии начинаются с позднего Возрождения («Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Христианополис» И. Андрае, где связь с новозаветным прототипом особенно очевидна).

В эпоху Возрождения в утопиях Я. Комениуса и Г. Лейбница границы идеальной (конкретно, христианской) республики расширились до границ мира. В «Голосе Рамы» (1647 г.) П. Чемберлен, врач при дворе английских монархов и влиятельный государственный деятель, с надеждой писал о том, что мир возвратится к первоначальной простоте, к христианской утопии. На первом этапе утопии довольно наивным и вместе с тем закономерным образом воплощались в утопиях места. Отсюда их буквальное название: οὐ — нет и

²¹ Греч. *παράδεισος* (сад, парк) — от древнеиранского «отовсюду огороженное место». В свою очередь от греческого происходит латинское *paradisus* и его производные в западно-европейских языках, обозначающие рай.

τόπος — место, то есть место, которого нет; по другой версии *εὖ* — благо и *τόπος* — место, то есть благословенная страна. Такова известная «Утопия» Т. Мора, «Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Новая Атлантида» Ф. Бэкона, «История севарамбов» Д. Вераса и др. Когда завершилась эпоха географических открытий и не осталось неизвестных мест, где можно было бы обнаружить «рай земной», утопия переместилась из географического во временное пространство и возникли утопии времени (точнее — ухронии, но термин остался старый). «Грезы об осуществленных надеждах с давних пор известны истории человечества: туда, где будут осуществляться эти грезы („Wunschräume“), во времена, когда они будут осуществлены („Wunschzeiten“), скрывается не удовлетворенная действительностью фантазия» (Манхейм 1994 [1929], с. 175).

«Отношение утопии времени к историческому времени, — пишет польский исследователь Е. Шацкий, — напоминает отношение утопии места к географическому пространству. „Когда-то“ или „когда-нибудь“ по большей части не означает «никогда», но оно также не должно означать хорошо известную эпоху. Точное историческое знание может быть для утопии времени смертоносным, ведь она ищет не истины, а совершенства... Утопия времени отличается от других утопий только тем, что велит идеалу жить в прошлом или же в будущем, но граница между идеалом и действительностью остается такой же четкой» (Шацкий 1990 [1971], с. 81).

Все, о чем пойдет речь далее, размещается, как мы сказали, вне истории, точнее вне исторической науки, и лишь воздействует на историческое сознание или становится предметом исторического исследования. Как писал Манхейм, «попытка определить значение понятия утопии уже сама по себе могла бы служить примером того, насколько любая дефиниция в области исторического мышления отражает определенную перспективу, т. е. всю систему мышления, связанную с позицией данного мыслящего субъекта, и прежде всего находящееся за этой системой мышления политическое решение» (Манхейм 1994 [1929], с. 168)²².

²² Манхейм в работе «Идеология и утопия» рассматривал восприятие исторического прошлого под углом зрения историко-социальной дифференциации утопии. Он считал, что, анализируя структуру восприятия исторического времени носителями разного политического сознания, можно четко продемонстрировать, что это восприятие теснейшим образом свя-

Утопия — это подробное и последовательное описание воображаемого, но локализованного во времени и в пространстве общества, построенного на основе альтернативной социально-исторической гипотезы и организованного на уровне как индивидов, так и человеческих отношений более совершенно, чем существующее. Утопия — это выражение «принципа надежды» (Э. Блох), т. е. потребности человека оправдать смысл бытия, мысленно и эмоционально переносясь в «еще-не-существующее».

Есть три очевидности и три противостоящих им вида знания. Очевидная бессмысленность, непроницаемость природы и знание о ее закономерностях — наука. Очевидная конечность человеческой жизни и знание о вечности — религия. Очевидность несогласия и неравенства людей и знание о социальной гармонии — утопия. Ее можно вывести из потребности человека в усовершенствовании жизни, рассматривая утопизм как следствие разлада между социально обусловленными потребностями и социально возможными средствами их удовлетворения.

Различение утопии и идеологии, которая тоже насыщена элементами утопизма, в разных системах производится по разным критериям. В марксистской теории главным разграничивающим критерием является представление о научности идеологии и ненаучности утопии. В интерпретации К. Манхейма, одного из ведущих специалистов по данному предмету, вопрос о научности и ненаучности снимается. Более того, Манхейм считал, что «общим и в конечном счете решающим для понятия идеологии и утопии является то, что оно позволяет осмыслить возможность *ложного сознания*» (Манхейм 1994 [1929], с. 55—56).

Главное различие между утопическим и идеологическим сознанием Манхейм видит в том, что утопический тип сознания не находится в согласии с окружающим бытием, а идеологический тип сознания, напротив, характеризуется стремлением к сохранению или постоянному репродуцированию существующего образа жизни. Поэтому утопичной он считает «лишь ту „трансцендентную по отношению к действительности“ ориентацию, которая, переходя в действие, частично или полностью взрывает существующий в данный момент зано с утопическим центром соответствующего типа сознания. То, как данная конкретная группа или социальный слой расчлняет историческое время, зависит от типа ее утопии (Манхейм 1994 [1929], с. 179).

порядок вещей» (Манхейм 1994 [1929], с. 164). Таким образом утопия определяется не по содержанию, а по функции, и по отношению к идеологии находится на противоположном полюсе политического или социального конфликта.

Анализируя историю утопий, известный английский исследователь Б. Гудвин приходит к выводу, что «утопист соотносится с социальным теоретиком как поэт, воспевающий красоту сада, с садовником, знающим, как вызревают сады. Многие утописты прошлого не обладали ни серьезными знаниями, ни высокой культурой, их образ хорошего общества выражал просто жажду свободы, справедливости, демократии, и притом в символической форме. Другие люди превращали их видения в теории и политические манифесты. Утопия — явление в принципе двухфазовое, но сегодня, в век академизма и экспериментов, мы забыли о первой фазе — утопической идее — и сосредоточились на второй — теоретизировании и политике» (Alexander 1984, p. 147).

Специалист по американскому утопизму Э. Баталов при анализе утопического сознания в первую очередь обращает внимание на механизм продуцирования идеала и уже отсюда считает нужным выводить способ его функционирования и роль в обществе (Баталов 1982, с. 22). В формулировании идеала состоит одна из главных функций позитивного социального потенциала утопии. Ф. Полак в книге «Образ будущего» предупреждал об опасности, грозящей западной культуре, если «уникальная последовательность поражающих воображение образов будущего иссякнет и не будет пополняться» (Polak 1961, p. 11).

На самом деле вся казуистика по поводу различий между идеологией и утопией объясняется тем, что грань между ними весьма условна. Она стала таковой уже в XVIII в. Морелли, Л. Дешан, Р. де ля Бретон и Ж. Кондорсе по существу писали конституции нового общества. Надо сказать, что и сочинитель «Утопии» Т. Мор не смотрел на свое произведение только как на фантазию, а верил, что чтение его побудит сограждан к социальным действиям, направленным на изменение ситуации, к законодательным реформам, которые сделают утопию реальностью. Особенностью социальной утопии, в отличие, например, от религии, является то, что помимо иллюзорного варианта решения общей социально-политической ситуации, она содержит практический проект, предлагая попытку социального эксперимента. В этом источник жизненности утопии, ее

доступности массовому сознанию. Поэтому утопии и содержат в себе мощный политический заряд. Многие идеологи сознательно делают ставку на утопизм, полагая, что он является эффективным средством усиления социальной активности. Идеолог французского анархо-синдикализма Ж. Сорель, обосновывая роль утопии в мобилизации пролетариата, утверждал, что именно утопический миф создает «эпическое состояние сознания и подвигает на акты героизма» (Sorel 1914 [1908], p. 294).

Каковы же контуры вечного утопического идеала? Совершенное общество в большинстве утопий было преимущественно антибуржуазным, а именно, социалистическим или коммунистическим. Противники утопического социализма постоянно упрекали его создателей в непреодолимом противоречии между идеалом и реальностью, «в гордом притязании на логическую последовательность, которая, якобы, есть не что иное, как жалкая попытка слабых умов, желающих найти разумные формы для бессмысленного содержания» (Хомяков 1878—1880 [1845], с. 48). Сторонники утопий, наоборот, видят их исторический смысл именно в нормативной функции — разработке социального, политического, эстетического идеала. «Стоит только вникнуть глубже в настоящую основу и внутренний смысл утопий, — писал русский социалист-утопист В. А. Милютин, — чтобы убедиться в неосновательности того насмешливого презрения, с которым встречаются обыкновенно так называемыми практическими людьми этого рода попытки человеческого ума. Собственно говоря, утопии, мечтания, стремления к лучшему, к идеалу представляют собой одну из самых необходимых, одну из самых естественных форм человеческой мыслительности... Не будь в человеке способности противопоставлять действительному факту свою идеальную утопию, не было бы и развития, не было бы и прогресса» (Милютин 1946 [1847], с. 332).

Стержнем, вокруг которого формируются утопические системы, является идея социальной справедливости. Рационализм утопических социалистов состоял в том, что разумное для них превращалось в социальный категорию и потому в синоним справедливости. С идеей справедливости тесно связана идея равенства. В представлении утопических авторов неравенство — основа всех социальных зол, и попытки избавиться от него порождают самые драматические последствия в экономической и социальной сферах. Идеал равновесия в утопии предполагает альтернативную классической экономике картину социального мира, не дефицитного, а изобильного. Изобилие в разных версиях обеспечивается всеобщим трудом, успехами техни-

ки и науки, перераспределением собственности, опрощением жизни. «Мне кажется, повсюду, где есть частная собственность, где все измеряют деньгами, там едва ли когда-нибудь будет возможно, чтобы государство управлялось справедливо или счастливо». Это антисобственническое кредо принадлежит Т. Морю (Мор 1978 [1516], с. 57), первому критику капиталистической реальности с позиций эгалитарного идеала. Последовательное логическое конструирование идеала равенства привело к широкому применению принципа гомогенности, который распространяется практически на все сферы жизни общества.

Одна из центральных утопических коллизий связана с представлением о месте труда в обществе. Социалисты постоянно подчеркивали подневольный характер наемного труда²³, поэтому идеал социалистической утопии — труд свободный, творческий, а если по необходимости — «тяжелый и грязный», то на началах равного участия, строго регламентированный. Отсюда — идея всеобщего участия в труде умственном и физическом, домашнем и индустриальном, сельскохозяйственном и промышленном. Отсюда — идея стирания граней и противоречий. Отсюда — надежда на приобщение каждого члена общества к наукам и искусству.

Говоря о стиле утопических сочинений, В. Шкуратов подчеркивает двойственное впечатление, которое оставляет практически любая утопия. «Скрупулезные исчисления меридианов, площадей, сроков, хозяйственных оборотов, пункты административных регламентов и конституций, чертежи городов, жилищ, мастерских, сводки, параграфы соглашений производят впечатление путевого дневника, научного исследования, бухгалтерской сметы, пока мы не вспомним, что всего исчисленного и описанного нет на свете» (Шкуратов 1994, с. 184).

Мир политики так или иначе заставляет творцов утопизма переходить от сугубо абстрактных упражнений к попыткам проверки своих схем в столкновении с реальностью. Когда идеал переходит в область практики, неизбежная прагматизация ведет к отсечению явно надуманных компонентов, а утопист в идеологии все более повинует политику.

²³ Так, А. Сен-Симон в «Катехизисе промышленников» называл труд на капиталистических предприятиях рабским, лишенным привлекательности, изнуряющим (Сен-Симон 1948 [1823], с. 124). Ш. Фурье писал, что рабочий идет на фабрику, движимый лишь нуждой, необходимостью продавать свою рабочую силу (Фурье 1951—1954 [1829], с. 201).

Потребность в разработке «чистого» и бескомпромиссного идеала остается, однако, и в этом случае. «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя? — задавал вопрос П. Кропоткин, предававшийся размышлениям на эту тему. — Я полагаю, что должны... потому что в идеале мы можем выразить наши надежды, стремления, цели, независимо от степени осуществления, которой мы достигли, а эта степень осуществления определяется чисто внешними причинами» (Кропоткин 1964 [1873], с. 55).

В утопической мысли четко различимы два направления: оборонительное и атакующее. Если комплекс идей, вдохновляющих представителей первого направления, можно отнести к «утопиям бегства», то система взглядов второго — это «утопии реконструкции» (классификация предложена Л. Мамфордом, см.: Mumford 1926, p. 15). Первые хотели бы остановить процесс изменения внешнего мира, вторые стремятся изменить его, чтобы строить отношения с ним на своих собственных условиях.

Социально-экономические, правовые и этические идеи, выдвинутые в утопиях, проверяются в социальных экспериментах, которые, как правило, доказывают принципиальную невозможность воплотить утопический замысел. Это можно проиллюстрировать многими примерами, заставляющими задумываться о созидательном и разрушительном потенциале утопии. Как пишет известный специалист по утопическим учениям П. Александер, «построение утопий повсеместно принято считать вредным делом и притом по двум взаимноисключающим обстоятельствам: а) утопия несбыточна, б) реализованная утопия — это тоталитарное государство» (Alexander 1984, p. 26). Речь идет не об опасности утопии как таковой, а об издержках, связанных с ее реализацией. Об этом размышляют многие авторы, ссылаясь на эксперименты из истории разных стран и эпох, особенно подчеркивая способы воплощения в жизнь той или иной социальной программы, предполагающие принуждение, создание иерархических структур и выдвижение властолюбивых лидеров. В этой связи Н. Бердяев писал, что «утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать окончательного их осуществления» (Бердяев 1924, с. 121—122).

Причины несовпадения идеала с воплощающейся действительностью заключаются не только в идеале, но и в действительности. Противоречивость — не столько внутреннее свойство утопии, сколько итог ее столкновения с конкретными социальными обстоя-

тельствами, которые утописты, не отягощающие свой ум противоречиями, а волю — компромиссами, учитывать не хотят. Но неверно было бы говорить об абсолютной противоположности утопии и действительности. Ведь идеальное общество всегда предполагает воплощение ценностей, существующих в реальном мире. Именно в несовершенной и потому отвергаемой им реальности черпает свои моральные законы книжный мир утопии. «Сколь парадоксальным бы это ни казалось, великие утописты были и великими реалистами. Они владели необыкновенной способностью сопряжения времени и пространства, в которых они существуют, и могли глубоко проникнуть в социально-экономические, научные или эмоциональные обстоятельства своей эпохи. Они обнаруживали истину, которую другие лишь неопределенно улавливали или отказывались признать. Утопист нередко глубже других понимал направление движения общества» (Manuel, Manuel 1979, p. 28).

Практически невозможно понять роль исходного идеала в удаче или неудаче социального эксперимента. Если он не удался, это скорее всего свидетельствует о том, что его теория и практика были порочны, но вместе с тем мы знаем, как долго могут существовать порочные в своих идеях и методах общества. Мотивы участников утопического эксперимента лишь частично совпадают с замыслами вдохновителей утопических проектов, первоначальная энергия и энтузиазм подвергаются со временем процессу коррозии. Наконец, у каждой утопии свой географический и демографический масштаб, одни довольствуются размерами общины, другие претендуют на построение нового мира.

В последние десятилетия нашего века социальная утопия стала утрачивать претензии на рациональный характер и, напротив, вполне в духе времени начала ориентироваться на иррациональные и мистические мотивы. Это связано со сменой ценностных ориентаций, и в первую очередь, с критическим отношением к идее прогресса. Как заметил еще на ранней стадии этого процесса французский социолог Госслен, давно настала необходимость понять, что «рациональная модель прогресса ведет в тупик. Истинный оптимизм заключается не в стремлении защищать ее любой ценой, а в том, чтобы найти ей замену» (Gosselin 1979, p. 205). Усиление иррационализма в общественном сознании выражается и в резком росте утопических проектов, и в бурном проникновении утопии в область

искусства, и в многообразии вариантов утопизма (в том числе популярности не только позитивных, но и так называемых антиутопий).

Современная картина будущего написана с использованием разной техники (или приемов). Религиозные мотивы, мистицизм, подсознательное, основанное на вере и иррациональное сосуществуют с духом рационального реформизма и преобразовательства. При этом в современных утопических построениях активизирован весь фонд традиционных утопических постулатов и принципов: вера в естественность добра, надежда на педагогику, детерминизм, волюнтаризм, установка на счастье, справедливое распределение благ, гармония, присущая общественному организму.

Действительно, все возможно в утопии, и современный английский издатель сочинения П. Кропоткина «Поля, заводы и мастерские», обнаружив его почти текстуальные совпадения с «Проектом выживания» (*Blueprints for Survival* 1972) — одним из программных манифестов современного альтернативного движения, — остроумно добавил к названию работы Кропоткина слово «завтра» (см.: *Kropotkin* 1974 [1899]). Анархосоциализм XIX в., казалось бы вытесненный на обочину радикального мировоззрения, с удивительной силой и целостностью возродился в утопической мысли конца нашего столетия, а наряду с ним и руссоизм, и фурьеризм, и романтическая утопия в духе Г. Торо и Р. Эмерсона, и многое другое.

Источником утопических построений на исходе XX в. чаще всего выступает экологическая этика и технологический миф. Широкое распространение получила идея, согласно которой организация природы могла бы послужить образцом при организации общества, а социальное равновесие должно быть скопировано с естественного равновесия. Отдельные сторонники политического экологизма развивают термодинамическое представление об обществе, рассматривая его как систему, где циркулируют энергетические потоки, скрещиваются механизмы регулирования и таким образом осуществляется энергетическое экоуправление. К этой концепции примыкает интерпретация в духе биологического материализма: социальная организация должна взять за образец естественный порядок. Тогда разнообразие природы якобы продиктует децентрализацию общественных структур, а саморегулирование экосистем постулирует самоуправление.

Современному капиталистическому обществу в экоутопиях противопоставляется образ «устойчивого общества», энергетически экономного, использующего конформную, «мягкую» технологию, безавтомом-

бильного, отказавшегося от мегаполисов. Эскиз подобного общества был предложен в известной книге О. Тоффлера «Третья волна», сочинениях Л. Брауна и многих других работах (*Toffler* 1980; *Brown* 1975; 1978; 1981; *Roszak* 1979; *Ullrich* 1979). Тоффлер делит всемирную историю на три основные эпохи, «три волны»: аграрная революция, произошедшая 10 тысяч лет назад и означавшая переход к оседлому земледелию и начало аграрной цивилизации; промышленная революция, ознаменовавшая наступление индустриальной цивилизации, длившейся 300 лет; научно-техническая революция, начавшаяся в 1950-х годах в США и захватившая затем страны Западной Европы, Японии и СССР. По мнению Тоффлера, «наше поколение является последним в уходящем обществе и первым поколением нового общества» (*Toffler* 1980, р. 24). Вместе с тем он видит известное сходство между первой и третьей волной: децентрализованное производство, восстанавливаемая энергия, бегство из городов, работа на дому (*Toffler* 1980, р. 309).

Иногда рецепты создания стабильного общества, находящегося в полном согласии с природой, предписывали даже полный отказ от технического прогресса. Так, в работах английских экологов Э. Голдсмита, И. Иллича и других по существу возрождались утопия родового типа, в которой общественность наделена властью отклонять технический прогресс (*Illich* 1974; *Goldsmith* 1970).

Главное отличие современных социальных утопий от предшествующих состоит в идее максимальной свободы личности от ограничений, налагаемых обществом. Утопия оказывается уже не просто желаемым состоянием общества, а состоянием человеческого духа. Раньше, конечно, тоже предполагалось, что построение утопических социальных структур, становление новых общественных отношений должны в конечном счете сделать человека счастливым, «очистить» и возвысить его душу. Теперь же акцент переносится на непосредственное конструирование этих состояний (*Journès* 1972, р. 233). Для того, чтобы реализовать те возможности, которые идейный вождь «новых левых» Маркузе когда-то запретил называть утопическими, объявив их даже больше, чем реалистическими (сюрреалистическими), нужно, оказывается, совсем немного. Нужно, чтобы «возникла и развилась новая «антропологическая» структура человека, предполагающая качественно иной способ существования людей» (*Marcuse* 1970, р. 69).

2. Прогнозы

Прогресс открыл *будущее*, которое простиралось за пределы прежде обозримого естественного пространства времени и опыта, и это открытие, движимое собственной динамикой, вызвало к жизни новую форму прогноза — трансъестественного и долгосрочного. Вера в возможность подобных прогнозов, безусловная в XVIII и XIX в., и сегодня звучит в словах М. Фуко, и, надо сказать, с несколько зловещим пафосом. «Прежде чем предписывать или предначертывать будущее, прежде чем предрекать, что следует делать, прежде чем призывать или просто настораживать, — пишет он, — мысль и само ее существование, начиная от самых ранних форм, является уже действием и действием опасным. Де Сад, Ницше, Арто и Батай это знали и за себя и за тех, кто предпочел бы не видеть всего этого, но знали об этом также Гегель, Маркс, Фрейд» (Фуко 1994 [1966], с. 349). И, как считает Козеллек, со времен Гегеля стало возможным воплощать в исторической реальности замыслы, подобные 1000-летнему Рейху или бесклассовому обществу (Koselleck 1985 [1979], p. 18).

Тип носителя современной философии исторического прогресса описал еще Лессинг: «Часто он предлагает хорошо обоснованные проспекты будущего... но не в состоянии его дождаться. Он хочет, чтобы будущее наступило скорее, и он сам хочет приблизить его... поскольку что же приобретет он сам, если лучшее будущее не наступит при его жизни» (цит. по: Koselleck 1985 [1979], p. 17—18). Выдвижение неиспробованных вариантов перестройки мира на протяжении XIX—XX вв. происходило непрерывно. Это умонастроение французские социологи К. Жамбе и Г. Лардро описывают как «мистический этап» революционности, когда в обход опыта совершившихся революций образ небывалой реальности снова маячит в виде «отдаленной мечты» (Jambet, Lardreau 1978, p. 13).

Будущее в сценарии периода Нового времени характеризуется двумя основными чертами: все возрастающей скоростью, с которой оно приближается к нам, и неизвестным, но прогнозируемым качеством. Неизвестным потому, что это ускоряющееся время, т. е. наша история, сокращает пространство опыта, лишает его постоянства и все время вводит в игру новые, неведомые факторы. Не только постоянное наличие изменений, но и их ускорение стало определяющей чертой Нового времени.

Развитие технологии полностью открыло сферу опыта, соответствующую этому ускорению. Похоже, что первым историком, отметившим убыстрение исторического процесса, был американец — Г. Адамс, — что, впрочем, не удивительно. «С 1800 по 1900 г. мир не удвоил и не утроил свое движение, — писал он, — но по любым принятым в науке мерам — будь то лошадиные силы, калории, вольты, масса любой формы — и напряжение, и вибрация, и объем, и т. п. прогресс общества был в 1900 г., пожалуй, в 1000 раз больше, чем в 1800» (Adams 1929 [1909], p. 167).

Развивая идеи Адамса, А. Шлезингер-мл. отмечал, что «последние два поколения явились свидетелями большего количества достижений в области науки и технологии, чем предыдущие 798 поколений вместе взятых. Переход к быстро меняющемуся обществу... внес глубокие изменения во внутренние ощущения и ожидания. Он подверг традиционные социальные роли и институты серьезной и необъяснимой нагрузке. Он отбросил прочь общепринятые точки отсчета и ритуалы, которые на протяжении жизни былых поколений стабилизировали и освящали существующий порядок. Он сделал опыт старших неприменимым для решения новых задач молодого поколения... скорее сейчас родители учатся у своих детей» (Шлезингер 1992 [1986], с. 10).

Это самоускоряющееся время лишает настоящее возможности быть пережитым как настоящее и ускользает в будущее. Таким образом неуловимое для современников настоящее становится добычей исторической философии. Темп исторического развития в целом нарастает, что существенно влияет на временную ориентацию исторических поколений. Особенно ощутимым ускорение истории, приближение будущего стало в XX в.

Если исторический прогрессизм спровоцировал утопическое видение будущего, то вкупе с историческим детерминизмом он породил убеждение в возможности научного прогнозирования. Прежде, когда человек пытался разглядеть грядущее, он полагался на пророчество, озарение или полет фантазии. В западной цивилизации, в иудео-христианской традиции оригинальное и главное значение слова «пророк» означало «говорящий от имени Бога». Соответственно, первое и наиболее сильное проявление профетической традиции связано с древнееврейскими пророками. В христианстве данная традиция нашла продолжение в новозаветных апостолах. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, — говорил

Св. апостол Петр, — но изрекали *его* святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр 1:21). А Св. евангелист Лука полагал, что с сотворения мира Господь говорил «устаами бывших от века святых пророков своих» (Лука 1:70). И устойчивость этой традиции подтвердилась в исламе, где мессия ясно и определенно назывался Пророком.

Тип прогнозирования, сформировавшийся в период Нового времени (научное предвидение), отличается от пророчества как способа предсказания будущего. Роль пророка как транслятора божественной воли в секуляризованном западном обществе постепенно приобрела рациональный и нейтральный смысл. На смену пророчеству пришел прогноз, научно (рационально) обоснованное предсказание погоды, состояния финансов, общественного мнения или поведения электората. Подобное предсказание не требует дополнительных толкований, лишено множественности смыслов и его воздействие связано лишь с убедительностью интерпретации причинно-следственных связей или степенью достоверности предшествующих прогнозов, исходящих из того же источника.

Что касается общественной потребности в прогнозах или претензий современных «пророков» на состоятельность, то от этого они не стали меньше. «Мы живем в век предсказаний, — пишет Бурстин. — Много из того, что сегодня в Соединенных Штатах проходит по разряду новостей, является чьей-то наипоследней точкой зрения на то, что принесет будущее» (Boorstin 1994, p. 125).

С появлением представления о движущих силах истории, об исторических закономерностях будущее стало казаться предсказуемым. Одним из самых самоуверенных в этом смысле было марксистское учение. Как точно подметил К. Поппер, «Маркс использовал некоторый правдоподобный аргумент, согласно которому наука может предсказывать будущее, только, если оно предопределено — если, так сказать, будущее присутствует в прошлом, свернуто в нем. Это привело его к ложному убеждению, что строго научный метод должен основываться на строгом детерминизме» (Поппер 1992 [1945], т. 2, с. 101). Свою задачу Маркс видел в том числе и в освобождении социализма от сентиментальной, фантазийной формы и поднятии его на научную стадию, основанную на изучении исторических причин и исторических следствий. В. Ленин писал, что марксизму присуще научное предвидение будущего, так как он рассматривает общественные классы не в статике, а в динамике, историческое движение

«не только с точки зрения прошлого, но и с точки зрения будущего и притом не в пошлом понимании „эволюционистов“, видящих лишь медленные изменения, а диалектически...» (Ленин 1961 [1915], с. 77—78). Таким образом, в марксизме историческое пророчество прямо отождествлялось с научным подходом к общественным проблемам. Но на способность научного предвидения будущего претендовал не только марксизм, а и рационалистическая социальная мысль современности в целом.

К. Поппер отмечал, что «историцизм видит главную задачу социальных наук в историческом предсказании» (Поппер 1993 [1957], с. 10), руководствуясь простым умозаключением: «Если астрономия способна предсказывать затмения, то почему бы социологии не предсказывать революции?» (Поппер 1993 [1957], с. 45)²⁴.

Таким образом, в эпоху Нового времени пророчества взамен «божественного» обрели «научный» характер. Господствующие стереотипы размышлений о будущем унаследованы от традиции натурализма и возникшей под ее влиянием концепции социальной эволюции. На протяжении последних веков механизм прогноза базировался на фундаментальных идеях этой парадигмы:

- дуализм (противоречие между организмом и внешней средой);
- конфликт (природа как арена борьбы, и борьбы смертельной);
- иерархия (от самых простых форм к самым сложным);
- вытеснение (более примитивных форм более сложными);
- реакция (на необходимость удовлетворения потребностей);
- развитие.

Современное общество объективно испытывает постоянную потребность в планировании и предвидении, ибо существует не в контексте «неподвижной истории», а в сложных и динамичных обстоятельствах. Оно должно просчитывать возможности внешних и внутренних конфликтов, последствия самых разных социальных и политических инициатив, вероятность экологических катастроф и экономических потрясений. Когда Энгельс писал в 1888 г., что для «Пруссии — Германии невозможна уже теперь никакая иная война, кроме всемирной войны. И это была бы всемирная война невиданного раньше размера, невиданной силы» (Энгельс 1961 [1888], с. 361), он в этих размышлениях отвечал на вопрос, волновавший его современников:

²⁴ Сам Поппер считал, что по основаниям строго логического характера предсказать течение событий невозможно (Поппер 1993 [1957], с. 4).

против кого в следующий раз будет воевать Германия? То, что воевать непременно будет, казалось очевидным, но это ведь тоже было представлением о будущем.

Все общества современности живут будущим, но некоторые больше других. Это в первую очередь относится к тоталитарным государствам XX в., чья официальная историография (а другой у них практически не было) модифицировала прошлое, в большей степени руководствуясь даже не настоящим, а будущим. Однако и значение настоящего было огромным. В советской историографии это ярко демонстрирует история личностей: исчезая одна за другой из истории, они исчезали и из исторической литературы.

Однако значение соотношения прошлого и будущего неодинаково и для стран с устойчивой демократической традицией. Так, неоднократно отмечалось большее значение прошлого и традиции для Европы, где они присутствуют во всем: в ландшафте, литературе, архитектуре, — чем для стран переселенческого капитализма, вообще не знавших «глубины веков».

Историческое время стран переселенческого капитализма изначально было временем будущего, и даже тогда, когда у них появилось прошлое, составляющее, кстати, предмет гордости их граждан, значение будущего оставалось более существенным. Возможно, роль будущего объясняется также высоким динамизмом, характерным для развития этих стран, особенно США.

С 1960-х годов изучение будущего стало называться «футурологией». Этот термин был введен в 1943 г. социологом О. Флехтхеймом для обозначения «философии будущего», противопоставлявшейся им идеологии и утопии. В начале 60-х годов он получил распространение на Западе в смысле «истории будущего», «науки о будущем», призванной монополизировать предсказательные функции разных научных дисциплин, подобно тому как история монополизирует интерпретацию прошлого. Прогнозы считались весьма почетным занятием в 60—70-е годы. Г. Кан, Р. Арон, Ж. Фурастье, З. Бжезинский представляли направление социального оптимизма, О. Тоффлер, Ф. Поллак, Ю. Галтунг, Дж. Форрестер, Дж. Медоуз и др. рисовали алармистские картины будущего, и прогнозы их были пессимистическими.

Тем не менее существуют и отчетливые признаки того, что вступление современного западного общества в эпоху постмодернизма ведет к утрате общественным и индивидуальным сознанием

способности видеть будущее в историческом контексте. С осознанием угроз, исходящих от процесса технического развития, возникло новое представление. «В отличие от представлений о Божьей воле, или Вселенском промысле, или Прогрессе, или Судьбе, оно было нейтральным. Оно предполагало признание действующей силы, сознание бессилия перед ней и сомнение: добра она или зла» (*Бурстин* 1993 [1958—1973], т. 3, с. 733).

Еще в 1960-е годы это изменившееся ощущение будущего почувствовал американский ученый Р. Хайлбронер, сказав, что мы больше не можем видеть в будущем кульминацию прошлого или приближающийся горизонт настоящего. «В отличие от своих предшественников, которые во многом жили в истории и для истории, мы, кажется, дрейфуем к историческому вакууму» (*Heilbroner* 1961, p. 15).

В настоящее время будущее больше не рассматривается как строго линейное прогрессивное развитие в исторической перспективе. Оно стало чем-то, что постоянно перепрограммируется, чтобы удовлетворять все новым потребностям всегда изменяющейся реальности. «Все авангарды прошлого, — отмечает Ч. Дженкс, — верили, что человечество куда-то идет. Они видели свой долг и удовольствие в том, чтобы открывать новые земли и следить, чтобы люди пришли туда вовремя. Поставангард верит, что человечество идет одновременно в разных направлениях» (*Jenks* 1987, p. 20).

Исторические понятия вроде «необходимости», которые доминировали в общественной мысли эпохи прогресса, заменены психологическими терминами, такими как «выбор» или «сценарий». Новый образ будущего представляет человека одновременно автором, режиссером и актером новой мировой драмы (*Rifkin* 1987, p. 148, 150). Изменению отношения к прогнозам прогрессистского типа способствовал и накопленный опыт, который свидетельствовал, что прогнозирование будущего в его «кардинально взрывных моментах» демонстрирует невозможность однозначного предвидения резких поворотов истории» (*Лотман* 1992, с. 33—34). Но тем не менее представления о будущем обществе остаются весьма зыбкими, а прогнозы все равно не свободны от утопических построений и прогрессистской ментальности. «Западный человек, — говорится в известном исследовании по утопиям, — может сегодня ограничиться разумной „футурологией“, но как только он вспомнит о третьем мире с его умирающими от голода, на повестку дня снова становятся утопические по радикализму планы» (*Alexander* 1984, p. 82—83).

Стереотипы сознания, ориентированного на прогнозы, планирование и конструирование, остаются весьма устойчивыми. Одно из исследований Римского клуба, объединяющего ученых и общественных деятелей, озабоченных проблемами выживания человечества, называлось «Путеводители в будущее: к более эффективным обществам» («Road Maps to the Future — Towards More Effective Societies», 1981). Впрочем, и другие публикации этой организации с антипрогрессистской (но прогрессивной!) направленностью пронизаны прогрессистской идеологией.

Прогнозы будущего развития и даже выживания, связанные с экодемографической ситуацией, можно условно разделить на три группы: неоконсервативные, технологически-модернистские и эколого-алармистские. Авторы первых считают, что хотя научно-технический прогресс нарушил балансы биосферы, искать спасения нужно в нем, ибо наука и техника уже сейчас могут практически решить почти все глобальные проблемы: ограничение рождаемости, производство пищи, сбережение ресурсов, защиту среды обитания. Разработчики вторых настроены гораздо менее оптимистично. Создатели третьих предсказывают неминуемую гибель. Этим трем позициям соответствуют и гипотетические модели развития капитализма.

Неоконсервативная модель представляет собой линейную проекцию в будущее. Она предполагает, что серьезные проблемы роста населения, нехватки природных ресурсов и энергии разрешатся сами собой, если их регулирование предоставить рыночным механизмам.

Технологически-модернистская модель во главу угла ставит способность человека преобразовывать свое окружение. Ее сторонники делают акцент на том, что люди сейчас лучше живут, лучше питаются, более здоровы, чем когда-либо в истории. Что же касается физических и биологических ресурсов, то они всегда выступали в качестве ограничителей деятельности человека. Сейчас, благодаря производству заменителей и синтетических материалов, внедрению новых технологий и источников энергии, человечество гораздо лучше подготовлено к возможному истощению природных запасов. Сторонники этой модели считают, что формы дегуманизированного труда (основанного на отчуждении и разделении) отмирают, рутинный и фрагментарный труд в современных условиях утратил свою эффективность. Поэтому экономика, основанная на частном и государственном предпринимательстве, сменится экономикой, в которой будут

фигурировать «электронные кооперативы», семейные и региональные предприятия, основанные на самоуправлении, бесприбыльные организации и т. д.

Эколого-алармистская модель предсказывает неминуемую экологическую катастрофу, если не изменить принципам экономического роста. Она предполагает внедрение в сознание и поведение «экологической этики», ориентированной на восстановление утраченной гармонии человека и природы путем отказа от технологического развития (подробнее см.: Савельева 1990).

Переход от века прогресса к веку моделирования (simulation — воспроизведения) коснулся не только образа экономического или политического будущего в представлениях людей, но и проекций будущего в целом. Например, на шумевшая в свое время книга Ф. Фукуямы (Fukuyama 1992) по существу предрекала не просто «конец истории», но «конец времени». Правда, автор не формулировал это в явном виде, он лишь предупреждал, что жизнь станет невероятно скучной в обществе, достигшем своей окончательной формы. Но в оживленной дискуссии вокруг его книги мысль о конце времени прозвучала вполне отчетливо.

§ 3. СХЕМЫ «ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ»

Картина мира, сущностно понятая, означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле такой картины.

М. Хайдеггер. Время картины мира

Остановимся теперь еще на одной теме, относящейся к философии истории и тесно связанной с проблемой исторического времени. Речь пойдет о так называемой «всемирной истории», точнее, об общих схемах исторического развития, предлагаемых философами. Сами эти концепции, а в еще большей степени отношение к ним, сильно менялись на протяжении веков — от непрерываемости, подкрепленной авторитетом Церкви в эпоху христианского Средневековья, до отождествления с философией истории во времена Гегеля и критического отношения, граничащего с полным отрицанием, в современной литературе. Но несмотря на очевидный спад интереса к этой проб-

леме в последние десятилетия, она заслуживает хотя бы краткого обсуждения.

Во введении к этой главе уже отмечалось, что схемы «всемирной истории» относятся в первую очередь к сфере философии, а не истории. Тем не менее их связь с историей достаточно тесна: с одной стороны, даже самые абстрактные историософские концепции основаны на исторических знаниях (сведениях, представлениях), а с другой, они находят отражение в исторических работах если не в качестве инструмента исследования, то хотя бы в виде некоей условной рамки, задающей общее видение исторического процесса (конкретный характер этих взаимных связей мы обсудим ниже).

Отличие историософских схем от историографии как науки заключается прежде всего в том, что первые ориентированы в основном на проблемы настоящего и будущего, в то время как историография занимается прошлым. В моделях «всемирной истории» наглядно проявляется стремление их авторов использовать рассмотренную в предшествующем параграфе концепцию «Время-2», задаваемую понятийной конструкцией «прошлое—настоящее—будущее». Ясно, что для осмысления настоящего нужно дать некое описание (определение) прошлого и будущего. Отсюда следует, что построение историософских схем «всемирной истории» обязательно включает дефиницию будущего человечества и служит основой для философского осмысления настоящего.

Этот факт отмечался многими исследователями, в том числе таким крупным немецким философом истории, как Э. Трельч: «... Всеобщая история, философия истории и созидание будущего в сущности становятся, насколько это возможно, единым пониманием собственного становления и развития» (Трельч 1994 [1922], с. 610).

Суммируя, можно сказать, что основной задачей, которую призваны решать такие схемы, является установление «времяположения настоящего», что требует построения некоторой шкалы времени, на которой можно его разместить (установить). Данная операция, в свою очередь, возможна только при использовании единой исторической временной шкалы, т. е. при условии «хронологического монизма»²⁵.

По способу достижения «хронологического монизма» все схемы «всемирной истории» можно условно разделить на три группы.

²⁵ Этот термин мы взяли из работы А. Франка (Frank 1990), который, в свою очередь, приписывает его авторство П. Андерсону (Anderson 1974), известному противнику «хронологического монизма» в истории.

Эти группы (способы) мы обозначим как: 1) выделение ядра; 2) десинхронизация синхронии; 3) синхронизация асинхронии²⁶.

1. Выделение ядра

В данном случае мы пользуемся терминологией И. Уоллерстайна, предложенной им при разработке концепции «современного мира-системы» (modern World-system; см.: Wallerstein 1974—1989). Согласно этой концепции «мир-система» состоит из трех компонентов: «ядра», т. е. наиболее развитых, «центральных» регионов (стран и народов), задающих облик и ключевые параметры «мира-системы» в целом; «периферии», т. е. стран или регионов, занимающих маргинальное положение в системе и не играющих в ней практически никакой роли, и «полупериферии», находящейся в промежуточном положении между двумя первыми группами и оказывающей влияние на систему в той мере, в какой она связана с «ядром» (точнее, в той мере, в какой «ядро» связано с ней). Хотя И. Уоллерстайн и другие сторонники концепции «мира-системы» (за некоторыми немногочисленными исключениями) используют ее лишь для анализа истории Нового времени, т. е. начиная с XVI в., эта терминология весьма точно отражает суть первого типа историософских схем «всемирной истории».

В рамках такого подхода все происходящие в «ядре» события могут быть упорядочены на шкале реального исторического времени. Подобная схема, увековеченная в сатириконовской «Всеобщей истории», до сих пор фигурирует в большинстве школьных учебников, в которых последовательно рассматриваются Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим, средневековая Европа и европейская «новая история».

Ключевым элементом данного подхода является определение «мира», т. е. «ядра» в используемой нами терминологии. Конечно, это определение в большой степени зависит (особенно на ранних этапах развития историографии) от исторических и географических знаний того или иного автора, но практически всегда здесь присутствует некий идеологический компонент, служащий основой для определения «мира» и «не-мира».

²⁶ Альтернативный вариант классификации схем «всемирной истории» см., например, в: Токарев 1978б.

История некоторых стран и народов объявляется всемирной (т. е. часть земного шара считается «ядром»), а все остальные рассматриваются как периферия или не рассматриваются вообще (варвары, иноверцы, нецивилизованные народы и т. д.). В качестве такого ядра может выступать Греция, Римская империя, христианский мир, европейская цивилизация, «народы, принадлежащие к осевому времени» (К. Ясперс) и т. д. В пределах ядра исторические события, происходящие в отдельных его сегментах, рассматриваются как синхронные, а все, что происходит на периферии, — как не имеющее отношения ко «всемирной истории», т. е. к «нашему миру».

Один из первых опытов такого рода мы встречаем в упоминавшейся выше поэме Гесиода «Работы и дни». Очевидно, что его «всемирная» схема, описанная как последовательная смена четырех «веков» (оставляя в стороне мифологический компонент) была основана прежде всего на истории Греции (Гесиод. Работы и дни, 107—201).

Как уже отмечалось в главе 2, «металлургическая» концепция «всемирной истории» в разных вариантах была весьма популярна на протяжении всей античности и встречается во многих работах греческих и римских философов и писателей (одним из наиболее известных примеров являются «Метаморфозы» Овидия), но в Новое время она перешла в разряд метафор.

В работах римских писателей эпохи гражданских войн и принципата Августа, по-видимому, впервые появляется аналогия истории общества с развитием человека и выделением соответствующих «возрастов» римского «мира» — как правило, четырех (младенчество или детство, отрочество или юность, зрелость, старость или дряхлость). Эту аналогию использовали Цицерон, Саллюстий, Теренций Варрон, Анней Флор, Аммиан Марцеллин, Лактанций и др. (см.: *Немировский* 1996, с. 271—275)²⁷.

²⁷ Одним из наиболее известных примеров является схема Луция Аннея Флора: «Итак, если представить римский народ одним человеком и рассмотреть всю его жизнь в целом: как он появился, вырос и, так сказать, достиг расцвета сил, как позднее состарился, то можно насчитать четыре ступени-периода. Первый возраст — при царях — длился почти четыреста лет, в течение которых римский народ боролся с соседями самого города. Это его младенчество. Следующий возраст — от консулов Брута и Коллатина до консулов Аппия Клавдия и Квинта Фульвия — охватывает сто пятьдесят <300. — И.С., А.П.> лет, за которые он покорил Италию. Это было самое бурное время для воинов и оружия. Посему кто не назовет его отрочеством? Затем до Цезаря Августа сто пятьдесят лет, за которые он

Распространение христианства с его эсхатологическими представлениями о времени обусловило и появление соответствующих концепций «всемирной истории». Созданные в IV в., они сохранялись в практически неизменном виде до конца XI в. Строго говоря, имелись две схемы — истории священной и профанной (см.: *Аверинцев* 1975; *Барг* 1987).

Первая была предложена Св. Августином и состояла в делении истории на три периода — естественного состояния, Ветхого Завета и времени от воплощения Христа до Страшного Суда. Впрочем, он использовал и более детальную конструкцию — уже из шести «возрастов мира», — в основе которой лежал принцип тройного параллелизма: шесть дней Творения; шесть возрастов человеческой жизни — от младенчества до старости; шесть исторических эпох — от сотворения Адама до потопа, от потопа до Авраама, от Авраама до Давида, от Давида до вавилонского пленения, от пленения до Рождества Христова, от Рождества Христова до Страшного Суда. (Августин даже пытался установить длительность каждой «эпохи» в календарном времени, исходя из числа поколений и средней продолжительности жизни каждого из них.) В VIII в. Беда Достопочтенный добавил к этой схеме седьмой «век» (воскресение из мертвых) и восьмой (вечность, наступившая после конца света).

Что касается профанной истории, то в том же IV в. сначала Евсевий Кесарийский (Памфил), а вслед за ним Св. Иероним на основе второй части ветхозаветной «Книги пророка Даниила» разработали схему «всемирной истории», основанную на последовательной смене четырех «земных царств» — Ассиро-Вавилонского, Мидийско-Персидского, Греко-Македонского и Римского²⁸. Эта идея

покорил весь мир. Ведь это сама юность империи и как бы некая мощная зрелость. От Цезаря Августа до нашего века неполные двести лет, когда из-за бездеятельности цезарей римский народ словно состарился и перекипел» (Луций Анней Флор. Две книги... I).

²⁸ Вторая часть «Книги» (Дан. 7—12), по мнению современных исследователей, относится к 1-й половине II в. до н. э., и упоминаемые в ней четыре царства символизируются четырьмя зверями, после гибели которых наступит царство Всевышнего, «Которого царство — царство вечное» (Дан. 7:27). Заметим, что хотя со Св. Иеронима пророчества Даниила интерпретировались в духе последовательной смены четырех царств, в самих пророчествах они фигурируют скорее как одновременно существующие и борющиеся между собой.

оказала огромное влияние на последующую историю Европы — достаточно вспомнить о Священной Римской империи²⁹ (с конца XV в. — Священная Римская империя германской нации), которая рассматривалась как воплощение вечного «Римского царства».

Иногда к этому же ряду относят представление о Москве как о третьем Риме, но, как отмечает Б. Успенский, «это представление никоим образом не может рассматриваться просто-напросто как пример *translatio imperii*» (Успенский 1996, с. 103). Дело в том, что первичным в доктрине «Москва — третий Рим» был религиозный мотив, а уже затем политический. Вначале Москва была провозглашена новым Константинополем (в «Изложении пасхалии» митрополита Зосимы, 1492 г.). «Поскольку Константинополь понимался как новый или второй Рим, провозглашение Москвы новым Константинополем открывало возможность ее восприятия в качестве третьего Рима. Однако Константинополь был не только „новым Римом“, он был также и „новым Иерусалимом“: в качестве нового Рима Константинополь воспринимался как столица мировой империи, в качестве нового Иерусалима — как святой, теократический город... Существенно при этом, что Москва сначала понимается как новый Иерусалим, а затем — как новый Рим, т. е. теократическое государство становится империей (а не наоборот!)» (Успенский 1996, с. 87; см. также: Лотман, Успенский 1996 [1976]).

Схема «четырех царств» сохранялась почти в неизменном виде вплоть до XII в. (подробнее см.: Swain 1940). В этом веке подходы к периодизации исторического развития начали существенно меняться. В области священной истории первым, кто предложил принципиально иной подход к периодизации, стал, по-видимому, Иоахим Флорский (ок. 1132—1202). Разработанная в формах символического толкования Библии, его концепция исходит из деления всемирной истории на три «мировые состояния» или эры, соответствующие трем ипостасям христианской Троицы. В течение ветхозаветной «эры Отца» Бог раскрывается человеку как властный господин, а человек подчиняется ему как трепещущий раб; новозаветная «эра Сына» превращает эти отношения в отношения Отца и ребенка;

²⁹ Священная римская империя была основана германским королем Оттоном I в 962 г. и формально просуществовала до 1806 г., хотя заключенный в 1648 г. Вестфальский мир (ознаменовавший окончание Тридцатилетней войны) уже зафиксировал превращение империи в конгломерат независимых государств.

наконец, грядущая «эра Святого Духа» сообщит им полную интимность. Первая эра — закона и страха или устрашения; вторая — благородства и веры, и, наконец, третья — эра любви (подробнее см.: Бицилли 1995 [1919], с. 147ff; Sorokin 1937—1941, v. 4, p. 413ff).

Основное различие схем Иоахима и Августина состояло в том, что, по Иоахиму, эра Нового Завета заканчивалась в его время и была не последней в человеческой истории — за ней должна была наступить третья эпоха, Святого Духа, длящаяся «до скончания века». Тем самым конец света отодвигался в более отдаленное будущее.

В XII в. были предприняты и первые попытки совместить священную историю с профанной. Так, Оттон, епископ Фрейзингенский (ум. 1158 г.), выделил в истории три эпохи: до рождения Христа, от рождения Христа до императора Константина и уже от Константина до конца мира, введя в священную историю реальное историческое лицо (см.: Барг 1987, с. 183).

Несмотря на начавшийся в XVI в. процесс расширения географических, этнографических и исторических знаний, принцип построения «всемирной истории» на основе выделения «ядра» продолжал использоваться и в Новое время, органично совместившись с идеей прогресса. Это выражалось в усилении «европоцентризма» историософских концепций. В то же время эти концепции сохраняли базовые черты христианского мировоззрения, четко определенные Р. Коллингвудом: «Любая история, написанная в соответствии с христианскими принципами, по необходимости должна быть универсальной, провиденциальной, апокалиптической и периодизированной» (Коллингвуд 1980, с. 49). Начиная с XVIII в. схемы «всемирной истории» постепенно утрачивают апокалиптический характер, но в полной мере сохраняют остальные христианские признаки.

Например, швейцарский просветитель И. Изелин считал, что решающую роль в развитии человечества играют «внутренние» факторы — мораль и психология (Iselin 1764). Соответственно, для первой стадии развития человечества характерно верховенство чувств, «состояние первобытной простоты» — на этой ступени остановились восточные народы. Греки и римляне достигли следующей стадии, когда сильнее чувств оказалась фантазия. И лишь после тысячелетнего царства тьмы (таким рисовалось Изелину Средневековье) европейские народы достигли цивилизации — разум взял верх над чувствами и фантазией.

В работе Ж. Кондорсе (*Кондорсе 1936 [1794]*) в основу деления истории на десять эпох положен прогресс человеческого разума, охватывающий все сферы общественной жизни — от науки и труда до политики. Первые три эпохи (охота, скотоводство, земледелие) отражают дань моде на иной тип схем «всемирной истории», который мы рассмотрим чуть ниже, но эпохи с четвертой по десятую относятся исключительно к европейской истории. Четвертая эпоха определялась Кондорсе как «прогресс человеческого разума, в Греции до времени разделения наук в век Александра»; пятая — как «прогресс наук от их разделения до их упадка»; шестая — как «упадок просвещения до его возрождения ко времени крестовых походов»; седьмая — как развитие «от первых успехов наук в период их возрождения на Западе до изобретения книгопечатания»; восьмая — как развитие «от изобретения книгопечатания до периода, когда науки и философия сбросили иго авторитета»; девятая — как развитие «от Декарта до образования Французской республики»; десятая эпоха начинается с образованием Французской республики и простирается в будущее (*Кондорсе 1936 [1794]*, с. 265).

В сочинениях немецких философов-идеалистов гораздо сильнее, чем у французских просветителей, выражены эсхатологические мотивы, но они пребывают в полном согласии с идеей европоцентризма. Так Ф. Шеллинг в работе «Система трансцендентального идеализма» (*Шеллинг 1936 [1800]*) выделяет три периода мировой истории:

1 период — трагический, в котором правят законы судьбы (Древний мир);

2 период — природной плановости, в котором правят законы природы, начинается с расширения границ Римской республики;

3 период (долженствующий наступить в будущем) — божественный, в котором будут править законы providения.

Яркое сочетание христианской эсхатологии и европоцентризма на грани национализма мы находим в «Лекциях по философии истории» Г. Гегеля, впервые опубликованных после его смерти (*Гегель 1929—1958 [1837]*). У Гегеля история начинается с образования древних государств и «движется» с Востока на Запад. Первая эпоха — детство (деспотизм) — Восточный мир, включающий Древний Китай, Индию, Персию, Сирию, Египет. Вторая эпоха — юность (демократия) — Греческий мир, третья — возмужалость (аристократия) — Римский мир, четвертая — старость (она же зрелость духа) — Германский мир.

Хотя Гегель, как известно, очень любил триады, и «триадный подход» отчасти присутствует и в этой схеме (см. § 1 данной главы), она прежде всего следует христианской концепции «четырех царств», позволяющей наглядно продемонстрировать тезис о превосходстве немецкой нации (изложенный в виде идеи истинного расцвета абсолютного духа в Германии). Воистину Deutschland über alles, даже любви к триадам!

К этому же ряду можно отнести и историософские представления К. Маркса. Правда, в работах Маркса, опубликованных при его жизни, никакой детальной схемы всемирной истории не предлагалось, а получившая широкую известность схема «пяти формаций» была создана и популяризована его интерпретаторами уже в XX в. (мы вернемся к ней чуть ниже). Те же отрывочные высказывания, которые можно найти в работах самого Маркса, в основном укладываются в концепцию «всемирной истории», построенную на принципе выделения «ядра».

Этот принцип отражен, например, в известной фразе из предисловия к работе «К критике политической экономии»: «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации» (*Маркс 1959 [1859]*, с. 7). Варианты подобной «монистической» схемы можно найти и в «Манифесте коммунистической партии» (*Маркс, Энгельс 1955 [1848]*), и в «Капитале» (*Маркс 1960—1962 [1867—1894]*).

«Европоцентристский» подход обнаруживается и в рукописях, опубликованных уже после смерти Маркса. Так, в «Немецкой идеологии», которая создавалась Марксом и Энгельсом в 1845—1846 гг., но была издана только в 30-е годы XX в. в СССР (*Маркс, Энгельс 1955 [1932 (1846)]*), в основу классификации положена господствующая форма собственности и соответственно выделяется пять ступеней в развитии общества: 1) племенная собственность, 2) античная (общинная и государственная), 3) феодальная (или сословная), 4) буржуазная (или чистая частная), 5) коммунизм (т. е. общественная собственность)³⁰.

Иной подход, отличный от схемы «четырех царств», за которыми наступает Царство Божие или коммунизм, был предложен О. Контом

³⁰ Анализ взглядов Маркса и Энгельса на «всемирную историю» см., например, в: *Нуреев 1989*, гл. 7; *Гофман 1995*, гл. 4.

в 40-х годах XIX в. Конт выделял три стадии развития общества — теологического, метафизического (абстрактного) и позитивного (научного) мышления (подробнее см.: *Mathias* 1924). Первая стадия охватывает древность и раннее Средневековье (до 1300 г.) и делится на три периода: фетишизм, политеизм (Древняя Греция и Рим) и монотеизм (христианство). Метафизическая стадия (1300—1800 гг.) — переходная, для нее характерно разрушение старых верований, нарастание анархии. Третья стадия (с 1800 г.) — эпоха распространения наук, развития промышленности, гармонизации всех сторон жизни общества. Как видим, и поборник «позитивного знания» не устоял перед соблазном и декларировал победу альтруизма над эгоизмом и развитие материальной культуры, которые на этой стадии обеспечат справедливость и мир.

Со второй половины XIX в. подобные концепции постепенно теряют популярность, хотя отдельные авторы и продолжали принимать малоубедительные попытки их построения. В качестве примера можно отметить «модель» Г. Адамса, который выделял следующие фазы в развитии человеческой культуры: религиозная (от начала человеческой истории до 1600 г.), механическая (1600—1900 гг.), электромагнетическая (1900—1917 гг.), «эфирная» (ее начало Адамс датировал 1917 г., а окончание предлагал ожидать уже в 1921, на худой конец — в 2025 г.), за которой должна наступить фаза «чистого разума» (*Adams* 1929 [1909])³¹.

Едва ли не единственная схема, построенная по принципу выделения «ядра» и популярная на протяжении второй половины XX в., была разработана К. Ясперсом (*Ясперс* 1991 [1948]). В ней «всемирная история» сводилась к четырем эпохам:

- 1 эпоха — «прометеевская» — относится к доистории;
- 2 эпоха — «великих культур древности» — начинается с 5000 г. до н. э.; «мир» состоит из народов, живших в долинах великих рек — Нила, Хуанхэ, Инда и в междуречье Тигра и Евфрата;
- 3 эпоха — «осевого времени» — начинается между 800—200 гг. до н. э.; «мир» состоит из так называемых «осевых народов» —

³¹ «Если механическая фаза длилась 300 лет, с 1600 по 1900 год, то следующая, электромагнетическая, будет иметь продолжительность, равную $\sqrt{300}$, т. е. около 17,5 лет, а затем, в 1917 г., она перейдет в следующую, эфирную фазу, которая будет продолжаться $\sqrt{17,5}$, т. е. около четырех лет, и в 1921 г. мысль достигнет предела своих возможностей» (*H. Adams* 1949 [1919], p. 308).

китайцев, индийцев, иранцев, иудеев и греков, которые образуют три культуры — «Восток—Запад», Индия и Китай, причем блок «Восток—Запад» позднее делится на Запад, Византию и Ислам;

4 эпоха — «науки и техники» — начинается в Европе с конца XVIII в., и постепенно в «ядро» включаются другие народы (в том числе «негры и др.», как изящно выражается Ясперс).

2. «Время по Гринвичу»

Второй тип схем «всемирной истории» тесно связан с ростом географических и этнографических знаний. Столкновение представителей «ядра» с другими народами порождает стремление упорядочить страны по уровню развития, разместив их на единой шкале времени. Но, как правило, и в этом случае в качестве стандарта все равно используется исторический опыт развития некоего «ядра», прежде всего европейского. В результате история каждого народа рассматривается не столько в реальном историческом времени, сколько по некоторой условной шкале стандартного «времени по Гринвичу».

Впервые такой подход возникает в I в. до н. э. в Риме, когда в процессе завоевательных походов римляне начинают сталкиваться с варварами. Именно в этот период появляются схемы Лукреция (каменный—бронзовый—железный «века») и Варрона (эпохи охоты, скотоводства и земледелия). На протяжении последующих веков подобные схемы практически не использовались, и их возрождение началось лишь в середине XVIII в. Реанимация этих концепций была опять-таки связана с ростом географических и этнографических знаний европейцев.

Первым идеи Варрона популяризовал, по-видимому, Тюрго, который связывал восхождение человечества по ступеням общественного прогресса в том числе и с наметившимся и углубляющимся классовым неравенством. Усиление этого неравенства Тюрго объяснял переходом от собирательства и охоты к скотоводству, а далее к земледелию. Поскольку земледелие питает значительно больше людей, чем необходимо для возделывания земли, это ведет к разделению труда, появлению городов, торговли, искусства и т. д. В этих построениях, набросанных Тюрго в его «Рассуждениях о всемирной истории», изменения в условиях материальной жизни рассматриваются как определяющий фактор прогресса, движущей же его силой, в духе философии Просвещения, выступает разум (*Тюрго* 1937 [1750], с. 86).

Триада «охота—скотоводство—земледелие» приобрела широкую популярность в конце XVIII — начале XIX в., она встречается у К. Гельвеция, Д. Дидро и у многих других мыслителей (*Гельвеций* 1938 [1773]; *Луппол* 1960; см. также: *Mathias* 1924). Иногда она же служила основой для построения более сложных конструкций «всемирной истории». Например, Ж. Кондорсе с ее помощью определял первые три эпохи (своего рода фундамент) разработанной им схемы развития европейской цивилизации, о которой мы говорили выше (*Кондорсе* 1936 [1794]).

Адам Смит вслед за охотничьей, пастушеской и аграрной ввел «торговую» стадию (*Смит* 1962 [1776]). Как и многие французские философы-просветители, Смит полагал, что «восхождение» по стадиям сопровождается ростом разделения труда и развитием государства. Тот же принцип использовал и основоположник немецкой историко-экономической школы Ф. Лист, который предложил деление истории уже на пять стадий: а) стадия дикости; б) пастушеская; в) аграрная; г) аграрная и промышленная; д) аграрная, промышленная и коммерческая (*Лист* 1891 [1841]).

А. Фергюсон в работе «Опыт истории гражданского общества» предложил новые названия исторических эпох: дикость, варварство и цивилизация, — связав их определение не только с типом деятельности, но и с развитием института собственности (*Фергюсон* 1817—1818 [1765]; см. также: *Токарев* 1978а, с. 124—127). Согласно Фергюсону, частная собственность отсутствует на стадии дикости, появляется на стадии варварства и законодательно закрепляется на стадии цивилизации.

Схема «дикость—варварство—цивилизация» также получила весьма широкое распространение. На нее, например, ориентировались К. Маркс и Ф. Энгельс в рукописи «Немецкой идеологии». Позднее она была развита в работе Л. Моргана «Древнее общество или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации» (*Морган* 1935 [1877]), который к отличительным чертам эпохи варварства добавил изобретение гончарного производства, а цивилизации — изобретение письменности. Концепция Моргана была использована, в частности, Ф. Энгельсом в его известной работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (*Энгельс* 1961 [1884]).

С середины XIX в. популярность приобретают различные экономические концепции членения «всемирной истории», во множестве

создававшиеся прежде всего представителями немецкой историко-экономической школы. Так, Б. Гильдебранд в работах, опубликованных в 1848—1864 гг., делил экономику на три исторических типа: а) бартерная; б) денежная; в) кредитная экономика. Г. Шмоллер в 1884 г. предложил пятичленную схему: а) деревенская экономика; б) городская; в) территориальная; г) национальная; д) мировая. К. Бюхер в 1893 г. выделил три этапа экономического развития: а) стадия независимых домашних хозяйств; б) городской экономики; в) национальной экономики (подробнее об этих концепциях см.: *Hoselitz* 1960).

В 30-е годы XX в. в марксистской литературе (начиная со сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)») была канонизирована схема пяти общественно-экономических формаций (первобытно-общинная — рабовладельческая — феодальная — капиталистическая — коммунистическая), которая рекламировалась как основанная на схемах Маркса и Энгельса, но по существу представляла собой качественно иной тип «всемирной истории». Отказ от использовавшихся Марксом терминов «античность», «Средние века», «буржуазное общество» и т. д. позволил придать схеме пяти формаций универсальный, неевропоцентричный, глобальный вид. Заметим, что попутно было изменено значение слова «формация» — вместо «процесса формирования общества» (см. приведенную выше цитату из предисловия к «К критике политической экономии») оно стало обозначать «стадию социально-экономического развития общества»³².

После второй мировой войны возникает новый всплеск интереса к подобным историческим схемам. Стимулом послужили работы в области экономической и социальной истории, в частности, теории индустриализации и модернизации (*Gerschenkron* 1952; *Lerner* 1958; *Eisenstadt* 1966; *Levy* 1966; *Apter* 1968 и др.; обзор см. в: *Штомпка* 1996 [1993], гл. 9). На сей раз «всемирная история» предстала как последовательная смена разных типов общества: доиндустриального (аграрного, традиционного) — индустриального (модернизированного) — постиндустриального (информационного, технологического и т. д.).

Наиболее детально разработанной является концепция «стадий экономического роста» У. Ростоу (*Rostow* 1960, 1978). Каждую стадию Ростоу связывает с развитием определенных отраслей («лидирующих

³² Впрочем, как отмечает А. Гофман, у самого Маркса термин «формация» также определен весьма нечетко — не исключено, что первоначально он был заимствован Марксом из геологии (*Гофман* 1995, с. 108).

секторов») экономики: сельского хозяйства (традиционное общество), текстильной промышленности (стадия «взлета» или «отрыва», take-off), чугуно-литейной промышленности (стадия перехода к технологической зрелости или индустриальное общество), автомобилестроения, авиастроения и электроники (стадия массового потребления), и наконец, сферы услуг (стадия поиска качества жизни). Кроме того, разным стадиям соответствуют определенные виды энергии — паровая, электрическая, атомная (мы вернемся к обсуждению этой схемы в гл. 4).

Если работы основоположников теории модернизации — Гершенкрона, Айзенштадта и Ростоу — были посвящены прежде всего переходу от доиндустриального к индустриальному обществу, то есть изучению прошлого, то социальных философов интересовало настоящее и будущее. Основное внимание они уделяли и уделяют «постиндустриальному» этапу «всемирной истории». Утверждающееся общество получило в литературе десятки наименований, разнообразие которых демонстрирует одновременно и различие подходов к новой фазе истории, и их схожесть: «постмодернистская эра» (А. Этциони), «постбуржуазное общество» (Д. Лихтхайм), «постэкономическое общество» (Г. Кан), «постскудное» (М. Букшин), «постцивилизованное» (К. Боулдинг), «постиндустриальное» (Д. Белл, А. Турен), «общество знания» (П. Дракер), «общество класса служащих» (Р. Дарендорф), «технотронная эра» (З. Бжезинский). В том же русле лежат концепции Р. Арона, О. Тоффлера, членов «Римского клуба», начиная с Дж. Форрестера и Дж. Медоуза, и многих других.

Каждая из перечисленных схем в отдельности и все они взятые вместе говорят нам, с одной стороны, о том, какие характеристики доминировали совсем недавно, а с другой — что становится главным принципом будущего общества (знания, экономика услуг, информация, электронная технология и т. д.). Заметим, что все эти внешне сугубо социологические концепции отталкиваются от определения стадий или этапов общественного развития, основанного по существу на технико-отраслевом подходе.

3. Синхронизация диахронии

Третий тип схем «всемирной истории» в некотором смысле противоположен предыдущему по способу достижения «хронологического монизма». В схемах второго типа он достигается за счет диахронизации синхронных событий и расположения всех обществ

на единой шкале условного исторического времени исходя из уровня их развития, а в схемах третьего типа «хронологический монизм» устанавливается благодаря синхронизации диахронной истории разных обществ. Предполагается, что каждое общество (культура, цивилизация) проходит одни и те же этапы (фазы, периоды) развития, поэтому историю каждого общества можно нанести на унифицированную временную шкалу, разделенную на этапы, единые для всех обществ. Истоки такого подхода лежат, с одной стороны, в разрабатывавшихся Платоном, Аристотелем и Полибием концепциях форм правления, с другой — в использовавшейся Цицероном, Варроном, Флором и другими римскими историками аналогии истории общества с возрастными этапами человека.

Первая концепция — смены форм правления — была впервые предложена Платоном. В диалоге «Государство» Платон выделил пять типов государственного устройства и соответствующих им «видов душевного склада». «Правильному» государственному устройству (царская власть или аристократия, в зависимости от числа правителей) противостоят четыре «извращенных» формы правления: тимократия или тимархия (государство, где власть принадлежит честлюбивым гражданам, от греч. τιμή — цена, честь, уважение), олигархия, демократия и тирания (Платон. Государство 445cd; 449a; 543b—d; 545b—c). Отметим некоторые ключевые, с точки зрения нашего анализа, характеристики платоновской концепции, развитой им в основном в VIII—IX кн. «Государства».

Во-первых, здесь впервые вводится разделение форм правления на «хорошие» и «плохие». Во-вторых, описание типов правления делается на основе анализа реального политического опыта греческих городов-государств (например, образцом тимократии для Платона является «критско-лакедемонское устройство»). В-третьих, наряду с «чистыми» или «модельными» формами отмечается существование «промежуточных» или «смешанных» форм (наследственная власть, приобретаемая за деньги царская власть и т. д.). В-четвертых, Платон не ограничивается описанием политических систем, но связывает каждый тип правления с теми или иными культурными традициями и «душевым устройством» общества (т. е. общественным сознанием в современной терминологии). Наконец, выдвигается идея последовательной смены форм правления (царский строй или аристократия — тимократия — олигархия — демократия — тирания) и делается попытка описать механизм перехода от одной

формы правления к другой, мотивирующий указанную последовательность их смены.

Развитие этого подхода мы находим в «Политике» Аристотеля, где он выделил шесть форм правления³³. Три *правильные* формы выражают общую пользу: монархия (власть одного), аристократия (власть немногих), полития (власть большинства), все они имеют в виду общую пользу. Наряду с этим существуют ошибочные формы, представляющие собой *отклонения* от указанных «правильных»: отклонение от царской власти — тирания (интересы одного правителя), от аристократии — олигархия (интересы зажиточных классов), от политии — демократия (интересы неимущих классов) (*Аристотель*. Политика 1279a33—38; 1279b5—10). Порядок же смены разных форм правления Аристотель описывал так: «... Из политии естественным путем получались олигархии... Из олигархий же сначала возникли тирании, а затем из тираний — демократии» (*Аристотель*. Политика 1286b15—18).

Эта концепция была использована во «Всеобщей истории» греческим историком Полибием (ок. 200 — ок. 120 до н. э.), который слегка изменил названия и порядок смены форм правления (см. также: *Конрад* 1972)³⁴. Три «правильные» формы правления у Полибия обозначены как царство (базилия), аристократия и демократия, три «отклонения» — монархия, олигархия и охлократия. «Когда царское управление переходит в соответствующую ему извращенную форму, т. е. монархию, тогда в свою очередь на развалинах этой последней вырастает аристократия. Когда затем аристократия вырождается по закону в олигархию и разгневанный народ выместит обиды правителей, тогда нарождается демократия. Необузданность народной массы и пренебрежение к ее законам порождают с течением времени охлократию... Тогда воцаряется господство силы, и собравшаяся вокруг вождя толпа совершает убийства, изгнания, передел земли, пока

³³ Как известно, отношения между Платоном и Аристотелем, который почти двадцать лет был его учеником, складывались довольно-таки непросто. «Говорят, что, когда однажды Платон уже в конце своей жизни куда-то отлучился из Академии, Аристотель захватил то место, где обычно Платон гулял, беседуя со своими учениками» (*Лосев* 1994, с. 25).

³⁴ Определение сущности форм правления у Полибия совпадают с аристотелевскими. Что же касается названий, то, не имея возможности сравнить тексты Аристотеля и Полибия в подлинниках, мы тем не менее подозреваем, что различия здесь могут быть частично связаны с переводом.

не одичает совершенно и снова не обретет себе властителя и самодержца» (*Полибий*. Всеобщая история VI, 4; 9).

Следующая получившая известность концепция такого типа относится уже к эпохе Возрождения. Речь идет о трактатах Макиавелли «Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» (*Макиавелли* 1996 [1532]; [1531]), в которых он возродил схему Аристотеля. По Макиавелли, три «хорошие» государственные формы включают монархию, аристократию и демократию, а три «плохие» или «извращенные» формы состоят из тирании, олигархии и анархии. Исторический кругооборот он отождествлял прежде всего с чередованием «хороших» и «плохих» государственных форм, т. е. вечной борьбой добра и зла.

Впрочем, концепции Аристотеля, Полибия и Макиавелли скорее следует отнести к области политологии, чем ко «всемирной истории». В виде собственно историософской схемы этот подход впервые был реализован в работе Дж. Вико «Основания новой науки об общей природе наций», в которой он делил «времена Мира на три, а именно: Темное Время — это век Богов, затем Баснословное Время — это век Героев и, наконец, Историческое Время — это век людей» (*Вико* 1994 [1725], с. 45). По мнению Вико, эти три стадии развития проходили евреи, халдеи, скифы, финикийцы, египтяне и римляне. Для первой из них характерны безгосударственное состояние, подчинение жрецам, т. е. теократия, для второй типично аристократическое государство, третьей присуща демократическая республика, а затем представительская монархия. При этом Вико сохранил за христианской историей уникальный характер, предположив, что, проходя те же стадии, христианский мир развивался не по кругу, а по спирали.

Другую разновидность представляют модели, уподобляющие общество биологическому организму, переживающему младенчество, детство, юность, зрелость, старость, дряхлость и смерть. В относительно простых схемах в «цикле жизни» цивилизаций выделяются периоды подъема и упадка, в более сложных — зарождение, расцвет, упадок, гибель и т. п. Эта идея восходит к упоминавшимся выше римским авторам и Св. Августину. Но у них, равно как и у использовавшего этот подход Гегеля, история была уникальной или монистичной — схема «возрастов» прилагалась к истории одного «мира». Начиная же с эпохи Просвещения возникает идея множественности «миров», каждый из которых проходит свой «цикл жизни».

Такой «биологический» подход к истории нашел, например, наглядное выражение в работе Г. Форстера «Руководящая нить будущей истории человечества» (1789). Форстер выделил четыре этапа развития человека: детство (потребность в движении) — юность (сексуальная потребность) — возмужалость (потребность в действии) — старость (потребность в размышлении). Эти же четыре фазы, по его мнению, проходит в своем развитии каждая «культура». Форстер называет эти фазы музыкальной (движение, танец и борьба), сперматической (быстрое размножение, рост численности), героической (войны, завоевания) и чувственной (достижение высот образования, воцарение рассудка и разума), причем не все культуры проходят все стадии: например, четвертой стадии достигали только Греция, Рим и современная Форстеру Европа (Соколов, *и др.* 1969—1972, т. 3, с. 69—75).

Можно упомянуть и концепцию Ш. Фурье, выделявшего четыре фазы развития общества или «цивилизации». Две первые фазы — детство и юность — составляют «восходящее колебание цивилизации», две вторые — упадок и дряхлость — образуют «нисходящее колебание» (Фурье 1951—1954 [1847], с. 18—19).

Начиная со второй половины XIX в. подобные схемы постепенно становятся все более причудливыми и в то же время более популярными. Этот длинный ряд открывается, видимо, работой Г. Рюккерта, который первым сформулировал понятие «культурно-исторических типов» («организмов», «индивидов»), каждый из которых проходит одни и те же стадии в своем развитии (от рождения до смерти; см.: Rückert 1857, Bd. I, S. 93—96).

Другой известный пример — одиозная работа Н. Данилевского «Россия и Европа» (Данилевский 1991 [1871]). Данилевский выстраивает исторический ряд «естественных групп», которые вслед за Рюккертом называет «культурно-историческими типами». Таких типов он насчитывал более десяти: египетский, китайский, ассирийско-аварио-финикийский, халдейский (древнесемитский), индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитский (арабийский), германо-романский, славяно-русский, плюс два древнеамериканских культурных типа — мексиканский и перуанский.

Согласно его интерпретации, все типы, за исключением славянского, полностью или частично завершили свое развитие. Славянский тип, вступающий в пору расцвета, противопоставлен европейскому или романо-германскому типу. Отличительными чертами славян-

ского типа являются православие, «славянство» и крестьянский надел (!). У славянского типа четыре основы (религиозная, культурная, политическая и общественно-экономическая), в то время как у остальных типов — лишь по одной (у еврейского — религиозная, у греческого — культурная, у римского — политическая и т. д.). В соответствии с «биологическим» подходом Данилевский различал в жизни культурно-исторических типов три, четыре, а то и семь «возрастов». Наконец, каждый культурный тип проходит, по его мнению, одинаковые стадии развития — от этнографического состояния к государственному и от государственного к цивилизованному.

В 1920-е годы колоссальную известность получила работа О. Шпенглера «Упадок Запада» («Der Untergang des Abendlandes», в русском переводе «Закат Европы»; Шпенглер 1993 [1918]). Шпенглер выделяет восемь «культур»: индийскую, китайскую, вавилонскую, египетскую, греко-римскую (античную), арабско-византийскую, западноевропейскую и культуру майя. В деталях Шпенглер рассматривает лишь пять культур: индийскую (с 1500 г. до Р. Х.), египетскую (с 3000 г. до Р. Х.), античную («аполлоновскую», с 1100 г. до Р. Х.), арабскую («магическую», с 0 г.) и западную («фаустовскую», с 900 г.). При этом комплексный анализ (духовная жизнь, искусство и политика) ведется только на примере двух культур (античной и западной). Шпенглер имел неосторожность суммировать результаты своих размышлений в виде таблиц «Сравнительной морфологии истории», делающих весьма наглядной искусственность его построений (не говоря уже о том, что нулевого года, с которого, по его мнению, начинается развитие арабской культуры, вообще не существует в современной системе летосчисления).

Каждая культура, по Шпенглеру, подобно человеку, переживает детство, юность, возмужалость и старость. Кроме того, духовная жизнь проходит эпохи «весна», «лето», «осень» и «зима», — а искусство и политика проходят эпохи «первобытности» (до начала развития культур — хаос форм в искусстве, отсутствие политики и государства), «культуры» (язык форм в искусстве, государство) и «цивилизации» (отсутствие внутренней формы в искусстве, поглощение государства «мировым городом»). Эпоха культуры, в свою очередь, делится на «раннюю» и «позднюю».

В работе Ф. Корнелиуса (Cornelius 1925) доказывалось, что каждая культура проходит пять «стилей»:

1) «единогласный», в котором «основные переживания» (*Grunderlebniss*) культуры являются наивно-религиозными;

2) «самосознательный», в котором начинается социальная дифференциация и среди массы людей появляются лидеры, но они еще не отделены от массы;

3) «возвышенный», в котором герои отделяются от масс и возникают первые попытки установления контроля над историческим процессом;

4) «личностный», когда начинают доминировать индивидуализм и эгоизм;

5) «копирующий», когда общество начинает имитировать других и первоначальная креативность постепенно исчезает (см. также: *Sorokin* 1937—1941, v. 4, p. 419).

Нельзя не упомянуть и еще об одном сочинении, в котором развивалась идея фаз исторического развития, а именно, о работе одного из главных идеологов фашизма А. Розенберга «Миф XX столетия» (*Rosenberg* 1930). Отталкиваясь от концепций «органических циклов культур» О. Шпенглера и «культурных кругов» немецкого этнографа Л. Фробениуса, А. Розенберг предложил расистскую концепцию циклов развития народов, обосновывающую превосходство немецкой нации, причем антисемитские выпады «немецкого патриота» Розенберга удивительным образом перекликаются с соответствующими пассажами «русского патриота» Данилевского. Видимо, нет ничего более космополитичного, чем антисемитизм...

В середине нашего века широкую известность получил 12-томный труд А. Тойнби по истории цивилизаций (*Toynbee* 1934—1961), краткий вариант которого был издан в России под названием «Постижение истории» (*Тойнби* 1991 [1934—1961]). В начале своего многолетнего исследования Тойнби насчитывал 21 цивилизацию, в конце — 37, в том числе пять крупных «живых» цивилизаций (западное христианское общество, православно-христианское или византийское, исламское, индуистское, дальневосточное; см.: *Тойнби* 1991 [1934—1961], с. 32—34, 724—725). Критерием для выделения цивилизаций в исследовании Тойнби выступала прежде всего религия. Каждая цивилизация, согласно его конструкции, проходит четыре стадии — генезис, рост, надлом и распад.

Работа Тойнби вызвала в научных кругах широкую дискуссию, которая началась сразу после выхода первых томов (см., например: *Февр* 1991 [1936]) и продолжалась несколько десятилетий. Но в це-

лом после второй мировой войны новые схемы такого типа практически перестали появляться. Одно из немногих исключений — работа К. Куигли (*Quigley* 1961), который выделял 16 цивилизаций (частично пересекающихся со списком Тойнби) и доказывал наличие семи стадий в развитии каждой из них: взвесь, созревание, экспансия, столкновение с внешней средой, мировая империя, упадок, покорение (другой цивилизацией).

Другая «несвоевременная» работа подобного рода, появление которой скорее всего объясняется изоляцией российской науки от мировой, — сочинение Л. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» (*Гумилев* 1990 [1979]) о жизненных циклах этносов. По Гумилеву, жизненный цикл от момента толчка до выхода из динамического состояния (до полного исчезновения или превращения в реликт) продолжается не более 1200 (1500) лет (*Гумилев* 1990 [1979], с. 127). Этот период делится следующим образом: фаза подъема (юность) длится 300 лет, столько же отводится «акматической фазе» (расцвету), затем наступает фаза «надлома» (старость), продолжающаяся около 200 лет, за ней идет «инерционная фаза» (дряхлость), длящаяся 400 лет, после чего возможны фазы «обскурации», «регенерации», «реликта», «гомеостаза», продолжающиеся суммарно до 300 лет и обозначающие разные варианты смерти и исчезновения этноса (*Гумилев* 1990 [1979], с. 339).

Если не считать оригинальных названий фаз исторического развития и использования категории «этноса» вместо обычных «цивилизаций» или «культур», концепция Гумилева сводится к традиционной схеме «жизненного цикла» (юность—зрелость—старость—дряхлость). Главное же отличие работы Гумилева от многочисленных предшественников состоит в биокосмической детерминации: причиной начала жизненного цикла этносов (т. е. процесса «этногенеза») называются «пассионарные толчки», связанные с космическим излучением (хорошо еще, что не с летающими тарелками!).

Как видно из нашего краткого обзора, схемы «всемирной истории» столь же разнообразны, как интересы их создателей. Одних авторов больше всего интересовала культура (Форстер, Шпенглер), других — религия (Августин, Тойнби), третьих — государство (Иеро-

ним, Гегель), четвертых — политическое устройство общества (Платон, Вико), пятых — национальная идея (Гегель, Данилевский), шестых — экономика (Смит, Лист), седьмых — научно-технический прогресс (Ясперс, Тоффлер) и т. д. и т. п.

Вместе с тем они утомляют своим однообразием, как утомляли бы биографии людей, написанные с целью разметить их деяния возрастными границами. Это однообразие усиливается и отмеченным выше стремлением осмыслить настоящее и предвидеть будущее, будь то Страшный Суд, коммунизм, технологическая и экологическая катастрофа или расцвет человеческого разума.

Еще одна общая черта всех вариантов схем «всемирной истории» — европоцентризм. В схемах первого типа Европа выступает в качестве «ядра» по крайней мере на протяжении большей части «всемирной истории», во втором типе схем история развития Европы играет роль стандартной шкалы, на которой располагаются все остальные страны и народы. Схемы третьего типа формально не являются европоцентричными, а скорее выглядят как ориентированные на неевропейские цивилизации. Но по существу и эти схемы строятся в большинстве случаев именно для описания развития Европы, определения ее текущего положения на единой шкале исторического времени, задаваемой опытом развития других цивилизаций.

В XIX — начале XX в. европоцентристский подход несомненно доминировал в общественной мысли, и именно этим объясняется тогдашняя популярность различных схем «всемирной истории». Заметим, что такой «классический» европоцентризм, подразумевающий единство и принципиальную одинаковость мира, иногда проявляется и по сей день — вспомним хотя бы прокатившийся в 60-е годы мощный вал работ, посвященных стадиям экономического роста, модернизации и переходу к постиндустриальному обществу. Но наряду с этим в общественной, философской и научной мысли все отчетливее заявляет о себе качественно иной подход, возникший еще в прошлом столетии, но оформившийся как законченная концепция лишь в первой четверти нашего века.

Речь идет об идее уникальности европейской культуры, общества, экономики и т. д., а тем самым и об уникальности европейской истории. Начиная с работ М. Вебера, В. Зомбарта, Э. Трельча и др. эта идея постепенно завоевала доминирующие позиции в философском и научном сообществе. Появление концепции «Запада» и «западной цивилизации» (чему немало способствовала, кстати, работа

О. Шпенглера) обусловило постепенный отказ от попыток генерализации европейского опыта и переход к выявлению специфики, отличающей Запад от остального мира. Все более существенное место в трудах обществоведов стал занимать поиск корней европейской цивилизации, выявление преемственности в развитии западного общества, обоснование его культурой целостности. Появление этих работ по сути означало постепенное вытеснение схем «всемирной истории» на периферию философской и научной мысли.

Идея уникальности западной цивилизации трансформировалась в 70—90-е годы в тезис о специфичности и непохожести отдельных стран, народов и регионов мира, своеобразии их культур и исторического пути. Ныне тезис о мультикультурности — один из самых модных как в Европе, так и за ее пределами. И если развитые страны еще в 60-е — начале 70-х годов предпринимали попытки подтянуть страны «третьего мира» до европейского уровня, а точнее, подогнать их экономическое, политическое и социальное устройство под европейские стандарты, то в последнее десятилетие таких попыток практически не наблюдается. В лучшем случае речь идет о подключении к «Европе» тех стран, которые воспринимаются как принадлежащие к европейской цивилизации: Греция, Испания, страны Восточной Европы или Балтии. Даже Япония, несмотря на все ее успехи и достижения, рассматривается как нечто отдельное и чуждое, не говоря уже о других азиатских, а тем более африканских и латиноамериканских странах.

Что касается влияния историософских схем «всемирной истории» на историографию, то здесь складывается неоднозначная картина. Многие историки не приемлют такие схемы по причине их умозрительности и считают их исторически некорректными (имеется в виду вольное обращение с историческими фактами, источниками, да и просто огромное количество неточностей и ошибок, неизбежное в работах подобного типа). Упомянем хотя бы Л. Февра, подвергшего схемы Шпенглера и Тойнби уничтожительной критике (Февр 1991 [1936]). Однозначно негативная оценка встречается и в работах философов (см., например: Поппер 1993 [1957]).

Суть пренебрежительного отношения к схемам «всемирной истории» довольно жестко выразил Р. Коллингвуд. «Ценность каждой из этих классификационных схем, если под ценностью понимать то, что они способны быть средством открытия исторических истин, не устанавливаемых простой интерпретацией свидетельств,

была равна нулю... Если же какая-нибудь из них когда-либо и была принята сколько-нибудь значительным числом ученых, помимо человека, ее придумавшего, то совсем не потому, что она поразила их своей научной убедительностью, а потому, что она превратилась в вероучение, по сути дела, некоей религиозной общины, хотя последняя могла и не считать себя таковой... В других случаях они имели некоторую развлекательную ценность, немаловажную в жизни уста-лого историка...» (*Коллингвуд* 1980 [1946], с. 253).

Тем не менее полностью отрицать воздействие историософских схем на умы историков вряд ли правомерно. На протяжении последних двух с половиной столетий некоторые из них оказывали на исторические исследования более чем существенное воздействие, и многих историков, в том числе и очень известных, привлекала идея создания схем всемирной истории. Л. фон Ранке рисовал картину всеобщей исторической жизни, которая последовательно движется от одной нации или группы наций к другой (*Ranke* 1884 [1860]), и М. Блок говорил, что «единственно подлинная история, возможная лишь при взаимопомощи, — это всемирная история» (*Блок* 1986 [1949], с. 29). Но историки пытались подходить к решению этой задачи по-своему, не столь умозрительно, как философы. Для историков самым удобным инструментом для создания всемирной истории было хронологическое время — «гомогенный посредник, который беспристрастно объединяет вместе все возможные события» (*Kracauer* 1969, р. 139). Как заметил А. Франк, те, кто занимается сравнительной историей, сравнивая одно место с другим или изучая одну проблему или институт — власть, государство, культуру или религию, — выбирают каждый свою структуру исторического времени. Но всемирная история требует единого и последовательного способа структурирования времени как для целого, так и для отдельных частей (*Frank* 1990, р. 159—160). Для этих целей самым универсальным средством оказывается хронологическое время.

Гомогенность и необратимость хронологического времени предполагают, что все события, которые произошли в определенный момент, как-то связаны. Тем более связаны между собой последовательные события. Создавая панораму всемирной истории, историк концентрируется на том, что представляется более или менее продолжительной последовательностью событий, пытается проследить их ход на протяжении веков и поделить временную протяженность

на отрезки, которым приписывается определенное качество. «Фактически формальный опыт хронологического времени порождает желание преобразовать форму в содержание, приписать историческому процессу определенные качества: развитие или прогресс. Это желание оказывается непреодолимым» (*Kracauer* 1966, р. 66). И именно благодаря последнему обстоятельству всеобщая история может рассматриваться как регулятивный идеал в кантовском смысле, идея «единого исторического мира» (*Gallie* 1964, р. 59), которой должен руководствоваться историк в поисках взаимосвязей конъюнктур и структур и которая часто воплощается в образе линейного исторического времени (*Martins* 1974, р. 269).

Хотя всемирная история, создаваемая историками, в отличие от историософских схем претендует на гомогенность исторического времени, его заполненность событиями и фактами, она «все же не что иное, как сочленение нескольких локальных историй, среди которых (и между которыми) пустоты гораздо более многочисленны, чем заполненные места. И напрасно верить, что умножая число со-трудников и интенсифицируя исследования, мы получим лучший результат: если только история жаждет смысла, она обрекает себя на то, чтобы выбирать регионы, эпохи, человеческие группы и индивидов в этих группах и выделять эти фигуры в качестве прерывистого из непрерывного, вполне подходящего, чтобы служить декорацией на заднем плане» (*Леви-Стросс* 1994 [1962], с. 317).

Волевым решением историк делает выбор между многими свидетельствами, чтобы писать историю целого методом «избранных мест», но настоящий объект остается целостным. Как пишет Э. Томпсон, «человеческое прошлое не агрегация отдельных историй, а единое целостное человеческое поведение, все аспекты которого взаимосвязаны (через рынок, отношения субординации и т. д.). Эту целостность мы и можем назвать историческим процессом, т. е. рационально организованными и структурированными практиками» (*Thompson* 1978, р. 232).

Упрочившаяся в XX в. идея уникальности западной цивилизации привела к падению популярности и постепенному отказу от классических историософских схем. Но на смену «всемирной истории» пришла едва ли не столь же общая и генерализованная «история Запада» или «история Европы»³⁵.

³⁵ По мнению А. Франка, современные историки, которые искали альтернативу европоцентристской истории, обычно предлагали дополнительные

В отличие от «всемирной истории» попытки создания единой истории Европы или западной цивилизации считаются в историческом сообществе, начиная с Ф. Гизо (*Гизо* 1905 [1825]) и Л. фон Ранке (*Ранке* 1898 [1854]), вполне респектабельными и корректными с научной точки зрения. Вопреки тому, что идея единства европейской истории, не говоря уже о степени ее внутренней синхронии, представляется далеко не бесспорной, подавляющее большинство специалистов ее принимает. Концепции «всемирной истории» в этом случае трансформируются в различного рода периодизационные схемы европейского исторического развития.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЦИКЛЫ И СТАДИИ

или сравнительные исследования других регионов мира или более ранних цивилизаций (*Frank* 1990, p. 166). Очень немногие историки, среди них У. Макнил и Л. Ставрианос (*McNeill* 1964; *Stavrianos* 1970), писали действительно всеобщую историю.

Так жили народы древности, переходя от дешевой простоты к дорогостоящей пышности, и, развиваясь, впадали в ничтожество.

Н. А. Тэффи. Из «Всеобщей истории, обработанной „Сатириконом“»

В структурировании исторического времени существенную роль играют циклические и стадияльные концепции развития общества. Циклические и стадияльные схемы по сути являются способом деления исторического времени на однородные единицы или законченные этапы исторического развития. Этим определяются как популярность схем такого типа, так и их очевидные слабости.

Любая схематизация исторического процесса неизбежно несет в себе упрощения, подчас столь значительные, что их правомерность начинает вызывать сомнения. Но вместе с тем без подобных упрощений и схематичности комплексный анализ исторических изменений оказывается просто невозможен. Скептическое отношение или даже неприятие моделей и схем, типичное для многих историков, уже давно изжито представителями большинства других социальных дисциплин — прежде всего экономистами, но также и социологами, политологами, специалистами в области культурной антропологии и т. д. Модельный анализ отдельных аспектов жизни общества, увы, является необходимостью, с той лишь разницей, что его можно рассматривать или как неизбежное зло, или как возможное благо.

«Любая научная модель опирается на теорию подобия и представляет собой абстрагированное выражение сущности явления. Модель выступает как система, исследование которой дает информацию о другой (более сложной. — И. С., А. П.) системе... Сама познавательная деятельность историка выступает как моделирование, а результат его работы — как модель. Однако, как указывал В. В. Подгаецкий в своей работе „Эффект Журдена“ ... большинство истори-

ков не осмысливают свою деятельность через понятие „моделирование“, оставаясь „стихийными модельерами“» (Тарнопольская 1995, с. 70–71)¹.

При этом кажется вполне очевидным, что модели функционирования общества или отдельных его подсистем нельзя отождествлять с реальностью. Данный тезис выглядит абсолютно тривиальным, но тем не менее мы все же решились напомнить о нем в контексте обсуждения проблемы циклов и стадий. Дело в том, что несмотря на совершенную очевидность того факта, что стадияльные и циклические схемы исторического движения являются не более чем *моделями* исторического процесса, среди историков не прекращаются дискуссии о *существовании* тех или иных стадий или циклов. Если спросить экономиста, *существует ли*, например, мультипликатор государственных расходов Самуэльсона или рациональные ожидания Мута—Лукаса, он скорее всего решит, что вы нездоровы. Но в историческом сообществе вопрос о том, *существуют ли* стадии экономического роста Ростоу или, например, циклы Кондратьева воспринимается совершенно серьезно и является объектом «научной» дискуссии.

Любая модель или схема, как известно, является лишь условным аналогом реальных процессов. Ее выбор определяется как вкусами и знаниями исследователя, так и задачами его работы. Бессмысленны утверждения о том, что какая-то модель является «более правильной»². Более того, даже говорить о том, что одна модель лучше или хуже другой, можно с очень большой долей условности. Ведь речь может идти лишь о том, насколько та или иная модель внутренне непротиворечива, какие из наблюдаемых явлений и процессов могут быть объяснены с ее помощью, насколько она удобна и операциональна и т. д.

¹ Показательно в этой связи, что автор цитируемой работы, будучи активной сторонницей моделирования исторических процессов, предлагает рассматривать построение моделей как продолжение традиций первобытной или средневековой магии и колдовства...

² Заметим, что даже принцип «фальсификации», предложенный К. Поппером, не может использоваться для выявления «неправильных» теорий. Как показано в современных исследованиях по методологии науки, во-первых, согласно тезису Дюэма—Куайна, ни одну теоретическую гипотезу невозможно проверить изолированно от других гипотез (см.: Cross 1982); во-вторых, факты и наблюдения, используемые для эмпирической проверки, сами зависят от теорий, гипотез и концепций (см.: Hindess 1977).

С этими оговорками мы попытаемся систематизировать многообразные циклические и стадияльные модели исторического развития и рассмотреть возможности использования этих схем в качестве инструмента анализа исторического времени.

§ 1. МЕХАНИЗМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

— Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли эта забота, но она строго геометрична!

Венедикт Ерофеев. Москва—Петушки

Учитывая огромную численность работ, посвященных циклическости социальных процессов, мы вынуждены ограничиться самым кратким и схематичным их обзором. Впрочем, в данной работе детальный анализ циклических концепций не является самоцелью, и мы обращаемся к этим исследованиям в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать варианты использования циклов для периодизации исторического развития общества.

Отличие циклов как схемы членения истории и исторического времени от обычных периодов заключается, во-первых, в наличии однообразного механизма их смены, во-вторых, в примерно одинаковой продолжительности циклов (последовательно сменяющие друг друга обычные исторические периоды в отличие от циклов могут быть, вообще говоря, любыми по продолжительности). Поэтому мы остановимся прежде всего на двух вопросах: механизме циклических колебаний и их длительности.

Циклические концепции истории общества и отдельных его подсистем (экономики, социальной сферы, политики, культуры и т. д.) можно классифицировать по трем основным типам механизмов, используемых для объяснения циклических (волновых) колебаний общественных процессов. Эти механизмы мы условно обозначим как «биологические» (которые делятся, в свою очередь, на «смену поколений» и «циклы жизни»), «космические» и «механические».

Естественно, существует значительное число как смешанных теорий, в которых одновременно используется два или три упомяну-

тых механизма, так и исследований, в которых механизм циклических колебаний вообще не специфицируется. Однако анализ «циклической» литературы позволяет предположить, что авторы последних также опираются на какой-то из перечисленных механизмов или некую их комбинацию.

В главе 3 мы рассмотрели основные философские схемы общественного развития, в том числе и циклические, здесь же мы обратимся непосредственно к циклическим концепциям реальной истории. Философские и мифологические схемы как правило связаны с реальной историей весьма условно, они ориентированы не на анализ и систематизацию конкретных исторических событий, а скорее являются попытками создания общей картины мироздания. Именно поэтому в этих схемах если и исследуются временные циклы, то необычайно большие, измеряемые тысячелетиями и описывающие развитие Вселенной, «мира», цивилизаций и т. д.

Циклы, которые условно можно назвать историографическими, во-первых, имеют гораздо меньшую продолжительность — от пяти до ста пятидесяти, максимум двухсот лет. Во-вторых, историографические циклические схемы как правило не претендуют на универсальный характер и строятся на историческом материале, относящемся к более или менее ограниченному временному периоду и географическим регионам.

1. Смена поколений

У истоков темпорального сознания лежали разные типы восприятия времени — обыденное (индивидуальное), семейное (родовое), сакральное (мифическое), к которым позднее присоединяется историческое темпоральное сознание. В главе 5 мы остановимся на этом вопросе более подробно, здесь же отметим, что семейное (родовое) время существует даже в самых примитивных культурах. У народов с гентильной организацией общества основной функцией семейного времени является социальная стратификация: положение всех членов рода (семьи, племени) самым существенным образом зависит от возраста. Соответствующие социальные группы — например, дети до достижения половой зрелости или не прошедшие инициацию, не состоящие в браке юноши и девушки, замужние (женатые, имеющие детей), старики и т. д. — обладают разными правами и обязанностями, т. е. разными социальными позициями (подробнее см., например: *Hareven* 1977).

Второй функцией семейного времени с древнейших времен была сегментация прошлого, инструментом которой выступал счет поколений. История семьи (рода) периодизовалась по смене глав рода. Из семейного времени концепция поколений перешла в историю. Неудивительно, что поколения как единица времени используются в самых ранних исторических описаниях, в частности, в Ветхом Завете и трудах древнегреческих авторов — Гесиода, Геродота и других³. Однако уже в самых первых исторических работах (греческих и римских историков), равно как и в Библии, понятие поколения и смены поколений является неоднозначным. Где кончается одно поколение и начинается другое даже на уровне одного рода (династии, семьи)? Какой момент можно считать сменой поколений, концом времени одного поколения и началом времени следующего?

Иногда считается, что поколения (в частности, библейские) соответствуют продолжительности жизни (средней или данного индивида). Но на самом деле такая концепция практически никогда не использовалась ни в семейном времени, ни в историографическом. В древности поколения определялись двумя совершенно иными способами.

На уровне семейного времени поколение обычно измерялось и измеряется периодом от момента смерти старейшины семьи (рода) и до момента смерти его старшего наследника. Так, выражение «это было при моем дедушке» подразумевает, что прадедущка в это время уже не жил, иначе бы событие датировалось по прадедущке. При этом факт существования (т. е. уже произошедшего или еще не произошедшего рождения) отца говорящего в упоминаемый момент прошлого не существенен для датировки события в семейном времени.

Эта «семейная» трактовка поколения перешла и в исторические исследования — речь идет о периодах правления, которые издревле использовались в качестве единицы времени (подробнее см. выше, гл. 2, § 5). Период правления властителя часто отождествлялся с поколением — такую трактовку можно найти уже у Геродота (*Геродот. История* II, 142; VI, 98).

Помимо этого греческие и римские историки использовали для счета поколений (γένεα, aetas) и другой период жизни — промежуток

³ В частности, как отмечалось в предыдущих главах, знаменитые «пять веков» Гесиода (золотой, серебряный и т. д.) — это на самом деле не что иное, как пять «поколений» (γένος).

времени от рождения мужчины до того момента, когда у него родится собственный ребенок (мужского пола). Как говорил Гераклит, этим завершается цикл жизни человека. В Библии, по существу, используется такая же трактовка поколения — до рождения первого потомка мужского пола (см.: Быт. 4—5 и др.). Два известных исключения — Сиф и Исаак — действительно выделяются как исключения, обусловленные особыми обстоятельствами.

Хотя две указанные трактовки поколения выглядят как совершенно различные, можно заметить, что если предполагать среднюю продолжительность жизни и средний возраст рождения первого ребенка (мужского пола) неизменными, то средняя продолжительность «существования» поколения в обоих определениях совпадает. Поэтому вопрос заключается только в том, считать ли моментом смены поколения смерть старшего в роду или появление на свет нового «продолжателя рода». Заметим, что оценки среднего срока «жизни» поколения у большинства античных авторов колеблются от 25 до 35 лет (т. е. столетие состоит из 3—4 поколений), что свидетельствует, в частности, о достаточно позднем возрасте вступления в брак в древних обществах.

Оба определения поколений широко использовались в трудах античных авторов — Гесиода, Гераклита, Геродота, Зенона, Платона, Аристотеля, Полибия, а также Вергилия, Лукреция, Плутарха, Варрона, Цензорина и др., в иудаистической философии и истории, а также у мыслителей эпохи европейского Средневековья. Первую концепцию поколения мы встречаем в бесчисленных хрониках и летописях, фиксировавших в качестве исторических единиц времени периоды правления различных властителей (см. выше, гл. 2, § 5), во втором варианте они выступали в качестве базового элемента библейско-христианской хронологии, которую мы рассматривали в главе 2, § 3. В обоих случаях концепция поколения задавала не только единицу исторического времени, но и формировала первичные представления о цикличности исторического развития. Чередование поколений от смерти к смерти или от рождения к рождению символизировало бесконечную повторяемость и однотипность исторического развития.

Традиционным для христианской историографии было представление и о более длительных циклах, состоявших из некоего фиксированного числа поколений, которое также фигурирует в Новом

Завете: «Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов» (Матф. 1:17). Начиная с позднего Средневековья и до эпохи Возрождения создавались бесчисленные вариации на эту тему, в которые постепенно включались события мирской истории.

Одним из наиболее известных примеров являются сочинения Иоахима Флорского (ок. 1132—1202) «Согласование Нового и Ветхого заветов» («Concordia novi et veteris testamenti») и «Пособие к Апокалипсису» («Enchiridion in Apocalypsin»). Доказывая, что Новый Завет является копией или повторением Ветхого Завета, Иоахим делил каждую из двух историй, Ветхую и Новую, на отрезки с определенным числом поколений. В частности, периоду в 12 поколений от Иакова до Давида в Ветхом Завете соответствовал, по его мнению, период в 12 поколений от рождения Иисуса до императора Константина (Joachim de Floris 1928, v. 2, p. 3ff).

Николай Кузанский (1401—1464) делил историю на периоды в 1700 лет = 34 поколения × 50 лет. Этот период, по его мнению, отделяет Адама от Потопа, потоп от Моисея, Моисея от Христа и Христа от конца света. Таким образом конец света должен был наступить в начале XVIII в. (Nicolaus Cusanus. De novissimis diebus; цит. по: Sorokin 1937—1941, v. 4, p. 459).

До начала Нового времени поколения трактовались на уровне семейного времени, которое распространялось на все общество. В XVI в., когда возникает концепция социального поколения, проблема определения встает с новой остротой. К двум прежним типам исторических поколений добавляются социальные (духовные и политические).

У истоков новой концепции стоял, видимо, Н. Макиавелли (Макиавелли 1996 [1531]; [1532]). Начиная с XVI в. проблема социальных поколений все чаще занимает умы философов и историков и количество трудов, в которых она затрагивается, быстро нарастает. С этого времени и до начала XIX в. она привлекает внимание таких мыслителей, как Ж. Боден, Т. Кампанелла, Б. Паскаль, Д. Юм, Ж. Ж. Руссо, А. Фергюсон, А. де Сен-Симон, Ш. Фурье и многих других.

Однако начало серьезной научной разработки концепции социальных поколений обычно связывают с О. Контом, выделившим ее в качестве самостоятельной темы в IV томе своего «Курса познания

тивной философии», вышедшем в 1839 г. (*Comte* 1839, p. 635–641). В конце XIX — первой трети XX в. о роли смены социальных поколений в историческом процессе писали известные философы, социологи, экономисты и историки: О. Курно, Дж. Милль, Г. Спенсер, О. Лоренц, В. Дильтей, Л. фон Ранке, В. Парето, Г. Адамс, К. Манхейм, Х. Ортега-и-Гассет, не говоря уже о множестве менее знаменитых авторов. Эта тема пользовалась также колоссальным успехом у искусствоведов, музыковедов и филологов.

После второй мировой войны проблема социальных поколений отчасти теряет былую популярность (по причинам, о которых мы скажем чуть ниже), но тем не менее все еще обсуждается социологами, политологами, искусствоведами и, наконец, историками. Мы отсылаем заинтересованных читателей к соответствующим работам⁴, а здесь ограничимся кратким анализом основных сложностей, возникающих при использовании данной концепции.

Понятие социального исторического поколения как феномена, имеющего отношение к социальной, политической и культурной истории, первоначально также имело преимущественно биолого-генеалогический характер и основывалось на том, что обычно между отцами и детьми существует характерная возрастная разница в 25–30 лет. Это наивное понятие социального поколения возникло из биолого-генеалогического с помощью дополнительной гипотезы, сводящейся к тому, что существует некая взаимосвязь между непрерывным процессом чередования отцов и детей и дискретным процессом изменений в исторической картине общества и культуры. Но при этом возникает естественный вопрос: где кончается одно социальное поколение и начинается другое? Сколько социальных поколений сменяется в обществе, скажем, на протяжении 100 лет — три, четыре, десять?

Длящаяся уже несколько столетий дискуссия о взаимосвязи смены поколений и исторического процесса идет, по существу, вокруг трех, во многом взаимосвязанных, вопросов: первичности или

вторичности феномена «социальных поколений», степени его всеобщности и продолжительности «жизни» каждого поколения.

Первый вопрос заключается в следующем. Если феномен смены поколений в истории может быть доказан, то идет ли здесь речь о первичных (т. е., в конечном счете, биологически обусловленных) явлениях с регулярной периодичностью или о вторичных (в основе которых лежат определенные внешние события и обстоятельства), возникающих через неопределенные промежутки времени?

В большинстве работ второй половины XIX в. смена поколений рассматривалась как первичный фактор, т. е. как движущая сила исторического процесса, причина происходящих в истории событий. В работах французов О. Конта и Ж. Дромеля, англичанина Дж. Милля, итальянца Г. Феррари, немца О. Лоренца и многих других авторов высказывалась мысль о том, что смена поколений является мотором исторического прогресса. Более того, утверждалось существование некоего биологически обусловленного ритма исторических изменений. В 20–30-е годы XX в. эту идею развивали испанец Х. Ортега-и-Гассет, француз Ф. Ментре, а также ряд немецких ученых (В. Пиндер, сын О. Лоренца А. Лоренц, Х. Мюллер, Ф. Дрерап)⁵. После второй мировой войны биологические теории исторического процесса утратили былую популярность — их поддерживают лишь отдельные последователи Х. Ортеги-и-Гассета (например, испанец Х. Мариас), А. Шлегел-младший и некоторые другие авторы.

Альтернативная точка зрения — о «вторичности» смены поколений, подразумевающая, что они являются не причиной, а следствием исторических событий, — была впервые четко сформулирована немецким философом В. Дильтеем в работах, опубликованных в 60–70-е годы XIX в. Занимаясь изучением романтизма в немецкой литературе, он обнаружил, что многие из видных представителей этого течения родились примерно в одни и те же годы. Исходя из этого Дильтей выдвинул гипотезу о том, что восприятие интенсивных впечатлений в юности способствует тому, что значительное число индивидуумов приблизительно одинакового возраста усваивает на всю оставшуюся жизнь запас относительно единых философских,

⁵ Х. Ортега-и-Гассет выразил эту идею с прямотой, граничащей с большевистской: «Мы можем... представить каждое поколение как своего рода биологический снаряд, выпущенный в пространство в точно установленное время, с определенной силой, направлением» (*Ортега-и-Гассет* 1991 [1923], с. 6).

⁴ Весьма полный обзор работ по проблеме социальных поколений от истоков этой концепции и до начала XX в. был дан в: *Mentré* 1920. Обширная библиография и краткий обзор работ конца XIX — первой трети XX в. приведены в: *Sorokin* 1937–1941, v. 4, p. 505–526, особ. p. 513–514 fn. Среди относительно недавних публикаций, содержащих, в частности, обзоры исследований, написанных в XX в., можно указать: *Spitzer* 1973; *Jaeger* 1977; *Kessler, Masson* 1985; *Attias-Donfut* 1988.

социальных и культурных представлений. При этом такое «запечатление», полученное в юности в относительно короткие сроки, не вытесняется позже столь же сильными впечатлениями противоположного свойства.

В 20—30-е годы XX в. эту гипотезу развивали многие немецкие историки литературы — Е. Векслер, Й. Петерсен, Ф. Кюммер. Но особая заслуга в ее разработке принадлежит К. Манхейму, который впервые предпринял попытку систематического обобщения проблемы исторических поколений, используя методы развившейся в XX в. социологии и психологии (*Mannheim* 1952 [1928]). По его мнению, уже в ранней юности (на первой фазе развития) под действием среды в сознание проникает определенный запас характерных эмоций, а затем, на второй фазе, около 17-го года жизни, начинает добавляться рефлексивное преодоление проблем. Иными словами, в юности (в английском языке этот период называется «teen age», т. е. 13—19 лет) формируется определенная картина мира, основанная на совокупности переживаний, и именно через нее преломляется последующий жизненный опыт.

Наконец, после второй мировой войны в этом пункте дискуссии был достигнут своего рода консенсус. Подавляющее большинство исследователей склоняется к мысли о том, что поколение формируется событием, т. е. является производным исторических изменений. Вместе с тем, однажды сформировавшись, социальное поколение определяет черты конкретного периода истории, т. е. становится первичным фактором для исторического процесса.

Следующая дискуссионная проблема связана с оценкой степени общности феномена социальных поколений. Имеет ли это понятие универсальный, т. е. выражающий единство времени и социума, всеобщий характер, или, напротив, его можно применять лишь для обозначения частичной взаимосвязи, а именно возрастного сходства внутри ограниченных социальных групп? В чуть более упрощенном виде альтернативные взгляды на социальные поколения сводятся к выбору между элитами и массой.

Эта дискуссия возникла практически одновременно с появлением самой концепции социальных поколений, т. е. еще в XVI в. В этом смысле Н. Макиавелли был первым сторонником «элитарной» теории поколений (в частности, чередования политических элит), а Ж. Боден первым связал концепцию социальных поколений с на-

строениями масс в работе «Шесть книг о Республике» («Les six livres de la République», 1576; особ. кн. IV, гл. 3 о революциях).

Это противостояние двух альтернативных точек зрения на степень «всеобщности» феномена социальных поколений сохранилось до XX в. В первой трети нашего века одним из наиболее известных выразителей «элитарной» теории был В. Парето, «массового» — Х. Ортега-и-Гассет⁶.

Подход к данному вопросу тесно связан с предыдущим: большинство сторонников «первичной», биологической концепции смены поколений поддерживало идею всеобщности влияния этого фактора на исторический процесс. В то же время сторонники «вторичности» процесса образования исторических поколений считают, что исторические события формируют поколения не в масштабах всего общества, а лишь в отдельных его группах, прежде всего в политических или культурных элитах. В XIX — первой трети XX в. идея «частичности» рассматриваемой связи была продиктована в основном самими объектами анализа. Дело в том, что проблема формирования поколений обсуждалась прежде всего в работах по истории искусства — выделялись поколения в музыке, живописи, литературе. Этот подход до сих пор сохраняется в работах по искусствоведению. Но в обществоведении начиная с 30-х годов нашего века обсуждение проблемы формирования поколений перешло в иную плоскость.

С одной стороны, существенную роль здесь опять-таки сыграли работы К. Манхейма, который показал, что даже общие впечатления юности не могут, конечно же, оказывать одинаковое влияние на все группы и слои общества, — напротив, надо исходить из того, что различные общественные интересы обуславливают различную реакцию индивидов на одинаковый импульс. Особенно важно в его анализе противопоставление поколения и класса в виде так называемого горизонтального и вертикального сегментирования исторически развивающегося общества.

С другой стороны, проблема соотношения роли элит и массы стала активно развиваться в социологии и политологии в контексте более широкой проблемы власти. Благодаря этому, как и в первом пункте дискуссии, в данном вопросе было достигнуто определенное согласие, позволяющее учитывать роль как элит, так и масс.

⁶ Pareto 1926 [1902]; см. также: Осипова 1993, с. 223–228; Ортега-и-Гассет 1991 [19236]; 1991 [1930].

Наконец, последний дискуссионный вопрос, имеющий существенное значение прежде всего для исторических исследований, связан с оценкой сроков «жизни» социальных поколений. Хотя этот вопрос выглядит как сугубо технический или формальный, ответ на него в значительной мере определяет различия в позициях авторов, отстаивающих идею исторических циклов смены поколений.

Как отмечалось выше, еще античные авторы, использовавшие одну из двух «семейных» концепций исторических поколений, оценивали среднюю «длительность» поколения в достаточно широких пределах — от 25 до 35 лет. В рамках концепции социальных поколений возникает третье определение «сроков жизни» поколения, а именно, период социальной активности. Он определяется в еще более широких пределах: в возрастном диапазоне от 20—30 до 50—60 лет, т. е. 20—40 лет «социальной жизни».

С конца XIX в. подход к определению длительности «жизни» поколения становится еще более гибким. Возникает идея о том, что при анализе процесса смены поколений следует учитывать не весь период социальной активности человека, а лишь вторую половину этого периода, поскольку первая половина социальной жизни каждого поколения уходит на борьбу с предыдущим, и лишь затем оно обретает доминирующие позиции в обществе (сдерживая всю вторую половину своей социальной жизни натиск следующего поколения). Такой точки зрения придерживались Г. Адамс, Х. Ортега-и-Гассет, А. Шлезингеры (старший и младший) и ряд других авторов. По их мнению, при длительности социальной активности поколения 25—30 лет, срок его «полноценной жизни» составляет всего 12—15 лет.

Как мы покажем в следующем параграфе, благодаря существованию столь широких трактовок сроков жизни социальных поколений с помощью этой концепции можно объяснять исторические циклы едва ли не любой продолжительности. Поэтому идея смены социальных поколений как механизма циклических колебаний происходящих в обществе процессов присутствует в огромном количестве работ. Но при наличии общей основы — чередования поколений — собственно циклические механизмы исторического развития формулируются в нескольких разных вариантах.

В первом варианте продолжительность «жизни» одного социального поколения прямо ассоциируется с одним циклом: «Исторические перемены надо измерять интервалами в одно поколение, в тече-

ние каждого из которых новая группа человеческих существ получает образование, прощается с детством и овладевает обществом» (Милль 1914 [1843], с. 257). В этом случае длительность цикла составляет, по оценкам авторов, от 25 до 35 лет (Милль 1914 [1843]; Millard 1918; A. Lorenz 1928).

Более распространенным, однако, является цикл, состоящий из двух поколений и основанный на сугубо семейных или бытовых представлениях о вечном конфликте отцов и детей. И хотя форма проявления этого конфликта у разных авторов принимает самые различные формы (религиозность—атеизм, воинственность—миролюбие, консерватизм—либерализм, интравертность—экстравертность, склонность к анализу или синтезу, анархии или порядку, инноваторству или подражанию и т. д. и т. п. до бесконечности), содержание всех подобных циклов, состоящих из двух поколений, в общем однотипно⁷.

Цикл, состоящий из трех поколений, не получил широкого распространения. Лишь иногда период в три поколения используется в качестве единицы времени — дело в том, что если продолжительность «жизни» поколения принять равной 33-м годам, то три поколения образуют период примерно в сто лет. Такой способ счета исторического времени использовал, например, еще Геродот, ссылавшийся, в свою очередь, на традиции египтян: «... 300 поколений составляет 10 000 лет, считая по три поколения в столетие» (Геродот. История II, 142). Во второй половине XIX в. эту идею активно использовали Л. фон Ранке и О. Лоренц (Ранке 1898 [1854]; O. Lorenz 1886; 1891). Впрочем, и в их работах речь шла не столько о циклах, состоящих из трех поколений, сколько о механическом объединении трех поколений в одно столетие.

Наконец, многие историки оперируют циклами, состоящими из четырех поколений. По-видимому, одним из первых такой цикл предложил средневековый арабский мыслитель Абдуррахман ибн Хальдун (1332—1406), сочинения которого, впрочем, стали известны в Европе лишь в XIX в. Рассматривая историю различных государств и династий, Ибн Хальдун пришел к выводу, что их развитие

⁷ Они встречаются у Н. Макиавелли, Д. Юма, А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Г. Ле Бона, Г. Спенсера, К. Бернара, Дж. Тарда, В. Парето, Х. Ортеги-и-Гассета, А. Тойнби, А. Шлезингера и у множества других философов, социологов и историков, не говоря уже об историках культуры (см., например: Sorokin 1937—1941, v. 4, p. 401—405).

описывается циклами, состоящими из четырех поколений — основателя, продолжателя (сына основателя), имитатора (внука) и разрушителя (правнука; см.: *Ибн Хальдун*. Введение). Правда, в этом случае речь шла еще о «семейных» поколениях, применительно же к социальным поколениям четырехфазный цикл стал использоваться лишь в конце XIX — первой трети XX в. (*Ferrari 1874; Mewes 1896; Ligeti 1931*).

К середине XX в. сформировалось понимание того, что систематическое деление исторического процесса на поколения-интервалы вряд ли приемлемо с научной точки зрения. Пожалуй, лишь яркие события в духовной истории и истории искусства обычно обуславливают появление новых возрастных когорт в качестве своих носителей. Мемуарная литература доказывает, насколько полно осознается самими участниками этой сферы общность их поколения. В политической истории, равно как в экономической и социальной, поколения-образцы определить гораздо труднее. Поэтому для обширной литературы о феномене поколений, опубликованной после второй мировой войны, характерно ограничение исторического анализа временным горизонтом недавнего прошлого (см., например: *Samuels 1977*).

В 50-е годы в исследованиях исторических поколений начинает доминировать молодежная тематика, и, в частности, проблема «разрывов» между поколениями. Особое внимание исследователей привлекает поколение послевоенной молодежи. Так, Х. Шельски характеризовал немецкую молодежь первого послевоенного десятилетия как «тихое поколение» осторожных, приспособившихся, занятых банальностями жизни индивидуумов (*Schelsky 1963*). Д. Рисмен с соавторами (*Reisman et al. 1967 [1950]*), проанализировав изменения в характере американской молодежи, предположили, что в индустриальных обществах XX в. происходит переход от внутренне- к внешнеобусловленному типу поведения личности.

В конце 60-х — начале 70-х годов большое число исследований было посвящено студенческим волнениям, охватившим в середине 60-х годов почти все развитые страны. Этот феномен рассматривался специалистами многих стран — социологами, психологами, историками — с самых разных точек зрения, в том числе и в рамках теории «конфликта» или «разрыва» поколений. Одна из наиболее интересных работ — монография Л. Фьюера (*Feuer 1969*).

В США, где разрывы между поколениями в целом проявлялись менее ярко, чем в Европе, с начала 60-х годов значительное число ис-

следователей занимается феноменом «возрастных когорт» (*age cohorts*). Большое внимание уделяется исследованиям возрастной структуры конкретных групп, союзов, школ, движений и т. д. Наиболее известны работы У. Эвана и А. Спитцера, в которых анализ истории с точки зрения поколений ограничивается феноменами краткосрочного характера, особенно переломными моментами (*Evan 1959; Spitzer 1973*).

Тем не менее, поколение как единица измерения исторического времени и основа исторических циклов все же продолжает использоваться, хотя проблема определения смены поколений так и осталась нерешенной. Условно современные взгляды можно суммировать следующим образом. Поколение образуется событием, пережитым в юности. Но, раз сформировавшись, поколение начинает активно влиять на общественное сознание, тем самым определяя некоторые события общественной жизни. По существу в качестве поколения в этом случае рассматриваются поколения элит — культурных и политических, носителей идей и идеологий. Поскольку установить момент смены поколений напрямую невозможно, периоды, соответствующие разным поколениям, устанавливаются *ex post*: некие изменения в общественном сознании и в общественной жизни сначала фиксируются, а затем связываются со сменой поколений (например, в такие-то годы, как считает данный исследователь, скажем, в литературе доминировал образ инфантильного героя, что связано с приходом в литературу нового поколения писателей, на мировоззрение которых наложило отпечаток такое-то событие).

Отсылки к социальным поколениям сохраняют свою популярность, но скорее в качестве литературного или публицистического образа, чем строгого научного понятия. Типичными примерами являются «потерянное поколение» Ремарка, «тихое поколение» Шельски или «шестидесятники» в России.

2. «Циклы жизни»

Еще одна весьма распространенная концепция, используемая во многих работах, посвященных циклическим процессам в обществе, также тесно связана с биологией. Речь идет о «циклах жизни» или «жизненных циклах» (*life cycles*), базирующихся на аналогиях с живыми организмами. Наблюдаемая в природе бесконечная повторяемость рождения, взросления и умирания биологических организмов не могла не натолкнуть на мысль о существовании аналогичных процессов в общественной жизни.

В принципе концепции циклов жизни имеют косвенное отношение к человеческим существам: в большинстве случаев авторы соответствующих схем исходят из предпосылки о том, что циклы жизни возникают в результате осознанной или подсознательной деятельности людей. Но в целом они, в отличие от схем, основанных на смене поколений, представляют собой не более чем аналогию с живыми организмами, причем аналогию весьма ограниченную и условную. Если в современной биологии более или менее четко выявлены и изучены механизмы, управляющие жизнедеятельностью организма (вплоть до клеточного метаболизма, структуры ДНК и генетических кодов наследственности), то в моделях циклов жизни, предлагаемых обществоведами, никаких механизмов, управляющих рождением, развитием и смертью изучаемого объекта, не разработано. Строго говоря, все построения в этой области остаются на уровне «биологических» представлений примитивных племен и скорее могут рассматриваться как художественный прием, чем как научная концепция.

Тем не менее аналогии общества или его компонентов с живыми организмами, возникшие как минимум в эпоху античности, продолжают пользоваться популярностью до сего времени. Наибольшее распространение теории циклов жизни получили в двух областях: в работах по философии истории и, как ни странно, в экономических исследованиях.

О философских работах, в которых развитие общества уподобляется живому организму, мы подробно говорили в главе 3, и здесь лишь кратко о них напомним. Эти исследования делятся на две группы: те, в которых рассматривается один вселенский цикл жизни, и те, в которых авторы апеллируют к некоторому набору обществ и пытаются выявить цикл жизни в каждом из них.

Идею о существовании одного вселенского цикла жизни, охватывающего всю историю человечества, можно обнаружить в античной философии, иудео-христианской традиции, зороастризме и исламе. Наиболее известными примерами служат схемы Аннея Флора («четыре возраста» истории Рима), Св. Августина («шесть возрастов мира»), Г. В. Ф. Гегеля («четыре возраста мира») и, наконец, К. Маркса («пять эпох» или «ступеней» в развитии общества, которые позднее были переделаны в «формации»; подробнее см.: Cairnes 1962).

Ко второй, более многочисленной группе относятся схемы множественных циклов жизни государств (Дж. Вико), культур (Г. Фор-

стер, Г. Рюккерт, Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Розенберг и др.), цивилизаций (А. Тойнби, К. Куигли и др.), этносов (Л. Гумилев), наций (М. Олсон), экономических систем (Ч. Киндлебергер) и т. д.⁸

Все перечисленные схемы — как одного вселенского, так и множественных циклов жизни, — несмотря на некоторые любопытные наблюдения и аналогии, являются в высшей степени умозрительными и по существу не выходят за рамки философских рассуждений «от тщете всего сущего». Практически ни одна из этих схем не признается и не используется профессиональным сообществом историков, что позволяет нам не возвращаться более к их рассмотрению.

Другая часть концепций циклов жизни развивается в экономической науке и внешне имеет сугубо технический и прикладной характер. Несмотря на это, экономические теории циклов жизни, в отличие от философских, нашли применение в работах, посвященных циклическим процессам в историческом развитии (в первую очередь, естественно, в работах по экономической истории, но не только в них).

Пожалуй, первая такая схема была предложена К. Марксом в «Капитале» под названием «цикл оборотов основного капитала». Смысл его концепции состоит в том, что каждый тип оборудования имеет определенный срок службы (это отражено, в частности, в принятых ныне во всех странах устанавливаемых государством сроках амортизационных списаний). Предполагается, что оборудование приобретает и вводится в действие неравномерно, т. е. существуют периоды массовых закупок и обновления основного капитала (машин и сооружений). При заданном сроке службы закупленное поколение техники изнашивается и приходит в негодность через определенный промежуток времени, и опять возникает потребность в его массовом обновлении.

Фактически речь идет о «цикле жизни» оборудования — появлении («рождении») и последующем «умирании» (вследствие физического или морального износа) поколений техники, используемой в производстве. В этой концепции определенную сложность представляет проблема исходной неравномерности инвестиций или «первого толчка». Обычно предполагается, что эту роль играет не-

⁸ Соответствующая библиография была приведена в гл. 3. В дополнение укажем лишь не упоминавшиеся ранее работы: Olson 1982; Kindleberger 1964.

кий исходный или начальный экономический кризис, во время которого объем инвестиций резко сокращается, а в ходе последующего подъема объем капиталовложений становится больше среднего, генерируя тем самым дальнейшие колебания инвестиций.

Теоретическая слабость этой модели, как легко видеть, заключается в ее незамкнутости — для того чтобы она начала работать, нужен первый, «внемодельный», кризис, не имеющий отношения к смене поколений техники, после которого все последующие циклы уже могут рассматриваться как генерируемые периодической массовой сменой производственного оборудования. Другая сложность связана со сроками службы отдельных элементов основного капитала: во-первых, они непостоянны, во-вторых, трудно выделить «центры тяготения» сроков службы — как правило, они распределены довольно равномерно по времени⁹.

Тем не менее, несмотря на существенные недостатки, эта модель получила широкое распространение в марксистской литературе и применялась для объяснения циклов самой разной продолжительности — от 3—4 до 50—60 и более лет (в зависимости от срока службы той или иной части основного капитала).

Другой подход был впервые предложен С. Кузнецом (*Kuznets* 1930), который попытался выделить «циклы жизни отраслей» (точнее, отраслевых технологий). Й. Шумпетер первым рассмотрел «цикл жизни нововведений», связанный с циклами инновационной активности предпринимателей (*Schumpeter* 1939). Начиная с 60-х годов стала использоваться концепция «цикла жизни продуктов» (*Nelson* 1962), которая затем была распространена на сферу международной торговли (*Vernon* 1966)¹⁰.

По существу все эти схемы составляют единую группу и описывают один и тот же процесс нововведений — продуктов или технологических процессов (различение нововведений-продуктов и нововведений-процессов укоренилось в экономической литературе в

⁹ Подробнее см., например: Григорьев 1988, где также приведена соответствующая библиография.

¹⁰ О циклах жизни отраслей см. также: *Burns* 1934; *Alderfer, Michle* 1942; о циклах жизни инноваций см.: *Mensch* 1979 [1975]; *Duijn* 1983 [1979]; *Freeman et al.* 1982; *Kleinknecht* 1987; о циклах жизни продуктов см.: *Levitt* 1965; *Rapp* 1975; *Ayres* 1987; о циклах жизни международной торговли см.: *Vernon* 1979; *Hirsch* 1975. Обзоры см. в: Аукционек 1989; Меньшиков, Клименко 1989; Раннева 1989.

70—80-е годы благодаря работам Г. Менша и К. Фримена). Общая схема цикла жизни выглядит во всех этих случаях следующим образом.

«Рождение» нововведения ассоциируется с началом использования некоей фирмой (производителем) новой технической идеи. Эта идея может выражаться в производстве качественно нового продукта, применении новой технологии производства известного продукта, новом внешнем оформлении уже существующего товара и т. д. (в зависимости от степени «новизны», нововведения обычно подразделяются на «базисные» и «улучшающие»). За «рождением» следует период «младенчества», когда производитель пытается обеспечить рыночный спрос на новый товар или услугу. Если этот товар или услуга «выживают», т. е. находят спрос на рынке (а процент «младенческой смертности» нововведений необычайно высок), начинается период «детства» данного нововведения, когда его использует ограниченное число (один или несколько) производителей, получая при этом дополнительную прибыль (поскольку все нововведения или позволяют экономить на издержках или монопольно удовлетворяют новую потребность).

Далее наступает период «зрелости», когда число производителей, использующих данное нововведение, начинает быстро расти (обычно исходные инноваторы стараются оттянуть начало «совершеннолетия» своего детища с помощью различных патентных ограничений). Одновременно быстро расширяется рыночный спрос на соответствующий товар или услугу, они начинают вытеснять с рынка свои предшественствующие аналоги и идет активный процесс замещения части производившихся ранее товаров или услуг. После того как происходит относительное насыщение рынка, период экспансии нововведения заканчивается и наступает период «старости», в течение которого спрос на данный товар или услугу остается относительно неизменным. Тем временем «рождается» следующее нововведение, которое впоследствии может полностью или частично вытеснить предыдущее и привести к его «смерти».

В рамках этой общей схемы длительность цикла жизни конкретных товаров и услуг, равно как и его отдельных фаз, может быть самой различной — от нескольких месяцев до десятков лет, — что позволяет использовать «циклы жизни» нововведений для объяснения общеэкономических циклических процессов самой разной продолжительности.

Наконец, третья используемая в экономике концепция цикла жизни была предложена американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии Ф. Модильяни и связана с изменением нормы сбережений. Суть этой концепции сводится к тому, что доход индивида и сберегаемая доля этого дохода зависят от возраста человека. В начале самостоятельной трудовой жизни доход сравнительно невелик, а доля сбережений крайне незначительна. По мере приближения к среднему возрасту доходы растут и в еще большей степени увеличивается доля сбережений, которые должны обеспечить старость. Наконец, при выходе на пенсию доходы уменьшаются, а доля сбережений сокращается почти до нуля (см.: *Modigliani 1949; Modigliani, Brumberg 1954; Ando, Modigliani 1963*).

Хотя эта схема разработана применительно к микроуровню, ее можно использовать и на макроуровне. Как явствует из теории Модильяни, доля сберегаемого дохода на национальном уровне зависит от возрастной структуры населения в целом — если возрастная пирамида сдвигается в сторону более молодых или более старых возрастных когорт, доля сбережений при прочих равных условиях должна понижаться. Изменением возрастной структуры населения, в частности, можно объяснить колебания нормы сбережений в США на протяжении послевоенного периода.

К сожалению, всем схемам циклического развития экономики, построенным на основе концепции циклов жизни — оборудования, технологий, нововведений, продуктов и т. д., — присущ тот же недостаток, что и моделям исторических циклов, опирающимся на концепцию смены социальных поколений. Сам факт существования циклов жизни на уровне отдельных видов оборудования, технологии и проч. не вызывает сомнений, так же как и факт смены поколений в рамках одной семьи. Проблемы возникают при попытке генерализации этих локальных явлений, выведении их на уровень народного хозяйства той или иной страны в целом. По существу, как и в концепциях социальных поколений, в неявном виде используется гипотеза о наличии неких внешних, экзогенных для рассматриваемой системы воздействий, синхронизирующих индивидуальные циклы жизни (как минимум, предполагается наличие некоей начальной синхронизации, после чего она может достигаться автоматически).

3. Космические факторы

Едва ли не древнейшие представления о циклических процессах земной жизни были связаны с космосом, точнее, с идеей о влиянии космических тел на человеческую жизнь. Естественно, что обнаружение цикличности или периодичности в движении Луны, планет, комет и т. д. рождало убежденность в цикличности оказываемого ими влияния, а тем самым и цикличности земных событий. Эти представления распространялись на жизнь не только отдельных людей, но и государств и народов.

Астрологические концепции цикличности земных событий существовали в Вавилоне, Ассирии и Египте, Китае и Индии, Древней Греции и Риме (обзор и библиографию астрологических концепций циклов общественной жизни см. в: *Sorokin 1937—1941, v. 4, p. 460—497*). После некоторого спада в период раннего Средневековья астрологические концепции снова расцвели в Европе в XII—XIV вв., благодаря знакомству европейцев с арабской культурой, в частности, астрономией и математикой. В этот период распространение астрологических теорий общественного развития означало подрыв теологических представлений о том, что единственным вершителем человеческих судеб является Бог. Оставаясь в значительной мере метафизическими, астрологические теории и циклы имели одновременно определенную материалистическую окраску. Другой предпосылкой их расцвета стала принесенная арабами теория чисел — отсюда возникло колоссальное увлечение магическими числами и периодами (см., например: *Thorndike 1929*).

Но несмотря на многовековую популярность астрологии, в приложении к истории она начала активно использоваться, пожалуй, лишь с начала Нового времени. С одной стороны, до этого астрология была в большей мере обращена в будущее, выступая в качестве основы различных пророчеств и предсказаний, и только мыслители XVI—XVII вв. едва ли не в массовом порядке стали пытаться прилагать астрологию к изучению прошлого¹¹. Как уже отмечалось в главе 3, астрологические концепции исторических циклов развивали Ж. Боден, Т. Браге, Ф. Бэкон, И. Кеплер, Г. Галилей и многие другие ученые. С другой стороны, период увлечения астрологией, в том числе и при-

¹¹ Это не означало, что пророчества перестали появляться, — например, в 1555 г. были опубликованы знаменитые «Центурии» француза Мишеля Нострадамуса.

менительно к истории, наступивший в XVI в., был связан с астрономическими открытиями того времени. Так, считалось, что одновременное появление на небе Сатурна и Юпитера (известное, впрочем, еще арабским астрономам), которое наблюдается каждые двадцать лет, вызывает смену правителей, восстания и т. д. (см.: *Церен* 1976 [1959], с. 318—329). В арабских рукописях и в работах Кеплера это явление называлось Великим соединением.

Еще больше возрастает увлечение астрологическими концепциями исторического развития во второй половине XVII — начале XVIII в., в первую очередь в Англии. Среди наиболее известных можно назвать книги Дж. Рассела и Дж. Холуэлла (*Russell* 1659; *Holwell* 1682), в которых определялась периодичность прошлых исторических событий и давались прогнозы на будущее. Особо следует упомянуть об астрологических работах Исаака Ньютона, который, как известно, был не только выдающимся физиком и астрономом, но и большим мистиком в области истории (см.: *Кузнецов* 1982, с. 104ff).

В XVIII — первой половине XIX в. астрологические концепции циклического развития истории постепенно теряют свою популярность, что объяснялось, впрочем, не столько утратой веры в астрологию, сколько доминированием линейных представлений об историческом развитии в концепции прогресса. Поиски циклов в историческом развитии и попытки связать их с астрологией вновь реанимируются в конце XIX — первой четверти XX в., начиная с *fin de siècle*, знаменовавшегося усилением общего настроения мистицизма и веры в потусторонние силы, магию, астральные теории и т. д. (см. выше, гл. 2, § 5). Центром астрологических концепций исторических циклов стали тогда Германия и Австрия; среди наиболее известных астролого-исторических произведений этого периода можно указать, в частности, работы Я. Фридриха, Э. Зассе, Р. Мевеса, Ф. Штримера-Райхенбаха (*Friedrich* 1864; *Sasse* 1879; *Mewes* 1896; *Stromer-Reichenbach* 1919).

Астрологи предлагали практически бесконечный набор космических циклов и связанных с ними магических чисел — от нескольких дней до столетий. Наиболее популярными с древнейших времен были, например, числа 7, 12, 365, связанные с календарными астрономическими периодами (см. выше, гл. 2, § 2), которые распространялись на годовое исчисление. Типичный образчик поисков магического в исторических циклах, производных от чисел 12 и 365, представляют собой рассуждения известного русского поэта начала XX в. Велимира Хлебникова: «... Я утверждаю, что года между нача-

лами государств кратны 413. Что 1383 года отделяют падения государств, гибель свобод. Что 951 год разделяет великие походы, отраженные неприятелем... Я вообще нашел, что время z отделяет подобные события, причем $z = (365 + 48y)x$, где y может иметь положительные и отрицательные значения... На силах должны были отразиться сроки вращения, а мы — дети сил» (*Хлебников* 1986 [1912], с. 589, 591).

Со второй половины XIX в. все активнее начинают распространяться теории, связывающие историческое развитие с «космическими волнами». Речь идет о различных видах космического излучения, интенсивность которого, как полагают сторонники данного подхода, подвержена периодическим изменениям, оказывающим непосредственное влияние на развитие общества. Иногда в этот механизм встраивается дополнительное звено: предполагается, что космические волновые излучения влияют на климат (температуру, влажность, количество осадков), магнитное поле или другие характеристики земной атмосферы, а это, в свою очередь, воздействует на происходящие на Земле процессы (см., например: *Родс, Фейбридж* 1966 [1961]; *Гневышев, Оль* 1971). В первой трети XX в. поддержанию интереса к этим теориям премного способствовали русские «космисты» — В. Вернадский, В. Докучаев, Н. Морозов, К. Циолковский, Д. Святский, А. Чижевский и др.

Циклические схемы исторического развития, использующие в качестве объясняющего механизма космическое излучение, по существу строятся в соответствии с классическими правилами построения силлогизмов и состоят из двух посылок и заключения, в которых три ключевых термина связываются попарно. Большая посылка, содержащая предикат заключения, в данном случае гласит, что «космические излучения влияют на земную природу». Малая посылка, содержащая субъект заключения, сводится к утверждению: «интенсивность космических излучений подвержена циклическим колебаниям». Заключение гласит, что «развитие жизни на Земле имеет циклический характер».

Обе посылки практически не вызывают возражений. Анализ воздействия космических излучений на жизнедеятельность земных организмов относится к числу вполне уважаемых направлений биологических исследований, причем интерес к ним резко возрос в связи с полетами человека в космос¹². Столь же уважаемым

¹² Впрочем, подобные исследования активно проводились уже в начале нашего века — обширная библиография соответствующих работ при-

является изучение различных космических излучений переменной интенсивности, правда, уже в рамках другой науки — астрофизики. Но вот заключение вышеприведенного силлогизма, несмотря на его формальную логичность, неизменно вызывает скептицизм со стороны научного сообщества, особенно когда речь идет об историческом развитии.

Первая и наиболее обширная группа космологических концепций цикличности земных процессов «передаточным механизмом», обеспечивающим влияние космических факторов на развитие общества, считает жизнедеятельность растений. В исторических (особенно историко-экономических) работах, принадлежащих к этому направлению, обычно доказывается, что циклические колебания солнечной активности, климата, магнитного поля Земли и т. д. (см., например, рис. 4.1) влияют на урожайность в сельском хозяйстве, а из сельского хозяйства волновые изменения распространяются и в другие сферы экономики и человеческой деятельности в целом.

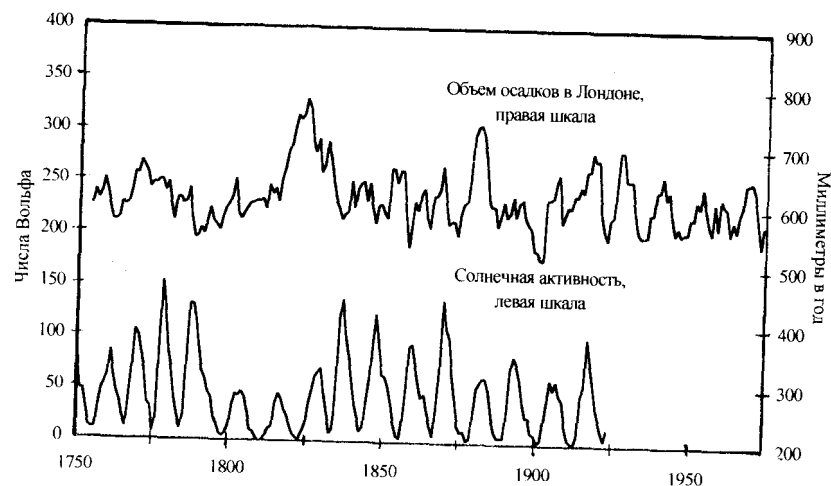


Рисунок 4.1. Астрофизические и метеорологические индикаторы

Так, еще в начале XIX в. известный английский астроном У. Гершель, который построил первую модель Галактики и открыл планету Урана, доказывал влияние солнечной активности на колебания цен на зерно. Но своего расцвета «излучательные» теории общественных процессов достигли в конце XIX — первой трети XX в. Толчок этим исследованиям дала работа У. Джевонса, который связал солнечную активность с экономическими циклами, причем не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности (Jevons 1884). Идея о связи экономических циклов с изменениями солнечной активности была особенно широко распространена в конце XIX — первой трети XX в. После второй мировой войны это направление исследований в целом продолжает пользоваться вниманием профессионального сообщества, хотя и в гораздо меньших масштабах¹³. В основном подобные работы посвящены влиянию космических и климатических факторов на циклические колебания урожайности сельскохозяйственных культур в доиндустриальную эпоху — современные сторонники этой концепции явно предпочитают не вторгаться в более близкое прошлое.

Вторая группа исследований посвящена воздействию космических факторов на циклические процессы в жизнедеятельности самого человека. Колебания интенсивности космических излучений, и прежде всего циклы солнечной активности, связываются с периодичностью таких явлений биологической и социальной жизни, как эпидемии, психопатические массовые истерии, самоубийства, преступления и т. д. К классическим в этой области можно отнести работу А. Чижевского (Чижевский 1976 [1936]) с обширной библиографией публикаций, относящихся к первой трети нашего века.

Нужно отметить, что авторы этих исследований как правило проявляют известную осторожность в своих выводах, предпочитая избегать исторических генерализаций и ограничиваясь анализом чисто биологических, реже — психических аспектов проблемы. Лишь единицы перекидывают мостик от космических волн к социальной и политической истории человечества. В частности, А. Чижевский в 1918 г. представил на историко-филологический факультет Московского университета диссертацию на тему «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса», в которой он попытался систематизировать историю человечества за 2500 лет. Материалы этой диссертации (которая, насколько нам известно, не была приня-

¹³ Библиографию работ первой половины нашего века см. в: Sorokin 1937—1941, v. 4, p. 502; среди наиболее известных послевоенных публикаций можно упомянуть: Stetson 1947, ch. 14; Akerman 1957, v. 2, p. 249; Ashton 1959, ch. 2; Deane 1967, p. 227—228; Mathias 1969, p. 228—231; Cass, Shell 1983; Mirowski 1984.

та к защите) вошли в подготовленную Чижевским в 1929—1933 гг. рукопись работы, опубликованной недавно под названием «Земля в объятиях Солнца» (Чижевский 1995 [1929—1933]). В ней Чижевский доказывал, что на годы минимальной солнечной активности приходилось всего 5% массовых социальных движений, а на годы максимальной — более 60% социальных катаклизмов.

В целом из всех когда-то необычайно популярных космологических концепций цикличности до настоящего времени сохранилась, пожалуй, только та часть «волнового» направления, которая связана с исследованием колебаний урожайности сельскохозяйственных культур, да и то почти исключительно в приложении к «доиндустриальной» эпохе. Все остальные концепции этого типа — как астрологические, так и «космическо-волновые» теории общественных процессов — перешли в разряд «паранормального знания». Профессиональное сообщество историков их игнорирует, что, впрочем, отнюдь не исключает их популярности среди дилетантов и просто чрезмерно впечатлительных людей (с позволения читателей мы не будем приводить соответствующую библиографию).

4. Механические модели

В отличие от концепций смены поколений и влияния астрологических факторов, анализ исторических циклов с механистических позиций относится к числу сравнительно недавних «изобретений»: он известен с середины XIX в. В «механических» концепциях общество или отдельные его подсистемы (экономика, социальная сфера, политическое устройство и т. д.) рассматриваются как подобие механической системы (простейший аналог — механические часы), в которой благодаря совокупности лаговых (запаздывающих) зависимостей (передаточных механизмов или шестеренок) и некоторой системы коэффициентов (нечто вроде коэффициентов трения) описывается механизм непрерывного движения или передачи движения. Идеология подобных моделей восходит к «социальной физике» О. Конта и других позитивистов XIX в.

По существу в основе всех механических концепций лежит предположение о наличии жестких причинно-следственных связей в общественной системе. Этот подход получил наибольшее распространение прежде всего в экономических исследованиях, но примеры его применения можно найти и в работах по социальной и политической проблематике. Характерно, что как правило социально-полити-

ческие модели механических взаимодействий в той или иной мере учитывают действие экономических факторов, благодаря которым система и обретает «жесткость». Созданием таких моделей отмечен конец XIX — начало XX в., период широкого распространения так называемого «экономического детерминизма»; следы его отчетливо ощущаются и сегодня. Что же касается «чистой» экономики, то механические системы до сих пор составляют подавляющую часть циклических схем экономического развития.

В качестве одного из самых известных примеров можно привести знаменитую модель «акселератора-мультипликатора», предложенную будущим лауреатом Нобелевской премии по экономике П. Самуэльсоном в 1939 г. (Samuelson 1939):

$$\begin{aligned} Y_t &= C_t + I_t + A_t; \\ C_t &= bY_{t-1}; \\ I_t &= a(Y_{t-1} - Y_{t-2}), \end{aligned}$$

где Y_t — общий конечный доход в год t (численно равный конечному продукту);

C_t — фазовые (зависящие от фазы цикла) потребительские расходы;

I_t — фазовые расходы на инвестиции;

A_t — автономные расходы, не зависящие от фазы цикла¹⁴.

В экономике подобных механических моделей создано поистине неисчислимо количество (среди наиболее известных можно упо-

¹⁴ «Если автономные расходы растут постоянным темпом, то одним из решений этой системы является траектория равномерного увеличения дохода (и одновременно потребления и инвестиций) теми же темпами. Эту траекторию обычно называют равновесной. Если под влиянием каких-либо факторов экономика сошла с равновесной траектории, то характер дальнейшего ее движения определяется <технологическими> коэффициентами b и a . Например, когда $a < 1$, происходит постепенное приближение к траектории равномерного роста, причем это движение может быть колебательным при определенном соотношении параметров b и a . При $a = 1$ амплитуда колебаний вокруг равновесной траектории будет оставаться постоянной. И наконец, если $a > 1$, то будет происходить либо удаление от равновесной траектории, либо колебание вокруг нее с увеличивающейся амплитудой» (Аукуционек 1984, с. 56—57; подробнее о свойствах модели «акселератора-мультипликатора» см.: Аллен 1963 [1956], гл. 12).

мянуть работы Дж. Хикса, Р. Гудвина, Дж. Дьюзенберри, Э. Хансена), но, несмотря на существенные концептуальные различия, их идеология достаточно однотипна (обзоры см., например, в: *Аукционек* 1984; *Gordon* 1986; *Горохова, Григорьев* 1988).

С середины 1970-х годов на смену традиционным кейнсианским и неоклассическим схемам цикла приходит новое поколение экономических моделей циклических колебаний, основанное на теории рациональных ожиданий. У истоков этого направления стоял американский экономист Р. Лукас (*Lucas* 1981), получивший в 1995 г. за разработку этой теории Нобелевскую премию, а также Т. Сарджент, Н. Уоллес и целый ряд других теоретиков. В моделях рациональных ожиданий была предпринята попытка учесть процесс принятия решений субъектами экономической деятельности и их реакцию на изменение хозяйственной конъюнктуры, роль информации в экономической системе и т. д. (см.: *Энтов* 1988). Но, на наш взгляд, и в этих моделях сохраняется изрядная доля «механицизма»¹⁵.

Конечно, экономические модели циклических колебаний являют собой крайний пример, но подобные модели широко используются во всех социальных науках, с той лишь разницей, что социологи, политологи, историки и т. д. (т. е. практически все обществоведы-неэкономисты) описывают их не математически, а вербально.

В качестве примера можно привести типичную механическую модель циклического взаимодействия внешней и внутренней политики: война с внешним врагом — обнищание основной массы населения — социальное брожение — изменение соотношения политических сил — установление новой политической власти — постепенное ослабление власти внутри страны — ориентация на внеш-

¹⁵ Это можно проиллюстрировать на примере модели Р. Лукаса, рассуждения которого «строятся следующим образом. Роль „первотолчка“ в полном соответствии с неоклассической традицией приписывается неожиданно увеличивающемуся предложению денег. Поскольку последнее отождествляется с расширением рыночного спроса, имеет место непредвиденное повышение цен (на готовую продукцию). Это побуждает предпринимателей принять решение о расширении объема производства... Через некоторое время... участники хозяйственного процесса, которые в соответствии с гипотезой рациональных ожиданий должны наилучшим образом использовать всю поступающую информацию, осознают невыгодность предшествующего расширения производства и принимают решения о переходе к сокращению выпуска и новых капиталовложений. Циклический бум уступает место кризису („рецессии“)» (*Энтов* 1988, с. 24—25).

нюю экспансию как средство упрочения внутриполитических позиций — война с внешним врагом и т. д.

Еще один пример — циклическое развитие науки в рамках концепции смены парадигм, предложенной Т. Куном: возникновение новой теории — превращение ее в научную школу — институционализация научной школы и обретение ее сторонниками ключевых организационных позиций в научном сообществе — «окаменение» научной школы в связи с отсутствием конкуренции — появление новой теории, подрывающей старую парадигму и т. д.

Если говорить о конкретных исторических исследованиях, авторы которых использовали «механические» модели циклического развития, то в качестве наиболее известного примера можно привести работы французских историков первой половины нашего века Ф. Симиана и Э. Лабрусса.

Ф. Симиан в работах, вышедших в разгар экономического кризиса начала 1930-х годов (*Simiand* 1932a, 1932b), на основе изучения динамики номинальной заработной платы в 1789—1928 гг. выделил чередование долговременных периодов подъема и спада экономики («фазы А и Б»). Главным признаком этих циклов и причиной их смены он считал движение цен, определяющее, по его мнению, уровень заработной платы и прибыли, который, в свою очередь, влияет на коллективную психологию и социальные отношения (заметим, что сам Симиан называл свою систему взглядов социальным монетаризмом).

Сходную интерпретацию взаимодействия экономических и социальных процессов использовал Э. Лабрусс, который доказывал, что экономические циклы (разной протяженности) своим ритмом определяют социально-историческое развитие (*Labrousse* 1933—1936; 1944). В некотором смысле модель Лабрусса имела еще более жесткий характер, поскольку он выводил причины Великой французской революции непосредственно из предшествующего экономического спада, а рост цен и доходов в начале XIX в. в свою очередь считал следствием социально-политических событий революционного периода.

Попытки построения механических моделей взаимодействия экономических и социально-политических факторов, объясняющих циклические процессы в историческом развитии, неоднократно предпринимались и в последние десятилетия, прежде всего западными марксистскими исследователями. Так, П. Суизи предложил схему волнообразного механизма смены способов накопления капитала,

которая проявляется в перестройке социально-политических структур (Sweezy 1967; 1970).

Дальнейшее развитие этот подход получил в работах Д. Гордона с соавторами (Gordon 1980; Gordon et al. 1982). По их мнению, экономический спад вызывает в обществе глубокий раскол и конфликт по поводу структурных реформ, необходимых для эффективного функционирования экономики. Разрешение кризисной ситуации осуществляется в значительной мере политическими средствами при активном участии всех политических сил и институтов. Таким образом, механизм циклических колебаний сводится к изменениям «социальной структуры накопления», под которой имеется в виду совокупность политических институтов и их взаимодействий.

Авторы предлагают следующую последовательность взаимодействий, генерирующую циклические изменения:

- возникновение благоприятной «социальной структуры накопления» создает условия для экономической экспансии;

- институциональный контекст, способствующий накоплению капитала, порождает бум инвестирования и активную экономическую деятельность;

- процесс накопления капитала исчерпывает свои возможности в рамках данной «социальной структуры накопления». Продолжение накопления капитала в прежних масштабах требует или воспроизводства условий, существовавших в начале бума, или перехода к новой системе организации производственного процесса и рынка рабочей силы. Но первоначальные условия невозможно воспроизвести, а требуемые реформы нелегко реализовать;

- процесс накопления капитала замедляется, и общество вступает в период стагнации. Попытки изменить институциональную структуру вызывают враждебность политических сил, контролирующей ситуацию;

- экономический спад ведет к дальнейшей дестабилизации «социальной структуры накопления»;

- восстановление возможностей быстрого накопления капитала зависит от создания новой институциональной структуры;

- внутреннее содержание этой новой «социальной структуры накопления» существенно, но не исключительно, определяется характером классовой борьбы в предшествующий период;

- возникновение благоприятной «социальной структуры накопления» создает условия для периода экономической экспансии и т. д. (Gordon et al., 1982, p. 32).

Подобные или сходные модели можно найти в работах многих других исследователей марксистского толка¹⁶. Например: экономический подъем увеличивает объем распределяемых благ, тем самым возрастают возможности для борьбы пролетариата за распределение производимого продукта, что ведет к росту социальной активности и массового забастовочного движения. Перераспределение продукта в пользу наемных работников снижает эффективность производства и уменьшает стимулы предпринимателей для его развития, в результате начинается спад в экономике. По мере углубления спада предприниматели начинают использовать нововведения, повышающие эффективность производства, что ведет к новому подъему, и т. д.

В общественных науках мы находим бесчисленное множество подобных моделей. Они не всегда формулируются в явном виде и часто лишь подразумеваются. Не последняя тому причина — нежелание обществоведов, за исключением экономистов и, отчасти, социологов (со времен Т. Парсонса), признаваться в применении относительно простых схем. Со своей стороны заметим, что использование в явном виде схем или моделей свидетельствует не о слабости науки, а о ее силе — только в этом случае можно четко судить о предпосылках, механизме и степени общности предлагаемой концепции общественного развития, а тем самым и об уровне нашего знания об обществе.

§ 2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ

— Я прилечу за тобой приблизительно часа в три, или в четыре, или в пять, но ни в коем случае не раньше шести, — сказал Карлсон. — Уж никак не позже семи, но едва ли раньше восьми... Ожидай меня примерно к девяти, после того как пробьют часы.

Астрид Линдгрен. Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Как показывает даже поверхностный анализ работ, посвященных циклическим процессам в историческом развитии, в них ис-

¹⁶ Coombs 1984; Fontvieille 1979; Perez 1986 и др.; обзор см. в: Савельева 1989.

пользуются циклы с самыми различными средними периодами (длительностью). В настоящем параграфе мы рассмотрим наиболее популярные в научной литературе типы периодических колебаний и их датировки, а также попытаемся выяснить, от чего зависит выбор цикла той или иной длительности сторонниками этого подхода к историческому анализу.

Следует подчеркнуть, что понятие периода или длительности цикла является достаточно эфемерным. Если не считать архаичных астрологических схем, никто из сторонников циклических концепций развития общества не постулирует жесткую периодичность. Во всех работах речь идет о некоей усредненной продолжительности того или иного цикла, причем период циклических колебаний может варьироваться в столь широких пределах, что иногда возникает сомнение в правомерности обсуждения среднего показателя¹⁷. Поэтому любой усредненный период цикла должен рассматриваться скорее в качестве одного из условных элементов циклической схемы, чем в качестве сколько-нибудь точной эмпирической оценки.

Заметим также, что в работах, посвященных циклическим процессам в развитии общества, используется два разных типа периодичностей. Первый — это периодичность в наступлении *событий*: войн, революций, экономических кризисов, финансовых паник и т. д. Второй тип — периодическая смена *фаз* цикла. Например, для двухфазных циклов это может быть подъем—упадок в экономике, консервативное или либеральное общественное сознание, экстравертная или интравертная внешняя политика, периоды анализа или синтеза в научном мышлении, классицизм—романтизм в искусстве, мода на длинные или короткие юбки и т. д. В более сложных циклических схемах количество периодов может увеличиваться — например, в экономическом цикле это может быть оживление—подъем—кризис—депрессия и т. д. Формально схемы периодизации циклов по событиям и по периодам различаются, но по существу они оказываются тождественными: периоды так или иначе отделяются не-

¹⁷ Сплошь и рядом встречаются случаи, когда отклонение от средней продолжительности в обе стороны превышает половину постулируемой длины периода, что не укладывается ни в какие статистические критерии надежности оценки средней. Например, «деловые циклы», по оценке Национального бюро экономических исследований США, имеют среднюю продолжительность 4,5 года, тогда как их реальная длительность колеблется в пределах от 2 до 8 лет.

кими событиями, а события почти всегда рассматриваются как результат развития в предыдущем периоде цикла.

Циклические схемы общественного развития получили распространение со второй половины XIX в. — в течение предшествующего столетия, как отмечалось в главе 3, § 1, популярностью пользовались преимущественно линейные концепции. Но для работ конца XIX — начала XX в. была характерна идея *единственности* цикла. Каждый автор, предлагая ту или иную циклическую схему, предполагал и доказывал ее единственность и универсальность. Это было типично и для экономических, и для социально-политических исследований.

Так, с середины XIX до начала XX в. большинство исследователей исходило из того, что существует лишь один вид экономического цикла, получивший название «промышленного» или «делового». Продолжительность этого цикла принималась равной 8—10 годам, и впервые его выделил французский экономист К. Жугляр в середине прошлого века (*Juglar* 1862). Цикл с примерно той же периодичностью рассматривался К. Марксом, и впоследствии он прочно вошел в проблематику марксистской экономической теории. В циклических схемах социального и политического развития также доминировали представления о единственном цикле — либо цикле поколений продолжительностью 28—33 года, либо об удвоенном цикле поколений (цикл «отцов и детей») с периодом 50—60 лет.

В 20-е годы нашего века тезис о единственности цикла стал постепенно размываться. Существенную роль в этом процессе сыграли экономические исследования. Например, Дж. Китчин продемонстрировал наличие колебаний в американской экономике со средней продолжительностью 3,5 года (*Kitchin* 1923). Примерно в это же время Н. Кондратьев эмпирически обосновал наличие экономических колебаний с периодом около 50 лет (*Кондратьев* 1925; 1989 [1928]). Чуть позднее американский экономист С. Кузнец продемонстрировал наличие колебаний длительностью около 20 лет (*Kuznets* 1930; 1946; 1958). Важную роль в утверждении идеи множественности экономических циклов сыграла работа Й. Шумпетера (*Schumpeter* 1939), в которой этот тезис был впервые сформулирован в явном виде.

Аналогичные изменения в подходе к проблеме циклов коснулись и других социальных дисциплин. Наряду с циклом поколений и его производными в 20—30-е годы получил популярность 11-летний цикл солнечной активности (*Чижевский* 1990 [1924]; 1976 [1936]; 1995 [1929—1933], а позднее — и другие «климатические циклы» самой

разной продолжительности (см., например: *Леруа Ладюри* 1971 [1967]). Распространению концепции множественности социальных, политических и культурных циклов в первую очередь способствовала работа коллеги Шумпетера по Гарвардскому университету П. Сорокина (*Sorokin* 1937—1941), хотя сам он уделял основное внимание 500-летним циклам в развитии культуры. После второй мировой войны предметом анализа стали также циклические процессы продолжительностью от 100 до 300 лет — циклы гегемонии и генеральных войн (А. Тойнби, Дж. Модельски, И. Уоллерстайн, Дж. Голдстайн и др.), «логистические циклы» (Р. Камерон), «вековые тренды» (Ф. Бродель) и т. д. и т. п.

Свою лепту внесли и математики, разработавшие теорию случайных процессов и ее приложения к анализу временных рядов. В основе этого подхода лежит предположение о том, что любой ряд динамики может быть представлен как сумма бесконечного множества колебательных траекторий. Все ряды в таком представлении отличаются друг от друга лишь амплитудой (или весами, с которыми колебания той или иной частоты входят в итоговую сумму) и фазой (датировкой) колебаний разных частот¹⁸.

В контексте теории случайных процессов меняется само определение циклических колебаний и, в частности, трактовка проблемы их периодичности. Дело в том, что в структуре каждого временного ряда имеются синусоидальные составляющие любой продолжительности, поэтому выделение подобной составляющей, скажем, с периодом в 50 лет возможно, в принципе, в любом временном ряду (даже если его длина меньше указанной продолжительности).

Так или иначе, во второй половине XX в. идея множественности циклов приобрела права гражданства в научном сообществе и схемы, использующие циклы с разной периодичностью, стали рассматриваться не как конкурирующие, а как взаимно дополняющие друг друга. Учитывая многообразие рассматриваемых в литературе циклических процессов, мы остановимся лишь на некоторых наиболее популярных периодах: 4—5 лет (так называемые «деловые» и

¹⁸ Создание собственно теории случайных процессов было в основном закончено уже в 30-е годы (см., например: *Wold* 1954 [1938]). Однако начало ее широкого практического применения относится к 60-м годам, когда появились новые вычислительные возможности благодаря массовому внедрению ЭВМ. Именно в эти годы стали использоваться методы спектрального анализа, линейной фильтрации и другие практические приложения данной теории (см., например: *Лоэв* 1963 [1955]; *Хеннан* 1964 [1960]; *Маленко* 1976 [1969]).

«политические» циклы); 10—12 лет (циклы солнечной активности), 18—23 года (строительные или миграционные циклы), 25—33 года (цикл смены поколений); 50—60 лет (длинные циклы или циклы «отцов и детей»), 110—120 лет (циклы гегемонии или генеральных войн); 250—400 лет (логистики или вековые тренды).

1. От трех до тридцати

В XX в. пальму первенства по «популярности» несомненно удерживают циклы продолжительностью 4—5 лет, которые связываются прежде всего с периодическими колебаниями экономической активности. Количество работ, посвященных «деловым циклам» (*business cycles*), без преувеличения исчисляется тысячами, поскольку эта тема является одной из центральных в макроэкономической теории. При этом изучение деловых циклов как самостоятельного явления имеет не слишком продолжительную историю. Еще в первой половине XIX в. «большинство экономистов занималось исследованием кризисов, а не циклов» и видело «в кризисах не фазу периодического процесса... а, скорее, признаки надвигающегося и еще невиданного по масштабам экономического катаклизма, — своего рода экономического апокалипсис» (*Аукуционек* 1991, с. 152—153).

Начало анализу деловых циклов положила упоминавшаяся работа К. Жугляра (*Juglar* 1862), но для утверждения этой проблематики в экономической науке потребовалось более двадцати лет. Только после выхода в свет работы У. С. Джевонса (*Jevons* 1884) и издания в 1885 г. подготовленного Ф. Энгельсом II тома «Капитала» К. Маркса возник мощный поток исследований по данной теме¹⁹.

Но несмотря на обилие исследований, до 1930-х годов датировка циклов оstarались предметом дискуссий. Существенные расхожде-

¹⁹ Количество работ, опубликованных за истекшие сто с небольшим лет, столь велико, что не представляется возможным дать их даже самый краткий обзор, равно как и перечислить хотя бы основные концепции, с помощью которых экономисты пытались объяснить происхождение периодических колебаний хозяйственной конъюнктуры (правда, подавляющее большинство этих концепций подпадает под нашу рубрику «механических моделей», рассмотренную в предыдущем параграфе). Поэтому ограничимся отсылкой к нескольким работам, которые могут дать первое впечатление о состоянии исследований в этой области и содержат библиографию наиболее известных публикаций последних десятилетий: *Аукуционек* 1984; *Горохова, Григорьев* 1988; *Gordon* 1986.

ния в датировках подъемов и спадов экономической активности обуславливали значительный разброс в оценках периодичности этих циклов. В работах К. Жугляра, У. Джевонса и К. Маркса период деловых циклов оценивался в 8—10 лет, но развитие экономической статистики позволило уже в 1920-е годы выявить наличие циклов хозяйственной конъюнктуры с периодом 3—4 года (Kitchin 1923). Возник закономерный вопрос, об одних и тех же ли деловых циклах идет речь, а если нет, то какие из них являются «правильными» или «основными». Как отмечалось выше, позднее проблема была решена путем признания факта множественности циклических процессов, но вначале этот разноречивый в оценках стимулировал работу по датировке деловых циклов.

Эти разработки начало вести в 1920-е годы Национальное бюро экономических исследований (НБЭИ) США. В разные периоды «циклическую» программу, в которой участвовало большое число сотрудников НБЭИ, возглавляли У. Митчелл, А. Бэрнс, Дж. Мур и В. Зарновиц. На основе анализа огромного количества статистических рядов была разработана датировка стандартного или «референтного» делового цикла. Программа НБЭИ стимулировала аналогичные исследования и в других странах, и к настоящему моменту общепринятая датировка разработана для Англии с начала XVIII в., для США — с конца XVIII в., для Франции — с 1830 г. и для Германии — с 1850 г., причем начиная с середины прошлого века поворотные точки датированы с точностью до месяца (см.: Moore, Zarnovitz 1986)²⁰.

Исследования деловых циклов позволили сформулировать несколько общих принципов, которые относятся к датировке любых циклов в динамике общества. Прежде всего все циклы имеют страновую специфику, и говорить о существовании «мирового» или даже «европейского» цикла того или иного типа можно только с очень большой степенью условности, да и то лишь после того, как выделены соответствующие циклы для отдельных стран и установлена степень их синхронности. Что касается «страновых» циклов, то здесь

²⁰ При определении поворотных точек послевоенных деловых циклов в европейских странах возникают некоторые сложности, связанные с уменьшением амплитуды колебаний экономической активности и отсутствием четко выраженных спадов хозяйственной конъюнктуры. В связи с этим для послевоенного периода обычно используется специальная процедура, основанная на выделении так называемых «циклов роста» (т. е. колебаний вокруг повышательного тренда), разработанная И. Минц (Mintz 1969, 1974); см. также: Moore 1983; Klein, Moore 1985.

необходимо различать так называемые «специфические» (specific) и «референтные» (reference) циклы. Дело в том, что колебания присущи практически любому показателю динамики общественного развития (более того, современные методы математического анализа временных рядов позволяют в любом показателе выделить циклическую составляющую любой длительности). Но эти колебания могут рассматриваться лишь как циклы, «специфические» для данного показателя, и их датировки могут сильно различаться между собой. Датировка же агрегатного или «референтного» общеэкономического цикла возможна лишь на основе анализа и некоей процедуры усреднения большого числа индивидуальных специфических циклов отдельных показателей.

Как легко догадаться, подобная работа требует значительных усилий по сбору, обработке и анализу эмпирических данных, и фактически она проделана только для краткосрочных экономических колебаний. Поэтому лишь датировка деловых циклов, которую мы приводим в Приложении в конце данной главы (табл. П.4.1), является общепринятой, в отличие от всех остальных циклических процессов, которые будут рассматриваться ниже и для которых создание «референтных» датировок остается делом будущего.

Как свидетельствуют приведенные в табл. П.4.1 данные, средняя продолжительность делового цикла в XVIII — первой половине XIX вв. составляла около 5 лет и практически не менялась на протяжении этого периода, при этом спад занимал примерно 40% всего цикла. В XX в. средняя продолжительность цикла сократилась до 4-х с небольшим лет, при этом спады стали занимать всего 25—30% длины цикла²¹.

Начиная с 1970-х годов циклы с периодом 4—5 лет начали активно использоваться в работах не только по экономической, но и по политической истории. Речь идет о циклах, связанных с выборами, или «политических деловых циклах» (political business cycles). Здесь, во-пер-

²¹ Уточнение датировок референтного «делового цикла» позволило снять вопрос о существовании отдельных «циклов Китчина» с периодом 3—4 года. Хотя в американской экономике некоторые показатели (прежде всего запасы готовой продукции и величина потребительского спроса на товары длительного пользования, в первую очередь автомобили) в отдельные периоды действительно испытывали колебания с периодом, чуть меньшим «референтного», эти различия оказались не столь существенными и подобные отклонения теперь относятся к разряду «специфических» циклов.

вых, рассматривается влияние экономических циклов на электоральное поведение населения, а тем самым на формирование политических циклов, период которых совпадает со сроками выборов²². Во-вторых, обсуждается вопрос об обратном влиянии «циклов выборов» или «политических циклов» на экономику. Речь идет о том, что стремление правящей партии удержаться у власти определяет цикличность государственной экономической политики — идея, восходящая к известной работе Э. Даунза «Экономическая теория демократии» (Downs 1957). Цикличность проявляется в динамике государственного регулирования экономики, ориентированного на обеспечение максимального процветания (минимальных темпов инфляции и минимального уровня безработицы) к моменту выборов. Подобная стимулирующая предвыборная политика после выборов приводит к спаду или увеличению темпов роста цен²³.

Как первый, так и второй подход к анализу взаимосвязи экономической конъюнктуры и электорального поведения предполагает, что избиратели «близоруки», т. е. реагируют только на состояние экономики, наблюдаемое непосредственно перед выборами, а не оценивают экономическое положение за весь срок пребывания данного правительства у власти. В связи с этим многие исследователи предлагают другой подход к проблеме «политического делового цикла», основанный на так называемой «партийной» модели. Считается, что состояние экономики зависит от того, какая партия находится у власти (эти модели используются обычно для стран с двухпартийной системой — США, Великобритании и некоторых других европейских государств). Утверждается, в частности, что в периоды нахождения у власти демократической партии в США и социалистических партий в европейских странах темпы инфляции выше, а уровень безработицы ниже, чем во времена правления республиканцев в США и консервативных правительств в Европе²⁴.

Заметим, что несмотря на обилие исследований в области «политического делового цикла», эти циклы не имеют собственной перио-

²² См.: Mueller 1970; Kramer 1971; Stigler 1973; Fair 1978; 1982; 1988; Florina 1981; Erikson 1988; 1989.

²³ См., например: Nordhaus 1975; 1989; McRae 1977; Tufte 1978; Kirchgässner 1985; а также Аукуюцонек 1984, с. 102—123.

²⁴ См., например: Hibbs 1977; 1986; 1987; Alesina 1987; Alesina, Sachs 1987; Alesina et al. 1991; Paldam 1979; 1981a; 1981b; 1986; обзоры см. в: Hibbs et al. 1981; Аукуюцонек 1984, с. 102—123; 1988.

дизации: она совпадает или с датировками деловых циклов, или со сроками выборов в соответствующих странах.

Следующий популярный в литературе по общественным наукам период циклических колебаний, равный 10—12 годам, самостоятельным объектом изучения стал лишь в начале XX в. Дело в том, что в конце XIX в., как отмечалось выше, бытовало мнение, что период деловых циклов составляет 8—10 лет. Развитие эмпирической базы позволило установить, что на самом деле он равен примерно 5—6 годам (см. табл. П.4.1), а колебания с периодом 10—12 лет следует рассматривать как отдельное явление.

Еще в конце XIX в. эти циклы стали увязываться с колебаниями солнечной активности. Эта идея разрабатывалась, в частности, известным английским экономистом У. Джевонсом (Jevons 1884), а популярной она стала в первой трети XX в. Как уже было отмечено, в современных исследованиях 10—12-летние циклы обычно рассматриваются применительно к динамике сельского хозяйства в «доиндустриальную» эпоху²⁵.

Их датировка, в отличие от многих других, не вызывает разногласий, поскольку она основана на данных астрономических наблюдений, регистрирующих площадь «солнечных пятен». В табл. 4.1 мы приводим даты максимумов и минимумов солнечной активности, к которым «привязывается» соответствующая динамика экономических и социальных процессов. Заметим, что 10—12-летние циклы преимущественно анализировались в экономической истории, хотя предпринималось несколько попыток распространить их и на социально-политическую сферу.

Так, А. Чижевский утверждал, что «течение всемирно-исторического процесса составляется из непрерывного ряда циклов, занимающих промежутки времени, равный в среднем арифметическом 11 годам, и синхроничных в степени своей активности периодической пятнообразовательной активности Солнца» (Чижевский 1990 [1924], с. 151). В 11-летнем историческом цикле Чижевский выделял четыре фазы:

- I — фаза минимальной возбудимости (3 года);
- II — фаза нарастания возбудимости (2 года);
- III — фаза максимальной возбудимости (3 года);
- IV — фаза падения возбудимости (3 года).

²⁵ Stetson 1947, ch. 14; Åkerman 1957, v. 2, p. 249; Ashton 1959, ch. 2; Deane 1967, p. 227—228; Mathias 1969, p. 228—231; Cass, Shell 1983; Mirowski 1984.

Таблица 4.1.

Датировка циклов солнечной активности, годы

XVII в.		XVIII в.		XIX в.		XX в.	
max	min	max	min	max	min	max	min
1605	1610	1705	1712	1804	1810	1905	1913
1615	1619	1718	1723	1816	1823	1917	1923
1626	1634	1727	1734	1830	1833	1926	
1639	1645	1738	1745	1837	1843		
1649	1655	1750	1755	1848	1856		
1660	1666	1761	1766	1860	1867		
1675	1679	1769	1775	1870	1878		
1685	1689	1778	1784	1883	1889		
1693	1698	1788	1798	1893	1901		
11,7	11,0	10,6	11,1	11,7	11,4	11,0	11,0
2,8	2,1	1,7	1,8	2,6	1,1	1,7	1,4

Примечание: в предпоследней строке таблицы приведены средние продолжительности циклов в годах; в последней строке — среднеквадратичное отклонение.

Источники: Чижевский 1976 [1936]; Бокс, Дженкинс 1974.

Поворотные пункты всемирной истории, по Чижевскому, в основном приходятся на третью фазу солнечного цикла. Именно в этот период достигает максимума влияние вождей, полководцев, ораторов, прессы: «... Хотя историческая жизнь человечества не утихает ни на минуту и постоянно вспыхивает то в одном, то в другом участке Земли — в моменты максимумов солнцедятельности она получает почти полное развитие по всей поверхности планеты» (Чижевский 1990 [1924], с. 142; подробнее см.: Чижевский 1995 [1929—1933], с. 242—349).

В свою очередь российский историк и астроном Д. Святский доказывал, что годы максимумов солнечной активности неизменно сопровождались революциями: 1830, 1848 и 1870 гг. — во Франции, 1860 г. — в Италии, 1905 и 1917 гг. — в России (см.: Плотинский 1992, с. 61).

К сожалению, нам неизвестны более поздние попытки анализа 10—12-летних колебаний в применении к социальной и политической

истории²⁶, да и в экономической истории эти циклы в настоящее время используются крайне редко. Но свято место пусто не бывает, и спад интереса к 11-летним циклам сопровождался активизацией исследований 20-летних колебаний.

Первые работы, в которых анализировались 20-летние экономические циклы, появились в 30-е годы в США (Riggleman 1933; Newman 1935). Вначале они однозначно связывались с динамикой жилищного строительства, но уже в работах конца 1930-х — начала 1940-х годов была рассмотрена связь «строительных» циклов с другими сферами экономики — производством чугуна и мебели, миграцией населения из сельской местности в города, изменением процентных ставок и биржевых курсов акций, развитием железных дорог и, наконец, динамикой национального дохода и продукта в целом²⁷. Постепенно 20-летние циклы в экономике перестали именоваться «строительными» и получили название «длинные колебания» (long swings), а позднее — «циклы Кузнец», поскольку именно С. Кузнец первым продемонстрировал их универсальный характер (подробнее см.: Бойко 1989).

В 50—60-е годы исследования по этой проблематике еще больше активизировались. Во-первых, наряду с новыми исследованиями циклических процессов в американской экономике было продемонстрировано существование «циклов Кузнец» в Великобритании, Германии и Франции, а затем и в Австралии и Канаде, причем в Англии они были обнаружены не только в XIX, но и в XVIII в.²⁸ Во-вторых, «циклы Кузнец» стали связываться с процессом международной миграции (Thomas 1954; 1958), а отсюда, с одной стороны, с динамикой численности населения и других демографических показателей (Kuznets 1958; Easterlin 1968), с другой — с международным движением капиталов (Bloomfield 1968).

²⁶ Можно упомянуть лишь забавный мистико-астрологический вариант 12-летних циклов, в соответствии с которым в России в XX в. главные политические события происходят каждые 12 лет: 1905 и 1917 гг. — революции, 1929 г. — приход Сталина к власти, 1941 г. — начало Отечественной войны, 1953 г. — смерть Сталина, 1965 г. (на самом деле, конец 1964 г.) — начало правления Брежнева, 1977 г. — ?, 1989 г. — начало распада СССР.

²⁷ Warren, Pearson 1937; Long 1940; Isard 1942; Silberling 1943; Kuznets 1946; Хансен 1959 [1951].

²⁸ См.: W. Lewis, O'Leary 1955; W. Lewis 1978; Cooney 1960; Abramovitz 1961; 1964; 1968; Matthews 1962; J. Lewis 1965; Bloomfield 1968.

Точная датировка «циклов Кузнеця» представляет известную сложность. Как и любые колебания, они не вполне синхронно проявляются в динамике разных показателей, а поскольку «референтная» периодизация для них не разработана, каждый автор по существу пользуется своими «специфическими» циклами. Поэтому мы ограничимся иллюстративным графиком, на котором представлены два показателя, наиболее наглядно демонстрирующие 20-летние колебания, — объем жилищного строительства и приток иммигрантов в США (см. рис. 4.2).

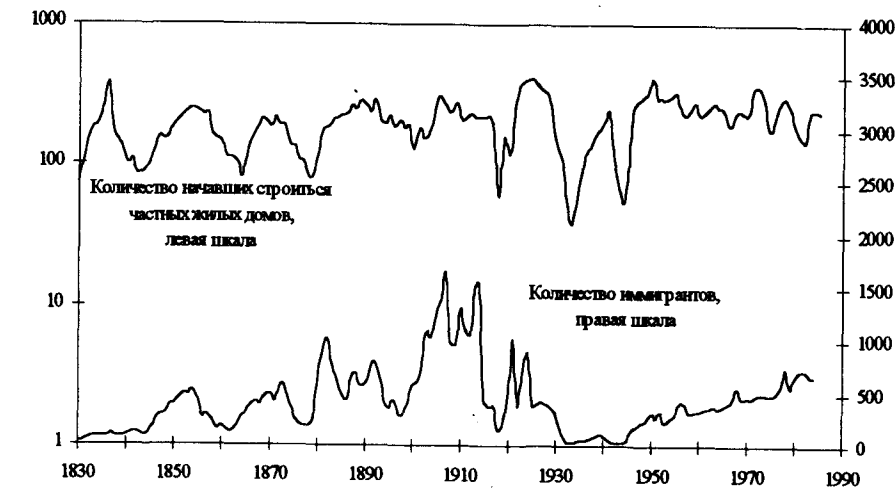


Рисунок 4.2. Жилищное строительство и иммиграция в США (в расчете на 10 000 жителей, 1840 = 100)

В 70—80-е годы количество работ, посвященных «циклам Кузнеця», резко сократилось. Постепенно утвердилось мнение, что эти циклы имели преходящий характер и проявлялись только в определенный исторический период: в Англии — со второй трети XVIII в., в США — со второй трети XIX в. до второй мировой войны (Abramovitz 1968; Rostow 1975; 1978). Это, впрочем, не вызывает удивления, поскольку с середины 1930-х годов резко изменился характер международной миграции, что отчетливо видно и на приведенном графике. Точно так же изменился и характер жилищного строительства, как по технологическим, так и по финансовым причинам — колебания в этом секторе стали гораздо менее выраженными, чем в XIX в. Тем са-

мым циклы 20-летней продолжительности перешли в основном в ведение экономических историков и специалистов по исторической демографии, занимающихся XIX веком.

Для полноты картины упомянем, наконец, о 30-летних циклах, которые, впрочем, никогда не привлекали к себе сколько-нибудь заметного внимания. Некоторые авторы, прежде всего демографы и экономисты, рассматривают их как вариант 20-летних «циклов Кузнеця» или «длинных колебаний» (long swings; см., например: Easterlin et al. 1978; Solomou 1987). Лишь несколько специалистов по политической истории пытались придать им самостоятельное значение: в частности, они обсуждаются в переведенной и изданной массовым тиражом в России популяризаторской работе А. Шлезингера-мл. «Циклы американской истории» (Шлезингер 1992 [1986]).

В числе исследователей 25—30-летних циклов сам Шлезингер называет Г. Адамса, Х. Ортегу-и-Гассета и А. Шлезингера-ст. Со своей стороны к этому короткому списку мы можем добавить двух историков XIX в. — Ж. Дромеля и О. Лоренца²⁹. Перечисленные авторы, равно как и сам Шлезингер-мл., для объяснения 30-летнего цикла используют механизм смены поколений, точнее, чередования «отцов и детей». Но, в отличие от других сторонников «поколенческой» модели, они полагают, что срок жизни социального поколения составляет не 25—30 лет, а «только половину дозы», т. е. 12—15 лет. В этом случае полный период цикла составляет искомые 25—30 лет, в течение которых сменяется два поколения³⁰.

Г. Адамс связывал 25—30-летний цикл смены поколений с чередованием периодов «распыления и централизации национальной

²⁹ См.: Dromel 1862; Lorenz 1886; 1891; Adams 1931 [1889—1891], v. 6; Ortega-i-Gasset 1991 [1930]; 1997 [1929]; Schlesinger 1964 [1949].

³⁰ «Каждое поколение, став политически совершеннолетним, тратит первые пятнадцать лет на то, что бросает вызов поколению, которое уже имеет власть и защищает ее. Затем это новое поколение само приходит к власти на пятнадцать лет, после чего его политическая активность слабеет, а новое подростковое поколение претендует на роль преемника» (Шлезингер 1992 [1986], с. 51).

Ср.: «Срок жизни одного поколения — около тридцати лет. Но срок этот делится на два разных и приблизительно равных периода: в течение первого новое поколение распространяет свои идеи, склонности и вкусы, которые утверждаются прочно и в течение всего второго периода господствуют. Тем временем поколение, выросшее под их господством, уже несет свои идеи, склонности и вкусы, постепенно пропитывая ими общественную атмосферу» (Ортега-и-Гассет 1991 [1930], с. 331, сн.).

энергии» американцев, оба Шлезингера (старший и младший) — со сменой консервативных и либеральных настроений в американском обществе, Х. Ортега-и-Гассет трактовал его как чередование «революционных» и «реставрационных» взглядов. Что касается датировки этих циклов, то у Ортеги она просто отсутствует, а датировку Шлезингеров мы рассмотрим чуть ниже в связи с 50—60-летними циклами.

2. Пятьдесят—шестьдесят

Одно из первых упоминаний об экономических циклах продолжительностью 50—60 лет встречается в опубликованной в конце XIX в. книге У. Джевонса (*Jevons* 1884). Но всерьез эта тема стала разрабатываться только в 1910—1920-е годы в работах голландских исследователей Я. ван Гельдерена (писавшего под псевдонимом Я. Феддер) и С. де Вольфа и русского экономиста Н. Кондратьева (*Gelderen* 1913; *Wolff* 1924; *Кондратьев* 1925; 1989 [1928]; 1928)³¹. С конца 30-х годов, т. е. со времени выхода в свет работы Й. Шумпетера «Деловые циклы» (*Schumpeter* 1939), для обозначения циклов данной периодичности стал использоваться термин «циклы Кондратьева». Первоначально он применялся только в экономике, а позднее был включен в терминологическое поле социальной и политической истории. Циклы с периодом 50—60 лет в литературе именуются также «большими циклами», «длинными волнами», «долговременными колебаниями» и т. д.³²

В сфере экономики исследования циклов Кондратьева делятся на две части, относящиеся к индустриальному и доиндустриальному периодам. Начиная с пионерских работ самого Кондратьева и до конца 1950-х годов циклические колебания с периодом 50—60 лет

³¹ В связи с тем, что работа ван Гельдерена была опубликована на голландском, а Кондратьева — на русском языке, они стали известны в других странах лишь в 1930-е — начале 1940-х годов. Работы ван Гельдерена и де Вольфа получили известность в Европе и США благодаря монографии С. Кузнецца (*Kuznets* 1930), а статьи Кондратьева — благодаря книге Й. Шумпетера (*Schumpeter* 1939) и статье того же Кузнецца (*Kuznets* 1940).

³² Количество статей и монографий, посвященных «циклам Кондратьева» исчисляется сотнями. Наиболее полные обзоры этих исследований содержатся в: Энтоу, Макашева 1985, 1989; Меньшиков, Клименко 1989; Weinstock 1964; Barr 1979; Delbeke 1981; Plumpe, Resenkrantz 1981; Duijn 1983; Zschocke 1985; Goldstein 1988.

анализировались в основном на сравнительно коротком историческом промежутке — не ранее, чем с конца XVIII в. (среди немногочисленных исключений можно отметить работу: *Wagemann* 1931). Изучение же длинных циклов в доиндустриальную эпоху началось, по существу, только с фундаментальной монографии Г. Эмбера (*Imbert* 1959), которая послужила толчком к началу активных исследований в этой области.

Деление работ по анализируемому в них периоду имело и содержательные отличия. «Индустриальными» длинными циклами занимались в основном экономисты (к числу немногих исключений можно отнести Ф. Симиана и Э. Лабрусса — см.: *Simiand* 1932a; 1932b; *Labrousse* 1933—1936; 1944), а «доиндустриальными» — историки. Соответственно, усилия специалистов по «доиндустриальным» циклам были сосредоточены прежде всего на поиске, сборе и обработке исторических данных, которые позволяли построить динамические ряды, характеризующие долгосрочные колебания в экономике. В первую очередь речь шла о рядах цен, в гораздо меньшей степени — производства, и, в виде исключения, об отдельных индикаторах торгового оборота, денежного обращения, демографических показателях и т. д.³³

Что касается работ, посвященных «индустриальным циклам» XIX и XX в., то основное внимание в них уделялось не столько поиску и построению статистических рядов, сколько методам выделения длинноволновых колебаний и попыткам определить механизм их возникновения³⁴. Среди популярных механизмов длинных циклов можно отметить инвестиционные концепции (процесс перенакопления капитала, волны обновления капитала с длительными сроками службы, движение нормы прибыли); денежно-кредитные (динамика денежной массы, открытие месторождений золота и серебра); инновационные (неравномерность научно-технического прогресса, циклы жизни продуктов и изобретений), демографические (изменение рождаемости и смертности, процессы миграции) и т. д. (подробнее см.: *Полетаев, Савельева* 1993, гл. 1).

³³ См., например: *Baehrel* 1961; *Mauro* 1964; *Braudel*, *Spooner* 1967; *Ebeling*, *Irsigler* 1976; *Бродель* 1986—1992 [1979], т. 3; *Hopkins*, *Wallerstein et al.* 1979; *Муронов* 1981; *Cole* 1982; *Кахк, Реммель* 1983; *Grenier* 1983; *Metz* 1983; 1984; *Morineau* 1984; *Irsigler*, *Metz* 1984; *Zschocke* 1984; *Goldstein* 1988; и др.

³⁴ Наиболее известные монографии последних десятилетий: *Mensch* 1979 [1975]; *Duijn* 1983 [1979]; *Mandel* 1980; *Freeman et al.* 1982; *Kleinknecht* 1987.

Имеющиеся расхождения в датировке длинных волн в экономике определяются несколькими обстоятельствами.

Во-первых, спецификой страны. Хотя циклы Кондратьева обычно рассматриваются как «мировой» или «международный» феномен, по существу каждый автор использует национальную статистику отдельных стран (хотя это далеко не всегда оговаривается). Ясно, что сколь тесными ни были бы мирохозяйственные связи, все равно колебания экономической активности в разных странах никогда не могут быть абсолютно синхронными.

Во-вторых, методом выделения длинноволновых колебаний. Как правило, циклы Кондратьева анализируются с помощью тех или иных методов обработки первичных статистических рядов (выделение тренда, сглаживание и т. д.). Ряд авторов, и мы в их числе, отдает предпочтение так называемому методу линейной фильтрации (подробнее см.: *Поletaев, Савельева* 1993). В принципе, различия в методике выделения длинных волн могут сказываться и на их датировке, но, как показывает наш анализ, роль этого фактора невелика.

В третьих, различием между динамикой абсолютных показателей и темпов прироста. Это проблема последних десятилетий, когда многие авторы начали рассматривать длинные волны как колебания в темпах прироста показателей промышленного производства или ВВП/ВНП в постоянных ценах (до этого длинные волны исследовались главным образом на основе абсолютных показателей динамики цен). Дело в том, что волновая динамика показателя темпов прироста опережает волновую динамику исходного абсолютного показателя примерно на $1/4$ длины цикла³⁵.

Наконец, для датировки длинных циклов самое существенное значение имеет выбор статистического показателя. Наибольшие разно-

³⁵ Для объяснения причин существования этого сдвига напомним некоторые элементарные математические зависимости. Упрощенно говоря, волна есть не что иное, как синусоида (в более общем случае — результат сложения нескольких синусоид, но это не меняет существа дела). В свою очередь темп прироста эквивалентен оценке производной данного ряда. Напомним, что производная функции синуса равна косинусу, который сдвинут по фазе относительно синуса на $1/4$ периода колебаний.

Заметим, что едва ли не единственным специалистом по длинным волнам, кто обратил внимание на это обстоятельство, оказался, как ни странно, не экономист, а историк и политолог Дж. Голдстейн (*Goldstein* 1988, р. 190—191), однако его наблюдение осталось практически не замеченным другими исследователями.

чтения, в частности, вызывают различия в динамике цен и производства: например, для аграрной экономики было характерно разнонаправленное изменение цен и производства на сельскохозяйственную продукцию: периодам максимального уровня цен соответствовали периоды минимального объема производства, и наоборот (см.: *Baehrel* 1961; *Metz* 1983; 1984; и др.).

В индустриальной экономике зависимость между динамикой цен и производства имеет более сложный характер. Как показывает опыт изучения деловых циклов во второй половине XIX — первой трети XX в., поворотные точки в циклической динамике показателей, характеризующих объем производства, обычно опережают поворотные точки в колебаниях цен на $1/4$ длины цикла. Эта же зависимость сохраняется и для «индустриальных» длинных циклов. Учитывая упомянутый выше сдвиг, обусловленный разницей между динамикой темпов прироста и абсолютных показателей, мы получаем, что в индустриальной экономике волны темпов прироста производства должны двигаться в противофазе с волнами абсолютных показателей цен. Иными словами, максимумам ценовых волн соответствуют минимумы волн в темпах прироста производства.

Это неизбежно порождает путаницу в определении повышательных фаз (подъемов) и понижательных фаз (спадов) длинных циклов. Периодам роста цен, которые обычно определяются как повышательные фазы (подъемы), соответствует сокращение объема производства, а в аграрной экономике — голод и повышение смертности. Пики в динамике цен на сельскохозяйственную продукцию приходится, как правило, на периоды войн и разрухи, которые вряд ли можно считать экономическим процветанием. Одним из немногих, кто обратил внимание на эту проблему, был Й. Шумпетер (*Schumpeter* 1939): он датирует поворотные точки 50-летних колебаний так же, как другие авторы, но в некотором смысле «с обратным знаком» — то, что другие считают точками максимумов, Шумпетер считал минимумами длинного цикла, и наоборот.

С учетом этих оговорок мы представляем датировки 50—60-летних циклов в экономике начиная с XIII в. В Приложении в конце данной главы (табл. П.4.2) собраны как наиболее известные оценки из уже опубликованных, так и результаты наших расчетов. Если оставить в стороне межстрановые различия, в большинстве случаев они близки друг к другу. Самые большие разногласия вызывает периодизация длинных волн в середине XVI в., когда в ходе «рево-

люции цен» происходили резкие изменения в ценовой структуре экономики. Некоторые, не слишком значительные, разнотечения наблюдаются в датировке минимума ценовых волн (или максимума волн темпов производства) в середине XIX в. Наконец, дискуссионным остается вопрос о датировке длинных волн во второй половине XX в. — по видимому, должно пройти еще некоторое время, чтобы он лишился конъюнктурной политической окраски и стал объектом исторического анализа.

Мы остановились на проблемах датировки длинных волн в экономике так подробно потому, что их периодизация обычно служит отправной точкой для датировки «неэкономических» 50—60-летних циклов, анализируемых в работах по политической, социальной и культурной истории общества.

В частности, очень распространены попытки обнаружить 50—60-летние циклы в истории войн. Этот подход возник довольно давно — он восходит по крайней мере к работам немецких историков конца XIX в. Э. Зассе и Р. Мевеса (*Sasse* 1879; *Mewes* 1896; см.: *Sorokin* 1937—1941, v. 4, p. 494—498). В XX в. последовательным сторонником этой идеи был Арнольд Тойнби. В одном из разделов своего многотомного труда по истории цивилизаций он пытался показать, что крупные войны имеют строгую периодичность в 57,66 года (именно так, с двумя знаками после запятой, т. е. с точностью до четырех дней!) (*Toynbee* 1934—1961, v. 9, p. 287).

Подавляющее большинство исследователей так или иначе рассматривают циклы военной активности во взаимосвязи с экономическими циклами. Связь между войной и экономикой настолько очевидна (по крайней мере в одну сторону), что не требует специальных комментариев. Практически любая война несет с собой прежде всего повышение цен, причем, как правило, не только для жертвы нападения, но и для страны-агрессора. С анализа этой очевидной связи и начались первые систематические исследования взаимодействия между войнами и экономикой в ходе длинных циклов.

При этом, как и в ряде других случаев, здесь сталкиваются две точки зрения — «материалистическая» и «идеалистическая». Сторонники первой рассматривают колебания военной активности как отражение длинных экономических циклов; приверженцы другой, напротив, считают их генератором экономических колебаний, а причиной возникновения «военных циклов» обычно называют механизм смены поколений, который рассмотрен выше.

Что касается первой точки зрения, то, как и подавляющее большинство идей о механизме 50-летних циклов, гипотеза о влиянии экономических циклов на возникновение войн была высказана Н. Кондратьевым. Не развивая тему дальше, он ограничился замечанием о том, что усиление военной активности приходится на повышательные фазы длинного цикла, достигая максимума к их концу (*Кондратьев* 1925; 1989 [1928])³⁶.

Другую, едва ли не более многочисленную, группу составляют работы, в которых сами войны рассматриваются в качестве причины 50—60-летних колебаний в экономике (прежде всего речь идет о влиянии войн на движение цен). Первые такие исследования появились в конце 30-х — начале 40-х годов нашего века. Не останавливаясь специально на периодичности возникновения военных конфликтов, многие авторы доказывали, что долговременные колебания цен (точнее, их всплески и последующие спады) обусловлены именно действием войн³⁷.

Заметим, что большинство сторонников подобного подхода практически не рассматривает воздействие войн на производство (среди немногих исключений см.: *Rasler, Thompson* 1985a; 1985b; *Goldstein* 1988). Между тем для всех очевидно, что войны самым решительным образом влияют на сферу реального производства, по крайней мере на его структуру и темпы экономического роста, не говоря уже о возможности полного или частичного разрушения экономики (например в Германии, Японии или СССР во время второй мировой войны).

Что касается причин 50—60-летних циклов самих военных конфликтов, то основной здесь является гипотеза о роли смены поколений. Одним из первых ее выдвинул, насколько нам известно, американский исследователь К. Райт: «Воин не хочет воевать снова сам и настраивает своего сына против войны, но внуки вырастают с романтическими представлениями о войне» (*Wright* 1965 [1942], p. 230).

Активным сторонником идеи о связи периодичности войн со сменой поколений и соответствующим изменением психологии масс был также А. Тойнби: «Уцелевшая часть поколения, участвовавшего в военных действиях, будет делать все, чтобы ни им, ни их детям не

³⁶ Этот взгляд на проблему разделял Г. Эмбер (*Imbert* 1959); подробнее см.: *Goldstein* 1988.

³⁷ См.: *Akerman* 1979 [1932]; *Ciriacy-Wantrup* 1936; *Bernstein* 1940; *Dickinson* 1940; *Rose* 1941; *Silberling* 1943; *Tinbergen, Polak*, 1950 [1942]; *Thompson, Zuk* 1982.

пришлось пережить подобный трагический опыт снова... и поэтому психологическое сопротивление любым действиям, нарушающим мир... оказывается непреодолимым до тех пор, пока новое поколение... не вырастет и не придет к власти. Точно так же милитаристские настроения, раз возникнув, будут существовать до тех пор, пока поколению, выросшему в условиях мира и с легким сердцем развязывающему войну, не придет на смену поколение, вынесшее войну на своих плечах» (Toynbee 1934—1961, v. 9, p. 322).

Тезис о роли смены поколений в определении периодичности войн неявно подразумевает изначально заложенное в человеке стремление к войне, присущую ему природную агрессивность (по Гоббсу). Только в случае, если этот инстинкт сталкивается с более сильным инстинктом страха и самосохранения, он на некоторое время подавляется (у тех, кто пережил войну). Затем агрессивность снова возникает как элемент индивидуальной и массовой психологии тех, кто не имеет военного опыта.

Конечно, полностью исключать роль смены поколений в формировании общественного сознания в целом и милитаристских настроений в частности, видимо, не следует. Однако тем более не следует преувеличивать ее роль в возникновении войн и вообще в определении внешней политики. В конце концов войны — это способ разрешения неких межгосударственных противоречий (а гражданские войны — метод разрешения противоречий между разными социальными группами, формирующимися отнюдь не по критерию возраста). Иными словами, причины войн могут быть объективными (в той мере, в какой вообще объективны интересы отдельных групп общества). И, как свидетельствует исторический опыт, в большинстве случаев это либо экономические, либо идеологические факторы. Последние, например, порождают религиозные войны, а на протяжении XIX—XX вв. — национальные войны (за национальную независимость или объединение) и войны, движимые стремлением к идеологической экспансии, навязыванию своей системы ценностей и т. д.

Войны, которые вызываются преимущественно экономическими причинами, как правило, обретают некий идеологический камуфляж и соответствующее идейное обоснование, тогда как войны, имеющие идеологическую причину, ведут к реализации и определенных экономических интересов.

Очевидно, что гипотеза о связи периодичности войн (да и других явлений социально-политической жизни общества) со сменой

поколений, привлекающая своей простотой и наглядностью на уровне обыденного сознания, вызывает слишком много вопросов. Трагический опыт войн бесспорно сказывается на настроениях испытавших их людей. Соответственно и политики, пережившие войну, по-иному смотрят на проблемы войны и мира, чем политические деятели, выросшие в мирное время. Вместе с тем выделять смену поколений в качестве ключевого объяснения колебаний военной активности вряд ли правомерно.

В датировке военных циклов используется два подхода. Первый основан на контент-анализе, с помощью которого выделяются наиболее крупные и значимые военные конфликты (так называемые «генеральные войны»). Определения и признаки «генеральных» войн могут существенно варьироваться (в частности, одни авторы относят к ним преимущественно войны на море, другие — на суше), но основным объектом анализа в подавляющем большинстве работ является европейская история. Что же касается истории других регионов мира, то она, к сожалению, остается вне поля зрения исследователей (исключая лишь войны Турции с европейскими странами).

Здесь же отметим, что хотя концепция «генеральных войн» довольно распространена в работах по политической истории, далеко не все ее сторонники усматривают в чередовании таких войн какую-либо периодичность. Так, Дж. Леви (Levy 1985), сравнивая списки «генеральных» войн, предложенные разными авторами, пришел к выводу, что о периодичности таких войн говорить не приходится. Заметно различаются и критерии их выделения у разных исследователей. Характерно, что сторонники и противники периодичности военных конфликтов предлагают разные списки «генеральных» войн: у первых они укладываются в 50—60-летние интервалы, у вторых нет. В связи с этим возникает подозрение, что выбор «генеральных» войн весьма субъективен — как сторонники, так и противники идеи периодичности могут слегка «корректировать» предлагаемые ими списки в нужную сторону.

Второй подход к изучению периодичности возникновения войн основан на анализе колебаний *интенсивности* военных конфликтов, а именно, использовании количественных данных о длительности военных действий, числе вовлеченных в них стран и, наконец, масштабах потерь — людских и материальных, полученных на основе изучения хроник, летописей и прочих исторических документов (см.: Wright 1965 [1942]; Richardson 1960; Levy 1983). В результате много-

летних усилий сейчас мы располагаем оценками человеческих потерь в каждой из войн на протяжении последних пяти веков (начиная с 1495 г.). Не беремся судить о степени надежности этих данных — ясно, что они весьма приблизительны. Тем не менее они принимаются большинством исследователей за некоторую основу и практически не оспариваются.

На основе сведений о потерях в каждой из войн мы можем построить динамический ряд «военных смертей» в каждом году. В табл. 4.2 представлены наши оценки хронологии пиков военной активности (по людским потерям) и соответствующие им войны (подробнее о методике расчетов см.: *Полегаев, Савельева* 1993). В этой таблице также приведены данные об общем числе потерь в выделенных войнах и уровень вызванной ими смертности (число погибших на каждый миллион населения Европы). Конечно, эти данные неполны. В частности, они не содержат сведений о потерях в ходе гражданских войн, в том числе таких крупных, как Гражданская война в США 1866—1871 гг. и Гражданская война в России 1918—1921 гг., хотя ясно, что Гражданская война в США была для этой страны гораздо более существенной, чем Франко-Прусская война в Европе. Единственное, что можно гарантировать, так это непредвзятость исходной информации: дело в том, что в основе наших расчетов лежат оценки Дж. Леви (*Levy* 1983), который отстаивает тезис об отсутствии периодичности «генеральных» войн.

Несмотря на некоторую условность имеющихся данных, мы можем констатировать, что войны, на которые, судя по нашим оценкам, приходится пики военной активности, в целом совпадают со списком «крупных» или «генеральных» войн, который фигурирует в работах К. Райта, А. Тойнби, Дж. Голдстейна и других сторонников периодичности значительных военных конфликтов (см.: *Levy* 1985).

Говоря об имеющихся оценках пиков и спадов военной активности, сразу отметим, что вторая мировая война в эту циклическую картину не вписывается. Это, впрочем, достаточно очевидно: между первой и второй мировыми войнами прошло всего 20 лет, которые никак не укладываются в хронологию 50-летних циклов. По этому поводу высказывается две точки зрения. Первая состоит в том, что вторая мировая война — это всего лишь продолжение первой, так как первая не решила те проблемы, из-за которых она началась (претензии Германии на передел мира и мировое лидерство). Другими словами,

постулируется, что в первой половине нашего столетия была всего одна «двухэтапная» мировая война (*Wright* 1965 [1942]; *Models* 1978, 1979, 1981; *Wallerstein* 1983). Вторая позиция состоит в том, что механизм возникновения и ведения войн кардинально изменился в XX в., и в этом случае мы не можем распространять закономерности прошлого на современную эпоху (*Goldstein* 1988).

Таблица 4.2.

Датировка пиков 50—60-летних циклов военной активности

Пик военной активности	Названия войн	Период военных действий	Общая численность потерь (тыс. чел.)	Потери на млн. жителей, чел.
1500	Итальянские войны	1495—1504	н. д.	н. д.
1547	Вторая Оттоманская война	1537—1547	97	1 329
1585	Война с Испанской Армадой	1584—1604	48	588
1637	Тридцатилетняя война (Швеция—Франция)	1635—1648	1 151	12 933
1702	Война за испанское наследство	1701—1713	1 251	12 490
	Вторая Северная война	1700—1721	64	640
1756	Семилетняя война	1755—1763	992	9 118
1806	Наполеоновские войны	1803—1815	1 869	16 112
1871	Франко-прусская война	1870—1871	180	1 415
1915	Первая мировая война	1914—1918	7 734	57 616

Рассчитано по: *Levy* 1983; *Goldstein* 1988.

В целом датировки циклов военной активности совпадают с датировками 50—60-летних экономических циклов. В частности, как показывают наши оценки, приведенные в табл. П.4.2 и 4.2, с середины XVI до середины XX в. увеличение военной активности приходилось на периоды подъема цен и пики военной активности опережали пики в динамике цен на 5—6 лет. Это означает, что войны, если и не выступали в качестве генератора роста цен, то в любом случае вносили существенный вклад в их повышение на конечной стадии длинного цикла.

Несколько сложнее интерпретировать связь войн с динамикой производства. В рамках «аграрного» длинного цикла связь производства с войнами видится следующим образом. Сокращение сельскохозяйственного производства, увеличение аграрного перенаселения и

повышение угрозы голода бесспорно способствовали возникновению войн. Во многих случаях в них виделся способ решения внутриэкономических проблем и ослабления социальной напряженности, обусловленных нехваткой продовольствия и/или ростом цен на продукты питания.

В XIX — первой половине XX в. возник, по нашему мнению, иной механизм взаимосвязи войн и экономики, действующий в рамках «промышленного» длинного цикла. Колебания военной активности стали коррелировать с динамикой промышленного производства: максимальным уровням военной активности в целом соответствуют максимумы объемов выпуска промышленной продукции (ср. табл. П.4.2 и 4.2). Это, впрочем, неудивительно — ведение войн в XIX—XX вв. требовало прежде всего значительного промышленного, точнее, военно-промышленного потенциала.

Переходя к исследованиям, посвященным 50—60-летним циклам в социальной и культурной сфере, прежде всего можно выделить работы, доказывающие наличие цикличности в динамике пролетарских движений в западном обществе. Исследователи этой проблематики в большей или меньшей степени придерживаются марксистской ориентации, что определяет интерес к поискам корреляции классовых конфликтов с длинными экономическими циклами³⁸.

Надо сказать, что до настоящего времени существуют значительные разногласия даже по поводу внешнего вида связи между длинными экономическими циклами и интенсивностью рабочего движения. Большинство исследователей доказывало, что корреляция между этими двумя процессами положительная³⁹. Так, по мнению И. Уоллерстайна, периоды обострения классовой борьбы соответствуют датировке верхних поворотных точек длинных циклов, т. е. моментам перехода от повышательной к понижательной динамике. Эти периоды, продолжающиеся 5—10 лет, характеризуются присутствием противоречивых тенденций в экономических показа-

³⁸ Гипотезу о существовании подобной корреляции первыми начали разрабатывать историки, примыкающие к школе «новой социальной истории» — Ж. Бувье и Э. Хобсбоум (*Bouvier 1964; Hobsbawm 1964*). Среди экономистов лидерство в изучении этой темы принадлежит, видимо, П. Боккара, Э. Манделю и Г. Фелпс Брауну (*Boccaro 1973; Mandel 1975 [1973]; 1980; Phelps Brown 1975*). См. также: *Amin 1975; Cronin 1979, 1980; Barr 1980; Fontvieille 1979; Gordon 1980; Gordon et al. 1982*.

³⁹ Кондратьев 1989 [1928]; *Hobsbawm 1964; Perrot 1974; Hopkins, Wallerstein et al. 1979, 1986; Cronin 1979, 1980; Screpanti 1984, 1987*.

телях и одновременно нарушением нормального функционирования социальной системы. Для таких периодов возглавляемые Уоллерстайном исследователи из Центра им. Ф. Броделя университета штата Нью-Йорк ввели понятие «фаза Т», основной характеристикой которой является отсутствие четко выраженных тенденций роста или падения экономических переменных⁴⁰. В «фазе Т», по их мнению, концентрируются основные социальные и политические конфликты (между классами в каждой стране и зонами мира-системы).

Вместе с тем, некоторые авторы обнаруживают отрицательную корреляцию, показывая, что классовая борьба достигает наибольшей остроты в нижней точке длинного цикла (*Imbert 1959*). Наконец, существует и третья позиция, согласно которой активизация рабочего движения наблюдается как в высшей, так и в низшей точках длинного цикла (*Gattei 1989*).

Существенные разногласия имеются и по поводу механизма взаимосвязи между длинными циклами и рабочим движением. По сути здесь в качестве конкурирующих фигурируют две основные гипотезы: одну из них отстаивают Э. Скрепанти и Э. Мандель, другую — И. Уоллерстайн и его сотрудники. И те и другие признают зависимость интенсивности пролетарских движений от состояния экономики, но Скрепанти и Мандель идут дальше, рассматривая и обратную зависимость — экономического цикла от всплесков движений протеста, и считают последние одним из факторов, генерирующих длинные циклы в экономике.

Так, по мнению Скрепанти, антисистемная природа подъемов рабочего движения оказывает долгосрочный «устрашающий эффект» на предпринимателей, разрушает в них чувство уверенности в политической стабильности, ведет к недоинвестированию капитала и, как следствие, к долговременному падению экономической активности (*Screpanti 1984, p. 521—527*).

Примерно такую же (или даже более крайнюю) позицию занимает известный сторонник идей Троцкого бельгийский экономист Э. Мандель. Он считает, в частности, что именно классовая борьба является причиной переломов тенденции нормы прибыли к понижению и переходов от понижательной к повышательной фазе длинно-

⁴⁰ Заметим, что датировка этих фаз не вполне определена: так, в одной работе они датируются 1920—1929 и 1967—... годами (*Hopkins, Wallerstein et al. 1979, p. 496*), в другой — 1870—1875, 1914—1920 и 1967—1975 гг. (*Silver 1989, p. 9*).

го цикла (Mandel 1980). Правда, это подразумевает, что пики рабочего движения приходятся не на высшие, а на низшие точки длинного цикла в экономике, что противоречит датировкам самого Мандела.

Концепция исследовательской группы из Центра им. Ф. Броделя сводится к следующим тезисам.

Во-первых, в отличие от Скрепанти и Мандела, они не считают рабочее движение генератором длинных циклов в экономике, а, наоборот, видят в нем форму социальной реакции на экономический процесс. Во-вторых, анализ циклической динамики классовой борьбы привел их к выводу, что эти процессы лишь на поверхностный взгляд имеют повышательную и понижательную направленность. На самом деле за видимыми подъемами и спадами скрывается смена форм политической и экономической борьбы пролетариата.

По их мнению, «пики» рабочего движения (приходящиеся на высшую точку длинного экономического цикла) соответствуют таким моментам, когда рабочий класс неспособен к эффективной экономической борьбе и поэтому действует политическими методами. В периоды ослабления действий политического протеста (на понижательной фазе длинного цикла) происходит не спад рабочего движения, а переход к активному использованию экономического механизма: коллективно-договорной системы, стачек, возможностей пассивного сопротивления в процессе труда. Внедрение новой системы организации труда, характерное для понижательной фазы каждого длинного цикла, заставляет рабочих отказываться от освоенных рычагов экономического давления на предпринимателей и вести поиск новых. Поскольку процесс этот длителен и требует создания новых организационных форм, он компенсируется усилением политической активности (Hopkins, Wallerstein et al. 1986).

При изучении долговременной динамики рабочего движения остро встает вопрос о степени объективности ее оценок. Конструируя историческую картину развития классовых конфликтов, многие исследователи вольно или невольно подгоняют ее под ту или иную хронологию длинных экономических циклов. Попытки выстроить убедительную картину развития классовой борьбы осложняются тем, что интенсивность социального конфликта весьма трудно оценить количественно. Достоверные и сравнительно регулярные данные есть только по забастовочной борьбе и по численности рабочих организаций (да и то только с конца XIX в.). Хотя в последние десятилетия компьютерная обработка больших массивов исторических данных

позволила ввести в научный оборот новые источники, в том числе полицейские архивы, судебные протоколы и т. д. (Shorter, Tilly 1974), свидетельства о других формах протеста (бунтах, мятежах, митингах, столкновениях с войсками) отрывочны и несопоставимы друг с другом. Поэтому несмотря на обилие работ, в которых постулируется циклический характер пролетарских движений и их связь с длинными экономическими циклами, лишь в немногих из них приводятся доказательства этого тезиса.

Сюда можно отнести попытки выделения на основе контент-анализа периодов обострения классовой борьбы, которыми отмечено рабочее движение. Таких подъемов в истории буржуазного общества исследователи насчитывают по меньшей мере четыре: 1810—1820, 1866—1877, 1911—1922, 1967—1973 гг. Ареной первого обострения классовой борьбы стала Англия, единственная промышленная страна того времени, остальные, по их мнению, были всеобщими и охватывали весь капиталистический мир (Screpanti 1984; Hopkins, Wallerstein et al. 1979).

Другая попытка обосновать выделение пиков рабочего движения на основе контент-анализа была предпринята Б. Силвер (Silver 1989). В качестве основы для построения показателя интенсивности классовых конфликтов она выбрала данные о публикациях в двух старейших и авторитетнейших газетах западного мира — «Нью-Йорк Таймс» и лондонской «Таймс». Используя имеющиеся справочники, содержащие сведения о количестве и размерах публикаций в указанных газетах по соответствующим темам, Силвер сконструировала несколько индексов интенсивности классовых конфликтов на глобальном уровне.

Судя по оценкам Б. Силвер, всплески рабочего движения наблюдались в 1870—1875, 1914—1920 и 1967—1975 гг., т. е. примерно в те же периоды, которые выделяют Э. Скрепанти и И. Уоллерстайн. К сожалению, ее источники характеризуют сравнительно небольшой исторический период — с конца XIX в. Вызывает некоторые сомнения и степень «независимости» оценок (Б. Силвер была сотрудницей Центра им. Ф. Броделя, возглавляемого И. Уоллерстайном).

Помимо контент-анализа, для проверки гипотезы о циклическости пролетарских движений иногда привлекаются данные о стачках. Нам известно несколько работ, в которых предпринята попытка выделить длинные волны в забастовочном движении (Cronin 1980; Screpanti 1987; Gattei 1989). По оценкам Кронины и Скрепанти, стачечная ак-

социальных доктрин. Точно так же и французы поколения 1789 г., «достигнув зрелости в период Реставрации, проделали путь от сен-симонизма к фурьеризму и коммунизму» (*Manuel, Manuel* 1979, p. 25).

Э. Баталов пишет о «пульсации» утопического сознания, которое на какое-то время утасует, чтобы потом начать биться снова. «Угасание проявляется не столько в уменьшении числа публикуемых утопий, сколько в падении их влияния на общественное сознание, сужении сферы распространения и воздействия утопического сознания» (*Баталов* 1982, с. 25). Впрочем, другие авторы полагают, что и чисто количественные показатели — например, число публикуемых утопических произведений — демонстрируют явно выраженные циклические характеристики (*Drass, Kiser* 1988).

В качестве показателя интенсивности распространения альтернативного сознания в обществе используется два основных критерия: во-первых, степень популярности утопий в обществе, во-вторых, степень активности и распространения альтернативных партий и движений, в частности коммунитарного движения. Так, специалисты по утопиям периода капитализма выделяют по крайней мере четыре своеобразных утопических «бума», когда одновременно резко увеличивается число политических и литературных утопий, появляющихся утопические «бестселлеры», набирают силу основанные на этих идеях социальные движения и социальные эксперименты. Это — 20—30-е и 70—80-е годы XIX и XX вв.⁴³

Многие исследователи отмечают также факт «скоплений» или «всплесков» альтернативных движений. Большинство авторов сходятся и в том, что разные виды таких движений переживали подъемы на одних и тех же исторических отрезках. Однако датировка этих периодов существенно отличается в разных работах:

<i>Barkun</i> 1984	1842—1848	1894—1900	1930-е годы	1970-е годы
<i>Huber</i> 1985	нач. XIX в. (до 1815)	1850—1867/73	1890—1910	1948/52—1967/73
<i>Brand</i> 1987	1815—1848	1896—1913	1920—1930	1967—1974
<i>Friberg</i> 1987	1815—1848	1873—1896	1914—1945	II пол. 1970-х — I пол. 1980-х
<i>Frank, Fuentes</i> 1990		1830-е — 1840-е годы	1890-е — 1910-е годы	1960-е — 1970-е годы

В целом следует признать, что надежность оценок такого типа невелика. Все они опираются на отрывочные, слабо систематизированные данные по феминистским, пацифистским, природоохранным, коммуитарным, контркультурным движениям в отдельных странах Западной Европы и в США. Отметим и еще одно обстоятельство: все исследователи, пытавшиеся датировать подъемы альтернативных движений в XIX—XX вв., знакомы с концепцией циклов Кондратьева. Поэтому нельзя исключить возможность сознательной или бессознательной подгонки имеющихся фактов под схему длинного цикла. Это не противоречит существенным расхождениям в датировках: во-первых, все авторы используют разные датировки самих длинных экономических циклов, во-вторых, у них имеются разные представления о том, на какой фазе длинного цикла происходило оживление альтернативных движений.

Анализ 50—60-летних циклов в общественном сознании отнюдь не ограничивается историей войн и социальных движений. Так, еще В. Парето (*Pareto* 1926 [1902]) рассматривал длинные циклы жизни общества, обусловленные чередованием двух типов элит. В политической сфере эти типы характеризуются Парето как «лисицы» и «львы». Первым присущ, по его мнению, «инстинкт комбинаций» (использование убеждений и обмана, одурачивания масс); вторым — «инстинкт постоянства агрегатов» (агрессивность, авторитарность, напористость, склонность к применению насилия). В области хозяйственной и финансовой деятельности «лисицам» и «львам» соответствуют «спекулянты» и «рантье». Преобладание в обществе «рантье» свидетельствует об экономической стабилизации, переходящей затем в загнивание. Преобладание «спекулянтов» предопределяет динамическое изменение и развитие хозяйственной жизни общества. В свою очередь эти политические и экономические циклы в концепции социального равновесия Парето связаны с циклами «духовного производства» — интеллектуального, религиозного, художественного и т. д. (подробнее см.: *Плотинский* 1992; *Осипова* 1993).

Целый ряд исследований посвящен 50—60-летним циклам общественного сознания в сфере внешней политики⁴⁴. Так, Ф. Клинберг, основываясь на контент-анализе различных внешнеполитических документов (договоров, соглашений, дипломатических посланий

⁴³ См.: *Armytage* 1961; *Kanter* 1972; *Fogarty* 1980; *Drass, Kiser* 1988.

⁴⁴ *Klingberg* 1952, 1970, 1979, 1983; *Holmes* 1985; *Elder, Holmes* 1985.

и т. д.), а также решений Конгресса и Президента США, считает, что во внешней политике США, начиная с 1776 г., проявлялось чередование 20—30-летних периодов «экстравертной» и «интравертной» политики, которые он датирует следующим образом (Klingberg 1952, p. 250; 1970, p. 508):

Интравертная политика	1776—1798	1824—1844	1871—1891	1919—1940	1966/67—...
Экстравертная политика	1798—1824	1844—1871	1891—1918/19	1940—1966/67	

Для экстравертной фазы, по его мнению, характерна готовность использовать прямое дипломатическое, военное или экономическое давление на другие нации для достижения американских целей; для интравертной фазы типично сосредоточение на внутренних проблемах американского общества. Как считает Клинберг, почти все войны, которые вели Соединенные Штаты, приходились на экстравертные фазы внешнеполитического цикла (Klingberg 1979, p. 40). Кроме того, во время экстравертной фазы в отношениях между Президентом и Конгрессом доминирует Президент, а во время интравертной фазы — Конгресс.

В работах Дж. Наменвирта и его ученика Р. Уэбера (Namenwirth 1973; Weber 1981; Namenwirth, Weber 1987) выделяются 50-летние циклы изменения ценностных ориентаций в обществе. Каждый такой цикл состоит, по их мнению, из четырех фаз: «местнической» (parochial), «прогрессивной», «космополитической» и «консервативной». В местнической фазе достигает максимума озабоченность экономическими проблемами; в прогрессивной — (внутри)политической борьбой; в космополитической — международными делами, задачами долгосрочного планирования, проблемами развития техники, образования и т. д.; в консервативной фазе доминирует стремление к авторитарной реставрации прошлых структур и ценностей. Эту схему Наменвирт и Уэбер связывают также с длинными экономическими циклами — по их мнению, периодам максимумов экономической активности соответствуют космополитические настроения в обществе, минимумы экономических циклов совпадают с господством «местнических» настроений.

Датировку циклов общественного сознания Наменвирт и Уэбер проводили на основе контент-анализа текстов партийных программ в США и королевских тронных речей в Англии и получили следующие результаты:

США (Namenwirth 1973)	1812 1788	1860 1836	1908 1884	1956 1932
Великобритания (Weber 1981)	1816 1790	1868 1842	1920 1894	1972 1946

Примечание: в нижнем ряду даются годы максимумов «местнических» настроений, в верхнем ряду — годы максимумов «космополитических» настроений.

В работе немецкого социолога В. Бюля (Buhl 1987) рассматриваются циклы в развитии культуры, понимаемой как социально-обусловленная система постижения мира и образцов поведения. Бюль непосредственно связывает свои циклы с экономическими длинными волнами. Первая фаза — оживление в экономике — характеризуется экспансией «Я», стремлением к самореализации и эмансипации. Для второй фазы — подъема (высокой конъюнктуры) — типичен рост критических настроений в обществе. На фазе спада начинает развиваться стремление к активному терроризму и одновременно пассивному нарциссизму. В фазе депрессии доминирует стремление к покою и безопасности (см.: Плотинский 1992, с. 71).

Ряд исследований, посвященных 50—60-летним циклам общественного сознания, был выполнен российскими учеными — С. Масловым, В. Петровым и др., — уделявшими основное внимание связи периодичности изменений в социокультурной сфере со сменой типов сознания⁴⁵. Условно говоря, общественное сознание, по их мнению, так же как и сознание отдельного индивида, может быть преимущественно «левополушарным» и «правополушарным», отражающим асимметрию человеческого мозга. Для «левополушарного» сознания типичны так называемые аналитические процессы мышления, связанные с расчленением воспринимаемого объекта, выделением в нем

⁴⁵ Маслов 1983; 1986; Петров 1986; 1989; Данилова, Петров 1988; см. также: Плотинский 1992, с. 72–78.

отдельных признаков (к процессам такого рода относится речевая деятельность человека, рефлексия и т. д.). Для «правополушарного» сознания характерны так называемые синтетические процессы мышления, т. е. целостное восприятие объектов, опора на чувства и интуицию.

Предполагается, что в обществе чередуются периоды преимущественно «аналитического» и «синтетического» сознания. Это проявляется, по мнению указанных авторов, в социально-политической жизни и в искусстве (музыке, архитектуре, живописи). Так, в социально-политической сфере для периодов доминирования аналитического начала характерны открытость общества для внешних контактов, преобладание договорных начал, высокий престиж знаний, а для «синтетических» периодов — замкнутость по отношению к окружающему миру, доминирование авторитарного стиля, низкий престиж знаний (Маслов 1983).

В работе Дж. Лангриша (Langrish 1982) рассматривались циклы в социальных ценностях на основе контент-анализа рекламных объявлений в «Journal of Decorative Art» за 1924—1981 гг. Лангриш классифицировал эти объявления по трем группам: устремленные в будущее, ориентированные на прошлое и нейтральные по отношению к времени. Устремленность в будущее соответствует периодам социального и технологического оптимизма, веры в науку, которые совпадают с подъемом длинного экономического цикла. Ориентация на прошлое коррелирует с периодами социального пессимизма, господством антипрогрессистских и антинаучных настроений, которые усиливаются на спаде длинного экономического цикла.

В работе А. Хиршмана (Hirschman 1982) рассматриваются циклы общественного сознания, связанные с чередованием «частных интересов» и «общественной активности». Как отмечает А. Шлезингер-мл., «Хиршман утверждает, что со времени промышленной революции западное общество поочередно устремляет свою заинтересованность то к одной, то к другой из двух расходящихся целей — индивидуальному и общественному счастью. Согласно циклу Хиршмана, общество движется туда-сюда между периодами поглощенности делами частных лиц и периодами занятости общественными проблемами» (Шлезингер 1992 [1986], с. 44).

Примеры подобного рода можно продолжать и дальше, но мы полагаем, что читатель уже получил общее представление о моделях 50—60-летних циклов в историческом развитии общества и его от-

дельных подсистем. Существенно подчеркнуть, что несмотря на многообразие предлагаемых подходов, все исследователи «неэкономических» циклов (военных, политических, социальных, общественного сознания) так или иначе связывают их с длинными экономическими циклами — в качестве ли следствия или причины последних. В любом случае датировка «неэкономических» циклов как правило учитывает датировку экономических, даже если авторы соответствующих работ не признаются в этом открыто.

Наиболее наглядным примером такой «скрытой» датировки является упоминавшаяся работа А. Шлезингера-мл., который формально вообще рассматривает не пятидесяти-, а тридцатилетние циклы. Шлезингер датирует свои циклы «консерватизма—либерализма» следующим образом (Шлезингер 1992 [1986], с. 42—43):

Консерватизм	1812—1829	1841—1861	1869—1901	1919—1931	1947—1962
Либерализм	1829—1841	1861—1869	1901—1919	1931—1947	1962—1978/80

Легко заметить, что если объединить два первых и два последних цикла Шлезингера, то их датировка совпадает с распространенной датировкой пиков экономических циклов Кондратьева: 1812—1869, 1869—1919, 1919—1980. И хотя сам Шлезингер вообще не упоминает о своем знакомстве с работами Кондратьева, совпадение слишком очевидно, чтобы не вызывать сомнений в независимости этих двух концепций.

3. Сто и больше

Широкое распространение в исторических исследованиях получили и циклы продолжительностью 110—120 лет — двойные циклы Кондратьева или циклы четырех поколений. В отличие от 50—60-летних кондратьевских циклов, которые используются в первую очередь в работах по экономической и социальной истории, циклы с периодом 110—120 лет особенно популярны среди специалистов по политической истории.

Как отмечалось в § 1, циклы из четырех поколений первым использовал арабский мыслитель XIV в. Ибн Хальдун. При описании истории различных государств он выделял в каждой правящей династии основателя, продолжателя (сына), имитатора (внука) и разру-

шителя (правнука; *Ибн Хальдун*. Введение). На уровне же социальных поколений эту концепцию первым детально развил итальянский историк Дж. Феррари (*Ferrari* 1874).

Согласно схеме Феррари, 110—120-летний цикл состоит из четырех последовательно сменяющихся поколений:

— первое поколение («предшественники») внимательно изучает и критикует существующий политический и социальный строй;

— второе поколение («революционеры») пытается внедрить в практику результаты академического критицизма «предшественников» путем радикальной и преимущественно насильственной модификации социальных и политических институтов;

— третье поколение («реакционеры») старается нейтрализовать разрушительные действия революционеров, но при этом вызывает столь же сильные крайности и разрушения в обществе;

— четвертое поколение («завершатели») относительно легко и успешно решает проблемы своего времени и устанавливает новый стабильный порядок.

Типичным примером такого цикла, по мнению Феррари, стало установление христианства, длившееся 115 лет (от Диоклетиана до Феодосия). Но наиболее последовательно эта схема была разработана им применительно к истории Франции (см. табл. 4.3), и здесь со всей очевидностью проявляется ее антиисторичность и надуманность⁴⁶.

Особенно широкое распространение схемы 110—120-летних исторических циклов получили после второй мировой войны. Как правило эти работы ограничиваются только анализом истории Нового времени, т. е. строят циклические схемы не ранее, чем с конца XV в. Изменилась и концепция этих циклов — в подавляющем большин-

⁴⁶ Во Франции к поколению «предшественников», по мнению Феррари, относились трубадуры (ок. 1135 г.), миннезингеры и схоласты (ок. 1271 г.), плебеи (ок. 1378 г.), кальвинисты (ок. 1514 г.), картезианцы (ок. 1620 г.), энциклопедисты (ок. 1750 г.). За ними следовали «революционеры» времен Филиппа Красивого (ок. 1285 г.), Бургундского кризиса (1411 г.), религиозных войн (1547 г.), Фронды (1648 г.), Великой революции (1789 г.). К числу «реакционеров» относились поколения 1337—1360 гг., 1453—1498 гг., 1576—1589 гг., 1685—1716 гг., 1814—1848 гг. Наконец, «завершателями» были поколения времен Людовика XII (1498—1515), Генриха IV Французского (1589—1610), периода регентства (с 1716 г.) и Луи Наполеона Бонапарта (с 1851 г.). К сожалению, оригинал работ Феррари нам был недоступен, и мы вынуждены ориентироваться на ее краткое изложение в: *Sorokin* 1937—1941, v. 4, p. 524—525.

стве современных исследований они связываются со сменой стратегических гегемонов в мировом сообществе⁴⁷.

Таблица 4.3.

Хронология 120-летних циклов по Дж. Феррари

«Предшественники»	«Революционеры»	«Реакционеры»	«Завершатели»
1135—????	????—????	????—????	????—1271
1271—1285	1285—1337	1337—1360	1360—1378
1378—1411	1411—1453	1453—1498	1498—1514
1514—1547	1547—1576	1576—1589	1589—1620
1620—1648	1648—1685	1685—1716	1716—1750
1750—1789	1789—1814	1814—1848	1848—1870
1870—????			

Источник: *Ferrari* 1874; цит. по: *Sorokin* 1937—1941, v. 4, p. 524—525

Как и в большинстве других циклических схем исторического развития, общепринятой датировки 110—120-летних «циклов гегемонии» не существует, и каждый автор предлагает свой вариант периодизации. В табл. 4.4 представлены основные из них. Различия в датировках обусловлены двумя факторами: во-первых, разногласиями в установлении периода доминирования или гегемонии той или иной страны, во-вторых, различиями в определении «генеральных» войн.

Прежде всего, по-разному трактуется само понятие «гегемонии» — речь может идти о политическом или экономическом (реже — культурном) господстве. Так, М. Уайт, Дж. Модельски и П. Кеннеди больше внимания уделяют политическим аспектам, И. Уоллерстайн и А. Мэддисон — экономическим, У. Томпсон и Дж. Голдстейн пытаются учитывать обе характеристики.

К этому добавляются трудности объективной оценки или измерения степени господства той или иной страны, различные подходы к определению «мира», в котором эта страна доминирует, и т. д. В

⁴⁷ См., например: *Dehio* 1962 [1948]; *Toynbee* 1934—1961, v. 9 [1954], *Organski* 1958; *Farrar* 1977; *Wight* 1978; *Modelski* 1978; 1979; 1981; 1988; *Hopkins, Wallerstein et al.* 1979; *Maddison* 1982; *Wallerstein* 1983; 1984; *Kennedy* 1987; *Goldstein* 1988; *Kegley, Raymond* 1989; *Thompson* 1989.

Таблица 4.4.

Хронология «циклов гегемонии»

А. Тойнби (Toynbee 1954)	Дж. Модельски (Modelski 1978)	Т. Хопкинз и др. (Hopkins et al. 1979)	А. Мэддисон (Maddison 1982)	И. Уоллерстайн (Wallerstein 1983)
—	Португалия	Империя Габсбургов	—	—
1494—1568 (1494—1523)	1494—1579 (1494—1517)	1450—1575 (?)	—	—
—	Нидерланды	Нидерланды 1	—	Нидерланды 1
1568—1672 (1568—1609)	1579—1688 (1579—1609)	1575—1672 (1575—1590)	—	1618—1672 (1618—1648)
—	Великобритания 1	Нидерланды 2	Нидерланды	Нидерланды 2
1672—1792 (1672—1713)	1688—1792 (1688—1713)	1672—1798 (1672—1700)	1700—1785 —	1672—1792 (?)
—	Великобритания 2	Великобритания	Великобритания	Великобритания
1792—1914 (1792—1815)	1792—1914 (1792—1815)	1798—1897 (1798—1815)	1785—1890 —	1792—1914 (1792—1815)
—	США	США	США	США
1914—..... (1914—1918)	1914—..... (1914—1945)	1897—..... (1897—1920)	1890—..... —	1914—..... (1914—1945)

Примечание: в скобках указаны даты «генеральных» войн.

результате, например, Дж. Модельски считает, что в XVI в. гегемоном была Португалия, а И. Уоллерстайн называет Испанию (империю Габсбургов); Модельски полагает, что в XVIII в. гегемоном уже была Англия, а Уоллерстайн — что им продолжали оставаться, так же как и в XVII в., Нидерланды.

Не меньшие расхождения существуют и по поводу определения «главных» войн, и они связаны, в частности, с «сухопутными» или «морскими» предпочтениями отдельных авторов. Так, А. Тойнби, Дж. Модельски и другие отдают предпочтение войнам на море, таким как Итальянские войны в конце XV — начале XVI в. и война с Испанской армадой в конце XVI — начале XVII в., а И. Уоллерстайн, Дж. Голдстайн и другие выделяют в качестве генеральных войны на суше, и прежде всего Тридцатилетнюю войну 1618—1648 гг.

В рамках концепции 110—120-летних циклов гегемонии многие авторы разрабатывают более детальную периодизацию их отдельных фаз, но здесь единства в определениях и подходах еще меньше, чем при датировке самих циклов гегемонии и разделяющих их «генеральных» войн. В качестве одного из примеров можно указать деление на фазы в схеме Ч. Кегли-мл. и Дж. Рэймонда (Kegley, Raymond 1989):

Гегемон	Великобритания	США
Фаза цикла		
Глобальная война	1801(?)—1815	1914—1946
Мировая держава	1815—1848	1946—1973
Делегитимизация	1848—1873	1973—1980
Деконцентрация	1873—1913	1980—...

Наконец, упомянем о сравнительно небольшой группе работ, авторы которых пытаются анализировать «сверхдлинные» циклы протяженностью 150 и более лет. Например, Ф. Клинберг (Klinberg 1970) рассматривал «цикл фрейдистских настроений»:

Фазы цикла	Настроения	Цикл 1	Цикл 2
Просвещение	Разум	1730—1776	1871—1917/19
Борьба	Власть	1776—1824	1917/19—1966/67
Консолидация	Вера (любовь)	1824—1871	1966/67— ?

Гораздо более обоснованную концепцию предлагает Р. Камерон (Cameron 1973; 1976; 1989), который выделяет в европейской истории несколько больших циклов («логистик») длительностью от 150 до 350 лет, связанных прежде всего с динамикой численности населения. По его мнению, «протологистиками» такого типа описывается, например, история Греции между IX и V вв. до н. э. и Средиземноморского бассейна во времена Рах гомана (50 г. до н. э. — 200 г. н. э.). Первая «нормальная логистика» демографического и экономического роста, по Камерону, началась в IX или X в., достигла максимального ускорения в XII в., замедлилась в XIII в. и резко оборвалась в 1348 г. из-за Великой чумы, в результате которой население Европы уменьшилось более чем на треть. После столетия относительной стагнации начался новый рост населения (примерно в середине XV в.), который достиг максимальных темпов в XVI в., а в XVII в. стал нулевым или даже отрицательным. В середине XVIII в. снова начинается процесс демографического роста, который был прерван войнами XX в. Наконец, после второй мировой войны возникла новая «логистика».

В периоды ускорения демографического роста, как считает Камерон, происходило повышение совокупных доходов, а может быть и душевого дохода. В периоды замедления и стабилизации темпов увеличения населения его положение резко ухудшалось — в первой половине XIV, XVII вв. Некоторые признаки такого ухудшения наблюдались и во второй половине XIX — начале XX в. Конечные периоды всех логистик и фазы последующей депрессии и стагнации оказывались временем социальной напряженности, гражданского неповиновения и наиболее сильных и разрушительных войн. Это же наблюдалось и в первых двух «протологистиках»: Пелопонесские войны привели к кризису полиса, а упадок Рима — к кризису античной цивилизации. Наконец, фазы акселерации сопровождались подъемом интеллектуальной и творческой активности, за которым следовал период расцвета архитектуры (средневековые соборы, барочные дворцы, нео- и псевдоготика XIX в.). Вместе с тем, начало Ренессанса и столетие Галилея, Декарта, Ньютона, Лейбница и Локка пришлись на времена депрессий. Камерон утверждает, что именно в эти периоды возникают «эпохальные нововведения» (по С. Кузнецу), которые дают толчок последующему ускорению роста.

Волны или «логистики» роста численности населения в Европе сопровождались, как считает Камерон, географической экспансией.

В XI—XIII вв. европейская цивилизация разрослась от ядра, находившегося в бассейнах Луары и Рейна, до Британских островов, Иберийского полуострова, Сицилии и южной Италии и дальше в Центральную и Восточную Европу, а в эпоху крестовых походов, пусть и временно, — до Палестины и Восточного Средиземноморья. В конце XV и в XVI в. европейцы проникли в Африку, Индийский океан и Западное полушарие. Наконец, в XIX в., благодаря эмиграции, завоеваниям и аннексиям, Европа установила политическую и экономическую гегемонию во всем мире.

Сходная схема была предложена Ф. Броделем. Наряду с 50-летними кондратьевскими циклами он рассматривал и более длительные периодические колебания, которые именовал «вековыми трендами» (*trend séculaire*). Эти волны датируются им следующим образом (Бродель 1986—1992 [1979], т. 3, с. 73):

Max	1350	1650	1810/17	1973/74
Min	ок. 1250	1507/10	1733/43	1896

Каждый вековой тренд Бродель связывал с расцветом и упадком европейских миров-экономик и перемещением центра этих миров. Центром первого векового тренда была Италия (Венеция, Генуя и другие торговые города), центром второго — сначала Испания и Португалия (Лиссабон), затем Голландия (Антверпен и Амстердам); центром третьего векового тренда была Англия (Лондон). Тем самым схема Броделя близка рассмотренной выше концепции циклов гегемонии.

В описании отдельных фаз вековых трендов у Броделя царит полный сумбур: «Если видишь перед собой вековые подъемы, то определенно понимаешь, что экономика и социальный порядок, культура, государство тогда явно процветают», «но в конечном счете... вековые спады способствовали культурным взрывам или тому, что мы рассматриваем как культурные взрывы. После 1600 г. — цветение итальянской осени в Венеции, Болонье, Риме. После 1815 г. — романтизм, воспламенивший старую Европу». Определение фазы подъема еще больше размывается утверждением, что в эти периоды «наблюдалось снижение реальной заработной платы. Прогресс в верхних сферах и увеличение экономического потенциала оплачивались,

таким образом, страданием массы людей» (Бродель 1986—1992 [1979], т. 3, с. 81, 82, 83).

Путаница с содержательным определением фаз «векового тренда» наглядно отражает условность циклических схем исторического развития, особенно когда речь идет о сверхдлинных циклах, охватывающих несколько столетий. Эту условность хорошо иллюстрируют известные ряды долгосрочной динамики цен и заработной платы в Южной Англии, построенные Э. Фелпс Брауном и Ш. Хопкинз (*Phelps Brown, Hopkins 1955; 1956*) и часто используемые при анализе долгосрочных тенденций экономического развития (в частности, именно на них опирался Ф. Бродель при построении своей схемы). Ряды Фелпс Брауна и Хопкинса, которые мы воспроизводим на рис. 4.3, во-первых, демонстрируют достаточно сложную зависимость между изменениями цен и реальной заработной платы (они могут меняться как синхронно, так и в противофазе). Во-вторых, данная картинка напоминает известные тесты Роршаха, используемые психиатрами: при желании здесь можно усмотреть (или выделить с помощью математических методов) циклы любой продолжительности.

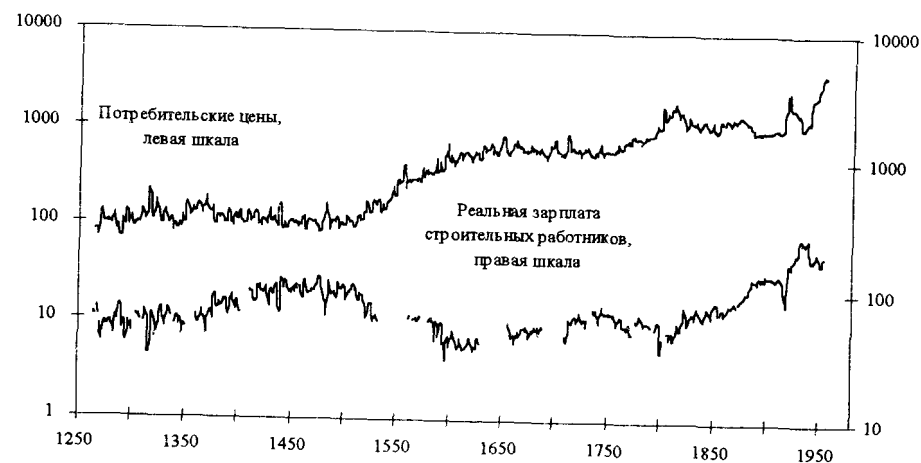


Рисунок 4.3. Цены и реальная заработная плата в Южной Англии, 1451–1475 = 100

Попытка создать синтетическую схему, объединяющую разные концепции «долгосрочных» циклов, была предпринята в работе Дж. Голдстейна (*Goldstein 1988*). Автор пытался одновременно учесть концепции «вековых трендов» Ф. Броделя, «мира-системы» и «ядра — периферии» И. Уоллерстайна, «циклов гегемонии» Дж. Модельски, «генеральных войн» К. Райта и А. Тойнби, о которых мы говорили выше. Кроме того, Дж. Голдстейн использовал идею Ч. Дорана (*Doran 1971*), согласно которой причиной «гегемонистских» войн является вызов действующему, но уже слабеющему гегемону со стороны аутсайдера. При этом сам аутсайдер, бросающий вызов лидеру и по сути развязывающий войну, не становится следующим гегемоном — вакантное место занимает третья держава, не участвовавшая в войне и не понесшая связанных с ней потерь. Наконец, Голдстейн интегрировал также схему Ч. Тилли (*Tilly 1975*), который выделил роль трех мирных договоров (Вестфальского, Венского и Версальского), последовавших за генеральными войнами и оказавших исключительное влияние на формирование новой системы европейских государств. Итоговая модель Голдстейна суммирована в табл. 4.5.

Легко видеть, что Дж. Голдстейн использовал хронологию «вековых трендов» Броделя, одновременно преобразовав их в «циклы гегемонии». Правда, для сохранения броделевской периодизации при этом потребовалось «переместить» генеральные войны с начала «циклов гегемонии» к их конечным (заключительным) периодам. В результате оказывается, что если в большинстве концепций циклов гегемонии генеральные войны открывают новый период, т. е. являются его началом, то в схеме Голдстейна они становятся концом предшествующего цикла гегемонии, т. е. выступают в качестве ее разрушителя.

Попытка «скрестить ежа с ужом» приводит, как и следовало ожидать, к очевидно искусственным построениям. Например, вряд ли можно всерьез говорить о «гегемонии» Венеции в XVI—XVII в., аналогичной гегемонии США в XX в., да и Тридцатилетняя война, завершающая этот цикл, велась отнюдь не с Венецией. Если же говорить о войнах, положивших конец «гегемонии» Венеции, то это скорее могут быть Итальянские войны конца XV — начала XVII в., но это требует построения несколько иной схемы. Великоват оказался и разброс длительностей отдельных циклов: первый, согласно этой схеме, занял 300 лет, второй — 175 лет, третий — 115 лет (это замечание относится и к исходной датировке, предложенной Броделем).

Датировка «глобальных циклов» по Дж. Голдстайну

Период	Исходный гегемон	Потенциальный конкурент	Кульминационная гегемонистская война	Реструктурирующее соглашение	Эволюция мировой системы	Военная эволюция
1350(?)—1648	Венеция	Габсбурги	Тридцатилетняя война 1618—1648	Вестфальский договор 1648	Экспансия периферии; увеличение военного финансирования за счет свободных финансовых ресурсов для консолидации стран, принадлежащих к ядру	Наемнические войны
1648—1815	Нидерланды	Франция	Французские революционные и Наполеоновские войны 1793—1815	Венский конгресс 1815	Баланс сил в ядре; консолидация периферии	Профессиональные войны
1815—1945	Великобритания	Германия	I и II мировые войны 1914—1945	Ялтинское соглашение и др. 1945	Индустриализация; железные дороги и пароходы; дележка оставшейся периферии	Национальные войны
1945—....	США	—	—	—	Сдвиг от Европы к Тихоокеанскому центру; ядерная война, космос; информационная эра	Технологические войны

Источник: Goldstein 1988, p. 285.

лем). Вряд ли можно говорить и о том, что в ходе Французских революционных и Наполеоновских войн Франция бросала вызов Нидерландам — они утратили свою гегемонию задолго до конца XVIII в.

В итоге отчаянная попытка согласовать разные циклические концепции, предпринятая Дж. Голдстайном, оказывается не только наглядной иллюстрацией бесплодности подобных усилий, но и лишний раз демонстрирует условность циклических схем исторического развития.

4. Проблема выбора

Попытаемся подвести некоторые итоги этого поистине бесконечного обзора циклических схем, который утомил читателя, должно быть, так же сильно, как и нас самих.

Прежде всего следует еще раз подчеркнуть, что в целом в XX в. утвердилась идея множественности циклов как в экономике, так и в социальной, политической и культурной жизни. Из этого следует, что вполне правомерно использовать циклы любой продолжительности, — в любом случае циклическое представление есть не более чем условная схема реального исторического процесса. Вопрос лишь в том, насколько удобен тот или иной цикл, насколько удачно вписывается реальное развитие в диктуемую им периодизацию. Ясно, что никакая циклическая схема не может охватить все многообразие реальной жизни, проблема только в удельном весе исключений, не вписывающихся в данную схему.

Заметим, что длительность циклов, анализируемых различными авторами, мало зависит от выбора объясняющего механизма. Так, «космические» циклы могут иметь продолжительность от нескольких месяцев до тысячелетий (когда речь идет о глобальных изменениях земного климата). «Механические» циклы могут быть вообще любой протяженности, и их период зависит только от формулировки модели. «Циклы жизни» варьируются от 3—5-летних для продукта до 1000—1500-летних для культур и цивилизаций. Даже периодичность «цикла поколений» у разных авторов составляет от 25 до 120—130 лет в зависимости от количества поколений, образующих один цикл.

При попытке выяснить, какие периоды наиболее популярны в научной литературе и от чего зависит их выбор, обнаруживается, что длительность используемых для периодизации истории циклов воз-

растает с удлинением рассматриваемого исторического отрезка. Так, в области экономической истории XX в. для периодизации достаточно часто используются деловые циклы НБЭИ продолжительностью около пяти лет (хотя в принципе датировка этих циклов продлена «назад» до начала XVIII в.). По мере углубления в историю начинают шире использоваться циклы Кузнеца или «строительные» циклы с периодом около двадцати лет. Применительно к XVIII—XX вв. весьма часто используются циклы Кондратьева продолжительностью около пятидесяти лет. При углублении в «доиндустриальную» историю XVI—XVII вв. циклы Кондратьева приобретают уже абсолютно доминирующие позиции и к ним прибавляется двойной цикл, равный 110—120 годам (обычно кратный двум циклам Кондратьева). При дальнейшем увеличении рассматриваемого промежутка возникают еще более длинные циклы: так, «вековой тренд» у Ф. Броделя, равный трем циклам Кондратьева, имеет продолжительность около 150 лет.

Аналогичные тенденции просматриваются и в работах по социально-политической и культурной истории. В публикациях начала нашего века, охватывавших период с начала XIX в. (т. е. около 100 лет), еще пользовались популярностью 10—12-летние циклы солнечной активности. Но при удлинении периода до 150—200 лет уже тогда применялись циклы поколений (с периодом 25—30 лет) или двойные циклы поколений (с периодом 50—60 лет), в частности, в работах по истории культуры периода XVIII — начала XX в. При рассмотрении более длинных исторических периодов (протяженностью до 400—500 лет) использовались циклы из четырех поколений длительностью 110—120 лет, а при дальнейшем увеличении исторического периода уже возникали циклы «цивилизаций», «культуры» и т. д. (от 500 до 1000 и более лет).

Для работ, публиковавшихся в 70—90-е годы нашего века и посвященных социально-политической истории конца XVIII—XX вв., т. е. охватывающих примерно 150—200-летний отрезок, наиболее типично использование 50—60-летних циклов (которые в экономике называются циклами Кондратьева, а в других социальных дисциплинах — циклами поколений). При удлинении периода до 400—500 лет (в частности, когда рассматривается история Нового времени, т. е. примерно с начала XVI в.) уже более характерно использование 110—120-летних циклов, по длительности равных четырем поколениям или двум циклам Кондратьева (например, когда речь идет о циклах «генеральных войн» или циклах гегемонии).

В целом можно сделать вывод, что обычно периодичность (длительность) используемых циклов подбирается таким образом, чтобы в рассматриваемом историческом промежутке укладывалось не менее трех и не более пяти циклов. Видимо, если количество циклов меньше трех, это не позволяет делать «убедительных» обобщений, а больше пяти циклов трудно одновременно держать в голове.

При этом можно отметить, что подавляющее большинство исторических работ, анализирующих долгосрочные тенденции, обычно охватывает от 100 до 200—300 лет (см. выше Приложение к гл. 2). Учитывая выявленную нами зависимость длины используемого автором цикла от продолжительности рассматриваемого им исторического периода, неудивительно, что в подавляющем большинстве «циклических» работ по экономической истории используется цикл Кондратьева длительностью 50—60 лет или производные этого цикла, кратные ему (обычно с периодом 110—120 лет). Точно так же и в работах по социальной и политической истории и по истории культуры наиболее распространенным является 50—60-летний цикл смены поколений («отцов и детей») или его производные (110—120-летний цикл «четырех поколений»).

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на очевидную условность многих, если не большинства, циклических схем исторического развития, стремление создавать и воспроизводить их отражает объективную потребность историков в систематизации и упорядочении необычайно многообразного исторического материала. Циклические схемы истории отражают необходимость оперировать некалендарными единицами исторического времени, позволяющими членить его на качественно однородные промежутки.

§ 3. СТАДИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

— Вторая стадия кражи гуся, — холодно заметил Остап. — Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.

И. Ильф и Е. Петров. Золотой теленок

Как отмечалось в главе 3, философские схемы стадияльного развития получили наибольшее распространение во второй половине XVIII — первой половине XIX в. С середины XIX в. ситуация на-

чинает меняться: из чисто философских концепций «всемирной истории» стадияльные схемы превращаются в теоретический инструмент анализа истории развития общества.

В этом новом качестве стадияльные модели сохранили основную идею, заложенную в философских схемах, — идею прогресса, поступательного развития. Именно этим «стадиям» или «этапам» отличаются от исторических «периодов». Стадияльные концепции явно или неявно подразумевают, что каждая следующая стадия превосходит предыдущую по некоторому параметру или их набору. Исторические периоды в этом случае являются не просто качественно различными, но оказываются упорядочены или иерархизированы во времени. Наконец, в отличие от обычных исторических «периодов» различия между стадиями характеризуются по единому критерию.

Еще одно отличие «стадий» от «периодов» состоит в множественности рассматриваемых отрезков времени. «Период» может быть и как правило является изолированным временным отрезком, выделенным по самым разным причинам и критериям (например, в связи с наличием источников за определенный промежуток времени). Стадияльные схемы требуют рассмотрения как минимум двух, а в большинстве случаев нескольких периодов, различающихся по некоторому качественному признаку.

Таким образом, концепция стадий представляет собой одну из наиболее «жестких» моделей исторического развития, неизбежно характеризующуюся значительными упрощениями⁴⁸. Но одновременно стадияльные схемы относятся к относительно немногочисленным попыткам построения теории общественного развития, что придает им несомненную научную ценность.

В принципе, для теоретической характеристики концепции стадии применимо разработанное М. Вебером понятие «идеальных типов», конструирование которых позволяет продемонстрировать систематические связи между разными характеристиками жизни общества (см.: *Weber* 1949).

⁴⁸ Неудовлетворенность очевидной нормативной заданностью стадияльных схем, предлагавшихся в XIX в. и жестко связанных с идеей прогресса, обусловила попытки построения гораздо более размытых концепций в первой половине XX в. Так, в немецкой историко-экономической литературе на смену «хозяйственным ступеням» и «хозяйственным стадиям» пришли «хозяйственные системы» (В. Зомбарт), «хозяйственные стили» (А. Шпитгоф) и, наконец, «хозяйственные порядки» (В. Ойкен), но суть данного подхода осталась неизменной.

Не вдаваясь в детальное обсуждение данной темы, представляющей специальный интерес, ограничимся двумя короткими замечаниями. Не лишне напомнить, что М. Вебер, считая возможным описать последовательность развития с помощью идеальных типов, предупреждал: «Являлся ли исторический процесс развития эмпирически действительно таким, как он выражен в данной конструкции, можно установить с ее помощью в качестве эвристического средства — сравнивая идеальный тип с „фактами“... Такой метод не вызывает сомнений методологического характера до тех пор, пока исследователь отчетливо осознает, что идеально-типическую конструкцию развития, с одной стороны, и историю — с другой, следует четко различать и что в данном случае упомянутая конструкция служила просто средством совершить по заранее обдуманному намерению значимое сведение исторического явления к его действительным причинам, возможное, как нам представляется, при существующем состоянии нашего знания» (*Вебер* 1990 [1904], с. 402—403).

Однако в большинстве предлагаемых схем, как справедливо отмечают некоторые исследователи, стадии скорее выступают как «реальные типы», которые «могут быть получены при помощи совершенно иного подхода, а именно посредством „обобщающей“ абстракции, в противоположность идеальным типам, которые возникают в результате „выделяющей“ или „изолирующей“ абстракции» (*Ойкен* 1996 [1940], с. 312, сн. 13; см. также с. 331, сн. 66).

В 1960-е годы С. Кузнец в ходе полемики с У. Ростоу сформулировал пять требований, которым должны удовлетворять стадияльные схемы:

- 1) стадии должны определяться по таким параметрам (характеристикам), которые могут быть верифицированы или квантифицированы;
- 2) величина этих параметров (характеристик) должна меняться заметным образом при переходе от одной стадии к другой;
- 3) должны существовать показатели, позволяющие судить о завершении одной стадии и наступлении другой;
- 4) необходимо указать пространство или область, к которой приложима данная стадияльная схема;
- 5) последовательная смена стадий должна подчиняться действию некоего механизма, который в идеале должен позволять предсказывать продолжительность новой стадии (цит по: *Maddison* 1982, p. 90).

К этому списку требований, на наш взгляд, необходимо добавить еще два существенных ограничения, которые обычно выпадают из поля зрения исследователей.

Прежде всего, стадии должны определяться на основе однотипного параметра или критерия. Зачастую это требование не соблюдается, и отличие одной стадии от другой формулируется в разных понятийных рядах. Здесь можно привести много примеров — типичным образцом смещения понятийных рядов является схема Кондорсе, о которой говорилось в § 3 главы 3.

Другая важная проблема, которая должна решаться при построении стадийных схем исторического развития, — проблема переходных периодов и «переключателя», обеспечивающего переход от одной стадии к другой. Учитывая, что значительная часть стадийных схем связана с экономическим развитием, в этой главе мы рассмотрим проблему «переходов» на примере экономических стадий (некоторые другие аспекты этой темы мы обсуждали выше, в гл. 2, § 4).

Начиная с работ Л. Вальраса и В. Парето, центральной проблемой экономической науки стала проблема общего равновесия. С этой точки зрения, каждая стадия может рассматриваться как описание экономики, действующей в окрестностях равновесного положения (в более поздних понятиях — находящейся в режиме равновесного или так называемого стационарного роста). Но при этом модели самих стадий оказываются в коренном противоречии с моделями *перехода* от одной стадии к другой. Строго говоря, чисто экономические модели внутримагистрального развития (в которых институциональные параметры предполагаются постоянными) не могут одновременно быть моделями перехода от одной стадии к другой. Смена стадий — это прежде всего смена институциональных условий функционирования экономики.

Пожалуй, первым, кто осознал (хотя бы на интуитивном уровне) и попытался решить эту проблему, был К. Маркс, предложивший стадийную схему развития капиталистического способа производства. В отличие от схемы смены общественно-экономических формаций, которую, как отмечалось в главе 3, ни Маркс, ни Энгельс по существу не разрабатывали, марксова теория стадий капиталистического развития отличается целостностью и непротиворечивостью. Неудивительно, что эта модель оказалась поразительно жизнеспособной и в подавляющем большинстве последующих исследований в этой области так или иначе учитываются ее основные элементы.

Напомним, что в соответствии со схемой Маркса история «капиталистического способа производства» (а по существу речь шла о развитии западной экономической системы) состояла из трех «стационарных» периодов (собственно «стадий») и двух «переходных» периодов между этими стадиями. К стационарным периодам или собственно стадиям относился «торгово-ростовщический» капитализм, существовавший в торговых городах Италии (XIV—XV вв.), аграрный и промышленно-мануфактурный капитализм в Голландии и Англии (середина XVI — конец XVIII в.); «фабричный» капитализм в Англии и других европейских странах (начиная с 1820-х годов). К переходным периодам относилась «аграрная революция» в Англии и «революция в мировой торговле» (конец XIV — середина XVI в.), а также «промышленная революция» в Англии (конец XVIII — начало XIX в.).

Несмотря на очевидные методологические недостатки (в частности, Маркс отталкивался прежде всего от английской истории, но пытался распространить свою схему на всю Западную Европу), эта модель по сей день пользуется большой популярностью. Чуть ниже мы вернемся к обсуждению марксовой схемы и ее эволюции в последующих исторических исследованиях, здесь же подчеркнем теоретическую значимость предложенного Марксом подхода. Во-первых, им впервые была в явном виде сформулирована проблема существования двух типов исторических периодов, которые в современных терминах можно именовать как «стационарные» и «переходные». Тем самым была обозначена (хотя и в неявном виде) качественная неоднородность единиц исторического времени. Во-вторых, переходы от одного стационарного состояния к другому увязывались с воздействием экзогенных или «внесистемных» для данной модели факторов. Проще говоря, переход от одного стационарного состояния экономической системы к другому определяется внеэкономическими факторами — социальными, политическими, культурными и т. д.

В исторической науке вопрос о необходимости использования разных подходов к изучению переходных периодов и периодов равновесия первым поставил Ф. Бродель. Уже в работе, посвященной Средиземноморью, он обрисовал проблему, отметив дисбаланс в тематике исторических исследований. «Мне кажется, — писал Бродель, — что история предстает перед нами как ряд кризисов, между которыми существуют какие-то площадки, эпохи равновесия, о которых историки говорят совершенно недостаточно» (Braudel 1949, p. 1095).

Используя современные представления и терминологию, можно сказать, что стадийные модели исторического развития предпола-

гают выделение периодов стационарного развития отдельных *подсистем* общества (экономической, социальной, политической, культурной), а не стадий развития общества в целом. Каждая стадия характеризуется относительной устойчивостью данной подсистемы, т. е. присущих ей структуры и связей, причем эта устойчивость обеспечивается взаимодействием внутренних, эндогенных для данной подсистемы факторов.

Вместе с тем любая стадияльная схема, наряду с эндогенным механизмом поддержания стационарного состояния внутри каждой стадии, одновременно предполагает наличие принципиально иного механизма *перехода* от одной стадии к другой. Этот переход характеризуется относительно быстрыми и значительными изменениями в соответствующей подсистеме общества и обуславливается действием внешних, экзогенных для нее факторов. Так, если речь идет, например, о стадиях политического развития, то переход от одной стадии к другой может вызываться действием экономических, социальных или культурных факторов, но никак не внутренними изменениями самой политической подсистемы.

1. Типология стадияльных схем

Стадияльные модели исторического развития, не столь многочисленные, как циклические, отличаются тем не менее большим разнообразием (см., например, обзорные работы по экономическим стадиям: *Gras* 1930; *Hoselitz* 1960). Поэтому при построении типологии стадияльных схем целесообразно, на наш взгляд, не ограничиваться каким-то одним классификационным параметром, а попытаться рассмотреть различия между отдельными схемами с разных точек зрения.

Прежде всего, в соответствии с типологией схем «всемирной истории», предложенной в § 3 главы 3, стадияльные схемы исторического развития также можно разделить на две основные группы, различающиеся по методике построения соответствующих моделей.

Схемы, принадлежащие к первой группе, строятся по принципу «диахронизации синхронии», когда каждая страна (нация, регион и т. д.) размещается на некоторой универсальной стадияльной шкале в соответствии с уровнем своего развития. То же относится к прошлому каждой страны: предполагается, что все страны или нации проходят в своем развитии одни и те же стадии.

Особенно широкое распространение исторические схемы, построенные по принципу «синхронизации диахронии», получили в 1950—1960-е годы. Прежде всего речь идет о теориях «индустриализации», «стадий экономического роста», «модернизации» и т. д. В упрощенном виде подобные конструкции также сводились к трем основным стадиям развития общества: доиндустриальной (аграрной, традиционной) — индустриальной (модернизированное общество) — постиндустриальной (информационное, технологическое и т. д. общество).

Конечно, авторские интерпретации этой схемы отличались известным разнообразием, в нее могли встраиваться дополнительные промежуточные стадии или переходные периоды, но в целом указанные концепции можно отнести к одной группе. Их появление явилось реакцией на политическое и экономическое расширение мирового сообщества, вхождение в него бывших колоний, приобретших политическую независимость после второй мировой войны. Возникнув, подобно схемам Варрона и Лукреция, в ответ на текущую ситуацию, эти схемы были распространены на историю развития отдельных стран и регионов.

Второй тип стадияльных схем основан на принципе «выделения ядра». В этом случае схема относится только к определенному региону или группе стран и строится «в режиме реального времени».

Традиция создания стадияльных схем европейской истории была особенно сильна в Германии, начиная с «трех стадий развития закона» Ф. Шеллинга и «четырех стадий развития абсолютного духа» Г. Гегеля. В XIX в. широкую известность получили стадияльные модели представителей немецкой историко-экономической школы: «три стадии развития форм обмена» Б. Гильдебранда, «пять стадий пространственной организации экономики» Г. Шмоллера, «три стадии развития хозяйственных единиц» К. Бюхера и т. д. В начале XX в. «стадияльная» традиция была продолжена К. Лампрехтом, К. Брейзигом, В. Зомбартом, А. Шпитгофом, отчасти М. Вебером, Э. Трельчем и некоторыми другими авторами (см., например: *Трельч* 1994 [1922], гл. 4).

После второй мировой войны проблема стадияльного развития европейского общества (в которое стали включаться США) активно разрабатывалась в работах В. Хоффмана, С. Кузнеця, А. Мэддисона, а также в многочисленных исследованиях представителей французской и американской леворадикальной «школы регулирования» (на этих схемах мы остановимся чуть ниже).

Второй классификационный параметр, по которому можно группировать стадияльные схемы, относится к выбору подсистемы общества, развитие которой анализируется с помощью стадияльной модели. Учитывая, что наибольший интерес к стадияльным схемам традиционно проявляют специалисты по экономической истории, стадияльные модели можно разделить на «экономические» и «неэкономические». К последним относятся стадияльные схемы развития культуры, религии, политической системы, социальных структур и т. д. В свою очередь схемы, относящиеся к одному сектору или подсистеме общества, далее могут различаться по механизмам перехода от одной стадии к другой, т. е. по используемым в данной модели экзогенным факторам смены стадий.

Так, в моделях стадияльного развития экономики в качестве экзогенного фактора наибольшей популярностью пользуются технико-отраслевые параметры. Речь идет о всех факторах, связанных с изменением «производительных сил» общества, переворотами в технике и технологии, — всем, что теперь обозначается аббревиатурой НТП. Например, начиная с К. Маркса экзогенные факторы такого типа используются во всех схемах, выделяющих в качестве переходного периода «промышленную революцию». В XX в. этот подход развивали, в частности, В. Хоффман, А. Гершенкрон, К. Кларк (*Gerschenkron 1952; Hoffmann 1931; 1955; 1958; Clark 1951*).

Первая целостная стадияльная схема экономического развития, использующая в качестве экзогенного параметра научно-технический прогресс, была предложена в 1930-е годы Й. Шумпетером (*Schumpeter 1939*). Выделяя этапы или стадии развития капитализма, Шумпетер акцентировал внимание на процессе внедрения изобретений в производство и смене «лидирующих» отраслей. Так, период 1787—1842 гг. он связывал с развитием текстильной и чугунолитейной промышленности, использованием парового двигателя; 1842—1897 гг. — со строительством железных дорог; период, начавшийся в 1897 г., — с применением электричества, развитием химии и автомобилестроения (см. также: *Kuznets 1940*).

Максимальное воплощение «технико-отраслевой» подход получил в концепции «стадий экономического роста», предложенной У. Ростоу (*Rostow 1960, 1978*). Каждую стадию капитализма Ростоу связывает с развитием определенных отраслей («лидирующих секторов») экономики — сельского хозяйства (традиционное общество), текстильной промышленности (стадия «взлета» — take-off), чугуно-

литейной промышленности (стадия перехода к технологической зрелости или индустриальное общество), автомобилестроением, авиастроением и электроникой (стадия массового потребления), и, наконец, сферой услуг (стадия поиска качества жизни). Кроме того, разным стадиям соответствуют определенные виды энергии — паровая, электрическая, атомная.

Конечно, концепция «стадий экономического роста» не сводится только к определению технико-экономических показателей. Росту пытался учесть и экономические характеристики (прежде всего, изменение нормы накопления), а также политические, идеологические и психологические параметры общественного развития. Однако в основе концепции автора «Некоммунистического манифеста» (подзаголовок книги Росту) лежит, как ни странно, та же логика, которую развивал один из создателей «Коммунистического манифеста» при анализе промышленной революции. Все переходы от одной стадии к другой связаны с развитием пресловутых «производительных сил», т. е. с технологическими и соответствующими им отраслевыми сдвигами в экономике.

Второй наиболее распространенный механизм, применяемый в моделях стадияльного развития экономики, можно условно обозначить как «институциональный». В качестве «переключателя», обеспечивающего переход от одной стадии к другой, здесь выступают институциональные сдвиги в общественной системе: появление новых или модификация функций старых институтов (в том числе государства), изменения в социальной структуре и расстановке классовых сил и т. д.

Один из наиболее известных примеров — определение стадий по формам организации производства, впервые предложенное еще К. Марксом (мануфактура — фабрика). Впрочем, дальше ситуация становится не вполне ясной. Если говорить о формах организации самого производства, то затем следует хорошо известная стадия конвейерного производства или массового поточного производства, которую с 70-х годов XX в. начинает сменять мелкосерийное и штучное производство. Но, на наш взгляд, подобная классификация скорее относится к предшествующему — технико-экономическому — подходу. Более логичным представляется рассмотрение форм организации основной хозяйствующей единицы бизнеса — тогда за фабрикой должна следовать многозаводская (многоотраслевая, диверсифицированная) компания (в состав которой в качестве самостоятельных хозяйствен-

ных единиц могут входить фабрики, заводы, сбытовые конторы и даже отели и казино).

Заметим, что речь идет не только об организации производства, но и о формах собственности, смена которых может рассматриваться в качестве экзогенного институционального параметра. В частности, многозаводской структуре компаний соответствует корпоративная (акционерная) форма организации бизнеса, которая стала интенсивно распространяться в последней трети XIX в. (Chandler 1977).

Другой типичный пример «институционального» подхода к определению стадий представляет концепция «империализма» как особой стадии развития капитализма, разработанная английским экономистом Дж. Гобсоном. В работах Гобсона в качестве критерия, на основе которого выделялись стадии развития капиталистической экономики, использовались типы конкуренции и организации рынков — соответственно, свободная конкуренция и монополистическая конкуренция. В качестве же «переключателя», обусловившего переход от одной стадии к другой, Гобсон выделял внешнеполитические факторы, связанные с международной экспансией ведущих капиталистических стран. Именно «империалистическая внешняя политика» обеспечивала условия для образования крупных компаний и концентрации экономических ресурсов в руках небольшого числа фирм (Гобсон 1898 [1894]; 1918 [1902]).

В. Ленин в популярном очерке «Империализм, как высшая стадия капитализма» (Ленин 1962 [1917]) попытался пересказать работы Гобсона для широкой публики, полностью исказив при этом гобсовскую модель и придав ей совершенно невразумительный характер. В работе Ленина монополистическая конкуренция была подменена «монополией», обозначающей крупную фирму, что сделало характеристики стадий несопоставимыми между собой. В качестве же «переключателя» Ленин выделил процесс концентрации капитала и производства, т. е. экономический фактор, которым и объясняется, по его мнению, возникновение империалистической внешней политики. Именно эту стадиальную схему развития западной экономики в течение многих десятилетий использовали тысячи историков и экономистов в СССР.

После второй мировой войны «марксистские» исследователи (в основном западные, но отчасти и советские) попытались «развить» ленинскую схему, дополнив ее еще одной стадией — «государственно-монополистического капитализма», имея в виду возврат к типологии

стадий по характеру конкуренции и выделяя в качестве «переключателя» внеэкономический фактор — в данном случае, государственную политику. Но исходная несуразность ленинской схемы была столь велика, что даже в этом улучшенном варианте она осталась совершенно непригодной для задач научного анализа.

Институциональные параметры присутствуют и в упоминавшихся выше стадияльных схемах «традиционного—модернизированного» общества. Любопытно отметить, что если в социологических схемах такого типа предлагается «техничко-отраслевой» механизм переключения, то экономисты, наоборот, используют «институциональные» переключатели. Наиболее типичным примером является работа С. Кузнецца, разработавшего по существу стадиальную модель «досовременного» и «современного» типа экономического роста.

По мнению С. Кузнецца, во второй половине XVIII в. начался переход от традиционного к «современному» типу экономического роста. Последний определялся Кузнецом на основе внешне простого критерия, который сводится к тому, что реальный валовой национальный (или внутренний) продукт на душу населения растет в среднем не менее, чем на 1% в год. Но, как показал Кузнец, эта чисто количественная характеристика экономического роста достигается только при совершенно определенных качественных изменениях как в экономике, так и в социально-политических структурах общества (Kuznets 1966).

В экономике к таким изменениям относятся сдвиги в пропорциях использования факторов производства — увеличение затрат капитала и снижение затрат труда. Это в свою очередь ведет к повышению производительности труда. Наконец, в этом процессе существенное значение имеет научно-технический прогресс и повышение качества рабочей силы. Но главную роль в переходе к «современному» типу экономического роста во второй половине XVIII в. сыграли социально-политические изменения в обществе. К важнейшим из них С. Кузнец относил распространение и утверждение в общественном сознании идей секуляризма, эгалитаризма и национализма.

Еще один пример «институционального» подхода к механизму смены стадий можно найти в работе А. Мэддисона «Фазы капиталистического развития» (Maddison 1982). Строго говоря, схема Мэддисона не является стадияльной в точном смысле (поэтому, в частности, он использует термин «фазы», а не «стадии»). Дело в том, что «фазы» развития капиталистической экономики определяются Мэддисоном

по критерию скорости и устойчивости экономического роста и по этому критерию последующая «фаза» не всегда превосходит предыдущую. Но по сути модель Мэддисона близка к стадийным схемам, поскольку в качестве «переключателя», обеспечивающего смену «фаз», автор выделяет прежде всего институциональные факторы, такие как ориентация государственной экономической политики, система международных экономических отношений, институциональные характеристики рынка рабочей силы и т. д. (Maddison 1982, p. 92).

Как и в «технологическом» варианте, мы далеко не исчерпали перечень всех концепций, объясняющих переход от одной стадии к другой с помощью институциональных факторов. Варианты таких институциональных параметров весьма разнообразны: появление новых институтов, изменение форм и методов контроля, сдвиги в сфере властных полномочий и т. д. вплоть до расходов на образование и социальные нужды (Hage et al. 1980).

Если обратиться к «неэкономическим» стадийным схемам развития отдельных подсистем общества, то в них наиболее характерным «переключателем» оказываются экономические или «техно-отраслевые» факторы.

Ярким примером такого подхода является, например, концепция К. Лампрехта, на формирование взглядов которого большое влияние оказала «новая немецкая историко-экономическая школа», с одной стороны, и идеи «психологической истории» В. Вундта — с другой. История немецкого народа рассматривалась Лампрехтом как последовательный ряд определенных социально-психологических эпох: символической (доклассовое общество), типической (раннее Средневековье), конвенциональной (позднее Средневековье), индивидуалистической (период Ренессанса и Просвещения), субъективной (эпоха романтизма), социально-психологической (период промышленной революции; см.: Lamprecht 1896; 1905).

«Каждая из этих ступеней означает определяемое строгими специальными психологическими понятиями духовное состояние коллектива, „диапазон“, из которого можно вывести отдельные моменты мышления, фантазии, нравов, религии, искусства, музыки, настроения и т. д.» (Трельч 1994 [1922], с. 364). При этом двигателем развития, или, в наших терминах, «межстадийным переключателем», Лампрехт считает экономический прогресс.

Примерно такой же, хотя и менее строго формулируемый подход предлагал В. Зомбарт. В его схеме история Запада делится на

четыре стадии: 1) распространение оседлости среди варварских племен; 2) феодализм в раннее Средневековье; 3) городской строй в позднее Средневековье; 4) современный мир как культура капитализма и современного единого государства (Зомбарт 1924—1929 [1902]). Зомбарт «пытается расчленить историю на периоды культуры, толкуя каждый период как „систему“, характеризующуюся определенным „духом“ и „стилем“» (Трельч 1994 [1922], с. 300; см. также с. 641—642). Каждая стадия характеризуется определенной «хозяйственной психологией», а смена стадий определяется экономическим развитием, выступающим в качестве «переключателя».

Типичным современным примером «неэкономических» стадийных схем является так называемая «теория регулирования», которую первым сформулировал французский экономист М. Альетта в середине 70-х годов (Aglietta 1979 [1974]). В 1980-е годы эта концепция и конструируемые на ее основе стадийные схемы обрели широкую популярность как в европейских странах, так и в США, особенно среди представителей марксистских и леворадикальных взглядов⁴⁹.

Между сторонниками «теории регулирования» имеется довольно много разногласий, как концептуальных, так и терминологических. Более того, внутри этого направления даже выделяется несколько самостоятельных «школ» (парижская, гренобльская, голландская, американская). Однако в подходе к стадийным моделям представители этого направления более или менее едины. Несмотря на то, что формально предлагаемые ими схемы провозглашаются «экономическими», в большинстве случаев стадии определяются как периоды с однотипной институциональной структурой, а экономические факторы рассматриваются в качестве «переключателя».

В этом случае каждая стадия отличается прежде всего своими институциональными характеристиками: системой общественных институтов, формами и методами государственного регулирования, характером отношений между наемными работниками и бизнесом и т. д. Так, например, Д. Гордон с соавторами (Gordon et al. 1982, p. 9ff) выделяет три стадии, начиная с 1820-х годов: «начальной пролетаризации» рабочей силы (до последней трети XIX в.); «гомогенизации» рабочей силы (до 1930-х годов) и нынешнюю стадию «сегментации» рабочей силы. Соответственно, переход от одной стадии

⁴⁹ См., например: Boyer 1986; Bernis 1977; Lipietz 1986 [1983]; 1987; Dumenil, Levy 1988; Gordon 1980; Gordon et al. 1982; 1983; Bowles, Edwards 1985.

(«режима регулирования» или «социальной структуры накопления») к другой вызывается изменениями в экономической или социальной подсистеме общества.

К числу «неэкономических» стадийальных концепций можно с некоторой долей условности отнести теорию «модернизации», сторонники которой сосредоточивались на проблеме изменения социальной структуры общества, перехода от «традиционной» к «модернизированной» системе социальных отношений и связей (обзор см. в: Штомпка 1996 [1993], гл. 9). Эта сугубо социологическая концепция возникла как продолжение дискуссий 1960-х годов вокруг концепций индустриализации (в смысле промышленного переворота).

Большинство авторов «модернизационных» концепций использовало схему двух стадий развития социальной структуры, тесно связанную с концепцией промышленного переворота. Дело в том, что традиционная социальная структура ассоциируется прежде всего с аграрной экономикой, а модернизированная социальная структура — с индустриальной (промышленной) экономикой. Тем самым смена стадий социальной подсистемы оказывается связанной с влиянием экономических или даже технико-отраслевых факторов. Дальнейшее продолжение эта модель получила, в частности, в работах Р. Арона, О. Тоффлера, Д. Белла и других известных «апологетов» постиндустриального общества. Во всех этих социологических теориях развития общества в качестве «переключателя», обеспечивающего изменения в социальной подсистеме, рассматриваются экономические или технико-отраслевые факторы, что следует из самого названия стадий: аграрное общество, индустриальное общество, постиндустриальное (информационное и т. д.) общество.

Как справедливо отмечает У. Мур, «хотя авторы, изучающие экономическое развитие, признают, что изменения, сопровождающие модернизацию, являются комплексными и не характеризуются одинаковой последовательностью, в их работах обычно используется сильно упрощенная модель трансформации» (Moore 1963b, p. 41).

В 1960-е годы появились также исследования, в которых разрабатывались стадийальные модели политической истории общества (Rostow 1961; Organski 1965; Black 1966). В этих работах стадии определялись по типу государственной власти и государственной политики, а в качестве «переключателя», обеспечивающего смену стадий, рассматривались экономические и социальные факторы (см.: Flora 1974).

Говоря о типологии стадийальных схем, можно указать и некоторые другие варианты их классификации, показывающие, как изменялись стадийальные модели во времени. В частности, это относится к продолжительности исторического периода, заключенного в рамки стадийальных моделей. Для работ, написанных с середины XVIII до середины XIX в., было характерно стремление к построению стадийальных схем всей истории человечества, что соответствовало христианской традиции. Во второй половине XIX — начале XX в. временной горизонт стадийальных схем в основном сузился до нескольких столетий, начиная с эпохи Возрождения или Нового времени. В XX в. преобладали схемы, охватывающие еще более короткий период — с конца XVIII или с начала XIX в. Хотя, естественно, имеются исключения (например, работа К. Ясперса), в целом тенденция к уменьшению периода, охватываемого стадийальными схемами, проступает весьма отчетливо.

Наконец, стадийальные схемы исторического развития можно условно разделить на преимущественно философские и преимущественно научные. Помимо очевидных различий в характере использования эмпирического материала при построении этих двух типов схем, они отличаются своими темпоральными характеристиками. Философские стадийальные схемы «всемирной истории» строятся для осмысления настоящего, что предполагает построение картины как прошлого, так и будущего. Научные же модели стадийального развития ориентированы на изучение прошлого. В целом можно говорить о доминировании философских стадийальных схем со второй половины XVIII до последней трети XIX в., после чего перевес получают научные модели стадий исторического развития.

2. «Разрывы» истории

Стадийальные схемы, основанные на идее прогресса, подразумевают некое превосходство каждого последующего исторического этапа или стадии над предыдущим хотя бы одному параметру. В этой связи показательно, что исторические стадийальные схемы (в отличие от более общих философских построений) ориентируются прежде всего на опыт Запада (т. е. Западной Европы и стран «переселенческого капитализма» — США, Канады и Австралии). История остальных стран, регионов или цивилизаций, увы, плохо укладывается в стадийальные концепции, что служит основой для все более ши-

роко распространяющихся представлений об уникальности западной цивилизации.

Общим элементом всех стадияльных моделей, как отмечалось выше, является выделение «стационарных» периодов и разделяющих их «разрывов» в истории общества. Сама по себе эта идея отнюдь не нова — она присутствовала уже в древнейших схемах исторической периодизации, о которых шла речь в главе 2. Типичным примером, в частности, можно считать периодизацию истории по годам правления — смена монарха выступает в качестве пункта разрыва истории, а период внутри хронологических рамок правления рассматривается как качественно однородный.

Важным этапом в формировании «стационарно-разрывной» модели исторического процесса стала схема «античность—Средневековье—Возрождение», возникшая в XVI—XVII вв. Европейская история, в сущности, делилась на три качественно разнородных периода, при этом каждый период рассматривался как внутренне однородный. По сути речь шла о дальнейшем развитии идеи существования «стационарных» периодов в истории и разделяющих их разрывов.

Следующий важный этап формирования этой модели был связан с возникновением идеи прогресса и распространением философских концепций стадияльного развития во второй половине XVIII — первой половине XX в. Здесь идея существования «стационарных» периодов и разделяющих их «разрывов» была впервые представлена в систематическом виде и совмещена с концепцией прогресса, постулирующей «превосходство» каждого «стационарного» периода над предыдущим.

Со второй половины XIX в. «стационарно-разрывная» модель начинает фигурировать в исторических исследованиях (см., например: Ранке 1898 [1854]). При этом она используется подавляющим большинством историков, а отнюдь не только авторами стадияльных схем, — последние лишь придают этой модели более строгую и законченную форму. Среди относительно недавних исследований «стационарно-разрывная» модель истории наиболее наглядно представлена в работах представителей структурной истории. Крайним выражением этой концепции можно считать нашумевшую в свое время статью Э. Ле Руа Ладюри «Застывшая история» (Ле Руа Ладюри 1993 [1974]), в которой трехсотлетняя история Франции на протяжении XIV—XVI вв. рассматривается в качестве «стационарного» периода,

причем не просто качественно однородного, но характеризующегося едва ли не полным отсутствием каких бы то ни было изменений в обществе.

Еще одним важным этапом в становлении «стационарно-разрывной» модели исторического процесса стало развитие идеи «разрывов». Наряду с сохранением концепции точечных или моментных разрывов, связанных с конкретными историческими событиями (войны, революции, смена правителей и т. д.), «разрывы» стали трактоваться и как некие исторические периоды, имеющие определенную временную протяженность. В этом случае «разрывы», как отмечалось выше, начинают рассматриваться не как моменты скачкообразных изменений состояния общественной системы, а как переходные периоды между «стационарными» состояниями. «Переходные» периоды оказываются временем интенсивных изменений в обществе.

Заметим, что в контексте общей концепции прогрессивного исторического развития со стадияльной «ступенчатой» моделью успешно конкурирует «эволюционная» модель истории, в которой исторический процесс предстает в виде постоянных постепенных изменений. Эта модель, возникшая в конце XIX в. под влиянием теории биологической эволюции Дарвина, имеет целый ряд несомненных достоинств и во многих случаях лучше соответствует реальному историческому процессу, чем «революционная» стадияльная, или «стационарно-разрывная», концепция. Но эволюционная модель имеет и очевидный недостаток. Она операбельна только в рамках календарного, качественно однородного времени, т. к. не задает никакого способа качественного членения исторического времени.

Поэтому, отдавая должное эволюционной модели, мы не будем останавливаться на ней специально, а сосредоточимся на «революционных» концепциях истории. Особый интерес здесь, на наш взгляд, представляет анализ «переходных» периодов в историческом развитии, отделяющих одно «стационарное» состояние общества от другого.

Первым переходным периодом, привлекающим внимание историков, является переход от Средних веков к Новому времени. Как отмечалось в главе 2, в конце XVII в. Х. Келлер первый поделил всемирную историю на древнюю, среднюю и новую (Cellarius 1685—1698), и в течение последующего столетия эта концепция постепенно утвердилась в историографии⁵⁰. Но лишь в середине XIX в. началось обсужде-

⁵⁰ Напомним, что Х. Келлер в качестве события, разделяющего среднюю и новую историю, выделил захват Константинополя турками в 1453 г.

ние проблемы переходного этапа, пролегающего между двумя качественно различными (но внутренне однородными) периодами истории Запада: Средневековьем и Новым временем. Едва ли не первым автором, предпринявшим попытку обозначить переходный период между средней и новой историей, был Ж. Мишле, который в одном из томов своей многотомной истории Франции выделил в качестве такого переходного периода эпоху Возрождения (Michelet 1833—1867, v. 7).

В качестве целостной исторической модели концепцию переходных исторических периодов разработал К. Маркс в первом томе «Капитала» в рамках своей стадияльной модели развития капитализма (точнее, «капиталистического способа производства», поскольку Маркс еще не использовал термин «капитализм»)⁵¹. Эта схема, включавшая, как отмечалось выше, три «стационарных» — предкапитализм, мануфактурный капитализм и фабричный капитализм — и два «переходных» периода в развитии капитализма — «аграрную революцию» и «промышленную революцию» — стала отправной точкой не утихающей до настоящего времени дискуссии, связанной с выделением и датировкой «переходных» и «стационарных» периодов.

Идея о том, что «переходные» периоды в развитии западного общества приходятся на XVI в. и на конец XVIII — начало XIX в., оказалась поразительно популярной, хотя относительно характерис-

⁵¹ Генезис и эволюция терминов «капитал», «капиталист» и «капитализм» были подробно рассмотрены Ф. Броделем (Бродель 1986—1992 [1979], т. 2, с. 222—230). Согласно его изысканиям, слово «капитал» (от лат. caput, capitis — голова) начало использоваться в XIII в., «капиталист» появляется в XVII в. Термин «капитализм» в современном смысле был впервые употреблен Луи Бланом в 1850 г., а распространение он получил только в начале XX в., после выхода в свет работ Дж. Гобсона «Развитие современного капитализма» (1894) и В. Зомбарта «Современный капитализм» (1902).

В этой связи можно указать на забавное «открытие» Ю. Давыдова, полагающего, что не только понятие, но и сам термин «капитал» были известны еще Платону (Давыдов 1995а, с. 41). Свой вывод Давыдов основывает на обнаружении им слова «капитал» в русском переводе Платона, сделанном в конце прошлого века. Мы вынуждены с сожалением заметить, что Платон хотя и жил в эпоху античности и слыл образованным человеком, но, увы, к стыду своему, не знал латыни... Если же говорить серьезно, то здесь мы имеем дело с ярким примером исторического анахронизма (подробнее об анахронизмах см. ниже, гл. 6, § 1), который был благополучно устранен в современном переводе Платона под редакцией А. Лосева (ср.: Платон. Государство 555е, изд. 1863 и 1994 гг.).

тик и точных хронологических границ этих периодов высказываются самые разные мнения.

Что касается первого периода, то, как полагал Маркс, «пролог переворота, создавшего основу капиталистического способа производства, разыгрался в последнюю треть XV и в первые десятилетия XVI столетия». Первым фактором, обеспечившим переход от предкапитализма к капитализму, была «земледельческая революция, начавшаяся в последней трети XV века и продолжавшаяся в течение почти всего XVI столетия (за исключением последних его десятилетий)...» По мнению Маркса, это была «революция в отношениях земельной собственности», которая «сопровождалась улучшением методов обработки, расширением кооперации, концентрацией средств производства и т. д.» (Маркс 1960—1962 [1867—1894], т. 23, с. 729—730, 753, 755).

Под изменением отношений земельной собственности имеется в виду начавшийся в этот период процесс огораживания и перехода земли из общинной в частную собственность дворянства. Как полагал Маркс, огораживание было вызвано стремлением баронов разводить овец. «Непосредственный толчок к этому в Англии дал расцвет фландрской шерстяной мануфактуры и связанное с ним повышение цен на шерсть». В основе этого в свою очередь лежала «революция мирового рынка», которая «с конца XV столетия уничтожила преобладание Северной Италии...» (Маркс 1960—1962 [1867—1894], т. 23, с. 730, 728, сн. 189). По существу речь идет об экзогенном для экономики факторе: географических открытиях, обеспечивших расширение мировой экономики и вызвавших изменение структуры спроса в Европе (в частности, вывозимое испанцами из Америки золото и серебро обеспечило платежеспособный спрос испанцев на хорошую одежду, основным производителем которой в то время были принадлежавшие Испании Нидерланды).

Кроме того, Маркс упоминает и еще один экзогенный фактор, обеспечивший желание дворянства заниматься «шерстяным» бизнесом. По мнению Маркса, это неожиданно возникшее желание было обусловлено роспуском феодальных (баронских) дружин после окончания войн Алой и Белой Розы при Генрихе VII (1485—1509). Экзогенным фактором в данном случае оказывается война, точнее, ее окончание и переход к мирной жизни.

Научная судьба отдельных компонентов модели Маркса сложилась по-разному. Концепция связи перехода от «феодализма» к «капи-

тализму» с изменением отношений собственности последовательно разрабатывалась в марксистской историографии, но практически не использовалась в западной исторической литературе. Марксова же идея «революции мирового рынка», приписывающая роль «переключателя» великим географическим открытиям, получила более широкое признание. Развитием этого подхода стала концепция «революции цен» конца XV — первой половины XVI вв., которая связывается с притоком испанского золота и серебра в Европу (с 1460 по 1560 г. цены в большинстве европейских стран выросли в 3—4 раза). Этот термин был предложен Э. Гамильтоном (*Hamilton* 1965 [1934]) и довольно прочно укоренился в исторической литературе. Некоторые авторы, разделяя мнение о значимости открытия Америки для возникновения нового этапа экономического развития, само это открытие связывают опять-таки с техническим прогрессом — «навигационной революцией» XV в., «научно-технической революцией» XV—XVI вв. и т. д. (см., например: *Baechler et al.* 1989, p. 9).

Наконец, в контексте одного из направлений ортодоксальной советской историографии марксова «земледельческая революция» превратилась в «аграрную революцию» и стала связываться (по аналогии с последующей «промышленной революцией») не столько с изменением отношений собственности, сколько с техническим прогрессом в сельском хозяйстве (новые методы и инструменты обработки почвы и т. д., что позволило сократить посевные площади при повышении урожайности).

Однако большинство современных европейских историков полагает, что никакого резкого скачка в производительности растениеводства на рубеже XV—XVI вв. не наблюдалось. Вплоть до XIX в. технические и агротехнологические изменения в сельском хозяйстве имели плавный и эволюционный, а отнюдь не скачкообразный характер, что выражалось в медленном постепенном увеличении урожайности сельскохозяйственных культур (см., например: *White* 1962; *Slither van Bath* 1963 и др.)⁵².

⁵² Так, в Европе водяные мельницы начали распространяться уже с VI в., тяжелый плуг — с VII в., трехпольная система земледелия — с VIII в., подкова и новая система упряжи тяглового скота — с IX в. (*Cipolla* 1981 [1976], p. 159—160). Согласно английской переписи 1086 г. (так называемой «Книге Страшного Суда» — *Doomsday Book*) в этот период в Англии насчитывалось уже более 6000 водяных мельниц, т. е. по две на деревню или по одной на 10—30 плугов (*Lennard* 1959, p. 278).

В начале XX в. был предложен качественно новый вариант концепции переходного периода, в соответствии с которым роль «переключателя» сыграла протестантская Реформация XVI в. Это направление связано прежде всего с работами М. Вебера и отчасти Э. Трельча (*Вебер* 1990 [1904—1905]; *Трельч* 1994 [1922]), хотя концепция Трельча сама по себе не может рассматриваться в качестве модели стадияльного «переключателя». Как отмечал сам Вебер, «Трельча больше интересует учение, меня — практическое воздействие религии» (*Вебер* 1990 [1904—1905], с. 108, сн. 1). И когда Трельч пишет, что «конфессиональная эпоха XVI в., продолжающаяся до конца Тридцатилетней войны и до Английской революции, последнего акта великой церковной революции, — это кризис и переходный период» (*Трельч* 1994 [1922], с. 649), речь идет лишь об одном из этапов в развитии европейской культуры, составной частью которой является религия. Для Вебера же Реформация и возникновение протестантской этики выступают в качестве фактора, повлиявшего на иные области жизни западного общества, в частности, на экономическую систему.

Концепция Вебера приобрела колоссальную известность после второй мировой войны. В какой-то период эта концепция стала едва ли не единственной признанной схемой развития западного общества. Дошло до того, что причины быстрого экономического роста Японии в XX в. стали усматривать в родстве синтоизма с протестантизмом, а католические Италия и Франция вычеркивались из списка капиталистических стран. Но со временем возобладала более взвешенная оценка веберовской схемы, признающая ее безусловную научную значимость и одновременно учитывающая ее неизбежную ограниченность и условность как любой теоретической модели исторического развития.

Многообразие теоретических концепций переходного периода между «старым» и «новым» временем дополняется не меньшим разнообразием датировок этого периода. В результате его хронологические рамки расширились примерно до 200 лет (с середины XV до середины XVII в.). Конечно, в большинстве конкретных работ, анализирующих этот переходный период, устанавливаются более узкие хронологические границы — например, 100-летний период с середины XVI до середины XVII в. (см., например: *Ashton* 1965; *Stone* 1965; *Wilson* 1976; *Kiernan* 1980). Не менее часто в качестве переходного рассматривается период, выделенный еще К. Марксом, а именно:

последняя треть XV — первая половина XVI в. В первом случае в качестве границы, отмечающей конец переходного периода, выделяется окончание Тридцатилетней войны или Английская революция; во втором таким рубежом часто выступают даты восшествия на престол Елизаветы I (Тюдор) (1558—1603) или Филиппа II (1556—1598).

Столь же, а может быть даже более успешной, оказалась и марксова концепция второго переходного периода, «промышленной революции», но ее научная судьба сложилась совершенно иначе. Напомним, что термин «промышленная революция» впервые появился в 1820-е годы в работах французских исследователей. Они использовали его, чтобы подчеркнуть важность механизации французской текстильной промышленности, происходившей в то время в Нормандии и в других областях севера Франции, сравнивая значимость этих процессов с политической революцией 1789 г. (см.: *Cameron* 1989, p. 163—164). К истории Англии конца XVIII в. этот термин первым применил французский экономист Адольф Бланки (брат революционера Огюста Бланки), а затем Ф. Энгельс (см.: *Бродель* 1986—1992 [1979], т. 3, с. 553).

Относительно широкую известность термин «промышленная революция» (или «промышленный переворот») получил благодаря К. Марксу, который широко использовал его в первом томе «Капитала» (см.: *Маркс* 1960—1962 [1867—1894], т. 23, с. 383—389, 393—397). При этом Маркс не только перенес, вслед за Бланки и Энгельсом, область приложения термина в пространстве и времени (из Франции 20-х годов XIX в. в Англию второй половины XVIII в.), но и существенно расширил круг событий и процессов, им характеризующихся. Он обозначал им не только механизацию производства, но и переход от мануфактурной формы организации производства к фабричной, развитие машинного производства (в том числе переход к производству машин машинами), возникновение новых, передовых отраслей, становящихся «мотором» развития всей экономики, и, наконец, дополнил технико-экономические характеристики промышленного переворота социальными (образование промышленного пролетариата).

Всеобщее признание концепция «промышленной революции» приобрела, впрочем, лишь благодаря упоминавшейся в главе 2 лекции Арнольда Тойнби-старшего, опубликованной в 1884 г. (*Тойнби* 1924 [1884]). Тойнби рассматривал связь экономического развития и экономической политики в период правления Георга III (1760—

1820), особенно политики «*laissez-faire*», считая ее главной причиной деградации английского рабочего класса.

Концепция «промышленной революции» привлекала и продолжает привлекать внимание огромного количества историков — на эту тему написаны сотни, если не тысячи, статей и монографий⁵³. В подавляющем большинстве современных работ по экономической истории используется все та же концепция «промышленной революции», которая была предложена К. Марксом и в которой главным фактором «революции» был резкий прогресс техники и обусловленное им развитие новых отраслей. Появились работы, демонстрирующие наличие в конце XVIII в. радикальных технологических изменений не только в промышленности, но и в транспорте, сельском хозяйстве и т. д. (см., например: *Chambers, Mingay* 1966; *Bagwell* 1974). Но в целом, при сохранении единства взглядов в отношении механизма «промышленной революции», началось «расползание» ее хронологических рамок.

С одной стороны, стали раздвигаться и размываться хронологические границы «промышленной революции» в Англии, которая служила отправным пунктом для построения данной схемы. В современных работах начало ускорения экономического роста и структурных сдвигов в английской экономике ныне датируется чуть ли не первой третью XVIII в. (см., например: *Crafts* 1985). С другой стороны, благодаря работам В. Хоффмана, А. Гершенкрона, У. Ростоу и С. Кузнецца утвердилось представление о одновременности «промышленной революции» в разных странах, где она датируется как угодно, вплоть до второй половины нашего века (применительно к так называемым «развивающимся» странам). Наконец, возникла концепция «проиндустриализации», которая еще больше раздвинула рамки «промышленной революции». В итоге выделенный Марксом период конца XVIII — начала XIX в. перестал рассматриваться экономическими историками в качестве единого переходного этапа всей западной экономики.

Иная ситуация сложилась в работах по социальной и политической истории. Тезис о принципиальном различии между обществами XVIII и XIX в. был выдвинут довольно давно. В частности, уже в XIX в. широко укоренилось представление о том, что Французская революция конца XVIII в. явилась рубежом, разделяющим разные исторические эпохи. Как отмечалось в главе 2, в прошлом

⁵³ Среди последних работ российских исследователей можно отметить монографию: *Шпотов* 1991.

столетии эта революция получила эпитет «Великая» и стала рассматриваться как начальная граница новейшей истории. Но лишь в 1960-е годы социальные и политические историки стали трактовать конец XVIII — начало XIX в. как «переходный» период.

Акцент в анализе этого периода начал смещаться с технико-отраслевых на социально-политические изменения, связанные с формированием национальных государств, изменениями в социальной и демографической структуре. С особой четкостью новый подход к определению механизма переходного периода конца XVIII — начала XIX в. сформулировал С. Кузнец, который в качестве главных факторов, обеспечивших возникновение западного общества нового типа, выделил распространение и утверждение идей секуляризма, эгалитаризма и национализма. Благодаря концепциям такого рода историки смогли, хотя и не без труда, сохранить представление о наличии общего для большинства европейских стран и США «переходного» периода в конце XVIII — начале XIX в.

В заключение упомянем еще об одном «переходном» периоде европейской или даже мировой истории, который привлекает к себе всеобщее внимание. Речь идет о «переходном» периоде, переживаемом бывшими социалистическими странами. В данном случае термин «переход» (transition) стал едва ли не официально признанным. Эта проблема еще не перешла в ведение историков, она воспринимается не как «прошлое», а как «настоящее». Пока ее разрабатывают экономисты, политологи и социологи, полагающие, что эта проблема не имеет прецедентов, и не обращающие внимания на историю. Отчасти здесь есть элемент истины — до конца 1980-х годов в истории никогда не наблюдался переход от социализма к чему-то еще. Но с методологической точки зрения, накопленный историками опыт изучения «переходных» периодов мог бы оказаться небесполезным и в этом случае.

Как отмечалось выше, концепция переходных периодов соответствует периодам резких изменений в общественной системе. При этом речь идет о переходе от одного «стационарного» или «равновесного» состояния системы к некоему иному «стационарному» состоянию. В явном виде эта идея нашла отражение, в частности, в работах по теории модернизации, в которых «экономическая трансформация» рассматривается как промежуточная фаза трехстадиальной модели социальной трансформации: а) статичная, доиндустриальная стадия; б) динамичная, переходная стадия; в) статичная стадия, наступаю-

щая после промышленной революции» (Moore 1963b, p. 41). Однако, как правило, при обсуждении постсоциалистических «переходных» экономик описывается только система, от которой начинается «переход», но не формулируются в явном виде варианты нового «стационарного» состояния. Последние, как показывает исторический опыт, могут быть самыми разнообразными и вовсе не обязательно должны совпадать с современными «западными» образцами.

3. Стадии и циклы как способы периодизации

Мы уже говорили в главе 3, что фундаментальная философская проблема движения в рамках исторического анализа трансформируется в понятие изменений, составляющих стержень концепции исторического процесса. Там же мы подробно остановились на трех основных типах представлений о формах исторических изменений — прогрессивных, регрессивных и циклических схемах исторического развития. Попытаемся теперь определить, какое место занимают в этом ряду стадиальные схемы исторического процесса и как они соотносятся с представлениями о формах исторического движения.

Как уже отмечалось, активное использование стадиальных схем, равно как и создание новых вариантов «стадий», началось лишь в конце XVIII в., одновременно с утверждением господства прогрессивных концепций исторического развития. Исходя из этого многие исследователи полностью отождествляют стадиальные схемы с концепцией прогресса. На самом деле это не вполне верно и стадиальные схемы представляют собой комбинацию двух моделей исторических изменений — прогрессивной и циклической.

Этот тезис можно проиллюстрировать с помощью нескольких простых графиков, представленных на рис. 4.4⁵⁴. Циклическая модель исторического развития на нашей схеме схематично изображена в виде синусоиды 1, прогрессивной модели в упрощенном случае соответствует прямая линия 2. Если мы сложим эти две траектории, то получим кривую 3, представляющую собой условное изображение комбинированной модели исторического движения, одновременно являющейся и прогрессивной, и циклической. Наконец, легко уви-

⁵⁴ Обсуждение вариантов графического представления траекторий исторического развития см. также в: Hart 1959; Moore 1963b, p. 34—40, Filipcova, Filipc 1986.

деть, что ломаная линия 4, соответствующая стадиальной модели развития, представляет собой не что иное, как упрощенное или стилизованное изображение кривой 3.

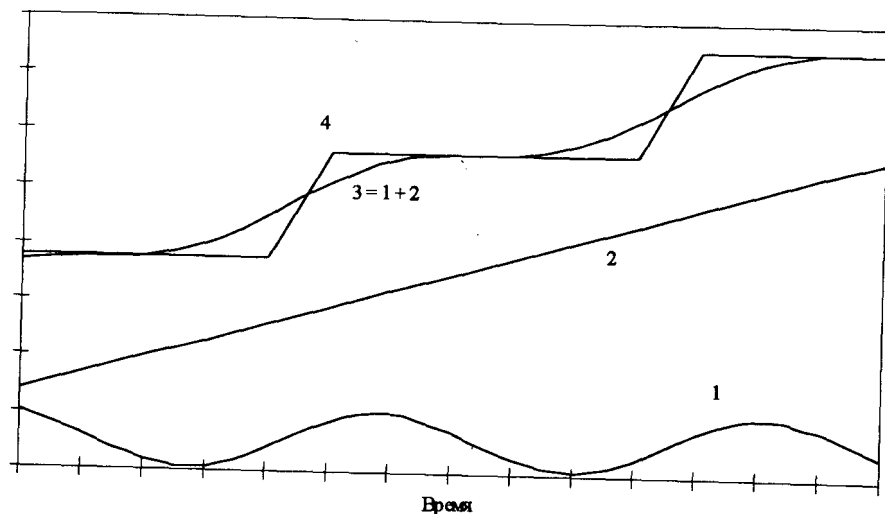


Рисунок 4.4.
Схемы циклической, прогрессивной и стадиальной
моделей развития

Вывод о том, что стадиальные схемы представляют собой комбинацию циклической и прогрессивной моделей исторического развития, основан, естественно, не на приведенной картинке, а на содержательных соображениях, связанных с проблемой исторического времени.

Прежде всего, как циклы, так и стадии представляют собой единицы исторического времени, а не просто исторические периоды или отрезки истории. Это различие проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, период может быть один, а циклов или стадий обязательно должно быть несколько. Во-вторых, в отличие от периодов, которые могут определяться как угодно и какими угодно событиями, исторические стадии и циклы всегда определяются на основе единого критерия. В-третьих, стадии и циклы, в отличие от периодов, являются не только качественно, но и количественно однородными:

как правило, календарная длительность стадий в стадиальных схемах и период циклов в циклических примерно одинаковы или по крайней мере имеют однопорядковую величину (проще говоря, длительность одной стадии не может быть в сто или даже в десять раз больше, чем другой).

Связь стадиальных схем с циклическими проявляется и на уровне периодизации. Идея использования исторических циклов для выделения и датировки стадий общественного развития, конечно, не нова и проводилась прежде всего самими авторами, разрабатывавшими циклические и стадиальные модели исторического развития. В других же случаях совпадение датировок в «циклических» и «стадиальных» моделях, принадлежащих разным исследователям, заставляет делать вывод о близости этих двух способов конструирования единиц исторического времени.

Применительно к 50–60-летним циклам традиция рассмотрения их в качестве стадий развития экономики была заложена еще Й. Шумпетером, который дал каждому из длинных циклов эпохи капитализма собственное название, характеризующее его как отдельный этап развития хозяйственной системы (Schumpeter 1939)⁵⁵. Первый цикл он назвал «кондратьевский цикл промышленной революции» (1787–1842 гг.), второй — «буржуазный кондратьевский цикл» (1842–1897), третий — «неомеркантилистский кондратьевский цикл» (1897–...). Каждый цикл, по мнению Шумпетера, соответствовал определенному этапу (стадии) развития экономики и был связан с появлением новой «лидирующей» отрасли.

В 1950-е годы известный немецкий специалист по экономической истории В. Хоффманн (Hoffmann 1958) высказал гипотезу о том, что 50-летние циклы связаны с процессами индустриализации в разных странах. По его мнению, в цикле 1770–1820 гг. индустриализация (этот термин Хоффманн использует как синоним промышленного переворота) происходила в Великобритании, США и Швейцарии. В цикле 1821–1860 гг. началась индустриализация Бельгии, Франции, Германии, Австрии, России и Швеции. Наконец, в цикле, датированном им 1861–1920 гг., индустриализация происходила в Италии, Нидерландах, Дании и Греции, Канаде, Японии, Венгрии, Индии, Южной Америке, Бразилии, Мексике, Чили, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии, Китае.

⁵⁵ В явном виде эта схема была изложена не самим Й. Шумпетером, а С. Кузнецом (Kuznets 1940) на основе консультаций с Шумпетером.

Дальнейшее развитие этот подход получил в работах У. Ростоу (см., например: Rostow 1978). Каждому длинному циклу (точнее, каждой фазе в рамках двухфазного цикла), по его мнению, соответствует переход определенной группы стран к следующей стадии экономического роста (смена которых связана в первую очередь опять-таки с развитием производительных сил). В табл. 4.6 мы попытались суммировать оценки Ростоу, с одной оговоркой: как известно, его периодизационная схема существенно расходится со всеми остальными в XX в. (см. табл. П.4.2). Поэтому период 1936—1951 гг., который Ростоу считает повышательной фазой, мы присоединили к понижающей фазе 1913/20—1936 гг., а период 1951—1972 гг. рассматриваем как повышательную фазу.

Еще одним примером прямого сопряжения 50-летних циклов со стадиями исторического развития являются работы представителей «теории регулирования» и ее американского варианта — концепции «социальных структур накопления». По их мнению, новая институциональная структура («тип» или «режим регулирования» или «социальная структура накопления») возникает в нижней точке 50-летнего цикла и создает условия для интенсивного накопления и высоких темпов экономического роста. Постепенно накопление начинает наталкиваться на границы существующей институциональной структуры, в результате чего темпы накопления и экономического роста снижаются. Противоречие постепенно обостряется, разрешаясь в конце очередного длинного цикла путем создания новой институциональной структуры. Каждый длинный цикл является, таким образом, стадией развития капитализма (Gordon et al. 1982, p. 27—32).

В фазе «депрессии» длинного цикла, как считают авторы этой концепции, происходят изменения не только в базисе капиталистической системы хозяйства, но существенно меняется социальная и политическая структура общества («структурный кризис»), его институциональные характеристики. В результате на новом уровне устанавливается соответствие между производительными силами и производственными отношениями, изменяется структура производства, совершенствуется процесс труда, трансформируется состав рабочей силы и надстроечная система регулирования трудовых отношений (Coombs 1984; Gordon et al. 1983).

Рассматривая проблему совмещения стадийных и циклических моделей периодизации исторического развития, необходимо остановиться на одном внешне сугубо техническом вопросе: как следует

Таблица 4.6.

Циклы Кондратьева и стадии экономического роста (по У. Ростоу)

Фазы длинных циклов	Стадия «взлета»	Переход к технологической зрелости	Начало стадии массового потребления
A. 1790—1815	Великобритания	—	—
B. 1815—1848	США (северо-восток)	Великобритания	—
A. 1848—1873	США (север), Франция, Германия	Великобритания	—
B. 1873—1896	Швеция	Великобритания, США, Франция, Германия	—
A. 1896—1913/20	Япония, Россия, Италия, Канада, Австралия	Великобритания, США, Франция, Германия, Швеция	—
B1. 1913/20—1936	—	Япония, СССР, Италия, Канада, Австралия	США, Великобритания, Франция, Германия, Швеция
B2. 1936—1951	Аргентина, Турция, Бразилия, Мексика	—	Австралия, Канада
A. 1951—1972	Иран, Индия, Китай, Тайвань, Таиланд, Южная Корея	Аргентина, Бразилия, Турция, Мексика, Тайвань, Индия, Китай, Таиланд	Япония, Италия, СССР
B. 1972—...	?	?	?

Составлено по: Rostow 1978.

датировать циклы — по верхним или нижним поворотным точкам? Это, казалось бы, мелкое различие оказывается весьма существенным. Применительно к 50-летним экономическим циклам ситуация осложняется тем, что не вполне ясно, определять ли ту или иную «поворотную точку» длинного цикла как «верхнюю» или как «нижнюю», — определение, как было показано в предыдущем параграфе, зависит от того, на какой конкретный показатель мы ориентируемся: абсолютный уровень цен или темпы прироста производства.

Для ответа на этот вопрос попробуем обратиться к социально-политической истории и посмотрим, на какие «поворотные точки» 50-летнего цикла в основном приходятся крупнейшие политические события европейской и американской истории (см. табл. 4.7). Первый набор событий соответствует периодам циклических максимумов абсолютного уровня цен и минимумов в динамике темпов прироста производства; второй набор соответствует циклическим минимумам абсолютного уровня цен и максимумам темпов прироста производства (см. табл. П.4.2).

Насыщенность первого ряда крупнейшими событиями мировой (главным образом европейской) политической истории, происходившими параллельно в ряде ведущих стран мира, склоняет нас к тому, что в качестве границ, отделяющих одну стадию от другой, логичнее использовать периоды максимумов абсолютного уровня цен и, соответственно, минимумов темпов роста производства. Это: середина 1760-х годов (для США — 70-е годы XVIII в.); начало 1810-х годов; конец 1860-х — начало 1870-х годов; конец 1910-х — начало 1920-х годов; середина 1940-х годов (промежуточный пик) и последний период — конец 1980-х — начало 1990-х годов.

Эта периодизация, полученная на основе «циклической» модели, примерно совпадает с наиболее распространенной датировкой стадий или «фаз» развития капитализма. Существенно, что она используется в работах, авторы которых или не являются сторонниками концепции 50-летних исторических циклов, или даже открыто провозглашают себя ее противниками. К числу последних принадлежит, например, А. Мэддисон, который, однако, датирует свои «фазы» развития капитализма 1820—1870 гг., 1870—1913 гг. и 1913—1973 гг. (с подфазами 1913—1950 и 1950—1973 гг.; см.: Maddison 1982, p. 91).

Применимость приведенной нами датировки для периодизации европейской истории подтверждается широким использованием отдельных выделенных выше исторических периодов в качестве само-

Таблица 4.7.
Верхние и нижние поворотные точки 50-летних циклов

а) Вариант 1		
Период	Европа	США
Середина 1760-х — середина 1770-х годов	Завершение Семилетней войны	Образование США и Война за независимость
Первая половина 1810-х годов	Окончание Наполеоновских войн	
Вторая половина 1860-х — начало 1870-х годов	Образование Германской империи; Франко-прусская война; Парижская коммуна;	Гражданская война и отмена рабства; (революция Мейдзи в Японии)
Вторая половина 1910-х — начало 1920-х годов	Первая мировая война; Революция в России; Революция в Германии	
[Середина 1940-х годов	Вторая мировая война]	
Вторая половина 1980-х — начало 1990-х годов	Крах социалистической системы; Объединение Германии; Распад СССР	
б) Вариант 2		
Период	Европа	США
Конец 1780-х — начало 1790-х годов	Французская революция	?
Конец 1830-х — начало 1840-х годов	?	?
Конец 1880-х — 1890-е годы	?	?
[Начало 1930-х годов	Фашизм в Германии и Италии	Новый курс]
Середина 1960-х годов	Студенческие волнения	

стоятельного объекта изучения. В частности, как было показано в главе 2, в исторических исследованиях хронологические рамки XIX в. обычно не совпадают с рубежами столетий и датируются 1815—1913/14 гг. В этих хронологических границах «девятнадцатый век» делится, судя по экономико-историческим работам, на два основных периода: 1815—1870 гг. и 1870—1913/14 гг.⁵⁶

Мы уделили больше внимания взаимодействию 50-летних циклических и стадияльных моделей лишь в силу их наибольшей распространенности и разработанности. Возможности аналогичного совмещения двух типов периодизации исторического развития отчетливо проявляются и при исследовании более длительных периодов.

В частности, попытки совмещения циклических и стадияльных моделей периодизации истории нередко встречаются в работах, посвященных 110—120-летним циклам гегемонии, о которых шла речь в предыдущем параграфе. Напомним, что в соответствии с этой концепцией в ходе каждого цикла сначала происходит завоевание позиций новым мировым лидером, затем следует фаза расцвета и, наконец, упадка и постепенной утраты данной страной своего лидирующего положения. Иногда дополнительно предполагается, что один цикл отделяют от другого крупные («генеральные») войны. Связь этой циклической модели со стадияльными схемами часто проявляется даже на уровне терминологии: вместо термина «циклы» используется термин «стадии гегемонии» (stages of hegemony; подробнее см.: Goldstein 1988).

Наконец, примером совмещения циклической и стадияльной периодизации можно считать долговременные «логистики» Р. Камерона и даже «вековые тренды» Ф. Броделя. В частности, «логистическая» схема исторического развития, предложенная Р. Камероном, как раз и изображается кривой 3 на нашем рисунке 4.4. Ф. Бродель в свою очередь считал, что «вершины» выделяемых им «вековых трендов» (1350, 1650, 1817, 1974 гг.) «соответствуют знаменательным разрывам в истории европейских миров-экономик» (Бродель 1986—1992 [1979], т. 3, с. 74) и совпадают с началом качественно новых этапов или периодов развития капитализма.

⁵⁶ Хронологические рамки 1815—1913/14 гг. используются, например, в: Clapham 1953; Gille 1968; Romani 1968; Kitchen 1978; и др.; период 1815—1870 гг. в: Albion 1939; Bondi 1958; Pollard 1974; Tilly 1966; Platt, 1984; и др.; период 1870—1913/14 гг. в: Feis, 1930; Cairncross 1953; Saul 1960; Desai 1968; Hall 1968; McCloskey 1973; Lewis 1978; и др.

* * *

Приведенный анализ стадияльных схем исторического развития свидетельствует о том, что потенциал их еще далеко не исчерпан. Осознавая всю условность и упрощенность стадияльных концепций, тем не менее можно утверждать, что они являются одним из немногих имеющихся на сегодняшний день в распоряжении историков способов системного структурирования исторического времени. Важным направлением развития стадияльных моделей периодизации исторического процесса может стать их дальнейшая интеграция с циклическими схемами развития общества.

Одна из главных проблем, с которой сталкивается историк при построении стадияльных моделей, связана с традиционным конфликтом исторической синхронии и диахронии. Общие стадияльные схемы, описывающие развитие европейского или западного общества в целом, основаны на не слишком реалистичном предположении о синхронности исторических процессов во всех странах и регионах, включаемых в понятие «Запада». Между тем диахронные стадияльные модели, отталкивающиеся от опыта развития отдельных стран и регионов и пытающиеся привести его к единому знаменателю, разрушают целостное представление об историческом процессе.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

ДАТИРОВКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

Датировка деловых циклов
а) XVIII в.

Великобритания		США		Франция		Германия	
min	max	min	max	min	max	min	max
1700	1701						
1702	1704						
1706	1708						
1712	1714						
1716	1717/18						
1722	1724/25						
1727	1728						
1730	1733						
1734	1738						
1742	1743						
1746	1746						
1748	1751						
1755	1761						
1763	1764						
1769	1771/72						
1775	1777						
1781	1783						
1784	1787						
1789	1792	1790					
1793	1796		1796				
1797	1802	1799	1802				
4,9	5,1						
1,8	1,7						

б) XIX в.

Великобритания		США		Франция		Германия	
min	max	min	max	min	max	min	max
1803	1806	1804	1807				
1808	1810	1810	1812				
1811	1815	1812	1815				
1816	1818	1821	1822				
1819	1825	1823	1825				
1826	1828	1826	1828				
1829	1831	1829	1833				
1832	1836	1834	1836	1831	1836		
1837	1839	1838	1839	1837	1838		
1842	1845	1843	1845	1839	1846		
		1846	1847				
1848	1854	1848	1853	1848	1853		1852
1855	1857	1855	1856	1854	1857	1855	1857
1858	1860	1858	1860	1858	1864	1858	1860
1862	1866	1861	1864	1865	1866	1861	1863
1868		1867	1869	1868	1869	1866	1869
	1873	1870	1873	1871	1873	1870	1872
				1876	1878		
1879	1883	1878	1882	1879	1882	1878	1882
1886		1885	1887	1887		1886	
	1890	1888	1890		1890		1890
		1891	1892				
1894		1894	1895	1894		1894	
	1900	1896	1899		1900		1900
5,4	5,4	4,2	4,2	5,3	5,3	5,6	6,0
2,1	2,5	2,1	1,7	2,3	2,6	2,4	3,0

в) Первая половина XX в.

Великобритания		США		Франция		Германия	
min	max	min	max	min	max	min	max
1901	1903	1900	1903	1902	1903	1902	1903
1904	1907	1904	1907	1904	1907	1904	1907
1908	1913	1908	1910	1908	1913	1908	1913
1914	1917	1914	1918	1914	1917	1914	1917
1919	1920	1919	1920	1918	1920	1919	1922
1921	1924	1921	1923	1921	1924	1923	1925
1926	1927	1924	1926	1925	1926	1926	
1928	1929	1927	1929	1927	1930		1929
1932	1937	1932	1937	1932	1933	1932	
1938		1938	1944	1938			
4,4	4,1	3,8	4,1	4,0	3,7	4,8	4,1
1,7	1,8	1,7	1,9	1,8	1,1	1,9	1,1

г) Вторая половина XX в.

Великобритания		США		Франция		Германия	
min	max	min	max	min	max	min	max
			07.1948				02.1951
	03.1951	10.1949	03.1951				
08.1952	12.1955	07.1952	03.1953		08.1957	02.1954	10.1955
11.1958	03.1961	08.1954	02.1957	08.1959	02.1964	04.1959	02.1961
02.1963	02.1966	04.1958	02.1960		06.1965	02.1963	05.1965
08.1967	06.1969	02.1961	05.1962	06.1965	06.1966	08.1967	05.1970
02.1972	06.1973	10.1964	06.1966	05.1968	11.1969	12.1971	08.1973
08.1975	06.1979	10.1967	03.1969	11.1971	05.1974	05.1975	02.1980
06.1983		11.1970	03.1973	06.1975	08.1979	07.1983	
		03.1975	12.1978				
		12.1982					
5,1	4,7			4,0	4,4	4,3	4,4
1,6	0,9	3,9	3,8	1,3	1,6	1,7	1,1
		1,6	1,1				

Примечание: в предпоследней строке каждого раздела таблицы приведены средние продолжительности циклов в годах; в последней строке — среднеквадратичное отклонение.

Источники:

Великобритания: 1700—1792 — Ashton 1959; 1792—1848 — Gayer et al. 1953, v. 1; 1848—1854 — Huges 1960; 1854—1938 — Burns, Mitchell 1946; 1950—1982 — Moore, Zarnovitz 1986; месячные данные с 1792 г.

США: 1790—1854 — Thorp 1926; 1854—1938 — Burns, Mitchell 1946; 1938—1982 — Moore, Zarnovitz 1986; месячные данные с 1854 г.

Франция: 1831—1848 — Crouzet 1970; 1848—1938 — Burns, Mitchell 1946; 1950—1982 — Moore, Zarnovitz 1986; месячные данные с 1865 г.

Германия: 1850—1866 — Hoffmann et al. 1965; 1866—1932 — Burns, Mitchell 1946; 1950—1982 — Moore, Zarnovitz 1986; месячные данные с 1879 г.

Датировка циклов Кондратьева

а) XIII-XIV вв.

Англия, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1271	1294	1316/18	1340/41	1366
Франция, цены (абс.)	Imbert 1959	—	1286	1313/16	1335/38	1349/70

б) XIV-XV вв.

Англия, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1365/66	1390/91	1417/22	1458/59	1481/82
Франция, цены (абс.)	Imbert 1959	1349/70	1380/86	1421/39	1450/70	1482/83
	Савельева, Полетаев	—	—	(1425)	1456	1480
Нидерланды, цены (абс.)	Metz 1984	1360	1384	1435	1465	1487

Примечание: в этих и последующих разделах таблицы в каждой строчке в верхнем ряду указаны даты циклических максимумов, в нижнем — минимумов соответствующего показателя.

в) XVI в.

Англия, цены (абс.)	Imbert 1959	1480/90	1507	1530	1540	1556/58	1569/71	1597
	Савельева, Полетаев	1482/81	1499	1511	1531/36	1555/60	1577/79	1595/03
Франция, цены (абс.)	Imbert 1959	1482/83	1509/10	1530	1539	—	—	1595
	Baehrel 1961	—	1507	1536	—	—	1564	1594
	Савельева, Полетаев	1480	1502	1527	—	—	1562	1590
Франция, производство с/х (абс.)	Metz 1984	1487	1509	1527	1542/44	1557/63	1574	1592/93
	Baehrel 1961	—	—	—	—	—	1570	1593/95
Германия, цены (абс.)	Imbert 1959	—	1505	1535	1546	1570	1580	1590
	Ebeling, Irsigler 1976	1491	1510	—	—	—	—	1586
	Metz 1984	1494	1518	1534	—	—	1569	1591
	Савельева, Полетаев	—	—	1534	—	—	1562	1588
Нидерланды, цены (абс.)	Metz 1984	1487	1505	1523	—	—	1565	1586
Испания, цены (абс.)	Imbert 1959	—	1510	1530	1540/55	1562	1594	1601/05
Европа, цены (абс.)	Бродель 1986 1992 [1979]	1483	1509	1529	1539	1559	1575	1595

Англия, цены (абс.)	<i>Imbert</i> 1959	1597	1617/20	1649	1685/88	1710
	<i>Савельева, Полетаев</i>	1595/03	1620/25	1650/53	1675/82	1710/11
Франция, цены (абс.)	<i>Imbert</i> 1959	1595	1612	1650	1671	1712
	<i>Baehrel</i> 1961	1594	1625	1655	1689	1725
	<i>Савельева, Полетаев</i>	1590	1617	1652	1680	1711
	<i>Baehrel</i> 1961	1593/95	1623/25	1660	1680	1725/28
Франция, производство (абс.)	<i>Metz</i> 1984	1593	1614	1651	1693	1712
	<i>Imbert</i> 1959	1590	1605	1620	1670	1700
Германия, цены (абс.)	<i>Ebeling, Irsigler</i> 1976	1586	1620	1642	1668	1698
	<i>Metz</i> 1984	1591	1612	1636	1678	1703
	<i>Савельева, Полетаев</i>	1588	1612	1637	1669	1702
	<i>Metz</i> 1984	1595	1619	1642	1663	1714
Германия, производство	<i>Metz</i> 1984	1586	1608	1648	1679	1705
	<i>Савельева, Полетаев</i>	—	1611	1654	1680	1705
Нидерланды, цены (абс.)	<i>Mauro</i> 1964	1590	1620	1640	1690	1720
	<i>Бродель</i> 1992 [1979]	1595	1621	1650	—	—

Англия, цены (абс.)	<i>Imbert</i> 1959	1710	1732/43	1760?	1786/89	1810
	<i>Frank</i> 1978	1720	1747	1762	1790	—
	<i>Савельева, Полетаев</i>	1704/11	1737/41	1757/63	1782/85	1807/11
производство (абс.)	<i>Савельева, Полетаев</i>	(1705)	1734	1747	—	—
производство (темпы)	<i>Савельева, Полетаев</i>	—	—	1764	1788	1811
Франция, цены (абс.)	<i>Imbert</i> 1959	1712	1733	1770?	1787	1817
	<i>Савельева, Полетаев</i>	1711	1746	1772	—	—
Франция, производство с/х (абс.)	<i>Baehrel</i> 1961	1725/28	1744/48	1765/69	1780/82	1725/28
	<i>Metz</i> 1984	1712	1730/49	1772	—	—
Германия, цены (абс.)	<i>Imbert</i> 1959	1700	1720/30	1765?	1792	1808
	<i>Ebeling, Irsigler</i> 1976	1698	1736	1770	1785	—
	<i>Metz</i> 1984	1703	1724	1762	1780	—
	<i>Савельева, Полетаев</i>	1702	1732	1761/63	—	—
производство с/х (абс.)	<i>Metz</i> 1984	1714	1736	1761	—	—
Нидерланды, цены (абс.)	<i>Metz</i> 1984	1705	1725	1768	1784	—
	<i>Савельева, Полетаев</i>	1705	1732	1770	—	—

д) XVIII—XIX вв. (продолжение)

Швеция, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	—	1739/57	1762/70	1788/99	1814/29
Италия, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1702/05	1726/31	1748/59	1776/89	1804/16
Испания, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1715/20	1732/39	1751/53	1775	—
США, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	—	1737	1757	1782	1809
Европа	Wagemann 1931	1720	1730	1763	1790	1815
	Mauro 1964	1720	1730	1775	1792	1815

е) XIX—XX вв.

Европа цены (абс.)	Gelderen 1913	—	1850	1873	1895	1911
	Wolff 1924	1825	1850	1873	1894	1913
	Кондратьев 1925; 1989 [1928]	1810/17	1844/51	1870/75	1890/94	1914/20
	Ciriacy- Wantrup 1936	1815	1842	1873	1895	1913
	Schumpeter 1939	1813	1844	1869	1897	1925
	Dupriez 1947	1808/14	1846/51	1872/73	1895/96	1920
	Mandel 1975 [1973]; 1980	—	1847	1873	1893	1913
	Amin 1975	—	1850	1870	1890	1914
	Rostow 1978	1815	1848	1873	1896	1920
	Hartman, Wheeler 1979	1810/17	1844/51	1864/74	1894/98	1914/20
	Kuczynski 1980	—	1850	1866	1896	1913
	Duijn 1983 [1979]	1802/15	1845	1866/73	1892	1913/20
	Cleary, Hobbs 1983	1815	1840	1865	1895	1920
	Roon 1986	—	—	1869/79	1893/1903	1911/20
	Kleinknecht 1987	—	1847	1873	1893	1913
	Goldstein 1988	1814	1848	1872	1893	1917

ж) XIX-XX вв.

Англия, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1809	1838	1870	1895	1920
производство (темпы)	Савельева, Полетаев	1811	1835/54	1872	1889/94	1911/18
Франция, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1812	1837	1872	1897	1920/26
Германия, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1809	1835	1866/73	1896/98	1923
производство (темпы)	Савельева, Полетаев	—	1856	1873	1893	1922
Швеция, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1814/29	1838/50	1865/72	1891/96	1920
производство (темпы)	Савельева, Полетаев	—	—	1870	1892	1916
США, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1815	1841	1868	1894	1919
производство (темпы)	Савельева, Полетаев	1812	1836	1861/75	1896	1922

478

з) XX в.

Европа	Dupriez 1947	1920	1939	—	—	—
	Mandel 1975 [1973]; 1980	1913	1939/48	1967	—	—
	Amin 1975	1914	1948	1967	—	—
	Rostow 1978	1920	1935	1951	1972	—
	Hartman, Wheeler 1979	1914/20	1930/35	—	—	—
	Kuczynski 1980	1913	1951	1969	—	—
	Duijn 1983 [1979]	1913/20	1948	1966	—	—
	Cleary, Hobbs 1983	1920	1930	1980	—	—
	Roon 1986	1911/21	1936/49	1966/73	—	—
	Kleinknecht 1987	1913	1939	1974	—	—
	Goldstein 1988	1917	1940	1980	—	—

Циклы и стабильность

479

и) XX в.

Англия, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1920	1934/64	1985/90	—	—
производство (темпы)	Савельева, Полетаев	1918/23	1947/52	1985	—	—
Франция, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1920/26	1933/62	1985/90	—	—
производство (темпы)	Савельева, Полетаев	1932	1956	1980	—	—
Германия, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1923	1940/69	1985/90	—	—
производство (темпы)	Савельева, Полетаев	1922/32	1957	1983	—	—
Швеция, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1920	1935/64	1985/90	—	—
производство (темпы)	Савельева, Полетаев	1916/35	1956/62	1986	—	—
США, цены (абс.)	Савельева, Полетаев	1919	1935/63	1985/90	—	—
производство (темпы)	Савельева, Полетаев	1919/25	1946/47	1974/75	—	—

ГЛАВА ПЯТАЯ
ИСТОРИЯ ВРЕМЕНИ

*Имеется 14 видов суеверий согласно тро-
якого рода прорицаний. Первый из них про-
исходит путем явного призывания демонов.
Второй — путем молчаливого созерцания
положения или движения предметов, как,
например, звезд, дней, часов и т. д. Третий —
путем созерцания поступков человека, для
выявления чего-нибудь сокровенного.*

*Я. Шпренгер, Г. Инститорис.
Молот ведьм I, 16*

Данная глава посвящена представлениям о времени, складывающимся в сознании действующих в обществе субъектов. Эта тема не была обойдена вниманием историков, но вместе с тем она все же не получила пока комплексного освещения. В работах, посвященных истории представлений о времени, обычно исследуются лишь отдельные аспекты темпорального сознания или конкретный исторический период, либо делается попытка описать сознание «в целом» (в последнем случае обычно подчеркивается именно смешанный характер темпорального сознания). Но «прежде чем объединиться, надо решительно размежеваться», — чтобы исследовать целое, необходимо сначала определить его составляющие. Набор элементов темпорального сознания достаточно устойчив во времени и в социальном пространстве, хотя их конкретная форма может варьироваться. Исходя из этого, мы сочли целесообразным вначале хотя бы кратко остановиться на основных теоретических посылах анализа представлений о времени, разработанных в разных социальных науках.

Изучение «социального времени» или «времени действующего», т. е. восприятия, ощущения и представлений о времени действующих в обществе субъектов, а также роли этих представлений в формировании и структурировании социальных интеракций, началось по существу лишь в конце XIX в. Однако несмотря на сравнительно небольшой срок, прошедший с момента появления первых исследований в этой области, к сегодняшнему дню в разработке проблемы

социального времени достигнут значительный прогресс. Она заняла почетное место во всех общественных науках; утвердилось представление о времени как об одном из наиболее значимых факторов общественной жизни.

И хотя, например, социологи еще не так давно сетовали на то, что проблема времени не получает должного внимания со стороны социологической теории (см., например: Moore 1963c; Lüscher 1974), эти сетования выглядят как своего рода научное кокетство. На самом деле гораздо труднее найти мало-мальски известного социолога-теоретика, который бы не писал о времени и не учитывал роль этого параметра в социальной жизни. Не меньшее значение имеет время и в экономической теории, в исследованиях по психологии (как индивидуальной, так и социальной), в культурной, или социальной, антропологии и даже в существующей только в России науке — «культурологии».

В подтверждение сказанному достаточно назвать имена лишь некоторых наиболее известных обществоведов, внесших вклад в изучение проблемы времени действующих в обществе субъектов. Например, в психологии эту тему разрабатывали У. Джеймс, З. Фрейд, К. Юнг, П. Жане, Е. Минковский, К. Левин, Ж. Пиаже; в этнологии — Р. Кодрингтон, Т. Ходсон, М. Нильсон, Б. Малиновский, Э. Эванс-Притчард, К. Леви-Стросс; в экономике — Е. Бем-Баверк, А. Маршалл, К. Викселль, Л. фон Мизес, И. Фишер, Г. Мюрдаль, Ф. Найт, Дж. М. Кейнс, Дж. Хикс, Дж. Шэкль; в социологии — А. Юбер, Э. Дюркгейм, М. Вебер, М. Хальбвакс, П. Сорокин, Дж. Мид, А. Шюц, Н. Элиас, Ж. Гурвич, И. Гоффман, У. Мур. Детальный анализ этих классических исследований, равно как и современной литературы по проблеме времени действующих в обществе субъектов выходит за рамки нашей работы, поэтому здесь мы ограничимся краткими библиографическими списками наиболее значимых публикаций в названных дисциплинах¹.

¹ **Психология:** James 1919 [1890]; Джеймс 1911 [1896]; Freud 1930; Jung 1923; Sturt 1925; Janet 1928; Minkovski 1933; Levin 1942; Piaget 1969 [1946]; Элькин 1962; Fraisse 1963; Cohen 1967; Ornstein 1969; Ананьев, Айрапетьянц 1969; Gorman, Weissman 1977; Melges 1982; Edlund 1986; Flaherty 1987; обзоры см. в: Denzin 1982; Sharron 1982; Flaherty 1986; Jahoda 1988; обширную библиографию см. в: Riskin 1987.

Этнология: Codrington 1891; Hodson 1908; Nilsson 1920; Kroeber 1923; Malinowski 1990 [1926—1927]; Coolidge, Coolidge 1930; Hallowell 1937; Evans-Prichard 1939; 1940; Whorf 1956; Wax 1962; Bourdieu 1990 [1963]; Leach 1954; 1966; Geertz 1973; Booth 1975;

Тем не менее мы попытаемся определить основные направления исследований времени действующего и соответствующие концептуальные тезисы, выдвинутые в социальных науках, которые существенны для исторического анализа этой темы.

Первое направление связано с изучением процесса формирования представлений о времени у действующих в обществе субъектов. В рамках второго направления время анализируется в качестве социального смысла, т. е. как часть общественной системы, структурирующая социальные интеракции. Речь идет о конкретных видах и формах темпорального сознания, образах и представлениях о времени. Наконец, третье направление исследует влияние представлений о времени на поведение действующих субъектов.

Во всех трех направлениях можно выделить несколько базовых характеристик времени действующего, принципиальных для нашего исследования. Прежде всего, как отмечалось в § 3 гл. 1, к настоящему моменту большинство обществоведов исходит из посылки о том, что понятие времени зависит от придаваемого ему смысла (значения) и при любых условиях предполагает некое видение, представление о времени, независимо от той конкретной символической формы, которую оно имеет в разных культурах. В частности, еще в начале нашего века французский социолог А. Юбер определил время как символическую структуру, которая выражает организацию общества через временные ритмы (Hubert 1905; Hubert, Mauss 1909; см. также: Isambert 1979).

Iutovich et al. 1979; Wendorff 1980; Howe 1981; Burman 1981; Fabian 1983; Bender, Wellbery 1991.

Экономика: Бем-Баверк 1909 [1884]; 1992 [1886]; Böhm-Bawerk 1959 [1889]; Маршалл 1983—1984 [1890]; Wicksell 1954 [1883]; 1965 [1898]; 1935 [1901]; Landry 1904; Mises 1953 [1912]; Fisher 1930 [1907]; 1923; Knight 1921; Haym 1994 [1921]; Opie 1931; Кейнс 1978 [1936]; Lihndal 1939; Myrdal 1939 [1934]; Hood 1948; Shackle 1958; 1961; 1965; 1972; Machlup 1958; Lachmann 1959; Беккер 1996 [1965]; Morgenstern 1972; Hicks 1976; обзоры см. в: Shackle 1958; 1965; O'Driscoll, Rizzo 1985, ch. 4; Currie, Steedman 1990.

Социология: Hubert 1905; Hubert, Mauss 1909; Durkheim 1947 [1912]; Weber 1978 [1921]; Вебер 1990 [1921]; Halbwachs 1925; 1950; Mead 1934; 1938; Sorokin, Merton 1937; Sorokin 1964 [1943]; Schütz 1967 [1932]; Schütz 1962; Schütz, Luckmann 1975; Moore 1963a; 1963b; 1963c; Gurvitch 1964 [1963]; Foucault 1977 [1975]; Goffman 1972; Jaques 1982; Elias 1984; Giddens 1981; 1984; Hägerstrand 1985; обзоры см. в: Heirich 1964; Martins 1974; Bergmann 1983; Pronovost 1986; Adam 1988; Hassard 1990; Фомичев 1993, см. также специальные выпуски: International Social Sciences Journal, 1986, v. 38, no. (107), Sociological Quarterly, 1987, v. 28, no. 3; L'homme et la société, 1988, v. 22, no. 4 (90).

Символически выраженное время всегда формулируется (конструируется) коллективно, и представления о нем являются продуктом коллективного сознания. Этот тезис впервые выдвинул в конце прошлого века американский психолог У. Джеймс, отстаивавший принцип социальной обусловленности психологии индивида, в том числе и восприятия времени (*James* 1919 [1890]; *Джемс* 1911 [1896]). Законченную форму эта идея приобрела в работах Э. Дюркгейма, который особо подчеркивал, что время является продуктом коллективного (группового) сознания — социальной категорией мышления, творением общества, объектом коллективных представлений (*Durkheim* 1947 [1912]; см. также: *Katovich* 1987).

Этнологические исследования (служившие, в частности, основой для концепций Юбера и Дюркгейма) демонстрируют примеры необычайно разнообразных форм представлений о времени и знаковых систем его выражения: календарей самого причудливого вида, недель разной длины, неординарного структурирования времени суток, фантазмагорических мифологических образов времени у разных племен и народов. Иными словами, существует колоссальное разнообразие возможных типов представлений о времени и знаковых символов самого времени. Это позволяет говорить о том, что представления о времени как продукт коллективного сознания являются не только социально, но и культурно обусловленными (впервые это положение было сформулировано П. Сорокиным — см.: *Sorokin, Merton* 1937; *Sorokin* 1964 [1943]).

Перечисленные базовые характеристики социального времени (его символический характер, коллективная основа формирования представлений о времени и их культурная обусловленность) были выделены на основе этнологических исследований, относившихся к обществам со слабо дифференцированной структурой. Применительно к таким обществам можно говорить о наличии единого социального времени (единых коллективных представлений, соответствующих культуре данного общества). В более сложных обществах с развитой социальной дифференциацией существует не одно, а целый набор социальных времен или комплексов представлений о времени.

Одним из первых идею о взаимосвязи социальной структуризации с различными типами восприятия времени выдвинул выходец из России французский социолог Жорж (Георгий) Гурвич (*Gurvitch* 1964 [1963]). Опираясь на работы в области психологии восприятия времени, в частности на труды швейцарского психолога Ж. Пиаже,

Гурвич предложил типологию восьми видов времени действующих в обществе субъектов: длящееся, обманчивое, неустойчивое, циклическое, замедленное, переменное, идущее вперед, взрывчатое. Соответственно, общество может быть структурировано по группам, характеризующимся доминированием одного из восьми перечисленных типов восприятия времени.

Практически одновременно с выходом в свет работы Гурвича аналогичная идея была обоснована в работе Л. и Р. Козеров (*Coser, Coser* 1963). Они выделили четыре типа социального поведения: индивидуалистическое и активное; коллективное и активное; коллективное и пассивное; индивидуалистическое и пассивное. По их мнению, принадлежность к определенному социальному типу определяет и соответствующее отношение к (представление о) времени: 1) конформистское; 2) ориентированное на будущее [в том числе а) индивидуальное; б) коллективное (утопическое)]; 3) хилиастическое (например, детское восприятие или восприятие времени в концентрационном лагере); 4) гедонистическое (жить сегодняшним днем). Каждый тип восприятия времени соответствующим образом определяет социальную активность.

Следует отметить, что тезис о безусловно коллективном характере представлений о времени вступает в противоречие с посылкой об индивидуальности человеческого сознания, в том числе и темпорального. Эту посылку, в частности, отстаивают в социологии представители символического интеракционизма, основоположником которого был Дж. Мид (*Mead* 1934; 1938; см. также: *Tillman* 1970), и феноменологического подхода, становление которого связано с именем А. Шюца (*Schütz* 1967 [1932]; 1962; *Schütz, Luckmann* 1975). Об индивидуальности восприятия и представлений о времени свидетельствуют и результаты многочисленных исследований в области индивидуальной психологии и психоанализа.

Это внешнее противоречие между «институциональным» и «индивидуальным» временем обычно разрешается следующим образом. Каждый индивид может рассматриваться как участник не одной, а множества социальных групп — семьи, соседской общности, производственного коллектива, культурной страты и т. д. вплоть до общества в целом. Соответственно, индивидуальное восприятие и видение времени являются собой смесь различных коллективных представлений, причем итоговый результат этого смешения в значитель-

ной мере зависит от конкретных обстоятельств (в том числе и качеств конкретной личности) и подвержен постоянным изменениям.

В частности, уже упоминавшийся Ж. Гурвич одним из первых сформулировал различие между «микросоциальным временем», характерным для групп и небольших общностей, и «макросоциальными временами», присущими социальным системам и институтам, причем каждый индивид одновременно существует и в микро-, и в макросоциальном времени (Gurvitch 1964 [1963]; см. также: Cottle, Klineberg 1974). В работе Дж. Льюиса и Э. Вайгерта (Lewis, Weigart 1981) выделяются три типа социального времени: «организационное время», «время взаимодействия» и «личное время». Все индивиды одновременно существуют в каждом из трех времен, но влияние трех типов времени на социальные интеракции иерархизировано в указанной последовательности (т. е. организационное время наиболее значимо).

И здесь мы переходим к вопросу о влиянии времени на социальное поведение. Время как часть социальной системы, как некая сумма коллективных представлений является фактором, воздействующим на поведение индивидов и определяющим процесс социальных интеракций. В социологии основы этого подхода были сформулированы еще Э. Дюркгеймом (Durkheim 1947 [1912]). В соответствии с его теорией органической солидарности социальное время как продукт коллективного сознания подчиняет себе время (а тем самым и действия) отдельных индивидов, входящих в данное сообщество. Социальное действие структурируется во времени в форме моральных обязательств и взаимных услуг. Временные условия, задаваемые рутинными процедурами и обрядовыми ритуалами, обеспечивают координацию социальных действий (подробнее см.: Katovich 1987).

Позднее эта тема была развита в работах П. Сорокина (Sorokin, Merton 1937; Sorokin 1964 [1943]), который попытался конкретизировать роль представлений о времени в общественной жизни. Он считал, что оценка событий зависит от их времяположения в той или иной структуре восприятия времени, и первым показал, что время (временная шкала, структура) само структурирует социальную активность. В частности, Сорокин выделял такие функции «социокультурного времени», как синхронизация и координация социокультурных явлений, а также организация временной структуры, позволяющей ориентироваться во времени (Sorokin 1964 [1943], p. 171—172).

У. Мур (Moore 1963a), развивая идеи Сорокина, выделил три составляющие социального времени: последовательность, синхрониза-

ция и темп (скорость). Последовательность является важным элементом социального структурирования общества — например, в установлении приоритетности событий («деньги вперед»); она также может характеризовать социальную иерархию и дистанцию (кто первым здоровается или кто после кого ест). Синхронизация относится к необходимости одновременных действий, координации человеческой деятельности, тогда как последовательность связана с упорядочением этих действий. Наконец, темп или скорость описывает и задает частоту (интенсивность) событий в определенный период времени.

Роль времени как параметра социальных взаимодействий анализировалась представителями самых разных социальных дисциплин и научных школ — от социолога Говарда Беккера, чьи исследования посвящены теории действия (Becker 1968 [1950]), до экономиста Гэри Беккера, в работах которого обсуждается проблема аллокации времени (Беккер 1996 [1965]). А, например, Э. Холл (Hall 1959; 1983) рассматривает время в качестве языка, полагая, что именно в этом своем качестве оно выступает главным организатором человеческой деятельности, воздействующим на культуру и социальную организацию.

Ниже мы более подробно остановимся на некоторых концепциях, посвященных влиянию времени на поведение действующих. Здесь же лишь отметим, что рассмотрение времени как параметра, структурирующего социальную реальность, отнюдь не подразумевает однозначную трактовку социального времени только как продукта коллективных представлений, но позволяет учитывать и роль индивидуального темпорального сознания действующих.

Этот тезис удачно сформулирован, например, в работе Т. Лукмана (Luckmann 1991), посвященной проблеме синхронизации социальных действий. Отталкиваясь от существования «внутреннего времени» (inner time) индивида, Лукман полагает, что координация социальных интеракций может достигаться двумя способами. Во-первых, при синхронизации двух потоков сознания, в частности, при взаимодействии «лицом к лицу». Во-вторых, при наложении социально объективированных темпоральных категорий на конкретные социальные интеракции. Возможны также комбинации двух типов координации. В частности, как считает Лукман, «время повседневной жизни является социализированным интересубъективным временем» (Luckmann 1991, p. 157). Но одновременно темпоральные категории социально объективны, они формируются в процессе социальных взаимодействий и затем становятся их регулятором и синхронизатором.

Итак, исследования времени действующего позволяют говорить о его индивидуальной субъективности, с одной стороны, и социальной объективированности — с другой. Темпоральные представления действующих могут быть удивительно разнообразными и индивидуализированными. Но вместе с тем многие базовые представления о времени, его течении и структуре являются продуктами коллективного сознания, т. е. они социально обусловлены. Коллективные представления о времени, раз возникнув, начинают восприниматься индивидами как данность, задаваемая извне. И именно групповой характер темпоральных представлений позволяет синхронизировать социальные интеракции и обеспечивает относительно жесткое структурирование системы социального действия.

Переходя к собственно историческому анализу времени действующего, отметим, что проблема времени как значимого параметра социальной жизни или как социального смысла затрагивается во многих исторических исследованиях. При этом она рассматривается с самых разных точек зрения в контексте различных исторических направлений. Прежде всего, это так называемая «история ментальности» (подробнее см.: Шкуратов 1992; 1994), но не только: проблема социального времени — его измерения, структурирования, оценки, использования и т. д. — находит отражение и в истории науки и техники, истории быта и повседневности, социальной истории в целом и истории рабочего движения в частности, истории Церкви, истории семьи, экономической истории и т. д.

В данной главе мы попытаемся кратко суммировать основные подходы и результаты исторических исследований по проблемам социального времени, не претендуя, естественно, на сколько-нибудь полное и детальное изложение всего написанного в этой области (см. также обзорные работы: Thrift 1990 [1980]; 1988, и приведенную в них библиографию). Мы также попытаемся выделить некоторые дискуссионные темы, которые, на наш взгляд, нуждаются в дальнейшей разработке. Но прежде необходимо сделать еще несколько предварительных замечаний, касающихся источников сведений об истории социального времени.

Источники, которые мы имеем в виду, многообразны. К ним относятся как предметы материальной культуры (от крепостных сооружений, отражающих представления их создателей о будущем, до устройств табельного учета на фабричных проходных), так и произведения художественной культуры — искусства, кино, литерату-

ры². Особое место занимают многочисленные письменные источники (в том числе и фиксирующие устную традицию). Главная проблема связана с их интерпретацией в качестве свидетельств бытования тех или иных темпоральных представлений.

Как отмечалось выше, представления о времени хотя и являются продуктом коллективного сознания, вместе с тем отличаются высокой степенью социальной и культурной дифференциации (исключая лишь самые примитивные общества). Более того, представления о времени одновременно являются достаточно сильно индивидуализированными. Тем самым в рамках данной темы более остро, чем в других областях исторических исследований, встает проблема оценки степени репрезентативности, универсальности используемых исторических сведений.

Какие представления о времени являются «типичными» для той или иной эпохи, а какие отражают индивидуальные представления той или другой личности? К сожалению, ответы на эти вопросы как правило сводятся только к двум крайним вариантам. В одном случае представления о времени, например, Св. Августина, относятся к истории индивидуальных идей, а представления, зафиксированные в какой-нибудь саге, или эпосе, считаются выражением массового темпорального сознания. В другом случае утверждается, что идеи Августина были восприняты и повторялись тысячами мыслителей, т. е. должны рассматриваться как вполне репрезентативные для эпохи Средневековья, а представления о времени, зафиксированные в саге, могли в существенной мере отражать индивидуальную фантазию одного из ее сказителей.

Эта проблема, с которой мы столкнулись при анализе истории представлений о времени, носит до некоторой степени общий характер и не имеет однозначного решения в исторических исследованиях. В некоторых случаях история идей как продуктов индивидуального сознания выносится за рамки исторической науки: так, историей философских концепций обычно занимаются философы, историей экономической мысли — экономисты, историей изобретений — инженеры и т. д. В других областях истории активно участвуют в изучении истории идей — например, политических. По мнению некоторых исследователей, «социальное изменение всегда

² Представления о времени в художественной литературе рассматриваются, например, в: Meyerhoff 1955.

следует понимать в диалектической взаимосвязи с историей идей» (Бергер, Лукман 1995 [1966], с. 209).

На наш взгляд, здесь требуется взвешенный подход: история идей включается в сферу исторического анализа как его полноправный элемент, но при этом обязательно учитывается степень репрезентативности идей как характеристик умонастроений той или иной эпохи. В этой связи вспоминается сцена из повести В. Шукшина «До третьих петухов», где описывается разговор в библиотеке оживших литературных персонажей: «Только не делайте, пожалуйста, вид, — с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье <Муромцу> и к казаку, — что только вы одни из народа. Мы тоже — народ» (Шукшин 1982, с. 363).

Итак, мы будем говорить об истории представлений о времени и, в частности, рассмотрим механизм формирования этих представлений, их конкретные формы и символические значения, а также влияние, оказываемое ими на социальные действия и интеракции. Сложность и многообразие темы заставляют нас ограничиться обсуждением двух наиболее крупных комплексов представлений, которые можно условно обозначить как структурно-функциональные и темпоральные. К первому относятся представления о структуре времени и его использовании, ко второму — представления о прошлом и будущем.

§ 1. СТРУКТУРИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

— Если бы ты знала Время так же хорошо, как я, — сказал Шляпник, — ты бы не говорила, что оно тратится. Время — он.

Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес

История структурирования и использования времени тесно связана с проблемой существования двух типов времени — природного и социального. Надо сказать, что в литературе, посвященной анализу времени действующих в обществе субъектов, эта тема формально не была обойдена вниманием. Но по существу в предлагаемых концепциях проблема взаимодействия социального и природного времени почти не обсуждалась.

Так, в известной статье П. Сорокина и Р. Мертона (Sorokin, Merton 1937), которая считается пионерской в этой области, были выделены два типа времени: «астрономическое» (календарное время или «время часов») и «социокультурное» (представляющее собой «социальный смысл»). Однако на самом деле здесь шла речь о двух образах времени, которые мы рассматривали в главе 1, обозначая их как «Время-1» и «Время-2». Об этом свидетельствуют, в частности, те характеристики, которые Сорокин дал «социокультурному» времени: 1) оно измеряет социокультурные явления в терминах других социокультурных явлений; 2) оно протекает неравномерно как в рамках одной и той же социальной группы, так и в разных обществах; 3) оно не является бесконечно делимым; 4) оно имеет качественный характер; 5) оно не «пустое», но эффективное, и само его течение преобразует общество (Sorokin 1964 [1943], p. 171—172).

Другие авторы акцентируют понятие времени как социального смысла или символической структуры, являющейся продуктом коллективного сознания. Утверждается, что любое время является социальным — оно не существует независимо от человека, но всегда является социально сконструированным (иначе говоря, природное время просто выносится за рамки анализа). Эта концепция, выдвинутая еще в работах А. Юбера и Э. Дюркгейма, опубликованных в начале нашего века, находит сторонников по сей день (см., например: Bergmann 1981; Lauer 1981; Schoeps 1980; Zerubavel 1981).

В целом ряде исследований рассматривается соотношение социального и физического времени. Однако понятие физического времени в данном случае не тождественно «природному» — речь идет скорее о концепциях времени в физической теории. Так, в работах А. Бергсона, о которых мы говорили в главе 1, подчеркивалось различие между физическим временем и «длительностью» как продуктом сознания, но при этом под физическим временем понимались представления о времени, соответствующие принятым в классической физике (недаром Бергсон называет физическое время «ньютоновским»). Авторы современных работ этого направления, и прежде всего Б. Адам и И. Пригожин, также отталкиваются от соответствующих физических теорий, но доказывают, что по степени сложности и потенциальным возможностям применения к анализу общества эти «физические» (в смысле научной дисциплины) представления мало чем отличаются от «социальных», т. е. анализируемых в социологии (Adam 1988; Пригожин, Стенгерс 1994 [1994]).

Наконец, следует отметить работу Дж. Льюиса и Э. Вайгерта (Lewis, Weigart 1981) о роли времени в организации функционирования общества. Эти авторы доказывают, что три цикла природного или календарно-астрономического времени — суточный, недельный и годовой — превратились в циклы социального времени и жестко детерминируют социальное поведение индивида в современном обществе. На наш взгляд, именно такой подход наиболее адекватен истории формирования и развития структурно-функциональных представлений о времени, которые свидетельствуют не о противопоставлении природного и социального времени, а об их взаимодействии.

Начиная с самой ранней истории человечества структуризация времени и его членение, обеспечивающие процесс синхронизации социальных взаимодействий, были подчинены прежде всего природным ритмам — смене времен года и времени суток. Хотя и деление года на 12 месяцев, и семидневную неделю, и деление суток на 24 часа можно и должно рассматривать как социальные конвенции, эти системы членения времени по существу подстраивались под природные ритмы, являлись их производными.

Все исторические системы структуризации и членения времени в первую очередь должны были обеспечивать синхронизацию социального времени с природным — главная задача состояла в том, чтобы первое не расходилось со вторым. О вторичности социального времени по сравнению с природным, сохранявшейся фактически до нашего столетия, свидетельствует огромное количество работ по истории годового и суточного исчисления времени. Лишь в XIX в. человечество стало постепенно преодолевать диктат природы и начался процесс, который получил в литературе наименование «колонизация времени». Однако и поныне социальное время в существенной мере связано с природным, хотя жесткость этой связи значительно уменьшилась в XIX—XX вв.

1. Измерение и структурирование времени

Проблема структурирования, исчисления, измерения, учета времени тесно связана с двумя природными временными периодами — тропическим годом (т. е. периодом обращения Земли вокруг Солнца) и земными сутками (периодом вращения Земли вокруг своей оси). Третий основной астрономический период — синодический месяц, т. е. период смены фаз Луны, — играет менее значимую роль в цивилизованных обществах, обладающих письменностью.

Измерение и структурирование годового времени, как отмечалось выше, тесно связано с историей астрономии. Уже в древнейшие времена люди научились определять четыре ключевые точки тропического года: моменты весеннего и осеннего равноденствия и зимнего и летнего солнцестояния. В основе этих наблюдений лежало изменение вида звездного неба, высота Солнца над горизонтом в полдень, а также перемещение точек восхода и заката по линии горизонта. Для определения ключевых точек годового движения Земли использовались, в частности, разнообразные архитектурные сооружения, в том числе воздвигавшиеся с начала III тыс. до н. э. египетские пирамиды или возведенные на Британских островах так называемые кромлехи (Стоунхендж — наиболее известный из них).

Результатом прогресса астрономии стало создание календарей, позволявших структурировать и учитывать время в пределах годового цикла. В § 2 главы 2 мы подробно останавливались на истории календарных систем, являвшихся в значительной мере продуктом индивидуального творчества. Здесь же мы более детально рассмотрим социальные аспекты годового времени, и прежде всего проблему его структурирования и учета на уровне массового сознания.

Сразу следует сказать, что, судя по многочисленным данным, в том числе археологическим, календари как предметы материальной культуры были весьма распространены начиная с древнейших времен. Уже в эпоху античности они отнюдь не были достоянием горстки посвященных (т. е. жрецов и астрономов), а имели довольно широкое хождение и употребление. Конечно, знание, а тем более систематическое применение календарей ограничивалось прежде всего грамотными людьми, численность которых, например, в Римской империи по имеющимся оценкам вряд ли превышала 5—6% населения. И тем не менее есть основания полагать, что календари достаточно давно стали относительно распространенным предметом обихода и элементом культуры общества.

В частности, календари относятся к числу распространенных археологических находок. Для их изготовления использовались самые разные материалы — дерево, береста, камень, глина, керамика и т. д. В Древней Греции, например, начиная с IV в. до н. э. на городских площадях устанавливались для всеобщего обозрения календари, высеченные на каменных плитах, — парапегмы³.

³ Лучшее всего сохранилась парапегма, найденная в 1902 г. при раскопках театра в Милете, бывшей греческой колонии на юго-западном берегу

С изобретением книгопечатания календари становятся одним из самых популярных и общеупотребительных печатных изданий. Довольно давно появилась традиция включать в печатные календари различные хозяйственные советы, астрологические прогнозы и т. д., что также благоприятствовало их самому широкому распространению⁴.

Смена климатических сезонов и сопровождающих их природных явлений способствовала закреплению в сознании структуры годового времени. В свою очередь, бытовые характеристики сезонов или периодов года часто отражались в названиях календарных месяцев, фиксируя в сознании календарную структуру года.

Так, еще в вавилонском календаре названия месяцев (которые позднее перешли в древнееврейский календарь) в большинстве случаев отражали состояние природной среды. Айуру (апрель—май) означает «яркий, светлый», Абу (июль—август) — «враждебный» (из-за солнечной жары), Тебету (декабрь—январь) — «мутный», Шабату (январь—февраль) — «разрушение» (дождями и ливнями), Аддару (февраль—март) — «пасмурный».

В Древнем Египте в силу специфики календаря (см. § 2 гл. 2), месяцы не совпадали с сезонами тропического года и их названия были в основном связаны с именами богов. Но при этом год делился на три сезона по четыре месяца каждый: Ахет («половодье») — с середины июля по середину ноября, Перет («выход», «время всходов», освобождение земли из-под воды, период земледельческих работ) — с середины ноября по середину марта, и Шему («отсутствие», «засуха», период низкой воды) — с середины марта по середину июля. Сезоны как раз и указывали на земледельческое происхождение календаря.

Особенно наглядно связь с природной структурой годового времени проявлялась в славянских календарях. Судя по древнейшим памятникам письменности, например, Остромирову евангелию (1056/57 гг.), славяне давно знали деление года на 12 месяцев. Названия

Малой Азии (см.: Климишин 1981, с. 47—50). Об археологических находках календарей см., например: Майстров 1962; Майстров, Просвиркина 1960; Рыбаков 1962а; 1962б; и др.

⁴ В России массовый выпуск ежегодных гражданских календарей был начат в первой четверти XVIII в. — первые такие календари были выпущены по указанию Петра I в 1709 г.

этих месяцев в большинстве случаев были связаны с годовыми природными изменениями (см. табл. 5.1).

Таблица 5.1.

Названия календарных месяцев в славянских языках

Современные русские названия	Древнеславянские названия	Современные украинские названия	Современные белорусские названия
Январь	Просинец, сечень	Січень	Студзень
Февраль	Лютый	Лютий	Люты
Март	Сухой	Березень	Сакавік
Апрель	Березозол, цветень	Квітень	Красавік
Май	Травень	Травень	Май
Июнь	Изок, червень	Червень	Червень
Июль	Червень, липец	Липень	Ліпень
Август	Зарев, серпень	Серпень	Жнівень
Сентябрь	Рюень, вересень	Вересень	Верасень
Октябрь	Листопад	Жовтень	Кастричнік
Ноябрь	Грудень	Листопад	Лістопад
Декабрь	Студень	Грудень	Снежань

«... Январь именовался просинец (по появлению в этом месяце первых погожих дней) либо сечень, потому что в это время вырубали (секли) леса, освобождая площадь под посевы. Названия марта — березозол, березань, сакавік — связаны с добытием весеннего сока из берез, с началом весны. Июнь — изок, что означает кузнечик (первое появление этих насекомых), или червень, от «черва» — личинки пчел (по другим данным, от слова «червонный» — красный).

Название августа — серпень, жнівень — связаны с жатвой, а зарев — от глагола «заревень» — отмечает начало рева оленей в период осеннего гона. С этим же по-видимому связано и название рюень для сентября. Другое название сентября — вересень — имеет несколько объяснений. Считают, что это производное от слова «вресать» — молотить, этот термин связывают также с вереском, который цветет осенью. Украинское название октября — жовтень — связано с прилагательным желтый (цвет листьев), а белорусское кастричнік — с обработкой кострики — конопли. Остальные наименования понятны без расшифровки.

Обращает на себя внимание зависимость названий от климата и хозяйства тех мест, где они появились. Так, брожение сока у берез на юге начинается раньше, чем на севере; соответственно на севере раньше падает лист с деревьев и наступает стужа. Охота в северной зоне имела большее значение, чем на юге, и было важно определить ее сроки по началу гона животных» (*Пронштейн, Кияшко* 1981, с. 85—86).

Другим наглядным примером привязки названий месяцев к природным явлениям служит французский Республиканский календарь (см. табл. 5.2).

Таблица 5.2.

**Названия месяцев во французском
Республиканском календаре**

Сезоны года	Названия месяцев	Значение
Осень (с 22–23 сентября по 20–21 декабря)	вандемьер	месяц сбора винограда
	брюмер	месяц тумана
	фример	месяц заморозков
Зима (с 21–22 декабря по 19–20 марта)	нивоз	месяц снега
	плювиоз	месяц дождя
	вентоз	месяц ветра
Весна (с 21–22 марта по 18–19 июня)	жерминаль	месяц прорастания
	флореаль	месяц цветения
	прериаль	месяц лугов
Лето (с 19–20 июня по 16–17 сентября)	мессидор	месяц жатвы
	термидор	месяц жары
	фрюктидор	месяц плодов

В целом в доиндустриальных обществах представление о текущем времени года было достаточно четким, в том числе на уровне обыденного сознания. Видимо, даже простолюдины вполне осознавали общую сезонную структуру года. Знание времени года закреплялось различными религиозными праздниками — как в эпоху античности, так и в Средние века.

Например, жители французской деревни Монтаяю в начале XIV в. делили год на 12 месяцев и четыре сезона, но чаще употребляли понятие «половина года» (лето и зима). Кроме того, для обозначения времени года обычно использовались хозяйственные или природные характеристики (например, время цветения какого-либо растения или созревания урожая какой-либо культуры — винограда, пшеницы, репы и т. д.). Еще более многочисленными были от-

сылки к событиям христианского года. Дни святых связывались также с разными видами коллективной активности, в том числе ярмарками скота. День года определялся не числом, а именем святого или названием ярмарки (*Le Roy Ladurie* 1978 [1975], p. 278—281).

Наряду со знанием сезона и месяца года издавна была известна недельная структура времени. Семидневная неделя, видимо, возникла еще в Шумере и Вавилоне и примерно соответствовала $\frac{1}{4}$ части лунного месяца (28—29 дней), каждая из которых характеризовалась определенной формой видимой части Луны.

Похоже, что неделя в гораздо большей степени, чем месяц, была обусловлена социальными конвенциями, нежели природными факторами. В частности, многие исследователи отмечают достаточно широкий разброс длины недели у разных народов (см., например: *Sorokin, Merton* 1937). Так, в Древнем Египте существовали большая и малая неделя (10 и 5 дней соответственно), в Древней Греции обычно месяц делился на десятидневные периоды, у этрусков, а позднее в Древнем Риме существовала восьмидневная неделя, в которой дни именовались буквами от А до Н (об истории недели см., например: *Colson* 1926). Тем не менее семидневная неделя, возникшая в Вавилоне и позднее укоренившаяся в иудейском календаре и обоснованная библейской историей Сотворения мира, уже в начале нашей эры получила заметное распространение.

Названия дней недели варьируются в разных языках. В романогерманских языках их этимология восходит к римской и скандинавской мифологии. Так, в Древнем Риме примерно в I в. н. э. была принята семидневная неделя, названия дней в которой являются производными от наименований пяти видимых планет (точнее, имен соответствующих богов), Луны и Солнца. Эта система практически полностью унаследована во французском языке (см. табл. 5.3). В английском и немецком языках названия дней со вторника по пятницу происходят от имен богов из германской и скандинавской мифологии (Тиу, Водан или Вотан, Тор, Фрейя).

В иврите названия дней недели являются производными от числительных — первый, второй и т. д., — причем первым днем является воскресенье. Только суббота (седьмой день недели) имеет собственное название — шаббат («отдых», «покой»). Этот же принцип именования дней недели по порядку используется в славянских языках, но неделя начинается с понедельника. Отсюда вторник — второй день, среда — середина недели, четверг — четвертый

Таблица 5.3.

Названия дней недели в романо-германских языках

День недели	Латинский	Перевод	Французский	Английский	Немецкий
Воскресенье	Solis dies	день Солнца	Dimanche	Sunday	Sontag
Понедельник	Lunae dies	день Луны	Lundi	Monday	Montag
Вторник	Martis dies	день Марса	Mardi	Tuesday	Dienstag
Среда	Mercuri dies	день Меркурия	Mercredi	Wednesday	Mittwoch
Четверг	Iovis dies	день Юпитера	Jeudi	Thursday	Donnerstag
Пятница	Veneris dies	день Венеры	Vendredi	Friday	Freitag
Суббота	Saturni dies	день Сатурна	Samedi	Saturday	Sonnabend

день, пятница — пятый. Слово «суббота» является производным от «шаббат». Воскресенье, как правило, называется неделя — день, когда «не делают», т. е. не работают (украинский — неділя, белорусский — нядзеля, болгарский — неделя)⁵. Наконец, понедельник (первый день недели) — «после недели», т. е. следующий за воскресеньем.

В разные времена и у разных народов степень знания дней недели, видимо, не отличалась равномерностью. Скорее речь могла идти о «ключевых» днях — субботе у иудеев и воскресенье у христиан. Что касается остальных дней недели, то вряд ли основная масса населения, жившая в сельской местности, особенно о них задумывалась (мы вернемся к этому вопросу чуть ниже, при обсуждении дисциплины недельного времени)⁶. Впрочем, в европейских городах степень знания дней недели могла быть более высокой. Этому способствовали, в частности, городские рынки, которые вплоть до XVIII в. обычно функционировали в определенные дни недели (например, в Париже — по средам и субботам); (см.: Бродель 1986—1992 [1979], т. 2, с. 13—14). В отличие от ярмарок, которые участвовали в структурировании годового времени, рынки выступали как событие, структурирующее недельное время.

Если история календарей тесно связана с историей астрономии, то история суточного членения времени — это еще и история техники. По истории часов и структурирования времени суток имеется обширнейшая литература, поэтому мы очень коротко остановимся на этом вопросе⁷.

Первые устройства для измерения времени появились уже во II тысячелетии до н. э. Древнейшими из них были солнечные, огненные, песочные и водяные часы. При этом следует отметить, что хотя все эти устройства традиционно называются часами, по существу они выполняли разные функции. Солнечные, а позднее первые механи-

⁵ В русском языке слово «воскресенье» стало употребляться для обозначения седьмого дня недели только в XVI в.

⁶ Например, как отмечает Э. Ле Руа Ладюри, жители французской деревни Монтанью в начале XIV в. знали понятие недели, но пользовались им довольно редко. Почти никогда не употреблялись названия дней недели, за исключением воскресенья. Понедельник же иногда называли «день после воскресенья» (*Le Roy Ladurie* 1978 [1975], p. 278), что перекликается со славянской традицией.

⁷ Подробнее см., например: Завельский 1987; Leach 1954; Cipolla 1967; Landes 1983; Mumford 1934; Ponsford 1978; Usher 1929, ch. 7; Milham 1923; Bruton 1979; Janich 1980; и др.

данным, первые механические часы были изготовлены лишь в конце XI в. Но так или иначе механические часы с колесами и гирями начали распространяться в Европе только в XII в. В начале XVI в. вместо гири стали использовать пружину, что позволило создать первые портативные экземпляры часов. В честь изобретателя Петера Генлейна из Нюрнберга первые карманные часы назывались «нюрнбергскими яйцами». Заметим, что вплоть до конца XVI в. механические часы имели, как правило, только часовую стрелку и точность их хода не превышала 15 мин. в сутки. Так же как и солнечные часы, механические колесные часы служили в первую очередь, устройствами для ориентации во времени суток, а не приспособлениями для его точного измерения. Это положение изменилось только в конце XVIII в.

В 1640 г. Галилео Галилей разработал маятниковую конструкцию часов, а создателем первого экземпляра маятниковых часов в 1657 г. принято считать Христиана Гюйгенса. «Современный» вариант часов, в котором вместо шпинделя использовался баланс, был изготовлен Гюйгенсом в 1675 г. (по другим данным, первые маятниковые часы создал в 1612 г. некто Бюрги из г. Касселя в Германии). С начала XVIII в. все часы начинают оснащаться второй (минутной) стрелкой. В середине XVIII в. англичанин Дж. Гаррисон изобрел хронометр, т. е. часовой механизм, обеспечивающий более высокую точность хода и устойчивость к тряске, а также к изменениям температуры и влажности (аналогичный механизм независимо от него разработал французский механик П. Леруа).

В начале XX в. в качестве источника энергии в часах стали также использовать электричество. В 1930-е годы изобрели кварцевые часы, в которых взамен маятника используются пьезоэлектрические колебания пластинок кварца, т. е. периодичная деформация этих пластинок при подведении к их граням переменного электрического тока. Наконец, в 1950-е годы были созданы так называемые «атомные» («молекулярные», «квантовые») часы, роль маятника в которых выполняют колебания молекул аммиака. Позднее появились и другие устройства генерирования строго периодических колебаний — например лазерные оптические часы, в которых генерируют световые вспышки.

Техническое развитие часовых устройств было связано не только с повышением точности измерения времени, но и с подачей звуковых сигналов. Так, уже в древнейших китайских огненных часах

иногда использовался принцип будильника. К сжигаемому фитилю или палочкам в определенных местах подвешивались металлические шарики, которые при сгорании фитиля падали в фарфоровую вазу, производя громкий звон. Подачей звуковых сигналов (например, голосовых) иногда сопровождался отсчет времени и при использовании других часовых устройств (например, песочных и водяных).

Но активное и повсеместное использование звуковых сигналов, сопряженных с часовыми устройствами, началось, пожалуй, лишь в нынешнем тысячелетии. Начиная с XII в. подача звуковых сигналов, отмечающих время, осуществлялась в основном колокольным звоном, а позднее для той же цели стали иногда использовать выстрелы из пушек. Довольно долго и колокольный звон, и пушечная стрельба осуществлялись вручную специально приставленными к этому людьми. Так, на кораблях удары колокола («рынды»), отмечающие время, производились вручную вплоть до начала XX в., а обычай стрелять из пушки в полдень сохранился до сих пор, например, в Санкт-Петербурге и некоторых других европейских городах.

По мере развития часовых устройств подача звуковых сигналов также постепенно автоматизировалась: появлялись часы с механическим боем (куранты, репетиры и т. д.). Известны даже солнечные часы, в которых с помощью соответственно установленного и направленного увеличительного стекла солнечный луч управлял пушкой, заставляя ее стрелять в определенное время. В первой половине XVIII в. были изобретены часы с кукушкой, сохранявшие популярность до XX в. Наконец, с начала нашего века, после изобретения радио, осуществляется передача радиосигналов точного времени⁹.

Переходя от истории изобретений часовых устройств к истории их использования, заметим, что солнечные часы были весьма распространены в древнем мире и в эпоху античности: они существовали, насколько можно судить по данным археологических раскопок, едва ли не в каждом городе¹⁰. Конечно, никто не бегал специально смот-

⁹ Например, в России такие сигналы передавались с 1 декабря 1920 г. через петроградскую радиостанцию «Новая Голландия» в 19 часов всемирного (гринвичского) времени по сигналу из Пулковской обсерватории, а с мая 1921 г. — через Октябрьскую радиостанцию Москвы в 22 часа всемирного (гринвичского) времени.

¹⁰ Один из наиболее известных общественных гномонов был сооружен в Риме в 10 г. до н. э. по распоряжению императора Августа в честь победы над Египтом. Высота гномона в этих часах равнялась 22 м, а циферблат, поделенный на 12 секторов со знаками Зодиака, имел размер 170 на 80 м.

реть на гномон, водруженный в центре города, но тем не менее эти простейшие часы явно были привычным предметом, укорененным в сознании горожан. Так, в одной из комедий Аристофана афинянка Праксагора говорит своему возлюбленному Блепиросу: «Когда тень будет в десять шагов, умасти себя благовониями и приходи ужинать». Не менее широко распространены были солнечные часы и в эпоху Средневековья, о чем свидетельствуют тысячи гномонов и скафисов, сохранившихся по всей Европе вплоть до наших дней.

Стационарные солнечные часы изготавливались в основном из камня, реже из металла и дерева. Переносные солнечные часы чаще всего делались из металла (латуни, бронзы, серебра), дорогих сортов дерева и даже из слоновой кости или черепашьего панциря. Солнечные часы использовались в практических целях вплоть до XVIII в., а в XIX и даже в XX в. сохранились как декоративный элемент украшения общественных мест и частных имений¹¹.

Огненные часы широко использовались в Древнем Китае. Известно, что они также были популярны в средневековой Европе. Например, рудокопы применяли простейший вариант огненных часов — плошку с маслом и фитилем, рассчитанные на 10 часов горения (по таким часам определялась продолжительность пребывания под землей, точнее, конец смены). В монастырях, как отмечалось выше, использовались свечи с нанесенными на них делениями, соответствующими определенным промежуткам времени.

Водяные часы применялись в Древнем Египте, Иудее, Вавилоне, Китае, но особенно распространены они были в Древней Греции и Риме, где ими пользовались не только в быту, но и для регламентации выступления ораторов в общественных собраниях и судах, при разводе караулов и т. д. В Греции, как уже было сказано, такие часовые устройства именовались клепсидрами («похитителями воды»), и это название существует в европейских языках до сих пор. В Риме клепсидры ввел цензор Публий Сципион Назика около 160 г. до н. э. О степени распространения водяных часов в Риме свидетель-

¹¹ Например, в 1785 г. князь Г. Потемкин основал в местечке Дубровка в Белоруссии фабрику по изготовлению солнечных часов, переведенную в том же году в село Купавна под Москвой. Последние же солнечные часы в нашей стране были построены в 1947 г. к 800-летию Москвы на площадке Московского планетария (по этим часам можно определять московское время с мая по сентябрь).

ствуют, в частности, популярные и по сей день идиомы «много воды утекло» (прошло много времени), «понапрасну лить воду» (применительно к выступлениям ораторов) и т. д.¹². Водяные часовые устройства использовались также в странах Африки и Ближнего Востока при распределении воды для полива (продолжительность поступления воды на определенный участок контролировалась одновременным заполнением сосуда с водой).

Песочные часы также были очень распространенными. Например, в Средние века они активно применялись ремесленниками, алхимиками и т. д. в различных технологических процессах, например, при литье металлов. Начиная с позднего Средневековья и до второй половины нашего века песочные часы использовались во врачебной практике (а, например, в России их можно встретить в некоторых лечебных учреждениях и по сей день). До XIX в. особенно широко песочные часы использовались на флоте для отсчета времени смены вахт. Завершение соответствующих интервалов времени, измеряемых сделанными из стекла песочными часами, обозначалось ударами в корабельный колокол, откуда пошло известное выражение «бить склянки».

Первые механические часы, как отмечалось, стали изготавливать уже в XII в., но их относительно массовое распространение приходится лишь на конец XIII в. (см.: Beeson 1972; Landes 1983). В России первые колесные механические часы были установлены в Московском Кремле в 1404 г. (изготовлены монахом Лазарем Сербиным). Домашние же механические часы оставались редкостью во всех европейских странах до середины XVII в. — основным источником информации о времени все еще служил бой городских часов. Только в конце XVII в. началось распространение бытовых механических маятниковых часов, приводимых в действие пружиной или гирей (см., например: Thompson 1967; Cipolla 1967; Ponsford 1978).

В конце XVIII в. спрос на часы в Англии настолько возрос, что английский премьер-министр У. Питт-мл. попытался ввести налог на владение часами (настенными и наручными), который действовал с июля 1797 до марта 1798 г., после чего был отменен. Этот закон не уменьшил спрос на часы, но успел свергнуть английскую часовую про-

¹² Так, латинское *aquam perdere* (терять время) дословно означает «тратить воду»; *clepsydram petere* — просить слово; *binas clepsydras dare* — установить оратору регламент две клепсидры и т. д.

мышленность в глубочайший кризис и способствовал расцвету контрабанды часов с континента, прежде всего из Франции и Швейцарии.

В первой половине XIX в. в развитых европейских странах часы стали принадлежностью всех классов, но, как отмечает Д. Бурстин, «выражение „наручные часы“ (watches) вошло в английский язык только к 1900 году. Широкое распространение наручных часов и всеобщее осознание течения времени началось только после того, как такие часы появились у военных — участников англо-бурской войны (1899—1902), пользовавшихся ими для синхронизации действий подразделений своей армии» (Бурстин 1993 [1958—1973], т. 3, с. 469).

Наконец, начиная с 1960-х годов бытовое распространение получают кварцевые часы, а среднее количество часовых устройств, приходящихся в промышленно развитых странах на одну семью, начинает превосходить количество членов семьи.

Переходя к системе членения суточного времени, прежде всего следует отметить, что базовые единицы измерения времени — час и минута — имеют весьма древнее происхождение и практически не изменились до сегодняшнего дня. Деление суток на 24 часа, а часа на 60 минут было введено еще в Древнем Вавилоне, где, как известно, существовала двенадцатиричная система исчисления. Конечно, исходным было деление светового дня на 12 часов, как в солнечных часах, но затем аналогичным образом было структурировано и время ночи. Изначальная связь часового деления с продолжительностью светового дня привела к тому, что в течение многих веков во всех странах продолжительность часов дня и ночи была непостоянной и изменялась в зависимости от времени года. Заметим также, что несмотря на введение 24-часового исчисления времени суток, в большинстве европейских стран деление суток на часы дня и часы ночи (в форме AM — ante meridiem и PM — post meridiem) сохранилось на бытовом уровне до сегодняшнего времени, а, например, в США оно до сих пор имеет официальный государственный статус.

Традиция деления дня и ночи на 12 часов существовала, в частности, в Древней Греции. Поскольку начало дня и ночи было связано с временем восхода и заката соответственно, длина часов изменялась сообразно временам года. Наряду с часовым делением сутки разделялись на 12 частей, из которых шесть приходились на дневное и шесть — на ночное время. Эти отрезки времени имели специальные обозначения, например «время вставания», «время, когда агора полна народом, между утром и полднем», «время зажигания све-

тильников», «первый сон» и т. д. Во время лагерной жизни ночь разделялась на три стражи (см.: Гиро 1995 [1890], с. 23).

В Древнем Риме гражданский день начинался в полночь и делился на 24 часа (*лат. hora*), причем отсчет начинался не с нуля, понятие которого римлянам, так же как и грекам, было неизвестно, а с единицы, т. е. полночи соответствовало начало первого часа. Но «естественный» день опять-таки продолжался от восхода до заката, делился на 12 часов и продолжительность этих часов зависела от продолжительности светлого времени суток — часы были меньше зимой и больше летом. В равноденствие день считался с шести утра до шести вечера, а ночь, соответственно, длилась с шести вечера до шести утра.

Помимо 12-часового деления день у римлян также подразделялся на укрупненные отрезки: *mane* — от восхода солнца (с которым совпадало начало 1-го часа) до начала третьего часа; *ad meridiem* — от начала третьего до начала шестого часа; *de meridie* — от начала шестого часа до начала девятого или десятого часа; *suprema* — до захода солнца. В армии наряду с этим ночь делилась на четыре стражи (*лат. vigilia*): 1-я стража — от шести часов вечера до девяти часов; 2-я стража — от девяти часов до полуночи; 3-я стража — от полуночи до трех часов утра; 4-я стража — от трех до шести часов утра (Гиро 1995 [1893], с. 583—584).

Средневековые унаследовало от римлян не только 24-часовое деление суток (точнее, деление дня и ночи на 12 часов, продолжительность которых зависела от времени года), но и укрупненное деление суток на примерно трехчасовые отрезки — так называемые канонические или литургические часы (*horae canonicae*). Впервые канонические часы были введены Св. Бенедиктом Нурсийским в Италии, основавшим в 530 г. монашеский орден, который впоследствии получил его имя. Канонические часы делили суточный период на отрезки, соответствовавшие началу церковного богослужения и молитвы. Начиная с X—XI вв. канонические часы стали отмечать боем колокола в монастырях других орденов, а также в городских церквях. Обычно в сутках было восемь канонических часов (т. е. каждый канонический час состоял из трех астрономических), но длительность канонического часа менялась в зависимости от времени суток, сезона года, обычаев данного ордена или города (см.: Price 1983, p. 116; DeGrazia 1962, p. 41—54; Dickinson 1961 и др.). В частности, расписание бенедиктинских канонических часов, с которым многие чита-

тели знакомы по роману «Имя розы» У. Эко, отнюдь не являлось типичным или широко распространенным.

Подчеркнем, что канонические часы дополняли астрономические, а не заменяли их, — точно так же использование академических часов в школе и других учебных заведениях отнюдь не означает отмену 24-часовой системы структурирования суточного времени. О «дополнительности» канонических часов свидетельствуют, в частности, типовые названия некоторых из них: обычно 6 часов утра или начало рассвета соответствовали «часу первому» (*hora prima*), 9 часов утра — «часу третьему» (*hora tertia*), полдень назывался «час шестой» (*hora sexta*), 3 часа дня — «час девятый» (*hora nona*). Нарушение трехчасового интервала в названиях (шести утра должен был бы соответствовать нулевой, а не первый час) связано с тем, что число 0 стало известно европейцам от арабов только в XI в.

Заметим также, что хотя у большинства народов сутки были поделены на 24 часа, момент начала дня мог существенно варьироваться. Так, у древних греков и иудеев новый день начинался с заходом солнца, у древних египтян и в средневековой Европе — с рассветом. Наконец, у римлян, как отмечалось, новый день начинался в полночь, и именно эта система ныне принята в европейских странах.

Поскольку часы в средневековой Европе отсчитывались от начала светового дня, это определяло специфику устройства первых механических часов, сохранявшуюся, впрочем, в течение нескольких столетий. По существу первые механические часы копировали солнечные, и принцип их действия «подгонялся» под принцип действия солнечных часов. В частности, циферблат мог быть разделен не на 12, а на 16, 17 или более делений, соответствующих максимальному количеству часов дневного или ночного времени в дни летнего и зимнего солнцестояния на соответствующей широте. Дважды в сутки стрелка механических часов вручную устанавливалась на «нулевую» отметку (хотя зачастую роль нуля, как отмечалось выше, выполняла единица) и начинался новый отсчет часов — дня или ночи.

История членения и исчисления времени суток достигла кульминации в XIX в. Дело в том, что к середине прошлого столетия развитие астрономии привело не только к увеличению точности суточного деления времени, но и к колоссальному разнообразию в его определении. Практически в каждом городе существовало свое собственное время, определявшееся местными астрономами и зависящее, помимо географического положения, от множества приводящих об-

стоятельств. Например, в США в 1870 г. существовало 200 местных времен между западным и восточным побережьем страны (*Gosden* 1994, p. 87). Учитывая, что средства связи и, в частности, железнодорожное сообщение были уже достаточно хорошо развиты, множественность времен создавала огромные неудобства. В качестве примера можно привести пояснения из английского железнодорожного расписания середины прошлого века: «Лондонское время сохраняется на всех железнодорожных станциях, опережая время в Ридинге на 4 минуты, в Чичестере — на 5 минут, в Чиппенхеме — на 8 минут и в Бриджуотере — на 14 минут» (цит. по: *Ponsford* 1978, p. 11).

В 1878 г. канадец С. Флеминг предложил для устранения этой неразберихи ввести так называемое поясное время. Вся поверхность земного шара условно подразделялась на 24 часовых пояса, ограниченных меридианами, проведенными с интервалом в 15 градусов. Для каждого пояса (от 0 до 23) устанавливалось местное время, соответствующее его среднему меридиану.

В 1883 г. система поясного времени была принята на Международном астрономическом конгрессе, а в 1884 г. за нулевой был принят часовой пояс, средним меридианом которого является гринвичский. Вначале система поясного времени с нулевым гринвичским меридианом была введена в США и Канаде, а затем к ним начали присоединяться европейские страны. Особенно долго сопротивлялись французы, которые требовали признания нулевым парижского меридиана. Лишь в 1912 г. французы сдались и провели в Париже международную конференцию, на которой были окончательно утверждены часовые пояса и линия перемены дат, что позволило наконец-то унифицировать железнодорожные расписания и телеграфное сообщение (*Kern* 1983, p. 11—14; см. также: *Howse* 1980).

В России поясное время было введено в 1924 г., а в 1930 г. для экономии электроэнергии было установлено декретное время, опережающее поясное на 1 час. С 1957 г. в СССР границы часовых поясов стали проходить не по меридианам, а по границам краев и областей.

Наконец, последней новацией в области структурирования суточного времени стал ежегодный сезонный перевод стрелок часов (примерно с 1 апреля по 1 октября) на 1 час вперед. Эта система была введена в большинстве европейских стран и в США в 1970-е годы, в СССР она вступила в силу в 1981 г.

С точки зрения анализа социальных процессов наибольший интерес представляет, впрочем, не столько история часовых устройств

или систем структурирования суток, сколько степень осознания и учета суточной структуры времени. На наш взгляд, представление о структуре суточного времени, так же как и годового, было широко распространено и укоренено в массовом сознании и до Нового времени.

Выше мы уже говорили о распространенности часовых устройств — солнечных и начиная с XIII в. механических часов, а также приспособлений для учета времени (огненных, водяных и песочных). Оценить количество людей, которые пользовались часовыми устройствами, конечно, не представляется возможным, но мы можем сделать хотя бы приблизительные прикидки.

Прежде всего, часами пользовалась (точнее, принимала их во внимание) значительная часть городского населения¹³. Как уже говорилось, солнечные, а впоследствии механические часы имелись практически в каждом европейском городе. Ремесленники во многих случаях должны были использовать часовые устройства в процессе работы. Обладание часами было элементом престижа для знати. Наконец, начиная с позднего Средневековья едва ли не в любом городе время структурировалось боем церковных колоколов, а позднее — боем часов на городской ратуше.

Другим «центром по распространению» суточного темпорального сознания были средневековые монастыри. И хотя численность монашеских орденов была не столь велика (к концу XII в. в Англии, например, было около 18000 монахов и монахинь при общей численности населения Британских островов в 1300 г. около 5 млн чел.), сфера влияния суточной структуры времени отнюдь не ограничивалась самими монастырями. С ритмом монастырского расписания в существенной мере была связана жизнь крестьян из прилегающих к монастырю деревень.

Однако главным фактором, обеспечивавшим структурирование суточного времени на уровне массового сознания, был природный ритм, и влияние его не следует недооценивать.

Наверное, каждый из наших читателей, которому доводилось жить или работать в сельской местности, обращал внимание на то, что в деревне очень мало людей (особенно женщин) носит часы во время работы. Отчасти это можно отнести на счет сохраняющейся

¹³ По имеющимся оценкам, в начале XI в. численность населения Западной Европы составляла 27—30 млн чел., из которых от одной пятой до четверти проживало в городах, а в начале XIX в. в Западной Европе было 110—120 млн чел., из которых в городах жила примерно треть (см.: Мельянец 1993).

относительной ценности наручных часов, но главное в том, что люди, работающие в поле, прекрасно обходятся без часовых механизмов, они им практически не нужны. Время с точностью до часа легко определяется по Солнцу. В лучшем случае время обеда и конца работы задается ударом в рельс человеком, который следит за временем (хотя очень часто и это время определяется «на глазок»). При этом отсутствие часовых приборов никоим образом не означает отсутствия чувства времени или несущественности структуры суточного времени для сознания, скорее наоборот.

Самое забавное, что через неделю деревенской жизни вы легко научаетесь определять время по Солнцу и гораздо реже смотрите на часы! Это же подтвердит вам и любой бывалый турист, равно как и то, что время с точностью до часа можно определять и ночью — по Луне и положению звезд (например, по взаимному расположению Большой Медведицы, Ориона и Плеяд). Все это, конечно, возможно только в ясную погоду, но тем не менее... Отметим также, что членение времени суток у приморских народов, занимающихся мореплаванием и рыболовством, производится не только по Солнцу, но и по времени приливов и отливов, которые еще более жестко структурируют суточное время.

Конечно, как в Древнем мире, так и в средневековой Европе часовые устройства использовались лишь теми, кто в них нуждался, — священнослужителями, астрономами, алхимиками, ремесленниками, мореплавателями, рудокопами, стражниками и т. д. Это само по себе составляло немалую часть населения; что же касается негородских жителей, то часовые устройства были им просто не нужны: ритм дня диктовался Солнцем, и никакой надобности в определении времени суток с точностью, превышающей 1—1,5 часа, просто не было.

Точно так же и сейчас, хотя потенциально время можно измерять с точностью до малейших долей секунды, этим никто не пользуется в быту — строго говоря, даже секунды нужны только специалистам. В современной обыденной жизни (если это не связано с организационным или общественным временем, например, с началом рабочего дня или какого-либо общественного мероприятия) при ответе на вопрос «который час?» в большинстве случаев достаточно сказать «начало шестого» или «около пяти». И это в условиях, когда ныне человек живет в среде, где указание времени с точностью до минуты стало весьма распространенным — от телевизионной про-

граммы и расписания поездов до инструкций по приготовлению полуфабрикатов.

Завершая обсуждение проблемы структурирования и учета времени, упомянем еще об одном важном обстоятельстве, а именно, о роли религии. До начала Нового времени роль «хранителя» и «контролера» времени (годового, недельного и суточного) в течение многих веков выполняла Церковь, будь то жрецы в Вавилоне и Египте, Древней Греции и Риме, священнослужители и монахи в христианской Европе, муллы и муэдзины на мусульманском Востоке.

Роль Церкви в истории структурирования времени трудно переоценить. Конечно, церковные праздники и ритуалы имели прежде всего культовый смысл, но при этом Церковь была хранителем и гарантом точного времени — от календарей, которые всегда разрабатывались и утверждались церковью, до счета часов в сутках (неважно, клепсидры это в храме Озириса в Древнем Египте или отсчет времени между службами в средневековых монастырях). Например, как отмечает Э. Ле Руа Ладюри, описывая жизнь во французской деревне начала XIV в., «именно священник обладал календарем и был ответственен за определение, при необходимости, дня года... Таким образом, священник был стражем времени» (*Le Roy Ladurie* 1978 [1975], p. 280). Тем самым Церковь брала на себя функцию временной синхронизации и координации общественной жизни.

2. Время как ресурс: ценность и собственность

Существенную роль в комплексе представлений о времени играет определение его ценности. Надо сказать, что выявление отношения к ценности времени в прошлые эпохи весьма затруднительно. До начала XIX в. мы располагаем лишь небольшим количеством довольно противоречивых свидетельств, в основном сводящихся к высказываниям отдельных мыслителей или косвенным данным, характеризующим соответствующие умонастроения «широких народных масс». Приведем некоторые наиболее типичные иллюстрации.

Принято считать, что в Древнем Риме по крайней мере в эпоху Империи время ценилось достаточно высоко. Широко известны высказывания на эту тему Сенеки, Колумеллы, Марка Аврелия и др.: «... Береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило» (*Сенека*. Нравственные письма к Луцилию I, 1—2). «Время убегает безвозвратно, кто не знает этого? И тот, кто всегда помнит об этом, принимает свои меры, а беспечный разве

одолеет работу...» (*Columella*. De re rustica XI, 1; цит. по: *Зомбарт* 1994 [1913], с. 399, сн. 268). «... Очерчен у тебя предел времени; потратишь его, чтобы так и не просветлиться душой — оно уйдет» (*Марк Аврелий*. Размышления II, 4).

Но тот же Сенека писал, обращаясь к Луцилию: «Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто понимал бы, что умирает с каждым часом?» (*Сенека*. Нравственные письма к Луцилию I, 1—2).

Наряду с этим бытует мнение, что в период раннего Средневековья, точнее, как минимум до XIII в., ценность времени была крайне низкой (см., например: *Leclerc* 1975). Однако в уставе ордена бенедиктинцев, основанного в 530 г., время трактуется как огромная ценность и растрата времени считается одним из величайших грехов (*The Rule...* 1970).

Целый ряд исследователей отмечает, что в XIII—XIV вв. ценность времени возрастает, оно все чаще рассматривается как ограниченный ресурс. По наблюдению Ж. Ле Гоффа (*Le Goff* 1963), время стало существенным параметром в торговле, где важны были такие факторы, как продолжительность торговых экспедиций, сроки возврата вложенного капитала и всякие прочие затраты времени (на выполнение определенных работ). Время путешествий и торговых операций стало определять доходы купцов. Торговые и коммерческие операции споспешествовали удлинению горизонта будущего времени (см. также: *Ле Гофф* 1992 [1964]; *Гуревич* 1969; 1984). Развитию представлений о ценности времени способствовало начавшееся в этот период распространение системы наемного труда и его повременной оплаты.

Другие авторы не менее убедительно доказывают, что в XIII—XV вв. ценность времени оценивалась как весьма низкая, и ни крестьяне, ни ремесленники не были заинтересованы в увеличении интенсивности использования времени. Их труд был ориентирован в первую очередь на выполнение определенной задачи, а не на производство максимального количества благ в пределах рабочего времени (*Thrft* 1990 [1980]; *Rifkin* 1987, ch. 6). Типичным образцом такого отношения служит поведение крестьян все той же деревни Монтайю в начале XIV в. (см.: *Le Roy Ladurie* 1978 [1975]).

Столь же сильно расходятся мнения по поводу представлений о ценности времени в XV—XVII вв. С одной стороны, широко известны многочисленные высказывания мыслителей эпохи Возрождения —

Леона Альберти, Джиованни Руччеллаи и др. на тему о ценности времени. Типичным примером служит фраза Антонина Флорентийского (1390—1459): «Время ведь — самая драгоценнейшая и безвозвратная вещь» (цит. по: *Зомбарт* 1994 [1913], с. 299, сн. 294). Паоло да Чартальдо в трактате «Книга о хороших обычаях» (XIV в.) поучал: «Кто слишком долго спит — теряет время»; «Помни, что время упущенное нельзя вернуть» (цит. по: *Cipolla* 1967, р. 11). Точно так же, например, и Джанноццо Манетти, по свидетельству современников, «очень ценил время и никогда не терял ни часа» (цит. по: *Баткин* 1995, с. 112).

На основе подобных высказываний многие авторы делают вывод, что рационализированное отношение к времени восходит именно к эпохе Возрождения, когда тем, кто знает как использовать время, было обещано, что они станут «господами над всеми вещами» (*master of all things*), и когда время изображалось в виде строгого отца, следящего за тем, чтобы драгоценные мгновения не расходовались понапрасну, или в образе противника, с которым мужчина ведет героическую борьбу (*Sirianni, Walsh* 1991, р. 424—425).

С другой стороны, эпоха Возрождения все еще отмечена ощущением покоя, размеренности, неторопливости, характерным для Средневековья. «Внешним выражением этого покоя и размеренности была полная достоинства поступь... Мы с трудом можем представить себе торопливого человека в длинном меховом плаще Ренессанса или в панталонах до колен и парике последующих столетий. И достойные доверия современники так и изображают нам делового человека как мерно шагающего человека, который никогда не торопится именно *потому*, что он что-нибудь делает. Мессер Альберти, сам очень занятой человек, обычно говаривал, что он никогда еще не видел прилежного человека идущим иначе как медленно» (*Зомбарт* 1994 [1913], с. 122—123). «И в самой работе не торопятся. Нет совсем никакого интереса в том, чтобы что-нибудь было сделано в очень короткое время или чтобы в течение определенного времени было изготовлено очень много предметов» (*Зомбарт* 1994 [1913], с. 17).

Даже в отношении сравнительно недавнего периода — XVII—XVIII вв. — имеющиеся в литературе оценки отношения к времени и степени его ценности сильно расходятся между собой. Так, в соответствии с веберианской традицией считается, что для протестантской этики характерно осознание высокой ценности времени. Эти же мысли мы находим у Бенджамина Франклина: «Если же время

для меня драгоценнейшая из всех вещей, то расточительность во времени должна быть самой большой из всех видов расточительности» (цит. по: *Зомбарт* 1994 [1913], с. 93).

Но, как отмечает Зомбарт, даже в XVII—XVIII вв. представление о высокой ценности времени было скорее исключением, чем правилом: «Боценские оптовики закрывали на все лето свои дела и жили на даче в Обер-Боцене. Так же давали себе отдых в течение дня и в течение года, так и в жизни устраивали себе продолжительные периоды отдыха. Было, пожалуй, общим обыкновением, что люди, нажившие в торговле и производстве скромное состояние, еще в цветущем возрасте удалялись на покой и, если только было возможно, покупали себе за городом имение, чтобы провести закат своей жизни в созерцательном покое» (*Зомбарт* 1994 [1913], с. 121).

Наконец, целый ряд исследователей считает, что лишь в XIX—XX вв. время обрело высокую ценность в массовом сознании. Изменение отношения к времени связывается ими с началом промышленной революции (см., например: *Nowotny* 1975, р. 330—332). Время стало не только символом производства богатства, но и приобрело ценность само по себе. Появилась возможность приобретать время, как любой другой товар, сберегать время или разумно расходовать, его стало выгодно инвестировать. Время перестало рассматриваться как нечто священное и данное, воспроизводимое лишь на мифологическом уровне. За работу начали платить в соответствии с потраченным на нее временем.

Но даже применительно к современности представления о ценности времени отнюдь не являются абсолютными и повсеместно распространенными. Типичным примером могут служить сотни тысяч российских горожан, с весны по осень еженедельно по выходным отправляющихся на свои дачные участки. Конечно, для какой-то части дачников эти поездки и копанье в огороде представляют собой отдых или развлечение. Для другой части урожай, выращенный на собственных участках, является существенным подспорьем в хозяйстве и обеспечении семьи продуктами питания. Но значительная часть населения искренне верит, что выращивание овощей на собственных огородах приносит им выгоду, позволяя сэкономить средства.

При этом большинством из них просто не учитывается тот факт, что для получения двух-трех мешков картошки и ведра моркови приходится затратить, с учетом дороги, несколько недель чистого времени, не говоря уже о транспортных расходах или бензине. Цен-

ность так называемого «свободного» времени для огромного числа людей практически равна нулю.

Не следует думать, что подобное отношение к времени типично только для России, где еще весьма сильны традиционные, «домодернизационные» стереотипы поведения. Население западных стран во многих случаях проявляет столь же иррациональное отношение к времени, и прежде всего к той его части, которая считается «свободной». В качестве типичного примера можно привести домохозяек, которые часами изучают газеты с объявлениями о распродажах и затем добираются до мест проведения этих распродаж (порой весьма отдаленных), чтобы сэкономить пару десятков долларов (при том, что минимальная часовая зарплата в США, например, составляет более 10 долларов).

Мы вернемся к этой теме чуть ниже, при обсуждении проблемы использования времени. Здесь же нам хотелось бы подчеркнуть, что отношение к времени как к ресурсу, осознание его ценности варьируется под влиянием не только, а может быть и не столько исторических, сколько социальных параметров. Отношение к времени во все эпохи, начиная с античности и до наших дней, в значительной мере зависело от рода занятий и вида деятельности индивида, принадлежности его к тому или иному социальному слою, не говоря уже об особенностях его личности.

Здесь можно выделить как минимум два момента. Во-первых, совершенно очевидно, что во все времена и эпохи люди, занимающиеся умственным (а тем более интеллектуальным) трудом гораздо выше ценили свое время, чем люди, занимающиеся трудом физическим или стандартизированными видами деятельности. Именно этим объясняется обилие разнообразных и часто цитируемых высказываний различных авторов — от Сенеки до Св. Фомы и от Леона Альберти до Бенджамина Франклина — о ценности времени. Для авторов этих высказываний время было действительно ценно, но это отнюдь не означает, что оно было столь же ценно для их безымянных неграмотных современников.

Во-вторых, проблема ценности времени, анализируемая на основе цитат или фрагментарных исторических свидетельств, остается весьма расплывчатой. На наш взгляд, ее изучение должно проводиться с использованием понятийного аппарата, разработанного в социальной и экономической теории, в противном случае историкам трудно выйти за рамки дискуссии, основанной на отрывочных

и подчас противоречивых сведениях. О важности учета социальных параметров мы уже упомянули, теперь же хотим несколько обстоятельнее остановиться на экономических аспектах проблемы ценности времени.

В экономической теории проблема ценности уже давно переведена из разряда эмоциональных оценок в разряд строгих научных категорий. Прежде всего, ценностью может обладать только ограниченный ресурс (так, морская вода не обладает ценностью с экономической точки зрения, даже если из нее добываются какие-нибудь соли или химические элементы), который в этом случае называется экономическим благом. В свою очередь ценность экономического блага определяется его потенциальной или альтернативной стоимостью (opportunity cost). Альтернативная стоимость *товара* или *услуги* измеряется тем количеством других товаров или услуг, которыми надо пожертвовать, чтобы получить данный товар или услугу. Альтернативная стоимость использования какого-либо *ресурса* равна доходу, который мог бы быть получен при наилучшем альтернативном использовании данного ресурса (Фишер и др. 1993 [1988], с. 131).

Представление о ценности времени переводит его в разряд так называемых «экономических благ», т. е. ограниченных (дефицитных, редких) ресурсов. Вообще говоря, время не является ограниченным ресурсом. «Следует помнить, что редким является не „время“ само по себе, а наша собственная возможность действовать. Редкость времени — это всего лишь метафора» (Роббинс 1993 [1935], с. 17, сн. 10). Но в сознании индивида, осознающего ценность времени, оно воспринимается как ограниченный ресурс — в самом первом приближении время, которое может использовать человек, лимитировано продолжительностью его жизни.

По-видимому, первым, кто применил концепцию альтернативной стоимости для оценки ценности времени в явном виде, был Б. Франклин, который также придумал выражение «время — деньги»: «Помните, что *время* — это деньги. Если тот, кто может своим трудом заработать в день десять шиллингов, пойдет гулять или полдня будет сидеть без дела, хотя и будет тратить только шесть пенсов во время прогулки или безделья, не должен думать, что это только *единственный* расход; на самом деле он тратит или скорее бросает на ветер еще пять шиллингов... Не теряй ни *времени*, ни *денег* и используй и то и другое наилучшим образом» (Франклин 1956 [1748], с. 82, 83), ибо «тот, кто бесцельно потерял время, равное пяти шил-

лингам... не только утратил эту сумму, но и всю прибыль, которая могла быть получена, если деньги пустить в дело» (Франклин 1956 [1736], с. 80).

Таким образом, с экономической точки зрения главное изменение в отношении к времени произошло, когда было обнаружено, что время является производительным фактором. Секулярная ценность времени была прежде всего экономической. Тем самым время приобрело редкость, причем в современных обществах редкость времени не уступает редкости денег, а то и превосходит ее (Nowotny 1975, p. 330; см. тж.: Thompson 1967; Thrift 1990 [1980]). «У меня мало времени», «у меня нет времени», «я располагаю ограниченным временем», — эти и подобные выражения, существующие ныне во всех европейских языках, являются одной из отличительных черт мышления Нового времени.

Экономический подход позволяет прояснить причины противоречивой картины истории представлений о ценности времени. Дело в том, что время, во-первых, обладает ценностью, только если оно рассматривается как ограниченное благо. Во-вторых, оценка ценности времени зависит от возможностей его альтернативного использования.

Ясно, что для людей, занимающихся интеллектуальной деятельностью, время всегда выступало как ограниченное благо и для них всегда существовала возможность его «альтернативного» использования, т. е. размышлений, чтения или написания книг и т. д. В позднее Средневековье такое отношение к времени стало постепенно восприниматься и другими социальными слоями: в первую очередь это относится к купцам, торговцам, банкирам, т. е. предпринимателям, если использовать современный термин. Для представителей социальных групп, занимавшихся физическим трудом, эти условия довольно долго не выполнялись — прежде всего, у них не было возможностей для «альтернативного» использования времени (не говоря уже о лично-несвободных работниках — рабах, сервах, крепостных и т. д.).

Развитие капитализма и распространение системы наемного труда существенным образом изменило эту ситуацию. Время стало приобретать ценность для все более широких слоев населения. Но этот процесс затронул не все сферы использования времени, а только рабочее время. И, несмотря на весь экономический прогресс, в индустриальном и даже «постиндустриальном» обществе для значительной части населения типична ситуация, при которой рабочее время

обладает ценностью, а свободное время — нет (если человеку нечем «занять время»). Именно поэтому, например, неработающие женщины с относительно низким уровнем образования готовы тратить время на хождение по магазинам: имеющиеся у них возможности «альтернативного» эффективного использования времени, остающегося после выполнения работы по дому, достаточно невелики.

Признание времени в качестве редкого или ограниченного блага находит отражение в ряде других представлений. Прежде всего остановимся на сравнительно мало разработанной проблеме собственности на время.

В Древнем Риме, насколько можно судить по дошедшим до нас источникам, считалось, что время принадлежит людям. Заключение такого рода можно найти, например, у Сенеки: «Все у нас, Луцилий, чужое, одно лишь время наше. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владение природа, но и его кто хочет, тот и отнимает» (Сенека. Нравственные письма к Луцилию I, 3).

На протяжении большей части Средневековья, по крайней мере до XII в., «время... принадлежит одному Богу и может быть только пережито. Овладеть временем, измерить его, извлечь из него пользу или выгоду считалось грехом. Урвать от него хоть одну частицу — воровством» (Ле Гофф 1992 [1964], с. 155). Почти полное отсутствие прав собственности на время было особенно типично для феодального крестьянства. Их временем распоряжались сеньоры и Церковь: сеньоры определяли время феодальных работок, Церковь — календарь и общее членение времени. Конечно, в пределах отдельного дня крестьянин мог варьировать использование своего времени, но в целом он не был его хозяином. Вместе с тем представители городских слоев — купцы и ремесленники — имели гораздо больше возможностей для использования своего времени, и по мере роста их численности увеличивались и притязания на собственность на время, которым они хотели распоряжаться сами (Le Goff 1960).

Борьба за право собственности на время заметно активизируется в эпоху Возрождения, что отражало общий возврат к ценностям и представлениям античной эпохи. Но при этом во многих случаях сохранялось представление о том, что время принадлежит Богу, а люди могут лишь пользоваться им. Например, по свидетельству современников, Джанноццо Манетти имел обыкновение говорить, что нам придется в конце жизни дать отчет в том, как мы употребили отпущенное Богом время, и что всемогущий Господь поступает как

купец, который, дав деньги кассиру, велит ему пустить их в оборот и «затем желает видеть, как тот ими распорядился» (цит. по: *Баткин* 1995, с. 112).

Качественно иной подход получил выражение в известном и часто цитируемом трактате Леона Баттиста Альберти (1404—1472) «О семье», где рассуждения о времени вложены в уста купца Джанноццо, поучающего своего юного собеседника Лионардо: «Есть три вещи, которые человек может назвать принадлежащими себе» и которые дарованы ему природой со дня рождения. Во-первых, это душа, во-вторых, «инструмент души», т. е. тело, и, наконец, «вещь драгоценнейшая», которая «в большей мере <принадлежит> мне, чем эти руки и глаза», и эта вещь — «время, мой Лионардо, время, дети мои» (цит. по: *Баткин* 1995, с. 114).

Неоднозначное отношение к проблеме прав собственности на время наглядно проявлялось и у протестантских идеологов, например, в высказываниях широко цитируемого Вебером влиятельного английского протестантского теолога и проповедника Р. Бакстера (1615—1691). С одной стороны, Бакстер утверждает, что «каждый потерянный час труда *отнят у Бога* (курсив наш. — *И. С., А. П.*), не отдан приумножению славы Его», подразумевая, что время принадлежит Богу. С другой стороны, Бакстер наставляет: «Дорожи своим временем (курсив наш. — *И. С., А. П.*), заботься всякий день больше о том, чтобы не терять время, чем о том, чтобы не потерять свое золото или серебро» (цит. по: *Вебер* 1990 [1904—1905], с. 186; с. 251, сн. 208).

Как и в случае с проблемой ценности, для анализа эволюции концепций собственности на время целесообразно привлечь современный аналитический аппарат. В современной теории право собственности представляет собой комплексное понятие и включает целый ряд элементов, в том числе: «1) право владения, т. е. исключительного физического контроля над вещью; 2) право пользования, т. е. личного использования вещи; 3) право управления, т. е. решений об использовании вещи; 4) право на доход, т. е. на блага, проистекающие от предшествующего личного пользования вещью или от разрешения другим лицам пользоваться ею (иными словами — право присвоения)» и целый ряд более мелких прав (*Капелюшников* 1990, с. 11—12). С этой точки зрения любопытно посмотреть на историю двух экономических феноменов — прибыли и заработной платы, стоявших в эпицентре дискуссий о ценности и правах собственности на время.

Кредитно-ссудные операции и процент по займам были известны с древнейших времен. Как свидетельствуют многочисленные исторические источники, процентные ссуды возникают едва ли не вместе с появлением самых примитивных денег, задолго до появления монетной чеканки (см.: *Nelson* 1949; *Homer* 1963). Например, выдача процентных ссуд в виде зерна и серебра широко практиковалась в Шумере уже в III тыс. до н. э. Процентные ссуды существовали в Древнем Египте и Ассирии, Древней Греции и Риме, Византии и Индии (см. табл. 5.4).

Точно так же с древнейших времен величина процентной ставки по ссудам была объектом регулирования и разнообразных ограничений. Более того, в европейской культуре уже в эпоху античной архаики выдача займов под процент и ростовщичество начинают считаться малопочтенным занятием и в течение последующих веков почти постоянно подвергаются различным ограничениям, а то и вовсе запрещаются.

Еще в Законах Хаммурапи (1792—1750 до н. э.) верхний предел годовой ставки процента по ссудам в серебре был установлен в размере 20%, и это количественное ограничение действовало в Вавилоне до VI в. до н. э. Борьба за ограничение ростовщичества или по крайней мере за понижение ссудного процента неуклонно велась в Древней Греции начиная с законов Солона. В Древнем Риме, согласно Законам двенадцати таблиц, принятым в 443 г. до н. э., был установлен легальный максимум годовой процентной ставки в размере $8\frac{1}{3}\%$. Затем величина ссудного процента несколько раз изменялась в середине IV в. до н. э., в ходе борьбы между патрициями и плебеями, но в результате величина максимума осталась неизменной¹⁴. Лишь в 88 г. н. э., в ходе гражданской войны между оптиматами и популярами, максимальный уровень процента подняли до 12%. Этот же максимум подтвердил император Константин в 325 г., а чуть позднее, в том же IV в., максимум был увеличен до $12\frac{1}{2}\%$.

В Византии этот лимит действовал до VI в., когда Кодекс Юстиниана установил более низкие и дифференцированные максимумы (от 4 до 8%) по разным видам ссуд. Только в IX в. они были увели-

¹⁴ В 347 г. до н. э. максимальный годовой процент был уменьшен до $4\frac{1}{6}\%$, а примерно в 342 г. до н. э. процентные ссуды были вообще запрещены (впрочем, этот запрет продержался всего два года). В 340 г. до н. э. был восстановлен традиционный максимум в $8\frac{1}{3}\%$.

Таблица 5.4.

Обычные годовые процентные ставки по ссудам
(на срок до одного года, %)

Период	Шумер и Вавилон	Греция	Рим	Италия	Испанские Нидерланды	Франция
XXXX—IX вв. до н.э.	20—25					
XVIII—VIII вв. до н.э.	10—25					
VII в. до н.э.	10—20					
VI в. до н.э.	10—20	16—18				
V в. до н.э.		10—12	8+			
IV в. до н.э.		10—12	8+			
III в. до н.э.		6—12	8+			
II в. до н.э.		6—9	6—8			
I в. до н.э.		6—12	4—12			
I в. н.э.		8—9	4—12			
II в.			6—12			
III в.			12+			
IV в.			12+			
V в.			12+			
XII в.					10—16	
XIII в.				8—15	10—16	15—20
XIV в.				7—15	10—25	15—20
XV в.				5—15	8—17	
XVI в.				4—12	4—12	5—12

Источник: *Homer* 1963.

чены (до $8\frac{1}{3}$ — $11\frac{1}{8}$ %), и эти ограничения сохранялись до XIV в., т. е. до падения Византии.

В Западной Европе выдача процентных ссуд была полностью запрещена ок. 800 г. (в период правления Карла Великого), и до начала XII в. формальный запрет на взимание процента по ссудам существовал в большинстве европейских государств. Начиная с XII в. полный запрет процентных ссуд постепенно исчезает из хозяйственной и правовой практики европейских стран, но те или иные ограничения на величину процентных ставок и условия предоставления процентных займов сохраняются и по сей день практически во всех странах, в том числе и в наиболее экономически развитых.

В иудео-христианской культурной традиции осуждение процентных ссуд и ростовщичества восходит к многочисленным высказываниям на эту тему, содержащимся в Ветхом Завете (позднее часть этих высказываний была воспроизведена в Новом Завете). Осуждение ростовщичества проходит сквозной нитью и во многих работах раннехристианских авторов¹⁵. Начало активного вмешательства Церкви в регулирование ссудных операций датируется по крайней мере 325 г., когда на Никейском соборе клиру было запрещено заниматься ростовщичеством (со ссылкой на Псалом 14: «Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? ... Кто серебра своего не отдает в рост...» — Пс. 14:1, 5). В 850 г. Синод Павии отлучает ростовщиков от церкви, и с этого момента церковный запрет ростовщичества принимает уже всеобщий характер и неоднократно подтверждается впоследствии (в частности II и III Латеранскими соборами в 1139 и 1187 гг.).

Надо сказать, что полностью подавить кредитно-ссудные операции Церкви не удалось. В большинстве стран Европы на протяжении всего Средневековья продолжали существовать официальные ростовщики. Точно так же существовали государственные займы, кредиты и иные, довольно изощренные, виды кредитно-ссудных операций. Формальным поводом для разрешения заниматься ростовщичеством, хотя и с множеством ограничений, была известная библейская заповедь: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни

¹⁵ Например, в трудах Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана (ок. 160 — после 220 г.), императора Грациана (359—383), Григория Назианзина (ок. 330 — ок. 390), Григория Нисского (ок. 335 — ок. 394), Св. Иеронима (340—420) и др. (см.: *Зейпель* 1913, с. 171—186).

хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всем...» (Втор. 23:19—20). Это, в частности, послужило одной из причин высокой доли инородцев, прежде всего евреев, среди ростовщиков многих стран средневековой Европы. Хотя иудейская религия относилась к ростовщичеству так же отрицательно, как и христианская (большинство содержащихся в Библии «антиростовщических» высказываний содержится в Ветхом, а не в Новом Завете), представители обеих религий использовали приведенную цитату для обоснования ссуд иноверцам (хотя это не слишком мешало давать деньги в рост и единоверцам). Впрочем, евреи составляли подавляющую часть ростовщиков лишь до XII в., когда по всей Европе их начали теснить ломбардцы, выходцы из Северной Италии (отсюда появились «ломбарды»).

Некоторое влияние на борьбу Церкви со ссудным процентом оказало распространение протестантизма в XVI в. Лютер, Цвингли и другие авторитеты протестантских церквей высказывали мнение о приемлемости небольшого процента (5—6% в год), а Кальвин даже установил в Женеве в 1547 г. легальный 5%-й максимум. Но в целом отношение протестантских церквей к ростовщичеству как профессиональному занятию было все же скорее негативным, чем позитивным. Длинный ряд примеров нетерпимости протестантов к ростовщикам (мотивированной осуждением склонности к наживе) можно найти, в частности, у М. Вебера¹⁶.

Католическая Церковь признала право государства легализовать кредитные операции только в XVIII в. В 1836 г. Ватикан официально постановил, что получать процент от разрешенных законом ссудных операций может каждый. Наконец, последняя энциклика по этому поводу была издана в 1950 г. папой Пием XII, который объявил, что банкиры «честно зарабатывают на жизнь», и одобрил занятия банковской деятельностью.

¹⁶ «В Нидерландах Южноголландский синод 1574 г. ответил на поставленный ему вопрос следующим образом: „Ломбардцев не следует допускать к причастию, несмотря на то, что их деятельность разрешена законом“. Провинциальный синод Девентера от 1598 г. (ст. 24) распространил это на всех, служащих у „ломбардцев“; синод в Горихеме 1606 г. установил строгие и униженные условия, при которых жены ростовщиков могут быть допущены к причастию, и еще в 1644 и 1657 гг. обсуждалось, допускать ли к причастию ломбардцев» (Вебер 1990 [1904—1905], с. 249—250, сн. 201).

Причины, по которым христианская Церковь выступала против ростовщичества и выдачи ссуд под проценты, были весьма разнообразны — нарушение христианских заповедей «не укради» и «возлюби ближнего», осуждение алчности, лихоимства, тяги к наживе, эксплуатации чужой нужды, стяжательства, прегрешения против справедливости и т. д. и т. п. (подробнее см.: Noonan 1957). Но с XII в. в качестве одного из главных поводов для осуждения ссудного процента на первый план выходит проблема собственности на время.

В средневековом христианском обществе право владения временем принадлежало Богу как его творцу. «Делатель всякого времени — Ты», «Создатель самого времени Ты», «Ты — вечный Создатель всех времен», — снова и снова повторяет Св. Августин, обращаясь к Богу (Августин. Исповедь... 11, XIII, 15; XIV, 17; XXX, 40). Но если вопрос о создателе, а тем самым и о праве владения временем остается уделом дискуссий идеалистов и материалистов, то вопрос о других правах собственности на время — пользования, управления, присвоения и т. д. — стал предметом ожесточенной практической борьбы.

Поскольку время было созданием Бога и он обладал правом владения им, то право управления и присвоения, естественно, должно было принадлежать Церкви. А доход, полученный от ссуды, рассматривался именно как порождение или продукт времени. Иными словами, ростовщик присваивал доход от времени, правами собственности на которое должны были обладать только Бог и Церковь. При этом проблема состояла не в том, что Церковь хотела присвоить себе единоличное право отдавать деньги в рост, — как раз это-то и было запрещено в первую очередь. Речь шла об общем нарушении прав собственности, «вторжении» в чужие владения.

Вопрос о ростовщичестве, будучи правовым по сути, смог разрешиться только правовым путем. Это начало происходить в XII в., в эпоху «первого Возрождения», когда активизировалось использование римского права. Дело в том, что в европейских языках слово «ростовщичество» (например, английское usury) происходило от латинского usura — «использование», в данном случае заемных средств, а тем самым и времени. Однако в римском праве ссуда рассматривалась как отказ от использования денег, т. е. их жертва. В результате от латинского же intereo — «гибнуть», «пропадать» — было образовано interis (от которого произошло современное английское interest — «процент»). Термин interis стал стандартным с XIII в., вначале как

наименование платы или штрафа за просрочку долга. Затем он был перенесен на любые платежи по ссудам¹⁷.

В XIII—XIV вв. проблема собственности на время продолжала активно обсуждаться в работах религиозных мыслителей. И хотя такие авторитеты, как Фома Аквинский (1225/26—1274) и Иоанн Дунс Скотт (1266—1308), активно отстаивали тезис о незаконности «торговли временем», в трудах схоластов и канонистов все чаще появляется и иная точка зрения (см.: Noonan 1957; McLaughlin 1939—1940). «Прежде всего время начинает рассматриваться как фактор, безразличный для цены продуктов; этим обстоятельством оправдывает повышение платы при продаже в рассрочку уже Эгидий из Лессине, ученик Фомы, а вслед за ним и другие схоласты. Другой ученик Аквината, Эгидий Римский, нашел возможность оспорить положение о том, что время не продается» (Кудрявцев 1993, с. 55). В XV в. эти идеи получили развитие в работах Бернардино Сиенского, Лоренцо Ридольфи, Антонина Флорентийского и других виднейших церковных мыслителей эпохи Возрождения. Проблема связи процента с временем обсуждалась и в работах протестантских авторов XVI—XVII вв., хотя и не слишком активно (см.: Nelson 1949; библиографию см. также в: Шумпетер 1990 [1954], с. 257).

Но гораздо большее значение имел переход проблемы взаимосвязи между процентом и временем из области умозрительных теологических дискуссий в практическую плоскость, который произошел в XV—XVI вв. С этого момента представления о связи между процентом, капиталом и временем становятся действительно массовыми: ими проникаются все, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к финансовым расчетам. Развитие системы бухгалтерского учета, зафиксированное, в частности, в известном трактате итальянского математика Луки Пачоли (Пачоли 1994 [1494]), сопровождалось созданием концепции сложного процента, а это, в свою очередь, привело к разработке методов капитализации и дисконтирования (*ит. sconto, англ. discount*)¹⁸. Мы не смогли установить точное время их

¹⁷ Речь, естественно, идет о латыни, являвшейся официальным языком вплоть до начала Нового времени, и о современных романских языках. В немецком языке ссудный процент называется *Zins*, что первоначально означало «оброк», «подать», «налог», «повинность», «дань». Ростовщик называется словом *Wucherer* (от *Wuchs* — «рост»), что прямо соответствует русскому термину.

¹⁸ Капитализацией называется наращение долга по сложным процентам, т. е. присоединение начисленных процентов к первоначальной сумме.

изобретения, но, судя по имеющимся данным, они стали использоваться в конкретной хозяйственной практике как минимум с XVI века.

Метод дисконтирования применяется для оценки ценности права собственности на получение определенного дохода в будущем, причем эта оценка существенным образом зависит от ставки ссудного процента. «Так, ценность вечного права на доход в размере 1 долл. в год при 4% -й ставке составляет $1/0,04 = 25$ долл. При расчете стоимости права на получение дохода в течение определенного периода времени из стоимости вечного права в начале периода вычитается стоимость вечного права в конце периода» (Шемятенков 1977, с. 49). Этот метод используется также при учете векселей (т. е. при покупке долговых процентных обязательств до наступления срока их погашения) и в целом ряде других финансовых операций.

Благодаря широкому использованию метода дисконтирования в хозяйственной практике, в сознании рыночных субъектов утвердилась прочная и однозначная связь финансовых операций с временем. Например, современное практическое пособие по методам финансовых и коммерческих расчетов начинается со следующего абзаца: «В практических финансовых и коммерческих сделках... фактор времени... играет не меньшую роль, чем размеры денежных сумм. Необходимость учета этого фактора определяется сущностью самого процесса финансирования и кредитования и выражается в виде принципа неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени» (Четыркин 1992, с. 7).

В XVII—XVIII вв. начинается научная разработка проблемы процента, прежде всего в трудах английских философов и экономистов — У. Петти, Дж. Локка, Д. Юма, Дж. Масси, И. Бентама и др. Но проблема связи процента и времени в этих сочинениях отходит на второй план; одним из немногих исключений можно считать замечание Б. Франклина: «Тот, кто потерял пять шиллингов, не только утратил эту сумму, но и всю прибыль, которая могла быть получена, если деньги пустить в дело», поэтому «тот, кто продает в кредит, назначает цену за то, что он продает, равную основной стоимости плюс процент с его денег за то время, пока они не находились в деле» (Франклин 1956 [1736], с. 80).

Обратная операция, т. е. приведение ценности разновременных (обычно будущих) денежных поступлений к текущему моменту времени на основе ставки процента, называется дисконтированием.

Спустя ровно 100 лет, в работе, опубликованной в 1836 г., английский экономист Н. Сениор попытался развить эту идею, связав проблему процента с «воздержанием» (abstinence). Сениор считал, что процент является платой за «воздержание» от потребления в течение определенного времени (Senior 1836). Дальнейшее развитие этот тезис получил у Дж. Милля, который, в частности, писал: «... Весь капитал есть продукт сбережения, т. е. воздержания от потребления ради будущей пользы» (Милль 1980—1981 [1848], т. 1, с. 285). Соответственно норма процента «зависит от сравнительной ценности, которую придают в данном обществе настоящему и будущему» (т. 2, с. 130).

Но фундаментальные основы современной теории капитала и процента, в которой фактор времени играет самую существенную роль, были разработаны лишь в конце XIX — начале XX в. Речь идет о работах таких видных экономистов, как австриец Е. Бем-Баверк, англичанин А. Маршалл, швед К. Викселль, француз А. Ландри и американец И. Фишер¹⁹. Все они рассматривали время как ключевой элемент хозяйственной практики и экономического анализа. Так, А. Маршалл писал, что именно «фактор времени... лежит в основе главных трудностей при решении почти любой экономической проблемы» (Маршалл 1983—1984 [1890], т. 1, с. 47), а И. Фишер полагал, что человек полностью свободен от каких-либо объективных законов природы и общества за одним исключением — «великой „независимой переменной“ человеческого опыта — времени» (Fisher 1923, p. 51).

Не вдаваясь в детали теоретических построений перечисленных авторов и их последователей, равно как и существовавших между ними расхождений (подчас весьма острых), отметим лишь некоторые общие черты разработанной ими теории капитала и прибыли²⁰.

Прежде всего, в англоязычной экономической литературе сениоровский термин «воздержание» (abstinence) был заменен на более нейтральное «ожидание» (waiting; не путать с «ожиданиями» — expectations), но основная посылка о том, что ссудный процент является «вознаграждением за потери, с которыми связано ожидание будущего удов-

летворения от материальных ресурсов» (Маршалл 1983—1984 [1890], с. 311), осталась по существу неизменной.

Вторым существенным компонентом этих теорий было активное использование упоминавшегося выше принципа дисконтирования будущих доходов, применявшегося в хозяйственной практике начиная как минимум с XVI в. И в этом случае упомянутые авторы не были первопроходцами в применении принципа дисконтирования в теоретическом анализе: например, К. Маркс использовал этот принцип при разработке своей теории ренты (цена земли определяется как капитализированная рента, т. е. дисконтированный по текущей ставке процента поток будущих рентных платежей). Но теперь принцип дисконтирования был распространен на всю теорию капитала, которая увязывалась с опять-таки широко применяемым в хозяйственной практике различием между «запасом» и «потоком» благ (в бухгалтерском учете это различие отражено в использовании балансовых счетов, с одной стороны, и счетов прибылей и убытков — с другой). «Запас богатства, существующий в данный момент времени, называется капиталом. Поток услуг в течение периода времени называется доходом» (Fisher 1923, p. 52—53). Соответственно ценность капитала представляет собой «просто нынешнюю стоимость будущего дохода от данного капитала» (Fisher 1923, p. 211).

Наряду с использованием уже известных концепций, создатели современной теории капитала и процента ввели принципиально новый элемент анализа — межвременные предпочтения (time preference). Если в практической деятельности ссудный процент выступает лишь как показатель, позволяющий определить текущую ценность разновременных денежных поступлений (present value), то в теории норма процента, как правило, трактуется как количественное выражение временных предпочтений, т. е. увязывается с теорией ценности и оценкой предельной полезности благ. Иначе говоря, вводится предпосылка о том, что сегодняшняя ценность (предельная полезность) блага для экономического субъекта отличается от ценности (предельной полезности) того же блага в будущем. Обычно предполагается, что будущая ценность благ меньше сегодняшней, и в этом случае норма процента является положительной; но теоретически возможно постоянство или даже возрастание предпочтения благ во времени, и тогда норма процента равна нулю или отрицательной величине.

Очевидно, что ссудный процент выступает в качестве индикатора взглядов экономических субъектов на будущее. Тем самым про-

¹⁹ Бем-Баверк 1909 [1884]; 1992 [1886]; Böhm-Bawerk 1959 [1889]; Маршалл 1983—1984 [1890]; Wicksell 1954 [1893]; 1965 [1898]; 1935 [1901]; Landry 1904; Fisher 1930 [1907]; 1923.

²⁰ Подробнее см., например: Шемятенков 1977; Блауг 1994 [1962], гл. 12; Schumpeter 1954.

блема процента как отражения представлений о влиянии времени на ценность экономических благ и ценности самого времени как экономического блага смыкается с проблемой формирования ожиданий (expectations), т. е. представлений о будущем, включающих риск и неопределенность (эту тему мы обсудим в следующем параграфе).

Упомянем, наконец, еще об одном аспекте взаимосвязи капитала и времени, а именно, концепции «человеческого капитала». Создание этой концепции относится уже к 60-м годам нашего века, и в числе ее авторов были, в частности, Гэри Беккер и Теодор Шульц, ставшие впоследствии лауреатами Нобелевской премии (Becker 1964; Schultz 1963; 1971; см. также: Капелюшников 1981). Впрочем, идея о накоплении «человеческого капитала» восходит как минимум к А. Маршаллу, который писал: «... Средние классы и лица свободных профессий всегда во многом себе отказывали, чтобы вкладывать капитал в образование своих детей, тогда как рабочие расходуют значительную часть заработной платы на укрепление здоровья и физической силы своих детей... Способности человека так же важны в качестве средства производства, как и любой другой вид капитала» (Маршалл 1983—1984 [1890], т. 2, с. 308).

Механизм формирования человеческого капитала аналогичен вещественному. Для формирования вещественного капитала необходимо пожертвовать потреблением, человеческого — пожертвовать производством (т. е. временем использования своей рабочей силы). В обоих случаях размеры капитала определяются величиной жертвуемых благ (Becker 1964, р. 8—18). Социальные выгоды (отдача) от человеческого капитала есть дисконтированная текущая ценность обусловленного им приростного потока будущих доходов плюс некие выгоды от дополнительных выигрышей в сфере потребления, которые плохо поддаются измерению.

Как подчеркивает Т. Шульц, концепция инвестиций в человеческий капитал ставит вопрос о «включении ресурса „человеческого времени“ в систему распределительных отношений, касающихся как рыночных, так и нерыночных видов деятельности. Между понятием человеческого капитала и концепцией распределения времени существует сильная и очевидная связь» (Шульц 1994 [1974], с. 41). Время здесь превращается в объект инвестирования, и эти инвестиции приносят инвестору в будущем определенный доход (см., например: Graham 1981).

Первым компонентом формирования человеческого капитала являются затраты, связанные с образованием. В стандартной модели такого типа социальные издержки формирования человеческого капитала равны сумме образовательных затрат (учителя, книги, школьные здания) и альтернативной стоимости потраченного на образование времени²¹. Вслед за образованием была предпринята попытка рассмотреть в качестве инвестиций в человеческий капитал затраты ресурсов (времени и средств) на укрепление и поддержание здоровья (см., например: Grossman 1972; Frankenberg 1989). И хотя это направление исследований получило несколько меньше внимания, чем инвестиции в образование, данный подход также обрел признание в экономической теории.

Наконец, в процесс формирования человеческого капитала были включены затраты ресурсов (времени и средств) на воспитание и уход за детьми²². Как отмечает Т. Шульц, «теория инвестиций в человеческий капитал покоится... на предположении о том, что существуют определенные расходы (жертвы), предпринимаемые индивидом по собственному выбору для создания производительного потенциала (productive stock), воплощенного в самом человеке, — потенциала, благодаря которому его владелец впоследствии будет получать определенные услуги». С этой точки зрения дети могут рассматриваться как форма человеческого капитала, поскольку «вложения в детей, затраты на их воспитание дают отдачу (психологическую или материальную) в будущем» (Шульц 1994 [1974], с. 40, 41).

Еще один экономический параметр, который тесно связан с временем, — это заработная плата. В принципе, повременная заработная плата существовала уже во времена античности, где некоторые виды деятельности оплачивались на дневной основе. Например, в Древней Греции подневно оплачивался труд носильщиков, каменщиков и некоторых других наемных работников. Более того, уже тогда существовало представление о разной ценности рабочего времени, что выражалось не только в дифференциации платы по видам труда, но

²¹ Концепция образования как инвестиций в человеческий капитал получила развитие в: Thurow 1970; Schultz 1963; 1971; Bowen et al. 1978; Blaug 1970; Кендрик 1978 [1976]; Mincer 1974; Kicker 1971 и др.; см. также: Капелюшников 1981; обширную библиографию по экономическим проблемам образования см. в: Neuman 1995.

²² Развитие этого подхода связано прежде всего с именем Т. Шульца: Schultz 1971; 1974; 1980; см. тж.: Шульц 1994 [1974].

и в более высоком уровне оплаты ночной работы по сравнению с дневной (*Гиро* 1995 [1890], с. 172).

Но в целом повременная оплата в эпоху античности и в Средние века была скорее исключением, чем правилом. Сам наемный труд тогда был редкостью, и в большинстве случаев он оплачивался на сдельной основе. Лишь в XII—XIII вв. развитие городов обусловило не только рост ремесел и торговли, но и расширение системы наемного труда. Впервые возникают достаточно большие группы наемных работников, прежде всего строителей — каменщиков и плотников. Если постройки на землях феодалов и Церкви в большинстве случаев еще производились в рамках системы барщины и принудительных отработок, то в городах строительные работники, как правило, трудились по найму, и их работа оплачивалась в основном на повременной основе²³. Существенное значение для развития системы наемного труда имело строительство общественных зданий и сооружений — каменных церквей, первых университетов и больниц, мостов и т. д. (см.: *Salzman* 1967).

В эту же эпоху расширяется число наемных рудокопов, что было обусловлено развитием горнодобывающей промышленности. Все чаще наемными работниками становятся слуги, составлявшие весьма значительную часть трудоспособного населения. Наконец, появляются первые, хотя пока еще и немногочисленные, наемные работники в сельском хозяйстве²⁴. Сначала рабочее время измерялось только в целых днях, но постепенно найм стал производиться на половину или часть дня. Это же относилось к отработке барщины. Распространение сезонного найма также способствовало пониманию ценности времени: в частности, день работы, скажем, каменщика, в летний сезон оплачивался дороже, чем в несезонное время (см.: *Thrift* 1988).

Что касается борьбы за время между нанимателями и наемными работниками, то вплоть до конца XVIII в. исходная установка состояла в том, что все время нанимаемого работника полностью принадлежит работодателю и он вправе распоряжаться этим временем. На практике это выражалось в максимальном удлинении рабо-

²³ Долгосрочная динамика реальной заработной платы строительных рабочих в Южной Англии с середины XIII в. была приведена нами на рис. 4.3 в гл. 4.

²⁴ О развитии наемного труда начиная с XIII в. см., например: *Бродель* 1986—1992 [1979], т. 2, с. 38—39, где также приведена библиография; см. также: *Le Goff* 1963.

чего времени, доходившем до пределов физических возможностей (по существу рабочее время занимало весь световой день).

Эти взгляды находили отражение и в научных представлениях, доминировавших начиная с XVI и до середины XVIII в., которые можно условно назвать меркантилистскими²⁵. Согласно этим представлениям, рабочим свойственна лень и нежелание трудиться. Поэтому в национальных интересах следует принуждать рабочих к труду — либо неэкономическими методами (силовыми или моральными), либо за счет поддержания заработной платы на минимальном уровне, что должно служить стимулом для привлечения максимального количества рабочих и максимального увеличения рабочего времени (см.: *Furniss* 1920; *Meek* 1956; *Wiles* 1968).

В конце XVIII в. Адам Смит одним из первых предложил принципиально иной подход к проблеме рабочего времени, назвав в качестве основного человеческого свойства не лень и нежелание трудиться, а рациональность и стремление к удовлетворению потребностей. Отсюда следовал вывод о том, что более высокая заработная плата является стимулом к более продолжительному труду и задача правительства должна состоять в ограничении рабочего времени, поскольку иначе рабочие могут полностью истощить свои силы, стремясь увеличить собственный доход. Правда, как раз в 1770-е годы в Англии прошла первая волна требований о сокращении рабочего дня (и во многих случаях это сокращение произошло). Смит пытался объяснить этот факт возросшей интенсивностью труда и физическими ограничениями, с которыми сталкиваются рабочие, что, впрочем, выглядело не слишком убедительно.

В первой половине XIX в. в Англии было принято несколько так называемых Фабричных актов, ограничивавших продолжительность рабочего дня, в первую очередь для детей. Многие экономисты, и прежде всего Н. Сениор, рассматривали принятие Актов как сугубо политическое решение, наносящее ущерб национальной экономике, способствующее сокращению производства, падению прибылей и упадку промышленности.

Альтернативные взгляды в этот же период отстаивали так называемые социалисты-утописты. На основе идеи Смита и Рикардо о том, что меновая стоимость продукта определяется рабочим време-

²⁵ Обзор эволюции взглядов на проблему заработной платы см., например, в: *Nyland* 1986; *Blyton* 1987.

нем, затраченным на его производство, они делали вывод, что меновая стоимость рабочего дня равна стоимости произведенного за это время продукта. Отсюда следовали тезис о том, что каждый производитель должен получать полную трудовую стоимость своего продукта, и предложение заменить деньги свидетельствами или квитанциями о затраченном рабочем времени.

Эти идеи выдвигали в середине XIX в. Р. Оуэн и Дж. Грей в Англии, И. Родбертус в Германии, П. Прудон во Франции. Оуэн называл такие квитанции «бонами», Родбертус — «рабочими деньгами» и т. п. Соответственно, Р. Оуэн пытался организовать в Лондоне «Национальный базар справедливого обмена», Грей предлагал создать «национальные товарные склады», в которых по трудовым квитанциям можно было бы получать любые продукты, Прудон хотел учредить «народный банк» для предоставления «дарового кредита», а главное — для организации безденежного обмена продуктов по эквивалентам времени²⁶.

Заметим, что идея измерения создаваемой стоимости (или ценности) затраченным временем практически реализовалась не только в сохраняющейся до сих пор во всем мире повременной оплате труда, но и, как крайнее выражение, в существовавших в течение нескольких десятилетий в советских колхозах трудовнях (правда, уже в безбумажной форме, т. е. в виде записей в учетных книгах).

К. Маркс несколько усложнил проблему рабочего времени по сравнению с концепциями своих предшественников, разделив его на необходимое (работа «на себя») и прибавочное (работа «на капиталиста»). «Сумма необходимого труда и прибавочного труда, отрезков времени, в которые рабочий производит стоимость, возмещающую его рабочую силу, и прибавочную стоимость, образует абсолютную величину его рабочего времени — рабочий день», а «отношение (прибавочное рабочее время)/(необходимое рабочее время) определяет норму прибавочной стоимости» (Маркс 1960—1962 [1867—1894], т. 23, с. 241, 243).

Из марксовой концепции следовало, что при сокращении рабочего дня (вплоть до необходимого времени) должна была уменьшаться только прибыль, но не зарплата рабочих. Эта ситуация, с теоретической (а в конечном счете и с политической) точки зрения, качествен-

²⁶ О дискуссиях первой половины XIX в. по поводу рабочего времени см., например: *Marvell* 1977; *Nardinelli* 1980; *Ricciardi* 1981 и др.

но отличается от «рыночной» схемы, когда борьба за сокращение рабочего дня при неизменной зарплате означает лишь торг между работниками и предпринимателями по поводу цены одного рабочего часа (в этом случае уменьшение рабочего дня по существу эквивалентно росту часовой зарплаты).

В трудовой теории стоимости постулировалось, что время является собственностью человека, и, нанимаясь на работу, он лишь продает определенную часть своего собственного времени. Эта позиция принципиально расходилась с установками, господствовавшими в течение нескольких предыдущих веков, согласно которым время наемного работника принадлежало нанимателю (см.: *Nyland* 1986). Теоретическая, идейная и политическая борьба, развернувшаяся по этому поводу в XIX в., завершилась победой наемных работников. Как пишет Н. Трифт, «к 1880 г. время собственников превратилось в собственное время» (*Thrift* 1990 [1980], p. 128). В XX в. тезис о том, что время принадлежит индивиду, уже не подвергается сомнению.

Тем не менее теоретические дискуссии по поводу заработной платы и рабочего времени на этом не прекратились. Принципиально иной по сравнению со сторонниками трудовой теории стоимости подход к анализу проблемы рабочего времени предложил У. Джевонс (*Jevons* 1965 [1871]), использовавший идею максимизации полезности или удовлетворения. Джевонс считал, что труд требует тяжелого напряжения (*painful exertion*), и рабочий работает либо для того, чтобы избежать еще больших страданий (например, голода и смерти), либо для того, чтобы получить выгоды (т. е. удовлетворение от потребления купленных на заработную плату благ), которые перевешивают тяготы труда (в терминах предельных величин). Поэтому повышение заработной платы, как показал Джевонс, вызывает два противоположных эффекта — замещения и дохода. С одной стороны, повышение зарплаты увеличивает стимулы к труду и способствует увеличению рабочего времени, т. е. работа начинает замещать отдых, и тем самым возрастает общая полезность. Но рост часовой зарплаты означает, что предельная полезность дополнительного дохода уменьшается. Те же потребности можно удовлетворить, работая меньшее количество времени (и испытывая меньшие тяготы работы). По мнению Джевонса, исходившего из практики своего времени, эффект дохода оказывается более сильным (подробнее см.: *Kerton* 1971)²⁷.

²⁷ Концепция Джевонса получила развитие в первой трети XX в. в целом ряде теоретических исследований: *Chapman* 1909; *Robbins* 1929; *Hicks* 1963

В принципе, обсуждение проблемы рабочего времени продолжается и по сей день, как в экономической, так и в социологической литературе²⁸, но начиная с 1960-х годов на первый план в теоретических экономических работах выходит иная, более общая проблема — использование времени.

3. Использование времени: аллокация и дисциплина

Представления о структуре времени, равно как и о его ценности, правах собственности на время и его роли как производительного фактора, оказывают существенное влияние на поведение социальных субъектов и во многом определяют характер социальных взаимодействий.

В современной научной литературе проблема использования времени рассматривается обычно в рамках двух внешне взаимоисключающих концепций — аллокации и дисциплины. Разработка теоретической основы этих концепций связывается прежде всего с именами Гэри Беккера и Мишеля Фуко, соответственно (Беккер 1996 [1965]; Foucault 1977 [1975]). Теория аллокации времени, пользующаяся популярностью в основном среди экономистов, акцентирует внимание на проблеме выбора и принятии решений индивидом²⁹. Концепция дисциплины времени, используемая в первую очередь социологами, подчеркивает роль механизмов принуждения, отношений власти и контроля в обществе.

На самом деле эти две концепции являются не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. Во всех обществах и во все эпохи, от древности до современности, структура использования времени инди-

[1932] и др.; об истории этого подхода см.: Reynolds 1974. Например, С. Чэпмен доказывал, что рост реальной зарплаты улучшает качество свободного времени, снижает предельную полезность зарплаты и тем самым мотивирует рабочих к уменьшению рабочего дня.

²⁸ См., например: Nyland 1986; Blyton 1985; 1987; Blyton et al. 1989; Hassard 1989.

²⁹ «Русскому слову „распределение“ в англоязычной экономической литературе соответствуют два термина: allocation и distribution. Первый из них употребляется, когда речь идет о распределении производственных ресурсов между различными видами применения. Второй — когда обсуждается распределение продукта, а точнее, его стоимости между факторами производства и соответственно их собственниками» (Блауг 1994 [1962], с. 460, сн. 1). Поэтому во избежание путаницы мы используем русскую кальку английского термина, которая, впрочем, постепенно входит в употребление в нашей экономической литературе.

видами определялась одновременным действием обоих факторов — свободного принятия решений индивидами и внешнего принуждения (природного или социального). Различия состоят лишь в пропорциях влияния этих факторов и их внутренних механизмов, которые в свою очередь определяются действием исторических, экономических и социальных параметров.

В соответствии с концепцией Г. Беккера, с экономической точки зрения индивиды, а точнее, домохозяйства (households), рассматриваются одновременно как производители и потребители³⁰. В качестве производителей они затрачивают рабочее время, в качестве потребителей — досуг (leisure time)³¹. Домохозяйства производят товары, комбинируя затраты благ и времени в соответствии с правилом минимизации затрат, развиваемым в традиционной теории фирмы. Количества производимых товаров определяются максимизацией функции полезности набора товаров в зависимости от их цен при ограничении на ресурсы. Ресурсы измеряются показателем полного дохода, равного сумме денежного дохода, которым производитель жертвует, используя время и блага для приобретения полезности, а цены товаров измеряются суммой затрат времени и благ (см. также: De Serpa 1971; Juster, Stafford 1985).

Как отмечалось в предыдущем разделе, со времен У. Джевонса в экономической науке укоренилось представление о том, что длительная тенденция к сокращению рабочего времени связана с ростом производительности труда и соответствующими эффектами дохода и замещения, при доминировании первого. В соответствии же с моделью Беккера эффекты замещения, связанные с ростом производительности рабочего и потребительского времени, уравновешивают друг друга и рабочие часы сокращаются главным образом из-за того, что «времяинтенсивные» товары являются роскошью. Попутный результат этого процесса — снижение относительных цен тех благ, которые использовались при производстве таких товаров.

³⁰ Напомним, что в экономической теории в качестве субъектов хозяйственной деятельности, как правило, рассматриваются не индивиды, а условные понятийные конструкции: «фирма», «домохозяйство», «государство» и т. д.

³¹ Понятие leisure time используется в экономической науке со времен Т. Веблена (Веблен 1984 [1899]), но в нашей литературе до сих пор не имеет устоявшегося перевода — это может быть и нерабочее время, и время досуга, и время отдыха, и праздное время, и т. д.

Вышедшая через несколько лет после публикации Беккера работа С. Линдера (Linder 1970) в принципе следует тому же подходу: время в самом общем плане делится на работу и потребление. Развивая эту концепцию, Линдер доказывает, что по мере роста производительности труда потребитель располагает все большим количеством товаров, но время для их потребления не увеличивается. Поэтому возрастает «товароемкость» времени потребления и потребитель начинает постоянно торопиться (например, все меньше времени уделяется таким занятиям, как фуршеты, секс или посещение церкви). Отсюда возникает «нехватка времени», которую Линдер обозначил как «временной голод» (time famine). Для борьбы с временным голодом, усиливающимся по мере роста доходов, люди приобретают больше времясберегающих услуг и меньше времяпотребляющих товаров, постепенно сокращая свое рабочее время.

Линдер не только попытался развить модель Беккера, но и дополнил ее благодаря учету некоторых реальностей. Например, как полагает Линдер, на низком уровне развития общества помимо времени производства и времени потребления существует также время безделья (idleness), но оно постепенно исчезает по мере экономического развития. В свою очередь увеличивается «время, посвящаемое развитию ума и духа», которое, впрочем, также можно свести к потреблению — продуктов культуры. Наконец, кроме работы и потребления люди тратят время на приобретение славы, власти, уважения, на сохранение старой дружбы и связей и создание новых, на участие в общественной жизни и, наконец, расходуют время на поиск истины и спасение души (что не тождественно потреблению культуры; дискуссию по работе Линдера см. в: Schelling 1973; Hirschmann 1973).

Что касается социологического анализа проблемы использования времени, то, в сущности, тезис об использовании людьми времени для контроля, регулирования и синхронизации социальной жизни выдвигался еще в работах П. Сорокина и У. Мура (Sorokin 1964 [1943]; Moore 1963a). Но наиболее заметное развитие тема времени как инструмента социального контроля получила в работе М. Фуко «Надзирать и наказывать» (Foucault 1977 [1975]). По его мнению, власть в первую очередь обеспечивает контроль за временем и способами его использования. Главную роль здесь играет, по Фуко, процесс дисциплинирования, основным элементом которого является формирование специфического восприятия времени как разделенного на заданные интервалы.

Дисциплинирование может реализоваться двумя способами — в форме распорядка дня (расписания) и в форме заданной последовательности действий. По мнению Фуко, первыми учреждениями, где начал регулироваться распорядок дня, были монастыри, а затем эта система утвердилась в армии, тюрьмах, школах и т. д. Дисциплина последовательности действий впервые стала практиковаться в армии (муштровка солдат, обучение приемам боя как последовательности действий, разборка и сборка оружия и т. д.), а оттуда она постепенно распространилась на производство и легла в основу системы Тэйлора, конвейерного производства и т. д.

После выхода в свет работы Фуко проблема времени как инструмента власти и контроля приобрела достаточно большую популярность в социологической литературе. В частности, в ряде работ были проанализированы восприятие и дисциплина времени в тюрьмах и концентрационных лагерях. Как показано в этих исследованиях, время заключенного сужается, он теряет временную ориентацию. Этот факт был хорошо известен, в частности, тоталитарным режимам: достаточно вспомнить такие методы лишения временной ориентации, как отсутствие часов, ночные допросы, недосыпание, постоянно горящий свет в камере и т. д. (Rifkin 1987, p. 166).

Еще одно направление, анализирующее влияние представлений о времени на социальное поведение, связано с концепцией рутинизации социальных действий и интеракций, обсуждение которой началось в конце 1960-х годов (Kolaja 1969). Существенный вклад в разработку этой проблемы внес И. Гоффман (Goffman 1972), рассматривавший ее в контексте соотношения дискурсивного и практического сознания. По Гоффману, периоды социальных встреч (encounters или social occasions), во время которых достигается эффект соприсутствия (co-presence), чередуются с периодами «мертвого» или «убитого» времени³². Тем самым день оказывается жестко структурирован, поделен на части, соответствующие разному восприятию времени.

³² Как отмечает А. Гидденс, «любопытно, что время, которое нужно убить, зачастую называют „свободным“; это время, заполняющее промежутки между более значимыми отрезками жизни. Если у женщины есть полчаса между двумя свиданиями, она решит, скорее, провести это время за чтением газеты или бесцельно слоняясь, нежели употребить его „с пользой“. Убитое время отрезано от остальной жизни человека и не имеет для нее никакого значения (если не случается нечто непредвиденное)» (Гидденс 1994 [1991], с. 110).

Но если у Гоффмана рутинизация взаимодействий обусловливается прежде всего внутренним восприятием времени индивидом, то другие авторы подчеркивают внешнюю заданность и социальную обусловленность повторяющихся взаимодействий. Типичным примером являются исследования Э. Зерубавеля, который детально рассматривает роль устойчивых временных схем в рутинизации социальной жизни — будь то семидневная рабочая неделя или пребывание в больнице с жесткой календарной и часовой схемой режима, процедур и смены персонала (Zerubavel 1979a; 1979b; 1981; 1985).

В свою очередь А. Гидденс подчеркивает, что с точки зрения рутинизации взаимодействий существенное значение имеет «позиционирование» (positioning) во времени дня, равно как и в конкретном периоде жизненного цикла. Позиционирование на жизненном пути тесно связано, по его мнению, с понятием социальной идентичности (см.: Giddens 1984, p. 68—92). При этом Гидденс отмечает, что «определение отношений времени—пространства в социальных системах должно быть исследовано в связи с происхождением власти» (Giddens 1981, v. 1, p. 3).

Наконец, еще один вариант подхода к проблеме влияния времени на социальное поведение предлагает теория «географии времени» (time-geography), разработанная Хагерстрандом и его последователями, где время наряду с пространством выступает в качестве ограничителя человеческой деятельности (Hägerstrand 1975; см. также: Giddens 1984, p. 110—139). Этот подход близок к экономическому анализу времени действующего, в котором время для индивида — ограниченный ресурс, предназначенный к использованию. Временные и пространственные ограничения выступают в качестве регулятора, ограничителя и организатора социальных взаимодействий.

Что касается истории использования времени, то эта тема затрагивается в довольно большом числе публикаций, однако количество специальных исследований здесь сравнительно невелико. Основная часть работ по использованию времени охватывает период не ранее, чем с XIX в., хотя, благодаря усилиям медиевистов, применительно к позднему Средневековью эта тема разработана несколько лучше, чем для других эпох доиндустриального периода.

На практическом уровне в структуре использования времени можно выделить четыре основных компонента. Первый — это время, расходуемое человеком на удовлетворение физиологических потребностей: сон, еду, уход за собой. Второй компонент включает в себя

рабочее время, которое может состоять из работы по найму, работы в домашнем хозяйстве и т. д. Третья составляющая структуры использования времени — так называемое инвестируемое время, основанное на концепции человеческого капитала, о которой шла речь в предыдущем разделе. Эта составляющая включает время, затрачиваемое индивидом на собственное образование, улучшение и поддержание своего здоровья, а также на воспитание и уход за детьми. Наконец, последний компонент представляет собой так называемое «свободное время», включающее отдых, развлечения и просто ничегонеделание.

Представление о современной структуре использования времени по перечисленным компонентам могут дать данные, приведенные в табл. 5.5³³. Но даже современные оценки, выполненные по всем правилам социологических обследований, образуют весьма и весьма условную и приблизительную картину структуры использования времени. Так, например, очень трудно отделить время, инвестируемое в образование, от рабочего времени — совершенно очевидно, что значительная часть знаний, навыков, умения приобретается именно в процессе работы, идет ли речь о современном работнике или о средневековом подмастерье.

Очевидно также, что автоматическое причисление времени, которое человек проводит на работе, к рабочему времени (как это сделано в табл. 5.5), абсолютно нереалистично: «перекуры» существуют даже при конвейерном производстве, не говоря уже о менее жестких видах организации трудовой деятельности. В частности, в том же СССР в условиях экономики товарного дефицита значительная часть женщин-служащих использовала формальное рабочее время для хождения по магазинам и стояния в очередях за продуктами и промышленными товарами.

Заметим также, что несмотря на распространение исследований по бюджетам времени после второй мировой войны, оценка структуры этих бюджетов в современных индустриальных странах представляет подчас гораздо большую сложность, чем применительно к

³³ Оценки сделаны по материалам обследования бюджетов времени занятых в промышленности СССР в 1985 г., выборка включала 56 тыс. семей. Анализу бюджетов времени в СССР посвящена обширная литература; см., например: Артемов и др. 1962; Патрушев 1969; 1978; 1979; 1992; Болгов 1970; Колпакова, Патрушев 1971; Супрун 1972; Кутырев 1977; Думнов и др. 1984.

Таблица 5.5.

**Структура годового бюджета времени
занятых в промышленности СССР, 1985 г., %**

Всего	100
Время на удовлетворение физиологических потребностей	40
сон	33
прием пищи, уход за собой, болезни	7
Рабочее время	40
работа на производстве	23
время, связанное с работой на производстве (передвижение к месту работы и обратно, обеденный перерыв, прием и сдача смены)	5
работа по дому и на приусадебном участке	9
приобретение товаров и услуг	3
Инвестируемое время	3
в образование и здоровье	1
в детей	2
Свободное время	17

Рассчитано по: *Народное хозяйство...* 1987, с. 110, 140, 427—429.

прошлым, доиндустриальным обществам. Приведем типичный пример затруднений, связанных с определением структуры использования времени в странах с рыночной экономикой. Если вы приглашаете делового партнера на обед в ресторан и проводите там с ним, скажем, двухчасовые переговоры, то как классифицировать это время — как рабочее, как свободное (к которому обычно причисляется посещение ресторанов) или как время, израсходованное на прием пищи, т. е. удовлетворение физиологических потребностей?

Трудность определения структуры бюджетов времени как в современном обществе, так и в прошлом, заключается также в высокой степени зависимости этой структуры от социальных параметров, от принадлежности к той или иной социальной группе (см., например: *Belloni* 1986). К этому можно добавить и возрастные различия: очевидно, что структура использования времени каждого человека

сильно меняется на протяжении его жизни, т. е. в ходе так называемого «жизненного цикла» (см.: *Ghez, Becker* 1975).

Переходя к анализу результатов, полученных в исторических работах, остановимся вначале на чисто количественных характеристиках структуры бюджетов времени. К сожалению, как отмечалось, до начала XX в. они имеют отрывочный и несистематический характер.

Что касается «физиологического» времени, то оно, по-видимому, подвержено сравнительно небольшим изменениям. Физиологический минимум времени сна составляет не менее 6 часов в сутки, а среднее время, затрачиваемое на сон взрослым человеком, составляет 7—8 часов. Об устойчивости этого показателя свидетельствуют, в частности, современные межстрановые сопоставления (*Szalai* 1966; 1972; *Calais* 1969). Величина времени, затрачиваемого на удовлетворение других физиологических потребностей (еда и уход за собой), также довольно устойчива и составляет 2—3 часа в сутки.

Конечно, величина «физиологического» времени зависит от социальных и демографических параметров. Например, в 1960-е годы в европейских странах на еду и уход за собой мужчины в среднем затрачивали 1,8 часа, а женщины — 3,3 часа в сутки (*Szalai* 1966). Это время меняется и в ходе жизненного цикла: ясно, например, что дети всегда тратили и тратят на сон больше времени, чем старики. Наконец, существует мнение, что «время, отводимое на сон, — редкое благо и варьируется в зависимости от тех же экономических факторов, которые определяют аллокацию времени потребителями» (*Biddle, Hamermesh* 1990, p. 938). В частности, повышение зарплаток ведет к увеличению рабочего времени и некоторому сокращению времени сна, т. е. последнее также испытывает влияние эффектов замещения и дохода. Но в целом величина «физиологического» времени была подвержена сравнительно небольшим историческим изменениям.

Что касается «рабочего» времени, то его квантификация представляет значительно большую сложность. Некоторые имеющиеся условные оценки среднего числа отработанных часов на одного занятого в Западной Европе приведены в табл. 5.6.

Конечно, эти оценки имеют весьма и весьма условный, точнее, даже иллюстративный характер — не говоря о точности самих наблюдений, здесь не учтены затраты времени на работу в домашнем хозяйстве. Тем не менее в общем можно предположить, что рабочее время начиная с времен Римской империи постепенно увеличивалось вплоть до первой половины XIX в., когда оно приблизилось едва ли не к физи-

Таблица 5.6.

Величина годового рабочего времени в Западной Европе

Период	Количество рабочих часов в год	Доля общего годового времени, %
II—IV вв..	2100—3000	24—26
XII—XIII вв.	2400—2600	27—30
Первая половина XVIII в.	2700—2900	31—33
Первая половина XIX в.	3000—3200	34—37
1870 г.	2900—3000	33—34
1913 г.	2500—2600	28—30
1950 г.	1900—2300	22—33
1987 г.	1500—1800	17—21

Источники: II—XIX вв. — Мельянцеv 1993, с. 117; 1996, с. 236, сн. 7;
1870—1987 — Maddison 1991, p. 270—271. Оценки указанных авторов
сделаны на основе следующих основных источников: McCarthy,
McGaughey 1989, p. 161—162; Cipolla 1981 [1976], p. 91; Bairoch 1985, p. 355;
Marchand, Thélot 1991, p. 190; Bienfeld 1972, p. 111, 283.

ческому максимуму (в некоторых случаях оно составляло 3600—4000 часов в год, т. е. 41—46% годового времени). С середины прошлого века начался обратный процесс — продолжительность рабочего времени стала уменьшаться.

Первый фактор, определяющий величину рабочего времени, — это количество нерабочих дней в году. По некоторым оценкам, доля рабочих дней в поздней Римской империи составляла 50—65% всех дней в году; в XVI в. она равнялась 65—75% годового времени (Мельянцеv 1993, с. 117). Последняя оценка согласуется и с некоторыми другими свидетельствами: так, по данным, приводимым В. Зомбартом, в XVI в. в Баварии в горном деле число рабочих дней составляло от 225 до 262, т. е. 62—72% от числа дней в году (Зомбарт 1994 [1913], с. 17).

Относительно низкая доля рабочих дней в году в доиндустриальных обществах была также связана с объективным фактором, а именно, с влиянием сезонных изменений климата. Значительная часть всей рабочей деятельности осуществлялась в европейских странах, особенно в Центральной и Северной Европе, только в теплое время года, в то время как зимой работа просто прекращалась.

В первую очередь, это происходило, естественно, в сельском хозяйстве, занимавшем доминирующее положение в структуре рас-

пределения экономической активности. Но ограничение числа рабочих дней природными факторами существовало «даже в мире ремесла и торговли, на первый взгляд как будто более свободном от природы... Многие ремесла имели сезонные ритмы активности, как, например, ремесло каменщиков, жалование которых в конце XIII в. было различным зимой и летом. В мире морской торговли... зимой замирала навигация и так было по крайней мере до конца XIII в. ... Суда стояли на якоре даже в Средиземном море с начала декабря до середины марта, а в северных морях часто и дольше» (Ле Гофф 1992 [1964], с. 172).

При этом следует заметить, что хотя, по мнению некоторых авторов, «во все докапиталистическое время число праздников в году было громадным» (Зомбарт 1994 [1913], с. 17), на самом деле в XVI в., например, доля рабочих дней была примерно такой же, если не большей, чем в современных обществах. В подтверждение этого довода мы можем привести пример из недавнего прошлого СССР. В 1985 г. у занятых в промышленности было 244 рабочих дня (67% общего числа дней в году). Остальное приходилось на выходные и праздники (97 дней) и отпуск (24 дня; Народное хозяйство... 1987, с. 140).

Второй фактор, влияющий на величину рабочего времени, — продолжительность рабочего дня. Формально в доиндустриальных обществах рабочий день совпадал со световым, но фактически периоды работы постоянно чередовались с довольно продолжительными перерывами. Однако уже как минимум в XIV в. среди купцов, ремесленников, наемных работников время постепенно начинает использоваться более интенсивно, увеличивается «чистое» рабочее время (Ле Гофф 1963). Усиливается и внешний контроль за рабочим временем: одним из наиболее известных примеров являются рабочие статуты, к которым мы вернемся чуть ниже.

В соответствии с веберианской традицией принято считать, что только возникновение и распространение протестантской религии и соответствующей этики привело к более «плотному» и рациональному использованию времени. Этот тезис Вебер подкреплял многочисленными цитатами из трудов протестантских проповедников, в частности, уже упоминавшегося Р. Бакстера: «Жизнь человека чрезвычайно коротка и драгоценна, и она должна быть использована для „подтверждения“ своего призвания. Трата этого времени на светские развлечения, „пустую болтовню“, роскошь, даже на превышающий необходимое время сон — не более шести, в крайнем случае восьми часов —

морально совершенно недопустима» (цит. по: Вебер 1990 [1904—1905], с. 186).

Отсюда отнюдь не следует, что распространение протестантизма привело к увеличению рабочего времени. Как подчеркивал В. Зомбарт, если следовать все тому же Бакстеру и другим протестантским авторитетам, «все время, которое не посвящается церковной службе, потеряно... Чрезмерные занятия мирскими вещами и коммерцией — это трата времени... И действительно, люди, особенно в Шотландии, этой цитадели пуританизма, долгое время жили согласно подобным наставлениям. Это значит, что они проводили большую часть своей жизни в церкви или в приготовлениях к церковной службе. В субботу, воскресенье и понедельник (все это относится преимущественно к XVII столетию) рыночная торговля была воспрещена. В будни ежедневно в церкви утром и вечером происходила молитва; проповеди читались от двух до трех раз в неделю; в 1650 г. каждый день после обеда устраивались чтения. В 1653 г. при раздаче причастия дни недели были заняты следующим образом: в среду — пост и восемь часов молитвы и проповедей; в субботу — две или три проповеди; в воскресенье — двенадцать часов службы в церкви; в понедельник — три или четыре проповеди» (Зомбарт 1994 [1913], с. 195—196)³⁴.

В качестве примера можно привести распорядок дня Бенджамина Франклина, считающегося каноническим образцом протестантского трудолюбия и прилежания (цит. по: Зомбарт 1994 [1913], с. 121):

- 5.00— 8.00 (3 часа) — умывание, молитва, завтрак;
- 8.00—12.00 (4 часа) — работа;
- 12.00—14.00 (2 часа) — обеденный перерыв;
- 14.00—18.00 (4 часа) — работа;
- 18.00—22.00 (4 часа) — ужин, отдых;
- 22.00—5.00 (7 часов) — сон.

³⁴ Напомним, что, по мнению Зомбарта, Вебер сильно преувеличивает значение протестантской этики и особенно пуританизма для формирования духа капитализма. «Это значит уж слишком узко понимать капиталистический дух, если постоянно сводить его... во всех его излучениях к пуританизму... Родоначальники наших больших „рискующих коммерсантов“ были сделаны из совсем другого теста... их зовут Рэли, Кавендиш, Дрейк, Фуггер или еще как-нибудь...» (Зомбарт 1994 [1913], с. 200). Более того, по мнению Зомбарта, пуританизм едва не принес «уничтожение всякого капиталистического духа», и именно капитализм был смертельным врагом пуританизма (Зомбарт 1994 [1913], с. 196).

Легко видеть, что рабочий день Франклина составлял всего-навсего восемь часов.

Реальные изменения в продолжительности рабочего времени были обусловлены лишь процессом индустриализации, начавшимся в Англии во второй половине XVIII, а в других странах — в первой половине XIX в. (см.: Thompson 1963; 1967; DeGrazia 1972). При этом непомерное удлинение рабочего времени в ходе промышленной революции привело к тому, что к середине прошлого века в большинстве европейских стран превалировал 12-часовой рабочий день при 72-часовой рабочей неделе (67-часовая неделя в США). Даже с учетом праздничных дней рабочее время занимало более 35% общего фонда времени.

Только во второй половине прошлого века продолжительность рабочего дня начала постепенно укорачиваться: например, в Англии с 1836 по 1886 г. рабочий день сократился на $\frac{1}{5}$. К началу нашего века рабочая неделя в большинстве стран уменьшилась до 56 часов, т. е. работа занимала уже чуть более 30% общего фонда времени. В середине XX в. доля рабочего времени в развитых странах составляла около 24% (от 22% в США, Великобритании и Франции до 25% в Японии и 27% в Германии). Наконец, к началу 1990-х годов доля рабочего времени в большинстве развитых стран достигла примерно 18% (рассчитано по: Phelps Brown, Browne 1968, p. 172—174; Maddison 1991, p. 270—271).

Конечно, и по сей день сохраняются межстрановые, социальные, демографические и другие различия в продолжительности рабочего времени (см., например: Blyton 1985). Так, в США в 1959 г. рабочее время для белых мужчин составляло в среднем около 2100 часов, для небелых — 1850 часов в год (Ghez, Becker 1975, p. 131). Но в целом тенденции изменения величины рабочего времени ныне достаточно однотипны во всех развитых странах: оно постепенно сокращается.

Что касается свободного времени, то в доиндустриальных обществах оно, как правило, было «распылено» в рабочее время занятой части населения или заполняло собой все время неработающей части. Как самостоятельный элемент бюджета времени свободное время появляется, по существу, лишь во второй половине XVII в., когда возникает деление на собственное время и время нанимателя, т. е. время работы и отдыха (см.: Thomas 1964; Malcolmson 1973; Rifkin 1987, ch. 6).

В конце XVIII — начале XIX в. проблема досуга опять отходит на второй план. На начальных этапах индустриализации для значитель-

ной части населения рабочее время заполняло все время работника, и свободного времени практически не оставалось. Лишь с уменьшением рабочей недели в середине XIX в. снова появляется сколько-нибудь значительное время досуга. Соответственно, возникает проблема его использования и организации. Досуг превращается в форму потребления (см.: Walvin 1978; Reidlich 1965; Meller 1976; Webster 1916; DeGrazia 1962).

С середины прошлого века количество свободного времени начинает устойчиво возрастать. По нашим оценкам доля свободного времени, или времени досуга, увеличилась за последние 150 лет в 2 раза — примерно с 25 до 50% общего фонда времени. По другим данным, мужчина, родившийся в середине XIX в., должен был отдать работе 30% времени своей жизни. Его внук, родившийся в конце прошлого века, должен был потратить на работу 20% жизни. В свою очередь его праправнук, родившийся в 1950-е годы, тратит на работу 10% времени своей жизни (Sirianni, Walsh 1991, p. 426—427; см. также: Best 1980; Buchmann 1989).

Наконец, оценка инвестируемого времени представляет наибольшую сложность. Помимо трудностей его учета, о которых мы уже упоминали выше, существует еще одна проблема. До сих пор речь шла в основном о структуре годового бюджета времени взрослых людей в трудоспособном возрасте. Но полная оценка структуры использования времени индивидом возможна только в рамках всей его жизни. Лишь учитывая все основные компоненты структуры использования времени в рамках жизненного цикла, мы можем получить целостную картину³⁵.

Особенно важен анализ распределения времени в рамках жизненного цикла для инвестируемого времени, которое в значительной мере сконцентрировано в строго определенных отрезках жизни индивида. Только в рамках такого подхода появляется возможность хотя бы условно оценить объем времени, инвестируемого, например, в образование (см. табл. 5.7).

³⁵ Так, в США среднее рабочее время для белых мужчин в возрасте от 16 до 75 лет в 1960 г. составляло примерно 2100 часов в год, но при этом величина рабочего времени существенно зависела от возраста. В возрасте 16 лет среднее рабочее время составляло 550 часов в год, в 20 лет — 1500 часов, в 25 лет — 1950 часов. К 30 годам рабочее время достигало максимума — 2200 часов и удерживалось на этом уровне до 40 лет. После этого оно начинает постепенно снижаться — 2100 часов в 55 лет, 2000 часов в 60 лет, 1900 часов в 65 лет и 1600 часов в 75 лет (Ghez, Becker 1975, p. 85).

Таблица 5.7.
Время, инвестируемое в образование

Годы	Количество лет формального обучения на одного взрослого		Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении, лет		Доля времени, инвестируемого в образование, в общей продолжительности жизни	
	Западная Европа*	Россия	Западная Европа*	Россия	Западная Европа*	Россия
1800	1,8	0,3	32,8	30,0	5,4	1,0
1870	4,6	0,7	37,3	31,0	12,3	2,3
1913	7,1	1,1	49,5	34,0	14,2	3,2
1950	9,2		66,8		13,8	
1988**	12,6	8,5	75,8	68,0	16,6	12,5
1993	14,5		76,8		18,9	

* Средняя невзвешенная по 4-м странам (Великобритания, Германия, Франция и Италия).
** По России (СССР) данные за 1990 г.

Рассчитано по: Мельянец 1995, с. 37; 1996, с. 145,

Приведенные оценки служат скорее в качестве иллюстрации, поскольку они основаны на показателях ожидаемой продолжительности предстоящей жизни при рождении, т. е. искажены изменением детской смертности. Связь между продолжительностью жизни при рождении и продолжительностью жизни тех, кто не умер в детстве, имеет достаточно сложный характер и нелинейна во времени.

Как свидетельствуют, например, данные, представленные в табл. 5.8, за 120 лет средняя продолжительность жизни в США выросла на 30 лет у мужчин и на 25 лет у женщин, но это увеличение было достигнуто в основном за счет снижения детской смертности. Для тех же, кто доживает до взрослого возраста, средняя продолжительность жизни изменилась гораздо меньше: она увеличилась на 10 лет у мужчин и на 17 лет у женщин. Более того, по оценкам Р. Фогеля, средняя продолжительность предстоящей жизни для белых мужчин, родившихся в США и доживших до десятилетнего возраста, практически не менялась на протяжении XVIII—XIX вв., несмотря на увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении: в 1720 г. возраст дожития в десятилетнем возрасте был равен 61,8 года; в 1820 г. — 61,4 года; в 1910 г. — 61,3 года (Fogel 1986, p. 511).

Таблица 5.8.

Средний ожидаемый возраст окончания жизни в США,

годы

Годы	Мужчины		Женщины	
	Для новорожденных	Для двадцатилетних	Для новорожденных	Для двадцатилетних
1850*	38,3	60,1	40,5	60,2
1880*	41,7	62,2	43,5	62,8
1900*	46,1	61,8	49,4	63,7
1900	48,2	62,2	51,1	63,8
1920	56,3	65,6	58,5	66,5
1950	66,3	69,5	72,0	74,6
1970	68,0	70,3	75,6	77,4

* Данные по штату Массачусеттс.

Источник: *Historical Statistics of the US...* 1975, v. 1, p. 56.

В Великобритании средняя продолжительность предстоящей жизни для мужчин увеличилась с 40 лет для рожденных в 1840-е годы до 60 лет для рожденных в 1930-е годы (т. е. на 50%). Это привело к увеличению ожидаемой продолжительности «рабочей жизни» для достигавших пятнадцатилетнего возраста в соответствующих популяционных когортах на 20% («рабочая жизнь» определяется в интервале от 15 до 70 лет; см.: Floud et al. 1990, p. 272—273).

Отсюда очевидно, что распространенные данные о крайне низкой средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в доиндустриальных обществах (25—30 лет) создают искаженную картину ее реальной продолжительности: на самом деле общество состояло отнюдь не только из молодежи и продолжительность жизни доживающих до взрослого возраста составляла не менее 50 лет (см. также: Смит 1983, с. 397—399).

Затраты времени на образование весьма неравномерно распределены в течение жизненного цикла. Формальное образование в основном приходится на первые два десятилетия жизни (точнее, от 5 до 20 лет, хотя первые четыре года жизни по существу также во многом расходуется на образование). Образование без отрыва от производства и различного рода дополнительное образование (краткосрочные курсы) в основном приходятся на первые десять лет работы (о затратах времени на образование см., например: Mincer 1974; Akin, Stewart 1982; Levin, Tsang 1987).

Время, сопряженное с болезнями, в современном обществе постепенно увеличивается с возрастом (среди взрослых). Так, в конце 1960-х годов занятые в американской экономике в возрасте 17—24 года в среднем пропускали из-за болезней 4,8 рабочего дня, в возрасте 25—44 лет — 4,9 рабочего дня, в возрасте 45—64 лет — 6,3 рабочего дня (Ghez, Becker 1975, p. 94). Для сравнения: в СССР в 1985 г. занятые в промышленности в среднем пропускали по болезни 11 дней (*Народное хозяйство...* 1987, с. 140).

Что касается инвестиций в здоровье, т. е. времени, затрачиваемого на его укрепление и поддержание, то здесь картина менее однозначна. С одной стороны, с возрастом люди начинают проводить больше времени в лечебных учреждениях, с другой — с возрастом обычно уменьшается время, расходуемое на занятия спортом, которое также можно рассматривать как инвестиции в здоровье (см., например: Grossman 1972; Frankenberg 1989).

Наконец, в определенные периоды жизни людей, особенно женщин, значительную часть их времени занимает уход за детьми и их воспитание. Эти затраты времени в современной экономической теории рассматриваются как инвестируемое время (см.: Шульц 1994 [1974]). Но исследования распределения времени, инвестируемого в детей на протяжении жизненного цикла, практически полностью отсутствуют. Из общих соображений можно предположить, что это время в основном расходуется между 25 и 35 годами, а также что для женщин подобные затраты времени значительно больше, чем для мужчин.

До сих пор мы говорили о внешних параметрах и структуре использования времени. Но для анализа истории аллокации времени не менее существенны внутренние характеристики этого процесса, важнейшей из которых является дисциплина времени. На наш взгляд, утвердившиеся благодаря исследованию Фуко поиски истоков дисциплины в жизни средневековых монастырей не вполне правомерны. Дисциплина — как подчинение установленному порядку, точнее, распорядку времени — существовала с древнейших времен. Неверно и применять это понятие лишь к организации времени дня: точно так же существует распорядок года, месяца и недели³⁶.

История дисциплины времени — это история постепенного перехода от природной дисциплины времени к социальной, а не просто история ужесточения дисциплины. В некоторых отношениях сейчас дисциплина менее строгая, чем в прошлые исторические эпохи: например, кто в Средние века мог позволить себе «взять отпуск» практически в любое время года?

Вместо термина «дисциплина» мы предпочитаем использовать более общее понятие — распорядок времени (которому соответствует англ. *schedule*). Вообще говоря, распорядок времени может поддерживаться как добровольно, так и принудительно, причем это принуждение, которое и обозначается ныне термином «дисциплина», может осуществляться в самых разных формах. Еще раз подчеркнем, что идея распорядка времени уходит в далекое прошлое, и столь

³⁶ Латинское слово *disciplina* происходит от *disco* — «учиться», «изучать». Первоначально *disciplina* значило «обучение», «воспитание», отсюда позднее возникло значение термина «дисциплина» как отрасли научного знания. Обучение воинов в армии носило название *disciplina militaris* — армейская дисциплина. Наконец, термин «дисциплина» мог обозначать принцип, правило, устройство: например, *disciplina civitatis* — государственное устройство.

же давней является дисциплина как принудительное структурирование времени. В частности, уже в Древнем мире элементарная дисциплина времени была составной частью системы надзора за трудом рабов. О древнейшем происхождении дисциплины свидетельствует, например, высказывание римского писателя I в. до н. э. Луция Юния Модерата Колумеллы: «Нет худшей тюрьмы для человека, чем ежедневный надзор за <его> работой: поистине прав оракул Катона, что самое злое для человека — это циферблат часов» (*Columella. De re rustica* XI, 1; цит. по: Зомбарт 1994 [1913], с. 399, сн. 268).

Однако и добровольное соблюдение распорядка времени, его планирование тоже известно издавна. Во всяком случае оно уже существовало в эпоху Возрождения, как свидетельствует отрывок из трактата Леона Альберти «О семье» (XV в.): «Чтобы в добром порядке совершить все то, что должно быть совершено, я составляю себе утром, когда я встаю, план распределения времени: что должен я сегодня сделать? Много дел; я перечислю их, думаю я, и каждому потом назначу его время: это я сделаю сегодня утром, это — после обеда, то — сегодня вечером...» (цит. по: Зомбарт 1994 [1913], с. 88). А, например, в принадлежащих перу Паоло да Чартальдо «характернейших прописях купеческой морали второй половины XIV в. можно найти совет не выходить из дому без памятки о делах, которые нужно переделать за день, и хранить памятку вместе с деньгами, чтобы почаще попадалась на глаза» (Баткин 1995, с. 407, сн. 7).

С древнейших времен существовали распорядок и дисциплина годового времени, которые задавались природными условиями (сменной времен года). При этом уже в Древнем мире восприятие природного распорядка годового времени имело вполне сознательный характер. Например, если судить по поэме Гесиода «Работы и дни», уже в VIII в. до н. э. сроки сельскохозяйственных работ в Греции довольно жестко привязывались к астрономическим наблюдениям: движению созвездий Плеяд и Ориона, положению Сириуса и Арктура, дате зимнего солнцеворота и т. д. (Гесиод. Работы и дни 383—694). Представление об установленном природой распорядке годового времени дают и некоторые древние календари, названия месяцев в которых соответствовали производимым в этот период работам. Так, уже в Шумере названия месяцев были связаны с природно-хозяйственной деятельностью. «В календаре города-государства Лагаш встречаются названия „праздник вкушения ячменя“, „месяц жатвы“, „месяц принесения ячменя баранам и овцам“. В других

городах были такие названия как „месяц сева“, „месяц доставки ячменя на пристань“, „месяц укладки кирпичей в форму“, „месяц зажигания огней“ и т. п.» (Климишин 1981, с. 42—43).

Другой пример, относящийся уже к раннему Средневековью, приводит А. Гуревич: «Месяцы у германцев носили названия, указывавшие на земледельческие и иные работы, которые производились в различные сроки: „месяц пара“ (июнь), „месяц косьбы“ (июль), „месяц посева“ (сентябрь), „месяц вина“ (октябрь), „месяц молотбы“ (январь), „месяц валежника“ (февраль), „месяц трав“ (апрель). При Карле Великом была даже предпринята попытка ввести эти названия в официальный календарь. Однако замысел оказался неудачным, так как в разных районах Германии эти названия прилагались к разным месяцам: „месяцем пахоты“ называли где август, а где март и апрель. У скандинавов май именовали „временем сбора яиц“, а также „временем, когда овец и телят запирают в загоне“; июнь — „солнечным месяцем“, „временем перехода в летние хижины“ (то есть выгона скота на луга), октябрь — „месяцем убоя скота“ (это название в шведском языке сохранилось до сих пор), декабрь — „месяцем баранов“ или „месяцем случки скота“. Лето называли временем между плугом и скирдованием» (Гуревич 1984 [1972], с. 104).

Помимо природных факторов, на протяжении всей истории человечества колоссальную роль в установлении распорядка времени, особенно годового, играли религиозные предписания. Подобные предписания существовали уже в Древнем мире и в эпоху античности, прежде всего в форме установления дней религиозных праздников. Еще более строгий распорядок времени устанавливается в монотеистических религиях — иудаизме, христианстве и мусульманстве. Наряду с праздниками существенным элементом структурирования времени становятся пост и молитва, которые должны осуществляться в определенное время года или суток.

Дисциплина годового времени, задававшаяся религиозными праздниками и периодами поста, была еще не «сплошной», она не регламентировала поведение в каждый день года, но тем не менее она вносила элементы распорядка в годовое время.

Наконец, наряду с религиозным распорядком с древнейших времен известен и гражданский распорядок года. Существовали фиксированные даты гражданских праздников (например, День основания города в Древнем Риме). Со времен Хаммурапи устанавливались фиксированные дни сбора и уплаты дани и налогов. В Древнем

Риме в календы (первый день месяца) производилась уплата долгов и процентов по ним. В средневековой Европе в большинстве стран налоги и подати выплачивались в день Св. Михаила (29 сентября), реже — в день Св. Мартина зимнего (11 ноября).

В Средние века относительно жестко фиксировалось и время военных сборов, когда вассалы должны были нести службу сеньорам. На Руси в XV—XVI в. элементом годового распорядка времени являлся Юрьев день, за неделю до которого и в течение недели после мог осуществляться переход крестьян от одного феодала к другому. В распорядке годового времени важную роль играли ярмарки. Различные виды гражданского распорядка годового времени были широко распространены в средневековых городах, он регулировался, в частности, различными гильдейскими установлениями (Phythian-Adams 1972).

Но, как отмечают многие исследователи, в доиндустриальных обществах религиозные и гражданские предписания, правила, нормы, законы и т. д. были тесно связаны с годовым природным ритмом. «Так, военные сборы и военные действия начинались только летом, точнее, в мае, когда лошадей можно было обеспечивать подножным кормом. Точно так же основная часть податей взималась в конце „лета“, после уборки урожая... Церковное время было не менее подчинено ритму природы. Не только большинство крупных религиозных праздников, которые были наследниками старых языческих, приуроченных к важным явлениям природы (Рождество, например, заменило древний праздник зимнего солнцестояния, [а Пасха — весеннего равноденствия. — И. С., А. П.]), но и весь литургический год был согласован с природным ритмом сельскохозяйственных работ» (Ле Гофф 1992 [1964], с. 170—172).

В отличие от распорядка года, в установлении которого доминирующую роль в доиндустриальных обществах играла природа, распорядок месяца устанавливался в основном религиозными предписаниями или гражданскими обычаями и установлениями. Религиозная дисциплина месяца встречается уже в глубокой древности. Например, в Древнем Иране в календаре Авесты месяц делился на 14+16 дней, причем первый и средний день каждой половины, т. е. 1-й, 8-й, 15-й и 23-й день каждого месяца, были посвящены богу Ахурамазде.

Особое значение религиозное структурирование месяца и недели приобретает в иудео-христианской традиции. Речь идет прежде всего о семидневной неделе, в которой седьмой день является днем отдыха. К I в. нашей эры иудейская семидневная неделя с одним

выходным широко распространилась в средиземноморском регионе: в Греции, Риме и странах Ближнего Востока. Так, Иосиф Флавий в конце I в. н. э. писал: «... Нет ни эллинского, ни варварского города, и ни единого народа, у которого не было бы обычая почитать седмицу, когда мы отдыхаем от трудов» (*Иосиф Флавий. О древности...* 39 [280]). К этому высказыванию следует относиться критически, поскольку сочинение Флавия имело, пользуясь современной терминологией, пропагандистский характер, но распространенность семидневной недели с одним днем отдыха подтверждается и другими источниками. Например, по свидетельству Св. Августина, Сенека, порицавший еврейскую субботу, с прискорбием отмечал, что данный «обычай этого злодейского народа возымел такую силу, что принят уже по всей земле» (цит. по: *Августин. О граде Божьем* VI, 11).

В христианстве семидневная неделя с одним выходным официально была введена в 325 г. на Никейском соборе императором Константином, постановившим, чтобы «все судьи... а также все ремесленники в почитаемый день Солнца отдыхали». Таким образом день отдыха был перенесен на воскресенье, с тем чтобы размежеваться с иудейской субботой (размежевание с иудейским календарем было установлено также и применительно к Пасхе). Обычай отдыхать в седьмой день недели был позднее зафиксирован, в частности, в славянских языках, в которых, как мы уже сказали, воскресенье называется «неделя».

Заметим, что в период раннего Нового времени в некоторых европейских странах наряду с воскресеньем иногда вводился второй (а то и третий) выходной день. Например, в Англии в XVI—XVIII вв. дополнительным выходным во многих местах был понедельник, который шутливо именовался «Святым Понедельником» (*Saint Monday*). Лишь в середине XIX в. повсеместно установился один выходной (*Thompson* 1967, p. 72ff; *Reid* 1976). Впрочем, через сто с небольшим лет второй выходной был снова введен в большинстве развитых стран и даже в СССР.

Среди гражданских институтов наиболее распространенным параметром распорядка недельного времени были рынки и базары, проводившиеся раз в несколько дней (см., например: *Sorokin, Merton* 1937). Один из древнейших примеров этого можно найти у этрусков и древних римлян. У них существовала 8-дневная неделя, в которой восьмой день был базарным. Как отмечалось выше, в Европе рынки организовывались в определенные дни недели вплоть до XIX в.

С древнейших времен действовал и известный распорядок суточного времени. Естественное деление суток на ночь и день, а последнего — на время от рассвета до полудня и от полудня до заката было вполне достаточным для довольно четкой ритмизации и синхронизации всех социальных интеракций — от молитв и богослужений до работы и приема пищи. Можно предположить, что уже в эпоху античности существовала и социальная дисциплина суточного времени — в школах, в армии, в общественных учреждениях, при применении рабского труда и т. д. В Средние века местом соблюдения суточной дисциплины времени стали монастыри, сначала бенедиктинские, а затем и принадлежащие к другим орденам (см.: *DeGrazia* 1962; 1972; *Cipolla* 1967; *North* 1975; *Dickinson* 1961; *Knowles* 1949).

Но если не считать монастырей, в целом в Средние века дисциплина дня (за исключением деления на светлое и темное время суток) была довольно низкой. Например, как отмечает Э. Ле Руа Ладюри, у жителей французской деревни Монтайю в начале XIV в. рабочий день прерывался длинными паузами, посвященными разговорам с друзьями, сопровождавшимися зачастую распитием стаканчика другого вина. В жаркое время года существенную часть дня занимала сиеста (*Le Roy Ladurie* 1978 [1975], p. 278). В городах среди ремесленников дневной распорядок был несколько более жестким, но и он подразумевал относительно свободное распоряжение временем. Средневековые ремесленники работали в ритме, ориентированном на выполнение определенной задачи, и могли несколько часов в день тратить на разговоры с друзьями или сидение в таверне (*Rifkin* 1987, ch. 6).

Существенную роль в развитии дисциплины дневного времени сыграло распространение наемного труда. Система наемного труда изначально связывала затраты труда, а тем самым и результаты последнего с рабочим временем. Как минимум в XIV в. уже возникает регулирование продолжительности рабочего времени — в зависимости от времени года, с учетом перерывов, времени начала и конца работы (например, в договорах, касавшихся строительных рабочих; см.: *Salzman* 1967, p. 56—57). В этот же период усиливается суточная дисциплина времени среди торговцев и ремесленников (см.: *Le Goff* 1963). Как отмечает Фуко, дисциплина времени в монастырях преследовала задачу борьбы с бездельем (*Foucault* 1977 [1975], p. 154). В городах же укрепление дисциплины времени было связано с интенсификацией труда, стремлением к достижению его максимальной эффективности.

Таким образом, если до XIII в. дисциплина суточного времени имела «очаговый» характер и концентрировалась в армии и религиозных учреждениях, то с XIV в. на первый план начинают выходить распорядок, регламентация и дисциплина рабочего времени. Существенную роль в этом сыграли рабочие статуты, которые существовали в Нидерландах, во Франции и других странах. Наибольшее распространение они получили в Англии, где действовали с середины XIV до начала XIX в. (первый был принят в 1349 г., а формально статуты были отменены только в 1813 г.). Непосредственным поводом для принятия первого статута послужила Великая чума, резко уменьшившая количество трудоспособного населения.

Например, в Англии, согласно статутам 1349 г. (Эдуард III) и 1496 г. (Генрих VII), рабочий день ремесленников (*artificers*) и сельскохозяйственных работников с марта до сентября должен был продолжаться с 5 часов утра до 7—8 часов вечера, а время, отведенное на еду, должно было составлять один час на завтрак, полтора часа на обед и полчаса на полдник. Зимой работа должна была длиться с теми же перерывами с 5 часов утра до темна. Принятый при Елизавете I (1562 г.) статут для всех работников, «нанятых за поденную или понедельную плату», не изменял продолжительность рабочего дня, но ограничивал перерывы 2¹/₂ часами летом и 2 часами зимой. На обед полагался один час, а получасовой послеобеденный сон разрешался лишь с середины мая до середины августа (Маркс 1960—1962 [1867—1894], т. 23, с. 280 и далее).

До XVIII в. статуты одновременно выполняли две функции: они служили инструментом государственного регулирования численности наемных работников и продолжительности рабочего времени, а также регламентировали распорядок рабочего времени (время начала и конца работы, перерывы и т. д.). В конце XVIII — начале XIX в. эти функции разделяются и существенным образом модифицируются.

В сфере действия государственного законодательства остается регулирование продолжительности рабочего времени, которое можно рассматривать как элемент структурирования суточного и недельного времени в целом. При этом характер государственного вмешательства в эту область претерпевает существенные изменения: до конца XVIII в. законы были направлены на максимальное увеличение рабочего времени, но постепенно произошла переориентация на ограничение его продолжительности. С 1802 г. английский парла-

мент начинает принимать так называемые Фабричные акты, регулирующие условия труда, но первый закон, ограничивающий продолжительность рабочего дня, был принят только в 1833 г., а поворотной точкой стало принятие в 1847 г. акта о 10-часовом рабочем дне. Во Франции первый закон, ограничивающий продолжительность рабочего дня, был принят в 1841 г. Во второй половине XIX в. аналогичные законы появились во всех европейских странах и в США. Сфера действия регулирования рабочего времени постепенно расширялась, охватывая все новые половозрастные и профессиональные категории занятых.

Что касается распорядка и соответствующей дисциплины самого рабочего времени, то в XVIII в. оно из сферы государственного регулирования переходит в компетенцию нанимателей. Например, в Англии уже в начале XVIII в. стали вводить первые графики работы, отмечалось время прихода и ухода, существовали контролеры и учетчики, были введены штрафы за прогулы и опоздания и нарушения ритма работы. Эти изменения тесно увязывались с новыми представлениями о правах собственности на время, о которых шла речь выше. Ужесточение дисциплины рабочего времени было связано не только с развитием представлений о ценности времени и стремлением нанимателей к максимально эффективному использованию оплаченного ими времени наемных работников, но и с потребностью синхронизации трудового процесса. Понятие производственной дисциплины приобрело расширительное толкование за счет включения в него, помимо действий наемных рабочих, графиков поставки и производства, деловых встреч и банковского учета, организации городской жизни и т. д. (см.: Harrison 1986; Thrift 1990 [1980]; 1988).

Любопытной иллюстрацией может служить история изменения времени обеда состоятельных английских горожан, описанная П. Кларком (Clark unpublished). Так, в XVII в., накануне Реставрации, обед (*dinner*) обычно начинался между двенадцатью и часом дня, в начале XVIII в. обеденное время сместилось на два часа дня, к середине века оно передвинулось на три часа, к 1780-м годам — на 4 часа, а в конце XVIII в. обед стал начинаться не раньше 5 часов. Как отмечает Кларк, эти изменения были обусловлены потребностью в увеличении времени, уделяемого представителями обеспеченных слоев городского общества деловым обязанностям. Ранний обед из нескольких блюд, традиционно подкрепляемый изрядным количеством алкоголя, ограничивал деловую часть дня всего парой часов, что было

достаточным в XVII в., но явно не соответствовало потребностям века XVIII.

Сдвиг времени обеда сопровождался целым рядом других изменений в распорядке дня состоятельных городских слоев английского общества. Завтрак (breakfast) стал более продолжительным, и с конца XVIII в. его неперенным атрибутом было чтение газет, ежедневно вводящих читателей в курс деловой жизни. Возникло понятие (оно же явление) «ленча» (luncheon или lunch), который начался примерно в то же время, что обед в XVII в., но выполнял при этом не столько рекреационные, сколько физиологические или деловые функции. Наконец, социальное общение, выходящее за рамки чисто делового, сместилось, вслед за обедом, с дневных на вечерние часы, а ужин (supper) стал начинаться у представителей имущих слоев уже за полночь.

В еще большей степени изменились распорядок дня и дисциплина времени работников. Эта тенденция, также наметившаяся уже в начале XVIII в., многократно усилилась с приходом промышленной революции в конце XIX — начале XX в. и развитием машинного производства. Потребности мануфактурной, а затем и фабричной системы производства в установлении производственной дисциплины приходили в конфликт с традиционным доиндустриальным отношением бывших ремесленников и крестьян к рабочему времени. Поэтому одной из главных проблем стало внедрение новой трудовой дисциплины и, соответственно, трудовой этики³⁷.

На первых порах трудовая дисциплина имела преимущественно принудительный, «палочный» характер (Pollard 1963; 1964; Thompson 1963; 1967). Затем дополнительным фактором, поддерживавшим дисциплину рабочего времени, стали машины, во многих случаях задававшие темп и ритм работы. Только с середины XIX в. принудительные и механические методы поддержания дисциплины начали дополняться системой стимулов для рабочих. Соблюдение дисциплины времени поощрялось и всячески превозносилось как норма трудовой этики. Символом признания заслуг работника, соблюдающего дисциплину времени, стала, в частности, возникавшая в конце XIX в. традиция награждения часами за многолетнюю беспорочную службу.

³⁷ См.: Rifkin 1987, ch. 6; Pollard 1963; 1964; Boorstin 1983; Moore 1963a; Wright 1969; etc.

Особое значение приобрело развитие дисциплины времени у детей. Центральную роль здесь сыграло увеличение числа школ, и прежде всего воскресных (Foucault 1977 [1975], p. 150). Существенным оказалось и распространение детского труда в конце XVIII — первой половине XIX в.: детей было гораздо легче заставить подчиняться рабочему графику и работать по 15—16 часов в день, чем бывших ремесленников и крестьян.

Распространение детского труда было также связано, по мнению Т. Эштона, с отсутствием школ (помимо воскресных) и детских садов — работающим родителям было просто негде оставлять детей. Но уже во второй половине XIX в. в европейских странах и в США школьное образование (по крайней мере, начальное), стало массовым. Это определило возникновение еще одной разновидности дисциплины времени — в рамках жизненного цикла. Эта дисциплина, в соответствии с которой жизнь большинства населения четко поделена на периоды учебы, работы и пребывания на пенсии, становилась все более жесткой вплоть до последних десятилетий. Но в настоящее время границы между отдельными стадиями жизненного цикла (life stages) начинают размываться: учеба нередко совмещается с работой, а пенсионеры все чаще продолжают работать после достижения пенсионного возраста (см.: Sirianni, Walsh 1991).

Подводя некоторые итоги, можно отметить, что распорядок времени в доиндустриальных обществах был достаточно жестким, прежде всего в отношении дисциплины годового времени. Она была обусловлена, естественно, в первую очередь природными факторами, но ее поддержанию способствовали также религиозные и гражданские предписания. Именно эта жесткость, воспринимаемая как заданная извне, «извечная», и порождала различные фантазии в отношении времени, которые исследователи находят в средневековых народных балладах, сагах, сказаниях и т. д. Только в мифах и сказках можно было менять ход времени, ускорять его или замедлять. В отличие от других авторов мы полагаем, что обилие таких «волшебных» превращений времени в мифах, сказках и легендах свидетельствует не о «вольности» представлений о времени, а наоборот, о заданности восприятия и представления временной структуры повседневной жизни. Только в фантазиях можно было позволить себе так вольно обращаться с временем, давая выход напряжению, вызываемому жесткой регламентацией временной структуры повседневности.

Дисциплина времени в индустриальном обществе имеет более откровенный характер. Во-первых, ее утверждение было отчетливо зафиксировано общественным сознанием как период болезненного слома стереотипов, характерных для традиционного общества. Со-временная дисциплина времени окончательно утвердилась и перестала восприниматься с обостренной чувствительностью только в процессе становления всего комплекса культуры индустриального общества. Во-вторых, она определяется не столько неторопливым годовым ритмом, сколько стремительным суточным, требующим от индивида гораздо большей собранности.

На протяжении истории человечества постепенно происходило замещение природной дисциплины дисциплиной социальной. И в современном обществе дисциплина времени прежде всего является социальным смыслом, элементом социальной структуры общества, а не естественной данностью. Произошедшее в индустриальном обществе «расколдовывание» дисциплины времени и создает не вполне согласующееся с историческими фактами представление об уже-сточении дисциплины времени в ходе эволюции общества.

В заключение этого раздела упомянем еще об одном аспекте влияния представлений о времени на социальное поведение, а именно, о борьбе с временем. Начавшаяся в глубокой древности и продолжающаяся по сей день, эта борьба проходит по нескольким направлениям (см.: *Schwartz 1975; Rifkin 1987; Young 1988; Melbin 1978*).

Первое, древнейшее, направление — борьба с природными ритмами: сменой времен года и времени суток. Ослабление роли природных годовых ритмов связано с уменьшением влияния сезонных изменений климата на жизнедеятельность людей. Соответствующие примеры достаточно очевидны — прежде всего речь идет о создании одежды и обуви, позволяющих уменьшить влияние природной среды на человека. Под этим же углом зрения можно рассматривать строительство различных зданий и сооружений, позволяющих осуществлять различные виды активности (как производственной, так и рекреационной) в закрытых помещениях. Строительство закрытых сооружений — от мастерских и фабрик до театров и стадионов — сопровождалось развитием систем их отопления или охлаждения, позволяющих свести сезонные колебания климата до возможного минимума. Наконец, можно упомянуть о различных сооружениях, уменьшающих влияние годовых ритмов на производство сельскохозяйственной продукции — оранжереи и теплицы, известные с древ-

нейших времен, ныне позволяют выращивать свежие овощи, фрукты, цветы в любое время года.

Не менее интенсивно велась борьба и с суточным ритмом, т. е. со сменой дня и ночи. Искусственное освещение также известно человечеству с древности, но его массовое применение стало возможно лишь после изобретения электричества и создания соответствующих энергосетей.

Человечеству приходится бороться и с разрушительным влиянием времени. Ареной сражения является, в частности, проблема сохранения продуктов питания, существовавшая еще в древности, но особенно остро вставшая в период Великих географических открытий. Быстрое расширение числа морских экспедиций, увеличение их продолжительности потребовали развития методов заготовки продуктов питания впрок — именно тогда впервые начинают изготавливаться в массовом порядке сухари, солонина и проч. Но ощутимых успехов на этом поприще человечеству удалось добиться только в XIX в. Как отмечает Д. Бурстин, пастеризованное, а затем и сгущенное молоко, мясные и прочие консервы, замороженное мясо, а позднее и другие продукты, появление холодильников — все это знаменовало победы над могущественным временем (см.: *Бурстин 1993 [1958—1973], т. 3, ч. 5*).

Еще один фронт исторической битвы с временем связан с покорением пространства. С древнейших времен пространство и время были неразрывно соединены в сознании людей. Расстояние измерялось временем пути (см.: *Гуревич 1984 [1972]*), а время, в свою очередь, измерялось расстоянием (например, время, необходимое, чтобы пройти два лье и т. д. — см.: *Le Roy Ladurie 1978 [1975]*). Изобретение и распространение все более быстрых транспортных средств — поезда, парохода, автомобиля, самолета — означало не только покорение пространства, но и покорение времени. Точно такую же роль играло развитие средств связи (почта, телеграф, радио, факсимильные аппараты, компьютерные сети, космические средства связи и многое другое). Возможность практически мгновенно перемещать в пространстве слова и изображения несомненно оказала поистине революционизирующее воздействие на темпоральное сознание человека.

В начале нашего века В. Зомбарт писал: «Скорость какого-нибудь события, чего-нибудь предпринятого интересует современного человека почти так же, как и степень его массовости. Ехать в автомобиле „со скоростью 100 километров“ — это именно и представляется

с современной точки зрения высшим идеалом. И кто сам не может двигаться вперед с быстротой птицы, тот радуется читаемым им цифрам о какой-нибудь где-нибудь достигнутой скорости; так, например, что скорый поезд между Берлином и Гамбургом снова сократил время своего переезда на десять минут; что новейший гигантский пароход прибыл в Нью-Йорк на три часа раньше; что теперь письма получают уже в половине восьмого вместо восьми; что газета смогла принести (может быть, ложное) известие о войне уже в 5 часов пополудни, тогда как ее конкурентка вышла с ним только в 6, — все это интересует странных людей наших дней, всему этому они придают большое значение» (Зомбарт 1994 [1913], с. 135).

С помощью техники человек получил возможность экономить не только свои силы и совершать невозможные ранее действия, но и экономить время. Развитие средств транспорта и связи — лишь одно из наиболее наглядных проявлений этих новых возможностей. Но по существу почти любое устройство или техническое изобретение среди прочих своих функций способствует экономии времени — будь то посудомоечная машина или шариковая ручка. Повышение ценности времени, о котором мы говорили выше, тесно связано не только со стремлением к его наиболее эффективному расходованию, но и со стремлением сберечь время с помощью техники.

Конечно, победа над временем еще не одержана — человек все еще смертен, да и путешествия во времени пока остаются лишь уделом фантастов, но то, что время потерпело ряд сокрушительных поражений в течение последних ста лет, — факт достаточно очевидный. И самую существенную роль в этом сыграло распространение представления о времени как об ограниченном ресурсе и о правах собственности индивида на этот ресурс.

§ 2. ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Если бы все прошедшее было настоящим, а настоящее продолжало существовать наряду с будущим, кто был бы в силах разобрать: где причины и где последствия?

Козьма Прутков. Плоды раздумья 146

Определяя темпоральное сознание как весь комплекс представлений о времени, темпоральными представлениями можно обозна-

чить одну из его составляющих, а именно, представления действующего социального субъекта о прошлом, настоящем и будущем. Иными словами, темпоральные представления связаны с самоидентификацией субъекта в потоке времени.

Проблема темпоральной самоидентификации возникает в рамках концепции «Время-2», отражающей восприятие действующим «времяположения» настоящего в рамках структуры прошлое—настоящее—будущее (см. выше, гл. 1, § 3). Наличие неких представлений о прошлом обычно служит основой для формирования представлений о будущем, а настоящее воспринимается как переходное состояние. «Прошлое содержится в нашей памяти лишь отрывками, будущее темно. Лишь настоящее могло бы быть озарено светом. Ведь мы полностью в нем. Однако именно оно оказывается непроницаемым, ибо ясным оно было бы лишь при полном знании прошлого, которое служит ему основой, и будущего, которое таит его в себе» (Ясперс 1991 [1948], с. 141).

Как отмечалось в главе 1, концепция темпоральных представлений, используемая по сей день, была отлита в чеканную формулировку еще Св. Августином: «Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен — прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего — это память; настоящее настоящего — его непосредственное созерцание; настоящее будущего — его ожидание» (Августин. Исповедь... 11, XX, 26).

Вклад мыслителей XX в. в разработку этой темы заключается главным образом в изучении механизма формирования представлений о прошлом (памяти) и о будущем (ожиданий). Прежде всего, большое внимание было уделено изучению индивидуальной памяти — эта тема плодотворно разрабатывалась в психологии и психоанализе. Кроме того, еще в 1920-е годы французский исследователь М. Хальбвакс разработал концепцию формирования коллективной памяти и социальных представлений о времени и прошлом (Halbwachs 1925; 1950). Хальбвакс показал, что память — не только психофизиологическая, но и социальная функция. Индивидуальная память существует благодаря «коллективной памяти» (название работы Хальбвакса), воплощенной в традициях, социальных институтах и т. д., а социаль-

ное взаимодействие — важный фактор запоминания. Социальная среда упорядочивает воспоминания в пространстве и времени, она сама является источником как воспоминаний, так и понятий, в которых они воплощаются.

На формирование представлений о прошлом большое влияние оказывают предметы материальной культуры — от архитектурных сооружений до бытовых предметов, — но еще большую роль играют «нематериальные» свидетельства прошлого. Соотношение этих двух компонентов, отражающих прошлое, подробно исследовано, в частности, в экономической литературе, посвященной формированию капитала. Последний включает накопленный физический капитал (так называемые «вещественные активы» — здания, оборудование и т. д.) и «невещественные» и даже «неосязаемые» активы (накопленные знания, репутация фирмы и т. д.), причем удельный вес второго компонента постоянно увеличивается на протяжении последних ста лет (см., например: *Кендрик* 1978 [1976]).

Формирование представлений о прошлом может рассматриваться также как проблема получения и усвоения информации. Строго говоря, практически вся информация, которой располагают индивиды, является информацией о прошлом — будь то сведения о зарождении жизни на земле или самые свежие политические или биржевые новости. Даже информация о чьих-либо намерениях характеризует не столько будущее, сколько прошлые умонастроения данного индивида. Связь представлений о прошлом с информацией выдвигает на первый план такие характеристики последней, как доступность, полнота и надежность. На практике информация, которой располагают действующие в обществе субъекты, в большинстве случаев является как раз неполной, несистематической и зачастую имеет случайный характер, что не может не сказываться на принимаемых на основе этой информации решениях³⁸.

Значительное внимание в современных общественных науках, и в частности в экономической теории, уделяется и процессу формирования представлений о будущем, т. е. ожиданий (в экономике этот термин ввел в употребление А. Маршалл). К настоящему моменту наиболее распространенными являются три модели формирования ожиданий действующих субъектов.

³⁸ Применительно к экономике эта проблема была впервые проанализирована в: *Стиглер* 1995 [1961]; см. также, например: *Arrow* 1974; 1978.

Первая модель может быть условно названа экстраполяционными ожиданиями: представления о будущем формируются на основе тенденций прошлого и текущей ситуации (см., например: *Katona* 1960; 1975). При этом многими отмечается избыточный удельный вес настоящего или самого ближайшего прошлого в формировании ожиданий: «Факты сегодняшнего дня входят, так сказать, в непропорционально большой степени в формирование наших долгосрочных ожиданий» (*Кейнс* 1978 [1936], с. 212)³⁹.

Вторая, более сложная, модель обычно именуется адаптивными ожиданиями. Ключевой в ней является мысль о том, что представления о будущем формируются не только на основе информации о прошлом, но и на основе сопоставления субъектами предшествующих ожиданий с реальным развитием событий, которое имело место в прошлом⁴⁰. Проще говоря, эта модель основана на известном принципе «на ошибках учатся».

Модель адаптивных ожиданий подразумевает, что «участники хозяйственного процесса корректируют свои представления о предполагаемом изменении цен, исходя просто из степени расхождения своих последних оценок с фактическими данными. Нетрудно показать, что при указанных предположениях ожидаемые изменения цен определяются их фактическими прошлыми значениями, причем наиболее важная роль принадлежит недавним изменениям» (*Энгов* 1988, с. 19). Именно поэтому экстраполяционная и адаптивная модели формирования ожиданий часто используются одновременно. Например, как пишет швейцарский экономист В.-А. Йор, «ожидания формируются под влиянием нескольких показателей-ориентиров, совпадающих для многих экономических субъектов. Среди этих ориентиров, придающих индивидуальным ожиданиям одно и то же направление, первое место, естественно, занимает... текущее состояние конъюнктуры, и в частности выполнение или невыполнение ожиданий предшествующего периода» (*Jöhr* 1952; цит. по: *Автономов* 1993, с. 126—127).

³⁹ В русском издании Кейнса термин *expectations* переводился как «предположения»; при цитировании мы заменяем его на общепринятый ныне термин «ожидания».

⁴⁰ Разработка этой модели связана с именами К. Викселля и его последователей — Э. Линдаля и Г. Мюрдаля, принадлежащих к так называемой шведской экономической школе (*Wicksell* 1965 [1898]; см. также: *Викселль* 1926; *Lindal* 1939; *Myrdal* 1939 [1934]).

Третья модель формирования представлений о будущем получила название «рациональных ожиданий»⁴¹. Согласно этой концепции, для действующего субъекта «события, имевшие место в прошлом, по существу не играют важной роли при формировании оценок; вместе с тем хозяйственный субъект все время занят сбором и „переработкой“ информации относительно будущих событий» (Энтоу 1988, с. 20). В частности, на ожидания существенное влияние оказывают предполагаемые направления экономической политики, отражаемые в заявлениях правительства. Этот тезис, выдвинутый Р. Лукасом, получил название «лукасовской критики» (Lucas' critique), поскольку, по его мнению, из-за недоучета влияния экономической политики на ожидания и обусловленное ими поведение хозяйственных субъектов традиционно неправильно оценивались ее возможные результаты.

В 1960—1970-е годы было популярно различие ожиданий (expectations) и прогнозов (forecasts). Первые рассматривались как «стихийно» формируемые представления действующих субъектов, а вторые — как результат «научного» или «модельного» анализа, выполненного специалистами (т. е. ожидания характеризовали представления действующих, а прогнозы — представления наблюдателей). Но в последние годы различие между этими понятиями приобретает все более условный характер: с одной стороны, практически любая фирма оценивает будущее на основе некоей «научной» методики, с другой — надежность модельных прогнозов, как показал опыт последних 10—15 лет, ничуть не выше надежности «стихийных ожиданий», в частности, из-за политической ангажированности авторов прогнозов.

До сих пор речь шла о процессе формирования темпоральных представлений (о прошлом и будущем). Но не меньшее внимание современные исследователи уделяют роли темпоральных представлений в социальных взаимодействиях, тому влиянию, которое они оказывают на поведение действующих в обществе субъектов. Как отмечал К. Манхейм, «глубокая внутренняя структура сознания может быть наилучшим образом понята, если мы попытаемся вникнуть в присущее этому сознанию представление о времени, отправляясь от надежд, чаяний и целей данного субъекта. Ибо эти цели и

⁴¹ Это понятие было введено Р. Мутом (Muth 1961), а известность оно приобрело в 1970-е годы благодаря работам будущего лауреата Нобелевской премии по экономике Р. Лукаса, а также Т. Сарджента, Н. Уоллеса и др. (см.: Lucas 1981; Sargent, Wallace 1973; 1975; 1976).

чаяния лежат в основе расчленения не только будущих действий, но и прошлого времени» (Манхейм 1994 [1929], с. 179).

В социологии анализ влияния темпоральных представлений связан прежде всего с теорией действия, у истоков которой стоял М. Вебер. В частности, из четырех выделенных Вебером идеальных типов действия (традиционное, аффективное, ценностно-рациональное и целерациональное) по крайней мере одно, а именно целерациональное действие, несет в себе активную темпоральную составляющую, поскольку оно ориентировано на будущее (эта схема используется во многих работах; см., например: Becker 1968 [1950]). Как писал Вебер, социальное действие является «целерациональным, если в основе его лежит ожидание определенного поведения предметов внешнего мира и других людей и использование этого ожидания в качестве „условий“ или „средств“ для достижения своей рационально поставленной и продуманной цели» (Вебер 1990 [1921], с. 628).

Если у Вебера роль времени в формировании поведения действующего была лишь обозначена, то в теории символического интеракционизма Дж. Мида она получила уже достаточно подробное освещение. Здесь время играет значимую роль в процессе индивидуальных взаимодействий, в ходе которых происходит выработка и изменение социальных значений. Все основные концепции символического интеракционизма — «Я», идентичность, другой, биография, карьера (self, identity, the other, biography, career) — тесно связаны с временем (Mead 1934). Точно так же время является конституирующим элементом предложенной Мидом в работе «Философия поступка» четырехфазной модели деятельности, состоящей из импульса к действию, восприятия, манипуляции и завершения деятельности, приводящего к удовлетворению потребности (Mead 1938; см. также: Tillman 1970).

Анализ времени как фактора, обуславливающего целерациональное или целевое (purposive) поведение, получил дальнейшее развитие в работах сторонников феноменологического подхода в социологии. Прежде всего речь идет об исследованиях А. Шюца и его ученика Т. Лукмана, уделивших много внимания проблеме конституирования социальных смыслов (Schütz 1967 [1932]; 1962—1964; Schütz, Luckmann 1975). По их мнению, жизнь человека может измеряться объективным (физическим) временем, но его идентификация, знания и мотивация определяются субъективно. Поэтому планирование будущего зависит от представлений о прошлом, точно так же, как и мотивация может быть смещена в прошлое или в будущее. Наконец, как спра-

ведливо подчеркивают Шюц и Лукман, прогноз будущего меняет само будущее.

Еще один важный аспект изучения времени как элемента социальной организации общества связан с категориями власти и контроля. Впервые эта проблема также была поднята М. Вебером в теории бюрократии: в частности, в работе «Хозяйство и общество» рассматриваются такие инструменты бюрократической власти и контроля, как сбор документов и информации о прошлом. При этом бюрократическая документация не только регистрирует прошлое, но и предписывает будущее, а контроль над информацией превращается в инструмент социального контроля и власти (Weber 1978 [1921], р. 86—94, 957; см. также: Giddens 1984, р. 152—153). К сожалению, проблема контроля над информацией, насколько нам известно, не получила серьезного анализа в научной литературе, но зато была блестяще описана в книге Дж. Оруэлла «1984» (Оруэлл 1989 [1949]).

Представляет интерес и вопрос о том, какую именно информацию используют действующие субъекты при принятии решений. Прежде всего, может существенно варьироваться глубина учитываемого прошлого — от нескольких минут до десятков лет. Степень глубины или временной удаленности используемой информации определяется только характером рассматриваемой проблемы.

При принятии решений на микроуровне, т. е. уровне отдельных субъектов, временная удаленность используемой информации обычно невелика и не превышает нескольких месяцев, реже — лет. Как отмечалось в § 1 гл. 4, эта проблема подробно обсуждается, в частности, в моделях электорального поведения, большинство которых строится на предпосылке о «близорукости» или «короткой памяти» избирателей, принимающих решения в момент выборов (Nordhaus 1975; 1989; McRae 1977; Tufte 1978; Kirchgässner 1985). На макроуровне, например при выработке государственной экономической политики, может учитываться достаточно давняя информация (например, об опыте реформ в Германии или Японии после второй мировой войны, о создании Федеральной резервной системы в США в начале XX в., о развитии акционерных фирм и рынков ценных бумаг в XIX в. и т. д.). Но в любом случае «глубина» учитываемого прошлого оказывает существенное влияние на характер принимаемых решений.

Еще одна проблема связана с самим процессом принятия решений. Возможности человеческого мозга хотя и велики, но не безграничны, и, принимая решения на основе некоей информации, дей-

ствующие субъекты далеко не всегда могут перебрать все возможные решения и выбрать наиболее правильные из них. Эта проблема была подробно проанализирована в работах лауреата Нобелевской премии по экономике Г. Саймона, который предложил концепцию «ограниченной рациональности», позволяющую учесть лимиты человеческого мозга и несовершенство способностей действующих субъектов, принимающих решения (см., например: Саймон 1993 [1978]).

Опосредованное влияние прошлого на настоящее (точнее, на текущие действия субъектов), связанное с несовершенством информации и ограниченными возможностями мозга, отражается в наличии запаздываний (лагов) в общественной системе. Эта проблема, связанная с изучением скорости распространения сигналов или воздействий в социальной системе, также привлекает внимание многих исследователей, представляющих разные дисциплины.

Что касается влияния на поведение действующих субъектов представлений о будущем (ожиданий), то наиболее наглядно оно проявляется в экономике. Практически все экономические действия являются, по Веберу, «целерациональными»: любые решения экономических субъектов связаны с достижением некоей цели. Реализация этой цели, в свою очередь, зависит от будущей рыночной ситуации, т. е. от действий других субъектов рынка. Поэтому оценка будущего при принятии экономических решений и совершении соответствующих действий в большинстве случаев играет самую существенную роль. Оценке влияния ожиданий на экономическое поведение посвящена обширная литература — от Маршалла до работ сторонников модели рациональных ожиданий.

Одним из важнейших направлений изучения влияния оценок будущего на текущие решения является теория риска и неопределенности. Пионерская работа Ф. Найта (Knight 1921) в этой области дала начало целому направлению исследований, посвященных проблеме влияния ожиданий на поведение действующих субъектов с учетом неопределенности будущего и обусловленного этим риска нереализации ожиданий. В самом общем виде понятие неопределенности относится к будущей ситуации, шансы на реализацию которой вообще неизвестны. Под риском же понимается определенная (т. е. известная) вероятность благоприятного/неблагоприятного исхода будущих событий, т. е. реализации/нереализации ожиданий (см.: Найт 1994 [1921]). Все более широко в этой области использовалась теория вероятности, а затем и теория игр, начиная с классической рабо-

ты Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна (*Нейман, Моргенштерн 1970 [1943]*). В экономической науке количество работ по этой теме исчисляется едва ли не сотнями, а в последние годы на проблему риска все чаще обращают внимание и представители других дисциплин, прежде всего социологи и психологи (см.: альманах «*THESIS*», 1995, вып. 5).

Еще одним аспектом темпоральных представлений, влияющим на поведение действующих субъектов, является «глубина» оценок будущего. Так же как и в рассмотренном случае с прошлым, временной горизонт, на который распространяются представления о будущем, может изменяться в широком диапазоне, и это самым непосредственным образом влияет на принимаемые решения.

Первым концепцию экономических периодов разной продолжительности стал активно использовать А. Маршалл. Он выделил четыре периода, в соответствии с которыми структурировал анализ ценности: фиксированный момент времени, «короткие периоды в несколько месяцев или один год», «долгие периоды в несколько лет» и «вековые движения... от поколения к поколению». При этом, как подчеркивал Маршалл, «разумеется, не существует какой-то четкой, резкой разграничительной линии между „долгими“ и „короткими“ периодами. Природа не провела таких линий в экономических условиях, складывающихся в реальной жизни, а в решении практических проблем они не требуются» (*Маршалл 1983—1984 [1890]*, т. 2, с. 65—66).

Как справедливо отмечал Р. Опи, «когда Маршалл различает долго- и краткосрочный периоды, он использует в качестве критерия не часовое, а „операциональное время“, характеризующее действующими в нем экономическими силами» (*Опи 1931*, р. 199). Определения периодов у Маршалла связаны с разными характеристиками предложения. В первом случае предложение задано имеющимся запасом уже произведенной продукции; во втором предложение означает массу продукции, которая может быть произведена по данной цене на существующих трудовых и вещественных мощностях; в третьем предложение — это то, что может быть произведено на мощностях, которые можно пустить в эксплуатацию в пределах рассматриваемого периода, в четвертом предложение и спрос определяются ростом знаний населения и капитала от поколения к поколению.

В основном этот подход, в соответствии с которым экономические периоды разной длительности определяются на базе характе-

ристических предложения, а последнее зависит от имеющихся ресурсов или факторов производства, остается доминирующим и по сей день (см.: *Pamico, Petri 1987*). При этом в большинстве случаев понятия кратко- и долгосрочного периодов используются для анализа прошлого. Но, как отметил еще Дж. М. Кейнс, эти понятия точно так же связаны с ожиданиями экономических субъектов: «... Ожидания, на основе которых принимаются деловые решения, распределяются на две группы... В одном случае предприниматель, начиная производство определенной продукции, намечает цену, которую он рассчитывает получить за эту продукцию после того, как она будет „готовая“... В другом случае предприниматель рассматривает следующий вопрос: какова может быть структура его будущих доходов, если для того, чтобы приобрести (или, возможно, произвести самому) „готовую“ продукцию, он прибегнет к увеличению своего капитального имущества. Первый тип таких расчетов мы можем назвать *краткосрочными ожиданиями*, а второй тип — *долгосрочными ожиданиями*... Именно от этих различных расчетов на будущее и зависит объем занятости, которую предоставляют фирмы» (*Кейнс 1978 [1936]*, с. 98—99)⁴².

Важность оценок будущего не только с точки зрения теории, но и для хозяйственной практики подтверждается колоссальным развитием так называемых фьючерсных рынков, где производится торговля опционами и фьючерсными контрактами. Эти рынки, на которых выявляются ожидания будущих цен со стороны хозяйственных субъектов, одновременно уменьшают неопределенность будущего и снижают риск экономических действий. В настоящее время фьючерсные рынки получили широкое распространение в области торговли как валютой и ценными бумагами (казначейскими обязательствами, закладными и т. д.), так и сельскохозяйственной продукцией. Будучи элементом реальной хозяйственной системы, эти рынки представляют большой интерес и для теоретического анализа, являясь своего рода полигоном для испытания различных теоретических моделей формирования и влияния ожиданий на экономическое поведение (см., например: *Эрроу 1994 [1982]*).

⁴² Заметим, что Кейнс ввел также оставшееся невостребованным понятие «минимальной эффективной единицы экономического времени», которую он определял как «такой кратчайший промежуток времени, по истечении которого фирма может снова пересмотреть решение относительно количества рабочих и служащих, которых она хотела бы нанять» (*Кейнс 1978 [1936]*, с. 99, сн. 1).

Анализ механизма образования темпоральных представлений и их воздействия на поведение действующих субъектов требует структуризации и систематизации этих представлений. Образы прошлого и будущего столь комплексны и разнообразны, что без подобного структурирования их анализ оказывается просто невозможным. В качестве примера здесь можно привести теорию структуризации Э. Гидденса, включающую три взаимопересекающихся среза времени: 1) время непосредственного опыта, постоянный поток ежедневной жизни (по Шюцу); 2) жизненный цикл организма; 3) «длительную протяженность» институционального времени (по Броделю; см.: *Giddens 1981, v. 1, p. 19—20*).

* * *

На наш взгляд, анализ этнографических, социологических, экономических и исторических работ, посвященных темпоральному сознанию, позволяет выделить четыре типа или уровня представлений о времени, в рамках которых формируется структура «прошлое—настоящее—будущее».

Первый уровень — индивидуальное или эмпирическое «время». В отличие от Е. Мелетинского, который использует понятие «эмпирическое время» как включающее родовое и историческое (профанное) время и противопоставляемое начальному мифическому (сакральному) времени, относящемуся к времени, выходящему за пределы эмпирического (время создания мира, праначала и т. д.; см.: *Мелетинский 1980а*), мы обозначаем этим термином темпоральные представления, формируемые на основе *личного* опыта действующего. Речь идет об образах прошлого, настоящего и будущего, возникающих на основе прошлой жизни индивида и воспоминаний о ней, рутинных повседневных действий.

Второй уровень — семейное или родовое «время». Здесь темпоральные представления формируются на основе родовой памяти, семейной истории, семейных традиций, текущего статуса семьи или рода, к которому принадлежит действующий, и соответствующих представлений о будущем семьи.

Третий уровень — сакральное «время». На этом уровне темпоральные представления о прошлом, настоящем и будущем складываются на основе мифологических и религиозных воззрений.

Наконец, четвертый уровень — историческое «время». Темпоральные представления формируются здесь на основе исторических знаний о прошлом и неких моделей или концепций будущего развития общества.

Эмпирическое время, формируемое на основе индивидуального опыта действующего, по-видимому, является древнейшим видом темпорального сознания. Постепенно возникает родовое время, а на основе укоренения в сознании эмпирического времени развивается представление о будущем (выражаемое, например, различными обрядами или наскальными рисунками, обеспечивающими успешность будущей охоты). Время за пределами «родового» прошлого постепенно заполняется мифическим «начальным временем». Но уже по крайней мере в I тысячелетии до нашей эры появляются первые элементы исторического временного сознания. С этого момента все четыре компонента темпорального сознания развиваются параллельно, хотя далеко не всегда с одинаковой интенсивностью.

Возникновение мировых религий дает колоссальный импульс развитию сакрального времени. Переход к земледелию и оседлому образу жизни способствует закреплению эмпирического времени, его рутинизации. С ростом «сословных» (в терминологии более поздней эпохи) различий в эпоху античности усиливается роль родового времени: сын вольноотпущенника, например, должен был иметь доказательства этого факта. В Средневековье значение родового времени еще больше возрастает и для дворянства оно оказывается едва ли не основным, доминируя порой даже над сакральным временем.

Одновременно происходит эволюция исторического времени: возникнув первоначально в качестве элемента фольклора и коллективной памяти, зафиксированной в легендах, сказаниях, мифах и т. д., историческое темпоральное сознание начинает вырабатываться историками-профессионалами, переходя в категорию научного или по крайней мере преднаучного знания. Происходит обратное «движение» исторического сознания: из трудов профессиональных историков оно проникает в нижние слои общества, через хронистов и монахов к ремесленникам и крестьянам. Особый интерес представляет развитие исторического сознания в Новое время, когда благодаря росту грамотности и развитию системы образования оно стало формироваться преимущественно на письменной основе — от школьных учебников до исторических романов.

Конечно, разделяя историю представлений о времени на четыре типа, следует помнить, что темпоральное сознание каждого индивида представляет собой некую смесь разных видов времени, и конкретный вид этой «смеси» зависит как от личностных характеристик индивида, так и от его положения в обществе и от характера самого общества и доминирующих в нем представлений. Но в любом случае в сознании всегда присутствуют эти четыре компонента, хотя некоторые из них могут быть выражены слабее, другие — ярче. Кроме того, разные типы темпоральных представлений не изолированы друг от друга, они испытывают сильное взаимовлияние. Например, сакральное время может складываться под влиянием обыденных (смена времен года) или родовых темпоральных представлений, историческое время — под влиянием родового и сакрального и т. д.

Заметим, что на каждом уровне темпорального сознания могут фигурировать или даже сосуществовать циклические и линейные представления о развитии во времени. На первом уровне (эмпирического времени) циклические представления о постоянном повторении дня и ночи, зимы и лета, работы и отдыха совмещаются с линейными ощущениями «течения» времени жизни, ускользающего и невозвратного мгновения и т. д. На втором уровне (родового времени) циклические и линейные представления могут сочетаться в разных пропорциях (линейная смена поколений соседствует с постоянно возобновляющимися циклами жизни от рождения до смерти). Сакральное время может иметь циклический характер (обычно в виде одного цикла, когда происходит возврат к первоначалу или первоначальному состоянию, или, например, в форме идеи реинкарнации и т. д.)⁴³, но в нем могут присутствовать и линейные мотивы (например, от акта творения через воплощение Христа к концу света). На уровне исторического времени, как было показано в § 1 главы 3, также могут существовать и даже сосуществовать линейные и циклические представления о развитии истории.

Предлагаемая нами классификация темпоральных представлений по четырем уровням, конечно, не является единственно возможной, но позволяет более четко выделить основные направления ис-

⁴³ «Миф о вечном возвращении», который традиционно рассматривается как основной элемент циклических мотивов в сакральных образах времени, в рамках нашей типологии темпоральных представлений может рассматриваться как распространение обыденного восприятия времени на сакральную сферу, а не как самостоятельный компонент сакрального сознания.

торических исследований в этой области. Она наглядно демонстрирует и неравномерность освещения различных аспектов данной проблемы в научной литературе.

В частности, работы по истории эмпирического темпорального сознания главным образом исследуют эпоху Нового времени и практически не затрагивают более ранних периодов. История семейного или родового времени проанализирована детально в основном в работах по генеалогии. Большое число публикаций посвящено сакральному времени, хотя далеко не все они ориентированы на историю соответствующих представлений: значительная их часть отведена сравнительному анализу в рамках культурной антропологии. Наконец, ряд исследований (не слишком длинный) посвящен историческим темпоральным представлениям, но основная часть этих работ относится к эпохе Средневековья.

1. Эмпирические представления

Эмпирические темпоральные представления складываются на основе индивидуальных представлений действующего субъекта о его прошлом и будущем, из его «личных» отношений с временем, базирующихся на собственном опыте. К сожалению, эта проблема остается недостаточно разработанной. По существу, мы можем проследить массовые изменения в эмпирическом восприятии прошлого и будущего лишь начиная с Нового времени (а реально — с XIX века). Что касается более отдаленных эпох, то рассуждения об эмпирическом времени здесь обычно исчерпываются цитатами из Гераклита, Сенеки и других философов или поэтическими реминисценциями вроде «быстротечного мгновенья», «унылых дней чреды» и т. п. В качестве весьма условного источника могут использоваться данные современных этнологических исследований, позволяющие составить некоторое косвенное представление об эмпирических темпоральных воззрениях в досовременных обществах.

На наш взгляд, для аграрного (доиндустриального) общества, каким была средиземноморско-европейская цивилизация в течение нескольких тысячелетий, основным фактором формирования эмпирических темпоральных представлений была рутинизированность человеческой деятельности, обусловленная природными явлениями. Как отмечалось в предыдущем параграфе, проблема рутинизации

занимает важное место в современной социологической теории⁴⁴. Но эти исследования ориентированы на проблемы современного индустриального общества, в котором именно социальное время — будь то на уровне индивидуального восприятия или существующих коллективных представлений — оказывается фактором рутинизации социальных действий и интеракций.

В нашем случае речь идет об обратной связи: рутинизация человеческой деятельности, обусловленная зависимостью от природных факторов, ведет к формированию специфических темпоральных представлений в доиндустриальном обществе. Жизнь подавляющего числа людей в таком социуме полностью подчинена природному ритму (мы уже обсуждали эту тему, рассматривая вопрос о структурировании, дисциплине и использовании времени). Цикличность и повторяемость природных явлений — смены дня и ночи и сезонов года — здесь неотделима от цикличности и повторяемости действий каждого человека. Одни и те же действия производятся изо дня в день, из года в год, и этот опыт неизбежно формирует устойчивую картину будущего, которое мыслится как повторение прошлого.

Такая повторяемость была характерна не только для трудовой деятельности, но и для праздников — в аграрном обществе почти все они имели сезонный, циклический характер и отмечались из года в год. Экстраординарные события в жизни индивида были немногочисленны и однотипны: нашествия завоевателей, грабежи, пожары, болезни — список весьма невелик. Скорее всего эти события также рутинизировались в сознании и входили составной частью в представления о будущем. Отсутствие пространственной и социальной мобильности только закрепляло эту однородную картину прошлого—настоящего—будущего, формировавшуюся на основе индивидуального опыта.

Конечно, все это относится прежде всего к массовому сознанию населения, занятого сельским трудом. У знати, купцов, воинов и т. д. темпоральные представления, основанные на личном опыте, могли быть гораздо более индивидуализированными и причудливыми. К сожалению, об этих представлениях нам почти ничего не известно, ибо сохранившиеся высказывания отдельных философов характеризуют не столько их эмпирические представления как действующих субъектов, сколько их взгляды как наблюдателей.

⁴⁴ См., например: Kolaja 1969; Goffman 1972; Hägerstrand 1975; Zerubavel 1981; 1985; Giddens 1984.

С позиций сегодняшнего дня кажется, что существенные изменения в эмпирическом восприятии прошлого, настоящего и будущего начали происходить всего пару столетий назад. Конечно, не исключено, что это предположение ложно и в более отдаленные эпохи наблюдались не менее значительные сдвиги в эмпирическом восприятии индивидуального времени. Однако нынешнее состояние исследований вынуждает нас принять эту гипотезу.

В частности, можно утверждать, что для темпорального сознания людей Нового времени характерно усиление интереса к своему прошлому и систематизация воспоминаний о нем. Главную роль здесь, естественно, играл рост грамотности, ее постепенное распространение среди все более широких слоев населения. Уже начиная с XIV в., сначала в Италии, а затем и во Франции, Англии, Германии и других европейских странах ширится практика ведения ежедневных записей, дневников, составления собственных жизнеописаний, мемуаров и других видов письменной фиксации происходящих в жизни индивида событий (Дэвис 1994 [1977], с. 216; там же см. библиографию). Но переломным здесь, по-видимому, стал все же XIX в., когда школьное образование впервые начало принимать массовый характер и грамотность стала достоянием основной части населения.

Повышение уровня знаний о собственном прошлом не означало, конечно, утрату человеческой памятью своего качественного, избирательного, характера — по-прежнему человек запоминает прежде всего эмоционально значимые лично для него события. Но постепенное увеличение количества документов, хранящихся в домашних архивах (различного рода дипломов, грамот, справок, свидетельств о рождении и браке и т. д.), все большее распространение анкет, автобиографий, curriculum vitae и проч., начавшееся в XIX в. и достигшее апогея в наши дни, — все это, несомненно, способствовало созданию более структурированной и равномерно заполненной картины прошлого на индивидуальном эмпирическом уровне.

В XX в. прошлое каждого человека стало также объектом интереса со стороны общества, причем не только в тоталитарных, но и в демократических государствах. Конечно, интерес к чужому прошлому существовал и в предшествующие исторические эпохи, но в большинстве случаев общество не превращало предоставление сведений об индивидуальном прошлом в непрременную обязанность каждого своего члена. Точно так же и хранителем сведений о личном прошлом был в большинстве случаев сам индивид. Ныне же сбором

данных о каждом человеке занимается огромное число различных частных и государственных учреждений — от банков до полиции и налоговой службы.

Типичная примета новейшего времени — биографические справочники типа «кто есть кто». Более того, публичное распространение сведений о прошлом того или иного индивида во многих случаях поощряется им самим и выступает в качестве статусного показателя. Если раньше прижизненных биографий удостоивались лишь царствующие особы, то с наступлением Нового времени этот процесс начинает постепенно демократизироваться, а с конца XIX — начала XX в. он приобретает по-настоящему массовый характер.

Повышенное внимание к истории жизни индивида со стороны общества несомненно повлияло и на его представления о собственном прошлом. Теперь он гораздо лучше, чем это было в предшествующие эпохи, помнит события своей жизни и старается по возможности контролировать информацию, поступающую в распоряжение общества. Любой индивид стремится делать общественным достоянием благоприятную для себя информацию и скрыть неблагоприятную. Ясно, что это выполнимо только при должном внимании к своему прошлому.

Наконец, индивидуальное прошлое стало определять индивидуальное будущее. Последующая жизнь человека зависит от его предыдущей жизни — его поступков, образования, работы и т. д. Это проявляется на уровне как внутреннего индивидуального сознания, так и сознания общественного. В частности, одной из примет Нового времени явилось быстрое увеличение доли лиц наемного труда. Прошлое каждого вновь нанимаемого работника стало объектом интереса со стороны нанимателя; в результате, скажем, при найме слуг стали требоваться рекомендательные письма, характеризующие прошлую деятельность их. В этом смысле функция рекомендательных писем, известных с древнейших времен, претерпела существенные изменения: если до начала Нового времени они служили чем-то вроде удостоверения личности, т. е. удостоверяли текущее положение человека, то при развитии пространственной и социальной мобильности они все чаще удостоверяют его прошлое.

В Новое время самым существенным образом изменилось и отношение индивида к своему будущему. На смену пассивному ожиданию przyszло активное планирование будущего, его формирование и «обустройство». Опять-таки, как и в случае с эмпирическими представлениями об индивидуальном прошлом, эти тенденции, наметив-

шиеся при переходе к Новому времени, начали активно развиваться в XIX в. и достигли расцвета к концу XX в.

Освоение будущего ныне проявляется в самых разнообразных формах — от изучения прогнозов погоды, которые на регулярной основе стали делаться в конце XIX в., а с начала XX в. ежедневно появляются в средствах массовой информации (сперва в газетах, затем по радио и на телевидении), до оформления страховых полисов. Выбор специальности, места учебы, работы и жительства, планирование ежегодного отпуска и приобретение товаров длительного пользования, финансовые инвестиции и даже поведение на выборах — все это связано с оценкой собственного будущего. Практически ежедневно современный человек осознанно принимает решения, влияющие на его будущее, «обустривающие» его завтрашнюю жизнь. Многократно возросли возможности для такого влияния, но одновременно повысилась цена принимаемых решений.

Человек Нового времени по существу не знает настоящего, он устремлен в грядущее: разрабатывает планы, визионерствует, создает социальные доктрины лучшего будущего, строит новое общество. Даже столь обыденная вещь, как система страхования, свидетельствует об озабоченности неприятностями и несчастьями, которые когда-то могут произойти. Назвав это явление *колонизацией будущего*, Э. Гидденс имел в виду «открытость» еще не произошедших событий, подразумевающих податливость социального мира и способность людей формировать физическую среду своего существования. Будущее для живущих в конце XX в. по-прежнему остается «пространством контрфактических возможностей» (Гидденс 1994 [1991], с. 109). Все люди Нового времени ориентированы на будущее, но некоторые готовы жить в нем больше, чем другие. Это органично связано с социально-политической установкой современности, которую Фромм называл «отчаянием и страстью к будущему».

Заметим, что ориентация на будущее и усиление внимания к собственному прошлому тесно связаны между собой. Дифференциация общества, индивидуализация жизненного пути и опыта каждого отдельного человека — еще одна яркая примета новейшей истории. Все в большей степени жизнь человека начинает зависеть от него самого, от решений, принимаемых им на основе прошлого опыта и накопленных знаний.

Огромное воздействие на изменение эмпирического восприятия времени в XIX—XX вв. оказало развитие техники. Перелом в со-

знании, который произошел на рубеже прошлого и нынешнего веков, превосходно описан, в частности, Д. Бурстином в одном из разделов его трехтомной работы, озаглавленной «Время становится столь же воспроизводимым, как и все прочее: упаковывая единицу времени». Как отмечает Бурстин, до конца XIX в. «жизнь была цепью невозвратимых, неповторимых эпизодов. Время было последовательностью единственных в своем роде мгновений — каждое приходило и никогда уже не повторялось. Прошедшее было чем-то, что уже было не воскресить... Неповторимость мгновения была сокровенным смыслом жизни — и смерти. Говорить о ней было все равно что иными словами говорить о том, что человек смертен. Поскольку только лишь Бог вездесущ, он мог одновременно быть везде и всюду. Он не был ограничен пространством и временем, так же как он не был ограничен погодой или временем года. Только лишь Бог мог видеть события так, будто бы они все еще происходили или будто они все произошли одновременно. Только Бог мог видеть движущиеся тени умерших и слышать их голоса. Теперь все это мог делать человек» (Бурстин 1993 [1958—1973], т. 3, с. 469, 468).

Огромную роль в формировании нового ощущения времени сыграло изобретение всякого рода звуко- и видеозаписывающих устройств — от фонографа и фотоаппарата до магнитофона и видеокамеры. Человек впервые научился хотя бы частично останавливать «прекрасное мгновение» и воспроизводить его бесконечное число раз, а тем самым отчасти переноситься в прошлое. Особое значение имело развитие телевидения, которое не только способствовало размытию границ между прошлым и настоящим, но также стало символом покорения времени. Выпуски новостей обеспечивают мгновенное перемещение во времени и пространстве, одновременное присутствие в разных точках земного шара, и эти ощущения еще больше усиливаются чередованием свежайших новостей с документальными кадрами прошлого. Куда там германским варварам с их «мифологическим хронотопом», которых описывает А. Гуревич, — никакое самое фантастичное мифологическое сознание не могло породить подобное слияние всех времен в настоящем!

2. Семейные представления

В отличие от эмпирического восприятия индивидом своего прошлого, настоящего и будущего, которое рассматривается в историче-

ской литературе довольно фрагментарно, семейное, или родовое, время исследуется историками широко и последовательно. Существует немало исторических исследований, затрагивающих отдельные аспекты формирования семейного времени в разные исторические эпохи. Наконец, с проблемой родового времени в той или иной мере соприкасается целая историческая дисциплина — генеалогия.

Семейная память и родовая история относились, по-видимому, к числу древнейших элементов темпорального сознания человека и в дописьменных культурах играли ведущую роль в формировании представлений о прошлом, оставаясь едва ли не единственным источником информации о событиях, выходивших за рамки индивидуальной человеческой памяти. Семейная память удерживала относительно достоверную историю как минимум трех-четырех поколений, т. е. охватывала не менее ста лет. Более отдаленное прошлое, естественно, терялось во мраке и обрастало легендами, но и сто лет весьма приличный срок для истории. Конечно, хронологическая канва семейной истории оставалась очень приблизительной (известно, что еще в Средние века большинство людей не знало, в каком году они родились и сколько им лет), но тем не менее разделение далекого и близкого прошлого, равно как и прошлого и настоящего, было довольно четким в пределах нескольких десятилетий.

Характеризуя темпоральные представления варварских племен, А. Гуревич пишет: «Значение этой формы отношения к времени, которую можно было бы назвать родовым или семейным временем, определялось преимущественно интравертным характером семейно-родовых групп, ведущих обособленный образ жизни и лишь поверхностно связанных между собой. На каждом хуторе, в поселке, общине время текло, подчиняясь ритму смены поколений и тех немногочисленных и мало разнообразных событий, которые налагали отпечаток на жизнь группы... Культ предков, игравший огромную роль в жизни варваров, был связан с их отношением к времени. Предок мог вновь как бы родиться в одном из своих потомков, — в пределах рода передавались имена, а вместе с ними и внутренние качества их носителей. Прошлое возобновлялось, персонифицировалось в человеке, который повторял характер и поступки предка» (Гуревич 1984 [1972], с. 109—110).

Семейная память выполняла функцию накопления и передачи информации, знаний и опыта от поколения к поколению. В дописьменных культурах семейное прошлое и память о нем непосредственно

вливали на настоящее и будущее членов рода или семьи — повышая уровень знаний, они обеспечивали адаптацию к внешней среде, облегчали условия существования и способствовали развитию общества.

Разложение родового строя (пользуясь марксистской терминологией) и возникновение нуклеарной семьи отчасти вело к утрате родовой памяти как массового явления. Однако почти повсеместно распад родового строя сопровождался развитием письменности, а это, в свою очередь, вело к появлению «списков» родословных. Они существовали уже в Древнем Египте, Месопотамии, Иудее, Греции, Риме и т. д.⁴⁵, хотя в каждом регионе их создание имело свои особенности. В Древнем Египте составление жрецами списков фараонов привело к упорядочению понятия династии как составной части крупного раздела истории Древнего Египта — царства. В Месопотамии жреческие списки царей послужили основой для исторической реконструкции крупных хронологических периодов — Шумера, Аккада, III династии Ура. В то же время иудейские списки отражают многочисленные представления о родовом веке. В Греции списки родословных всегда восходили к мифическому герою, в Риме же *pater familias* чаще всего являлся исторической личностью. Конечно, писанные родословные и семейные хроники имелись лишь у ограниченного круга семей, принадлежавших к царствующим домам или узкому слою высшей знати, но само существование родословных и степень их распространенности в этом слое достаточно симптоматичны.

Одним из ключевых элементов темпоральных представлений, формируемых на уровне родового времени, является понятие, именуемое «жизненным циклом» (*life cycle*), «жизненным путем» (*life course*) или «жизненной карьерой» (*life career*). Прежде всего это понятие включает в себя биологический цикл жизни человека — от рождения до смерти. Осознание процесса изменения физических свойств и возможностей человеческого организма от детства к старости в сильной степени определяет темпоральные представления индивида, его видение собственного прошлого, настоящего и будущего. Био-

⁴⁵ Например, в известном рассказе Геродота о пребывании Гекатея Милетского в Египте говорится, что египетские жрецы смогли назвать ему 345 колен своих предшественников (*Геродот. История II, 143*). Первые исторические работы греческих логографов в VI—V вв. до н. э., в частности, «Генеалогия» упомянутого Гекатея Милетского (ок. 546—480 до н. э.), по существу также представляли собой генеалогические исследования и отражали «семейное» восприятие времени.

логический цикл жизни человеческого организма теснейшим образом связан с циклом социальной жизни, хотя конкретная форма и структура последнего существенно зависят от конкретного типа общественной организации. Эта проблема уже непосредственно связана с историей.

Цикл социальной жизни и формируемые на его основе темпоральные представления индивида существуют в двух плоскостях, которые условно можно назвать вертикальным и горизонтальным временем. В любой конкретный момент цикл жизни проявляется в виде вертикального времени, формируемого в рамках социальной стратификации по возрастному признаку. Каждой возрастной группе соответствуют свои, довольно жестко определенные социальные функции. Эта жесткость особенно явно проявляется в примитивных обществах с родоплеменным строем, где возраст был одним из главных параметров социальной стратификации.

Вертикальное время социальной стратификации по возрастному признаку транслируется в горизонтальное время темпоральных представлений каждого индивида, который четко осознает, какой социальный статус и функции он обретет после достижения определенного возраста.

Идея вертикального семейного времени тесно связана с архаичным образом «древа жизни», являющегося, в свою очередь, вариантом мифического «мирового древа». В частности, как отмечает В. Топоров, хеттскому названию древа жизни *ēa* родственны древнеиндийское *ayus* (жизненная сила), греческое *αἰών* (век, жизнь, вечность), латинское *aevum* (жизнь, век, возраст) и т. д. (*Топоров 1980а, с. 396*). Именно к образу вертикального (но перевернутого) «древа жизни» восходит хорошо известная идея генеалогического дерева⁴⁶.

Заметим, что практически во всех обществах до образования европейской культуры Нового времени вертикальное семейное время не ограничивалось членами семьи, живущими в данный момент. Культ предков, присущий практически всем народам, расширял вертикальное семейное время за счет предшествующих, физически умерших, поколений. Умершие предки не уходили из сознания живущих — им не только поклонялись, но с ними советовались, апеллировали к их

⁴⁶ Идею сосуществования вертикального и горизонтального времени развивал, в частности, русский религиозный философ Н. Федоров (*Федоров 1982 [1851]*). Мы вернемся к обсуждению этой темы в § 1 главы 6.

авторитету, их призывали в свидетели и т. д. Короче говоря, умершие существовали в сознании столь же реально, как и живущие члены семьи. Эта пролонгированная структура вертикального семейного времени транслировалась в соответствующие представления о горизонтальном времени индивида — вера в будущую загробную жизнь была для человека так же естественна, как и вера в то, что со временем он поседеет и у него выпадут зубы.

Эти примитивные мифические представления в полной мере унаследовала христианская католическая церковь, которая отстаивала идею корпоративной целостности умерших и живущих. «Месса, искусство и благочестивые обычаи в сочетании с народными верованиями в привидения делали умерших разновидностью „возрастной группы“ наряду с детьми, молодежью, семейными людьми и стариками» (Дэвис 1994 [1977], с. 209).

Серьезные изменения в сфере вертикального, а тем самым и горизонтального семейного времени произошли только в XVI—XVII вв. В этот период по-новому осмысливаются отношения между живущими и умершими, т. е. направление развития семейных судеб в историческом времени. Кардинальную роль здесь сыграло появление протестантских церквей, которые объявляли все формы связей между душами умерших и живущих невозможными. Таким образом, мертвые как возрастная группа были удалены из протестантского общества, и темпоральные представления, базирующиеся на цикле жизни, стали ограничиваться лишь земным бытием.

Вообще по мере увеличения дифференциации общества базовая модель жизненного цикла заметно усложняется. Конкретный вид жизненного цикла индивида начинает зависеть от его принадлежности к определенной социальной группе, проще говоря, к определенной семье. Не обошли вниманием эту проблему и экономисты — существует достаточно обширная литература, посвященная жизненному циклу экономического поведения населения, включая характер сбережений, потребительское поведение вплоть до изменения вкусов в течение жизни, и т. д.⁴⁷. Мы уже обращались к проблеме жизнен-

ного цикла в предыдущем параграфе при обсуждении темы аллокации и дисциплины времени, а здесь более подробно остановимся на общей проблеме принадлежности к определенной семье как условию формирования темпоральных представлений индивида.

Родовая история становится фактором социальной стратификации уже в относительно примитивных обществах с невысоким уровнем дифференциации. Так, например, даже у варварских племен «родство учитывалось при получении вергельда за убитого, при уплате выкупа за невесту, при участии в коллективной помощи родне» (Дмитриева 1990, с. 11, сн. 5). В обществах же с более высоким уровнем социальной дифференциации родовая история начинает играть доминирующую роль в определении социального статуса и функций индивида — его свободы или несвободы, гражданского подданства, имущественного положения, рода занятий и т. д.

Особое значение семейное прошлое имело в Европе периода позднего Средневековья, когда сословность превратилась в доминирующую характеристику социального устройства, стержнем которого был «принцип наследственности, передачи социального и имущественного статуса, собственности, власти и других общественно-политических функций, прав и привилегий каждой социальной группы... Происхождение, кровь родителей или одного из них изначально определяли дальнейшую судьбу индивидуума... Статус, взаимные права и обязанности, общественные функции передавались по наследству из поколения в поколение. Свобода, участие в политической власти, управлении и военном деле превратились со временем в наследственные привилегии» (Дмитриева 1990, с. 6—7).

Происхождение и семейное прошлое были определяющими как в сословном устройстве общества, так и внутри каждого сословия. Дворянство делилось по степени знатности и древности рода — от верховных правителей, царствующих семей и родовитой аристократии до рядового дворянства. Это структурирование шло как по линии формальных дворянских титулов (от королей и герцогов до виконтов и баронов), так и по степени древности рода. Неудивительно, что родословные всех королевских фамилий, составлявшие их придворными, начинались или с библейских персонажей или, в крайнем случае, с Александра Македонского. В этом, в частности, проявлялось отличие от более примитивных обществ, в которых каждый род традиционно вел происхождение от богов: в Средние века божествен-

⁴⁷ Социологические аспекты эволюции жизненного цикла в XX в. рассматриваются, например, в работах Т. Харевен и Дж. Элдера (Hareven 1977; 1978; 1982; 1991; Elder 1979a; 1979b). В экономике проблема жизненного цикла впервые начала исследоваться лауреатом Нобелевской премии Ф. Модильяни (Modigliani 1949; Modigliani, Brumberg 1954; Ando, Modigliani 1963).

ное (т. е. древнейшее) происхождение стало привилегией царствующих семейств.

Внутрисословная стратификация была характерна не только для дворянства, но для всех слоев феодального общества. «Духовенство охраняло свои привилегии и наследственный статус не менее ревностно, чем дворянство (высокие и прибыльные церковные должности зачастую замещались членами одних и тех же семейств, кланов, потомков которых готовили к духовной карьере)... „Генеалогический фактор“ играл важную роль и в жизни городского сословия, особенно его верхушки — патрициата, власть которого приобрела характер наследственной... В среде средневекового купечества и ремесленничества... благородство происхождения определялось статусом свободного человека, членством в цехе или гильдии, размерами состояния. Не чуждо было понятие благородства и средневековому крестьянству, для которого критериями были имущественный и социальный статус, авторитет в общине, наследственное отправление должностей в общинном управлении и т. д.» (Дмитриева 1990, с. 7—8). Семейное прошлое каждого человека едва ли не полностью определяло всю его жизнь уже при рождении — род занятий, достаток, брачный круг, а то и конкретного супруга.

Принципиальные изменения в темпоральных представлениях, образующихся на основе семейной истории, начали происходить лишь в эпоху Возрождения. С одной стороны, постепенно теряла устойчивость сословная структура общества, возрастала социальная мобильность. С другой — «время семьи утверждалось не с помощью легенд или автоматического копирования каждым поколением жизни предыдущего в соответствии со старинными законами преемственности, а как результат сознательных усилий, предпринимаемых одним поколением ради другого» (Дэвис 1994 [1977], с. 217). Как полагает Н. Земон Дэвис, заметную роль в формировании нового типа семейного времени сыграло распространение фамильных мемуаров. «... Уже во Флоренции XIV в. семейная история или домашние воспоминания... оформляются в новый литературный жанр; к концу XV в. в Провансе, Лимузене и Лионе их вели нотариусы, бюргеры и даже сельские купцы. В конце XVI и в XVII в. множество таких манускриптов создавалось в средних и высших слоях французского и английского общества» (Дэвис 1994 [1977], с. 216).

Впрочем, сословная структура общества сохранялась еще долго. Пример — история России, где сословия фактически существовали

до распада СССР (вспомните графу «социальное происхождение», которую все заполняли при приеме на работу). Но даже при формальной ликвидации сословий семейное прошлое продолжает оказывать колоссальное воздействие на жизнь большинства людей. История семьи, уровень достатка, занимаемое ею положение в обществе, фамильные традиции и пр. влияют на человека с момента рождения, и как правило это влияние сохраняется в течение всей его жизни. Тем самым прошлое семьи продолжает воздействовать и на представления индивида о настоящем и будущем: по-прежнему едва ли не каждый сравнивает свой социальный и имущественный статус со статусом предков, равно как и планирование будущего большинством людей осуществляется хотя бы под некоторым влиянием старших членов семьи с учетом семейного прошлого.

Семейное время включает, естественно, не только прошлое, т. е. историю рода, но и его будущее. В принципе, планирование семейной жизни имеет достаточно древнюю историю. Забота о наследовании и умножении семейного достатка, сохранении должности или титула, учет династических и имущественных соображений при принятии решений о браке детей — все это имело место со времен фараонов, а может быть и раньше. Среди знати представления о будущем (ожидания) и его планирование играли весьма важную роль в определении текущего поведения. Отчасти подобными соображениями руководствовались и простолюдины, прежде всего при заключении браков детей, — стремление удачно выдать замуж дочь или женить сына существовало во всех семьях, принадлежащих к любым слоям общества.

Сознательное планирование будущего семьи получило широкое распространение уже в позднем Средневековье. «Скрупулезные исследования дворянства Макона во Франции XII в., патрицианских семей этого же периода в Генуе и бюргерских семей в Бордо XIII в. ... показали, что отцы семейств производили разнообразные изменения наследственных прав в отношении жен, дочерей и младших сыновей для того, чтобы укрепить или усилить позицию того или иного члена семьи» (Дэвис 1994 [1977], с. 202; см. также: *Duby* 1972; *Huges* 1975; *Lafon* 1972). Но целенаправленное планирование семей будущего детей в Средние века в основном было ограничено сравнительно узким кругом дворянской знати. Кроме того, сам процесс планирования имел достаточно специфичный характер, связанный с системой наследования. Как отмечает А. Гуревич, часто считалось, что воля человека

утрачивает силу после его смерти, — поэтому посмертное наследование часто заменялось прижизненным дарением, престолонаследие гарантировалось возведением сына в ранг соправителя при жизни монарха, наследники вассала должны были снова присягать на верность сеньору (Гуревич 1984 [1972], с. 154—155; подробнее см.: *Stelling-Michaud* 1959).

Коренной переворот в отношении к семейному будущему произошёл, по-видимому, в XVI—XVII вв., когда планы представителей старшего поколения начинают распространяться на время, которое последует за их смертью. «В сферу семейного планирования входили не только земли, замки, дома, амбары, пенсии, ренты, подсобные помещения при доме, мастерские, ткацкие станки, учителя, нанимаемые для обучения детей, компаньоны и акции, но также профессии или вид деятельности и брачные союзы детей» (Дэвис 1994 [1977], с. 202). Планирование будущего все больше распространяется и в семьях богатых крестьян и ремесленников. Усилилось регулирование брачных союзов, будь то в форме церковных ограничений на кровосмесительные связи или требования публичности брачной церемонии. Во Франции уже в XVIII в. начинают довольно широко применяться противозачаточные средства (несмотря на запреты Церкви). Важным показателем распространения планирования семьи, а тем самым и структуризации семейного времени является утверждение так называемого европейского типа брачности, характеризующегося относительно поздним возрастом вступления в брак (см.: Хаджнал 1979 [1965]).

Эволюция семейного времени в новейшую эпоху, т. е. в XIX—XX вв., происходила под влиянием нескольких разнонаправленных тенденций. С одной стороны, роль семейного времени в формировании темпоральных представлений индивида падала. С распространением грамотности, а затем и всеобщего образования, постепенно сходит на нет значение семейной истории как источника информации о прошлом, выходящем за пределы истории семьи, — эту функцию начинают выполнять учебники, музеи, исторические романы, кинофильмы и т. д. Ликвидация сословий и увеличение социальной мобильности в западных обществах уменьшили влияние семейного прошлого на судьбу человека и его жизненные планы. В некоторых странах, как например в Англии, были введены гигантские налоги на наследство, резко сократившие возможности использования на-

копленного предками богатства. Доминирование городской культуры и дальнейшая нуклеаризация семей также содействовали ослаблению семейных связей, а следовательно, и уменьшению роли семейного времени.

С другой стороны, распространение грамотности и технических средств аудио- и видеозаписи способствовало развитию семейной истории, которая ныне фиксируется не в виде устных преданий, а в виде документов, писем, фотографий, видеофильмов. Как правило, большинство современных семей располагает документированной историей двух-трех, а то и более поколений. Планирование семьи стало общепринятым явлением по крайней мере на уровне деторождения. Сохраняется, как отмечалось выше, и влияние семейного прошлого на жизнь человека, а тем самым и на его представления о своем настоящем и будущем.

3. Сакральные представления

Анализ темпоральных представлений занимает важное место в изучении мифического (мифологического) сознания⁴⁸. В работах специалистов по истории религий подчеркиваются, в частности, такие особенности мифологического мышления, как сведение причинно-следственного процесса к материальной метаморфозе в рамках индивидуального события, сущности вещи — к ее происхождению. Много внимания современные исследователи уделяют форме сакральных темпоральных представлений, степени доминирования циклических или линейных временных структур (эту проблему мы обсуждали в § 1 главы 3).

Особый пласт мифологического сознания составляет культ времени, который был выражен в разных религиозных системах с боль-

⁴⁸ Начало этим исследованиям, как отмечалось во введении к данной главе, было положено в начале нашего века Э. Дюркгеймом, А. Юбером и М. Моссом. Данное направление существенно активизировалось после второй мировой войны, прежде всего благодаря работам М. Элиаде, Говарда Беккера и С. Брэндона (*Элиаде* 1987 [1949]; 1994 [1957]; *Becker* 1968 [1950]; *Brandon* 1951; 1965; см. также: *Leeuv* 1960 и др.). Заметный вклад в изучение мифического сознания и соответствующих темпоральных представлений внесли на протяжении последних десятилетий российские культурологи и религиоведы — Е. Мелетинский, С. Аверинцев, Вяч. Иванов, С. Токарев, В. Топоров и др. (первичное представление об этих исследованиях дает энциклопедия «Мифы народов мира» под ред. С. А. Токарева; там же см. базовую библиографию).

шей или меньшей силой. Носителями культа времени выступали или «календарные» боги (Озирис, Дионис и т. д.), или боги, «ответственные за время» либо ассоциирующиеся с временем (Хронос или Янус, одно лицо которого было обращено в прошлое, а другое в будущее), или низшие божества, отвечающие за время жизни и судьбу человека, — мойры у греков, парки у римлян, норны в скандинавской мифологии (символизировавшие прошлое, настоящее и будущее) и т. д.

Кульτ времени был необычайно развит в иранской мифологии, где персонификацией времени являлся Зерван — верховное божество зерванизма, «Отец Величия», воспринятый также манихейством и митраизмом. Вначале Зерван мыслился лишь как бесконечное время (Зерван Акарана), существующее изначально. В более поздних частях «Авесты» этот образ дополняется представлением о конечном времени (Зерван Даргахвадата), соотносящимся с этим миром, созданным и обреченным на гибель.

В первые века нашей эры митраизм получил широкое распространение среди римлян, что обусловило беспрецедентное развитие культа времени в Риме в эпоху поздней империи (III в. н. э.). «Появилось мнение, согласно которому время — Кронос-Хронос, было одним из составляющих мир элементов: огонь, или эфир, был началом управляющим, земля — управляемым, время же все регулирует — *universa pars moderatur*, т. е. время как бог, выделялось в самостоятельный компонент мира, его связующий и направляющий. Кульτ времени принимал разные аспекты: как вечность, век, сезоны... Сатурн считался богом вечности и веков, которые порождали года, возвращающиеся обратно во время... Эон, век, в виде человека с львиной головой, <обвитый> змеей, сезоны постоянно изображаются на саркофагах и других памятниках... Время и вечность, игравшие столь значительную роль в императорском культе, могли и в частных верованиях почитаться как атрибуты верховного бога, как проявления его потенций, соединяясь с учением о бессмертии души и ведущей к нему добродетели» (Штаерман 1987, с. 285, 294—295).

Современные концепции сакральных представлений о прошлом, настоящем и будущем объединены идеей «смешанности», неструктурированности и антиисторичности мифологического сознания, незначительно варьируясь в отдельных ее аспектах. Так, М. Барг рассматривал мифологическое время как одномоментное, не связанное ни с чем ни в прошлом, ни в будущем, т. е. это время вне потока

истории (Барг 1987, с. 20). А. Гуревич также оценивает архаичное сознание как антиисторичное, но при этом полагает, что хотя для варваров, например, существовало только настоящее время, это настоящее несводимо к моменту, оно включает в себя и прошедшее, и будущее (Гуревич 1984 [1972], с. 108, 110). Ж. Ле Гофф пишет о том, что мифологическое темпоральное сознание средневекового человека подразумевало, что «все ныне живущие люди отвечают за проступок Адама и Евы, все современные евреи ответственны за страсти Христовы, а все мусульмане — за магометову ересь... Крестоносцы XI в. считали, что они направляются за море, чтобы покарать не потомков палачей Христа, а самих палачей». Все это, по его мнению, свидетельствовало не только о смешении эпох, но «главным образом о чувстве и вере средневековых людей в то, что все существенное для человечества является современным» (Ле Гофф 1992 [1964], с. 165).

На наш взгляд, эта проблема нуждается в дальнейшем изучении. В частности, для упорядочения характеристик сакральных темпоральных представлений (мы используем термин «сакральное» как объединяющий мифические и религиозные представления) целесообразно обратиться к общей структуре мифов. Опираясь на более общую работу Е. Мелетинского (Мелетинский 1990), в соответствии с целями нашего исследования мы выделим три группы мифов, относящихся к прошлому, настоящему и будущему.

Первая группа — мифы о прошлом — является наиболее многочисленной и включает несколько категорий мифов. Прежде всего это мифы этиологические (буквально, «причинные», т. е. объяснительные), объясняющие происхождение различных природных и культурных особенностей и социальных объектов. Следующая, менее архаичная и более сакрализованная группа — мифы космогонические, повествующие о происхождении космоса в целом и его частей, связанных в единой системе. Частью космогонических мифов являются мифы антропогонические — о происхождении человека, первых людей или племенных предков. Все эти мифы повествуют о «начальном» мифическом времени, времени создания и творения.

Чуть более близки к настоящему эсхатологические мифы (которые мы будем называть эсхатологией первого типа), повествующие о прошлых катастрофах, сопровождавших смену эпох (напри-

мер, мифы о гибели великанов или старшего поколения богов, живших до появления человека, или мифы о потопе и т. д.).

С настоящим или текущим временем сопрягаются прежде всего календарные мифы, теснейшим образом связанные с циклом календарных обрядов, как правило с обрядной магией, ориентированной на регулярную смену времен года, в особенности на возрождение растительности весной, на обеспечение урожая. Особенно распространен календарный миф об уходящем и возвращающемся или умирающем и воскресающем божестве (ср. мифы об Озирисе, Адонисе, Дионисе и др.).

Наконец, как минимум две категории мифов связаны с будущим. Первая — это мифы о загробном мире, появляющиеся в развитых мифических системах. Для таких систем типична, как правило, и еще одна категория мифов о будущем — эсхатологические мифы второго типа, рассказывающие о будущей гибели мира.

Таким образом, в развитых мифических системах задается достаточно целостная темпоральная структура «прошлое—настоящее—будущее», причем как прошлое, так и будущее подразделяются на более и менее отдаленное от «настоящего». Более отдаленное прошлое — время начала или первотворения (этиологические, космогонические и антропогонические мифы), менее отдаленное — эсхатологические мифы первого типа и героические мифы. В свою очередь менее отдаленное будущее описывается в мифах о загробном мире, более отдаленное — в эсхатологических мифах второго типа, повествующих о конце мира.

Еще одним важным аспектом сакральных темпоральных представлений является сосуществование вертикального и горизонтального времени, о которых мы уже упоминали выше при обсуждении семейного времени. Сакральное время в значительной мере формировалось под влиянием родового, и временная соотносительность мифических персонажей была обусловлена представлениями о смене поколений. Последняя же, с одной стороны, выстраивается в горизонтальном или хронологическом времени (раньше—позже), с другой — в каждый момент времени структурирована в вертикальном социальном времени (старшие—взрослые—дети). По аналогии структурировалось и родовое время мифических персонажей, они «появлялись» или «рождались» в некоторой горизонтальной временной последовательности, но вместе с тем сосуществовали в данный момент времени.

При этом место мифических персонажей в структуре вертикального времени могло определяться как возрастным старшинством,

так и значимостью или важностью (высшие, средние и низшие божества), а также путем пространственного разделения места их обитания (небо, земля, подземный мир). Типичным примером подобного структурирования является греческая мифология: высшие боги находятся на Олимпе, низшие божества — на земле, души умерших людей — в царстве Аида, титаны — в Тартаре (см.: Vernant 1969).

Мифические темпоральные представления, таким образом, имеют довольно сложную структуру (что отчасти тоже создает поле для дискуссий). Очевидно, что в разных мифических системах удельный вес отдельных компонентов этой темпоральной структуры может сильно различаться, а некоторые из них вообще могут отсутствовать. Пожалуй, только мифы о первотворении (этиологические и антропогонические) присутствуют и занимают важное место в мифологии всех стран и народов. У кочевых народов или племен, не занимающихся земледелием или живущих близко к экватору, где не выражена смена времен года, часто вообще отсутствуют календарные мифы, далеко не у всех народов существовали мифы о будущем и т. д. Вместе с тем, можно выделить некоторые мифические системы, в которых те или иные компоненты темпорального сознания были выражены особенно сильно.

Так, по мнению С. Токарева, «мало найдется на земле таких народов, у которых до такой степени, как у египтян, были развиты погребальный культ и все связанные с ним представления о загробном мире... По египетским верованиям, со смертью человека умирает только его тело, тогда как остаются жить другие составные части его существа: имя (рен), душа (ба), вылетающая из тела в виде птицы и уносящаяся на небо, и, наконец, таинственный двойник человека (ка)... Ка не бессмертен, он может погибнуть от голода и жажды, если при погребении покойник не будет снабжен всем необходимым... В благоприятном случае, при сохранении мумии или хотя бы статуи умершего, ка может надолго пережить его» (Токарев 1976, с. 307—308). Посмертная судьба ка обычно связывалась с пребыванием на «полях Иалу», расположенных где-то на западе (куда уходит солнце), где ка продолжает вести ту же жизнь, которую вел человек до смерти. Души умерших пребывали в стране мрака — дуат, куда нисходит солнце ночью.

Эти представления о загробной жизни как простом продолжении земной были характерны для времени Древнего царства, а в период Среднего царства на смену им приходит идея о загробном

воздаянии. «В эпоху Среднего царства складывается идея суда над душами умерших. Судьей душ считался Озирис, которому помогали Анубис, Тот и адское чудовище, пожирающее осужденные души. На этом страшном суде взвешивается сердце покойника и в зависимости от добрых и дурных дел, совершенных им при жизни, определяется судьба его души» (Токарев 1976, с. 310). Наиболее подробно эти представления были зафиксированы в так называемой «Книге мертвых», собрании магических заупокойных формул, постепенно создававшимся из надписей на стенах гробниц, саркофагах вельмож, а позднее — на папирусных свитках, которые клали на грудь мумии умершего. Впоследствии именно египетское религиозное учение о страшном загробном суде повлияло на развитие такого же учения в христианстве.

В греческой мифологии были представлены практически все элементы темпоральной структуры — этиологические мифы (сотворение из хаоса и т. д.), эсхатологические мифы первого типа (борьба с титанами и потоп), календарные мифы (Деметра и Персефона), мифы о загробной жизни (царстве теней Аида и загробных муках, например Тантала и Сизифа), но почти полностью отсутствовали эсхатологические мифы второго типа, повествующие о конце мира. По сравнению с другими мифическими системами греческая мифология выделяется прежде всего наиболее разветвленной структурой героических мифов, занимающих едва ли не большую часть всей мифологии (Brandon 1951, p. 128—134).

В древнем иудаизме (до эпохи диаспоры) почти полностью отсутствовали представления о загробной жизни, о бессмертии души, о загробном воздаянии и т. д. Эпоха диаспоры, т. е. «рассеяния» евреев за пределами Палестины, началась еще в VII—VI вв. до н. э., в годы ассирийских и вавилонских завоеваний. В эпоху эллинизма этот процесс усилился, а в годы римского владычества достиг своего апогея, особенно после разрушения Иерусалимского храма Титом Флавием в 70 г. и самого Иерусалима в 133 г. Все представления о приходе мессии-освободителя, о загробной жизни и воскрешении из мертвых возникли только в конце прошлой — начале нашей эры, и зафиксированы они были в Талмуде, составленном в III—IV вв.

Главным отличием иудаизма в области темпорального сознания была историзация мифов о прошлом, неведомая предшествующим мифологическим системам. Традиционный набор мифов

о первотворении, а также эсхатология первого типа (потоп)⁴⁹ и героические мифы были упорядочены во времени и помещены в рамки хронологической системы (благодаря счету по поколениям). По мере возможности мифы были совмещены с историей — как известно, в Ветхом Завете фигурируют и реальные исторические персонажи.

В мифологии европейских народов — германских и славянских племен — был весьма развит календарный компонент темпорального сознания. В силу резких колебаний климата в течение года, здесь, в отличие от более южных народов, календарные мифы и ритуалы играли первостепенную роль. Естественным исключением из этого «географического правила» были, конечно, Египет и Месопотамия, где регулярные разливы Нила, Тигра и Евфрата также способствовали возникновению календарных мифов и праздников.

Наконец, христианство оказалось, по-видимому, самой темпоральной религией за всю историю человечества. Христианской концепции времени посвящен целый ряд специальных работ (см., например: Brabant 1937; Barr 1962; Cullmann 1964). Большинство исследователей подчеркивает финалистский характер христианского сакрального времени, его конечность (от Сотворения мира до Страшного Суда), с четким делением на эпохи до и после Христа (мы рассматривали эту тему в гл. 2). Вобрав в себя исторические мифы о прошлом из иудаизма и дополнив их житиями святых, представляющими разновидность героических мифов, использовав календарные мифы германских и славянских племен и эсхатологию конца света из египетской мифологии, христианство выстроило всю темпоральную цепочку «прошлое—настоящее—будущее». Ни один из элементов не оказался выброшен, и роль всех составляющих структуры времени в христианской религии достаточно высока (хотя в разные периоды соотношение отдельных элементов этой структуры, их относительная важность и эмоциональная оценка менялись весьма существенным образом).

Например, темпоральную схему раннехристианских сект можно записать как такой сюжет: хорошее состояние в прошлом; грех и переход к плохому состоянию; плохое состояние, царство зла; приход спасителя, мессии и наступление новой, переходной эпохи, характеризующейся разделением на неверующих и верующих, которым уготовано спасение; «последний бой»; восстановление (окончательное)

⁴⁹ Первый из дошедших до наших дней мифов о потопе был создан на рубеже IV—III тыс. до н. э. в Древнем Шумере («Эпос о Гильгамеше»).

первоначального хорошего состояния. Эта же схема присуща и большинству современных религиозных сект, с той разницей, что на место Иисуса Христа основатели этих сект ставят самих себя (Фурман 1981, с. 102).

В средневековом христианстве наиболее ярко была выражена ориентация на будущее: Страшный Суд, воскресение мертвых, второе пришествие, причем эпоха, непосредственно предшествующая Страшному Суду, в соответствии с традицией Апокалипсиса изображалась как эпоха особых ужасов.

Наконец, в Новое время протестантизм, особенно кальвинизм, в значительной мере перенес акцент на прошлое и настоящее. Идеалом является «доисторическое» прошлое времен раннехристианских общин; более близкое прошлое — это период «папистского безумия»; наконец, настоящее, т. е. Реформация, рассматривается как центр темпоральной структуры мира. Идея Страшного Суда отходит на задний план, и второе пришествие начинает связываться с установлением господства на всей земле истинно христианского общества (Фурман 1981, с. 64).

4. Исторические представления

Говоря об исторических представлениях о времени, мы, как и в описании других типов темпоральных воззрений, имеем в виду, что их носителями являются действующие в обществе субъекты. Об исторических представлениях наблюдателей, т. е. профессиональных историков, речь пойдет в следующей главе. Мы также не будем специально останавливаться на соответствующих этому уровню сознания представлениях о будущем, которые подробно анализировались в главе 3, и ограничимся анализом прошлого.

Но прежде чем перейти к рассмотрению эволюции исторических темпоральных представлений, имеет смысл сделать несколько предварительных замечаний по поводу самого термина «исторический». Во-первых, в формировании образа прошлого довольно трудно разделить знания и верования, факты и вымысел. Граница между ними весьма условна: например, жития святых, Страсти Господни или Сотворение мира были (а для многих и продолжают оставаться) историческими фактами. Чем для среднего человека учебник истории в качестве источника надежнее Библии (не говоря уже о том,

что, скажем, в эпоху Средневековья учебники отсутствовали, а с Библией большинство населения было знакомо хотя бы в устном пересказе)?

По этой причине, в частности, различие между сакральными и историческими темпоральными представлениями целесообразно проводить «по предмету» или по объекту (священный—мирской), а не по характеру сведений (вымышленные—достоверные). Профанная история, как показывает практика, может быть не менее, если не более вымышленной, чем сакральная. Именно поэтому до начала Нового времени профанная и сакральная история в большинстве случаев совмещались в сознании действующих, а во многих случаях — и наблюдателей.

Во-вторых, термину «исторический» мы придаем здесь расширительное толкование — для характеристики темпоральных представлений, которые являются не-эмпирическими, не-родовыми и не-сакральными. Этот «остаток» базируется на исторических сведениях, философских концепциях, научных или научно-популярных знаниях (помимо исторических), наконец, литературных образах — т. е. на всем том, что играет доминирующую роль в формировании темпорального сознания человека Нового времени. Ведь если представления о прошлом на рассматриваемом нами историческом уровне связаны главным образом с историческими сведениями и знаниями, то представления о будущем основаны на утопиях, научно-фантастической литературе, философских схемах «всемирной истории», государственной идеологии, даже на естественнонаучных знаниях (например, если речь идет о прошлом и будущем нашей планеты или Солнечной системы).

Наконец, последнее замечание связано со степенью разработанности темы. Исследования, посвященные рассмотрению исторических темпоральных представлений можно условно разделить на три направления, соответствующие устной традиции, смешанной устно-письменной традиции и письменной традиции Нового времени. Как ни странно, историческое сознание в устных и смешанных устно-письменных культурах изучено лучше, чем эволюция исторических темпоральных представлений в Новое время⁵⁰.

⁵⁰ Общие проблемы формирования исторического сознания систематически изучены, в частности, в работах немецких исследователей: Зиммель 1996 [1917]; Hoffer 1950; Litt 1956; Hässler 1965; Meinecke 1946; Rothacker 1950; Snell 1964; Mommsen 1972; Stieher 1974; Blumenberg 1986; см. также: Aron 1961. В отече-

Так, проблема формирования исторического сознания в устной и смешанной устно-письменной культурах затрагивается в большом количестве культурологических и религиоведческих исследований, в рамках анализа соотношения исторического и мифического сознания⁵¹. Большинство авторов объединяет убеждение, что разделение между мифом и историей в устной культуре является достаточно искусственным. Например, как отмечает В. Топоров, «в первых образцах „исторической“ прозы (хотя бы в условном понимании этой историчности) „историческими“ признаются только „свои“ предания, а предания соседнего племени квалифицируются как лежащие в мифологическом времени и, следовательно, как мифология» (Топоров 1980б, с. 572).

Существует как минимум два подхода к изучению процесса постепенного дополнения или вытеснения сакральных представлений историческими. Первый соответствует схеме «миф—легенда—предание», в контексте которой происходит постепенное повышение удельного веса «исторических» представлений (см.: Левинтон 1980а; 1980б). Второй подход к «историзации» мифов связан с анализом героического эпоса, т. е. сказаний о так называемых культурных героях (см., например: Мелетинский 1963; 1980б; Dumézil 1968—1973).

В основе первого подхода лежит, в частности, идея о специфической хронологии прошлого, присущей мифическому сознанию: прошлое делится на отдаленное «мифическое время» или время первотворения, находящееся «за пределами периода, охватываемого актуальной памятью (для бесписьменных традиций обычно не более семи поколений)» (Топоров 1980б, с. 572) и более близкое историческое или «эмпирическое время» (Мелетинский 1980а). В соответствии с этим делением считается, что легенды описывают события, находящиеся на границе мифического и исторического времени, а предания полностью относятся к историческому (эмпирическому) времени. Иными словами, мифы, легенды и предания (в указанной последовательности) как бы упорядочены по времени описываемых в них событий, но при этом даже события, описываемые в преданиях (т. е. наиболее близкие), обязательно отделены от рассказчика некоей временной дистанцией.

В научной литературе эта тема была превосходно рассмотрена М. Баргом (Барг 1987; см. также: Левада 1969).

⁵¹ См., например: Асмахова 1965; Newman 1954; Weiss 1962; Schott 1968; Heinige 1972; 1982; Ricoeur 1984—1988 [1983—1985]; Carr 1987.

Еще одним классификационным параметром является степень сакральности, которая уменьшается в легенде по сравнению с мифом и сходит на нет в преданиях. «Легенды связаны преимущественно с персонажами священной истории... предания же — с персонажами мирской истории, причем элемент чудесного в них не обязателен» (Левинтон 1980а, с. 45). «Функция предания в тех культурах, где оно противопоставлено письменным историческим жанрам (не говоря уже о научном или преднаучном историческом описании), — в мифологизирующем корректировании истории, превращении бессодержательной, с мифопоэтической точки зрения, цепи событий в набор осмысленных (т. е. канонических) сюжетов, в приписывании историческим персонажам таких свойств, которые позволяют им быть значимыми персонажами и в фольклорно-мифологическом плане» (Левинтон 1980б, с. 333).

В рамках второго подхода к проблеме «историзации» мифов, связанного с анализом героического эпоса, с точки зрения нашего исследования особый интерес представляет классификация, разработанная Е. Мелетинским. Эпосы могут быть условно разделены на архаические и классические, различающиеся, в частности, по времени описываемых в них событий. Первые посвящены в основном мифическим первопредкам, и эпическое время в них совпадает с мифическим временем первотворения. «Классические <же> формы эпоса, хотя в них и сохраняется связь с мифами, в отличие от архаической эпикки, опираются на исторические предания, пользуются их языком для изложения событий далекого прошлого, причем не мифического, а исторического, точнее — квазиисторического. Они отличаются от архаического эпоса не столько степенью достоверности рассказа, сколько географическими названиями, историческими наименованиями племен и государств, царей и вождей, войн и миграций. Эпическое время представляется по типу мифического как начальное время и время активных действий предков, предопределивших последующий порядок, но повествует не о творении мира, а о заре национальной истории, об устройстве древнейших государственных образований и т. д.» (Мелетинский 1980б, с. 665—666).

Проблеме формирования исторического сознания в устных и особенно в смешанных устно-письменных культурах посвящено значительное число и собственно исторических работ. Внимание исследователей привлекает, в частности, эпоха античности. Труды греческих и римских историков, с одной стороны, и отдельные образцы

фольклора, зафиксированные в литературных произведениях, — с другой, дают богатую пищу для размышлений о соотношении сакральных и профанных исторических представлений и о взаимодействии устной и письменной традиции в целом (см.: *Barz* 1987; *Momigliano* 1966; *Vernant* 1969).

Но, пожалуй, наибольший интерес у историков вызывает проблема формирования средневекового исторического сознания. Эта область исследований характеризуется не только большим количеством работ, но разнообразием подходов и используемого эмпирического материала⁵². Прежде всего речь идет об анализе исторических взглядов видных христианских мыслителей — от Исидора Севильского и Беды Достопочтенного до Иоахима Флорского и Оттона Фрейзингенского. Следующий источник — многочисленные средневековые хроники и агиография. И если труды наиболее известных историографов и теологов могут рассматриваться как выражение их индивидуальных взглядов на историю, то хроники и жития дают почву для анализа массового исторического сознания. Изучение исторических темпоральных представлений в эпоху Средневековья конечно опирается на материал саг, эпосов, былин, сказаний и т. д. Наконец, в последние десятилетия в научный оборот стали вовлекаться материалы допросов инквизиции, сохранившиеся в архивах Ватикана (*Le Roy Ladurie* 1978 [1975]; *Ginzburg* 1976).

Характеризуя историческое сознание в устно-письменной культуре, исследователи обычно подчеркивают взаимное влияние устной и письменной традиции. Так, в сагах и эпосах могут фигурировать реальные исторические лица и события, а в хрониках и житиях святых — абсолютно вымышленные персонажи вроде огнедышащих драконов.

Также следует отметить влияние, которое оказывали на исторические представления о времени, складывавшиеся в «до-новой» историографии, «нижние слои» темпоральных представлений. В частности, в античной и средневековой историографии влияние сакральных темпоральных представлений немногим уступает влиянию последних на устную историю. Особенно наглядно это проявляется в иудаистической и христианской историографии, которые вообще неотделимы от сакрального времени. Точно так же в историографии до начала

⁵² См., например: *Гуревич* 1972; 1984 [1972]; 1990; *Блок* 1986 [1939—1940], т. 1, ч. 1, кн. 2, гл. 3, с. 150—164; *Graus* 1975; *Duggan* 1987; *Quénée* 1980; *Clanchy* 1979.

Нового времени наглядно проявляется влияние семейных или родовых темпоральных представлений. Описывая историю городов, государств, династий, цивилизаций, историки свободно оперировали понятиями, заимствованными из «семейного времени»: рождение, рост, дряхление, смерть. Кроме того, традиционно большое внимание уделялось «основателям» — династии, города, государства и т. д., — и тем самым вся описываемая история представляла как история рода.

Переходя к историческому сознанию Нового времени, следует сказать, что оно качественно отличается от предшествующих эпох. Эти различия связаны с процессом темпорализации сознания, совершенствованием исторических исследований и стремлением историков придать истории статус науки. Постепенное становление системы всеобщего начального, а затем и среднего образования сделало возможным широкое распространение исторических знаний. В это же время история превращается в важный социокультурный фактор и ее знание становится обязательной характеристикой любого образованного человека.

Процесс темпорализации исторического сознания включал формирование представлений о разделенности прошлого, настоящего и будущего, более четкие понятия и знание единиц времени и временных интервалов истории, постепенное утверждение историзма как способа понимания общественного развития, установку на будущее и другие специфически временные параметры Нового времени.

Отождествляемое с научностью стремление к достоверности реконструкции прошлого, прочно утвердившееся к концу XIX столетия, способствовало формированию рационального исторического сознания на массовом уровне. В то же время в историографии рационализм сосуществует с иррационализмом, присущим массовому сознанию. В этой сфере с особенной силой проявлялась пристрастность, свойственная Новому времени. Историческое сознание впитало в себя комплекс демократических идей, связанных с утверждением буржуазного общества, и комплекс националистических установок, связанных с процессом становления национальных государств.

Один из важнейших факторов — изменение структуры общественного запаса знаний и институциональных параметров социальной системы передачи знаний, т. е. образования (*Luckmann* 1991, p. 165). В эпоху современности от века к веку увеличивалась доля грамотного и образованного населения. Поэтому историческое сознание почти исключительно стало основываться на письменной культуре, став-

ших доступными широким слоям общества исторических трудах и художественных произведениях.

В Западной Европе показатель доли грамотного населения, составлявший в XI в. не более 1—3%, к концу XVI в. преодолел отметку в 10% и к началу XIX в. достиг в большинстве стран уровня 44—48%⁵³. На протяжении XIX в. система школьного и высшего образования охватила подавляющую часть населения западноевропейских стран и США (см. табл. 5.9, 5.10)., а в XX в. образование приобрело едва ли не стопроцентно массовый характер. Переход ко всеобщему школьному обучению, среди прочего, означал, что и историческое образование стало общедоступным. Исторические представления о времени начали формироваться на основе относительно унифицированных и систематизированных исторических знаний, что совершенно преобразило характер и качество исторического компонента массового сознания.

Таблица 5.9.

Доля грамотных в общей численности
взрослого населения, %

Страна	ок. 1800 г.	ок. 1850 г.	ок. 1900 г.
Швеция	н.д.	90	>95
Германия	63—67	80	88
США	56—60	80	89
в т. ч. негры	н. д.	10—15	55
Великобритания	53—57	70	>95
Франция	36—40	55—60	83
Италия	25—30	30—35	52
Испания	н. д.	25	44
Япония	24—28	?	?
Россия	3—7	5—10	21

Источники: Корелин 1995, с. 327; Мельянцеv 1995, с. 41—42; 1996, с. 61, 119; Миронов 1991, с. 135; Cameron 1989, p. 218; Cipolla 1969.

⁵³ Мельянцеv 1993, с. 118; см. также: Bairoch 1985, p. 178; Cipolla 1969, p. 55, 61; Stone 1969; Easterlin 1981; Mitch 1992.

Таблица 5.10.

Доля учащихся в общей численности населения, %

Страна	ок. 1850 г.	ок. 1900 г.		
	Начальная школа	Начальная школа	Средняя школа	Высшая школа
США	18,0—20,4	19,7—21,3	0,9	0,3
Германия	16,0—16,5	15,8—15,9	1,6	0,1
Великобритания	10,5—13,5	14,1—14,6	0,3	0,1
Швеция	17,9(?)	14,4	0,4	0,1
Нидерланды	7,0—13,0	14,5	0,3	0,1
Франция	9,3—9,5	14,1—14,4	0,3	0,1
Испания	6,6	10,4	н.д.	н.д.
Италия	4,0—4,6	8,3—8,8	0,3	0,1
Россия	1,0—2,0	3,5	н.д.	н.д.

Оценено по: Easterlin 1981; North 1966, p. 85; Historical Statistics of the US... 1975; Mitchell 1981.

Со времен Возрождения утверждается и огромное значение истории как рода интеллектуальных занятий. «Хвала истории (encomium historiae) — наиболее престижная топка гуманистической литературы этого времени» (Барг 1987, с. 273). Собираение древностей — одно из самых уважаемых занятий, которому посвящают себя состоятельные люди. Непременное для образованного человека владение историческими сведениями, в том числе и блестящие познания в области античной истории, стали устойчивой традицией раннего Нового времени. Исторические знания политической и интеллектуальной элиты европейского общества XVII и особенно XVIII в. поражают своей разносторонностью.

В XIX в. знание истории стало ключевым показателем образованности уже весьма широких слоев населения. Прошрое столетие, заслужившее название «века масс», сделало историю поистине «все-народным» достоянием. Возникали разнообразные исторические общества, журналы, по прежнему популярным оставалось коллекционирование древностей. При этом вплоть до начала нашего столетия история оставалась в большей степени элементом культуры, чем науки. Достаточно сказать, что непрофессиональная история вообще

доминировала до упрочения «немецкой исторической» школы. Лишь со второй половины XIX в. изучение прошлого получило полноценный академический статус и научную организацию: кафедры, факультеты, общества, дипломы.

Так, первые самостоятельные кафедры истории были учреждены в Берлинском университете в 1810 г. и в Сорбонне в 1812 г., но, например, в Англии первые кафедры истории появились только в 1860-е годы (в Оксфорде в 1866 г. и в Кембридже в 1869 г.). Точно так же уже в XVIII в. начало расти число исторических периодических изданий — только в Германии оно увеличилось с трех в 1700 до 131 в 1790 г. (Wittram 1952, S. 1). Тем не менее известные профессиональные национальные исторические журналы появляются лишь во второй половине XIX в.⁵⁴ (White 1973, p. 136).

Характеризуя этот процесс профессионализации исторического знания, Х. Ортега-и-Гассет отмечал, что XIX в. уже «начал утрачивать „историческую культуру“, хотя специалисты при этом и продвинули далеко вперед историческую науку», а в 1920-е годы, по его мнению, «ведущие люди Европы» смыслили в истории «куда меньше, чем европеец XVIII и даже XVII века». Этот сдвиг он рассматривал как один из важных признаков различия между научным и культурным уровнем эпохи (Ортега-и-Гассет 1991 [1930], с. 330).

Главной отличительной чертой исторического сознания Нового времени стала его «национализация». Именно национальные истории, отражая самим фактом своего появления процесс образования национальных государств, послужили основой и для массовых образовательных программ, и для политической пропаганды.

С XVIII в. наряду с широким распространением «всемирной» истории формируется принципиально новый тип историографии — национальная или страновая, и с этого времени она становится доминирующей. Можно, видимо, сказать, что историческое сознание современности существует как национальное (или государственное) сознание. Национальная история, направленная на формирование комплекса чувств, известных под собирательным наименованием «национальная гордость», обладает целым рядом специфических черт, связанных с культурно-политическими функциями истории, но не истории вообще, а истории конкретной нации. Прежде всего, эта ис-

⁵⁴ «Historische Zeitschrift» в Германии (1859), «Révue historique» во Франции (1876), «Rivista storica italiana» в Италии (1884), «English Historical Review» в Англии (1886).

тория создает для каждого народа свою древность, используя в том числе и мифы. Поиски корней ведутся либо на определенном пространстве, либо на основе этнической истории, но всегда очевидно стремление максимально удлинить историческое прошлое. Возраст народа сам по себе рассматривается как свидетельство его достоинств.

Столь же важны для национальной истории доказательства общезначимых достижений, относящихся к прошлому. Это могут быть победы в битвах, аннексии, архитектурные памятники или литературные шедевры, приоритет в открытиях и изобретениях. Интересно, что изменения в системе ценностей, произошедшие на протяжении последних веков, и гуманизация сознания мало сказались на подборе примеров из «великого прошлого». И хотя нынешние историки мало говорят о массовых злодеяниях и преступлениях своих предков, они по-прежнему гордятся победоносными войнами и другими свидетельствами мощи своего государства, даже если им сопутствовала жестокость. Особенно избирательной и целенаправленной выглядит история, если она подчинена задачам этноцентризма⁵⁵.

Значительную роль в формировании национального исторического сознания играет школьное обучение, которое решает не только познавательные задачи. В школе активизируются все культурно-политические функции истории, о которых мы говорили выше. Кроме того, исторические факты используют как материал для воспитательных и нравственных уроков. В процессе обучения познавательные аспекты тесно переплетены с другими функциями истории и подчинены им. Еще Б. Франклин обращал внимание на то, что «давая пояснения по истории, учитель имеет замечательную возможность исподволь делать всякого рода наставления и совершенствовать как нравственность, так и разум молодежи» (Франклин 1956 [б. г.], с. 576).

Формирование современного исторического сознания и исторического времени действующего анализируется в превосходной работе М. Ферро. На материалах школьных учебников начальных клас-

⁵⁵ Этноцентризм — понятие, введенное австрийским социологом Л. Гумпловичем (1838—1909) и прочно вошедшее в понятийный аппарат новейшей социологии, социальной психологии и этнопсихологии. В работе «Расовая борьба» Гумплович определял этноцентризм как «мотивы, исходя из которых каждый народ верит, что занимает самое высокое место не только среди современных народов и наций, но и в сравнении со всеми народами исторического прошлого» (Gumplowicz 1893, p. 349; цит. по: Гофман 1995, с. 135).

сов он исследует, как в раннем возрасте закладываются основы обыденных исторических представлений (Ферро 1992 [1986]). Ферро удалось очень убедительно показать, что в разных странах базовое историческое образование формируется на основе разных и, главное, противоречащих друг другу исторических знаний. И цель, которая преследуется при этом, носит не познавательный, а идеологический характер: обучение истории, воспитывающей чувство гордости за национальное прошлое.

Огромное влияние на формирование массового национально-исторического сознания людей Нового времени оказала художественная литература. Конечно, история присутствовала уже в античных художественных произведениях — и сюжетах, и в интерпретации исторических событий. Достаточно вспомнить о событийной канве трагедий Эсхила или Еврипида — как велика там роль политических событий и политической символики, сколь много рассуждений о морали и политике, об исторических уроках. Однако литературу Нового времени отличают такие особенности, как «национализация» и темпорализация истории художественными средствами.

Категория исторического времени вошла в искусство через драму — «путь открыли „Хроники“ Шекспира» (Гулыга 1974, с. 102). Но только применительно к рубежу XVIII—XIX вв., когда историзм проникает в общественное сознание, можно говорить о возникновении собственно исторической художественной литературы. В этот период в особый литературный жанр складывается исторический роман. Исторический роман, который эксплицитно ставил перед собой цель изображения событий прошедших веков, качественно отличался от исторических по своей тематике произведений предшествующих эпох. Особенно тесно этот жанр связан с таким идейным направлением, как исторический романтизм. Признанный родоначальник исторического романа — В. Скотт. Именно его романы позволяли читателю почувствовать, что такое смена эпох, изменение социальных отношений, господствующих ценностей, психологии и быта. В прошлом столетии В. Скотта в Англии ценили не меньше, чем Шекспира и Байрона.

Писатели XIX в. сознательно стремились воссоздать дух и облик канувшего в прошлое уклада жизни. Впервые художественная реконструкция прошлого стала опираться на изучение исторического источника. В русле «политического» подхода XIX в. авторы исторических романов обращались к масштабным историческим пробле-

мам: историческим судьбам нации, роли личности в истории, освещению национально-освободительной борьбы. «Духи» историцистов: дух века, дух нации, дух армии (Поппер 1993 [1957], с. 171) — выглядели соблазнительными не только для историков, но и для множества литераторов. Поэтому в исторических романах начиная со второй половины XIX в. мы можем найти и рассуждения по поводу исторических законов и категорий. Таковы несомненно историцистские рассуждения Л. Н. Толстого в «Войне и мире».

Если в Англии образ прошлого во многом базируется на романах Вальтера Скотта, то в Германии история ассоциируется с поэмами Гете, Новалиса и Шиллера. Главный источник, питающий историческое сознание французов, — исторические романы от А. Дюма, В. Гюго, А. де Виньи до «Анжелики» Голонов и «Проклятых королей» М. Дрюона. Точно так же и в России историческое сознание формировалось прежде всего литературой, причем как в XIX, так и в XX в. (М. Загоскин, И. Лажечников, А. Пушкин, Л. Толстой, Д. Мережковский, А. Толстой, Ю. Тынянов).

В формировании исторического сознания Нового времени участвуют и другие формы искусства (живопись, театр, опера). Например, в Англии традиционно велика роль театра в формировании массового исторического сознания, причем по-прежнему первостепенное значение сохраняют пьесы Шекспира. В Германии ту же роль играла опера. Как отмечает М. Ферро, «видение-греза о величии германского Средневековья, истоков Германии — это творения Рихарда Вагнера. Созданные им грандиозные спектакли укореняли в германском сознании величественный миф о Рейне» (Ферро 1992 [1986], с. 135).

Наконец, в XX в. огромное воздействие на историческое сознание стал оказывать кинематограф. Опыт фашистской Германии и сталинской России полностью подтвердил правильность ставшего классическим высказывания В. Ленина: «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Впрочем, и в других странах кино играло подчас весьма заметную роль в формировании представлений об истории: для многих американцев фильм «Унесенные ветром» (даже в большей степени, чем книга) формирует образ Гражданской войны.

Формирование национального исторического сознания прямо зависит от культурной политики государства. Воздвигая памятники и триумфальные арки, охраняя художественные ценности прошлого, запечатлевая важные исторические события и имена национальных

героев в названиях улиц и площадей, поддерживая фольклорные ансамбли или определенные направления в искусстве, государство действует более чем целенаправленно. Власть определяет, какое прошлое достойно сохранения, а какое — забвения. Для того, чтобы стереть историческую память, власти обращаются и к уничтожению памятников архитектуры, и к уничтожению или сокрытию письменных источников. Упорное отрицание официальными советскими органами существования секретных приложений к пакту Молотова-Риббентропа как бы уничтожало сам факт подписания этих документов.

Общезначимые национальные исторические события закреплялись в историческом сознании благодаря системе государственных праздников. Собственно, праздники всегда играли существенную роль в формировании всех типов временного сознания. Так, эмпирическое время было связано с разнообразными сезонными праздниками (солнцестояние, равноденствие, уборка урожая, забой свиней и т. д.). Семейное время фиксировалось в разнообразных днях поминовения предков или усопших; кроме того, в масштабах семьи праздновались дни рождения и юбилеи. Сакральное время подкреплялось праздниками, связанными с религиозной историей, — особенно многочисленны такие праздники у христианских народов.

Наконец, издавна известно празднование исторических событий. В частности, у иудеев исторические праздники, наряду с Библией, были одним из главных инструментов формирования национального сознания в условиях отсутствия государственности. В античных государствах праздновались дни основания города. Но только в Новое время, параллельно с формированием государств-наций, складывается система государственных праздников, в число которых входили важнейшие события национальной истории.

В качестве яркого примера можно привести Испанию, где существует огромное количество исторических праздников — от «Moros y Christianos» (истории борьбы с маврами) до «праздника кельтиберов в Сан-Педро... праздника в честь римских солдат в Коголос-Веге, битвы Клавихо, победы Сиды, коронации католических королей, открытия Америки, победы при Лепанто, борьбы за независимость против Наполеона... и кончая повторением церемонии, которая в 1852 г. положила конец выплате Галисией дани Кастилии» (Ферро 1992 [1986], с. 134).

Весьма важную роль исторические праздники играют в США, где национальная история является очень короткой и не слишком

богатой событиями по сравнению с европейскими странами. В США существует восемь общенациональных официальных праздников, когда закрываются государственные учреждения: Новый Год, День рождения Дж. Вашингтона, День поминовения, День независимости, День труда, День ветеранов, День благодарения, Рождество. Из них с национальной историей непосредственно связаны как минимум четыре: День рождения Вашингтона, День независимости, День ветеранов и День благодарения (подробнее о ритуале американских праздников см.: Lloyd 1959).

Но эти праздники являются общенациональными лишь потому, что в каждом штате был отдельно принят соответствующий закон. В дополнение к праздникам, по которым решения штатов совпадают, имеется по крайней мере 50 других дней, признанных в качестве официальных или общественных праздников в одном или более штатов. Большинство из них относится к числу исторических, например: день рождения Роберта Ли, день рождения Линкольна, День независимости Техаса, День битвы при Банкер-Хилле, День Колумба, день рождения Натана Бедфорда Форреста, день рождения Эндрю Джексона, день рождения Томаса Джефферсона, День битвы при Беннингтоне, день рождения Хью П. Лонга, День Пуласки, День поминовения конфедератов, День Уилла Роджерса, День генерала Дугласа Макартура, День национального флага и т. д. (Бурстин 1993 [1958—1973], т. 2, с. 475—476).

Не только становление национальных государств, но и радикальная смена политических режимов сопровождалась введением новых и ликвидацией старых праздников. Занимательным примером может служить перечень официальных праздничных дней в России в календаре на 1924 г. Несмотря на становление воинствующе атеистического государства, показательно все еще сохранявшееся доминирование религиозных праздников: 10 из 16. Не считая гражданского Нового года, из оставшихся пяти исторических праздников три были связаны с национальными революциями начала XX в. (День 9 января 1905 г., Низвержение самодержавия и День пролетарской революции) и два — с историей международного рабочего движения XIX в. (День Парижской коммуны и День Интернационала).

Календарь, казалось бы, далеко не главное свидетельство по истории становления советской государственности, показывает нам и устойчивость сакральных представлений о времени, борьбу с которыми власть, видимо, еще не решалась связывать с ликвидацией празд-

ничных дней, и стремление новой власти стереть следы предшествующей истории, и попытки сформировать интернациональное историческое сознание. О значении исторических праздников в формировании исторического сознания свидетельствует то, что они являются ареной острой идеологической борьбы — напомним хотя бы о ведущемся уже в современной России сражении между исполнительной и законодательной властью относительно того, являются ли праздниками годовщина Октябрьской революции 1917 г. (7 ноября) и принятия последней Конституции (12 декабря).

Характеризуя национальное историческое сознание, можно заметить, что в национальной истории на первом плане оказывается национальный консенсус. Народ в целом противостоит народу, государство — государству. Речь идет о национальной истории, а не о национальной историографии. Последняя, конечно, представлена и конфликтным (классовым) подходом, характерным не только для радикальных, но и для либеральных историков. Но интересно, что сторонники конфликтного подхода обычно предпочитают социальную или внутривластную тематику, а специалисты по сравнительной историографии или истории внешней политики обычно пишут историю в духе национальных интересов.

Так, «главный историограф СССР» И. Сталин в 1931 г., обосновывая необходимость быстрой индустриализации, акцентировал внимание на отсталости России, которую «все били»: монгольские ханы, турецкие беки (? — И. С., А. П.), шведские феодалы, польско-литовские паны, англо-французские капиталисты и японские бароны (? — И. С., А. П.). Несколько лет спустя он же начинает использовать русский национализм для укрепления своей власти. Движущей силой развития России становится строительство могущественного государства, постоянно расширяющего свою территорию, а поражения в войнах и даже классовая борьба уходят на задний план (см. Учебник по истории СССР, утвержденный в 1936 г.).

Помимо национальной государственной истории историческое сознание Нового времени формировалось и историями других уровней. В определенной мере это была контристория — в первую очередь, история угнетенных, не имеющих своей государственности национальных меньшинств, а также история притесняемых конфессиональных групп и угнетенных социальных слоев. Очевидно, что в контристории мы обнаруживаем ту же модель, но с другим содержанием: другое прошлое, настоящее и будущее, другие пустоты и длинноты, другие ин-

терпретации. Соответственно и историческое сознание групп, знающих о своей альтернативности, содержательно отличалось от господствующей модели исторического сознания того или иного общества.

Содержание исторического сознания в огромной степени определяется не только национальными интересами, но и конкретным национальным опытом. Так, в исторической литературе можно найти немало размышлений, основанных на сопоставлении отношения к историческому времени европейцев и североамериканцев. Прежде всего, речь идет об отношении к прошлому. Как отмечает Р. Хайлбронер, американцы в этом вопросе никогда не демонстрировали характерной для европейской мысли склонности к трагическому восприятию, потому что «они никогда не разделяли с Европой знания трагедии как аспекта, неотделимого от истории... Америка никогда не испытывала давления тяжести неизменяющегося прошлого, она никогда не сталкивалась с крестьянской традиционностью или сопротивлением крестьянства к переменам» (Heilbroner 1961, p. 51). В том же духе пишет Л. Харц: «Прошлое было для американцев благоприятным, и они это знали» (Харц 1993 [1955], с. 53).

Кроме того, многие авторы отмечают несоблюдение европейских временных категорий, переворот исторической перспективы в американском историческом сознании. В обществе, где, по выражению Джефферсона, люди строили новую жизнь в буквальном смысле слова (планировали новые поселения, создавали новые штаты), «неизбежно должна была появиться необычная диалектика, каким-то образом объединяющая противоречивые компоненты европейской мысли. Прошлое стало непрерывным будущим...» (Харц 1993 [1955], с. 55).

Естественно, что в национальной истории пустоты между событиями (умолчания и пропуски) имеют идеологизированный характер. Они объясняются не недостаточностью исторического знания, а целевыми установками создания национального прошлого. В значительной мере историческое сознание (и школьные программы истории) остается событийным, а не «процессуальным». Поэтому пропуски, наличествующие в нем, — это прежде всего пропуски определенных событий.

Типичный пример — упоминавшаяся в главе 3 начальная школьная программа истории в Израиле, которая явилась результатом реализации целенаправленных установок. После Давида и Соломона сразу следует образование Израиля и его победы над арабами, т. е. отсутствуют история диаспоры и главное — холокоста, который

является одним из центральных пунктов в европейской истории XX в. Впрочем, историческое образование знает немало подобных «кратких курсов». Еще Б. Франклин считал, что в преподавании истории в американской школе от древней и римской истории следует сразу переходить «к истории нашей нации и колоний» (Франклин 1956 [б. г.], с. 576).

Пропуски исторического времени касаются не только «истории для образования», но и исторической науки. Логично предположить, что интерес к действительно неизвестному прошлому, поиски соответствующих материалов тоже в определенной степени тормозятся чувством патриотизма. Далеко не каждый историк обратится к такому пласту прошлого, разработка которого породит чувство национального стыда. Вместе с тем хорошо известны и попытки с помощью изучения и популяризации подобных тем преодолеть «постыдное» прошлое и навсегда оторваться от него. Таковы, например, многие работы немецких ученых по истории нацизма или новейшие отечественные исследования сталинизма и — шире — социализма в России.

Помимо идеологизированной организации исторического времени национальная история насыщена сознательными искажениями. Это касается уже содержания не упущенного, а обозначенного исторического времени. В любой национальной истории мы сталкиваемся и с многочисленными попытками удлинить или, наоборот, укоротить отрезки времени в зависимости от значения происходящих в эти отрезки событий. Желание продлить «прекрасные мгновения» национальной истории столь же понятно, как и стремление спрессовать события, суть которых угнетает национальное самосознание. В этом отношении механизм исторической памяти немногим отличается от индивидуальной.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

HISTORICUS LUDENS

Обстановка была, прямо скажем, черт знает какая. Там и сям виднелись остатки исторического прошлого, все вперемешку. На берегах ближайшей речушки разбили вдребезги лагерь двое гуннов... На горизонте смутно маячили силуэты старообразных римлян, старозаветных сарацинов, старорежимных аланов и старых франков. Было и несколько нормандцев — те попивали кльвадос.

Раймон Кено. Голубые цветочки

Теория исторического времени, или времен, или функций времени, — тема, которой, как ни странно, историки пренебрегают. Безразличие к понятию времени привело к парадоксальной ситуации. «„Незримо присутствующее“ и „безусловно подразумеваемое“ время в трудах историков фактически переставало быть ощутимым, исчезало, как бы выносилось за скобки» (Утченко 1966, с. 162). И это при том, что время является неотъемлемой частью предмета истории¹, а хронология, по признанию подавляющего большинства историков, несмотря на модные попытки дехронологизации, остается кодом исторического исследования. Представители других социальных наук, казалось бы не находящиеся «у времени в плену», оперируют категорией времени гораздо более осознанно.

Три самых известных социолога рубежа веков — В. Парето, Э. Дюркгейм и М. Вебер — были великолепными историками. Но — Дюркгейм умер в 1917, Вебер — в 1920, Парето — в 1923. По разным причинам следующее поколение социальных теоретиков повернулось к прошлому спиной. Психологи обратились к экспериментальным методам. Антропологи предпочли полевые исследования.

¹ О том, насколько тесно категория времени в эпоху современности связывается с историческим подходом, можно судить хотя бы по тому, что в словаре бр. Гримм применительно к периоду 1770—1830 гг. термин *Zeit* соотносится со следующими понятиями: отрезок, суждение, точка зрения, движение, формация, характер, длительность, развитие, эпоха, событие, чувство, дух (Koselleck 1985 [1979], p. 257—258).

Социологи в большинстве своем тоже устремились в прикладную тематику, занявшись сбором и обработкой информации, характеризующей современный социум, в то время как социологическая элита посвятила себя созданию теоретических моделей современного общества. Потеря интереса к прошлому отчасти объяснялась и большей специализацией отдельных дисциплин. Одновременно на смену таким способам интерпретации социального, как эволюция, имитация и диффузия, которые исходили из исторической динамики общественных явлений, пришли «статические» по характеру функционализм, структурный анализ, герменевтика и т. д. (Burke 1993, p. 9).

Существует очень немного исторических работ, в которых фактор времени зримо присутствует и ощущается как аналитически действенный. Это, прежде всего, исследования по проблемам времени, написанные Ф. Бродемом, Р. Козеллеком, З. Кракауэром, Д. Лоуэн-талем, М. де Серто. Второй слой — труды Л. фон Ранке и его последователей, сочинения историков-романтиков, работы представителей школы «Анналов», презентистской и постмодернистской историографии. Для всех этих направлений характерно сознательное отношение к категории времени, определение принципов и задач исторического исследования с учетом подхода к прошлому, настоящему и будущему. Однако в большинстве своем историки никак не желают овладевать категориальным аппаратом современных социальных наук. Даже свое бесспорное достояние — время — они обычно воспринимают как данное.

Посмотрим, например, как Л. Стоун формулирует задачи историков. Он призывает, во-первых, разрабатывать более тонкие и убедительные объяснения того, «как мы пришли от прошлого к настоящему (оттуда — сюда)»; во-вторых, «восстановить ощущение духа, почувствовать плоть жизни наших предшественников в утраченную нами традиционную эпоху... Мы каким-то образом должны проникнуть в их головы, чтобы понять и объяснить их системы верований и способы мышления» (Стоун 1994, с. 175). Даже элементарный контент-анализ показывает насыщенность нескольких процитированных строк терминами, характеризующими понятие времени: прошлое, настоящее, оттуда, сюда, утраченное, эпоха. Для реконструкции этого «безусловно подразумеваемого времени» предлагается целый набор операций: объяснить, восстановить, почувствовать, понять, проникнуть в головы. Но задача освоения самого понятия времени не ставится.

Историческое исследование всегда включает в себе как минимум прошлое и настоящее. Историк смотрит на событие взглядом, направленным из настоящего в прошлое. Оставаясь неподвижным, историк аккумулирует историческое время, уместая мгновения, века, тысячелетия в своей временной реальности. Кроме того в истории, как в грамматике, существует множество сложных времен: будущее в прошлом, прошлое в прошлом, настоящее в прошлом и т. д. Отрезок прошлого, избранный для исследования, в определенном смысле приобретает смысл настоящего, но историк знает, что произошло потом (в будущем) и что предшествовало (являлось прошлым). Что предшествовало, он знает иногда даже лучше, чем современники исследуемых событий, а иногда много хуже; иногда он лучше знает детали, а иногда — тенденции. Что произошло потом, знает только историк — современники не знают, что *произойдет*. Кроме того историк, даже если его совсем не интересуют события, которые произойдут за пределами его периода, все же мысленно проходит и сквозь него, читая труды своих предшественников-историков. «Тот, кто изучает лишь ту или иную точку исторического прошлого или какой-либо ограниченный период времени, — не историк, он — знаток старины, и не больше; историк только тот, кто, хотя бы и рассматривая в данный момент под исследовательской лупой частицу истории, всегда мыслит обо всем... процессе» (Поршнев 1969, с. 95).

Отношение настоящего к прошлому имеет, по словам Дж. Покока, решающее значение для возникновения новых направлений историографии. Появление проблемы, которая ставит под вопрос или даже совсем разрушает обычно не подвергаемое сомнению отношение настоящего к прошлому, ведет к новому осознанию преемственности и непрерывности и к вопросам типа: «Как прошлое стало настоящим?» и «Почему настоящее должно следовать за прошлым?» (Роскок 1961, p. 213), аффицирует историческую мысль и заставляет искать ответы с помощью новых методов анализа.

В русле вышеприведенных размышлений Б. Успенский справедливо заметил, что «отношение между прошлым и настоящим может переноситься на отношение между настоящим и будущим, т. е. будущее может мыслиться по аналогии с настоящим: восприятие будущего в перспективе настоящего определяется восприятием настоящего в перспективе прошлого — оно понимается именно как то настоящее, которое наступит в будущем и по отношению к ко-

тому актуальное настоящее станет прошлым» (Успенский 1996 [1988—1989], с. 33).

В дальнейшем изложении мы попытаемся показать, сколь многообразно проявляются темпоральные категории в историческом анализе.

§ 1. ИГРЫ С ПРОШЛЫМ

*<О'Брайен> наполнил бокалы и поднял свой.
— Итак, за что теперь? — сказал он с тем же легким оттенком иронии. — За посрамление полиции мыслей? За смерть Старшего Брата? За человечность? За будущее?
— За прошлое, — сказал Уинстон.
— Прошлое — важнее, — веско подтвердил О'Брайен.*

Дж. Оруэлл. 1984

Большая часть функций истории, о которых мы рассуждали выше, связана все-таки с прошлым, будь то личность, государство, народ, цивилизация или человечество в целом. Блок писал, что «в отличие от других наша цивилизация всегда многого ждала от своей памяти. Этому способствовало все — и наследие христианское, и наследие античное. Греки и латиняне, наши первые учителя, были народами-историографами... Наше искусство, наши литературные памятники полны отзвуков прошлого, с уст наших деятелей не сходят поучительные примеры из истории, действительные или мнимые... Всякий раз, когда наши сложившиеся общества, переживая непрерывный кризис роста, начинают сомневаться в себе, они спрашивают себя, правы ли они были, вопрошая прошлое, и правильно ли они его вопрошали» (Блок 1986 [1949], с. 7—8).

Существует два чистых типа классического исторического исследования: реконструкция и интерпретация прошлого. При этом, как отмечал Ю. Лотман, в ходе исторического анализа осуществляется двойной процесс ретроспективной трансформации, ибо историческое исследование по своему характеру одновременно ретроспективно и реконструктивно. Первая трансформация происходит в

момент фиксации исторического события или результата, когда из многих возможностей реализуется какая-то одна. Затем историк приступает к процессу реконструкции, в результате которого «хаотичная для простого наблюдателя картина выходит из рук историка вторично организованной». Таким образом, хотя объект интерпретации формально возникает на заключительной фазе фактографического этапа и теоретические обобщения опираются на имеющиеся источники, на самом деле состоится не воссоздание, а акт создания. Из множества сохраненных памятью фактов историк, исходя «из неизбежности того, что произошло», «конструирует преемственную линию, с наибольшей надежностью ведущую к <известному> заключительному пункту» (Лотман 1992, с. 34).

Другой способ конструирования исторического прошлого — интерпретация — используется в основном для понимания мотивов действий исторических персонажей. В этом случае для проникновения в мир действующего историк полагается на собственный опыт. Эмоционально-личностная идентификация с исторической личностью подкрепляется рациональными суждениями о возможных соображениях индивида, которые рассматриваются как причина его действия. Создание образа человека достигается средствами, близкими к художественному творчеству, а выяснение мотивов поведения — с помощью обыденного суждения (Шкуратов 1994, с. 39). Таким способом историк ищет проявление интенции исторического агента в свидетельствах прошлого.

То, что материал для манипулирования и даже для наблюдения — прошлое — безвозвратно отсутствует, по мнению французского историка Д. Мило окончательно предопределяет пассивность истории. «Человек может попасть на Луну, но не в XIII в. ... Историк... не владеет своим материалом так, как биолог микробами или писатель словами. Он никогда не сможет „вставить“ Фридриха II в XVII в., чтобы проверить применимость модели Элиаса к книге Канторовича; он не сможет изъять железные дороги из американской истории XIX в.; никогда не сможет он подержать в руках этюды об архитектуре Парижа 1987 г., написанные бароном Османом» (Мило 1994 [1990], с. 186, 191).

Вопрос об отношении историка к категории времени — это вопрос о соотношении повествовательного и аналитического, индивидуализирующего и генерализирующего, интуитивного и рационального начал в историческом познании. Кроме того, прошлое множественно, и

«у любого общества может быть столько вариантов прошлого и видов зависимости от этих вариантов, сколько связей с прошлым существует в обществе» (Росов 1961, р. 245).

Имплицитность использования категории времени в большинстве исторических исследований в известной мере усложняет задачу систематизации многообразных форм времени наблюдателя. Тем не менее выявление способов использования категории времени в исторических трудах эпохи современности представляется возможным, если под этим углом зрения последовательно рассмотреть основные исторические школы и направления вплоть до самых новейших. Анализируя хорошо известные концептуальные ориентиры разных школ, мы можем более отчетливо определить темпоральное сознание представляющих их историков и, соответственно, роль категории времени в способах реконструкции и интерпретации прошлого.

1. Историзм

Как мы уже отмечали, прошлое стало считаться заслуживающим внимания, изучаться и трактоваться как единое целое в эпоху Возрождения. Но исторический подход к прошлому, — стремление понять его как «другое», проникнуть в его атмосферу, — во многом обязан своим происхождением романтикам.

Романтизм, идейное и художественное направление, возникшее в Европе на рубеже XVIII—XIX вв. и особенно ярко проявившееся в литературе и искусстве, не миновал также философию, право, политэкономия, историографию. Э. Берк в Англии, Новалис и Ф. Шлегель в Германии, французские историки Ж. де Местр, Л. Бональд и Ф. Шатобриан (жившие в эмиграции) противопоставили мировоззрению просветителей провиденциализм, традицию, мистицизм, апологию Средневековья, утверждение о примате чувств и интуиции над разумом. «Человеческий род регрессирует», — изрек де Местр, в поисках совершенства обращая взгляд в прошлое, в котором, как саркастически заметил Ортега-и-Гассет, руины привлекали романтиков «утонченным садизмом» (Ортега-и-Гассет 1991 [1930], с. 328).

Восхищение романтиков прошлым напоминало чувство гуманистов по отношению к античности. Но между первыми и вторыми существовало глубокое различие. Гуманисты отличались как раз влюбленностью в свое время и «презирали прошлое как таковое, но рассматривали некоторые его факты как приподнятые над потоком

времени, так сказать, очистившиеся от него, в силу внутренне присущего им совершенства, что и делало их классическими или вечными образцами для подражания» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 85—86). Романтики, напротив, не принимая настоящее, восхищались прошлым как более совершенным состоянием и в значительной мере «жили в минувшем». В своих сочинениях они рисовали идиллическую картину средневекового общества, где царили благородные и простые нравы, монарх обеспечивал свободу и благополучие подданных, а Церковь пеклась о высоких моральных ценностях.

Идеи романтизма утвердились в «исторической школе права» (учения государствоведов Ф. Савиньи, К. Эйхгорна), которая оказала сильное влияние на историографию первой половины XIX в. своими четкими формулировками концепции органической связи и преемственности в развитии народа и государства, идеи нации как «коллективной индивидуальности», идеи народного духа как главной творческой силы в истории.

Аналогичную позицию занимали представители немецкой историко-экономической школы (Ф. Лист, В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс), сформировавшейся в 1840-е годы. Отрицая существование всеобщих экономических «естественных законов» и подчеркивая значение национальных особенностей развития отдельных стран, Лист и его последователи отказались от принятого классической экономической школой термина «политическая экономия» и стали называть экономическую науку «национальной экономией» (Nationalökonomie). Этот термин сохранился не только в работах наследовавшей им так называемой «молодой» историко-экономической школы второй половины XIX — начала XX в. (Г. Шмоллер, К. Бюхер, Л. Brentano, В. Зомбарт), но и в современной немецкоязычной литературе.

В историографии принципы «исторической школы» нашли наиболее яркое и конкретное выражение в произведениях «нарративной» или «немецкой исторической» школы (К. Галлер, А. Мюллер, И. Якоби, Г. Луден, Г. Лео, Б. Менцель). Сходные позиции во Франции занимали Ж. Мишо, Ф. Монлозье, в Англии — Т. Карлейль. В противовес идеологам Просвещения, верившим в полную открытость истории для разума, романтики ввели в историописание понятие исторической тайны. Ориентации историков-романтиков были отчетливо национальными: их интересовала история отдельных стран, их права и государственных институтов. Представители «немецкой исторической» школы немало почерпнули у Э. Берка. Традициона-

лизму Берка они придали статус исторического учения, а его относительно высокая оценка Средневековья вылилась в их сочинениях в пылкое увлечение этой эпохой.

Трельч, однако, полагал, что не «намеки Савиньи», которые нужно, конечно, учитывать, а понятие *органологии*, соединенной со своеобразным понятием исторической общности или исторического предмета, а также понятие развития являются главными для выяснения понятийно-философских основ «исторической» школы. Причем органология немецкой исторической школы принципиально отлична от эмпирически-биологической органологии школы Конта и позднее — Спенсера; ее центром тяжести является идея народного духа и его органического проявления. «После того, как идея органической общности и идея исторического развития отделились от первоначального эстетизма и получили самостоятельность, они сделались важными элементами исторической мысли, безразлично, приводили ли они, как это и действительно имело место, к консерватизму, католицизму, пиетизму, эстетизму или к либерализму и демократии» (Трельч 1994 [1922], с. 238, 240).

«Историческая» школа выработала собственный исторический метод — погружение, переживание исторических событий как событий собственной жизни. Романтическому направлению присуще представление о том, что история раскрывается в деятельности не отдельных лиц, а целых народов и наций, что каждому народу свойственно свое неповторимое развитие. Дух нации романтики пытались познать методом *вживания* или *вчувствования* в далекое прошлое. Для романтиков история предстала как захватывающее и поучительное зрелище, которое воссоздается на основе массы источников и с помощью метода понимания текстов. Этот метод стали именовать по-гречески герменевтика (разъяснение, истолкование).

При этом историк-романтик не особенно заботился об исторической правде, а еще менее — об объяснении событий. Ведущий представитель «исторической школы» Ф. Шлегель в качестве одного из основных правил исторического исследования выдвигал следующее: «Не нужно все объяснять». Другим правилом он объявил доверие историческому преданию, призывая «не отбрасывать ничего, что на первый взгляд кажется чудесным и нам чуждым только на том основании, что это невозможно и неправдоподобно» (Schlegel 1846, S. 17ff).

Т. Карлейль, крупнейший историк своего времени, представитель романтического направления в английской историографии, больше чем любой писатель XIX в. верил в возможность чувственного воссоздания истории (см., например: Карлейль 1994 [1841—1843]). Какой бы ни была цель исторического труда, «первое непереносимое условие», по его мнению, заключается в том, «чтобы мы видели взаимодействие вещей, рисовали их целостно, так, как будто бы они стоят перед нашими глазами» (цит. по: Hale 1967, p. 42). И подобный подход распространялся на все периоды прошлого.

Продвижение вперед исторической науки в XIX в. осуществилось, прежде всего, усилиями нарративной школы, утвердившей принципы историзма, естественным образом выраставшего из романтизма. Историзм (нем. Historismus) — это принцип научного мышления, в основе которого лежит представление о постепенном развитии. Главным содержанием историзма немецкие историки-романтики считали постепенное «органическое» развитие любого явления и рассматривали каждый этап в истории как определенное и необходимое звено в историческом процессе. В то же время фундаментальная посылка историзма состоит в том, что каждый век — уникальное проявление человеческого духа, собственной культуры и ценностей.

Утверждение принципа историзма явилось ответом на рационализм Просвещения, который не располагал ни «малейшим чутьем сравнительно-исторического метода» (Мандельштам 1987 [1922], с. 85). Политической предпосылкой историзма была, по общему признанию, Французская революция — неудивительно, что метод историзма взяли на вооружение романтики. Реакция на неисторическое мышление и политическую практику периода Французской революции (когда, в частности, были уничтожены практически все государственные архивы) дала импульс к более глубокому пониманию историчности, истоков происходящего. То, что именно «немецкая историческая мысль научила мир мыслить исторически», во многом объясняется авторитетом немецкой классической философии. Своим историзмом немецкие историки обязаны «если не самому Гегелю, то во всяком случае его эпохе, квинтэссенцию которой он попытался систематизировать и рационализировать» (Трельч 1994 [1922], с. 231).

Метод историзма дал новую возможность удовлетворить растущий интерес как к национальному прошлому, так и к истокам западной цивилизации. Историчность оказалась связанной не с абстрактным субъектом, а с национальным духом. Манхейм считал, что

благодаря исторической школе и Гегелю произошла историзация идеологии (точнее, видения идеологии). «К представлению о мире как о некоем единстве, которое может быть постигнуто лишь в соотношении с познающим субъектом, присоединяется мысль, что это единство преобразуется в своем историческом становлении. В эпоху Просвещения субъект — носитель единого сознания — выступал как некое совершенно абстрактное, надвременное, надсоциальное единство, как „сознание вообще“. Здесь народный дух становится представителем уже исторически дифференцирующихся единств сознания» (Манхейм 1994 [1929], с. 64).

Последователи историзма утверждали, что для того, чтобы один век мог понять другой, необходимо признать, что по прошествии времени фундаментально изменились и условия жизни, и сознание субъектов истории, и, возможно, даже сама человеческая природа. Необходимо усилие воображения для того, чтобы отодвинуть ценности сегодняшнего дня и увидеть предшествующий век изнутри. Но историзм заключал в себе больше, чем просто призыв изучать былое в его самобытности. Одна из главных его особенностей состояла в прочной увязке интереса к современности с интересом к прошлому. Приверженцы историзма изучали историю в развитии, предупреждая об опасности, грозящей тем, кто повернется спиной к прошлому.

Существовало, однако, очевидное противоречие между политической направленностью, неприятием настоящего, характерным для романтиков, и их важнейшей методологической новацией — принципом историзма. Ибо принцип историзма, конечно, включает в себе принятие настоящего. Во-первых, потому что настоящее — неизбежный результат прошлого развития, во-вторых, потому что в нем как раз и воплощается то прошлое, об утрате которого так печалились романтики. Ведь принцип историзма подразумевает, что не только прошлое, но и институты и культура современности могут быть поняты только исторически. Для того, кто не имеет представления об их развитии в предшествующие века, их природа остается непостижимой. Именно поэтому история является ключом к пониманию современного мира. Тем самым древней максиме «история — учитель жизни» (*historia est magistra vitae*) придавалось актуальное и научное (в духе теории эволюции) звучание.

В 1830—1840-х годах в Германии зарождается школа, которой во второй половине XIX в. предстояло занять ведущее положение в

европейской историографии и надолго стать эталоном культуры исторического исследования. Основателем этой школы был Леопольд фон Ранке (1795—1886). Школа Ранке «восприняла как от поэтики, так и от идеалистической философии импульсы, в силу которых и та, и другая рассматривали историю — независимо от исторических событий — как имманентное смысловое единство и осмысливали ее с позиций науки» (Козеллек 1994 [1979], с. 183).

Хотя Ранке считался главой «немецкой исторической школы», с его именем, так же как и с именем другого крупнейшего представителя немецкой историографии того времени — Б. Нибура², историческую школу можно связывать с очень большими оговорками. Как писал Трельч, «историческая школа в действительности чрезвычайно далека от универсализма Ранке, его всемирно-исторического конструктивного духа и динамической тонкости». По его мнению, сочинения Ранке выгодно отличаются от трудов представителей исторической школы «критической ясностью и политически-дипломатической концепцией истории» (Трельч 1994 [1922], с. 232, 238).

Общепризнано, что Ранке находился под сильным влиянием философии Гегеля. «Как Гегель принимает в свою новую, сверхрационалистическую логику известную долю рационализма XVIII в., так и Ранке получил от того же столетия метод ясного исследования мотивов и остроту проницательности» (Трельч 1994 [1922], с. 232). Но если Гегель подчинял историческую реальность схемам всемирной истории, то Ранке, напротив, отдавал приоритет изучению реальности во всем ее многообразии. Поэтому его умозрительные конструкции отличались эластичностью. По существу творчество Ранке — это сознательное противостояние философии, пронизанное стремлением вырвать историю из рук философов. Ранке говорил о том, что историку в отличие от философа необходима любовь к детали, человеку и событию в их уникальности. Но он же говорил и о том, что историк не может написать историю, не прибегая к обобщениям. То есть о прошлом можно судить по документам и установленным фактам, но многое можно узнать о прошлом такого, что лежит за рамками известных событий, путем умозаключений (Ранке 1898 [1854], с. 15—21).

² Нибур, Бартольд Георг (1776—1831) — основатель критического метода в изучении истории. Большую роль в построениях Нибура играли этнографические данные и метод аналогии. Нибур — великий критик и новатор в области филологического анализа в историческом исследовании.

Представления Ранке о будущем также отличались от историко-философских концепций его времени: он видел в будущем множество альтернатив. Он достаточно критически относился не только к возможности предсказывать ступени будущего развития, но даже и к самой идее о безоговорочной прогрессивной направленности хода истории. Ранке обращал внимание на то, что теория прогресса базируется на локальном (европейском) опыте и напоминал ее сторонникам о том, что случилось с цивилизациями Азии (Ранке 1898 [1854], с. 16).

При этом историческая мысль Ранке развивалась в широких временных и пространственных границах. Его интересовал не скрупулезный анализ узких тем, а большие исторические сюжеты и продолжительные периоды, нередко заключавшие в себе череду эпох. А главное — о чем бы он ни писал, перед его глазами всегда была всемирная история. Не случайно «Всемирной историей» завершилась его жизнь.

Когда лорд Актон в 1876 г. в последний раз встретился с Ранке, тому уже перевалило за восемьдесят. Он был автором огромного количества сочинений, среди которых многотомные работы по истории папства, истории Германии во времена Реформации, истории Пруссии, Англии и Франции. Ранке, старый, тщедушный и почти слепой, с трудом мог читать и писать. Покидая его, Актон подумал, что следующее известие о Ранке будет известием о его смерти. Вместо этого Ранке заявил о себе созданием многотомной «Всемирной истории», которая оборвалась на периоде позднего Средневековья, когда великий историк умер на 91 году жизни (Geyl 1952, p. 3).

Именно под влиянием идеи универсальности истории и диалектического подхода к пониманию общественных процессов в произведениях Ранке и его многочисленных последователей утвердился представление о непрерывной преемственности развития общества во времени, от эпохи к эпохе. Возникнув в тесной связи с романтизмом, школа Ранке тоже придавала огромное значение традиции как квинт-эссенции прошлого, сохраняющейся в настоящем и переходящей в будущее, но отличалась от нарративно-романтического направления сознательным стремлением к строго научному, объективному воспроизведению действительности. Именно поэтому Ранке столько усилий отдал разработке принципов отбора и исследования источников. Относясь к прошлому уважительно и бережно, Ранке тем не менее признавал, что у исторического исследования есть и внешние цели. Возможно, он был последним крупным историком, который

верил, что результатом его собственных и других подобных исследований станет обнаружение руки Бога в человеческой истории. В общем смысле философской основой творчества Ранке был провиденциализм. Исторический процесс, по Ранке, — это осуществление «божественного плана управления миром», придающего единство всему происходящему. Причинные связи между событиями также предугазаны Богом, а задача историка разглядеть их.

При этом Ранке не пытался извлечь из прошлого практические уроки. Знаменитая цитата из предисловия к его первой книге «История германских и романских народов с 1494 до 1535 г.» с важным приложением к ней «Критика новых историков» (1824 г.) гласит: «История взяла на себя обязанность судить прошлое, поучать настоящее на благо грядущих веков. Эта работа не может служить источником вдохновения для таких возвышенных целей. Ее цель состоит только в том, чтобы показать то, что происходило на самом деле (wie es eigentlich gewesen ist)» (Ranke 1957 [1824], S. 10).

Вкладом Ранке в развитие исторической науки является его исследовательская методика, которая находится в некотором внешнем противоречии с характерным для него универсализмом. Ее разработка связана с общим тяготением научной мысли к позитивизму. Тип историографии, который может быть назван позитивистским, развился под воздействием естественно-научного подхода, предполагающего установление фактов в непосредственном чувственном восприятии и разработку законов путем обобщения фактов посредством индукции. В соответствии с установками позитивного метода представители историзма второй половины XIX в. стремились утвердить в исторической науке примат объективного факта. Они признавали реальность прошлого, считая, что оно непосредственно дано историку в виде остатков: исторических документов и вещественных памятников. В соответствии с требованиями позитивного знания историк не может знать больше того, что заключено в документах. Поэтому его задача состоит в том, чтобы возможно более точно воспроизвести прошлое по документам и избегать толкования (Ковальченко 1987, с. 96).

Исследовательская методика Ранке, вполне в духе позитивистского понимания задач исторического анализа, основывалась на следующих положениях: объективные факты содержатся главным образом в архивных материалах политического характера — в донесениях слов, переписке государственных деятелей и т. д.; то, чего нет в до-

кументе (мнения, слухи), не существует для истории; правильное использование источников требует филологического анализа, установления аутентичности и достоверности документа и других операций внешней и внутренней критики текста.

Парадоксальным образом в исторической науке утверждение позитивного метода лишило историческое познание права на категориальное мышление, научные гипотезы, дедукцию и т. п., превратив историографию во вспомогательную по отношению к социологии дисциплину. Именно «позитивизм привил историографии вкус к фактографии, к чистому „описанию“ и сугубо внешней систематизации верифицируемых фактов» (Журавлев 1980, с. 65ff). Историки, следовавшие букве позитивизма, свели историографию к науке о «фактах». Их обобщения не выходили за пределы элементарных эмпирических выводов. Вместе с тем, как мы уже сказали, Ранке воплощал в историческом исследовании не только принципы позитивизма, но и идеи универсальности истории, требующие широких обобщений.

Если школу Ранке можно характеризовать как идеалистический историзм, то марксистская историография представляет историзм материалистический. Материалистический историзм исходит из признания объективной закономерности исторического процесса, более того, «рассматривает законы развития общества как *естественно-исторические*, т. е. как такие, через которые действительное развитие не может перескочить и которых нельзя отменить декретами...» (Маркс 1960—1962 [1867—1894], т. 23, с. 10). Для этого направления характерны постулаты о тесной связи прошлого с настоящим, объективной реальности прошлого по отношению к настоящему, идея стадияльного развития и соответственно качественного различия исторических эпох. Помимо этого, материалистический историзм характеризуется ценностным, а именно, негативным отношением к традиции, и, наоборот, позитивной оценкой инноваций, прерывностей, разрывов, как свидетельств исторического прогресса.

Но, видимо, решающую характеристику материалистического историзма назвал Б. Поршнев, заметив, что суть «научного» историзма состоит не просто в утверждении, что какое-либо историческое явление сравнительно с более ранним есть «то же, да не то же», т. е. не только в констатации отличия по-существу, но и в понимании этого отличия как тяготеющего к такому, которое называется противоположностью. «Подлинный историзм, — писал он, — не в апперцеп-

ции, не в узнавании в иной исторической оболочке той же самой сути, а, наоборот, — в обнаружении по существу противоположного содержания даже в том, что кажется сходным с явлениями нынешней или недавней истории. Историзм, проведенный последовательно, это и есть неуклонное противопоставление друг другу разных моментов и уровней исторического движения. При этом недостаточно спорадически вспоминать, что явления, хотя бы внешне весьма сходные, но происходившие в разные исторические времена, тем самым уже не сходны, ибо сущность их уже другая» (Поршнев 1969, с. 94—95).

Основоположники марксизма резко размежевались со школой Ранке, утверждавшей как раз сохранность прошлого в настоящем. Похоже, что произведения самого Ранке они игнорировали вполне сознательно. Они не ссылались ни на одно из его сочинений, используя в своей работе труды тех английских и французских историков, которых считали менее «реакционными», а также работы некоторых представителей гейдельбергской исторической школы в Германии. Маркс только один раз упоминает имя Ранке, называя его «камердинером истории» и характеризуя его работы как «собрание анекдотов и сведение всех событий к мелочам и пустякам» (Маркс 1963 [1864], с. 352).

С точки зрения марксизма, и природа, и общественная жизнь развиваются на основе законов, которые могут быть познаны только в процессе изучения истории развития. Именно таков смысл фразы из «Немецкой идеологии»: «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории» (Маркс, Энгельс 1955 [1932 (1846)], с. 16, прим.). Понятие историзма в марксизме шире, чем понятие исторического метода, поскольку принцип историзма считается обязательным для любого теоретического исследования. Материалистический историзм полагает прошлое общества столь же реальным и объективным с позиций настоящего, как реальна и объективна для отдельного человека его предшествующая жизнь. «Вместе с тем, констатируя объективную реальность прошлого и его органическую связь с настоящим, — писал И. Ковальченко, — следует подчеркнуть и то, что прошлое отлично от настоящего. *Настоящее* представляет собой *непосредственное бытие*, а *прошлое* лишь *бытие опосредованное*» (Ковальченко 1987, с. 96—97).

Историзм как методологический принцип марксистской историографии требует рассматривать любое явление прошлого и настоящего, во-первых, в его возникновении, развитии и изменении, во-вторых,

в связи с другими явлениями и условиями данной эпохи, в-третьих, в связи с конкретным опытом истории, который позволяет установить не только непосредственные, но и отдаленные последствия изучаемого события или процесса. Все эти требования внутренние связаны и взаимообусловлены. Первое ориентирует на изучение внутренних законов исследуемого явления, вычленение главных периодов его развития и его качественных особенностей на разных стадиях процесса. Второе подчеркивает своеобразие и единство каждой социальной структуры, отдельные элементы которой можно понять только в их соотносении с целым. Наконец, третий пункт отражает единство, преемственность и поступательность исторического процесса, в котором любое явление может быть понято лишь будучи соотношенным не только с прошлым, но и с будущим, обнаруживающим тенденции его дальнейшего развития. Претензия марксизма на способность научного предвидения уводила далеко от практики исторического исследования. Например, историзм объявлялся необходимой чертой стратегии марксистско-ленинских партий, что будто бы страховало их от догматизма.

Еще одна модификация историзма, которую можно было бы обозначить как «историзм с обратным знаком», представлена в исследовательском подходе А. Тойнби. Из его рассуждений методологического характера вытекает предположение об определяющем значении категорий пространства и времени. Но если историзм Ранке предполагал, что невозможно понять настоящее, не зная прошлого, то историзм Тойнби столь же определенно включал идею о том, что, рассматривая протяженность западного общества во времени, мы прежде всего сталкиваемся с трудностью обозрения будущего. Тойнби полагал, что незнание конечной цели развития лишает исследователя возможности точно определить характер самого развития. «Мы не можем достаточно полно обрисовать жизнь общества, частью которого мы сами являемся, ибо это общество будет жить и после того, как мы утратим способность его наблюдать. Западная история только тогда предстанет в законченном виде, когда не станет западного общества. Нам же остается удовлетворяться наблюдением прошлого» (Тойнби 1991 [1934—1961], с. 35).

К сожалению, как справедливо замечает В. Уколова, «промелькнув блистательной догадкой», рассуждения Тойнби о времени вдруг распадаются и оборачиваются путаницей довольно банальных поня-

тий (Уколова 1991, с. 9), и говорить о сколько-нибудь последовательном понимании или использовании категории времени в его монументальном (в том числе и по временным масштабам) исследовании не представляется возможным.

Предлагая детальный анализ исторической географии Европы по принципу «назад, а не вперед» вплоть до 775 г., Тойнби определяет специфику темпоральных характеристик западного общества. Он обнаруживает две важные особенности исторического исследования: во-первых, возвращаясь назад, историк с необходимостью вынужден представлять жизнь общества в понятиях, не свойственных современной жизни; во-вторых, любые элементы, «извлекаемые из глубин истории, при попытке сопоставить их со сходными элементами из других эпох прямо демонстрируют свою оригинальность и неповторимость» (Тойнби 1991 [1934—1961], с. 37).

Признавая концепцию непрерывности истории наиболее привлекательной из всех построенных на аналогии с представлениями классической физики, Тойнби, однако, подвергал ее критике. По его мнению, общепризнанное значение понятия «непрерывность истории» предполагает, что масса, момент, объем, скорость и направление потока человеческой жизни постоянны или, если не буквально постоянны, то изменяются в столь узких границах, что поправкой можно пренебречь. Но в том-то и дело, что в истории такими поправками пренебрегать нельзя и подробная интерпретация может привести к грубейшим ошибкам. Поэтому при изучении временных отношений Тойнби считал необходимым различать две степени непрерывности: непрерывность между последовательными периодами и фазами в истории одного и того же общества и непрерывность как связь во времени самих обществ (Тойнби 1991 [1934—1961], с. 39—40).

С позиций сегодняшнего дня интерпретация и использование категории времени на основе принципа историзма — устойчивая традиция. Однако следуя ей в целом, XX век дал примеры некоторых нетривиальных попыток манипуляции временем в исторических исследованиях. Впрочем, сознательная свобода в обращении с временем характерна для историографических школ или направлений, представляющих меньшинство историков, а внимание к ним более широкой исторической общественности объясняется скорее их одиозностью, чем убедительностью.

2. Структуризация времени

В XX в. структурно-функциональный, или системный, подход, опирающийся на методологию внешне далеких от изучения общества дисциплин — биологии и кибернетики, — оказался мощным инструментом в руках представителей социальных наук, в том числе и историков. Структурная история, поставившая в центр исследований структуры и процессы исторической эволюции, обобщающе-типологизирующие аналитические приемы исследования, задачи синтеза общего экономического, социального, политического и культурного контекста, практически сразу столкнулась с необходимостью создания качественно иных временных структур исторического процесса. Если до овладения структуралистскими методами историки свободно перемещались во времени и делили его на произвольные отрезки, то теперь они стали разными способами структурировать само время.

Структурный подход принципиально ориентируется на исторический процесс в целом в его синхронном, а подчас и диахронном измерении. Речь идет о структуризации исторического времени — горизонтальной (единицы времени) и вертикальной (параллельное сосуществование разных единиц). Первым вариантом подобных игр с временем можно считать философские и экономические схемы стадийного и циклического развития (см. гл. 3, § 3 и гл. 4). Ответом на уход классической философии с исторической сцены стало утверждение «истории длительных протяженностей» и «неподвижной истории». Со всеми их модификациями, эти направления знаменовали разрыв с долго господствовавшими представлениями Нового времени о прерывности истории, кризисах, трансформациях, системных перестройках и т. д.

Прорыв схем циклического и стадийного развития из историософии в историю во многом связан с именами Ф. Симиана и Э. Лабрусса. Еще в 1903 г. французский историк Ф. Симиан опубликовал статью «Исторический метод и социальные науки», в которой сделал попытку «ниспровержения идолов»: политики, исторической личности и хронологии (Simiand 1960 [1903]). Он заявил о необходимости заменить изучение уникальных явлений познанием тенденций, установить каузальные связи между процессами, перейти от исследования изолированных фактов к поиску повторяемых событий. Статья Ф. Симиана привлекла внимание французских историков к кризисам и ритмам в истории общества. Принципы, сформулиро-

ванные Симианом, открыли путь для утверждения концепции длинных волн в исторических исследованиях. Помимо того, что эта концепция позднее оказалась непосредственным импульсом для темпоральных конструкций Ф. Броделя, она образовала самостоятельное направление в историографии XX в.

Появление модели длинных волн давало широкие методологические возможности для исследования, позволяющие проследить происхождение и эволюцию совокупности долговременных исторических тенденций и явлений, механизм их взаимодействия. И французские историки использовали эти возможности.

В частности, выделив длинные волны в экономическом развитии Франции, они попытались скоррелировать их с событиями политической истории. Так, во время экономического кризиса 1930-х годов Ф. Симиан опубликовал работы о связи крупных политических событий с мировыми кризисами, где предложил механизм возникновения кризисной ситуации, сконструированный на базе длинных волн (Simiand 1932a; 1932b). Исходя из анализа движения цен на сельскохозяйственную продукцию Э. Лабрусс поставил вопрос об экономическом кризисе в сельском хозяйстве как важнейшем факторе Французской революции 1789 г. (Labrousse 1933—1936).

Стремясь доказать полную синхронность экономических и политических кризисов, Э. Лабрусс нарисовал довольно схематичную картину исторического процесса. Он утверждал, что революция была вызвана «кризисом нищеты» и произошла в период длительного спада конъюнктуры (фаза Б), которая сменила период долговременного подъема конъюнктуры (фазу А). Сходную попытку корреляции движения экономических показателей с политическими кризисами Лабрусс предпринял в докладе на Парижском конгрессе, посвященном революции 1848 г., в котором он обсуждал проблему возникновения революций (Labrousse 1944).

Дальнейшее развитие идея структуризации времени получила в работах представителей школы «Анналов». Оттолкнувшись от концепции кондратьевских циклов, они начали исследовать прежде всего длительные процессы, отличавшиеся очевидной неравномерностью развития, долговременные структурные изменения (длящиеся столетие и больше). Однако они считали, что и события кратковременной протяженности (революции, перевороты, войны и т. д.) можно полнее интерпретировать в контексте циклической эволюции общества.

Противопоставив событийной истории изучение длительных процессов и явлений (историческую географию, демографию, изучение климата, питания, болезней, обычаев и культуры), представители этой школы сконцентрировали внимание на диалектике исторического развития, взаимоотношениях пространства и времени, человека и природной среды. Поэтому историческое время в их исследованиях характеризовалось большой протяженностью, медленным течением и размеренным ритмом.

Самым масштабным воплощением концепции длинных волн в исторических исследованиях стали труды крупнейшего французского ученого Ф. Броделя. Уже в своей первой крупной работе «Средиземноморье в эпоху Филиппа II» Бродель реализовал программу, сформулированную в подзаголовке, который появился у ведущего французского исторического журнала «Анналы» в 1945 г.: «экономика, общества, цивилизации». Он создал труд, который соответствует канонам глобальной истории в современном понимании: всестороннее исследование основных аспектов истории общества в конкретном регионе (см.: Braudel 1949).

Прочитав книгу Броделя, патриарх школы «Анналов» Л. Февр в восторженной рецензии писал о том, что сломаны самые старые и самые почтенные традиции. Хронологический порядок, «четкий и простой», или порядок системный, «чреватый опасностями», заменен «порядком динамическим и одновременно эволюционным — порядком, который не разъединяет то, что должно быть единым, но позволяет в каждый момент временной последовательности освещать различные уровни, на которых разворачивается действие» (Февр 1991 [19506], с. 185—186).

Фундаментом исследования Броделя стала концепция структурной истории. Такой подход естественно предполагал концентрацию интереса на изучении структур — говоря словами Броделя, «ансамбля, архитектуры исторических явлений». Существенно при этом, что Бродель понимал под структурой не умозрительную конструкцию, а историческую реальность, но не всякую, а лишь стабильную и, следовательно, медленно изменяющуюся во времени. «Некоторые долговременные структуры становятся устойчивым элементом жизни целого ряда поколений. Иные структуры менее устойчивы. Но все они являются и опорой, и препятствием исторического движения... А как трудно преодолеть некоторые географические и биологиче-

ские условия, некоторые пределы роста производительности труда и даже духовные факторы, ограничивающие свободу действия! (Узость духовного кругозора также может быть долгосрочной тюрьмой!)» (Бродель 1977 [1958], с. 124).

Стабильные структуры истории в интерпретации Броделя прочно сопрягались с пространством, в котором они существовали, их функционирование тесно привязывалось к географическим регионам, что означало необходимость восприятия времени как исторического процесса в границах пространства.

Ф. Бродель считал, что гомогенная последовательность событий в линейном времени лишь формально реконструирует исторический процесс, но не объясняет его. Обращение к концепции длинных волн явилось следствием развития идеи о сегментации времени, которая коренным образом меняла представление о ходе истории. Вместо равномерно текущего календарного ритма, размеченного большими и малыми событиями, Ф. Бродель разработал концепцию диалектического взаимодействия трех различных временных протяженностей, каждая из которых соответствует определенному типу исторической реальности (Бродель 1977 [1958]).

В самых нижних слоях общественного бытия господствует постоянство, стабильные структуры, основными элементами которых являются человек, Земля, космос. Время протекает здесь настолько медленно, что кажется почти неподвижным. Изменения взаимоотношений общества и природы, привычки мыслить и действовать измеряются столетиями. Это, по выражению Броделя, «длительная <временная> протяженность» (*longue durée*)³.

Другие реальности, прежде всего из области экономической и социальной действительности, имеют циклический характер и требуют для своего выражения меньших интервалов времени. Именно на этом уровне Ф. Бродель считал возможным применять кондратьевские циклы.

³ Интересно, что обосновывая свою теорию «длительных протяженностей», Бродель, писавший историю Средиземноморья в немецком концлагере, ссылаясь на собственный опыт: «Я лично во время своего достаточно мрачного плена упорно боролся за то, чтобы отойти от повседневности этих трудных лет (1940—1945 гг.). Отойти от событий ... — это значило подняться над ними, рассматривать их несколько со стороны и не слишком им доверять. От короткого времени перейти к гораздо более длительному» (Braudel 1984, p. 76).

Наконец, на поверхностном — политическом — слое истории события действительно определяются не отрезками времени, а хронологическими датами⁴.

Размышляя о последствиях, связанных с введением понятия «длительной протяженности» в историческую науку, Бродель предполагал, что внедрить эту категорию будет нелегко. «Здесь меньше всего речь идет о простом расширении предмета исследования или области наших интересов», — писал он. Речь идет о готовности «историка изменить весь стиль и установки, направленность мышления... принять новую концепцию социального. Это значило бы привыкнуть к времени, текущему медленно, настолько медленно, что оно показалось бы почти неподвижным. Только тогда мы сможем вырваться из плена событий, чтобы вернуться к ним и посмотреть на них другими глазами, задать им другие вопросы... И тогда все этажи общей истории... все взрывы исторического времени предстанут перед нами вырастающими из этой полунеподвижной глубины, центра притяжения, вокруг которого вращается все» (Бродель 1977 [1958], с. 127).

Как мы уже отметили, труды Броделя имели широкий резонанс и получили однозначно высокую оценку в научной среде. Они самым существенным образом повлияли на методологию исторических исследований, но в большинстве случаев не в прямом смысле. Фигура Броделя, оказавшаяся у истоков структурной истории, конечно, ассоциируется с ней. Но структурная история, созданная помимо Броделя, особенно вне Франции, планомерно вытеснила время за пределы исторического анализа. Что касается французской историографии, представленной школой «Анналов», то здесь проблема времени оставалась на видном месте, но в большинстве случаев не в плане ее дальнейшей разработки, а в смысле осознания качественной неоднородности прошлого и небывалой прежде диверсификации тематики — изучения разных аспектов разного прошлого.

Прямые продолжатели линии Броделя, развивающие тему времени как категории исторического анализа, представляют собой довольно пестрое сообщество. Одни из них пытались или предлагали применить метод сегментации времени к отдельным областям исторических исследований: политике, культуре и т. д. Другие сосредото-

⁴ Концепция «трех слоев» времени Броделя удивительным образом напоминает темпоральную конструкцию Фомы Аквинского (*aeternitas*—*aevum*—*tempus*), о которой мы говорили в гл. 1, § 3.

точили внимание на разработке сюжета времени в рамках «неподвижной истории», поэтому в их поле зрения оказались геоистория, демография, экология, технология, ментальность. Третьи скорее избрали имя Броделя своим символом, поскольку делают акцент на масштабных историко-социологических исследованиях. Четвертые благодаря Броделю обратили внимание на представления о пространстве и времени, существовавшие в прошлые эпохи.

Среди последователей Броделя есть очень крупные ученые, например Ж. Ле Гофф, Э. Ле Руа Ладюри, И. Уоллерстайн. Вместе с тем в их числе и немало рядовых исследователей, преимущественно леворадикальной политической ориентации. Последние не разрабатывали самостоятельно проблему исторического времени, а просто пытались применить концепцию длинных волн для анализа разноплановых исторических явлений. Они использовали ее для интерпретации происхождения войн, революций и других политических феноменов, их характера и последствий. Этот же ритм они искали в течении культурных и демографических процессов (см.: Полетаев, Савельева 1993). Будучи безусловными апологетами концепции длинных волн, они не столько применяли ее в качестве инструмента анализа, сколько предпринимали попытки доказать ее универсальность. Последнее им безусловно удавалось в одном-единственном смысле: результаты всегда сходились с заранее известным ответом. Но об этих опытах читатель уже прочел в гл. 4, а здесь мы обратимся к иным попыткам развития броделевских идей.

Сравнительно недавно появились исторические работы, в которых статический анализ начал играть абсолютно самостоятельную роль. В 1973 г. Э. Ле Руа Ладюри выступил с программной лекцией на тему «Неподвижная история» (Ле Руа Ладюри 1993 [1974]). Эта лекция в последующие десятилетия сама стала сюжетом исторической науки. Она надолго приковала к себе внимание, ее постулаты дискутировались и опровергались, причем в этом процессе активно участвовал сам автор, который впоследствии неоднократно комментировал и пересматривал положения своего знаменитого выступления.

Ле Руа Ладюри выступил с идеей именно неподвижной истории, истории, предполагающей в конечном счете неизменность, постоянно самовоспроизводящуюся через изменения. Ле Руа Ладюри предложил поражающее масштабностью и оригинальностью представление о взаимодействии структур и институтов французского

мира на протяжении периода 1320—1720 гг., выдвинув тезис о том, что проблематика этого общества и этого периода «восстает против самого существования цифр, уводя назад, к старым представлениям о возможностях почти неподвижного состояния». Проанализировав крупномасштабные демографические процессы, он продемонстрировал «удивительное экологическое равновесие <„Франции“>, не исключавшее, естественно, ужасных, но быстро проходящих потрясений, а также негативных тенденций, столь характерных для популяционных изменений в животном мире» (*Ле Руа Ладюри* 1993 [1974], с. 160).

Концепция Ле Руа Ладюри в каком-то смысле придала схеме Броделя логическую завершенность, констатируя абсолютную неподвижность, отсутствие даже очень медленных изменений, которыми характеризуется *longue durée*. Нетрудно заметить, что новый тип исторического времени у Ле Руа Ладюри образовывался путем синтеза с динамичным временем весьма драматических событий (войн, эпидемий и т. д.), значимость которых практически утрачивается, если рассматривать длительные временные интервалы.

Наверное, для тех, кто жил до Нового времени, неподвижность была достаточно очевидной. В Новое время, а тем более в наши дни, открыть «неподвижную историю» было довольно трудно, потому что она осталась далеко позади: люди давно живут в стремительно изменяющемся мире. Но, будучи открытой, она оказалась весьма популярной темой, преимущественно в среде французских историков-медиевистов. Как отметил П. Нора в 1974 г., «ускорение исторического процесса привлекло внимание к противоположному явлению, обусловив более глубокое изучение постоянного и неизменного в истории общества» (цит. по: *Стоун* 1994, с. 160).

Тогда же Ж. Ле Гофф выступил с инициативой создания политической истории, дифференцированной по «временам истории». Схему Броделя он предлагал использовать как типологическую, размещающую в «коротком времени» традиционную, описательную, событийную, исполненную движения политическую историю. Эта история, «не чуждая количественного анализа, подводящая к социальным проблемам, доставляющая данные для грядущего исследования ментальных структур», в то же время должна служить основой для более глубокого проникновения в материал. Во времени, которое задает конъюнктура, смоделированная по образцу описанных Ф. Симианом долговременных колебаний, возможно исследование фаз политической истории, в котором, вероятно, преобладающей оставалась бы со-

циальная в широком смысле история, т. е. политическая история с уклоном в социологический анализ.

Между этими двумя типами истории Ле Гофф выделяет общий сектор, «отведенный непосредственно для изучения соотношения векового политического тренда и коротких циклических движений, пиков и падений, наполненных фактами (это же справедливо и применительно к экономической истории). Это — сектор истории кризисов, обнажающих структуры, и динамики этих структур, раскрывающейся в кипении событий. Наконец, политическая история, которая оказалась бы почти „неподвижной“, если бы, как то обнаружила политическая антропология, она не была привязана к конфликтной по существу, а значит динамической структуре общества. Речь идет о политической истории структур большой длительности, включающей одновременно аспекты геополитики... и анализ с использованием методов антропологии» (*Ле Гофф* 1994 [1971], с. 189).

Вариант «долговременной протяженности», т. е. медленных постепенных изменений, применительно к самым динамичным историческим событиям отстаивают в своих работах французские историки Ф. Фюре и Д. Рише (*Furet, Richet* 1973), П. Шоню, М. Ферро и др. Они пытаются доказать, что и в ходе революций, включая промышленную революцию, при внимательном анализе не обнаруживается качественных скачков.

В господствовавшей более века классической либеральной интерпретации Великой французской революции 1789—1799 гг. трактовались как период трансформации, а сама революция — как результат системного кризиса феодального общества и утверждение институтов и ценностей общества буржуазного. Эта интерпретация утверждала одновременно экономический, социальный и политический характер революции, в результате которой за очень короткий исторический отрезок времени во Франции умер «старый порядок» (название работы А. де Токвиля, ставшее нарицательным) и утвердился принципиально новый.

Концепция сторонников медленных изменений, достаточно равномерно распределенных во времени, по остроумному замечанию польского историка В. Вжозека, «сходится с классической лишь в одном пункте. Это — согласие, что термин „Французская революция“ означает период в истории Франции конца XVIII в. ... С принципиальной же точки зрения для Фюре, Рише, Шоню, а также Ле Руа Ладюри и Броделя революции, в смысле ее классической интерпре-

тации, не было. Они концептуализируют ее с помощью категорий, либо диаметрально противоположных классическому подходу, либо частично не согласующихся с ним» (Вжозек 1991, с. 64—65).

Как замечает В. Вжозек, в такой трактовке революция выступает просто как событие, и это своего рода приговор, ибо исследователи этого направления с пренебрежением относятся к событиям. Ратуя за универсальный подход, предполагающий в качестве задачи исторического исследования реконструкцию «длительной протяженности» и вековых ритмов, упомянутые историки считают бессмысленным придавать сколько-нибудь серьезное значение совокупности событий одного, пусть и бурного, десятилетия. Фюре причисляет революцию к разряду явлений, пригодных для удовлетворения «навязчивой склонности историков датировать события» (Furet 1972, p. 72). А по мнению Шоню, убежденного сторонника количественной и «серийной» истории (смысл которой в замене единичных событий рядом событий), «Революция и Империя — излюбленная тема приверженцев того рода истории, которую следовало бы назвать глупой (*histoire bête*)» (Chaunu 1975, p. 38).

3. Анахронизм

Под историческим анахронизмом имеется в виду отнесение какого-либо события или явления к другому времени, внесение в изображение какого-либо периода черт, ему не свойственных. На более ранних этапах развития исторического знания анахронизм был результатом недостатка исторического сознания и избытка исторического невежества. Вследствие первого — отсутствовала идея исторического развития и все прошлое совмещалось в сознании с настоящим. Вследствие второго — хронология исторических событий была весьма произвольной.

Историческое сознание и историческое знание Нового времени постепенно свели роль этих факторов на нет. Однако анахронизма от этого не убавилось. На месте анахронизма стихийного возник вполне сознательный *методологический* анахронизм. Его появление во многом как раз и было связано с формированием исторического сознания, отделившего современность историка от прошлого, которое он изучает. Ведь, как писал Коллингвуд, «историк — не Бог, глядящий на мир сверху и со стороны. Он человек и человек своего места и времени. Он смотрит на прошлое с точки зрения настоящего, он смотрит на

другие страны и цивилизации с собственной точки зрения» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 105).

Как нам кажется, еще в большей степени, чем презентистские настроения, которые следует признать неизбежным злом, методологический анахронизм определялся стремлением придать истории научный характер путем использования социологических моделей, разработанных применительно к современности. В этом плане особенно пагубными оказались крупномасштабные социологические теории. От стремления приспособить их к предшествующим историческим эпохам и пошла представления о капитализме в Древнем Риме, о революциях рабов, тоталитарном режиме Ивана Грозного и т. д. Речь в данном случае не идет о понятиях, неизвестных современникам. Как справедливо писал Стоун, без абстрактных неологизмов вроде «феодализм» и «капитализм» мы не можем осмыслить прошлое (Стоун 1994, с. 171) и поэтому пользование ими вполне оправданно. Речь идет об отсутствии в определенные эпохи явлений, обозначаемых этими понятиями.

Методологический анахронизм возникает не только как следствие любви к социологической теории, но и как результат политических пристрастий. Так, Э. Хобсбоум заметил, что французские либералы 1970—1980-х годов, пересматривая историческое значение Великой французской революции, критикуют на самом деле революцию 1917 г. «Отсюда и беспорядочное использование таких слов как „гулаг“... терминологии из книги Оруэлла „1984“, постоянное упоминание о тоталитарных режимах, подчеркивание роли агитаторов и идеологов в революции...» (Хобсбаум 1991 [1990], с. 116—117).

«Зло анахронизма» окажется не столь велико, если согласиться с тем, что любой историк живет в настоящем времени. Содержание исследовательского процесса в истории состоит в том, чтобы идти от настоящего к прошлому или по меньшей мере от следствия к причинам. При таком способе движения прошлое, конечно, не застраховано от вторжения настоящего. Осознавая это, один из самых эпатазирующих историков нашего времени Д. Мило сделал смелое предположение, что анахронизм можно использовать в качестве ценного приема, который следует применять решительно и весело как экспериментальный метод в истории. Для примера он предлагает рассмотреть два возможных подхода к понятию «предшественника», которое постоянно встречается в исторической литературе.

Например, П. Гай пишет: «Список иностранных предтеч Брехта — при том что у него в высшей степени немецкая поэтическая интонация — должен быть весьма длинен, чтобы иметь какой-то смысл, и включать имена от Вийона и Рембо до, как ни странно, Кипплинга, от китайских лириков до августианской сатиры» (Gay 1981, p. 7). Если кто-то и поспорит с Гаем по этому поводу, то спор вызовет не мыслительная конструкция, а то или иное имя. Но, согласно точке зрения Койре, предшественник — это анахроническое понятие, следовательно, его надо избегать, т. к. никто не мог считать себя предшественником кого-либо другого, кто появится после него (Koyré 1961, p. 79).

Согласно другой позиции, которую и отстаивает Мило, можно использовать искусственное понятие предшественника. Конечно, такой подход связан с вмешательством в исторический процесс. Мило ссылается на Хорхе Луиса Борхеса, составившего своего рода список текстов, написанных предшественниками Кафки (в статье, о которой идет речь, Мило вообще часто ссылается не на историков, а на писателей). Борхес пишет: «В каждом <из их текстов> есть что-то от Кафки, в одних больше, в других меньше, но не будь Кафки, мы бы не заметили сходства, а лучше сказать — его бы не было... Суть в том, что каждый писатель сам создает своих предшественников» (Борхес 1994 [1951], с. 91). Подобно тому, как это делает Борхес, и историк реконструирует предшественников того или иного исторического лица. «Вряд ли нужно подчеркивать, что выбор пункта „назначения“ является определяющим при составлении такого ряда» (Мило 1994 [1990], с. 200—201).

Таким образом, Мило призывает увидеть в методологическом анахронизме определенные плюсы. Вторгаясь в прошлое, внося в него атмосферу своего времени и свою концепцию истории, историк может найти ключ для оригинальной интерпретации. Отдавая должное изобретательности Мило, заметим, что он выбрал довольно сложный пример для аргументации. В исторических исследованиях, конечно, преобладают не столь методологически утонченные анахронизмы и, как правило, они невольно рисуют модернизированную картину прошлого, искусственно искажая «то, что было на самом деле».

Надо сказать, что современные историки более сознательно, чем их предшественники (просим прощения за анахронизм), противостоят соблазнам трансплантации понятий настоящего в прошлое. В частности, история ментальности, новейшая история культуры, история быта нацелены как раз на то, чтобы очистить былое от представ-

лений настоящего, восстановить уникальность тех или иных явлений прошлого.

Тем не менее, несмотря на сознательные усилия оградить прошлое от вторжений современности, видимо, анахронизм относится к числу тех, по выражению Ле Гоффа, «интеллектуальных остатков», которые пребудут с нами. За примерами не надо далеко ходить — их можно найти даже у самого Ле Гоффа! Типичный образец «смешения времен» являет следующая фраза: «В VI в. Дионисий Малый заложил основы христианской хронологии, которая вела отсчет времени с отрицательным и положительным знаком от Рождества Христова: до и после Христа» (Ле Гофф 1992 [1964], с. 159). Однако понятие отрицательного числа стало известно европейцам лишь несколько веков спустя, а именно в XII в. Не говоря уже о том, что летосчисление «до Рождества Христова» впервые предложил Дионисий Петавий в XVII в.

4. «Экспериментальная» история

До сих пор речь шла об истории, стремящейся реконструировать и интерпретировать прошлое с целью создания исторической ретроспекции. Однако в последние десятилетия в исторических работах предпринимались разного рода попытки, позволяющие хоть в малой степени помыслить историю как экспериментальную науку. Ю. Лотман писал о возможности сопоставить историческое исследование с экспериментом, что это вовсе «не наглядный опыт, который учитель физики демонстрирует своей аудитории, заранее точно зная результат. Это эксперимент, который ставит перед собой ученый с тем, чтобы обнаружить неизвестные еще ему самому закономерности» (Лотман 1992, с. 29).

Конечно, по словам Коллингвуда, историки, лишенные экспериментального материала, «не снаряжают экспедиций в страны, где происходят войны и революции. И они не делают этого не потому, что менее энергичны и смелы, чем естествоиспытатели, или же менее способны добывать деньги, которых бы потребовала такая экспедиция. Не делают они этого потому, что факты, которые можно было бы добыть с помощью экспедиции, равно как и факты, которые можно было бы получить путем преднамеренного разжигания революций у себя дома, не научили бы историков ничему такому, что они хотят знать» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 238).

Применительно к исторической науке эксперимент означает сознательные «игры с прошлым». Правда, объект для эксперимента, как заметил Мило, безвозвратно отсутствует. Но существуют какие-то возможности экспериментировать и с отсутствующим объектом. Что-то из него изымать, что-то добавлять и смотреть, какие могут получиться результаты. «Экспериментировать — значит проявлять насилие по отношению к объекту, — пишет Мило. — Это — способ подвергнуть изучаемый объект испытаниям, от которых уберегла его природа, или испытаниям, которые а priori являются для него чуждыми, с тем чтобы лучше или иначе узнать объект» (Мило 1994 [1990], с. 186).

Экспериментальная история объединяет несколько новейших историографических подходов: сравнительный, подразумевающий «сравнение несравнимого», в том числе сопоставление феноменов из разных пластов времени; количественный, подвергающий испытанию цифрой даже явления культуры; исторический поппулизм и контрфактическую историю, изучение отсутствия (того, что не произошло). В значительной мере развитие экспериментальной истории связано с тем фактом, что научное сообщество осваивает парадигму постмодернизма, постструктурализма и деконструкции. Экспериментальная история подразумевает в том числе и новое отношение к источникам: перенос акцента с установления аутентичности, датировки и атрибуции документов и традиционных способов их толкования на изучение индивидуального, пристрастного, авторского характера. При таком подходе важными становятся «анализ периферии дискурса» (толкование неочевидных смыслов), расширение понятия источника, т. е. изучение вещей, которые «говорят», но не являются текстом (Фуко)⁵, и новые способы манипулирования источниками (самый яркий пример — серийная история).

У экспериментальной истории принципиально иные задачи. При написании реконструктивной истории «историк более или менее осужден на удачу, ибо из всякого похода в прошлое он неизбежно

⁵ «Что такое язык? Что такое знак? Говорит ли все то, что безмолвствует в мире, в наших жестах, во всей загадочной символике нашего поведения, в наших снах и наших болезнях, — говорит ли все это и на каком языке, сообразно какой грамматике? Все ли способно к означению (если нет, то что именно?) и для кого, и по каким правилам? Каково отношение между языком и бытием, и точно ли к бытию непрестанно обращается язык — по крайней мере тот, который поистине говорит? И что такое тот язык, который ничего не говорит, никогда не умолкает и называется „литературой“?» (Фуко 1994 [1966], с. 328).

возвращается с восстановленным „фрагментом“» (Мило 1994 [1990], с. 191). Экспериментальная история отличается от реконструктивной тем, что эксперимент имеет смысл лишь в том случае, если он может и потерпеть неудачу.

Одним из самых известных вариантов экспериментальной истории, который одно время казался необыкновенно многообещающим, является контрфактическая история. Она стала возможной на стадии конструирования исторических моделей, хотя ее прообразом можно считать конструирование истории по принципу «если бы ... то». Но в отличие от такой конструкции контрфактическая модель строится не столько для определения степени неизбежности исторических событий, сколько для анализа значимости конкретных процессов и явлений в истории. При этом далеко не всякая историческая модель является контрфактической. Например, весьма распространенные в клиометрике отражательно-измерительные модели пытаются охарактеризовать реальное состояние исторического объекта. Напротив, имитационно-прогностические модели заменяют собой объект познания, выступают его аналогом, позволяют искусственно воспроизводить варианты его функционирования и развития (см.: Ковальченко 1987, с. 406—416). Именно они и лежат в основе контрфактической истории.

Суть контрфактического подхода состоит в том, что историк исходя из той или иной идеи имитирует контрфактическую ситуацию, строит ее модель и, сравнивая полученные конструкции с действительностью, заключает, «так» или «не так» шло историческое развитие. Конструируются модели, основанные на допущении того, что не случилось, или исключении того, что на самом деле случилось в истории. При этом модель нередко выступает как критерий для оценки исторической реальности, т. е. имеет аксиологический характер.

Очевидно, что такой подход предполагает инкорпорацию в прошлое некоторых логически сконструированных элементов. Наиболее оправданно обращение к контрфактическому подходу в тех случаях, когда пробелы в источниках не могут быть восполнены однозначно и поэтому приходится представлять изучаемую реальность в разных вариантах. В этом случае контрфактический подход оказывается дополнительным средством реконструкции исторической действительности.

Но во многих исследованиях по контрфактической истории существование определенных явлений или воздействие определенных факторов даже и не предполагается: заранее известно, что в реальном прошлом они отсутствовали. Исследуется нечто, а priori не существовавшее. Для описания такой манипуляции с прошлым очень подходит упоминавшееся выше, но подвергнутое отрицанию выражение Ранке: *wie es eigentlich nicht gewesen sein* (как это не произошло в действительности).

Мотивы для создания и анализа контрфактических моделей различны. Во-первых, имитация альтернативной исторической ситуации. В этом случае дает о себе знать известный историкам соблазн определить значимость того или иного события или процесса. Действительно ли железные дороги сыграли во второй половине XIX в. важную роль в стимулировании экономического роста (*Fogel 1964*)? Действительно ли институт рабства в США стал препятствием для дальнейшего экономического развития (*Fogel, Engerman 1974*)? Действительно ли наличие помещичьего землевладения негативно сказывалось на развитии российского сельского хозяйства (*Ковальченко, Милов 1974*)? Действительно ли, не будь картофельного голода в Ирландии, иммиграция ирландцев-католиков в США, со всеми вытекающими из нее последствиями для американской политической культуры, не приняла бы массовый характер (*O'Rourke 1991*)? Предполагалось, что если в качестве доводов выдвигаются не умоглядные рассуждения, а сложные математические расчеты, то новые ответы на старые вопросы заслуживают большего доверия.

Второй мотив, ведущий к построению контрфактических моделей, как нам представляется, лежит уже отчасти за пределами научных задач. Это стремление к парадоксальным результатам, некоему вызову со стороны более «передовых», т. е. умеющих строить математические модели, историков. Впрочем, подобные соображения сильно потеряли в привлекательности в последнее десятилетие, ибо оказалось, что использование математических методов не внесло коренных изменений в возможности исторического анализа.

Но все же следует сказать, что хотя контрфактический подход отчасти утратил свою популярность, в нем есть определенные преимущества чисто исследовательского плана. Экспериментируя подобным образом, противники детерминизма изучают отвергнутые в прошлом варианты и тем самым вводят в научный оборот богатейшие пласты возможного, но не произошедшего, факты, не возведенные в ранг

событий, и людей, упустивших свой шанс и оказавшихся за кулисами истории.

Один из вариантов экспериментальной истории, лежащих на стыке импровизаций в духе «если бы ... то» и «неподвижной истории», представляет собой акцидентальная история (исторический пессимизм, эмпирический номинализм). В пессимистической истории речь идет о том, что, будучи возможным, по каким-то причинам не было осуществлено, и шире — о категории возможного, являющейся бесспорным предметом исторической науки. Символическим примером исторического пессимизма являются знаменитые рассуждения о том, как форма носа Клеопатры повлияла на историю Рима, а форма носа мадам де Помпадур — на судьбу Франции, и что было бы, если бы эти носики оказались чуть менее изящными (см., например: *Boorstin 1994*).

Как считает Б. Успенский, «возможность моделировать исторический процесс, возвращаясь к прошлому, заново проигрывая ту или иную ситуацию и обсуждая события, которые могли бы произойти, однако, в действительности не произошли, — определяет, по-видимому, методологическую специфику истории как науки» (*Успенский 1996 [1988—1989]*, с. 34). В пессимистической историографии этот метод является основным способом исследования, так как в центре ее, в еще большей мере чем в истории «реально произошедшего», находится действующий субъект, который, оказавшись перед выбором, активно включается в ход событий.

Частым гостем на страницах научных работ с пессимистическими мотивами является Гитлер: какой была бы история Германии без него, если бы его не было вообще, если бы он выбыл из жизни и политики до 1933 г., до 1938 г. И с другой стороны: была ли возможной специфика межвоенного времени и второй мировой войны без Гитлера и можно ли помыслить Гитлера в другое время? Весьма интересными представляются работы, авторы которых вполне убедительно доказывают, что даже кратковременный выход Гитлера из политики привел бы к серьезным изменениям в ходе событий. Американский историк Г. Тернер напомнил об эпизоде, когда автомобиль Гитлера летом 1930 г. столкнулся с железнодорожным составом и Гитлер буквально чудом уцелел, отделавшись царапинами и ушибами (*Turner 1989*). Между тем в сентябре предстояли выборы в рейхстаг. Гитлер уже был интегрирующей фигурой нацистской партии, мегафоном ее пропаганды. Без него, считает Тернер, не про-

изошел бы тот «большой обвал», каким завершились выборы 30 января 1933 г.: 107 «коричневых» депутатов вместо 12 в предыдущем рейхстаге.

Большое внимание теме, какой была бы Германия без Гитлера, уделил Голо Манн. Случись так, пишет он, все было бы иначе. Как именно, можно только гадать. Ясно лишь, что неизмеримым несчастьем стало то, что Гитлер «тогда и там» оказался на месте. На вопрос французского профессора (после второй мировой войны), изменилось ли бы что-то в случае убийства Гитлера во время «пивного путча» 1923 г., ответ Г. Манна был таким: «Что-либо? Изменилось бы все. Как и в каком смысле, этого мы не знаем. Но не было бы Третьего рейха в том виде, в каком он возник под руководством Гитлера» (Mann 1992 [1960], S. 558—559).

И еще одно размышление, на сей раз А. Шлезингера-мл.: «Тот, кто, подобно Спенсеру или Энгельсу, верит, что личность мало что значит, поскольку „ей наверняка найдется замена“ (Энгельс), мог бы поразмыслить, как бы развивались события в последующие два десятилетия, если бы в 1931 г. Черчилль погиб под колесами автомобиля, а Франклина Рузвельта поразила бы пуля убийцы. Удалось бы Невиллу Чемберлену и лорду Галифаксу в 1940 г. мобилизовать англичан, как это сделал Черчилль? Сумел бы Джон Гарнер, будучи на месте Рузвельта, повернуть Америку к „новому курсу“ и к его „четырем свободам“? И каким бы стал наш XX в., если, допустим, Ленин умер бы в Сибири от тифа в 1895 г., а Гитлер погиб бы на Западном фронте в 1916-м?» (Шлезингер 1992 [1986], с. 609).

В 1931 г. вышла в свет книга «Если бы, или переписанная история», подготовленная известными учеными, писателями и публицистами. В ее основу была положена идея представить разнообразные варианты альтернативного развития истории. Для этого в серии очерков отдельные крупные исторические события рассматривались с точки зрения того, как они могли бы произойти по-другому. Авторы рассуждали о том, что могло бы случиться, если бы, например, в Испании победили мавры, Наполеон бежал в Америку, дон Хуан Австрийский сочетался браком с Марией Шотландской, лорд Байрон стал королем Греции, генерал Ли одержал победу при Геттисберге (Squire 1931). Известный американский ученый О. Хэндлин в книге «Поворотные пункты американской истории» подобным же образом пытался доказать, что случайность (погода, внезапная смерть выдающихся политических деятелей и т. д.) решающим образом влияла на важней-

шие события истории США (Handlin 1955). Список сочинений, в которых предпринимались подобные попытки, достаточно пространен.

Все опыты такого рода американский историософ С. Хук объединил под названием «если бы в истории» (Хук 1994 [1943], с. 206), а затем разделил на две категории: те, в которых исторический posibilizm вполне оправдан и ликвидирует издержки метафизического детерминизма, и те, где подобные притязания беспочвенны или осуществляются не как научная реконструкция исторических событий, а исключительно с помощью полета воображения. Существуют и примеры posibilizma в реконструкции длительных исторических периодов, которые вообще не выдерживают никакой научной критики. Например, Ш. Ренувье в сочинении «Ухрония: утопия в истории» рассматривал историю европейской цивилизации со II по XVII в. не такой, какой она была на самом деле, а какой могла бы быть (Renouvier 1901).

Что касается акцидентальной истории, то это — относительно недавнее направление в историографии, вооруженное современными исследовательскими методами и приемами. Этот подход разрабатывался в основном английскими историками — Дж. Мориллом, Дж. Элтоном и др. (см., например: Elton 1984), и благодаря этому акцидентальному обстоятельству больше всего «досталось» истории Английской революции XVII в. и английской промышленной революции. «Сужение исторического горизонта, частично вызванное идеологией, а частично методологией, — пишет Л. Стоун, — сказывается сейчас как на анализе последствий, так и причин исторических событий. Например, английская промышленная революция сводится к статистическим данным о производстве хлопка, численности фабричных рабочих и т. д. Таким образом, за скобки выносятся все то, что происходило в умах, образе жизни, в морали и в поведении по мере того как Англия исподволь, хотя и очень медленно и без видимого толчка превращалась в самую урбанизированную и индустриально развитую страну мира. Если вы неправильно поставите вопрос, то вы скорее всего получите неправильный ответ, а именно: промышленной революции не было вообще» (Стоун 1994, с. 167).

По существу подход названных английских исследователей к событиям и явлениям, которым в историографии традиционно придается историческое значение, очень близок к вышеупомянутой переоценке Французской революции, предпринятой французскими историками. Не случайно тех и других называют еще «ревизионистами».

(Это определение чаще употребляется, когда акцент делается не на методологических, а на идейно-политических характеристиках.) Но все же французская школа отличается от английской тем, что она исходит из «неподвижной истории», а английская к ней приходит. И наоборот, английская школа исходит из примата случайности, а французская к этому выводу приходит. В результате — интерпретации английских историков отличает нарочито экспериментальная, эпатажная форма подачи материала и выводов.

5. Дехронологизация

Уже структурная история показала, что историческое время можно разрушить точно так же, как историческое пространство. «Настоящая история состоит из событий, чья хронология мало что говорит нам об их отношениях и значении, — писал Кракауэр. — Поскольку события, происходящие одновременно, по сути асинхронны, бессмысленно говорить об историческом процессе как о гомогенном потоке» (Kracauer 1966, p. 68).

В современной историографии любое историческое явление может быть рассмотрено в разных контекстах. Важнейшие из них — системы вертикального и горизонтального времени в терминологии М. Бахтина (Бахтин 1972 [1929], с. 469). В первом случае явление трактуется как звено в длинной исторической цепи и определяется его «генетический» код, связь, преемственность и историческая прерывность по отношению к однотипным, родственным явлениям. Во втором случае в поле зрения оказывается горизонтальный срез, анализируются связи данного феномена или процесса с другими, существующими и взаимодействующими с ним одновременно. Первый подход предполагает исследование эволюции явления, происходящей при сохранении внешней по отношению к нему причины (факторов), которые действуют на протяжении длительного периода. Второй включает в поле зрения всю совокупность взаимодействующих явлений и процессов, которые и определяют в конечном счете форму и историческую роль интересующего нас феномена.

Основоположник современной структурной лингвистики Ф. де Соссюр нашел очень выразительный образ для объяснения идеи горизонтального времени. Он сравнивал лингвистическую синхронию с шахматной доской в некий момент шахматной партии. Для наблюдателя в общем безразлично, как получилось данное располо-

жение фигур: оно совершенно освобождено от всего, что ему предшествовало. Наблюдатель, следивший за всей партией, не имеет ни малейшего преимущества перед тем, кто в критический момент пришел взглянуть на состояние игры. Может быть, де Соссюр был посредственным шахматистом и недооценивал важность элемента вовлеченности в игру для ее квалифицированного анализа, но суть исследования в горизонтальном времени он выразил ясно. Нужно видеть фигуры, знать их «весовые» категории и рассчитывать возможные ходы.

Если теперь на место шахматной доски поставить горизонтальный пласт исторического бытия, то проблема развития, эволюции самого прошлого оказывается на заднем плане. В этом отношении блестящим можно считать первый опыт, осуществленный в броделевском «Средиземноморье». Однако, сам Бродель подчеркивал, что «историческое время... не поддается столь легкому жонглированию синхронизмами и диахронизмами: для историка почти невозможно представить себе, что жизнь — это некий механизм, который можно остановить в любой момент и спокойно изучать» (Бродель 1977 [1958], с. 136).

В исторической науке всегда присутствовали историки, для которых форма времени была важнее хронологии. Например, мало кто будет спорить, что историю культуры невозможно интерпретировать в рамках линейного хронологического времени⁶. Каждая группа явлений в искусстве имеет собственную временную последовательность, а хронологически они могут далеко отстоять друг от друга и занимать

⁶ Большой интерес в этом смысле представляет преимущественно негативное отношение к хронологическому рассказу, характерное для Я. Буркхардта. В «Рассуждениях о всемирной истории» он выходит из потока времени в безвременную среду, для того чтобы рассмотреть различные типы отношений, которые складываются или могут сложиться между культурой и двумя институтами — Церковью и государством. Он подкрепляет свои наблюдения всеми возможными примерами из разных областей мировой истории, мало внимания обращая на хронологический порядок. «Время Константина Великого» (Die Zeit Constantins des Grossen) и «Культура Возрождения в Италии» (Буркхардт 1996 [1860]) также свидетельствуют о пренебрежении к динамике исторического процесса. В обеих работах Буркхардт останавливал время и занимался перекрестным исследованием неподвижных феноменов. Его работы, по характеристике Кракауэра, представляют собой морфологическое описание, а не хронологический рассказ (Kracauer 1966, p. 70—71).

разные места на своих кривых времени. То же относится к политическим циклам, социальным движениям, философским доктринам (см.: *Kubler 1962; Kracauer 1966*, p. 67).

Очевидная ограниченность хронологической системы времени для нужд исторической интерпретации вызвала потребность, прежде всего у представителей системного анализа, в использовании ахронологического подхода. Их идеи о том, что исторические события и действия образуют свои «собственные времена» и «системный век» артефактов часто важнее хронологического века и даже несовместим с ним, воплотились во многих известных исторических работах недавнего времени.

Последовательные сторонники дехронологизации открыто отвергают то, что многие историки отрицают имплицитно, а именно «хронологический монизм», «кажущуюся погруженность событий и институтов в более или менее непрерывную и гомогенную темпоральность». Английский историк-неомарксист П. Андерсон, которому принадлежат эти выражения, в исследовании о феномене абсолютизма пишет, что «не существует такой вещи, как единый темпоральный медиум: поскольку *время Абсолютизма*... особенно, необыкновенно разнообразны... никакая единая темпоральность не охватывает их...» И даже те отдельные фундаментальные явления, которые хорошо укладываются в формальную сетку «периодов» и рассматриваются как одновременные, на самом деле таковыми не являются. Их даты те же, их времена разные (*Anderson 1974*, p. 10).

Очевидная попытка адептов дехронологизации довести до логического конца постулат о различии исторических времен событий, даты которых совпадают, многими историками воспринимается с огромной озабоченностью. «Как бы полезно ни было относить одно и то же явление к разным временам, — пишет А. Франк, дискутируя со сторонниками дехронологического подхода, — более важно расположить разные вещи и места в едином времени исторического процесса» (*Frank 1990*, p. 160). Не случайно поэтому, что именно всеобщую историю ахронологизм рассматривает как последнее препятствие на пути дехронологизации истории и ее подчинения социальным наукам.

С одной стороны, хронологическое время тает в воздухе под натиском форм времени, в которых оформляется последовательность событий. С другой стороны, как признает Кракауэр, хронологическое время оказывается неразрушимым, т. к. эти совокупности объединяются в определенные моменты, которые оказываются таким образом значи-

мыми для них всех. «Определенная конфигурация событий помечает также и момент хронологического времени и тем самым занимает в нем законное место» (*Kracauer 1966*, p. 74).

Нередко случается, что историк выходит из хронологического времени для того, чтобы в конце концов доверить себя его потоку. Например, Т. Зелдин в своей известной работе о чувствах и политике во Франции (*Zeldin 1973*) «попытался покончить с тиранией идеи эволюции и хронологического подхода к истории», но в итоге отказался только от жестких разграничительных линий периодизации, предпочтя вместо этого легким пунктиром наносить хронологическую сеть (*Зелдин 1993 [1976]*, с. 160). Его давний предшественник Буркхардт, отвергая хронологию, тоже в конечном счете отдавал ей должное. Интерпретируя итальянское Возрождение как век пробуждения индивида, он невольно демонстрировал, что все события, происходившие в это время, были взаимосвязаны, были элементами целостного явления «Ренессанс» (*Kracauer 1966*, p. 71).

Как отмечает Г. Мартинз, дехронологизация истории практически никогда не реализуется полностью — свидетельство того, что историческое все еще остается хронологически кодируемым (*Martins 1974*, p. 266—267). Но в то же время, по его мнению, умножение субдисциплин и подходов, сегментация и дифференциация истории как целостной науки дают основания для пессимистических прогнозов относительно хронологического фундамента исторического знания, а следовательно, и будущего всеобщей истории и ее производных: всемирной или универсальной истории, исторического синтеза, тотальной и даже сравнительной истории (*Martins 1974*, p. 268).

Еще дальше от хронологического подхода к истории уводят нас опыты моделирования образа прошлого по аналогии с моделированием будущего. Уходящая эпоха ограничивалась историей, наступающая — нет. В век воспроизведения прошлое стало аисторическим. Опыт извлекается из исторического контекста и превращается в биты информации. Новое прошлое — бесформенные, вневременные базы данных, обретающие новое значение всякий раз, когда их используют в новых программах. В этом смысле компьютерные модели создают мир, чем-то напоминающий бессознательное Фрейда (*Rifkin 1987*, p. 154).

Наиболее последовательно дехронологизация и деструктурирование времени осуществляются в постмодернистской историографии (см. ежегодник «Одиссей», 1995; 1996). Как считает Н. Маньковская, по широте «проникновения в различные сферы культуры постмо-

дернизм сравним с романтизмом, в период своего расцвета создавшим собственный стиль в философии, теологии, науке, искусстве и эстетике» (Маньковская 1995, с. 98). Она подчеркивает амбивалентный характер постмодернизма, предполагающий одновременно и продолжение, и преодоление модернизма. В этой связи во французской литературе «различаются термины постмодерн (post-modern) — ревизия философских основ модернизма, постмодернизм (post-modernisme) — пересмотр искусства модернизма, постмодерность (post-modernité) — закат героического начала в современной жизни» (Маньковская 1995, с. 103).

Отношение постмодернистов к историческому времени определяется как оппозицией культуре модернизма в целом, так и методологическими принципами: концентрацией на тексте, утверждением постулата о множественности истолкования, интерпретацией культурного текста, постижением его интуитивно средствами индивидуального субъективного восприятия, наконец, признанием относительности этого текста.

В культуре модернизма текст воспринимался как определенный знак, адекватно выражающий культуру носителя, хотя проблема взаимного восприятия-встреч-текстов-знаков существовала давно (в том числе в гуманитарном знании). Соответственно историография представала в виде диалога, общения носителей разных текстов. Структурализм культурной антропологии и лингвистики с его акцентированным вниманием к расчлененному подструктурному знаку в известной степени абсолютизировал свойства текста-знака.

Историки-постмодернисты, опираясь на открытия лингвистов и антропологов, стали в конце 70—80-х годов трактовать культурный текст не как объективированный знак, а как знаковый код, условное обозначение предмета, изначально предполагающее множественность толкований. Отсюда и повышенный интерес историков к дешифровке культурного текста как закодированной (образно или символически выраженной) информации и, главное, к способам передачи информации — организации и функционированию упорядоченных информационных массивов-систем (Зверева 1994, с. 40). Язык исторического свидетельства переструктурирует образы прошлого. Историк переводит свои впечатления в слова. Чтобы воспринять эти впечатления, читатель переводит слова в образы, но эти образы отличаются и от образов историка.

У постмодернистов особая стратегия по отношению к тексту — деконструкция, включающая в себя одновременно и его деструкцию и его реконструкцию. Этот термин предложил Деррида как перевод *Destruktion* Хайдеггера. Впоследствии термин закрепился за исследовательской стратегией самого Деррида и его последователей, преимущественно в литературоведении и искусствознании. Стратегия деконструкции постулирует невозможность находиться вне текста, и если историк следует постмодернистской парадигме, то он «не может предложить читателю ничего кроме описания своего взаимодействия (интеракции) с текстом источника» (Бессмертный 1995, с. 8—9). Всякая интерпретация и критика, допускающие внеположенность исследователя тексту, считаются заведомо несостоятельными. Деконструкция — это не метод интерпретации или критики, это сопротивление метафизичности текста, организуемое на его же поле и его же средствами.

Постмодернисты утверждают, что слова свободно изменяют свой смысл, независимо от намерений того, кто их употребляет. Так, Деррида заявляет, что «не существует ничего вне текста», т. е. не существует никакой эмпирической реальности вне текста, не существует никакого прошлого опыта реальных людей, который историки способны путем тщательного изучения исторического контекста понять и описать. В итоге он задается вопросом — явно в ожидании положительного ответа (который у него звучит риторически), — являются ли «истины вымыслом, чья вымышленность забыта» (Culler 1983, p. 181). Если бы его мнение было верным, то это положило бы конец всем дискуссиям по истории, поскольку никакими фактами нельзя было бы подтвердить аргументы (Стоун 1994, с. 168). Тем временем, чтобы историкам жизнь медом не казалась, американский ученый Доменик Ла Капра поделился соображением о том, что «не существует ничего и в самом тексте» (цит. по: McCloskey 1983, p. 488).

У. Эко писал, что в музыке постмодернистские установки «ведут от атональности к шуму, а затем к абсолютной тишине» (Эко 1989 [1980], с. 461). Рискуя шагнуть не в ногу с научной модой, осмелимся задать вопрос: не ведут ли в том же направлении постмодернистские поиски в историографии? Ведь в постмодернистской исторической литературе шум слышится уже достаточно явственно...

Подобно деконструкции текста в постмодернистской историографии происходит и деконструкция времени. Постмодернизм предлагает «синхроническую, некумулятивную трактовку истории как

калейдоскопического прошлого настоящего» (Маньковская 1995, с. 218). Реакцией на новаторский вариант «непрерывной истории» в постмодернистской историографии стала еще более новаторская «прерывная история», которая интерпретирует историю в контексте прерывности, разрывов и различий, но совершенно другим образом, нежели традиционная история. Квинтэссенцию нового подхода Фуко сформулировал в работах «Археология знания» и «Порядок дискурсов» (Foucault 1969; 1970). «Фундаментальные понятия, с которыми мы теперь имеем дело, — больше не сознание и непрерывности (и коррелирующие с ними проблемы свободы и причинности), и не знаки и структуры, — писал Фуко. — Это скорее понятия событий и серий и связанные с ними понятия (регулярность, случайность, прерывность, зависимость и трансформация)» (Foucault 1970, p. 58—59).

Постмодернистское направление, хотя и привлекает к себе внимание традиционных историков и озадачивает их, представлено пока немногочисленным авангардом в историографии. Большинство ученых не видит необходимости в том, чтобы отказываться от установившихся стандартов оценки исторических свидетельств и методов их интерпретации, благодаря которым, по словам английского историка К. Розенберга, «историческое знание, возможно, носит предварительный характер, но оно не носит произвольного характера» (Rosenberg 1981, p. 684). Утешает и то, что большинство историков просто не понимает постмодернистского дискурса.

§ 2. НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

— Как же <мы встретимся> завтра, — засмеялась мартышка, — когда уже сегодня — завтра.

— А вот и нет! — сказал удав. — Раз мы еще не расходились, значит, сегодня — вчера...

— Не спорьте, не спорьте, — перебил их попугай. — Сегодня не вчера и не завтра. Сегодня — сегодня.

Григорий Остер. Вчера, сегодня, завтра

У историка всегда есть ощущение дистанции — во времени, пространстве, культуре, взглядах. В процессе преодоления дистанции во времени складываются разные формы взаимодействия прош-

лого с настоящим, но объект исследования всегда находится в прошлом, а изучающий его субъект — в настоящем. Возможно, мудрость историка состоит в том же, в чем, по мнению Леви-Стросса, состоит мудрость человека, знающего, «что его столь полная и интенсивная жизнь — это миф, который возникнет у людей будущего столетия, а перед ним самим, возможно, предстанет как таковой несколько лет спустя и вовсе не проявится для людей будущего тысячелетия» (Леви-Стросс 1994 [1962], с. 315).

История не просто переписывается — в процессе переписывания видоизменяется прошлое. Настоящее не просто детерминирует историческую интерпретацию — оно тем самым формирует прошлое. «Коль скоро некоторое событие воспринимается (самими современниками, самими участниками исторического процесса) как значимое для истории, — пишет Б. Успенский, — т. е. семиотически отмеченное в историческом плане, — иначе говоря, коль скоро ему придается значение *исторического факта*, — это заставляет увидеть в данной перспективе предшествующие события как связанные друг с другом (при том, что ранее они могли и не осмысляться таким образом). Итак, с точки зрения *настоящего* производится отбор и осмысление прошлых событий — постольку, поскольку память о них сохраняется в коллективном сознании. Прошлое при этом организуется как текст, прочитываемый в перспективе настоящего» (Успенский 1996 [1988—1989], с. 18). Факторы, которые определяют неизбежность вторжения настоящего в прошлое — это культура, идеологии и соответствующие системы ценностей, уровень знаний в исторической науке и науке в целом, текущая экономическая, политическая и социальная ситуация. Остановимся на них чуть подробнее.

Историческая наука является составной частью культуры и отражает все ее особенности. Это значит, что историки могут постигать прошлое только с помощью категорий, данных им культурой, в границах которой им суждено существовать и мыслить. Поэтому сам процесс исторического исследования можно представить себе как отношение культуры настоящего к культуре прошлого и, сколько бы ни отворачивался историк от современности как от эфемерного, сиюминутного, не поддающегося «объективному», «непредвзятому», «бесстрастному» и т. д. анализу, он остается пленником своего времени.

Кроме того, всякое изучение и осмысление прошлого осуществляется в контексте современности, определяющем познавательный

горизонт истории (естественно, например, что научное событие такого масштаба, как создание теории биологической эволюции, разработанной в трудах Ч. Дарвина, Г. Спенсера, А. Уоллеса, Т. Хаксли, не могло не затронуть область исторических исследований). «В историческом выводе мы не переходим от нашего современного мира к миру прошлого: любое движение в опыте всегда оказывается движением в границах современного мира идей» (*Коллингвуд* 1980 [1946], с. 148). Как мы уже писали, общий уровень знаний, текущие интересы и возможности других социальных и гуманитарных дисциплин играют роль научно-методологического прецедента: из них историки черпают гипотезы, методы, способы доказательства и верификации. Нередко современная историку наука выполняет и роль прожектора, который освещает разные участки прошлого.

Хотя прошедшее время — это единственный фактор, который дан историкам, чтобы отличать их от других обществоведов, удельный вес «настоящего» в исторических интерпретациях очень велик также по причине влияния на историка текущих проблем. Бывает так, что в оценке событий своего времени историки уже в роли современников сознательно манипулируют пригодными для своих целей аргументами из прошлого и выступают даже не в роли носителей, а в роли провозвестников определенных идей. Именно в такой роли многие немецкие (и не только немецкие) историки (и не только они) оказались 1 августа 1914 г., когда утверждали, что началась схватка между «немецким духом» и Западной Европой. Историк Г. Белов писал, что ход первой мировой войны обнаружил крах идеалов Французской революции: «Идеи свободы, равенства, братства преодолены немецкими идеями 1914 года, которые гласят: долг, порядок, справедливость» (цит. по: *Krockow* 1992, S. 100).

Тоталитарные режимы XX в. вообще не церемонились с прошлым и с теми, кто его изучал. Так, в России «после Октябрьского переворота происходит не только национализация средств производства, национализируются все области жизни. И прежде всего — память, история» (*Геллер, Некрич* 1995, т. 1, с. 7). В результате в СССР исторические дискуссии, будь то обсуждение роли норманнов в образовании Руси или вопрос о степени прогрессивности Ивана Грозного или Петра I, носили государственный характер и оценивались по шкале преданности идеалам социализма.

Одно из самых очевидных проявлений власти настоящего — тематика исторических исследований. Интересы историков зависят

от крупных исторических событий и проблем настоящего, от характера достижений и трагедий современного историкам общества. Историки больше интересуются процессами, которые имели долгосрочное значение, чем теми, которые не имели значения вообще. Еще сто лет назад Дройзен отметил, что не все, происходившее в прошлом, достойно одинаково пристального изучения и выбор должен быть продиктован потребностью углубить понимание того, как прошлое повлияло на настоящее (цит. по: *Gilbert* 1983, p. 335).

Так, для большинства французских ученых, которым, как писала в 1986 г. Т. Джут, было за тридцать, «Французская революция оставалась историческим опытом, в котором в любой момент можно было найти ответ на любой нерешенный вопрос в реальной политической жизни Франции» (*Judt* 1986, p. 177). В годы перестройки в подобном же смысле были актуализированы великие реформы 1860-х годов и моделью для Горбачева был избран Александр II. Даже ключевое слово «гласность» пришло из александровского времени. Этими же мотивами объяснялся интерес к столыпинским реформам (кто только не цитировал фразу о великих потрясениях и великой России). Были даже снискавшие популярность попытки найти ответы на вопросы современности в истории раскола православной Церкви.

М. Геллер пишет о подобных сопоставлениях, что «можно сравнивать все со всем. Но, как заметил Сталин, исторические параллели рискованны» (*Геллер* 1996, с. 13). А если от уровня рассуждений Сталина, с их несколько угрожающей интонацией, подняться на уровень Леви-Стросса, то та же идея выглядит так: «История... никогда не есть просто история, но история-для. Пристрастная, даже когда отрекается от бытия, она неизбежно остается частичной — что является еще одной формой пристрастности» (*Леви-Стросс* 1994 [1962], с. 317).

Наконец, отметим один из важнейших факторов эмоционально-нравственного порядка. Чувство долга — вот тот цемент настоящего, которым скрепляется история. Это чувство связано с ее древнейшей функцией, которая хотя и многократно оспаривалась, но все еще живет в историческом сознании и сформулирована в максиме «история — учитель жизни».

Февр, пережив трагический опыт двух мировых войн, писал в 1946 г.: «Слишком много историков — получивших прекрасное образование и, что самое худшее, мыслящих — все еще пережевывают уроки своих дедов, побежденных во франко-прусской войне. Споры нет, они работают не за страх, а за совесть. Трудятся над историей

так же прилежно, как их бабки трудились над своими вышивками...». Но он не одобрял такую позицию, утверждая, что у историков нет больше ни времени, ни права посвящать свои силы подобным задачам. И продолжал: «Заниматься историей нужно. В той мере, в какой она — и только она — помогает нам жить в теперешнем мире, потерявшем последние остатки устойчивости» (Февр 1991 [1946], с. 45—46).

Таковы главные обстоятельства, благодаря которым прошлое, реконструированное историками, неразрывно связано с настоящим и во многом определяется им. В то же время связь с минувшим только внешне напоминает ту, что объединяет нас с настоящим. «На самом же деле отношения с прошлым призрачны и смутны, следовательно, в них ничто не является подлинным: ни любовь, ни ненависть, ни удовольствие, ни скорбь» (Ортега-и-Гассет 1991 [1930], с. 299).

1. От настоящего к прошлому

«Историческое прошлое — это прошлое само по себе, неподвижное и завершенное прошлое, мертвое прошлое, — писал Р. Коллингвуд. — Но понимать его таким образом — значит забыть о том, что история — опыт. Прошлое, оторванное от опыта настоящего и потому оторванное от всех свидетельств (ибо свидетельство всегда дано в непосредственном настоящем), оказывается непознаваемым» (Коллингвуд 1980 [1946], с. 106, 107).

При условии, что история будет затем восстановлена в реальном своем движении, историкам иногда выгоднее начать ее читать, как говорил Мейтленд, «наоборот». Ибо для всякого исследования естественно «идти от более известного к более темному», при этом дорога назад — это вовсе не равномерное продвижение от более известного к менее известному. Не обо всем, что произошло раньше, историк знает меньше. Как писал М. Блок, «мы несравненно хуже осведомлены о X в. н. э., чем об эпохе Цезаря или Августа» (Блок 1986 [1949], с. 28).

Движение в прошлое от какой-то точки, которая становится для историка условным настоящим, имеет смысл только при каузальном подходе, когда последнее по времени событие или ситуация рассматривается как следствие, а в каком-то предшествующем событии ищут причину. Затем историк таким же образом отступает еще на один шаг, и так до тех пор, пока не дойдет до начала интересующего

его процесса. «Я держал за хвост всего два года, и оба толкали меня назад, в более ранние времена. По моим наблюдениям эта регрессия во времени типична, — так объяснял Д. Фербэнк метод своего исследования по истории Китая. — ... Правило, кажется, таково: если вы хотите изучать середину века, начинайте с конца, и проблематика поведет вас назад. Никогда не пытайтесь начать сначала. Историческое исследование развивается назад, а не вперед» (Fairbank 1969, p. vii). В результате специалисты, пишущие историю Нового времени, обнаруживают, что они медиевисты, а медиевисты вынуждены становиться античниками.

Подобным образом — от следствия к причине (а иногда и в обратном направлении) и снова к более отдаленной причине — Тойнби описывает развитие западного общества в пространстве и во времени. Восстанавливая ретроспективно цепь событий, он углубляется в историю вплоть до II в. до н. э., когда «Рим протянул свою властную руку на Запад», потому что его толкала туда «смертельная схватка с Карфагеном». Тем самым Рим предопределил для себя следующую «смертельную схватку» — с варварами Запада, которую он проиграл. В какой-то момент Тойнби останавливает процесс ретроспекции. И не только потому, что «углубляться дальше в пропасть времен бесполезно: истоки теряются во мгле». Достигнув этого пласта прошлого, отмечает он, историк «принужден будет мыслить греко-римскими понятиями, а не понятиями западного общества. В то же время элементы греко-римской истории, которые привлекли его внимание, не представляют особого интереса для историка, изучающего греко-римскую эллинистическую цивилизацию того же периода» (Тойнби 1991 [1934—1961], с. 37).

Тенденция недооценивать различия между прошлым и настоящим, экстраполировать современные способы мышления в прошлое и изучать в прошлом лишь то, что важно для современности, более всего характерна для презентистского направления в историографии. В презентистском истолковании реальным признается только настоящее. Прошлое сводится к настоящему, между ними нет различий, тем самым прошлое и настоящее совпадают. Единственный источник познания прошлого — опять-таки субъективное сознание историка, т. е. современность. Таким образом, все существенное для человечества является современным (в чем-то это напоминает историческое сознание досовременной эпохи). События прошлого актуализируются лишь потому, что для каких-то групп людей в настоя-

щем они сохраняют свое значение, причем совсем не обязательно то, которое приписывалось им в прошлом (их значимость в прошлом в большинстве случаев бесспорна, ибо о них сохранились упоминания, они не стерты).

Мы уже говорили о том, как в процессе становления национального самосознания и формирования государств-наций были актуализованы многие темы средневековой и даже древней истории. В периоды войн резко повышается интерес к военной истории и биографиям великих полководцев прошлого. Точно так же походы Цезаря для современного общества с развитым политическим сознанием, или жизнь протестантской семьи для общества, озабоченного перспективами европейской нуклеарной семьи, или пределы самостоятельности средневековой женщины для сторонников женской эмансипации — существовали, потому что они важны, а значит интересны кому-то сегодня.

Б. Кроче писал, что история уже совершившаяся, которую называют «не-современной» или «прошлой» историей, если это действительно история, т. е. если она имеет какое-то значение, «тоже современна и нисколько не отличается от той, что происходит на наших глазах». Как и в случае с современной историей, условием ее значимости является то, что она «находит отзвук в душе историка, или, используя выражение профессиональных историков, то, что документы лежат перед историком и они доступны пониманию» (Crocce 1959 [1916], p. 227). Постмодернизм выдвинул идею прошлонастоящего как примирения с историей и заменил «перманентную войну с прошлым своеобразным психоанализом культуры и истории, трансформировавшим кроचेанский принцип „все современно“ в девиз „все современно, исторично и относительно“» (Маньковская 1995, с. 107).

Презентизм более других историографических направлений склонен к модернизации прошлого. Это явление характерно и для мэйнстрима, и для контристории. Но все-таки чаще обвинения в презентизме предъявляются представителям радикальной историографии. Значение настоящего особенно акцентируют историки-марксисты. Рассуждая на эту тему, И. Ковальченко прямо признавал, что «во временном ряду: прошлое—настоящее—будущее — центральным звеном является настоящее». Именно «потребности и интересы настоящего определяют круг тех явлений и процессов прошлого, изучение которых... актуально для решения задач настоящего» (Ковальченко 1987, с. 96—97). Не случайно в советское время в диссертациях на соискание ученой степени по историческим наукам требо-

валось обосновать *актуальность* темы и нужна была немалая интеллектуальная изворотливость, чтобы доказать, например, актуальность исследования по истории Херсонеса.

Если исключить намеренные фальсификации истории, характерные для жестко идеологизированной историографии, то следует назвать еще некоторые неизбежные искажения, вносимые презентизмом. Самое банальное из них — уже упоминавшийся анахронизм. Презентизм не только переносит прошлое в настоящее, но и перемещает настоящее в прошлое. Однако, как писал Э. Томпсон, предполагать, что «настоящее», перемещаясь в «прошлое», тем самым меняет свой онтологический статус, значит не понимать ни прошлое, ни настоящее. «Ощутимая реальность нашего собственного, уже проходящего, настоящего ни в коей мере не может быть изменена, потому что она *сразу же* становится прошлым. Последующее, задавая нам вопросы об этом настоящем, будет получать лишь свидетельства о наших мыслях и поступках» (Thompson 1978, p. 232).

Далее следует назвать поиски в прошлом прежде всего тех следов, которые как цепь причинно-следственных связей прямо ведут к настоящему. Бродель называл это «умной и опасной игрой» и писал, что именно с помощью «этой игры в связи Бенедетто Кроче мог утверждать, что в любом событии в зародыше воплощается вся история, весь человек; что мы можем восстанавливать их при условии присоединения к этому фрагменту истории того, что первоначально в нем не содержалось, и будем знать таким образом, какие другие события совместимы или несовместимы с ним» (Бродель 1977 [1958], с. 119).

Сам Бродель, рассматривающий настоящее как развитие прошлого, особенно в теоретических трудах, тоже был озабочен тем, чтобы дать презентистское оправдание истории. «Но чего не отдал бы наблюдатель настоящего за возможность углубиться в прошлое (или, скорее, уйти вперед — в будущее) и увидеть современную жизнь упрощенной, лишенной масок, вместо той непонятной, перегруженной мелочами картины, которая является вблизи? Клод Леви-Стросс утверждает, что один час беседы с современником Платона сказал бы ему о монолитности (или же, наоборот, разобщенности) древнегреческой цивилизации больше, чем любое современное исследование. И я с ним вполне согласен. Но он прав только потому, что в течение многих лет слушал голоса многих греков, спасенных от забвения. Историк подготовил ему путешествие. Час в сегодняшней Греции не сказал бы ему ничего или почти ничего о монолитности

или раздробленности современного греческого общества» (Бродель 1977 [1958], с. 131).

Конечно, респектабельные историки стремятся по мере возможности сохранить беспристрастность и по крайней мере пытаются дистанцироваться от сиюминутных обстоятельств. Но практически все признают, что попытки достоверно реконструировать прошлое, глядя из сегодняшнего дня, напрасны. «Естественно, все мы судим о прошлом с позиций настоящего и в определенной степени применительно к нашему времени, — писал Э. Хобсбоум. — Но те, кто исповедует исключительно такой подход, никогда не смогут понять ни самого прошлого, ни его воздействия на настоящее» (Хобсбаум 1991 [1990], с. 20).

Э. Карр предлагает называть объективным такого историка, который применяет «правильные» стандарты значимости к прошедшему. Эти стандарты связаны не с моральными ценностями, не с поглощенностью текущим моментом, а с «чувством направленности истории». «Историк, изучающий прошлое, может приблизиться к объективности, только если он приближается к пониманию прошлого» (E. Carr 1962, p. 123). Примерно в том же духе высказывался Э. Томпсон: «Только мы, живущие теперь, можем придать „смысл“ прошлому. Конечно, восстанавливая его, мы должны держать свои ценности в узде. Но как только мы его восстановили, мы свободны предлагать свое суждение» (Thompson 1978, p. 234—235). Не дело историка, как считают многие авторы, вершить над своими предками суд. Историка не пристала роль судьи, и он тем более не вправе вставать в позу прокурора⁷. Наиболее уместным эти авторы считают сравнение историка со следователем, задача которого — в сборе доказательств того, что и как происходило, и их использовании для реконструкции прошлого. Впрочем, и в данном случае неизбежны субъективные искажения, а поэтому и претензии оценочных суждений на истинность неоправданны.

Для историка существует реальное настоящее и условное настоящее. Последнее размещается в прошлом, которое он изучает, и от него время тоже направлено в еще более далекое прошлое и будущее, которое уже стало прошлым. В романо-германских языках, кстати, существуют эти временные формы (*plusquamperfectum*, *past perfect*, *future in the past* и т. д.).

Как заметил Ю. Лотман, в такой проекции отношение прошлого и будущего не симметрично. «Прошедшее дается в двух его про-

явлениях: внутренне — непосредственная память текста, воплощенная в его внутренней структуре... и внешне — как соотношение с внетекстовой памятью. Мысленно поместив себя в то, „настоящее время“, которое реализовано в тексте... зритель как бы обращает свой взор в прошлое, которое сходится как конус, упирающийся вершиной в настоящее время. Обращаясь в будущее, аудитория погружается в пучок возможностей, еще не совершивших своего потенциального выбора» (Лотман 1992, с. 27). Неопределенность будущего имеет, однако, свои, пусть и размытые, границы. Из него исключается то, что в пределах данной ситуации заведомо войти в него не может.

Размышляя над этой же проблемой, Блок писал: «Оценить вероятность какого-либо события — значит установить, сколько у него есть шансов произойти. Приняв это положение, имеем ли мы право говорить о возможности какого-либо факта в прошлом? В абсолютном смысле — очевидно не имеем. Гадать можно только о будущем. Прошлое есть данность, в которой уже нет места возможному... Однако, если вдуматься, применение понятия вероятности в историческом исследовании не имеет в себе ничего противоречивого. Историк, спрашивающий себя о вероятности минувшего события, по существу лишь пытается смелым броском мысли перенестись во время, предшествовавшее этому событию, чтобы оценить его шансы, какими они представлялись накануне его осуществления. Так что вероятность — все равно в будущем. Но поскольку линия настоящего тут мысленно отодвинута назад, мы получим будущее в прошедшем, состоящее из части того, что для нас теперь является прошлым» (Блок 1986 [1949], с. 68).

Взаимоотношения прошлого и настоящего в восприятии наблюдателя определяются также неодинаковостью времени. В данном случае имеется в виду, что в одном и том же времени и даже в одном и том же историческом пространстве разные аспекты исторического бытия отличаются разной степенью приближенности к настоящему. Одни особенности менталитетов и действий какого-то отрезка прошлого изменились мало, они остаются близкими и понятными наблюдающему их историка, другие изменились радикально, и их реконструкция требует воображения и того, что называют сейчас вчувствованием.

Так, Бродель предварял свое знаменитое исследование об экономике и капитализме разъяснениями о том, что «книга уводит нас на другую планету, в другой человеческий мир. Конечно, мы могли бы

⁷ Против «истории прокуроров и судей» см.: Nipperdey 1987, S. 216.

отправиться к Вольтеру в Ферне (это воображаемое путешествие ничего не будет нам стоить) и долго с ним беседовать, не испытав великого изумления. В плане идей люди XVIII в. — наши современники; их дух, их страсти все еще остаются достаточно близки к нашим, для того чтобы нам не ощутить себя в другом мире. Но если бы хозяин Ферне оставил нас у себя на несколько дней, нас сильнеешим образом поразили бы все детали повседневной жизни... Между ним и нами возникла бы чудовищная пропасть, в вечернем освещении дома, в отоплении, средствах транспорта, пище, заболеваниях, способах лечения...» (*Бродель* 1986—1992 [1979], т. 1, с. 38).

Существует еще один аспект соотношения времен. Располагаясь в прошлом как в настоящем, историк рассуждает о последующем как о будущем (но при этом знает, «как это было на самом деле»), историк видит причинно-следственные связи в последующем как в будущем. Подчеркивая разнообразие исторических интерпретаций будущего в прошлом, Трельч писал: «... Установление начала всегда будет восходить к важным в их созерцаемости цезурам, но оценка значения такой цезуры будет зависеть от того, как мыслятся основные черты дальнейшего продвижения... Протестант, который исходит из утверждения в будущем умеренно ортодоксальной теологии, увидит решающий фактор, определивший будущее, в Реформации. Гуманист и сторонник классицизма увидит это в Возрождении, а исследователь политической истории и государственного права — в возникновении национальных, вводящих новое бюрократическое управление государств, знаменующих конец Средневековья и зарождение системы крупных держав. Социолог и историк духовной культуры увидит решающий фактор в критическом индивидуализме и культе науки, заступающей место основанной на авторитете религии. Здесь в самом деле все зависит от понимания грядущих событий...» (*Трельч* 1994 [1922], с. 605).

Взаимодействие прошлого и настоящего можно рассмотреть и в таком ракурсе: историк в определенном смысле противостоит современнику того настоящего, которое для историка является прошлым. Ведь современников нельзя рассматривать как вполне компетентных свидетелей своего времени. Они не знали, какая история разыгрывается в их время и какими окажутся ее последствия для потомков.

В первых строках «Второй мировой войны» У. Черчилля можно прочесть: «По окончании мировой войны 1914 года почти все были глубоко убеждены и надеялись, что на всем свете воцарится мир...

Фраза „война за прекращение войн“ была у всех на устах, и принимались меры к тому, чтобы претворить эту формулу в действительность» (*Черчилль* 1991 [1948—1954], кн. 1, т. 1, с. 19). Аналогична тождественность непосредственной реакции Д. Ллойд-Джорджа на Компьенское перемирие 11 ноября 1918 г.: «Я надеюсь, что сейчас, в этот судьбоносный утренний час закончились все войны» (цит. по: *Kissinger* 1992, p. 234). Так думали два наиболее выдающихся политика Англии первой половины нашего столетия. Судьба, однако, распорядилась совсем по-иному.

Или несколько более близкий по времени пример — приход Гитлера к власти 30 января 1933 г., когда огромное большинство немецкого народа, как, впрочем, и большинство зарубежных политических и общественных деятелей, отнюдь не восприняло свершившееся в тот день как событие с чрезвычайно далеко идущими трагическими последствиями. Для них это было скорее всего более или менее неприятное, но всего лишь временное явление. При этом они пользовались целым набором усыпляющих аргументов, как например: Гитлера «заткнут в угол» так, что «он не успеет даже пискнуть»; будучи совершенным профаном в экономике, он быстро «отхзыйничает»; став канцлером, он утратит свой пыл в международных делах, в чем, кстати, энергично убеждал своих соотечественников и беспокоенных зарубежных политиков сам фюрер; с ним никогда не смиряются немецкие рабочие и т. д.⁸ Все оказалось совсем не так, но понимание значения 30 января пришло с большим опозданием.

Конечно, современник обладает определенными преимуществами перед исследователем прошлого. Взять хотя бы уже упомянутое обстоятельство: перед историком стоит задача изучения отсутствующего предмета. Естественно, что даже самый проникательный и пытливый ученый не в состоянии сколько-нибудь полно вжиться в атмосферу изучаемого им прошлого, постичь его дух и, впитав всю гамму переживаний людей тех лет, до конца разобраться в мотивах принятых ими решений и предпринятых действий. Уже говорилось о негативном влиянии на суждения историка о прошлом таких факторов, как субъективизм и груз идеологизированных установок времени.

Нельзя, однако, не признать, что преимущества историков перед современниками прошлого значительно перевешивают эти трудно-

⁸ Историк Голо Манн в начале февраля 1933 г. с полной уверенностью утверждал, что «Папен выдворит этого мелкого лавочника с высоким голосом» (*Mann* 1991 [1986], S. 484).

сти. Главное превосходство исследователя над очевидцем — в возможности видеть прошлое и настоящее во взаимосвязи, а еще точнее — рассматривать исторические явления вкупе со всеми последствиями, к которым они привели.

Значительным преимуществом историка является также его профессионализм. Подобно искусствоведу, который видит в картине намного больше рядового ценителя живописи, историк находит в прошлом многое из того, что уже тогда было налицо, но не замечалось современниками. Историк объективно «умнее» современника. Он обогащен знаниями своего времени и опытом своей профессии. В его силах прокрутить заново всю ленту исследуемых им событий. Он увидит, что было в начале (о чем, в меру своих возможностей, знали современники) и что стало в конце (что осталось современникам неизвестным). Он может проследить, как то, что вначале казалось незначительным, приобрело впоследствии большое значение. И наоборот, как то, к чему вначале было приковано всеобщее внимание, оказалось в итоге никчемным.

Для определения весомости события исследователь может сравнить то, что было задумано, с тем, что из этого получилось, установить, чем был обусловлен выбор, как на нем сказалась недостаточная информированность и неверное представление о ситуации, при каких обстоятельствах развитие событий застопорилось либо свернуло с намеченного пути, где проявилось неумение, или нежелание, или страх скорректировать первоначальные намерения и представления. Преимущества исследователя в освоении прошлого очевидны, и не распорядиться ими было бы непозволительно. Именно знание последствий, недоступное современникам событий, над которыми размышляет историк, позволяет ему отделить главное от второстепенного, дифференцировать случайные и неизбежные явления.

Это — одна из причин, по которой историки предпочитают изучать достаточно удаленные во времени периоды. Так, дойдя в своем изложении курса русской истории до момента подготовки реформ об освобождении крестьян и введения земских учреждений, Ключевский пишет, что эти события в тот момент (1880-е годы) «не могут быть предметом исторического изучения», потому что, зная их происхождение и свойства, он еще не знает их последствий. «Теперь нельзя историку изложить ни той, ни другой реформы: для этого еще нет достаточных исторических данных, по которым он мог бы судить о значении той или другой реформы; ни та, ни другая не

обнаружили своих последствий, а исторические факты ценятся главным образом по своим последствиям» (Ключевский 1989 [1921], с. 258—259).

На самом деле интересами настоящего во многом руководствуются и представители альтернативной истории и контристики, когда они выстраивают альтернативное будущее от зафиксированного в прошлом события. Хотя интерес к тому, как иначе могло бы пойти развитие события, может быть чисто умозрительным, чаще он связан с исторической практикой. «Если мы хотим прочесть страницы истории, а не бежать от нее, нам надлежит признать, что у прошедших событий могли быть альтернативы, — писал С. Хук. — Некоторые из них можно расценивать как реакцию на совершенные ранее ошибки, которые будущее дает шанс исправить. Эти альтернативы — не отголоски человеческих чаяний и желаний, а упущенные по тем или иным причинам объективные возможности — иногда из-за отсутствия героя, иногда — коня, иногда — подковы, но в большинстве случаев — из-за недостатка ума...» (Хук 1994 [1943], с. 214—215). Очевидно, что в данном случае мотивация альтернативной истории связана с преодолением в настоящем или будущем негативного опыта прошлого.

С течением времени пределы осведомленности о событиях прошлого постоянно расширяются. Осведомленность, так же как и анахронизм, изменяет историческую интерпретацию. Крупнейшие события XX в. — распад колониальной системы, мировые войны, становление и крах биполярной системы — сегодня рассматриваются иначе, чем 30 лет назад, не только потому, что появились новые, неизвестные ранее материалы, но и потому, что проявились новые последствия. Конечно, зависимость осведомленности от удаленности во времени далеко не всегда является прямой. В основном такое утверждение справедливо для новой и новейшей истории. В целом же «во времени, как и во Вселенной, действие какой-либо силы определяется не только расстоянием» (Блок 1986 [1949], с. 26).

Один из постоянно встречающихся недостатков реконструирования будущего в прошлом состоит в том, что выводы делаются для слишком отдаленного будущего. Разницу между предполагающим доказательства и чисто спекулятивным подходами к определению возможных последствий какого-то события в прошлом Хук проиллюстрировал следующим примером. «Можно с уверенностью предположить, — писал он, — что, если бы на переговорах в Версале в

1919 г. была последовательно проведена либо политика Клемансо, либо линия Вильсона была доведена до конца, вместо того чтобы сводить воедино слабые стороны обеих программ, человечество могло бы меньше опасаться Гитлера. Но если бы Саул остался Саулом, или, родившись вновь под именем Павла, он не вознамерился бы проповедовать язычникам слово распятого и вознесшегося Мессии, что стало бы с Римской империей, Европой, которой правили Аларих и другие вожди варваров, или с Францией XVIII в., если допустить возможность ее существования?.. Здесь только самый общий ответ может содержать рациональное зерно» (Хук 1994 [1943], с. 214).

2. Политические течения: откуда и куда?

Бродель любил цитировать Февра: «История, наука о прошлом, наука о будущем» (Braudel 1980, р. 37). Но как наука о прошлом может быть наукой о будущем? Мы уже неоднократно убеждались в том, что в концепции Нового времени это оказалось не только возможным, но естественным, даже неизбежным. Представление о будущем может совмещаться с наукой о прошлом. Хотя в этом контексте речь идет уже не только об истории и не только об историческом времени.

Способы членения прошлого, настоящего и будущего определяют не одним выбором познавательных методов, но и идейно-политическими взглядами и пристрастиями историков. В этой связи напомним основные черты концепции Нового времени:

- «история в целом», которую надо создавать и перед которой надо чувствовать ответственность;
- «развитие», которому надо следовать; или «прогресс», который можно обеспечивать или тормозить;
- обязанность занимать определенную идейно-политическую позицию или партийная принадлежность, дающая возможность действовать политически, и в конечном счете вытекающая отсюда задача отстаивания интересов групп, классов, наций, науки и знания (Koselleck 1985 [1979], р. 257).

Факт социальной обусловленности исторических оценок стал очевиден историкам уже в середине XVIII в. Немецкий историк Й. Хладениус писал тогда, что «то, что происходит в мире, воспринимается различными людьми по-разному, в зависимости от состояния их тела, их души, и всей их личности». Соответственно, если к какому-либо событию, например к мятежу, выразят свое отношение вер-

нопокоренный, мятежник, иностранец, бюргер или крестьянин, то результаты будут неодинаковы. Ибо существуют «разнообразные точки зрения на один и тот же предмет» и «из понятия точки зрения следует, что лица, рассматривающие предмет с различных точек зрения, должны иметь и разные представления о предмете» (Chladenius 1969 [1742], S. 185; 1752, S. 188ff; ср.: Koselleck 1975, S. 696ff). Позднее стало очевидным, что к точкам зрения «тела и души» следует добавить еще временную, пространственную, интеллектуальную, государственную, партийную и другие. Понятно, что позиции такого рода, характеризующие в том числе и историков, обусловлены настоящим.

В Новое время история была темпорализована и в том смысле, что с течением времени она модифицировалась в соответствии с данным настоящим и по мере дистанцирования изменялась также природа прошлого. Существенно также произошедшее осознание пристрастности, политизированности истории как характерной черты историографии Нового времени. Доктрина субъективной исторической перспективы, локализация исторического суждения заняла прочное место в канонах исторической эпистемологии. Редко кто уже из историков Просвещения не разделял мнение, что все исторические репрезентации зависят от авторского отбора. Отсюда следовало представление, что истина в истории не едина. Историческое время приобрело качество, производное от опыта, и это свидетельствовало о том, что прошлое в ретроспективе можно интерпретировать по-разному. События утратили свой исторически защищенный характер, стало возможно и даже обязательно пересматривать одни и те же события по ходу времени (Koselleck 1985 [1979], р. 249—250).

Эту неизбежную пристрастность истории прокомментировал Леви-Стросс, сказав, что «как только поставлена цель написать историю Французской революции, то известно (или должно стать известным), что она не сможет быть одновременно и под тем же заголовком и якобинской историей и историей аристократов» (Леви-Стросс 1994 [1962], с. 317). Однако, если партийность истории признавалась неизбежной, то респектабельность принципа партийности всегда оставалась под вопросом.

Историки-современники пишут разную историю в зависимости от своих идейно-политических позиций. Так, историков-либералов и радикалов долгое время интересовала проблема буржуазных революций и связанных с ними прогрессивных преобразований. А историков-консерваторов в революции привлекают террор, насилие и все,

что доказывает ее бессмысленность. Проходит какое-то время, и интересы решительным образом переключаются, например, на проблему становления государства-нации или изучение национального согласия как фактора социальной стабильности. И снова в явной или неявной форме между историками идет дискуссия по поводу репрезентации и интерпретации «темы дня».

В качестве примера можно привести буржуазно-либеральную историографию Франции 1820-х годов — «великого десятилетия французской историографии». В течение всего десяти лет заявила о себе плеяда французских историков, сочинения которых переиздаются и читаются до сих пор⁹. Содержание этих работ показывает, что крупнейших историков Франции в первой половине XIX в. интересовала преимущественно национальная история на протяжении больших исторических периодов. А если посмотреть на ретроспективу, которую рисуют эти труды, то обнаруживается, что в прошлом искали и видели то, что было актуально в настоящем: революции, происхождение неравенства, формирование буржуазии, истоки парламентаризма (становление муниципалитетов, муниципальные революции XII в.). Именно от этой литературы ведут свое начало идеи о классовой борьбе, и понятно, почему Маркс, собирая исторический материал, обращался в первую очередь к сочинениям французских либералов, а не к трудам своих современников-соотечественников. Господствовавшая в Германии во времена Маркса историческая школа задавала прошлому другие вопросы и находила в нем другую историю, а именно историю становления институтов государственной власти или национальной идеи.

«Другую историю» писали во Франции и современники Маркса, представлявшие консервативную историографию. Если для либералов главным было проиллюстрировать прогрессивный ход истории и их глазам всегда представал вектор, направленный в «лучшее

⁹ В 1820 г. О. Тьерри опубликовал первую серию своих «Писем об истории Франции». В 1821 г. С. де Сисмонди издал первый том «Истории французов». В 1822—1823 гг. вышли «Опыты по истории Франции» Ф. Гизо и первый том истории французской революции А. Тьера. В 1824 г. — «История бургундских герцогов» А. Баранта и «История французской революции» Ф. Минье. В 1825 г. О. Тьерри издал свою следующую крупную работу — по истории завоевания Англии норманнами. В 1826 г. Гизо опубликовал первые два тома по истории английской революции. В 1827 г. Тьерри закончил издание «Писем об истории Франции», а Тьер завершал работу над четырехтомной историей революции (см.: Далин 1981, с. 16).

будущее», то в конструкциях консерваторов центральное место отводилось традиции. Отказ от традиционных ценностей рассматривался ими как главная причина всех постигших Францию бед. Французские консервативные историки сильно уступали в численности либеральным, но и в их рядах были «великие имена». Одно из самых известных — А. де Токвиль. Его книгу «Старый порядок и революция» (Токвиль 1918 [1856]) можно рассматривать как совершенно иное чем у либералов толкование Французской революции, прежде всего в контексте исторического времени. Основная идея Токвиля состояла в доказательстве преемственности, непрерывной связи между старым порядком и революцией 1789 г., которая, вовсе «не являясь разрывом, может быть понята только как историческая непрерывность» (Furet 1978, p. 29). По мнению советского историка В. Далина, Токвиль, будучи очевидцем и современником революции 1848 г., «пытался объяснить трагический исход еще более великой революции, революции 1789 г. и вместе с тем показать, что, перестав быть республиканской, Франция, и как раз крестьянская Франция, цепко продолжала держаться за свои социальные завоевания» (Далин 1981, с. 60).

Мы уже упоминали о том, какой ревизии в последние десятилетия подверглось толкование Французской революции, на отношении к которой, конечно, сказался кризис марксизма. Но, как пишет Э. Хобсбаум, это было наступление «не только на Маркса, но и на Гизо, и на Конта», т. е. «на основные позиции французской интеллектуальной традиции» (Хобсбаум 1991 [1990], с. 121). Пересматривалось все наследие французских интеллектуалов радикального и либерального направления начиная с либералов 20-х годов прошлого столетия.

Связь партийности истории с восприятием исторического времени можно объяснить, используя типологию политического сознания, разработанную К. Манхеймом, которая основана на разном восприятии времени. Речь в данном случае идет об устойчивых формах политического сознания Нового времени, а не о намечающихся в очень узких слоях современного общества постмодернистских пристрастиях.

Манхейм, которого механизм «политизированного» восприятия темпоральности интересовал в связи с проблематикой идеологии и утопии, показал, что типам политического сознания (либерального, консервативного и социалистического) соответствует определенное представление об историческом времени. У Манхейма речь идет о

динамической концепции (Время-2 в нашей терминологии), где реально существующими полагаются лишь события настоящего; события прошлого и будущего рассматриваются как реально уже или еще не существующие. Тем самым прошлое и будущее определяются настоящим. Но и текущий момент не может существовать без прошлого и будущего, ибо именно они и образуют настоящее. Структура времени состоит из двух элементов: *памяти* и *ожиданий*, которые в разных комбинациях присутствуют в консервативном, либеральном и социалистическом сознании.

Согласно определениям, предложенным Манхеймом, нормативно-либеральное сознание «содержит качественную дифференциацию исторического процесса и презирует как дурную действительность все то, что завершило свое историческое становление, и все настоящее. Полное осуществление идеала в либеральной концепции перемещается в далекое будущее, но возникает в недрах того, чье становление происходит здесь и теперь» (Манхейм 1994 [1929], с. 191).

Если либеральное сознание и соответственно либеральная интерпретация истории ориентированы на будущее, то «консервативное восприятие времени находит важнейшее подтверждение обусловленности всего существующего в том, что открыто значение прошлого, значение времени, создающего ценности». Если для либерального сознания длительность существует «лишь постольку, поскольку в ней, начиная с данного момента, зарождается прогресс, то для консерватизма все существующее положительно и плодотворно лишь потому, что оно формировалось в медленном и постепенном становлении. Тем самым взор не только простирается на прошлое, спасая его от забвения, но непосредственно переживается и присутствие в настоящем всего прошлого. Теперь историческое время уже не является только линейной протяженностью, и отрезок „прошлое—настоящий момент“ не прибавляется просто к отрезку „настоящее—будущее“, но *виртуальное присутствие прошлого в настоящем* придает восприятию времени воображаемую трехмерность» (Манхейм 1994 [1929], с. 198). Развивая эту мысль, можно сказать, что у либералов, наоборот, в прошлом уже прорастает настоящее. В итоге и у тех и у других настоящее определяет отношение к прошлому.

Социалистическо-коммунистическое сознание отмечено безусловной устремленностью в будущее. Будущее здесь вытесняет настоящее и стирает прошлое. Для идеологов коммунизма социальное развитие — это перманентный разрыв с прошлым, радикальные транс-

формации и сдвиги. «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых» (Маркс 1957 [1852], с. 119) — такая оценка роли прошлого совершенно нелепима в либеральной и тем более в консервативной историографии. Столь же уникальным является характерное для социалистическо-коммунистического сознания стремление оценивать все происходящее в настоящем с позиций представлений о будущем. Очень показательно то, что для Маркса вся история человечества была лишь предисторией. «... Буржуазной общественной формацией завершается предистория человеческого общества», — писал он (Маркс 1959 [1859], с. 8). Подлинная же история, по его мнению, должна была наступить с утверждением коммунистического общества.

Идеологически заданное восприятие прошлого служит основой для постоянной смены интерпретаций. Возвращаясь к либералам и консерваторам, можно привести в пример воздействие эпохи холодной войны на трактовку прошлого неоконсервативными и неолиберальными историками США. В 1950-е годы слои атмосферы антикоммунизма и холодной войны были столь плотными, что факт приспособления научных ориентаций к политической ситуации лежал на поверхности. «Нынешние „толковые“ историки, — писал Р. Миллс, — выполняющие общественную роль журналистов высокого калибра, вошедшие в моду и привлекающие к себе внимание публики, принадлежат к той категории историков, которые быстрее других способны по-новому истолковать прошлое США применительно к современным умонастроениям и искуснее других разыскать в прошлом для нужды сегодняшнего дня таких героев и такие события, которые более других способны внушить оптимизм и душевную бодрость» (Миллс 1959 [1949], с. 479—480).

Именно в этот период позиции представителей либерализма и консерватизма в американской историографии сблизились максимально, и К. Росситер мог с полным правом написать, что консерватизм и либерализм являются «братьями в борьбе против тех, кто спешит к утопии или назад в Эдем» (Rossiter 1955, p. 12—13). Американские неолибералы 50-х годов в большинстве своем отказались от характерных для них прежде поисков в прошлом классового конфликта и сосредоточились на проблеме бесконфликтности исторического развития США. В целом это было время триумфа консервативных интерпретаций, и основной вклад в развитие идеи об уникальности и бесконфликтном характере американской общественно-политиче-

ской системы на всем протяжении истории США внесли неоконсерваторы. Интересно, как в этой связи эксплуатировалась идея времени. Например, положение о том, что американские политические институты «даны на все времена» и не нуждаются в радикальных преобразованиях, Д. Бурстин обосновывал следующими соображениями.

Во-первых, Америка получила свои духовные ценности как наследство от прошлого, поскольку «самые первые поселенцы или отцы-основатели снабдили наш народ уже при рождении совершенной и законченной теорией, соответствующей всем нашим нуждам в будущем». Во-вторых, американские духовные ценности — это дар настоящего, поскольку американский образ жизни в каждый данный момент питает американский образ мысли. В-третьих, непрерывность и гомогенность американской истории, исторический опыт Америки «заставляют нас рассматривать наше национальное прошлое как непрерывный континуитет похожих друг на друга событий в том смысле, что наше прошлое незаметно перерастает в наше настоящее» (Boorstin 1953, p. 9).

Для неоконсерваторов характерна интерпретация в консервативном духе даже тех американских документов, которые способствовали подъему движения за независимость в США. Так, П. Вирек называл «типичным консервативным документом» «Права британских колоний», написанные Дж. Отисом в 1764 г., на том основании, что в них-де защищается традиционный английский принцип не облагать подданных налогами без их согласия. Консервативными по своей сущности, утверждал П. Вирек, были и требования, изложенные в Декларации независимости, поскольку они предполагали сохранение традиционных свобод и существовавшего до революции общественного порядка в стране (Viereck 1965 [1949]). В таком же духе рассматривались консерваторами и другие проблемы американской истории: «джексоновская демократия», прогрессизм, «новый курс» и т. д.

Но когда в 1960-е годы обстановка постепенно начала меняться, неолибералы не только вновь оказались в авангарде исторической науки, но и стали значительно «либеральнее». Один из лидеров неолиберального направления в американской историографии Хофстедтер декларировал, что такие важнейшие сюжеты американской истории, как война за независимость, гражданская война, «расовые, этнические и религиозные конфликты», которыми насыщена история Америки, не укладываются в рамки консенсусной концепции (Hofstadter 1968, p. 459). Дальше — больше. В конце 1960-х — начале

1970-х годов США захлестнула волна литературы о революциях. «Никогда еще за всю историю Америки здесь не появлялось столько книг, брошюр и статей, посвященных различным проблемам революционного процесса в мире», — заметил К. Гаджиев (Гаджиев 1982, с. 169). Лейтмотивом этой литературы был тезис, согласно которому Америка, сама родившаяся в революции, всегда была революционной и поэтому должна играть в современном мире роль, соответствующую ее прошлому и традициям.

В наиболее законченной форме эта концепция была сформулирована в работах Дж. Рокфеллера III и Х. Уилера. Рокфеллер говорил, что основным движущим мотивом «новой американской революции» остается желание «осуществить идеалы и обещания, сформулированные 200 лет назад», стремление соответствовать не только букве, но и духу Декларации независимости и конституции США (Rockefeller 1973, p. 121).

Именно в противоречивых смысловых интерпретациях одних и тех же событий и периодов состоит содержательное наполнение исторического времени, далеко выходящее за рамки простого хронологического построения. «События, представляющиеся сначала как простое скопление хронологических фактов, принимают под этим углом зрения облик судьбы: факты дистанцируются друг от друга, и отдельные события различным образом акцентируются в зависимости от основного направления душевных стремлений субъекта» (Манхейм 1994 [1929], с. 179).

Различия в отношении к будущему (разные ожидания) отражают не только идеологические ракурсы, но и разный опыт прошлого. Как отмечал Бурстин, «многое из того, что кануло в историю, служит для описания призраков будущего в прошлом. Воспоминания о Новом курсе и ФранкLINE Делано Рузвельте, тени Джона Фитцджеральда Кеннеди и залива Свиней, холодная война, война во Вьетнаме и война в проливе укладываются в шаблоны будущего» (Boorstin 1994, p. 125).

Ориентация на будущее, характерная для исторического (и политического) сознания Нового времени, породила еще один исторический феномен, связанный с интерпретацией политических движений. А. Шлезингер-мл., размышляя об ускорении исторического времени, заметил, что ускорение заставляет нас воспринимать жизнь как движение, а не как порядок (Шлезингер 1992 [1986], с. 10). Подобный взгляд на историческую действительность выработал привычку смотреть на многие политические структуры и явления не

как на статичные и даже не просто как на находящиеся в движении, но как на *движения*. С тех пор как в истории господствует не героическая воля, а *движущие силы*, появились понятия, которые с помощью неологизмов или дополнительных значений эксплицировали форму исторического движения.

В результате общая концепция движения распространилась на явления, относящиеся к конкретным областям политического и социального действия (Koselleck 1985 [1979], p. 233). Таким стало, например, понятие «общественное движение», обозначающее специфическое явление Нового времени. Мы говорим: «национальное движение», «рабочее движение», «феминистское движение» и т. д., даже не задумываясь об уместности подобного тропа. Социальные движения современности — это объединения людей, связанных общими интересами, которые они формулируют и реализуют прежде всего как политические. Действия той или иной совокупности индивидов по реализации этих интересов собственно и называются *движением*¹⁰. Видимо, подразумевается, что вследствие целенаправленных объединенных усилий конкретная общественная сила движется к своей социальной цели, т. е. сокращает во времени расстояние между настоящим моментом и моментом, когда будут обеспечены интересы данной группы, которые обычно ассоциируются с общественным благом.

Главная дилемма, которая возникает при попытке дать определение социальных движений, предполагает выбор между различными представлениями об их сущности. Исчерпывается ли она характеристиками самого явления (социальной базой, целями, формами и т. д.) или заключается в некоем отношении (способе взаимодействия) с контръявлением? Акцент на субъектах социальных движений, а не на механизме взаимодействия ведет к отождествлению социального движения с определенными организованными группами, имеющими относительно четкие политические цели. Сознвая всю важность детерминации социального движения как *субъекта*, мы склонны думать, что сущность его лежит все же в области *отношений*.

¹⁰ Заметим в этой связи, что понятия «интересы» (англ. interests) и «заинтересованные группы» (interest groups), которые уже утвердились в западной политической науке и с большим трудом инкорпорировались в отечественную политическую мысль, видимо, были реакцией на некоторую абсурдность понятия «движение», примененного к общественным силам. Тем не менее на протяжении полутора веков старый термин всех устраивал.

Под социальным движением мы понимаем активные политические действия тех групп населения, которые стремятся добиться воплощения своего социального идеала, обычно ориентированного на будущее, или, гораздо реже, на восстановление прошлого, или даже на «выход из истории», осуществляя экспансию в сферу властных полномочий. Участники социальных движений, опираясь на собственные организации, включенные или не включенные в государственный механизм, ведут политическую борьбу за радикальные или реформистские общественные преобразования или против них. В конечном счете социальные движения проявляются в постоянном взаимодействии между индивидами, группами и государственной властью, результатом которого являются непрерывное фиксирование, трансформация и пересмотр требований, выдвигаемых всеми участниками процесса.

Либералы и консерваторы — это респектабельные политические движения, инкорпорированные в систему буржуазного государства уже в период ее становления. Их соперничество в первую очередь обеспечивало функционирование системы. Но большинство современных европейских и американских обществ сложилось в результате революционных процессов. Поэтому эти общества были пронизаны идеями политической борьбы, политическими и партийными пристрастиями, отчетливой идеологической символикой. И наряду с основными движениями в политической жизни и политической культуре гражданского общества с его многообразными интересами существовал целый спектр антисистемных и периферийных движений, среди которых важнейшую роль играли многочисленные движения протеста, как имеющие классовую природу, так и социально аморфные.

С появлением политических движений в политической и идеологической лексике утвердилась длинная серия «измов». Этот привычный нам ныне суффикс означал, что вектор идеологии появлявшихся одно за другим политических движений направлен в будущее, тем самым как бы легитимизируя их перспективность. Начало процессу образования «измов» положил «республиканизм» Канта (Koselleck 1985 [1979], p. 259). Позднее немецкий историк Шлегель заменил «республиканизм» «демократизмом». Затем возникли известные движения и соответствующие им термины: либерализм, социализм и коммунизм. Когда Маркс и Энгельс утверждали, что «коммунизм отличается от всех прежних движений» (Маркс, Энгельс 1955 [1932

(1846)], с. 70), они писали полностью в духе времени. Политические и социальные концепции стали *инструментом для направления истории*. Наряду с созданием неологизмов, связанных с движениями, изменялось значение известных терминов. *Революцию, кризис* начали трактовать как процесс постоянных изменений. Процесс темпорализации не просто трансформировал более старые конституционные концепции, а добавил новые «измы». Консерваторы избегали этого суффикса десятилетиями, но к середине XIX в. сдались и они (Koselleck 1985 [1979], p. 260, 262). Более того, нисколько не режет слух сочетание *реакционный романтизм!* (Это тоже движение, только в обратном направлении.)

Процесс образования «измов» шел бурно на протяжении XIX—XX вв., и в результате, помимо исходных понятий, мы имеем: национализм, расизм, тред-юнионизм, социал-реформизм, фашизм, популизм, милитаризм, пацифизм, сексизм, феминизм и др. Очевидно, что с какого-то момента суффикс стал жить самостоятельной жизнью и никто уже не задумывался о его истинном значении. Он стал означать просто идеологию. Заметим, что в достаточно длинном перечне социальных движений Нового времени очень немногие не совмещаются с «измом», в частности аграрные, что, возможно, свидетельствует об их темпоральной ригидности. Когда появился «традиционализм», смысл, приданный политическим движениям в XIX в., был утрачен окончательно.

3. Историческая закономерность и случайность

Р. Хайлбронер говорил, что история существует как хаос или как тюрьма (Heilbroner 1961, p. 182). Исследование истории как процесса включает в себя понятия причинности, следствия, противоречия, случайности, возможности, с помощью которых осуществляется систематизация или структурирование социальной, экономической, политической, ментальной жизни. Это — базовые понятия исторической науки, с помощью которых происходит реконструкция исторической реальности. Все они так или иначе связаны с представлением о каузальности, которое вообще является ключевым элементом западного рационализма. Более 40 лет назад Альберта Эйнштейна спросили, как Запад пришел к идее научного открытия. Он ответил: «Развитие западной науки... покоится на двух великих достижениях: изобретении системы формальной логики (в геометрии Евклида)

греческими философами и открытии возможности выявлять каузальные отношения путем систематического эксперимента (Ренессанс). Мне кажется, что удивляться надо не тому, что китайские мудрецы не додумались до этого, а тому, что эти открытия вообще были сделаны» (цит. по: Boorstin 1994, p. 3).

Идея каузальности пришла на смену провиденциализму в форме представления о естественных законах истории, исторической закономерности. В уже упомянутом «Зерцале для правителей» (1559 г.) мы находим такие строки:

Но историки обходят причины
Или так их излагают, что оставляют в сомнении.
Однако, считая, что причины являются главной целью,
Которая должна преследоваться историком,
Чтобы люди могли узнать, к какому результату
каждая причина приводит,
Те недостойны имени хронистов, кто не включает
причины в свои летописи
Или сомнительно о них сообщает, ибо в этом заключается
Главная польза от чтения истории

(цит. по: Барг 1979, с. 112).

Но, конечно, в современной, характерной для исторического сознания Нового времени форме принцип каузальности сформулировали французские и немецкие просветители. Их детерминизм был направлен против фатализма и волюнтаристских концепций, не видевших в истории ничего кроме хаоса случайностей. «Вечные», «неизменные» законы либо заимствовались из естествознания, либо понимались как «законы разума», «прогресса» или «абсолютного духа». Детерминизм в интерпретации просветителей носил абсолютно жесткий характер и не оставлял места исторической случайности. Идея развития, где предсказуема каждая следующая стадия, прилагалась к общественной жизни, мыслям и поступкам людей. Таким образом интерпретировалось развитие стран, культур и экономик. Вот как писал, например, Гольбах: «Во время страшных судорог, сотрясающих иногда политические общества и часто влекущих за собой гибель какого-нибудь государства, у участников революции — как активных деятелей, так и жертв — нет ни одного действия, ни одного слова, ни одной мысли, ни одного желания, ни одной страсти, которые не были бы необходимыми, не происходили бы так, как они должны

происходить, безошибочно не вызывали бы именно тех действий, какие они должны были вызвать сообразно местам, занимаемым участниками данных событий в этом духовном вихре» (Гольбах 1963 [1770], с. 351).

Можно сказать, что детерминизм представляет собой своеобразный способ связи настоящего и с прошлым, и с будущим. Сторонники детерминистского подхода равно самоуверенно предопределяют будущее и реконструируют прошлое, ибо исходят из того, что существующие структуры позволяют предугадать, какими будут структуры последующие и какими были структуры предшествующие.

Дальнейшее распространение причинно-следственного анализа на временные последовательности явилось результатом применения к истории генетического метода. Эволюционистский метод XIX в. предполагал построение непрерывной цепи причин и следствий по единому закону. Другая разновидность генетического метода — историзм — обобщал историю и культуру до универсальных мер и законов мироздания¹¹.

«Марковские „неумолимые законы“ природы и исторического развития ясно показывают влияние на него интеллектуальной атмосферы, созданной П. Лапласом и французскими материалистами. Можно сказать, что вера, согласно которой термины „научный“ и „детерминистический“ являются если не синонимами, то по крайней мере неразрывно связанными — это один из предрассудков той эпохи, который не преодолен до сих пор» (Поннер 1992 [1945], т. 2, с. 101). Благодаря позитивизму и марксизму в историографии второй половины XIX в. произошла переориентация исследования с процедуры объяснения через мотив на уровень познания, который можно назвать уровнем объективированных процессов. Подчеркивая, что логическая процедура причинного объяснения должна быть единой во всех науках, К. Гемпель характеризовал ее следующим образом: два элемента (явления, события) могут рассматриваться как причина и следствие лишь в той мере, в какой существует некий общий, «охватывающий закон», в рамках которого первый элемент (антецедент) выступает в качестве начального условия, а второй элемент (консеквент) — как следствие (Гемпель 1977 [1963]).

¹¹ Как отмечает В. Шкуратов, «историзм не обязательно каузален. Его гегелевски-марксистский вариант усложняет траекторию прогресса фигурами диалектических скачков и спиралей, содержит эсхатологическое вкрапление идеи Финала» (Шкуратов 1994, с. 43).

Если «с точки зрения социологии вся сфера действия собственно исторических законов выступает как сфера „случайности“» (Барг 1984, с. 197), то с точки зрения истории ситуация намного хитрее. Хотя собственно исторические закономерности формируются под воздействием и на основе законов социологической структуры общества, они к ним не сводятся. Они конкретнее и многообразнее. Гораздо более низкая степень воплощенной в них абстракции ограничивает их способность разъяснять исторический процесс уровнем пространственно-временных характеристик, т. е. в общем и целом границами неизмеримо более узкими в сравнении с законами социологическими (Барг 1984, с. 186). Одним из важнейших отличий исторической интерпретации является мультикаузальность событий и явлений — в особенности крупных, а тем более эпохальных. Причин их созревания такое множество, что многообразна даже возможность их классификации.

Например, американский историк Б. Такман в исследовании, посвященном первой мировой войне (Такман 1972 [1962]), рассматривает причины долговременного действия и причины ситуативные. Один из лейтмотивов ее книги заключен в следующем эпизоде. В помещении рейхсканцелярии после начала войны встречаются рейхсканцлер Т. Бетман-Гольвег и его предшественник на этом посту Б. Бюлов. Бюлов произносит с удивлением: «Как это могло произойти?» Бетман-Гольвег отвечает в том же духе: «О, если бы это можно было предвидеть!». Поскольку аналогичным образом реагировали официальный Лондон, Париж, Петербург и Вена, Такман приходит к выводу, что никто не хотел войны и никто ее не готовил. Как будто не было военных блоков, гонки вооружений, дерзких провокаций задолго до июльского кризиса и все решилось именно летом 1914 г.!

Зато утверждение Такман о том, что в июле 1914 г. было крайне трудно остановить движение к войне, вряд ли можно оспаривать. Обстановка стресса, давно сформировавшиеся стереотипы врага, взаимная ненависть и подозрения, цейтнот и многие другие факторы не позволяли рассчитывать на взвешенные и продуманные решения. Война началась, и это было одним из уроков истории: угроза войн возникает не в последний момент, и к их предотвращению надо готовиться заранее. Эту истину, думается, хорошо усвоил президент Дж. Кеннеди. Прочитав книгу Такман, он распорядился приобрести значительное количество экземпляров для Белого дома и всякий раз, вручая ее кому-нибудь из посетителей, объяснял: «Я не хочу, чтобы на вопрос,

как это могло произойти, мне пришлось бы ответить: „О, если бы это можно было предвидеть!“».

Упомянутые в главе 2 эпохальные события XX в. — две мировые войны и кризис демократии с сопутствующей ему конфронтацией двух политических систем — были причинно обусловлены. Но они не были фатально детерминированы. Их могло и не быть. Эта точка зрения, господствующая в современной историографии, важна и в общетеоретическом плане. В истории, где есть и причинность и закономерности, не должны переоцениваться роль неотвратимости, «железные законы», «богиня исторической необходимости» (Поппер 1992 [1945], т. 2, с. 292).

«Кто однажды решил все объяснять причинами, тот всегда найдет какую-нибудь», — писал Р. Козеллек (Козеллек 1994 [1979], с. 178) А. А. Шлезингер-мл. заметил: «Детерминизм многолик, и его многоликость объясняется различиями как идейно-политических, так и научных установок. Для марксизма при этом определяющая доминанта — классы, для нацизма — раса. Для Шпенглера и Тойнби весь ход развития — чередующиеся периоды расцвета и упадка» (Шлезингер 1992, с. 607).

Но в то же время именно тогда, когда восторжествовал детерминизм и место провидения заняли причины, в методологическом плане возникла проблема исторической случайности. В той мере, в какой историография видит свою задачу в прояснении взаимозависимостей, складывающихся во времени, категория случайности в логике детерминистского подхода полностью принадлежит настоящему. Ведь ее нельзя объяснить как следствие прошлых событий — тогда это уже не была бы случайность. Ее нельзя вывести и из области ожиданий — разве что как внезапное нарушение. «Но тем самым, — как пишет Козеллек, — эта категория еще не оказывается неисторической. Напротив, случайность годится, чтобы описывать нечто поразительное, новое, непредвиденное в истории» (Козеллек 1994 [1979], с. 171—172).

Проблема соотношения закономерности и случайности — едва ли не главная проблема исторической теории. В научном споре о том, какова в истории роль случайности, причинности, закономерности, историков можно разделить на детерминистов и их противников. Последние наиболее уязвимой позицией своих оппонентов считают непризнание ими возможностей *выбора*, который делает человек,

участвуя в историческом процессе, а тем самым и принижение роли человека в истории вообще.

А. Шлезингер-мл. в заключительной главе своих «Циклов американской истории» пишет: «С древности и до наших дней многими выдающимися мыслителями личность воспринималась лишь как игрушка в руках высших сил... а ее осознанная якобы свобода и уверенность в собственной значимости — не более чем тщеславие и обман». Таков, заключает он, «главный тезис исторического детерминизма». И далее: «Детерминизм отвергает идею человеческой свободы, понятие выбора, лежащее в основе любой нашей фразы, любого нашего решения» (Шлезингер 1992 [1986], с. 607). Среди авторитетов детерминизма Шлезингер выделяет Л. Толстого, приводя цитату из «Войны и мира»: «... Событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться» (цит. по: Шлезингер 1992 [1986], с. 607).

Действительно, историцистские рассуждения Л. Н. Толстого в «Войне и мире» в принципе мало чем отличаются от типичных рассуждений философствующих историков. Толстой писал, что «чем дальше переносимся мы назад в рассматривании событий, тем менее они нам представляются произвольными. Австро-прусская война представляется нам несомненным последствием действий хитрого Бисмарка и т. п. Наполеоновские войны, хотя уже сомнительно, но еще представляются нам произведениями воли героев; но в крестовых походах мы уже видим событие, определенно занимающее свое место и без которого немыслима новая история Европы, хотя точно так же для летописцев крестовых походов событие это представлялось только произведением воли некоторых лиц. Когда дело идет о переселении народов, никому уже в наше время не приходит в голову, чтобы от произвола Аттилы зависело обновить европейский мир. Чем дальше назад мы переносим в истории предмет наблюдения, тем сомнительнее становится свобода людей, производивших события, и тем очевиднее закон необходимости» (Толстой 1957 [1863—1869], т. 2, с. 763).

Проблема исторической необходимости и случайности бесконечное число раз обсуждалась в работах самых, казалось бы, непреклонных сторонников детерминизма. Даже марксизм, в целом исходящий из исторической необходимости, не всегда последовательно придерживался этих позиций. Возьмем для примера следующее высказывание из ранней работы К. Маркса и Ф. Энгельса: «Исто-

рия не делает ничего, она „не обладает никаким необъятным богатством“, она „не сражается ни в каких битвах“! Не „история“, а именно человек, действительный, живой человек — вот кто делает все это, всем обладает и за все берётся. „История“ не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения *своих* целей. История — не что иное как деятельность преследующего свои цели человека» (Маркс, Энгельс 1955 [1845], с. 102). Однако сильные активистские тенденции у раннего Маркса и Энгельса нейтрализовались (и с течением времени все явственнее) историческим детерминизмом.

В принципе марксизм трактовал случайность как форму проявления исторической необходимости. Как объяснял «поздний» Ф. Энгельс, в истории общества «на поверхности явлений, несмотря на сознательно желаемые цели каждого отдельного человека, царствует, в общем и целом, по-видимому, случай... Действия имеют известную желаемую цель; но результаты, на деле вытекающие из этих действий, вовсе нежелательны... Но где на поверхности происходит игра случая, там сама эта случайность всегда оказывается подчиненной внутренним, скрытым законам» (Энгельс 1961 [1886], с. 306).

Рассматривая случайность как форму проявления исторической необходимости, представители детерминистского подхода пытались вытеснить случайность на периферию исторической интерпретации, если вообще не за рамки научной истории. В последние десятилетия в том же направлении действовала школа структуралистов, полагающих, что за видимой историей человеческих действий лежит латентная история процессов (демографические изменения, экономические поворотные события в истории зависели не от случая, а от структурных трансформаций. Однако несмотря на то, что господствующие исторические направления концентрировали усилия на поиске исторических закономерностей, случайность никогда не покидала пределы историографии, так же как, видимо, она никогда не покидала пределы истории. Случайность оставалась способом исторической аргументации.

История (точнее, историография) свидетельствует, что соотношением случайности и необходимости можно свободно манипулировать исходя из идейно-политических пристрастий. Не только то, что мы не можем объяснить, но и все, что мы хотим объяснить произвольно, можно определить и как закономерность, и как случай-

ность. Когда мы жили в «стране победившего социализма», Октябрьская революция считалась закономерностью, а сейчас она многими трактуется как случайность. Отнесение прошлых событий к категории случайных или закономерных зависит от настоящего, от сегодняшней ситуации.

В традиционной историографии функция категории случайности сводится к заполнению пробелов при объяснении непрочных взаимосвязей. «Везде, где историография проявляет интерес к случайности, мы обнаружим недостаточность данных и несоизмеримость их со следствиями. Именно в этом может содержаться специфически историческое» (Козеллек 1994 [1979], с. 172).

Наряду с детерминистским направлением, использующим категорию случайности как инструмент для разъяснения «трудных мест» в истории, в историографии всегда присутствовало и направление, абсолютизирующее случайность, индивидуальность, неповторимость. Например, Ю. Лотман считал, что соподчинение закономерности и случайности в истории существует, но с обратным знаком. В фундаменте истории лежит случайность, а произвольные предположения и квазиубедительные причинно-следственные связи образуют лишь поверхностный слой. «Реально протекший процесс заменяется его моделью, порожденной сознанием участника акта. Происходит ретроспективная трансформация. Произошедшее объявляется единственно возможным — „основным, исторически предопределенным“. То, что не произошло, осмысливается как нечто невозможное. Случайному приписывается вес закономерного и неизбежного. В таком виде события переносятся в память историка. Он получает их уже трансформированными под влиянием первичного отбора памяти. Особенно же важно, что в его материале изолированы все случайности, взрыв трансформирован в закономерное линейное развитие», и история под пером историка «приобретает почти мистический характер» (Лотман 1992, с. 32—33, 34).

В историографии Нового времени истоки направления, абсолютизирующего роль случайности, относятся к эпохе Возрождения. В начавшем формироваться в этот период историческом знании важная роль еще принадлежала фортуне, которая символизировала иррациональность истории, средневековое понимание абсурда, историю, какой она была бы, если бы Бог и провидение не существовали. Как мы уже говорили, значимость, которую придавали случаю в эпоху Ренессанса, во многом объяснялась политическим опытом. «Дей-

ствовать на поприще политики значило предоставить себя неопределенности системы власти, вступить в мир изменчивости и перипетий» (Росов 1975, р. 36). Символом политики, как и фортуны, было колесо, которое то поднимает людей к власти, то сбрасывает их¹².

Не удивительно, что понятие фортуны, на смену которому впоследствии пришла категория случайности, утвердилось в области изучения политики, ибо политическая практика — в контексте Нового времени — предполагает искусство угадывания. «Размышления о том, как может обернуться дело, если придерживаться данного образа действий, взвешенная оценка всех альтернатив и составляет сущность политического суждения. Макиавелли прославился как творец современной политической стратегии, но в его работах есть ростки и гораздо более фундаментальных новаций. Он предвосхищает появление мира, в котором риск и расчет риска оттесняют фортуны практически во всех областях человеческой деятельности» (Гидденс 1994 [1991], с. 108).

Впоследствии на фоне утверждения исторического детерминизма представление об истории как о совокупности индивидуальных, не поддающихся жестко каузальному объяснению и даже рациональной трактовке событий было развито представителями романтической школы. Но последние, бесспорно, признавали индивидуальную причинность однократного события.

Образцом ученого, толкующего историю в духе старомодного антидетерминизма, в духе открытости, нам представляется возможным назвать Т. Ниппердея. В заключительных строках первой части его истории Германии XIX в. звучит следующая мысль: «Нет истории без трагизма, тем более немецкой. Но были возможны многие линии развития, в том числе и другие, отличные от тех, которые стали реальностью. Будущее было отягощено. Оно оказалось в тени и как всегда зашторенным. Но оно было открыто» (Nipperdey 1987—1990, Н. 1, S. 803). В том же регистре звучит и первый абзац следующей части этой книги: «Конечно, история, начавшаяся в 1866 г., была открытой. И конечно, ее более, чем обычно, формировал Бисмарк. Все начиналось с него. Но ее формировали и жесткие структуры, и объективно текущие процессы, формы повседневности, хозяйства, стра-

¹² Покок наглядно записывает соответствующие комбинации основных категорий историософии Возрождения следующим образом: фортуна + вера = провидение; провидение — вера = фортуна; провидение + пророчество обозначало эсхатологию и добродетель (Росов 1975, р. 48).

тификации общества и происходивших в нем передвижек» (Nipperdey 1987—1990, Н. 2, Bd. 1, S. 9).

Конечно, в такой интерпретации история отнюдь не предстает «как хаос». Но и не выглядит «как тюрьма». Исследователь-антидетерминист подобного толка также раскрывает причины. Но его подход не напоминает решение задачи с заранее известным ответом, где другие решения невозможны. Напротив, открытость истории предполагает свободу действий мыслящего и обладающего силой воображения и политической волей человека, от которого зависит выбор того или иного варианта дальнейшего развития. Каждый субъект, будь то индивид, общественная группа, нация и т. д., волен и не волен в своем выборе. Волен, поскольку на каждом этапе исторического процесса есть многообразные варианты развития. Не волен в силу действия ограничивающих обстоятельств: времени, места, среды, режима и т. д.

Нельзя ни на миг забывать о хитрости истории, которая, как гласит португальская пословица, пишется кривыми линиями, или, говоря словами Чернышевского, не является столь же прямой, как Невский проспект в Петербурге. Превзойти историю в хитрости при множестве возможных вариантов нелегко, а удержаться на виражах в моменты резких поворотов бывает и вовсе невозможно.

В заметной склонности к отрицанию причинности нередко обвиняют и сторонников «неподвижной истории», утверждающих, что с течением веков ничего особенно не меняется. Тем не менее достаточно прочесть работы, написанные с позиций *histoire immobile*, чтобы обнаружить непрерывные попытки каузального объяснения медленно текущих процессов. Просто причины отыскиваются не в сфере экономики, политики или культуры, а в области географии, демографии и даже биологии.

По-настоящему последовательный отказ от каузальных объяснений и подходов к истории стал результатом становления постмодернистской историографии. Нежелание профессионалов из нового поколения историков 1970—1990-х годов следовать просветительским идеям универсализации, разума, социальной инженерии, которые выражались в теориях прогресса и исторической необходимости, их скептицизм по поводу обусловленности причинно-следственных связей, «эстетствующий иррационализм» (выражение К. Гинзбурга) обозначили сильную оппозицию культуре историографии периода Нового времени. Последовательность этой оппозиции проявилась, в частно-

сти, и в том, что вместе с представлением о причине исчезло и представление о случайности. (Аналогично и досовременная историография не знала ни той, ни другой категории, оперируя понятиями рока и фортуны.) Новая историческая культура выражается в реабилитации интуитивизма и идеографизма, обращении к деталям, замене понятия причинности понятиями процесса и преобразования, переходом от системных теорий, базировавшихся на аргументах и парадигмах естественных и точных наук, к признанию приоритета коммуникаций, множественности языков — способов общения и передачи информации (Зверева 1994, с. 40).

Постмодернистское объяснение того, как «работает» история, «практически совершенно игнорирует широкие подспудные течения исторической причинности, поскольку они не просматриваются явно в текстах» (Стоун 1994, с. 166—167). Историки-постмодернисты полагают, что не существует никакого логического подчинения причины и следствия, отрицая тем самым идеи становления и эволюции. Нет потока времени, существует лишь прерывистая, бессвязная последовательность ситуаций, или миров, или периодов. С проницательностью, достойной Пруста, они показывают, что каждая ситуация целостна сама по себе и не может быть выведена из предшествующей.

В произведениях постмодернистов прошлое исчезает, потому что, используя слова Ортеги-и-Гассета, сказанные о Прусте, не вещи, которые вспоминаются, но воспоминания о вещах — главная тема постмодернистов. «Впервые память из поставщика материала, с помощью которого описывается другая вещь, сама становится вещью, которая описывается. Поэтому автор обычно не добавляет к воспоминаемому того, чего ему не хватает, он оставляет воспоминание таким, как оно есть, объективно неполным...» (Ортега-и-Гассет 1991 [1923а], с. 178).

Кажется, что никогда историки не обращались с временем столь вольно, как современные постмодернисты, разъявшие его на части и даже на мгновения. На самом деле это не совсем так. Историки всех эпох достаточно свободно пользовались категорией времени. Разве перенесение собственной эмоциональной и эстетической жизни на площадку прошлого, характерное для романтиков, акт менее свободный, чем экзерсисы постмодернистов? А постоянное переписывание прошлого при формальном соблюдении детерминистской логики и рациональной критике источников, свойственное всем идей-

но-политическим направлениям в историографии Нового времени? Другое дело, что до поры историки не отдавали себе отчета в собственном волюнтаризме, а позднее даже те из них, кто вполне сознательно заботился о суверенитете прошлого, бессознательно его нарушали. Историк, названный Стоуном «простодушным» в вопросах методологии, остается «простодушным» и в вопросе о времени. А корни его простодушия — в специфике исторического знания.

Итак, в историческом исследовании настоящее определяет прошлое, пронизывает прошлое, видоизменяет прошлое, понимает прошлое, учится у прошлого, вживается в прошлое, раскручивается в прошлое, проецируется в прошлое и т. д. История без настоящего времени немыслима. Прошлое и настоящее в историческом исследовании сопрягаются как бы в двух направлениях. С одной стороны, историк стремится установить дистанцию между прошлым и настоящим, показать, что социально-экономическое устройство прошлого общества, институты и ценности, ментальность и культура отличались от настоящего. С помощью логики и интуиции он создает отличный от современного ему мир. Но, с другой стороны, сам интерес к прошлому продиктован желанием понять его и тем самым приблизить к современности, сомкнуть прошлое с настоящим или во всяком случае включить его в культуру настоящего.

* * *

Воссоздание и интерпретация исторического периода или сюжета предполагают по возможности полный охват и систематизацию источников, относящихся к изучаемому периоду, критический анализ всей совокупности фактов. Вместе с тем они подразумевают и массу способов заполнения неизбежных пустот в историческом времени с помощью игры ума или игры воображения. Вот мы и дошли до слова игра, и тем самым до известного определения голландского историка Й. Хейзинги: «... Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием „иного бытия“, нежели „обыденная“ жизнь» (Хейзинга 1992 [1938], с. 41).

Работа историка, безусловно, включает в себя игры с временем. Мы используем множественное число, потому что разные историки

играют по-разному, в зависимости от «добровольно принятых правил». Выбор игры зависит от времяположения самого историка — периода времени, на который приходится его творчество. Соответственно, вариант игры зависит от принадлежности историка к тому или иному сообществу: профессиональному, политическому, идейному. От задач, которые он перед собой ставит: поиск истины, воспитание молодежи или «историческое» обеспечение той или иной политической линии. (Марксисты играли с временем совсем не так, как неопозитивисты.) Далее, характер игры определяется типом историка: серьезен он или весел, смотрит ли на свое занятие как на науку или как на искусство, как на призвание или как на времяпрепровождение. Наконец, страсть и азарт, эти движущие силы игры, безусловно, руководят историком.

Конечно, историк играет не только, точнее, не просто с временем. Он играет с историческими субъектами: героями и армиями, царями и мельниками, партиями и толпами. Он вновь и вновь готовится к битвам, которые давно отгремели, располагая войска на позициях. Он определяет курс кораблей, затонувших столетия назад, пересчитывает золотые монеты и бочки с вином. Он играет эмоциями и чувствами людей: их волей, слабостями, страстями. Он манипулирует обстоятельствами. Он создает структуры даже не так, как по чертежам воссоздают разрушенные здания, — он создает сами чертежи. Он играет столь самозабвенно, что дает советы умершим! И все эти вольности он может позволить себе благодаря игровому компоненту истории, открывающей возможности «иного бытия» в ином времени.

ЛИТЕРАТУРА

- Абрамовиц М.** Саймон Кузнец (1901—1985) [1986] // THESIS, 1993, вып. 2, с. 228—234.
- Августин А.** О Граде Божьем. В: Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского. В 8-и ч. Пер. с лат. 2-е изд. Киев: б. изд, 1901—1915, ч. 3—6, кн. 1—22.
- Августин А.** Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. Пер. с лат. М.: Ренессанс, 1991.
- Аверинцев С. С.** Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья (общие замечания). В: Л. А. Фрейберг (ред.). Античность и Византия. М.: Наука, 1975, с. 266—285.
- Аверинцев С. С.** Рай. В: Е. М. Мелетинский (ред.). Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990, с. 453—454.
- Аверинцев С. С., Мейлах М. Б.** Иудаистическая мифология. В: С. А. Токарев (ред.). Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980, т. 1, с. 581—591.
- Автономов В. С.** Человек в зеркале экономической теории (очерк истории западной экономической мысли). М.: Наука, 1993.
- д'Аламбер Ж. Л.** Очерк происхождения и развития наук [1751] Родоначальники позитивизма, 1910, вып. 1, с. 95—168.
- Алексина Т. А.** Власть Хроноса. М.: Изд-во Российского унив. дружбы народов, 1994.
- Аллен Р.** Математическая экономия. Пер. с англ. М.: Иностранная литература, 1963 [1956].
- Ананьев Б. Г., Айрапетьянц Э. Ш. (ред.).** Восприятие пространства и времени. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1969.
- Аникин А. В.** Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. 3-е изд. М.: Политиздат, 1979.
- Аникин А. В., Энтов Р. М. (ред.).** Современные буржуазные теории экономического роста и цикла (критический анализ). М.: Наука, 1979.
- Арендт Х.** Истоки тоталитаризма. Пер. с англ. М.: ЦентрКом, 1996 [1966].

- Аристотель.** Метафизика. В: Аристотель. Соч. В 4-х т. Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1976—1984, т. 1, с. 63—368.
- Аристотель.** Политика. В: Аристотель. Соч. В 4-х т. Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1976—1984, т. 4, с. 375—644.
- Аристотель.** Поэтика. В: Аристотель. Соч. В 4-х т. Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1976—1984, т. 4, с. 645—680.
- Аристотель.** Физика. В: Аристотель. Соч. В 4-х т. Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1976—1984, т. 3, с. 59—262.
- Артемов В. А. и др.** Статистика бюджетов времени трудящихся. М.: Статистика, 1962.
- Арьес Ф.** Человек перед лицом смерти. Пер. с фр. М.: Прогресс—Академия, 1992 [1977].
- Аскин Я. Ф.** Проблема времени: ее философское истолкование. М.: Мысль, 1966.
- Астахова А. М. (ред.).** Славянский фольклор и историческая действительность. М.: Наука, 1965.
- Аукуционек С. П.** Современные буржуазные теории и модели цикла: критический анализ. М.: Наука, 1984.
- Аукуционек С. П.** Проблема государственного регулирования в современной теории цикла. В: К. Г. Горохова, Л. М. Григорьев (ред.). Проблемы экономических циклов и кризисов в буржуазной экономической науке. Сборник обзоров. М.: ИНИОН АН СССР, 1988, с. 45—65.
- Аукуционек С. П.** Технологические нововведения и длинные волны. В: Р. М. Энтов, Н. А. Макашева (ред.). Долговременные тенденции капиталистического воспроизводства. Сборник обзоров. Вып. 2. М.: ИНИОН АН СССР, 1989, с. 82—104.
- Аукуционек С. П.** Изучение длинных волн и экономических циклов: сравнительный анализ. В: С. Л. Комлев, А. В. Полетаев (ред.). Научное наследие Н. Д. Кондратьева и современность. В 2-х ч. М.: ИМЭМО АН СССР, 1991, ч. 2, с. 151—161.
- Ахматова А. А.** Автобиографическая проза [1965]. В: А. А. Ахматова. Соч. В 2-х т. М.: Панорама, 1990, т. 2, с. 266—288.
- Ахундов М. Д.** Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. М.: Наука, 1982.
- Барг М. А.** Шекспир и история. 2-е изд. М.: Наука, 1979.

- Барг М. А.** Категории и методы исторической науки. М.: Наука, 1984.
- Барг М. А.** Эпохи и идеи: становление историзма. М.: Мысль, 1987.
- Барг М. А.** Историзм Фрэнсиса Бэкона. В: Ф. Бэкон. История правления короля Генриха VII. Пер. с англ. М.: Наука, 1990, с. 200—249.
- Баталов Э. Я.** Социальная утопия и утопическое сознание в США. М.: Наука, 1982.
- Баткин Л. М.** Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука, 1989.
- Баткин Л. М.** Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М.: РГГУ, 1995.
- Бахтин М.** Проблемы поэтики Достоевского. М.: Художественная литература, 1972 [1929].
- Бейль П.** Исторический и критический словарь. В 2-х т. Пер. с фр. М.: Мысль, 1968 [1695—1697].
- Беккер Г.** Теория распределения времени [1965] // США: экономика, политика, идеология, 1996, № 1, с. 75—84; № 2, с. 114—124.
- Белинский В. Г.** История Малороссии Николая Маркевича [1843]. В: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1955, т. VII, с. 52—53.
- Бем-Баверк Е., фон.** Капитал и прибыль. Т. 1: История и критика теорий процента на капитал. Пер. с нем. СПб.: Попова, 1909 [1884].
- Бем-Баверк Е., фон.** Основы теории ценности хозяйственных благ [1886]. В: Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. Пер. с нем. М.: Экономика, 1992, с. 243—426.
- Бергер П., Лукман Т.** Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. Пер. с англ. М.: Медиум, 1995 [1966].
- Бергсон А.** Опыт о непосредственных данных сознания (Время и свобода воли) [1889]. В: А. Бергсон. Собр. соч. В 4-х т. Пер. с фр. М.: Московский клуб, 1992, т. 1, с. 50—159.
- Бергсон А.** Материя и память [1896]. Собр. соч. В 4-х т. М.: Московский клуб, 1992, т. 1, с. 160—316.

- Бергсон А.** Длительность и одновременность: по поводу теории Эйнштейна. Пер. с фр. Пг.: Academia, 1923 [1922].
- Бердяев Н.** Новое средневековье. Берлин: Обелиск, 1924.
- Бернгейм Э.** Философия истории, ее история и задачи. М.: Ключков, 1909.
- Бессмертный Ю. Л.** Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микроистории // Одиссей 1995, 1996, с. 5—19.
- Бикерман Э.** Хронология древнего мира. Ближний Восток и античность. Пер. с англ. М.: Наука, 1975 [1969].
- Бицилли П. М.** Элементы средневековой культуры. СПб.: Мифрил, 1995 [1919].
- Бицилли П. М.** Место Ренессанса в истории культуры. СПб.: Мифрил, 1996 [1933].
- Бицилли П. М.** Игнатий Лойола и Дон Кихот [1925]. В: П. М. Бицилли. Место Ренессанса в истории культуры. СПб.: Мифрил, 1996, с. 201—226.
- Блауберг И. И.** Анри Бергсон и философия длительности. В: А. Бергсон. Собр. соч. В 4-х т. М: Московский клуб, 1992, т. 1, с. 6—44.
- Блауг М.** Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с 4-го англ. изд. М.: Дело, 1994 [1-е изд. 1962].
- Блок М.** Апология истории, или Ремесло историка. 2-е изд. Пер. с фр. М.: Наука, 1986 [1949].
- Блок М.** Феодальное общество. Т. 1, ч. 1, кн. II, гл. 1—5 [1939—1940]. В: М. Блок. Апология истории, или Ремесло историка. 2-е изд. Пер. с фр. М.: Наука, 1986.
- Боас Ф.** Ум первобытного человека. Пер. с англ. М.—Л.: Гос. изд., 1926 [1911].
- Бойко М. В.** Эволюция теорий строительного цикла («цикла Кузнеця»). В: К. Г. Горохова, Л. М. Григорьев (ред.). Проблемы экономических циклов и кризисов в буржуазной экономической науке. Сборник обзоров. М.: ИНИОН АН СССР, 1988, с. 118—133.
- Бок Г.** История, история женщин, история полов [1988] // THESIS, 1994, вып. 6, с. 170—200.

- Бокс Дж., Дженкинс Г.** Анализ временных рядов. Ч. 1: Прогноз и управление. Пер. с англ. М.: Мир, 1974.
- Бокль Г. Т.** История цивилизации в Англии. Пер. с англ. СПб.: Павленков, 1895 [1857—1861].
- Болгов В. И. (ред.).** Проблемы бюджета времени трудящихся // Социологические исследования, 1970, вып. 6.
- Болотов В. В.** Лекции по истории древней Церкви. В 2-х т. СПб.: 6. изд., 1907.
- Борхес Х. Л.** История вечности [1936а]. В: Х. Борхес. Соч. В 3-х т. Пер. с исп. М.: Полярис, 1994, т. 1, с. 161—178.
- Борхес Х. Л.** Циклическое время [1936б]. В: Х. Борхес. Соч. В 3-х т. Пер. с исп. М.: Полярис, 1994, т. 1, с. 193—196.
- Борхес Х. Л.** Кафка и его предшественники [1951]. В: Х. Борхес. Соч. В 3-х т. Пер. с исп. М.: Полярис, 1994, т. 2, с. 89—91.
- Боэций А. М. Т. С.** Каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества. В: Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. Пер. с лат. М.: Наука, 1990а, с. 145—157.
- Боэций А. М. Т. С.** Утешение Философией. В: Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. Пер. с лат. М.: Наука, 1990б, с. 190—290.
- Брагинская Н. В.** Эон в «Похвальном слове Константину» Евсевия Кесарийского. В: Л. А. Фрейберг (ред.). Античность и Византия. М.: Наука, 1975, с. 286—306.
- Бродель Ф.** История и общественные науки. Историческая длительность [1958]. В: И. С. Кон (ред.). Философия и методология истории. Сборник переводов. М.: Прогресс, 1977, с. 115—142.
- Бродель Ф.** Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. В 3-х т. Пер. с фр. М.: Прогресс, 1986—1992 [1979].
- Буркхардт Я.** Культура Возрождения в Италии: опыт исследования. Пер. с нем. М.: Юрист, 1996 [1860].
- Бурстин Д.** Американцы. В 3-х т. Т. 1: Колониальный опыт [1958]. Т. 2: Национальный опыт [1972]. Т. 3: Демократический опыт [1973]. Пер. с англ. Москва: Прогресс, 1993.
- Бэкон Ф.** Новый Органон [1620]. В: Ф. Бэкон. Соч. В 2-х т. Пер. с лат. М.: Мысль, 1977—1978, т. 2, с. 5—214.

- Бэкон Ф.** О достоинстве и приумножении наук [1623]. В: Ф. Бэкон. Соч. В 2-х т. Пер. с лат. М.: Мысль, 1977—1978, т. 1, с. 81—522.
- Вазари Дж.** Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 2-х т. Пер. с ит. М.; Л.: Academia, 1933 [1550].
- Вебер М.** Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990.
- Вебер М.** «Объективность» социально-научного и социально-политического познания [1904]. В: М. Вебер. Избр. произв. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990, с. 345—415.
- Вебер М.** Протестантская этика и дух капитализма [1904—1905]. В: М. Вебер. Избранные произведения Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990, с. 61—208.
- Вебер М.** Основные социологические понятия (из первой главы книги «Хозяйство и общество» [1921]. В: М. Вебер. Избр. произв. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990, с. 602—643.
- Веблен Т.** Теория праздного класса. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1984 [1899].
- Вжозек В.** Историография как игра метафор: судьбы «новой исторической науки» // Одиссей 1991, 1992, с. 60—74.
- Вико Дж.** Основания новой науки об общей природе наций. Пер. с ит. М.; Киев: REFL-book, 1994 [1725].
- Викселль К.** Денежный процент и цены благ [фрагмент из книги «Процент и цены»]. В сб.: Деньги (сер. «Теоретическая экономика в отрывках», вып. 2). М.: Плановое хозяйство, 1926, с. 123—128.
- Виндельбанд В.** История философии. Пер. с нем. СПб.: Издатель, 1898 [1878].
- Виндельбанд В.** Прелюдии: философские статьи и речи. Пер. с нем. СПб.: Жуковский, 1904.
- Виндельбанд В.** История и естествознание [1894]. В: В. Виндельбанд. Прелюдии: философские статьи и речи. Пер. с нем. СПб.: Жуковский, 1904, с. 313—333.
- Витрувий.** Десять книг об архитектуре. Пер. с лат. М.: Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1936.
- Володихин Д. М.** Маргинализация исторической информатики (о трудах А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского по «глобальной

- хронологии») // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер», июль 1996, №18, с. 116—126.
- Вундт В.** Классификация наук [1889]. В: В. Вундт. Введение в философию. Пер. с нем. СПб.: 6. изд., 1902, с. 32—65.
- Вундт В.** Проблемы психологии народов. М.: Космос, 1912 [1886].
- Гаджиев К. С.** США: эволюция буржуазного сознания. М.: Мысль, 1981.
- Гаджиев К.** Эволюция основных течений американской буржуазной идеологии. М.: Наука, 1982.
- Гаджиев К. С.** Конец европоцентристского мира и новая конфигурация геополитических сил. М.: Российская академия управления, 1993.
- Гайденок П. П.** Категория времени в буржуазной европейской философии истории. В: А. В. Гулыга и Ю. А. Левада (ред.). Философские проблемы исторической науки. М.: Наука, 1969, с. 250—262.
- Гайденок П. П.** Эволюция понятия науки. М.: Наука, 1980.
- Гайденок П. П.** Вильгельм Дильтей. В: В. А. Лекторский и др. (ред.). Современная западная философия. М.: Политиздат, 1991, с. 96—97.
- Гассенди П.** Свод философии Эпикура [1658]. В: П. Гассенди. Соч. Пер. с фр. В 2-х т. М.: Мысль, 1966—1968, т. 1, с. 107—400.
- Гегель Г. В. Ф.** Введение в философию (Философская пропедевтика). Пер. с нем. М.: Моск. Тимирязевский научно-исслед. ин-т, 1927 [1808—1811].
- Гегель Г. В. Ф.** Философия природы [1817]. В: Г. В. Ф. Гегель. Соч. В 14-и т. М.—Л.: Гос. изд-во, 1929—1958, т. 2.
- Гегель Г. В. Ф.** Философия истории (Лекции по философии истории) [1837]. В: Г. В. Ф. Гегель. Соч. В 14-и т. Пер. с нем. М.—Л.: Гос. изд-во, 1929—1958, т. 8.
- Геллер М.** Россия на распутье, 1990—1995. М.: МИК, 1996.
- Геллер М., Некрич А.** История Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 3-х т. М.: МИК, 1995.
- Гельвеций К. А.** О человеке, его умственных способностях и его воспитании. Пер. с фр. М.: Госсюцэкгиз, 1938 [1773].

- Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении [1963]. В: И. С. Кон (ред.). Философия и методология истории. М.: Прогресс, 1977, с. 72—93.
- Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977 [1784—1791].
- Геродот. История (в 9-и кн.). М.: Ладомир, 1993.
- Герье В. И. Философия истории от Августина до Гегеля. М.: б. изд., 1915.
- Гесиод. Теогония. В: Эллинские поэты. Пер. с древнегреч. М.: Госполитиздат, 1963, с. 169—202.
- Гесиод. Работы и дни. В: Эллинские поэты. Пер. с древнегреч. М.: Госполитиздат, 1963, с. 141—168.
- Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. Пер. с англ. М.: Солдатенков, 1883—1886 [1776—1788].
- Гидденс Э. Судьба, риск, безопасность [1991] // THESIS, 1994, вып. 5, с. 107—134.
- Гизо Ф. П. Г. История цивилизации в Европе. Пер. с фр. СПб.: Павленков, 1905 [1825].
- Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. СПб.: Безобразов, 1860 [1848].
- Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Пер. с фр. СПб.: Алетейя, 1995 [1890].
- Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. Пер. с фр. СПб.: Алетейя, 1995 [1893].
- Гневышев М. Н., Оль А. И. (ред.). Влияние солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли. М.: Наука, 1971.
- Гоббс Т. Левиафан [1651]. В: Т. Гоббс. Соч. В 2-х т. Пер. с англ. М.: Мысль, 1989—1991, т. 2.
- Гобзов И. А. Введение в философию истории. М.: Ассоциация «Гуманитарное знание», 1993.
- Гобсон Дж. А. Развитие современного капитализма. Пер. с англ. СПб.: Попова, 1898 [1894].
- Гобсон Дж. А. Империализм. Пер. с англ. Л.: Прибой, 1918 [1902].
- Гоголь Н. В. О средних веках [1834]. В: Н. В. Гоголь. Собр. соч. В 7-и т. М.: Художественная литература, 1978, т. 6, с. 28—39.

- Гоголь Н. В. О преподавании всеобщей истории [1835]. В: Н. В. Гоголь. Собр. соч. В 7-и т. М.: Художественная литература, 1978, т. 6, с. 40—52.
- Гольбах П. Система природы, или о законах мира физического и мира духовного [1770]. В: П. Гольбах. Избр. произв. В 2-х т. Пер. с фр. М.: Соцэкгиз, 1963, т. 1, с. 53—683.
- Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Мартис, 1995.
- Горохова К. Г., Григорьев Л. М. (ред.). Проблемы экономических циклов и кризисов в буржуазной экономической науке. Сборник обзоров. М.: ИНИОН АН СССР, 1988.
- Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М.: Наука, 1986 [1849—1850].
- Григорьев Л. М. Циклическое накопление капитала (на примере нефинансовых корпораций США). М.: Наука, 1988.
- Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. Пер. с англ. М.: Просвещение, 1969 [1963].
- Гуковский М. А. Итальянские энциклопедии XIII—XVI веков // Труды Ин-та книги, документа и письма, 1932, вып. II, с. 43—64.
- Гулыга А. В. О характере исторического знания // Вопросы философии, 1962, № 9, с. 28—38.
- Гулыга А. В. История как наука. В: А. В. Гулыга, Ю. А. Левада (ред.). Философские проблемы исторической науки. М.: Наука, 1969, с. 7—50.
- Гулыга А. В. Эстетика истории. М.: Наука, 1974.
- Гулыга А. В. Искусство в век науки. М.: Наука, 1978.
- Гулыга А. В. Кант сегодня. В: И. Кант. Трактаты и письма. Пер. с нем. М.: Наука, 1980.
- Гулыга А. В., Левада Ю. А. (ред.). Философские проблемы исторической науки. М.: Наука, 1969.
- Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. 3-е изд. Л.: Гидрометеиздат, 1990 [1979].
- Гуревич А. Я. Время как проблема культуры // Вопросы философии, 1969, № 3, с. 105—116.
- Гуревич А. Я. История и сага. М.: Наука, 1972.

- Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд. М.: Искусство, 1984 [1972].
- Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство, 1990.
- Гуревич А. Я., Харитонович Д. Э. История Средних веков. М.: Интерпракс, 1995.
- Гусарова Т. П. Хронология. В: Введение в специальные исторические дисциплины. М.: Изд-во Моск. ун-в., 1990, с. 174—198.
- Гуссерль Э. Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени [1928]. Пер. с нем. В: Э. Гуссерль. Собр. соч. М.: Гнозис, 1994, т. 1.
- Давыдов Ю. Н. Генезис понятия общества и политического господства у Платона. В: Ю. Н. Давыдов (ред.). История теоретической социологии. М.: Наука, 1995а, т. 1, с. 37—47.
- Давыдов Ю. Н. И. Кант. Рационалистическая дедукция механики прогресса. В: Ю. Н. Давыдов (ред.). История теоретической социологии. М.: Наука, 1995б, т. 1, с. 237—262.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. М.: Книга, 1991 [1871].
- Данилова О. Н., Петров В. М. Периодические процессы в музыкальном творчестве // Природа, 1988, № 10, с. 54—65.
- Далин В. М. Историки Франции XIX—XX веков. М.: Наука, 1981.
- Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор [1871]. В: Ч. Дарвин. Соч. В 9-и т. Пер. с англ. М.—Л.: Гос. изд. биологической и медицинской литературы, 1935—1959, т. 5.
- Дебидур А. Дипломатическая история Европы. В 2-х т. Пер. с фр. М.: Гос. изд. иностр. лит., 1947 [1893]. Т. 2: Революция.
- Декарт Р. Начала философии [1644]. В: Р. Декарт. Избр. произв. Пер. с фр. М.: Госполитиздат, 1950, с. 409—544.
- Джемс У. Психология. Пер. с англ. СПб.: Риккер, 1911 [1896].
- Дилигенский Г. Г. Историческая динамика человеческой индивидуальности // Одиссей 1992, 1994, с. 79—108.
- [Дильтей В.] Философия в систематическом изложении В. Дильтея. Пер. с нем. СПб.: б. изд., 1909.

- Дильтей В. Введение в науки о духе [предисловие]. В: Г. К. Косиков (ред.). Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.: Изд-во Моск. ун-в., 1987, с. 108—112.
- Дмитриева О. В. Генеалогия. В: Введение в специальные исторические дисциплины. М.: Изд-во Моск. ун-в., 1990, с. 6—39.
- Дружинин Н. М. и др. (ред.). Из истории социально-политических идей. М.: Изд-во АН СССР, 1955.
- Дрэпер Д. В. История Северо-Американской междоусобной войны: Природа и жизнь Америки и их отношение к происхождению войны. Пер. с англ. СПб.: б. изд., 1871 [1867—1870].
- Дубровский В. Н. Пространственно-временные концепции классической физики. В: Ю. Н. Молчанов (ред.). Философские аспекты учения о времени, пространстве, причинности и детерминизме. М.: Ин-т философии АН СССР, 1985, с. 3—20.
- Думнов Д. И., Рутгайзер В. М., Шмаров А. И. Бюджет времени населения: статистика, анализ, прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 1984.
- Дьяков В. А. Методология истории в прошлом и настоящем. М.: Мысль, 1974.
- Дьяконов И. М. Пути истории. М.: Восточная литература, 1994.
- Дэвис Н. З. Духи предков, родственники и потомки: некоторые черты семейной жизни во Франции начала нового времени [1977] // THESIS, 1994, вып. 6, с. 201—241.
- Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года // Одиссей 1991, 1992, с. 48—59.
- Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений [1903]. В: М. Мосс. Общества. Обмен. Личность. (Труды по социальной антропологии). Пер. с фр. М.: Восточная литература, 1996, с. 6—73.
- Евсевий Памфил. Церковная история. СПб.: б. изд., 1848.
- Ерунов Б. А. (ред.). Философские аспекты проблемы времени. Л.: ЛГПИ, 1978.
- Журавлев Л. А. Позитивизм и проблема исторических законов. М.: Изд-во Моск. ун-в., 1980.
- Завельский Ф. С. Время и его измерение. 5-е изд. М.: Наука, 1987.

- Зверева Г. И.** Морфология социальной истории. В: В. В. Согрин (ред.). Социальная история: проблемы синтеза. М.: ИВИ РАН, 1994, с. 35—45.
- Зейпель И.** Хозяйственно-этические взгляды отцов Церкви. М.: б. изд., 1913.
- Зелдин Т.** Социальная история как история всеобъемлющая [1976] // THESIS, 1993, вып. 1, с. 154—162.
- Зидер Р.** Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении «социального» [1990] // THESIS, 1993, вып. 1, с. 163—181.
- Зиммель Г.** Проблемы философии истории. Этюды о теории познания. Пер. с нем. М.: Книжное дело, 1898 [1892].
- Зиммель Г.** Проблема исторического времени [1917]. В: Г. Зиммель. Избранное. В 2-х т. Пер. с нем. М.: Юрист, 1996, т. 1, с. 517—529.
- Зомбарт В.** Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. Пер. с нем. М.: Наука, 1994 [1913].
- Зомбарт В.** Строй хозяйственной жизни. Пер. с нем. М.: Экономическая жизнь, 1926 [1925].
- Зомбарт В.** Современный капитализм. В 3-х т. Пер. с 5-го нем. изд. Л.: Путь к знанию, 1924—1929 [1. Aufl. 1902].
- Ибн Хальдун.** Введение (фрагменты). В: Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX—XIV вв. М.: Наука, 1961, с. 559—628.
- Идельсон Н. И.** История календаря [1925]. В: Н. И. Идельсон. Этюды по небесной механике. М.: Наука, 1976, с. 308—411.
- Иосиф Флавий.** Иудейские древности. В 2-х т. Пер. с древнегреч. М.: Наука, 1994.
- Иосиф Флавий.** О древности еврейского народа. Против Аппиона. В: Филон Александрийский. Против Флакка. Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Пер. с древнегреч. М.: Еврейский унив. в Москве, 1994, с. 113—189.
- Ирмшер Й., Йоне Р. (сост.)** Словарь античности. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1989 [1987].
- Каменецкий А. С.** Хронология. В: Еврейская энциклопедия. СПб.: Брокгауз—Ефрон, б. г., т. XV, с. 704—715.

- Каменцева Е. И.** Хронология. М.: Высшая школа, 1967.
- Камю А.** Бунтующий человек. Пер. с фр. М.: Политиздат, 1990 [1951].
- Кант И.** Критика чистого разума [1781]. В: И. Кант. Соч. В 6-и т. Пер. с нем. М.: Мысль, 1963—1966, т. 3.
- Кант И.** Критика практического разума [1788]. В: И. Кант. Соч. В 6-и т. Пер. с нем. М.: Мысль, 1963—1966, т. 4.
- Кант И.** Критика способности суждения [1790]. В: И. Кант. Соч. В 6-и т. Пер. с нем. М.: Мысль, 1963—1966, т. 5.
- Кант И.** Логика. Пособие к лекциям [1800]. В: И. Кант. Трактаты и письма. Пер. с нем. М.: Наука, 1980, с. 319—444.
- Капелюшников Р. И.** Современные буржуазные концепции формирования рабочей силы (критический анализ). М.: Наука, 1981.
- Капелюшников Р. И.** Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО АН СССР, 1990.
- Кареев Н. И.** Основные вопросы философии истории. М.: б. изд., 1883.
- Кареев Н.** Историология. (Теория исторического процесса). Пет-роград: Стасюлевич, 1915.
- Кареев Н. И.** История Западной Европы в новое время. В 7-и т. СПб.: б. изд., 1892—1917.
- Карлейль Т.** Французская революция. История. Пер. с англ. М.: Мысль, 1991 [1837].
- Карлейль Т.** Теперь и прежде (Герои... [1841]; Прошлое и настоящее [1843]; Этика жизни [отрывки]). Пер. с англ. М.: Республика, 1994.
- Какх Ю., Реммель М.** Опыт изучения циклов аграрного развития методами распознавания образов. В: И. Д. Ковальченко, В. А. Тишков (ред.). Количественные методы в советской и американской историографии. М.: Наука, 1983, с. 162—176.
- Кедров Б. М.** Классификация наук. В 2-х кн. М.: Мысль, 1961—1965.
- Кейнс Дж. М.** Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1978 [1936].

- Кендрик Дж.** Совокупный капитал США и его формирование. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1978 [1976].
- Киссель М. А. Р. Дж. Коллингвуд** — историк и философ. В: Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории. Автобиография. Пер. с англ. М.: Наука, 1980, с. 418—459.
- Климишин И. А.** Календарь и хронология. М.: Наука, 1981.
- Ключевский В. О.** Курс русской истории. Часть V [1921]. В: В. О. Ключевский. Соч. В 9-и т. М.: Мысль, 1989, т. 5.
- Ковальченко И. Д.** Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987.
- Ковальченко И. Д., Милов Л. В.** Всероссийский аграрный рынок XVIII—начала XX века: опыт количественного анализа. М.: Наука, 1974.
- Козеллек Р.** Случайность как последнее прибежище в историографии [1979] // THESIS, 1994, вып. 5, с. 171—184.
- Кокка Ю.** Социальная история: между структурной и эмпирической историей [1986] // THESIS, 1993, вып. 2, с. 174—189.
- Коллингвуд Р. Дж.** Идея истории [1946]. В: Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории. Автобиография. Пер. с англ. М.: Наука, 1980.
- Колпакова Б. Т., Патрушев В. Д. (ред.).** Бюджет времени городского населения. М.: Статистика, 1971.
- Кон И. С. (ред.).** Философия и методология истории. Сборник переводов. М.: Прогресс, 1977.
- Кон И. С. (ред.).** История буржуазной социологии XIX — начала XX века. М.: Наука, 1979.
- Кондорсе Ж. А. Н.** Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. Пер. с фр. М.: Academia, 1936 [1794].
- Кондратьев Н. Д.** К вопросу о понятиях экономической статистики, динамики и конъюнктуры [1924]. В: Н. Д. Кондратьев. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989, с. 48—90.
- Кондратьев Н. Д.** Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры, 1925, т. 1, вып. 1, с. 28—79.
- Кондратьев Н. Д.** Большие циклы конъюнктуры. Доклады и их обсуждение в Ин-те экономики [1928]. В: Н. Д. Кондратьев. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989, с. 170—411.

- Кондратьев Н. Д.** Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров. (К вопросу о теории относительной динамики и конъюнктуры) // Вопросы конъюнктуры, 1928, вып. 4, с. 1—85.
- Конрад Н. И.** Полибий и Сыма Цянь. В: Н. И. Конрад. Запад и Восток. 2-е изд. М.: Наука, 1972, с. 46—76.
- Конт О.** Курс положительной философии. Пер. с фр. СПб.: Посредник, 1899, т. 1 [1830].
- Конт О. [Отрывки]** // Родоначальники позитивизма, 1912, вып. 4.
- Корелин А. П. (ред.).** Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб.: Блиц, 1995.
- Кошкин Н. И., Ширкевич М. Г.** Справочник по элементарной физике. 4-е изд. М.: Наука, 1966.
- Крейд В. (сост.).** Воспоминания о серебряном веке. М.: Республика, 1993.
- Кропоткин П. А.** Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя? [1873]. В: Б. С. Итенберг (ред.). Революционное народничество 70-х годов XIX в. Сб. документов и материалов. М.—Л.: Наука, 1964, т. 1, с. 55—118.
- Ксенофонт.** О домашнем хозяйстве. В: Ксенофонт. Полн. собр. соч. Пер. с древнегреч. 4-е изд. М.: б. изд., 1887.
- Кудрявцев О. Ф.** Жажда наживы и религиозное благочестие (о принципах хозяйственного мышления в средние века). В: Ю. Н. Розалиев (ред.). Экономическая история: проблемы, исследования, дискуссии. М.: Наука, 1993, с. 36—62.
- Кузнецов В. Г.** Ньютон. М.: Мысль, 1982.
- Кутырев Б. П. (ред.).** Бюджет времени: вопросы изучения и использования. Новосибирск: Наука, 1977.
- Лависс Э., Рамбо А. (ред.).** История XIX века. В 8-и т. Пер. с фр. М.: ОГИЗ, 1938—1939 [1897—1903].
- Лаппо-Данилевский А. С.** Методология истории. СПб.: Студ. изд. комитет при историко-филологич. ф-те СПб. ун-в., 1910.
- Лебон Г.** Психологические законы эволюции народов. СПб.: б. изд., 1906 [1894].
- Лебон Г.** Психология народов и масс. СПб.: Макет, 1995 [1895].

- Левада Ю. А.** Историческое сознание и научный метод. В: А. В. Гулыга, Ю. А. Левада (ред.). *Философские проблемы исторической науки*. М.: Наука, 1969, с. 186—224.
- Леви-Брюль Л.** Первобытное мышление. Пер. с фр. М.: Атеист, 1930 [1910].
- Леви-Брюль Л.** Сверхъестественное в первобытном мышлении. Пер. с фр. М.: ГАИЗ, 1937 [1931].
- Леви-Стросс К.** Неприрученная мысль [1962]. В: К. Леви-Стросс. *Первобытное мышление*. Пер. с фр. М.: Республика, 1994, с. 111—336.
- Левинтон Г. А.** Легенды и мифы. В: С. А. Токарев (ред.). *Мифы народов мира*. В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980а, т. 2., с. 45—47.
- Левинтон Г. А.** Предания и мифы. В: С. А. Токарев (ред.). *Мифы народов мира*. В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980б, т. 2, с. 332—333.
- Ле Гофф Ж.** Цивилизация средневекового Запада. Пер. с фр. Москва: Прогресс—Академия, 1992 [1964].
- Ле Гофф Ж.** Является ли все же политическая история становым хребтом истории? [1971] // THESIS, 1994, вып. 4, с. 177—192.
- Лейбниц Г. В.** Рассуждения о метафизике [1685]. В: Г. В. Лейбниц. *Избр. философские соч.* Пер. с нем. М.: б. изд., 1890, с. 48—111.
- Ленин В. И.** Карл Маркс (краткий биографический очерк с изложением марксизма) [1915]. В: В. И. Ленин. *Полн. собр. соч.* 5-е изд. М.: Госполитиздат, 1961, т. 26, с. 43—93.
- Ленин В. И.** Империализм, как высшая стадия капитализма [1917]. В: В. И. Ленин. *Полн. собр. соч.* 5-е изд. М.: Госполитиздат, 1962, т. 27, с. 299—426.
- Ленин В. И.** Детская болезнь «левизны» в коммунизме [1920а]. В: В. И. Ленин. *Полн. собр. соч.* 5-е изд. М.: Госполитиздат, 1963, т. 41, с. 3—104.
- Ленин В. И.** О борьбе внутри итальянской социалистической партии [1920б]. В: В. И. Ленин. *Полн. собр. соч.* 5-е изд. М.: Госполитиздат, 1963, т. 41, с. 409—428.
- Леруа Ладюри Э.** История климата с 1000 года. Пер. с фр. Л.: Гидрометеоздат, 1971 [1967].

- Ле Руа Ладюри Э.** Застывшая история [1974] // THESIS, 1993, вып. 2, с. 153—173.
- Лист Ф.** Национальная система политической экономии. Пер. с нем. СПб.: Мертенс, 1891 [1841].
- Локк Дж.** Опыт о человеческом разуме [1690]. В: Дж. Локк. *Избр. философские произв.* В 2-х т. Пер. с англ. М.: Соцэгиз, 1960, т. 1.
- Лосев А. Ф.** Античный космос и современная наука. М.: Мосполиграф, 1927.
- Лосев А. Ф.** Историческое время в культуре классической Греции (Платон и Аристотель). В: М. А. Лившиц (ред.). *История философии и вопросы культуры*. М.: Наука, 1975, с. 7—61.
- Лосев А. Ф.** Античная философия истории. М.: Наука, 1977.
- Лосев А. Ф.** Жизненный и творческий путь Платона. В: Платон. *Собр. соч.* В 4-х т. Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1994, т. 1, с. 3—63.
- Лотман Ю. М.** Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992.
- Лотман Ю. М.** Внутри мыслящих миров. Человек—текст—семиосфера—история. М.: Языки русской культуры, 1996 [1990].
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А.** Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) [1976]. В: Б. А. Успенский. *Избр. труды*. В 2-х т. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996, т. 1, с. 124—141.
- Лозв М.** Теория вероятностей. Пер. с англ. М.: Иностранная литература, 1963 [1955].
- Луман Н.** Понятие риска [1991] // THESIS, 1994, вып. 5, с. 135—160.
- Луппол И. К.** Дени Дидро. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
- Луций Анней Сенека.** Нравственные письма к Луцилию. Пер. с лат. М.: Наука, 1977.
- Луций Анней Флор.** Две книги римских войн. В: А. И. Немировский (сост.). *Малые римские историки*. Пер. с лат. М.: Ладомир, 1996, с. 99—191.
- Люббе Г.** Что значит: «Этому можно дать только историческое объяснение»? [1973] // THESIS, 1994, вып. 4, с. 213—222.

- Майстров Л. Е.** Рунические календари // Историко-астрономические исследования, 1962, вып. VII, с. 269—283.
- Майстров Л. Е. и Просвиркина С. К.** Народные деревянные календари // Историко-астрономические исследования, 1960, вып. VI, с. 279—298.
- Макиавелли Н.** Государь [1532 (1513)]. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия [1531 (1513—1519)]. О военном искусстве [1521]. Пер. с ит. М.: Мысль, 1996.
- Макиавелли Н.** История Флоренции. Пер. с ит. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1973 [1532 (1520—1525)].
- Маколей Т. Б.** История Англии от восшествия на престол Якова II [1848]. В: Т. Маколей. Полн. собр. соч. В 16-и т. Пер. с англ. СПб.: Тиблен, 1860—1866, т. 6—14.
- Маленво Э.** Статистические методы эконометрии. Пер. с фр. М.: Статистика, 1976 [1969]. Вып. 2.
- Мальтус Т. Р.** Опыт о законе народонаселения. В 2-х т. Пер. с англ. СПб.: К. Т. Солдатенков, 1868 [1798].
- Мамардашвили М. К.** Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992.
- Мандельштам О. Э.** Деятнадцатый век [1922]. В: О. Э. Мандельштам. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987, с. 80—86.
- Манхейм К., фон.** Идеология и утопия [1929]. В: К. Манхейм. Диагноз нашего времени. Пер. с нем. и англ. М.: Юрист, 1994, с. 7—276.
- Маньковская Н. Б.** «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма). М.: Ин-т философии РАН, 1995.
- Марк Аврелий Антонин.** Размышления. Пер. с древнегреч. М.: Наука, 1993.
- Марк Туллий Цицерон.** Диалоги. О государстве. О законах. Пер. с лат. М.: Ладомир — Наука, 1994.
- Маркина О. В.** Взаимосвязь временных теорий. В: Ю. Б. Молчанов (ред.). Философские аспекты учения о времени, пространстве, причинности и детерминизме. М.: Ин-т философии АН СССР, 1985, с. 39—53.

- Маркс К.** К критике гегелевской философии права. Введение [1844]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1955, т. 1, с. 414—429.
- Маркс К.** Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона [1847]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1955, т. 4, с. 65—185.
- Маркс К.** Буржуазия и контрреволюция [1848]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1957, т. 6, с. 109—137.
- Маркс К.** Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта [1852]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1957, т. 8, с. 115—217.
- Маркс К.** К критике политической экономии. Предисловие [1859]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1959, т. 13, с. 1—167.
- Маркс К.** Письмо Энгельсу в Манчестер [7 сент. 1864 г.]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1963, т. 30, с. 351—354.
- Маркс К.** Капитал. Критика политической экономии. В 3-х т. [1867—1894]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1960—1962, т. 23—25.
- Маркс К. и Энгельс Ф.** Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании [1845]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1955, т. 2, с. 3—230.
- Маркс К. и Энгельс Ф.** Немецкая идеология [1932 (1846)]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1955, т. 3, с. 7—544.
- Маркс К. и Энгельс Ф.** Манифест Коммунистической партии [1848]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1955, т. 4, с. 419—459.
- Маршалл А.** Принципы политической экономии. В 3-х т. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1983—1984 [1890].
- Маслов С. Ю.** Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика, 1983, вып. 20, с. 3—31.
- Маслов С. Ю.** Теория дедуктивных систем и ее применение. М.: Радио и связь, 1986.

- Медик Х.** Микроистория [1994] // THESIS, 1994, вып. 4, с. 193—202.
- Мелетинский Е. М.** Просхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М.: Изд-во восточной литературы, 1963.
- Мелетинский Е. М.** Поэтика мифа. М.: Наука, 1976.
- Мелетинский Е. М.** Время мифическое. В: С. А. Токарев (ред.). Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980а, т. 1, с. 252—253.
- Мелетинский Е. М.** Эпос и мифы. В: С. А. Токарев (ред.). Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980б, т. 2, с. 664—666.
- Мелетинский Е. М.** Общее понятие мифа и мифологии. В: Е. М. Мелетинский (ред.). Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990, с. 634—640.
- Мельянцева В. А.** Доиндустриальный рост стран Запада: темпы, факторы, итоги и междивилизационные сопоставления. В: М. С. Мейер, А. М. Петров (ред.). Востоковедные историко-экономические чтения памяти В. И. Павлова. М.: ИСАА МГУ; ИВИ РАН, 1993, с. 97—136.
- Мельянцева В. А.** Россия, крупные страны Востока и Запада: контуры долговременного экономического развития // Вестник Моск. ун-та, сер. 13, Востоковедение, 1995, № 2, с. 31—52.
- Мельянцева В. А.** Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996.
- Меньшиков С. М.** Инфляция и кризис регулирования экономики. М.: Мысль, 1979.
- Меньшиков С. М., Клименко Л. А.** Длинные волны в экономике (когда общество меняет кожу). М.: Международные отношения, 1989.
- Мечников Л. И.** Цивилизация и великие исторические реки. Пер. с фр. М.: Голос труда, 1924 [1889].
- Миллс Р.** Властвующая элита. Пер. с англ. М.: Иностранная литература, 1959 [1949].
- Милль Дж. С.** Система логики силлогической и индуктивной. Пер. с англ. М.: Леман, 1914 [1843].

- Милль Дж. С.** Основы политической экономии. В 3-х т. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1980—1981 [1848].
- Мило Д.** За экспериментальную, или веселую, историю [1990] // THESIS, 1994, вып. 5, с. 185—205.
- Милютин В. А.** Опыт о народном богатстве [1847]. В: В. А. Милютин. Избр. произв. М.: Госполитиздат, 1946, с. 273—444.
- Миронов Б. Н.** Хлебные цены в России за два столетия (XVIII—XIX вв.). Л.: Наука, Ленингр. отд., 1981.
- Миронов Б. Н.** История в цифрах. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1991.
- Молчанов Ю. Б.** Четыре концепции времени в философии и физике. М.: Наука, 1977.
- Молчанов Ю. Б. (ред.).** Философские аспекты учения о времени, пространстве, причинности и детерминизме. М.: Ин-т философии АН СССР, 1985.
- Молчанов Ю. Б.** Проблема времени в современной науке. М.: Наука, 1990.
- Монтескье Ш. Л.** О духе законов [1748]. В: Ш. Л. Монтескье. Избр. произв. Пер. с фр. М.: Госполитиздат, 1955, с. 159—733.
- Мор Т.** Утопия. Пер. с лат. М.: Наука, 1978 [1516].
- Морган Л. Г.** Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Пер. с англ. Л.: Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1935 [1877].
- Мэнкью Н. Г.** Макроэкономика. Пер. с англ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994 [1992].
- Найт Ф.** Понятия риска и неопределенности [1921] // THESIS, 1994, вып. 5, с. 12—28.
- Народное хозяйство СССР за 70 лет.** Юбилейный статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987.
- Нейман Дж., фон, Моргенштерн О.** Теория игр и экономическое поведение. Пер. с англ. М.: Наука, 1970 [1943].
- Немировский А. И.** Луций Анней Флор. В: А. И. Немировский (сост.). Малые римские историки. Пер. с лат. М.: Ладомир, 1996, с. 267—301.

- Неусыхин А. И.** Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к раннефеодальному (на материале истории Западной Европы раннего средневековья) // Вопросы истории, 1967, № 1, с. 75—87.
- Ницше Ф.** Антихристианин [1888]. Пер. с нем. В: Сумерки богов (Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм и др.). М.: Политиздат, 1989, с. 17—93.
- Нуреев Р. М.** Экономический строй докапиталистических формаций. Душанбе: Дониш, 1989.
- Ньютон И.** Математические начала натуральной философии [1687]. Пер. с англ. В: Собр. трудов академика А. Н. Крылова. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1936, т. VII.
- Овидий.** Метаморфозы. Пер. с лат. М.: Художественная литература, 1977.
- Ойкен В.** Основы национальной экономии. Пер. с нем. М.: Экономика, 1996 [1940].
- Ортега-и-Гассет Х.** Время, расстояние и форма в искусстве Пруста [1923а]. В: Х. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. Пер. с исп. М.: Искусство, 1991, с. 176—186.
- Ортега-и-Гассет Х.** Тема нашего времени [1923б]. В: Х. Ортега-и-Гассет. Что такое философия? Пер. с исп. М.: Наука, 1991, с. 3—50.
- Ортега-и-Гассет Х.** Вокруг Галилея (схема кризисов) [1929]. В: Х. Ортега-и-Гассет. Изб. труды. Пер. с исп. М.: Весь мир, 1997, с. 233—403.
- Ортега-и-Гассет Х.** Восстание масс [1930]. В: Х. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. Пер. с исп. М.: Искусство, 1991, с. 309—349.
- Оруэлл Дж.** 1984. Пер. с англ. М.: ДЭМ, 1989 [1949].
- Осипова Е. В.** Социологическая система Вильфреда Парето. В: Г. В. Осипов (ред.). История социологии в Западной Европе и США. М.: Наука, 1993, с. 212—230.
- Патрушев В. Д. (ред.).** Проблемы совокупного баланса времени и итоги исследования. Новосибирск: Наука, 1969.
- Патрушев В. Д.** Использование совокупного времени общества (проблемы баланса времени населения). М.: Мысль, 1978.

- Патрушев В. Д. (ред.).** Тенденции изменения бюджета времени трудящихся. М.: Ин-т социологии АН СССР, 1979.
- Патрушев В. Д. (ред.).** Время населения: динамика его использования. М.: Ин-т социологии РАН, 1992.
- Пачоли Л.** Трактат о счетах и записях. Пер. с ит. М.: Финансы и статистика, 1994 [1494].
- Петров В. М.** Эта таинственная цикличность // Число и мысль, 1986, вып. 9, с. 86—112.
- Петров В. М.** Перестройка: волевое решение или социально-психологическая потребность общества? // Радуга, 1989, № 9, с. 73—83.
- Пиаже Ж.** Избр. психологические труды. Пер. с фр. М.: Просвещение, 1969.
- Платон.** Государство. В: Платон. Собр. соч. В 4-х т. Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1994, т. 3, с. 79—420.
- Платон.** Тимей. В: Платон. Собр. соч. В 4-х т. Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1994, т. 3, с. 421—500.
- Плеханов Г. В.** На пороге XX века [1902]. В: Г. В. Плеханов. Соч. М.: Госиздат, 1924, т. XII, с. 62—66.
- Плотин.** Эннеады. Пер. с лат. Киев: УЦИММ-Пресс, 1995.
- Плотинский Ю. М.** Математическое моделирование динамики социальных процессов. М.: Изд-во Моск. ун-ва, 1992.
- Полани М.** Личностное знание. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1985 [1957].
- Полетаев А. В.** Клиометрика — новая экономическая история — историческая экономика // Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли, 1989, вып. 1, с. 37—54.
- Полетаев А. В., Савельева И. М.** Циклы Кондратьева и развитие капитализма (опыт междисциплинарного исследования). М.: Наука, 1993.
- Полибий.** Всеобщая история (в 40 кн.). Пер. с древнегреч. В 3-х т. М.: Павленков, 1890—1899.
- Пономарев А. Л.** Когда Литва летает или почему история не прирастает трудами А. Т. Фоменко // Информационный бюллетень.

ть ассоциации «История и компьютер», июль 1996, № 18, с. 127—154.

Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. Пер. с англ. М.: Культурная инициатива, 1992 [1945].

Поппер К. Нищета историцизма. Пер. с англ. М.: Прогресс—VIA, 1993 [1957].

Поршиев Б. Ф. О начале человеческой истории. В: А. В. Гулыга, Ю. А. Левада (ред.) *Философские проблемы исторической науки*. М.: Наука, 1969, с. 80—112.

Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1994 [1994].

Пронштейн А. П., Кияшко В. Я. Хронология. М.: Высшая школа, 1981.

Ранке Л., фон. Об эпохах новой истории. Лекции, читанные баварскому королю Максимилиану II. Пер. с нем. М.: тип. И. А. Баландина, 1898 [1854].

Раннева Н. А. Концепция «жизненного цикла» и ее использование при анализе долговременных колебаний во внешней торговле и мировом экономическом развитии. В: Р. М. Энтов, Н. А. Макашева (ред.). *Долговременные тенденции капиталистического воспроизводства. Сборник обзоров. Вып. 2.* М.: ИНИОН АН СССР, 1989, с. 104—127.

Раппопорт Х. Философия истории в ее главнейших течениях. СПб.: Павленков, 1898.

Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1985 [1928].

Репина Л. П. Социальная история на пороге XXI века: от междисциплинарного анализа к новому историческому синтезу. В: В. В. Согрин (ред.). *Социальная история: проблемы синтеза*. М.: ИВИ РАН, 1994, с. 10—22.

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. Пер. с нем. СПб.: Образование, 1911 [1889].

Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. Пер. с нем. СПб.: Кускова, 1903 [1896].

Риккерт Г. Философия истории. Пер. с нем. СПб.: Жуковский, 1908 [1904].

Роббинс Л. Предмет экономической науки [1935] // *THESIS*, 1993, вып. 1, с. 10—23.

Родс У., Фейбридж А. Х. (ред.). Солнечная активность и изменения климата. Пер. с англ. Л.: Гидрометеиздат, 1966 [1961].

Рошер В. Г. Ф. Краткие основы курса политической экономии с точки зрения исторического метода. Пер. с нем. СПб.: Солдатенков, 1891 [1854].

Рыбаков Б. А. Календарь IV в. из земли полян // *Советская археология*, 1962а, № 4, с. 66—89.

Рыбаков Б. А. Календарь древних славян. В: В. Р. Келлер (ред.). *Наука и человечество*. М.: Знание, 1962б, с. 95—105.

Савельева И. М. Альтернативный мир: модели и идеалы. М.: Наука, 1990.

Савельева И. М. Концепции длинных волн в историко-социальных исследованиях. В: Р. М. Энтов, Н. А. Макашева (ред.). *Долговременные тенденции капиталистического воспроизводства. Сборник обзоров. Вып. 2.* М.: ИНИОН АН СССР, 1989, с. 128—144.

Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления [1978] // *THESIS*, 1993, вып. 3, с. 16—38.

Салаи А. и др. Международное сравнительное исследование бюджета времени. Пер. с англ. Новосибирск: Наука, 1969.

Сартр Ж.-П. Проблема метода. М.: Прогресс, 1994.

Селешников С. И. История календаря и хронологии. 3-е изд. М.: Наука, 1977.

Сен-Симон А. К., де. Письма женевого обитателя к современникам [1802]. В: А. Сен-Симон. Избр. произв. В 2-х т. Пер. с фр. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1948, т. 1, с. 105—145.

Сен-Симон А. К., де. Труд о всемирном тяготении [1813]. В: А. Сен-Симон. Избр. произв. В 2-х т. Пер. с фр. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1948, т. 1, с. 207—290.

Сен-Симон А. К., де. Катехизис промышленников [1823]. В: А. Сен-Симон. Избр. произв. В 2-х т. Пер. с фр. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1948, т. 2, с. 121—272.

Сервантес Сааведра, М. де. Дон Кихот Ламанчский. Пер. с исп. В 2-х т. М.: Молодая гвардия, 1976 [1605].

- Симон К. Р.** Термины «Энциклопедия» и «Свободные искусства» в их историческом развитии // Советская библиография, 1947, вып. 3, с. 62—81.
- Смит А.** Исследование о природе и причинах богатства народов. Пер. с англ. М.: Соцэгиз, 1962 [1776].
- Смит Д. С.** Смертность в США до 1900 г. В: И. Д. Ковальченко, В. А. Тишков (ред.). Количественные методы в советской и американской историографии. М.: Наука, 1983, с. 394—425.
- Соколов В. В. и др. (ред.).** Антология мировой философии. В 4-х т. М.: Мысль, 1969—1972.
- Спенсер Г.** Классификация наук. Пер. с англ. М.: Книжное дело, 1897 [1864].
- Спенсер Г.** Прогресс, его закон и причина. Научные, политические и философские опыты [1857]. Пер. с англ. СПб.: б. изд., 1866, т. 1.
- Спенсер Г.** Соч. В 7-и т. Пер. с англ. СПб.: Издатель, 1898—1900 [1862—1893].
- Спиноза Б., де.** Основы философии Декарта, доказанные геометрическим способом. Приложение, содержащее метафизические мысли [1663]. В: Б. Спиноза. Избр. произв. В 2-х т. Пер. с лат. М.: Госполитиздат, 1957, т. 1, с. 265—316.
- Стиглер Дж. Дж.** Экономическая теория информации [1961]. В: В. М. Гальперин (ред.). Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа, 1995, с. 507—529.
- Стоун Л.** Будущее истории // THESIS, 1994, вып. 4, с. 160—176.
- Струве В. В.** Хронология Манефона и периоды Сотис. В: А. С. Орлов (ред.). Вспомогательные исторические дисциплины. Сборник статей. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1937, с. 19—64.
- Супрун П. И.** Бюджет времени трудящихся. М.: Экономика, 1972.
- Сюзюмов М. Я.** Хронология всеобщая. 2-е изд. Свердловск, 1971.
- Такман Б.** Августовские пушки. Пер. с англ. М.: Молодая гвардия, 1972 [1962].
- Тард Г., де.** Общественное мнение и толпа. Пер. с фр. М.: б. изд., 1902 [1901].
- Тарнопольская И. О.** О магической природе методологии моделирования (дидактический аспект) // Информационный бюл-

- летень ассоциации «История и компьютер», август 1995, № 15, с. 69—73.
- Твен М., Уорнер Ч. Д.** Позолоченный век [1873]. В: Марк Твен. Собр. соч. В 8-и т. М.: Правда, 1980, т. 3.
- Тернер Б.** Современные направления развития теории тела [1993] // THESIS, 1994, вып. 6, с. 137—167.
- Тит Лукреций Кар.** О природе вещей. Пер. с лат. М.: Художественная литература, 1983.
- Тойнби А.** Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии. Пер. с англ. М.: Мир, 1924 [1884].
- Тойнби А. Дж.** Постигание истории. Сборник. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991 [1934—1961].
- Токарев С. А.** Религия в истории народов мира. 3-е изд. М.: Политиздат, 1976.
- Токарев С. А.** Истоки этнографической науки (до середины XIX в.). М.: Наука, 1978а.
- Токарев С. А.** Четыре основные концепции исторического процесса. В: Т. В. Николаева (ред.). Древняя Русь и славяне. М.: Наука, 1978б, с. 10—20.
- Токарев С. А.** Золотой век. В: С. А. Токарев (ред.). Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980, т. 1, с. 471—472.
- Токвиль А.** Старый порядок и революция. Пер. с фр. Пг.: Сотрудничество, 1918 [1856].
- Толстой А. К.** История государства Российского от Гостомысла до Тимашева [1868]. В: А. К. Толстой. Соч. В 2-х т. М.: Художественная литература, 1981, т. 1, с. 251—265.
- Толстой Л. Н.** Война и мир. В 2-х т. М.: Просвещение, 1957.
- Томашевский Б. В.** Пушкин и Франция. Л.: Советский писатель, 1960.
- Топоров В. Н.** Древо жизни. Древо мировое. В: С. А. Токарев (ред.). Мифы народов мира. В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980а, т. 1, с. 396—406.
- Топоров В. Н.** История и мифы. В: С. А. Токарев (ред.). Мифы народов мира. В 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980б, т. 1, с. 572—574.

- Трельч Э.** Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. Пер. с нем. М.: Юрист, 1994 [1922].
- Тэйлор Э. Б.** Введение к изучению человека и цивилизации. (Антропология). Пер. с англ. Пг.: Мысль, 1924 [1881].
- Тэйлор Э. Б.** Первобытная культура. Пер. с англ. М.: Соцэгиз, 1939 [1871].
- Тюнен И., фон.** Изолированное государство. Пер. с нем. М.: Экономическая жизнь, 1926 [1826].
- Тюрго А. Р. Ж.** Размышления о создании и распределении богатств [1769]. В: А. Р. Ж. Тюрго. Избр. экономические произв. Пер. с фр. М.: Соцэгиз, 1961, с. 94—158.
- Тюрго А. Р. Ж.** Последовательные успехи человеческого разума [1750а]. В: А. Р. Ж. Тюрго. Избр. философские произв. Пер. с фр. М.: Гос. соц.-эк. изд-во, 1937, с. 49—73.
- Тюрго А. Р. Ж.** Рассуждения о всеобщей истории [1750б]. В: А. Р. Ж. Тюрго. Избр. философские произв. Пер. с фр. М.: Гос. соц.-эк. изд-во, 1937, с. 77—142.
- Уитроу Дж.** Естественная философия времени. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1964 [1961].
- Уколова В. И.** Арнольд Тойнби и постижение истории. В: А. Дж. Тойнби. Постигание истории. Сборник. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991, с. 5—13.
- Успенский Б. А.** История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема) [1988—1989]. В: Б. А. Успенский. Избр. труды. В 2-х т. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996, т. 1, с. 9—70.
- Успенский Б. А.** Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва — третий Рим». В: Б. А. Успенский. Избр. труды. В 2-х т. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996, т. 1, с. 83—123.
- Утченко С. Л.** Глазами историка. М.: Наука, 1966.
- Февр Л.** Проблема «человеческой географии» [1923]. В: Л. Февр. Бои за историю. Пер. с фр. М.: Наука, 1991, с. 159—175.
- Февр Л.** От Шпенглера к Тойнби [1936]. В: Л. Февр. Бои за историю. Пер. с фр. М.: Наука, 1991, с. 72—96.
- Февр Л.** История и психология [1938]. В: Л. Февр. Бои за историю. Пер. с фр. М.: Наука, 1991, с. 97—108.

- Февр Л.** Чувствительность и история [1941]. В: Л. Февр. Бои за историю. Пер. с фр. М.: Наука, 1991, с. 109—125.
- Февр Л.** Лицом к ветру [1946]. В: Февр Л. Бои за историю. Пер. с фр. М.: Наука, 1991, с. 39—47.
- Февр Л.** Научный порыв Возрождения [1950а]. В: Л. Февр. Бои за историю. Пер. с фр. М.: Наука, 1991, с. 388—393.
- Февр Л.** Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II [1950б]. В: Л. Февр. Бои за историю. Пер. с фр. М.: Наука, 1991, с. 176—186.
- Февр Л.** Как Жюль Мишле открыл Возрождение [1950в]. В: Л. Февр. Бои за историю. Пер. с фр. М.: Наука, 1991, с. 377—387.
- Федоров Н. Ф.** Горизонтальное положение и вертикальное — смерть и жизнь [1851]. В: Н. Ф. Федоров. Соч. Философия общего дела. М.: Мысль, 1982, с. 507—521.
- Федотова В. Г.** Понимание в системе методологических средств современной науки. В: Рузавин Г. И. (ред.). Проблемы объяснения и понимания в научном познании. М.: Ин-т философии АН СССР, 1982, с. 87—117.
- Фергюсон А.** Опыт истории гражданского общества. В 3-х ч. Пер. с англ. СПб.: 6. изд., 1817—1818 [1765].
- Ферро М.** Как рассказывают историю детям в разных странах мира. Пер. с фр. М.: Высшая школа, 1992 [1986].
- [Филон Александрийский.]** Филон Иудеянин о субботе и прочих ветхозаветных праздниках. М.: 6. изд., 1783.
- Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.** Экономика. Пер. с англ. М.: Дело, 1993 [1988].
- Фома Аквинский.** Сумма теологии (отрывки). В: В. В. Соколов и др. (ред.). Антология мировой философии. В 4-х т. М.: Мысль, 1969—1972, т. 1, ч. 2, с. 824—857; также в: Ю. Боргош. Фома Аквинский. М.: Мысль, 1966.
- Фоменко А. Т.** Методы статистического анализа нарративных текстов и приложений к хронологии. М.: Изд-во Моск. ун-в., 1990.
- Фомичев П. Н.** Современные социологические теории социального времени (научно-аналитический обзор). М.: ИНИОН РАН, 1993.

- Франк С. Л.** Крушение кумиров. Берлин: YMCA-Press, 1924.
- Франклин Б.** Необходимые советы тем, кто хотел бы стать богатым [1736]. В: В. Франклин. Избр. произв. Пер. с англ. М.: Госполитиздат, 1956, с. 80—81.
- Франклин Б.** Совет молодому торговцу [1748]. В: В. Франклин. Избр. произв. Пер. с англ. М.: Госполитиздат, 1956, с. 82—83.
- Франклин Б.** Очерк об английской школе [б. г.]. В: В. Франклин. Избр. произв. Пер. с англ. М.: Госполитиздат, 1956, с. 573—578.
- Фрейд З.** Леонардо да Винчи. Пер. с нем. Л.: Аврора, 1991 [1910].
- Фрейд З.** Человек по имени Моисей и монотеистическая религия. Пер. с нем. М.: Наука, 1993 [1936].
- Фромм Э.** Бегство от свободы. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1990 [1941].
- Фромм Э.** Иметь или быть? Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986 [1976].
- Фукидид.** История (в 8-и кн.). Пер. с древнегреч. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1981.
- Фуко М.** Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. СПб.: А-сэд, 1994 [1966].
- Фурман Д. Е.** Религия и социальные конфликты в США. М.: Наука, 1981.
- Фурье Ш.** Заблуждение разума, доказанное смехотворными сторонами неопределенных наук [1847]. В: Ш. Фурье. Избр. соч. В 4-х т. Пер. с фр. М.: Изд-во АН СССР, 1951—1954, т. 2, с. 7—129.
- Фурье Ш.** Новый хозяйственный мир, или природосообразный социетарный способ действия [1829]. В: Ш. Фурье. Избр. соч. В 4-х т. Пер. с фр. М.: Изд-во АН СССР, 1951—1954, т. 3, с. 113—213.
- Фюстель де Куланж Н. Д.** Гражданская община античного мира. Пер. с фр. М.: Солдатенков, 1867 [1864].
- Хаджнал Дж.** Европейский тип брачности в исторической перспективе [1965]. В: А. Г. Вишневский и И. С. Кон (ред.). Брачность, рождаемость, семья за три века. М.: Статистика, 1979, с. 14—70.
- Хайдеггер М.** Время картины мира [1950]. В: М. Хайдеггер. Время и бытие. Пер. с нем. М.: Республика, 1993, с. 41—62.

- Хайдеггер М.** Время и бытие [1968]. В: М. Хайдеггер. Время и бытие. Пер. с нем. М.: Республика, 1993, с. 391—406.
- Хансен Э.** Экономические циклы и национальный доход. Пер. с англ. М.: Иностранная литература, 1959 [1951].
- Харц Л.** Либеральная традиция в Америке. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1993 [1955].
- Хвостов В. М.** Теория исторического процесса. Очерки по философии и методологии истории. 2-е изд. М.: Моск. научн. изд-во им. Г. М. Марк при Моск. научн. ин-те, 1919 [1909].
- Хейзинга Й.** Homo ludens [1938]. В: Й. Хейзинга. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Пер. с голл. М.: Прогресс—Академия, 1992, с. 5—240.
- Хеннан Э. Дж.** Анализ временных рядов. Пер. с англ. М.: Наука, 1964 [1960].
- Хлебников В.** Учитель и ученик (о словах, городах и народах) [1912]. В: В. Хлебников. Творения. М.: Советский писатель, 1986, с. 584—591.
- Хобсбаум Э.** Эхо Марсельезы. Пер. с англ. М.: Интер-Версо, 1991 [1990].
- Хобсбаум Э. Дж.** От социальной истории к истории общества [1971]. В: И. С. Кон (ред.). Философия и методология истории. Сборник переводов. М.: Прогресс, 1977, с. 289—321.
- Хомяков А. С.** Мнение русских об иностранцах [1845]. В: А. С. Хомяков. Полн. собр. соч. 2-е изд. М.: б. изд., 1878—1880, т. 1, с. 31—69.
- Хук С.** «Если бы» в истории [1943] // THESIS, 1994, вып. 5, с. 206—215.
- Церен Э.** Лунный бог. Пер. с нем. М.: Наука, 1976 [1959].
- Цыбульский В. В.** Календарь и хронология стран мира. М.: Просвещение, 1982.
- Черчилль У.** Вторая мировая война. В 3-х кн. (6 т.). Пер. с англ. М.: Воениздат, 1991 [1948—1954].
- Четыркин Е. М.** Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело, 1992.

- Чижевский А. Л.** Ближе к солнцу — ближе к истине. Из книги «Физические факторы исторического процесса» [1924] // Сибирские огни, 1990, № 9, с. 136—156.
- Чижевский А. Л.** Земное эхо солнечных бурь. 2-е изд. М.: Мысль, 1976 [1936].
- Чижевский А. Л.** Земля в объятиях Солнца [1929—1933]. В: А. Л. Чижевский. Космический пульс жизни. М.: Мысль, 1995.
- Чижев Е.** Классификация наук // Северный вестник, 1896, № 12, с. 67—88.
- Шамурин Е. И.** Очерки по истории библиотечно-библиографической классификации. В 2-х т. М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1955—1959.
- Шацкий Е.** Утопия и традиция. Пер. с польск. М.: Прогресс, 1990 [1971].
- Шекспир У.** Как вам это понравится. В: У. Шекспир. Полн. собр. соч. В 8-и т. Пер. с англ. М.: Искусство, 1957—1960, т. 5, с. 5—112.
- Шелер М.** Человек и история [1929] // THESIS, 1993, вып. 3, с. 132—154.
- Шеллинг Ф. Г. И.** Система трансцендентального идеализма. Пер. с нем. Л.: Соцэкгиз, 1936 [1800].
- Шмятенков В. Г.** Теории капитала. М.: Мысль, 1977.
- Шкловский В.** Искусство как прием [1917]. В: В. Шкловский. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983.
- Шкуратов В. А.** Историческая психология на перекрестках цивилизации // Одиссей 1991, 1992, с. 103—114.
- Шкуратов В. А.** Историческая психология. Ростов-на-Дону: Город N, 1994.
- Шлезингер А. М., мл.** Циклы американской истории. Пер. с англ. М.: Прогресс-Академия, 1992 [1986].
- Шоню П.** Экономическая история: проблемы и перспективы [1974] // THESIS, 1993, вып. 1, с. 137—151.
- Шпенглер О.** Закат Европы. Т. 1: Образ и действительность. Пер. с нем. Новосибирск: Наука, 1993 [1918].
- Шпотов Б. М.** Промышленный переворот в США. В 2-х ч. М.: ИВИ АН СССР, 1991.

- Штаерман Е. М.** Социальные основы религии Древнего Рима. М.: Наука, 1987.
- Штомпка П.** Социология социальных изменений. Пер. с англ. М.: Аспект-Пресс, 1996 [1993].
- Шукшин В. М.** До третьих петухов. В: В. Шукшин. Я пришел дать вам волю. Кишинев: Литература артистика, 1982, с. 360—401.
- Шульц Т.** Ценность детей [1974] // THESIS, 1994, вып. 6, с. 37—49.
- Шумпетер Й.** История экономического анализа. Гл. 1—2 [1954] // Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли, 1989, вып. 1, с. 248—310; 1990, вып. 2, с. 220—258.
- Эко У.** Заметки на полях «Имени розы» [1980]. В: У. Эко. Имя розы. Пер. с ит. М.: Книжная палата, 1989, с. 427—467.
- Элиаде М.** Миф о вечном возвращении (архетипы и повторение) [фр. изд. 1949]. В: М. Элиаде. Космос и история (избр. работы). Пер. с фр. М.: Прогресс, 1987, с. 27—144.
- Элиаде М.** Священное и мирское. Пер. с фр. М.: Изд-во Моск. унив., 1994 [1-е нем. изд. 1957].
- Элькин Д. Г.** Восприятие времени. М.: Академия пед. наук РСФСР, 1962.
- Энгельс Ф.** Анти-Дюринг [1878]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1961, т. 20, с. 1—338.
- Энгельс Ф.** Происхождение семьи, частной собственности и государства [1884]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1961, т. 21, с. 23—178.
- Энгельс Ф.** Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии [1886]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1961, т. 21, с. 269—317.
- Энгельс Ф.** Диалектика природы [1925 (1886)]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1961, т. 20, с. 339—626.
- Энгельс Ф.** Введение к брошюре Боркхейма «На память ура-патриотам 1806—1807 годов» [1888]. В: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1961, т. 21, с. 356—361.

- Энтов Р. М.** Эволюция буржуазной теории цикла: новые тенденции. В: К. Г. Горохова, Л. М. Григорьев (ред.). Проблемы экономических циклов и кризисов в буржуазной экономической науке. Сборник обзоров. М.: ИНИОН АН СССР, 1988, с. 14—44.
- Энтов Р. М., Макашева Н. А. (ред.).** Долговременные тенденции в капиталистическом воспроизводстве. Реферативный сборник. М.: ИНИОН АН СССР, 1985.
- Энтов Р. М., Макашева Н. А. (ред.).** Долговременные тенденции капиталистического воспроизводства. Реферативный сборник. Вып. 2. М.: ИНИОН АН СССР, 1989.
- Эрикссон Э. Г.** Молодой Лютер: психоаналитическое историческое исследование. Пер. с англ. М.: Медиум, 1995 [1958].
- Эрроу К.** Восприятие риска в психологии и экономической науке [1982] // THESIS, 1994, вып. 5, с. 81—90.
- Якимова Е. В.** Социальное объяснение психологического поведения // THESIS, 1993, вып. 2, с. 214—227.
- Ярошевский М. Г.** История психологии. М.: Мысль, 1976.
- Ясперс К.** Истоки истории и ее цель [1948]. В: К. Ясперс. Смысл и назначение истории. Пер. с нем. М.: Политиздат, 1991, с. 27—287.
- Abramovitz M.** The Nature and Significance of Kuznets Cycles // Economic Development and Cultural Change, April 1961, v. 9, no. 3, p. 225—248.
- Abramovitz M.** Evidence of Long Swings in Aggregate Construction Since the Civil War. N. Y.: NBER, 1964.
- Abramovitz M.** The Passing of the Kuznets Cycle // Economica, 1968, v. 35, no. 140, p. 349—367.
- Abrams Ph.** Historical Sociology. Somerset: Open Books, 1982.
- Adam B.** Social versus Natural Time, A Traditional Distinction Re-Examined. In: M. Young, T. Schuller (eds.). The Rythms of Society. L.; N. Y.: Routledge, 1988, p. 198—226.
- Adams B.** The Law of Civilization and Decay. N. Y.: Macmillan, 1897.
- Adams H.** The Degradation of Democratic Dogma. N. Y.: Smith, 1949 [1919].
- Adams H.** The Rule of Phase Applied to History [1909]. In: H. Adams. The Tendency of History. N. Y.: Book League of America, 1929.

- Adams H.** History of the United States of America During the Administrations of Thomas Jefferson and James Madison. N. Y.: Scribner, 1931 [1889—1891].
- Adorno T. et al.** The Authoritarian Personality. N. Y.: Harper, 1950.
- Aglietta M.** A Theory of Capitalist Regulation: The U. S. Experience. L.: New Left Books, 1979. [Fr. ed. 1974].
- Åkerman J.** Economic Progress and Economic Crises. Philadelphia: Porcupine Press, 1979 [1932].
- Åkerman J.** Structures et cycles économiques. 2 vol. P.: Presses univ. de France, 1957.
- Akin J. S., Stewart J. F.** The Time Allocation Decision and Achievement Patterns of Young Children // Economics of Education Review, 1982, v. 2, no. 4, p. 307—330.
- Albion R. G.** The Rise of the New York Port, 1815—1860. N. Y.: Scribner's, 1939.
- Alderfer E., Michle H. E.** Economics of American Industry. N. Y.; L.: McGraw-Hill, 1942.
- Alesina A.** Macroeconomic Policy in a Two-Party System as a Repeated Game // Quarterly Journal of Economics, 1987, v. 102, no. 3, p. 651—677.
- Alesina A., Sachs J.** Political Parties and Business Cycle in the United States, 1948—1984 // Journal of Money, Credit and Banking, 1987, v. 20, no. 1, p. 63—82.
- Alesina A., Londregan J., Rosenthal H.** A Model of the Political Economy of the United States // NBER Working Paper no. 3611, February 1991.
- Alexander P. (ed.).** Utopias. L.: Duckworth, 1984.
- Amin S.** Toward a Structural Crisis of World Capitalism // Socialist Revolution, 1975, v. 5, no. 1, p. 9—44.
- Ampère A. M.** Essai sur la philosophie des sciences en exposition analytique d'une classification naturelle de toutes les connaissances humaines. P.: Bachelier, 1834.
- Anderson P.** Lineages of the Absolutist State. L.: New Left Books, 1974.
- Ando A., Modigliani F.** The «Life-Cycle» Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests // American Economic Review, 1963, v. 53, no. 1, p. 55—84.
- Apter D.** Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1968.

- Armstrong W. H. C.** Heavens Below: Utopian Experiments in England, 1560—1960. L.: Routledge & Kegan Paul, 1961.
- Aron R.** Dimensions de la connaissance historique. P.: Plon, 1961.
- Aron R.** La philosophie critique de l'histoire. P.: Vrin, 1950.
- Arrighi G.** The Long Twentieth Century. Binghamton: Verso, 1994.
- Arrow K. J.** Limited Knowledge and Economic Analysis // American Economic Review, March 1974, v. 64, no. 1, p. 1—10.
- Arrow K. J.** The Future and the Present in Economic Life // Economic Inquiry, April 1978, v. 16, no. 1, p. 157—169.
- Ashley M.** The Golden Century: Europe, 1598—1715. N. Y.: Praeger, 1968.
- Ashton T. S.** Economic Fluctuations in England, 1700—1800. Oxford: Clarendon Press, 1959.
- Ashton T. (ed.).** Crisis in Europe, 1560—1660. N. Y.: Basic Books, 1965.
- Attias-Donfut C.** Sociologie des générations. P.: Presses univ. de France, 1988.
- Avenel G., d'** Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général, depuis 1200 jusqu'à l'an 1800. 7 vol. P.: Leroux, 1894—1926.
- Ayres R. U.** The Industry-Technology Life Cycle: An Integrated Meta-Model? Laxenburg (Austria): IIASA, 1987.
- Baechler J. et al. (eds.).** Europe and the Rise of Capitalism. Oxford: Blackwell, 1989.
- Baehrel R.** Une croissance: La Basse-Provence rurale (fin du XVI^e siècle — 1789). 2 vol. P.: SEVPEN, 1961.
- Bagwell P. S.** The Transport Revolution from 1770. L.: Battersford, 1974.
- Bairoch P.** De Jericho à Mexico: Villes et économies dans l'histoire. P.: Gallimard, 1985.
- Barg M. A.** The English Revolution of the 17th Century through Portraits of Its Leading Figures. Moscow: Progress, 1990.
- Barkun M.** Communal Societies as Cyclical Phenomena // Communal Societies, 1984, v. 4, no. 1, p. 35—48.
- Barr J.** Biblical Words for Time. L.: SCM Press, 1962.
- Barr K.** Long Waves: A Selective Annotated Bibliography // Review, 1979, v. 2, no. 4, p. 675—718.

- Barr K.** Long Waves and Cotton-Spinning Enterprise, 1789—1849. In: T. K. Hopkins, I. Wallerstein (eds.). The Political Economy of the World-System. 3 vol. Beverly Hills (CA): Sage Publications, 1980, v. 3, p. 84—100.
- Barthes R.** Le discours de l'histoire // Social Science Information, 1967, v. 6, no. 4, p. 65—75.
- Bauman Z.** Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press, 1989.
- Becker G. S.** Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. N. Y.: NBER, 1964.
- Becker H. P.** Through Values to Social Interpretation: Essays on Social Contexts, Actions, Types and Prospects. N. Y.: Greenwood Press, 1968 [1950].
- Beeson C. F. C.** English Church Clocks, 1280—1850: History and Classification. L.: Antiquarian Horological Society, 1971.
- Bell D.** The End of Ideology. Glencoe (Ill.): Free Press, 1960.
- Bell D.** The Study of the Future // Public Interest, Fall 1965, no. 1, p. 119—130.
- Bell D.** The End of American Exceptionalism // Public Interest, Fall 1975, no. 41, p. 193—224.
- Belloni M.** Social Time Dimensions as Indicators of Class Distinctions in Italy // International Social Sciences Journal, 1986, v. 38, no. 1 (107), p. 65—76.
- Bender J., Wellbery D. E. (eds.).** Chronotypes. The Construction of Time. Stanford: Stanford Univ. Press, 1991.
- Benedict R.** Patterns of Culture. Boston (MA): Houghton Mifflin, 1959 [1934].
- Bentham J.** Chrestomatia. L.: Creery, 1816—1817.
- Bergmann W.** Die Zeitstrukturen sozialer Systeme: Eine systemtheoretische Analyse. Berlin: Duncker und Humboldt, 1981.
- Bergmann W.** Das Problem der Zeit in der Soziologie // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1983, Bd. 35, H. 3, S. 462—504.
- Bergson A.** Creative Evolution. N. Y.: Henry Holt, 1911 [Fr. ed. 1907].
- Bernis G., de.** Régulation ou équilibre dans l'analyse économique. In: A. Lichnerowicz, F. Perroux, G. Gadoffre (eds.). L'idée de régulation dans les sciences. P.: Maloine et Douin, 1977, p. 85—101.
- Bernstein E. M.** War and the Pattern of Business Cycles // American Economic Review, 1940, v. 30, no. 2, p. 524—535.
- Besançon A.** Michelet, Dostoievski, l'Histoire // Contrepoint, 1975, no. 19, p. 87—101.
- Best F.** Flexible Life Scheduling. N. Y.: Praeger, 1980.

- Biddle J., Hammermesh D.** Sleep and the Allocation of Time // *Journal of Political Economy*, October 1990, v. 98, no. 5, pt. 1, p. 922—943.
- Bienfeld M. A.** Working Hours in British Industry: An Economic History. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1972.
- Black C. E.** The Dynamics of Modernization. N. Y., etc.: Harper & Row, 1966.
- Blaug M.** An Introduction to the Economics of Education. Oxford: Pergamon Press, 1970.
- Bloomfield A. I.** Patterns of Fluctuation in International Investment before 1914. (Princeton Studies in International Finance, no. 21). Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1968.
- Blueprints for Survival** // *Ecologist*, 1972, v. 6, no. 2, p. 8—20.
- Blumenberg H.** Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.
- Blyton P.** Changes in Working Time: An International Review. L.: Croom Helm, 1985.
- Blyton P.** The Working Time Debate in Western Europe // *Industrial Relations*, 1987, v. 26, no. 2, p. 201—207.
- Blyton P. et al.** Time, Work and Organization. L.: Routledge, 1989.
- Boas F.** Anthropology and Modern Life. N. Y.: Allen & Unwin, 1929.
- Bobinska C.** Historiker und historische Wahrheit. Berlin: Dietz, 1967.
- Boccara P.** Etudes sur le capitalisme monopoliste d'Etat, sa crise, et son issue. P.: Editions Sociales, 1973.
- Böhm-Bawerk E., von.** Capital and Interest. V. 2: Positive Theory of Capital [Germ. ed. 1889]. In: E. Böhm-Bawerk. Capital and Interest. 3 vol. South Holland (Ill.): Libertarian Press, 1959.
- Bondi G.** Deutschlands Aussenhandel, 1815—1870. Berlin: Akademie Verlag, 1958.
- Boorstin D.** The Genius of American Politics. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1953.
- Boorstin D. J.** The Discoverers. N. Y.: Random House, 1983.
- Boorstin D. G.** Cleopatra's Nose. N. Y.: Random House, 1994.
- Booth N. S., Jr.** Time and Change in African Traditional Thought // *Journal of Religion in Africa*, 1975, v. 7, no. 1, p. 81—91.
- Bosquet M.** Ce qui nous manque pour etre heureux // *Nouvel observateur*, septembre 1978, no. 722, p. 30—31.

- Boudon R.** Theories of Social Change: A Critical Appraisal. Cambridge: Polity Press, 1991 [Fr. ed. 1984].
- Bourdieu P.** The Attitude of the Algerian Peasant Towards Time // *Mediterranean Countryman*, 1963, v. 6, no. 1, p. 55—72. Reprinted as: Time Perspectives of the Kabyle. In: J. Hassard (ed.). The Sociology of Time. L.: Macmillan, 1990, p. 219—237.
- Bourdieu P.** Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977.
- Bourdieu P.** The Logic of Practice. Stanford: Stanford Univ. Press, 1990.
- Bouvier J.** Mouvement ouvrier et conjonctures économiques // *Le mouvement social*, jul.—sept. 1964, no. 48, p. 3—31.
- Bowen H. R. et al.** Investment in Learning. San Francisco: Jossey-Bass, 1978.
- Bowles S., Edwards R.** Understanding Capitalism. Competition, Command and Change in the U. S. Economy. N. Y.: Harper & Row, 1985.
- Boyer R.** La Theorie de la Regulation: une analyse critique. P.: La Decouverte, 1986.
- Brabant F.** Time and Eternity in Christian Thought. L.: Longman, Green & Co., 1937.
- Bracher K. D.** Wendezeiten der Geschichte. Stuttgart: DVA, 1992.
- Brand K.-W.** Historical Antecedents of New Social Movements in Britain, Germany, and the United States. Paper prepared for a seminar on New Social Movements, Talahassee, Florida, April 2—4, 1987.
- Brandon S. G. F.** Time and Mankind: A Historical and Philosophical Study of Mankind's Attitude to the Phenomena of Change. L., etc.: Hutchinson & Co., 1951.
- Brandon S. G. F.** History, Time and Deity: A Historical and Comparative Study of the Conception of Time in Religious Thought and Practice. Manchester: Manchester Univ. Press; N. Y.: Barnes & Noble, 1965.
- Braudel F.** La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Phillippe II. 2 vol. P.: A. Colin, 1949.
- Braudel F.** On History. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1980.
- Braudel F.** The Perspective of the World. N. Y.: Harper & Row, 1984.
- Braudel F., Spooner F. C.** Prices in Europe from 1450 to 1750, In: E. E. Rich, E. H. Wilson (eds.). The Cambridge Economic History of Europe. L.: Cambridge Univ. Press, 1967, v. 4, p. 374—486.

- Brentano F.** Psychologie vom empirischen Standpunkt. Leipzig: Meiner, 1924—1928 [1874].
- Brown L.** By Bread Alone. Oxford: Pergamon Press, 1975.
- Brown L.** The Twenty Ninth Day: Accomodating Human Needs and Numbers to Earth Resources. N. Y.: Norton, 1978.
- Brown L.** Building a Sustainable Society. N. Y.: Norton, 1981.
- Bruton E.** The History of Clocks and Watches. L.: Orbis, 1979.
- Brzezinski Z.** Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-first Century. N. Y.: Collier Books, 1993.
- Buchmann M.** The Script of Life in Modern Society. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1989.
- Buhl W. L.** Kulturwandel: Für eine dynamische Kulturosoziologie. Darmstadt: Wiss. Buchges, 1987.
- Burckhardt J.** Briefe zur Erkenntnis seiner geistigen Gestalt. Leipzig: Kröner, 1936.
- Burguière A.** La notion des les «Mentalités» chez Marc Bloch et Lucien Febre: deux conceptions, deux filiations // *Revue de Synthèse*, 1983, no. 111/112, p. 333—348.
- Burke P.** Popular Culture in Early Modern Europe. L.: Temple Smith, 1978.
- Burke P.** History and Social Theory. Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1993.
- Burman R.** Time and Socioeconomic Change on Simbo Solomon Islands // *Man: The Journal of Royal Anthropological Institute*, 1981, v. 16, no. 2, p. 251—267.
- Burns A. F.** Production Trends in the United States Since 1870. N. Y.: NBER, 1934.
- Burns A. F., Mitchell W. C.** Measuring Business Cycles. N. Y.: NBER, 1946.
- Butterfield H.** Man on His Past. The Study of the History of Historical Scholarship. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1955.
- Cairncross A.** Home and Foreign Investment, 1870—1913. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1953.
- Cairnes G. E.** Philosophies of History: Meeting of East and West in Cycle-Pattern Theories of History. N. Y.: Philosophical Library, 1962.
- Cameron R.** The Logistics of European Economic Growth: A Note on Historical Periodization // *Journal of European Economic History*, Spring 1973, v. 2, no. 1, p. 145—148.

- Cameron R.** Economic History, Pure and Applied // *Journal of Economic History*, March 1976, v. 36, no. 2, p. 3—27.
- Cameron R.** A Concise Economic History of the World. From Paleolithic Times to the Present. N. Y.: Oxford: Oxford Univ. Press, 1989.
- Čapek M.** The Philosophical Impact of Contemporary Physics. Princeton (NJ): D. van Nostrand, 1961.
- Čapek M.** Bergson and Modern Physics. Dordrecht (Holland): D. Reidel, 1971.
- Carr D.** Time, Narrative and History. Bloomington (Ind.): Indiana Univ. Press, 1987.
- Carr E. H.** What is History? L.: Macmillan, 1962.
- Cass D., Shell K.** Do Sunspots Matter? // *Journal of Political Economy*, April 1983, v. 91, no. 2, p. 193—227.
- Cellarius Ch.** Historia tripartita universalis. 3 vol. Jenae: n. s., 1685—1698.
- Certeau M., de.** The Writing of History. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1988 [Fr. ed. 1975].
- Chambers J. D., Mingay G. E.** The Agricultural Revolution, 1750—1880. L.: Batsford, 1966.
- Chandler A. D.** The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business. Cambridge (MA): The Belknap Press, 1977.
- Chapman S. J.** Hours of Work // *Economic Journal*, 1909, v. 19, no. 73/74, p. 355—368.
- Chartier R.** Cultural History. Between Practices and Representations. Oxford: Polity Press, 1988.
- Chastel A.** The Crisis of the Renaissance, 1520—1600. Genève: Skira, 1968.
- Chaunu H., Chaunu P.** Séville et Atlantique (1504—1650). 2 vol. P.: SEVPEN, 1955—1957.
- Chaunu P.** Un nouveau champ pour l'histoire sérielle: Le quantitatif au troisième niveau. In: *Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel*. 2 vol. Toulouse: Privat, 1973, v. 2, p. 105—125.
- Chaunu P.** De l'histoire à la prospective. P.: Laffont, 1975a.
- Chaunu P.** Le temps des réformes. La crise de la chrétienté: L'éclatement, 1250—1550. P.: Fayard, 1975b.
- Chladenius J. M.** Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger Reden und Schriften. Düsseldorf: Stern-Verlag Janssen, 1969 [1742].

- Chladenius J. M.** Allgemeine Geschichtswissenschaft, worinnen der Grund zu einer neuen Einsicht in allen Arten der Gelehrtheit gelegt wird. Leipzig: F. Lanchischens Erben, 1752.
- Cipolla C. M.** Clocks and Culture: 1300—1700. L.: Collins, 1967.
- Cipolla C. M.** Literacy and Development in the West. Harmondsworth: Penguin Books, 1969.
- Cipolla C. M.** Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000—1700. 2nd ed. L.: Methuen, 1981 [1976].
- Ciriacy-Wantrup S., von.** Agrarkrisen und Stockungsspannen zur Frage der langen «Welle» in der wirtschaftlichen Entwicklung. Berlin: P. Parey, 1936.
- Clanchy M. T.** From Memory to Written Record: England, 1066—1307. L.: Edward Arnold, 1979.
- Clapham J. H.** The Economic Development of France and Germany, 1815—1914. 4th ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1953.
- Clark C.** The Conditions of Economic Progress. 2nd ed. L.: Macmillan, 1951.
- Clark P.** Time, Space and Social Discourse: Social Change in British Cities in the Eighteenth Century (unpublished article).
- Cleary M. N., Hobbs G. D.** The Fifty Year Cycle: A Look at the Empirical Evidence. In: C. Freeman (ed.). Long Waves in the World Economy. L.: Butterworth, 1983, p. 164—182.
- Clouse R. G.** The Church in the Age of Orthodoxy and the Enlightenment: Consolidation and Challenge from 1700 to 1800. St. Louis: Concordia, 1980.
- Coats A. W.** Changing Attitudes to Labor in the Mid-Eighteenth Century // The Economic History Review, 1958, v. 11, no. 1, p. 35—51.
- Codrington R. H.** The Melanesians. Oxford: Clarendon Press, 1891.
- Cohen J.** Psychological Time in Health and Disease. Springfield (Ill.): Charles C. Thomas, 1967.
- Cole W. A.** Long-term Trends in the Economy of Pre-Industrial England. In: Proceedings of the Eighth International Economic History Congress. Budapest, 1982, Section B3, p. 6—16.
- Collingwood R. G.** Essays in the Philosophy of History. Austin: Univ. of Texas Press, 1965.
- Colson F. H.** The Week. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1926.
- Comte A.** Cours de philosophie positive. P.: Bachelier, 1839, v. 4.

- Conze W.** Die Stellung der Sozialgeschichte in Forschung und Unterricht // Geschichte in Forschung und Unterricht, 1952, Bd. 3, H. 2, S. 648—657.
- Conze W.** Strukturgeschichte des technisch-industriellen Zeitalters als Aufgabe für Forschung und Unterricht. (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 66). Köln u. a.: Westdeusch. Verlag, 1956.
- Coolidge D., Coolidge M. R.** The Navajo Indians. Boston; N. Y.: Harper, 1930.
- Coombs R.** Long Waves as Labor-Process Change // Review, 1984, v. 7, no. 4, p. 675—701.
- Cooney E. W.** Long Waves in Building in the British Economy of the Nineteenth Century // Economic History Review, 2nd Ser., December 1960, v. 13, no. 2, p. 257—267.
- Cornélius F.** Die Weltgeschichte und ihre Rhythmus. München: Reinhardt, 1925.
- Coser L. A., Coser R. L.** Time Perspective in Social Structure. In: A. W. Gouldner, H. P. Gouldner (eds.). Modern Sociology. L.: Rupert Hart-Davis, 1963, p. 638—651.
- Cottle T. J., Klineberg S. L.** The Present of Things Future: Explorations of Time in Human Experience. N. Y.: Free Press, 1974.
- Cournot A. A.** Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique. P.: Hachette, 1912 [1851].
- Crafts N. F. R.** British Economic Growth During the Industrial Revolution. Oxford: Oxford Univ. Press, 1985.
- Croce B.** Zur Theorie und Geschichte der Historiographie. Tübingen: Mohr, 1915 [It. ed. 1912—1913].
- Croce B.** History — Its Theory and Practice [1916]. In: P. Gardiner (ed.). Theories of History. Glencoe (Illinois): Free Press, 1959, p. 225—241.
- Croce B.** Storiografia e idealità morale. Bari: Laterza, 1950.
- Cronin J. E.** Industrial Conflict in Modern Britain. L.: Croom Helm, 1979.
- Cronin J. E.** Stages, Cycles and Insurgencies: The Economics of Unrest. In: T. K. Hopkins, I. Wallerstein (eds.). The Political Economy of the World-System. 3 vol. Beverly Hills (CA): Sage Publications, 1980, v. 3, p. 101—118.
- Cross R.** The Duhem—Quine Thesis: Lakatos and the Appraisal of Theories in Macroeconomics // Economic Journal, 1982, v. 92, no. 365, p. 320—340.
- Crouzet F.** Essai de construction d'un indice annuel de la production industrielle française au XIX^e siècle // Annales: E. S. C., 1970, no. 1, p. 69—83.

- Culler J.** On Deconstruction: Theory and Criticism After Structuralism. L., etc.: Routledge & Kegan Paul, 1983.
- Cullmann O.** Christ and Time. Philadelphia: The Westminster Press, 1964.
- Currie M., Steedman I.** Wrestling with Time: Problems in Economic Theory. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1990.
- Danto A. C.** Analytical Philosophy of History. Cambridge (MA): Cambridge Univ. Press, 1965.
- Darnton R.** Intellectual and Cultural History. In: M. Kammen (ed.). The Past before Us: Contemporary Historical Writing in the United States. Ithaca (NY); L.: Cornell Univ. Press, 1980, p. 327—354.
- Darnton R.** The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. N. Y.: Basic Books, 1984.
- Davis N. Z.** Society and Culture in Early Modern France. Stanford: Stanford Univ. Press, 1975.
- Deane Ph.** The First Industrial Revolution. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1967.
- DeGrazia S.** Of Time, Work, and Leisure. N. Y.: The Twentieth Century Fund, 1962.
- DeGrazia S.** Time and Work. In: H. Yaker et al. (eds.). The Future of Time. New Anchor: Anchor Books, 1972.
- Dehio L.** The Precarious Balance: Four Centuries of the European Power Struggle. N. Y.: Vintage Books, 1962 [1948].
- Delbeke J.** Recent Long-Waves Theories: A Critical Survey // Futures, 1981, v. 13, no. 4, p. 246—257.
- Denzin N. K.** On Time and Mind. In: N. K. Denzin (ed.). Studies in Symbolic Interaction, vol. 4. Greenwich (CT): JAI Press, 1982, p. 35—43.
- Desai A.** A Real Wages in Germany, 1871—1913. Oxford: Clarendon Press, 1968.
- DeSerpa A. C.** A Theory of the Economics of Time // Economic Journal, December 1971, v. 81, no. 324, p. 828—846.
- Dickinson F. G.** An Aftercost of the World War to the United States // American Economic Review, 1940, v. 30, Supplement, p. 326—339.
- Dickinson J. C.** Monastic Life in Medieval England. L.: Adam & Charles Black, 1961.
- Dilthey W.** Novalis [1866]. In: W. Dilthey. Das Erlebnis und die Dichtung. Stuttgart: Teubner, 1957.

- Dilthey W.** Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. H. 1: Abhandlungen zur Grundlegung der Geisteswissenschaften [1875]. In: W. Dilthey. Gesammelte Schriften. Leipzig; Berlin: Teubner, 1924, Bd. 5.
- Dilthey W.** Einleitung in die Geisteswissenschaften. Leipzig: Duncker und Humblot, 1883, Bd. 1.
- Doran Ch. F.** The Politics of Assimilation: Hegemony and Its Aftermath. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1971.
- Douglas M.** Natural Symbols: Explorations in Cosmology. Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
- Douglas M.** Essays in the Sociology of Perception. L.: Routledge & Kegan Paul, 1982a.
- Douglas M.** In the Active Voice. L.: Routledge & Kegan Paul, 1982b.
- Downs A.** An Economic Theory of Democracy. N. Y.: Harper & Row, 1957.
- Drass K. A., Kiser E.** Structural Roots of Visions of the Future: World-System Crisis and Stability and the Production of Utopian Literature in the United States, 1883—1975 // International Studies Quarterly, 1988, v. 32, no. 4, p. 421—438.
- Dromel J.** La loi des revolutions. Les générations, les nationalités, les dynasties, les religions. P.: Didier, 1862.
- Duby G.** L'Histoire et ses méthodes. P.: Gallimard—Pléiade, 1961.
- Duby G.** Lignage, noblesse et chevalerie au XII^e siècle dans la région mâaconnaise // Annales: ESC, 1972, v. 27, no. 4/5, p. 803—823.
- Duggan J.** The Experience of Time as a Fundamental Element of the Stock of Knowledge in Medieval Society // Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters (Heidelberg), 1987, Bd. 11, H. 1, S. 127—134.
- Duijn J. J., van.** The Long Wave in Economic Life. Boston: Allen & Unwin, 1983 [Dutch ed. 1979].
- Dumenil G., Levy D.** Theory and Facts: What Can We Learn from a Century of History of U. S. Economy? Paper presented at the International Conference on Regulation Theory. Barselona, Spain, June 1988.
- Dumézil G.** Mythe et épopée. 3 vol. P.: Éditions Gallimard, 1968—1973.
- Dupriez L. H.** Des mouvements économiques généraux. 2 vol. Louvain: Institut de recherches économiques et sociales de l'université de Louvain, 1947.
- Durkheim É.** The Elementary Forms of Religious Life. Glencoe (Ill.): Free Press, 1947 [Fr. ed. 1912].

- Easterlin R. A.** Population, Labor Force, and Long Swings in Economic Growth. N. Y.: NBER, 1968.
- Easterlin R. A.** Why Isn't the Whole World Developed? // *Journal of Economic History*, March 1981, v. 41, no. 1, p. 1—19.
- Easterlin R. A., Wachter M., Wachter S.** The Changing Impact of Population Swings on the American Economy // *Proceedings of the Amer. Philosoph. Society*, 1978, v. 122, no. 3, p. 119—130.
- Ebeling D., Irsigler F.** Getreideumsatz, Getreide- und Brotpreise in Köln, 1368—1797. Cologne: Bohlau-Verlag, 1976.
- Edelstein L.** The Idea of Progress in Classical Antiquity. Baltimore (Md.): Johns Hopkins Press, 1967.
- Edlund M.** Psychological Time and Mental Illness. N. Y.: Gardner Press, 1986.
- Eisenstadt S. N.** Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1966.
- Eisenstadt S. N.** Revolutions and the Transformation of Society. N. Y.: Free Press, 1978.
- Ekssteins M.** Rites of Spring: The Great War and the Birth of Modern Age. Boston: Houghton Mifflin, 1989.
- Elder G.** Family History and the Life Course // *Journal of Family History*, 1979a, no. 2, p. 279—304.
- Elder G.** Historical Changes in Life Patterns and Personality. In: P. B. Baltes, O. G. Brim, Jr. (eds.). *Life Span Development and Behavior*. N. Y.: Praeger, 1979b, v. 2, p. 117—159.
- Elder R. E., Holmes J. E.** International Economic Long Cycles and American Policy Moods. In: P. M. Johnson, W. R. Thompson (eds.). *Rhythms in Politics and Economics*. N. Y.: Praeger, 1985, p. 239—264.
- Elias N.** The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. 2 vol. Oxford: Basil Blackwell, 1978 [Germ. ed. 1939].
- Elias N.** What is Sociology? L.: Hutchinson, 1978.
- Elias N.** Über die Zeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984.
- Elias N.** The Retreat of Sociologists into the Present // *Theory, Culture and Society*, 1987, v. 4, no. 2—3, p. 223—248.
- Elton G. R.** The History of England. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984.
- Erikson R.** The Puzzle of Midterm Loss // *Journal of Politics*, 1988, v. 50, no. 4, p. 1011—1029.

- Erikson R.** Economic Conditions and the Presidential Vote // *American Political Science Review*, 1989, v. 83, no. 2, p. 567—576.
- Evan W. M.** Cohort Analysis of Survey Data: A Procedure for Studying Long-Term Opinion Change // *Public Opinion Quarterly*, 1959, v. 23, no. 1, p. 63—72.
- Evans-Pritchard E. E.** Nuer Time-Reckoning // *Africa*, 1939, v. 12, no. 2, p. 189—216.
- Evans-Pritchard E. E.** The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. L.: Oxford Univ. Press, 1940.
- Evans-Pritchard E. E.** Essays in Social Anthropology. L.: Faber & Faber, 1962.
- Fabian J.** Time and the Other: How Anthropology Makes it Object. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1983.
- Fair R. C.** The Effect of Economic Events on Votes for Presidents // *Review of Economics and Statistics*, 1978, v. 60, no. 2, p. 159—172.
- Fair R. C.** The Effect of Economic Events on Votes for Presidents: 1980 Results // *Review of Economics and Statistics*, 1982, v. 64, no. 2, p. 322—325.
- Fair R. C.** The Effect of Economic Events on Votes for Presidents: 1984 Update // *Political Behavior*, 1988, v. 10, no. 1, p. 168—179.
- Fairbank J. K.** Trade and Diplomacy on the China Coast. Stanford: Stanford Univ. Press, 1969.
- Farrar L. L., Jr.** Cycles of War: Historical Speculations on Future International Violence // *International Interactions*, 1977, v. 3, no. 1, p. 161—179.
- Febvre L., Batallon L.** La terre et l'évolution humaine. P.: La renaissance du libre, 1922.
- Feis H.** Europe, the World's Banker, 1870—1914. New Haven (CT): Yale Univ. Press, 1930.
- Ferguson W. K.** The Renaissance in Historical Thought. Boston: Houghton Mifflin, 1948.
- Ferrari G.** Teoria dei periodi politici. Milano—Napoli: Hoepli, 1874.
- Feuer L. B.** The Conflict of Generations. The Character and Significance of Student Movement. N. Y.; L.: Basic Books, 1969.
- Filipцова B., Filipec J.** Society and Concepts of Time // *International Social Science Journal*, 1986, no. 107, p. 19—32.
- Finberg H. P. R. (ed.).** Approaches to History. Toronto: Univ. of Toronto Press, 1962.

- Fine S.** Laisser-faire at the General Welfare State, 1865—1901. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1956.
- Fisher I.** The Theory of Interest (Extensive Revision of the «Rate of Interest», 1907). N. Y.: Macmillan, 1930.
- Fisher I.** The Nature of Capital and Income. N. Y.: Macmillan, 1923.
- Flaherty M.** Temporality and Social Psychology // Studies in Symbolic Interaction, 1986, v. 8. p. 103—128.
- Flaherty M.** Multiple Realities and the Experience of Duration // Sociological Quarterly, 1987, v. 28, no. 3, p. 313—326.
- Flora P.** Modernisierungsforschung: Sur empirischen Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1974.
- Florina M.** Retrospective Voting in American National Elections. New Haven (CT): Yale Univ. Press, 1981.
- Floud R., Wachter K., Gregory A.** Height, Health and History: Nutritional Status in the United Kingdom, 1750—1980. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
- Fogarty R.** Dictionary of American Community and Utopian History. Westport (CT); L.: Greenwood Press, 1980.
- Fogel R. W.** Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History. Baltimore: John Hopkins Press, 1964.
- Fogel R. W.** Nutrition and the Decline in Mortality since 1700: Some Preliminary Findings. In: S. L. Engerman, R. E. Gallman (eds.). Long-Term Factors in American Economic Growth. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1986, p. 439—527.
- Fogel R. W., Engerman S. L.** Time on the Cross: The Economics of the American Negro Slavery. 2 vol. Boston: Little, Brown, 1974.
- Fontvieille L.** Les mouvements longs de Kondratieff et la théorie de la régulation // Issues: Cahiers de recherche d'économie et politique, novembre 1979, v. 4, no. 1, p. 3—36.
- Foucault M.** L'Archéologie du Savoir. P.: Gallimard, 1969.
- Foucault M.** L'Ordre du Discours. P.: Gallimard, 1970.
- Foucault M.** Discipline and Punish: The Birth of the Prison. L.: Penguin Books, 1977 [Fr. ed. 1975].
- Foucault M.** Histoire de la sexualité. 3 vol. P.: Éditions Gallimard, 1976—1984.
- Fraisse P.** The Psychology of Time. N. Y.: Harper & Row, 1963 (transl.).

- Frank A. G.** World Accumulation, 1492—1789. N. Y.: Monthly Review Press, 1978.
- Frank A. G.** A Theoretical Introduction to 5,000 Years of World System History // Review, Spring 1990, v. 13, no. 2, p. 155—248.
- Frank A. G., Fuentes M.** Nine Theses on Social Movements // IFDA Dossier (Lyon/Genève), January 1987, no. 63.
- Frank A. G., Fuentes M.** Civil Democracy: Social Movements in Recent World History. In: S. Amin et al. Transforming the Revolution. Social Movements and the World-System. N. Y.: Monthly Review Press, 1990, p. 139—180.
- Frankenberg R. (ed.).** Time and Health. L.: Routledge, 1989.
- Frédéric le Grand.** Œuvres. Berlin: Decker, 1848.
- Freeman C., Clark J., Soete L.** Unemployment and Technical Innovation. L.: Frances Pinter, 1982.
- Freud S.** Civilization and Its Discontents. L.: Hogarth Press, 1930 [Germ ed. 1930].
- Friberg M.** Four Waves of Political Mobilization in Europe. Paper presented at UNU Workshop on Social Movements, Gothenburg, Sweden, 1987.
- Friedman M., Schwartz A. J.** A Monetary History of the United States, 1867—1960. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1963.
- Friedman M., Schwartz A. J.** Monetary Statistics of the United States: Estimates, Sources, Methods. N. Y.: NBER, 1970.
- Friedman M., Schwartz A. J.** Monetary Trends in the United States and the United Kingdom: Their Relation to Income, Prices and Interest Rates, 1867—1975. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1982.
- Friedrich J.** Astrologie und Reformation, oder die Astrologen als Prediger der Reformation und Urheber des Bauernkriegs. München: Rieger, 1864.
- Fuentes M., Frank A. G.** Ten Theses on Social Movements // World Development (Washington/Oxford), February 1989.
- Fukuyama F.** The End of History and the Last Man. L.: Penguin Books, 1992.
- Furet F.** L'histoire et l'«homme sauvage». In: J. Doumoulin, D. Moisi (eds.). L'historien entre l'ethnologue et futurologue. P.: Mouton, 1972, p. 70—93.
- Furet F.** Penser la Révolution française. P.: Gallimard, 1978.
- Furet F., Richet D.** La Révolution française. P.: Fayard, 1973.
- Furniss E. S.** The Position of the Laborer in a System of Nationalism. Massachusetts: Houghton Mifflin, 1920.

- Gallie W. B.** Philosophy and the Historical Understanding. New Yoirk: Schoken Books, 1964/
- Gardiner P. (ed.)** Theories of History. Glencoe (Ill.): Free Press, 1959.
- Garnier J.** Systema Bibliothecae Collegii Parisiensis Societas Jesu. P.: n. s., 1678.
- Gattei G.** Every 25 Years? Strike Waves and Long Economic Cycles. Paper presented at the international conference «The Long Waves of the Economic Conjuncture — The Present State of the International Debate». Brussels, Belgium, 1989.
- Gay P.** Weimar Culture: The Outsider as Insider. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1981.
- Gayer A. D., Rostow W. W., Schwartz E.** The Growth and Fluctuations of the British Economy, 1790—1850. Oxford: Clarendon Press, 1953, v. 1.
- Geertz C.** The Interpretation of Cultures: Selected Essays. N. Y.: Basic Books, 1973.
- Geertz C.** Person, Time and Conduct in Bali. In: C. Geertz. The Interpretation of Cultures. N. Y.: Basic Books, 1973a, p. 360—411.
- Geertz C.** Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. N. Y.: Basic Books, 1983.
- Geertz C.** Works and Lives. Stanford: Stanford Univ. Press, 1988.
- Gelderens J., van (alias J. Fedder).** Springvloed. Beschouwingen over industriële ontwikkeling en prijsbeweging (Spring Tides of Industrial Development and Price Movements) // De Nieuwe Tijd, 1913, no. XVIII, p. 253ff, 369ff, 445ff.
- Gerschenkron A.** Economic Backwardness in Historical Perspective. In: B. F. Hoselitz (ed.). The Progress of Underdeveloped Areas. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1952, p. 3—29.
- Geyl P.** From Ranke to Toynbee. Five Lectures on Historians and Historiographical Problems. // Smith Colledge Studies in History (Northhampton, MA), 1952, v. 39.
- Ghez G. R., Becker G. S.** The Allocation of Time and Goods over the Life Cycle. N. Y.: NBER, 1975.
- Giddens A.** Central Problems in Social Theory. L.: Macmillan, 1979.
- Giddens A.** A Contemporary Critique of Historical Materialism. 2 vol. Berkeley; Los Angeles: Univ. of Californian Press, 1981, v. 1.
- Giddens A.** The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press, 1984.

- Gilbert F.** The New Edition of Johann Gustav Dreusen's «Historik» // Journal of the History of Ideas. 1983, v. 44, no. 2, p. 327—336.
- Gille B.** Les Investissements français en Italie, 1815—1914. Turin: ILTE, 1968.
- Ginzburg C.** The Cheese and the Worms. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1976.
- Ginzel F.** Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. 3 Bde. Leipzig: Hinrichs, 1906—1914.
- Godinho V. M.** L'Economie de l'empire portugais aux XV^e et XVI^e siècles. P.: SEVPEN, 1960.
- Goffman E.** Interaction Ritual. L.: Allen Lane, 1972.
- Goldsmith E.** To Change or Dissapear. L.: Methuen, 1970.
- Goldstein J.** Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. New Haven (CT): Yale Univ. Press, 1988.
- Goldstone J. A.** The Weakness of Organization: A New Look at Gamson's «The Strategy of Social Protest» // American Journal of Sociology, March 1980, v. 85, no. 5, p. 1017—1042.
- Goody J. (ed.)** Literacy in Traditional Societies. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1975.
- Goody J.** The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge, etc.: Cambridge Univ. Press, 1983.
- Goody J.** The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986.
- Gordon D. M.** Stages of Accumulation and Long Economic Cycles. In: T. K. Hopkins, I. Wallerstein (eds.). The Political Economy of the World System. 3 vol. Beverly Hills (CA): Sage Publications, 1980, v. 3, p. 9—45.
- Gordon D. M., Edwards R., Reich M.** Segmented Work, Divided Workers: The Historical Transformation of Labor in the United States. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982.
- Gordon D. M., Weisskopf Th. E., Bowles S.** Long Swings as the Nonreproductive Cycle // American Economic Review, 1983, v. 73, no. 2, p. 152—157.
- Gordon R. J. (ed.).** The American Business Cycle: Continuity and Change. Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1986.
- Gorman B. S., Wessman A. E. (eds.).** The Personal Experience of Time. N. Y.: Plenum Press, 1977.
- Gosden Ch.** Social Being and Time. Oxford; Cambridge (MA): Blackwell, 1994.

- Gosselin G.** Changer le progrès. P.: Seuil, 1979.
- Gossen G.** Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln. Braunschweig: Vieweg, 1854.
- Goubert P.** Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. 2 vol. P.: SEVPEN, 1960.
- Graham R. J.** The Perception of Time in Consumer Research // *Journal of Consumer Research*, 1981, v. 7, no. 4, p. 335—342.
- Gras N. S. B.** Stages in Economic History // *Journal of Economic and Business History*, 1930, v. 2, no. 3, p. 395—418.
- Graus F.** Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter. Köln—Wien: Böhlau, 1975.
- Grenier J. -Y.** L'utilisation de l'analyse spectrale pour l'étude des séries de prix dans le France preindustrielle. XVI^e — XVIII^e siècles // *Social Science Information*, 1983, v. 23, no. 2, p. 427—447.
- Grossman M.** The Demand for Health: A Theoretical and Empirical Investigation. N. Y.: NBER, 1972.
- Gumplowicz L.** La lutte des races. P.: Guillaumin, 1893.
- Gurvitch G.** The Spectrum of Social Time. Dordrecht: D. Reidel, 1964 [Fr. ed. 1963].
- Hage J., Gargan E. T., Hanneman R.** Procedures for Periodizing History: Determining Distinct Eras in the Histories of Britain, France, Germany and Italy. In: J. M. Clubb, E. K. Scheuch (eds.). *The Use of Historical and Process-Produced Data. Historical Social Research*, v. 6. Stuttgart: Klett-Cotta, 1980, p. 267—283.
- Hägerstrand T.** Space, Time and Human Conditions. In: A. Karlqvist (ed.). *Dynamic Allocation of Urban Space*. Farnborough: Saxon House, 1975, p. 17—46.
- Hägerstrand T.** Time and Culture. In: G. Kirsch et al. (eds.). *Time Preference: An Interdisciplinary Theoretical and Empirical Approach*. Berlin: Wissenschaftszentrum, 1985.
- Halbwachs M.** Les Cadres sociaux de la mémoire. P.: Presses univ. de France, 1925.
- Halbwachs M.** La Mémoire collective. P.: Presses univ. de France, 1950.
- Hale J. R. (ed.).** The Evolution of British Historiography. L.: Macmillan, 1967.
- Hall A. R. (ed.).** The Export of Capital from Britain, 1870—1914. L.: Methuen, 1968.

- Hall E. T.** The Silent Language. N. Y.: Doubleday, 1959.
- Hall E. T.** The Dance of Life. N. Y.: Anchor, Doubleday, 1983.
- Hallowell A. I.** Temporal Orientation in Western Civilization and in a Pre-Literate Society // *American Anthropologist*, 1937, v. 39, no. 4, p. 669—735.
- Hamilton E. J.** American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501—1650. N. Y.: Octagon Books, 1965 [1934].
- Handlin O.** Chance or Destiny. Turning Points in American History. Boston; Toronto: Atlantic; Little-Brown, 1955.
- Hareven T. K.** Family Time and Historical Time // *Daedalus*, Spring 1977, v. 106, no. 2, p. 57—70.
- Hareven T. K. (ed.).** Transition: The Family and the Life Course in Historical Perspective. N. Y.: Academic Press, 1978.
- Hareven T. K.** Family Time and Industrial Time. N. Y.; Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982.
- Hareven T. K.** Synchronizing Individual Time, Family Time, and Historical time. In: J. Bender, D. E. Wellbery (eds.). *Chronotypes. The Construction of Time*. Stanford: Stanford Univ. Press, 1991, p. 167—182.
- Harrison M.** The Ordering of the Urban Environment: Time, Work and the Occurrence of Crowds, 1790—1835 // *Past and Present*, 1986, no. 110, p. 134—168.
- Hart H.** Social Theory and Social Change. In: L. Gross (ed.). *Symposium on Sociological Theory*. Evanston (Ill.): Row, Peterson, 1959, ch. 7.
- Hartman R. S., Wheeler D. R.** Schumpeterian Waves of Innovation and Infrastructure Development in Great Britain and the United States: The Kondratieff Cycle Revisited // *Research in Economic History*, 1979, v. 4, p. 37—85.
- Hartog F.** Le miroir d'Hérodote. Essai sur la représentation de l'Autre. P.: Éditions Gallimard, 1980.
- Hassard J.** Toward a Qualitative Paradigm for Working Time // *International Social Science Journal*, 1989, no. 119, p. 93—104.
- Hassard J.** Introduction: The Sociological Study of Time. In: J. Hassard (ed.). *The Sociology of Time*. L.: Macmillan, 1990, p. 1—20.
- Hawking S. W.** A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. Toronto, etc.: Bantam Books, 1988.
- Hayek F. A., von.** Prices and Production. N. Y.: Augustus M. Kelly, 1967 [1st ed. 1935].

- Headrick D.** The Tentacles of Progress: Technology Transfer in the Age of Imperialism, 1850—1940. Oxford: Oxford Univ. Press, 1988.
- Heilbroner R. L.** The Future as History. N. Y.: Grove Press Inc., 1961.
- Heilbroner R.** Twenty-first Century Capitalism. N. Y.: Norton, 1994.
- Heinige D.** The Chronology of Oral Tradition. Oxford: Oxford Univ. Press, 1972.
- Heinige D.** Oral Historiography. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1982.
- Heirich M.** The Use of Time in the Study of Social Change // American Sociological Review, 1964, v. 29, no. 3, p. 386—397.
- Hempel K.** The Function of General Laws in History. In: P. Gardiner (ed.). Theories of History. Glencoe (Ill.): Free Press, 1959, p. 344—356.
- Herder J. G.** Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft. Berlin: Aufbau-Verlag, 1955 [1799].
- Hässler R.** Tacitus und historisches Bewußtsein. Heidelberg: Winter, 1965.
- Heyneman S. P.** Economics of Education: Disappointments and Potential // Prospects, December 1995, v. 25, no. 4, p. 559—583.
- Hibbs D. A., Jr. et al. (eds.).** Contemporary Political Economy: Studies on the Interdependence of Politics and Economics. Amsterdam, etc.: North Holland, 1981.
- Hibbs D. A., Jr.** Political Parties and Macroeconomic Policy // American Political Science Review, December 1977, v. 71, no. 4, p. 1467—1487.
- Hibbs D. A., Jr.** Political Parties and macroeconomic policies and Outcomes in the United States // American Economic Review, May 1986, v. 76, no. 1, p. 66—70.
- Hibbs D. A., Jr.** The American Political Economy: Electoral Policy and Macroeconomics in Contemporary America. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1987.
- Hicks J. R.** The Theory of Wages. L.: Macmillan, 1963 [1932].
- Hicks J. R.** Some Questions of Time in Economics. In: A. M. Tan et al. (eds.). Evolution, Welfare and Time in Economics. Lexington (MA): Lexington Books; D. C. Heath & Co., 1976.
- Hildebrand K.** Krieg im Frieden und Frieden im Krieg. In: W. Michalka (Hrsg.). Der Zweite Weltkrieg. München, 1989, S. 25—48.
- Hill Ch.** The Century of Revolution. L.: Reinhold, 1988.
- Hindess B.** Philosophy and Methodology in Social Sciences. Brighton: Harvester, 1977.

- Hirsch S.** The Product Cycle Model of International Trade: A Multi-Country Cross Section Analysis // Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1975, v. 37, no. 4, p. 305—3177.
- Hirschman A. O.** Shifting Involvements: Private Interests and Public Action. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1982.
- Hirschman A. O.** An Alternative Explanation of Contemporary Harriedness // Quarterly Journal of Economics, November 1973, v. 87, no. 4, p. 634—637.
- Historical Statistics of the United States**, Colonial Times to 1970. 2 vol. Washington: Department of Commerce, 1975.
- Hobsbawm E. J.** Laboring Men: Studies in the History of Labor. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1964.
- Hobsbawm E. J.** The Age of Revolution. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1972.
- Hobsbawm E. J.** The Age of Capital. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1975.
- Hobsbawm E. J.** The Age of Empire. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1987.
- Hobsbawm E. J.** The Age of Extremes. L.: Michael Joseph & Pelham Books, 1994.
- Hodson T. C.** The Meitheis. L.: Nutt, 1908.
- Hoffer W.** Geschichtsschreibung und Weltanschauung. München, 1950.
- Hoffmann W. G.** Stadien und Typen der Industrialisierung. Jena: Fischer, 1931.
- Hoffmann W. G.** British Industry, 1700—1950. Oxford: Basil Blackwell, 1955.
- Hoffmann W. G.** The Growth of Industrial Economies. Manchester: Manchester Univ. Press, 1958.
- Hoffmann W. G. et. al.** Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitter des 19. Jahrhunderts. Berlin, etc.: Springer Verlag, 1965.
- Hofstadter R.** The Progressive Historians: Turner, Beard, Parrington. N. Y.: A. Knopf, 1968.
- Holmes J. E.** The Mood/Interest Theory of American Foreign Policy. Lexington (Ky.): Univ. of Kentucky Press, 1985.
- Holwell J.** Catastrophe Mundi. L.: n. s., 1682.
- Homer S.** A History of Interest Rates. New Brunswick (NJ): Rutgers Univ. Press, 1963.
- Hood W. C.** Some Aspects of the Treatment of Time in Economic Theory // Canadian Journal of Economics and Political Science, 1948, v. 14, no. 2, p. 453—468.

- Hook S. (ed.)** Philosophy and History. N. Y.: New York Univ. Press, 1963.
- Hopkins T. K., Wallerstein I., et al.** Cyclical Rythms and Secular Trends of the Capitalist World-Economy: Some Pemises, Hypothesis and Questions // Review, 1979, v. 2, no. 4, p. 483—500.
- Hopkins T. K., Wallerstein I. et al.** Global Patterns of Labor Movement in Historical Perspective // Review, 1986, v. 10, no. 1, p. 137—155.
- Hornung K.** Das totalitäre Zeitalter: Bilanz des 20. Jahrhunderts. Berlin; Frankfurt am Main: Propyläen, 1993.
- Hoselitz B. F.** Theories of Stages of Economic Growth. In: B. F. Hoselitz (ed.). Theories of Economic Growth. Glencoe (Ill.): Free Press, 1960, p. 193—238.
- Howe L.** The Social Determination of Knowledge: Maurice Bloch and Balinese Time // Man: The Journal of Royal Anthropological Institute, 1981, v. 16, no. 2, p. 220—234.
- Howse D.** Greenwich Time and the Discovery of the Longitude. Oxford: Oxford Univ. Press, 1980.
- Huber J.** Aussteigen aus der Industriegesellschaft? In: Menschwarts. Wien, etc.: Böhlau Nachf., 1985, S. 53—87.
- Hubert H.** Etude sommaire de la représentation du temps dans la religion et la magie // Annuaire de l'Ecole Pratique des Hautes Studies, 1905, p. 1—39.
- Hubert H., Mauss M.** Mélanges d'histoire des religions. P.: Alcan, 1909.
- Huges D. O.** Urban Growth and Family Structure in Medieval Genoa // Past and Present, 1975, no. 66, p. 3—28.
- Huges J. R. T.** Fluctuations in Trade, Industry and Finance. Oxford: Clarendon Press, 1960.
- Hughes S.** Prisoners of Hope: The SilverAge of Italian Jews 1924—1947. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1983.
- Huntington S. B.** The U. S. — Decline or Renewal? // Foreign Affairs, 1988, v. 67, no. 2, p. 76—96.
- Huxley Th. H.** On the Method of Zadig: Retrospective Prophecy as Function of Science. In: Th. Huxley. Science and Culture. L.: Macmillan, 1881, p. 128—148.
- Ideler L.** Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. 2 Bde. Berlin: Nauck, 1825—1826.
- Illich I.** Energy and Equity. N. Y.: Harper & Row, 1974.

- Imbert G.** Des mouvements de longue durée Kondratieff. Aix-en-Provence: La pensée universitair, 1959.
- International Encyclopedia of the Social Sciences**, N. Y.: Macmillan & Free Press, 1968, v. VI.
- Irsigler F., Metz R.** The Statistical Evidence of 'Long Waves' in Pre-Industrial and Industrial Times // Social Science Information, 1984, v. 23, no. 2, p. 381—410.
- Isambert F. A.** Henri Huber et la sociologie du temps // Revue Français de Sociologie, 1979, v. 20, no. 1, p. 183—204.
- Isard W.** A Neglected Cycle: The Transport-Building Cycle // Review of Economics and Statistics, 1942, v. 24, no. 1, p. 149—158.
- Iselin I.** Über die Geschichte der Menschheit. 2 Bde. Basel: Schweighauser, 1764.
- Iutovich M., Babbitt C. E., Iutovitch J.** Time Perception: A Case Study of a Developing Nation // Sociological Focus, 1979, v. 12, no. 1, p. 71—85.
- Jacquart J.** La crise rurale en Ile-de-France, 1550—1670. P.: Libr. Colin, 1974.
- Jaeger H.** Generationen in der Geschichte: Überlegungen zu einer umstrittenen Konzeption // Geschichte und Gessellschaft: Zeitschrift fur Historische Sozialwissenschaft, 1977, Jahr. 3, H. 4, S. 429—452.
- Jahoda M.** Time: A Psychological Perspective. In: M. Young, T. Shuller (eds.). The Rythms of Society. L.; N. Y.: Routledge, 1988, p. 154—172.
- Jambet C. H., Lardreau G.** Le Mond. P.: Grasset, 1978.
- James W.** Principles of Psychology. 2 vol. N. Y.: Henry Holt & Co., 1919 [1st ed. 1890].
- Janet P.** Principes de métaphysique et de psychologie. P.: Delagrave, 1897.
- Janet P.** L'Evolution de la mémoire et de la notion du temps. P.: Chahine, 1928.
- Janich P.** Protophysik der Zeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980.
- Jaques E.** The Form of Time. L.: Heinemann, 1982.
- Jay M.** Fin-de-siècle Socialism. N. Y.; L.: Routledge, 1988.
- Jenks C.** Post-Avant-garde // Art and Design, 1987, v. 3, no. 7/8, p. 5—20.
- Jevons W. S.** The Theory of Political Economy. N. Y.: A. M. Kelly, 1965 [1871].
- Jevons W. S.** Investigation in Currency and Finance. L.: Macmillan, 1884.
- Joachim de Floris.** L'Evangile éternel. Tr. fr. 2 vol. P.: Alcan, 1929.
- Jöhr W. -A.** Die Konjunkturschwankungen. Tübingen: Mohr; Zurich: Poligraphischer Verlag, 1952.

- Journès C.** Les idées politiques du mouvement écologique // *Rev. fr. sci. polit.*, 1972, v. 29, no. 2, p. 230—254.
- Judt T.** *Marxism and the French Left*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Juglar C.** Des crises commerciales et de leur retour périodique en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. P.: Guillaumin, 1862.
- Jung K.** *Psychological Types*. L.: Pantheon Books, 1923.
- Juster Th., Stafford F. (eds.)**. *Time, Goods and Well-Being*. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1985.
- Kanter R.** *Commitment and Community: Communes and Utopias in Sociological Perspective*. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1972.
- Kantorovitz E. H.** *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology*. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1964.
- Katona G.** *The Powerful Consumer*. N. Y.: McGraw-Hill, 1960.
- Katona G.** *Psychological Economics*. N. Y.: Elsevier, 1975.
- Katovich M.** *Durkheim's Macrofoundations of Time: An Assessment and Critique* // *Sociological Quarterly*, 1987, v. 28, no. 3, p. 367—385.
- Kegley Ch. W., Jr., Raymond G. A.** *The Long Cycle of Global War and the Transformation of Alliance Norms* // *Journal of Peace Research*, 1989, v. 26, no. 3, p. 265—284.
- Kennedy P.** *The Rise and Fall of Great Powers*. N. Y.: Random House, 1987.
- Kern S.** *The Culture of Time and Space, 1880—1918*. L.: Weidenfeld & Nicholson, 1983.
- Kerton R. R.** *Hours at Work: Jevons' Labor Theory after 100 Years* // *Industrial Relations*, 1971, v. 10, no. 2, p. 227—230.
- Kessler D., Masson A.** *Cycles de vie et générations*. P.: Ed. Economica, 1985.
- Kicker B. F. (ed.)**. *Investment in Human Capital*. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1971.
- Kiernan V. G.** *State and Society in Europe, 1550—1650*. N. Y.: St. Martin's Press, 1980.
- Kindleberger C. P.** *Foreign Trade and the National Economy*. New Haven (CT): L.: Yale Univ. Press, 1964.
- Kirchgässner G.** *Rationality, Causality and the Relation Between Economic Conditions and the Popularity of Parties: An Empirical Investigation for the Federal Republic of Germany, 1971—1982* // *European Economic Review*, June—July 1985, v. 28, no. 1/2, p. 243—268.

- Kissinger H. A.** *Diplomacy*. N. Y.: Simon & Schuster, 1992.
- Kitchen M.** *The Political Economy of Germany, 1815—1914*. L.: Croom Helm, 1978.
- Kitchin J.** *Cycles and Trends in Economic Factors* // *Review of Economic Statistics*, 1923, v. 5, no. 1, p. 10—16.
- Klein Ph. A., Moore G. H.** *Monitoring Growth Cyclers in Market Oriented Countries: Developing and Using International Economic Indicators*. Cambridge (MA): Ballinger, 1985.
- Kleinknecht A.** *Innovation Patterns in Crisis and Prosperity: Schumpeter's Long Cycle Reconsidered*. L.: Macmillan, 1987.
- Klingberg F. L.** *The Historical Alteration of Moods in American Foreign Policy* // *World Politics*, 1952, v. 4, no. 2, p. 239—273.
- Klingberg F. L.** *Historical Periods, Trends and Cycles in International Relations* // *Journal of Conflict Resolution*, 1970, v. 14, no. 4, p. 505—511.
- Klingberg F. L.** *Cyclical Trends in American Foreign Policy Moods and Their Policy Implications*. In: Ch. W. Kegley, P. McGowan (eds.). *Challenges to America: United States Foreign Policy in the 1980's*. Beverly Hills (CA): Sage Publications, 1979, v. 4, p. 37—55.
- Klingberg F. L.** *Cyclical Trends in American Foreign Policy Moods: The Unfolding of America's World Role*. N. Y.: Univ. Press of America, 1983.
- Knight F.** *Risk, Uncertainty, and Profit*. Boston: Houghton Mifflin, 1921.
- Knowles D.** *The Monastic Order in England*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1949.
- Kocka J.** *Sozialgeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1986.
- Kolaja J.** *Social System and Time and Space: An Introduction to the Theory of Recurrent Behavior*. Westport (CT): Greenwood, 1969.
- Kon I. S.** *Die Geschichtsphilosophie des 20 Jahrhunderts*. 2. Aufl. 2. Bde. Berlin: Akademie-Verlag, 1966.
- Koselleck R.** «Geschichte» als moderner Leitbegriff. In: R. Koselleck (Hrsg.). *Geschichte Grundbegriffe*, 1975, Bd. 2, S. 691—709.
- Koselleck R.** *Futures Past. On the Semantics of Historical Time*. Cambridge (MA): L.: The MIT Press, 1985. [Germ. ed. 1979].
- Koyré A.** *La révolution astronomique: Copernic, Kepler, Borelli*. P.: Hermann, 1961.

- Kracauer S.** Time and History // History and Theory, 1966, Beiheft 6, p. 65—78.
- Kracauer S.** History: The Last Things Before the Last. N. Y.: Oxford Univ. Press, 1969.
- Kramer G. H.** Short-Term Fluctuations in US Voting Behavior, 1896—1964 // American Political Science Review, March 1971, v. 65, no. 1, p. 131—143.
- Kroeber A. L.** Anthropology. N. Y.: Holt, 1923.
- Krockow Ch., von.** Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890—1990. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1992.
- Kropotkin P.** Fields, Factories and Workshops (Tomorrow) [1899]. L.: Allen & Unwin, 1974.
- Krug W. T.** Versuch einer systematischen Enzyklopädie der Wissenschaften. Theil 1—2. Wittenberg u. Leipzig: Leipzig-Züllichau, 1796—1797.
- Kubler G.** The Shapes of Time: Remarks on the History of Things. New Haven (CT): Yale Univ. Press, 1962.
- Kuczynski Th.** Have There Been Differences Between Growth Rates in Different Periods of the Development of the Capitalist World Economy Since 1850? An Application of Cluster Analysis in Time Series Analysis. In: J. M. Clubb, E. K. Scheuch (eds.). Historical Social Research. Stuttgart: Klett-Cotta, 1980, v. 6, p. 300—316.
- Kuznets S. S.** Secular Movements in Production and Prices. Their Nature and Their Bearing Upon Cyclical Fluctuations. Boston: Houghton Mifflin, 1930.
- Kuznets S. S.** Schumpeter's Business Cycles // American Economic Review, 1940, v. 30, no. 2, p. 257—271.
- Kuznets S. S.** National Income: A Summary of Findings. N. Y.: NBER, 1946.
- Kuznets S.** Long Swings in the Growth of Population and Related Variables // Proceedings of the American Philosophical Society, February 1958, v. 102, no. 1, p. 25—54.
- Kuznets S. S.** Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven (CT): L.: Yale Univ. Press, 1966.
- Labrousse E.** Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII^e siècle. 2 vol. P.: Libr. Dolloz, 1933—1936.
- Labrousse E.** La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution. T. 1. P.: Presses univ. de France, 1944.
- Lachmann L. M.** Professor Shackle and the Economic Significance of Time // Metroeconomica, 1959, v. 11, no. 1, p. 64—73.

- Lafon J.** Les époques bordelaises. Régimes matrimoniaux et mutations sociales. P.: Impr. nationale, 1972.
- Lamprecht K.** Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft. Berlin: Gaertner, 1896.
- Lamprecht K.** Modern Geschichtswissenschaft. Freiburg im Breisgau: Heyfelder, 1905.
- Landes D. S.** Revolution in Time. Clocks and the Making of the Modern World. Cambridge (MA): Belknap Press, 1983.
- Landry A.** L'intérêt du capital. P.: Giord et Bricère, 1904.
- Langer W. L.** The Next Assignment // American Historical Review, 1958, v. 63, no. 1, p. 283—304.
- Langrish J.** Cycles of Optimism in Design // Design Studies, 1982, v. 3, no. 3, p. 153—156.
- Lauer R. H.** Temporal Man. The Meaning and Uses of Social Time. N. Y.: Preager, 1981.
- Leach E. R.** Primitive Time-Reckoning. In: Ch. Singer et al. A History of Technology. Oxford: Clarendon Press, 1954, v. 1, p. 110—127.
- Leach E. R.** Two Essays Concerning the Representation of Time. In: E. R. Leach. Rethinking Anthropology. N. Y.: Humanities Press, 1966.
- Leclerc J.** Experience and Interpretation of Time in Early Middle Ages // Studies in Medieval Culture, 1975, v. 5, no. 1, p. 9—19.
- Leeuw I., van der.** Myth and Time // Erranos Jahrbuch, 1960, Bd. 20.
- Le Goff J.** Temps de l'Eglise et temps du marchand // Annales: E. S. C., 1960, v. 15, no. 3, p. 417—433. Reprinted in: Le Goff, 1980.
- Le Goff J.** Le temps du travail et le «crise» du XIV^e siècle // Le Moyen Age, 1963, v. 69. Reprinted in: Le Goff, 1980.
- Le Goff J.** Time, Work and Culture in the Middle Ages. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980.
- Le Goff J.** L'appétit de l'histoire. — Essais d'ego-histoire, réunis et présentés par P. Nora. P.: Gallimard, 1987.
- Le Goff J., Nora P. (eds.).** Faire de l'histoire. 3t. P.: Editions Gallimard, 1974.
- Lennard R.** Rural England, 1086—1135. Oxford: Oxford Univ. Press, 1959.
- Le Roy Ladurie E.** The Peasants of Languedoc. Illinois: Illinois Univ. Press, 1974 [Fr. ed. 1966].

- Le Roy Ladurie E.** Montaignou: The Promised Land of Error. N. Y.: George Braziller, 1978 [Fr. ed.: Montaignou, village occitan de 1294—1324. Editions Gallimard, 1975].
- Le Roy Ladurie E.** The Mind and Method of the Historian. (Избр. из «Территории историка») Chicago: The Harvester Press, 1981.
- Lerner D.** The Passing of Traditional Society. Glencoe (Ill.): Free Press, 1958.
- Levin H. M., Tsang M.** Economics of Student Time // Economics of Education Review, 1987, v. 6, no. 4, p. 357—364.
- Levin K.** Time Perspective and Morale. In: G. B. Watson (ed.). Civilian Morale. Cornwall (NY): The Cornwall Press, 1942.
- Lévinas E.** Time and the Other. Pittsburgh: Boxwood Press, 1987 [Fr. ed. 1945].
- Levitt T.** Exploit the Product Life Cycle // Harvard Business Review, 1965, v. 43, no. 6, p. 81—94.
- Levy J. S.** War in the Modern Great Power System, 1495—1975. Lexington (Ky.): Univ. Press of Kentucky, 1983.
- Levy J. S.** Theories of General War // World Politics, April 1985, v. 37, no. 3, p. 344—374.
- Levy M. J.** Modernization and the Structure of Societies. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1966.
- Lewis J. D., Weigart A. J.** Structures and Meaning of Social Time // Social Forces, December 1981, v. 60, no. 2, p. 433—462.
- Lewis J. P.** Building Cycles and Britain's Growth. L.: Macmillan; N. Y.: St. Martin's Press, 1965.
- Lewis W. A.** Growth and Fluctuations, 1870—1913. L.: Allen & Unwin, 1978.
- Lewis W., O'Leary P.** Secular Swings in Production and Trade // Manchester School of Economic and Social Studies, 1955, v. 23, no. 2, p. 113—152.
- Ligeti P.** Der Weg aus dem Chaos. München: Calwey, 1931.
- Lihndal E.** Studies in the Theory of Money and Capital. L.: Allen & Unwin, 1939.
- Linder S.** The Harried Leisure Class. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1970.
- Lipietz A.** The Enchanted World: Inflation, Credit, and the World Crisis. L.: New Left Books, 1986 [Fr. ed. 1983].
- Lipietz A.** Mirages and Miracles. L.: New Left Books, 1987.
- Litt Th.** Die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewußtsein. Heidelberg: Quelle und Meyer, 1956.

- Lloyd Ch.** Explanation in Social History. Oxford: Blackwell, 1986.
- Lloyd Ch.** The Structures of History. Oxford: Blackwell, 1993.
- Lloyd W. W.** The Living and the Dead: A Study of the Symbolic Life of Americans. New Haven (CT): Yale Univ. Press, 1959.
- Long C. D., Jr.** Building Cycles and the Theory of Investment. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1940.
- Lorenz A.** Abendlandische Musikgeschichte im Rhythmus der Generationen. Berlin: Heesse, 1928.
- Lorenz O.** Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben. Berlin: Hertz, 1886.
- Lorenz O.** Die Generationenlehre und der Geschichtsunterricht. Berlin: Hertz, 1891.
- Lowenthal D.** The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985.
- Lucas R.** Studies in Business-Cycle Theory. Cambridge (MA): MIT Press, 1981.
- Luckmann T.** The Constitution of Human Life in Time. In: J. Bender, D. E. Wellbery (eds.). Chronotypes. The Construction of Time. Stanford: Stanford Univ. Press, 1991, p. 151—166.
- Luhmann N.** Temporalization of Complexity. In: R. F. Geyer, J. van der Zouwen (eds.). Sociocybernetics: An Actor-Orientated Social Systems Approach. The Hague: Martinus Nijhoff, 1978.
- Luhmann N.** World-Time and System History. In: L. Luhmann. The Differentiation of Society. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1982 [Germ. ed. 1971—1975], p. 289—324.
- Lukacs J.** Die Geschichte geht weiter. Das Ende des 20. Jahrhunderts und die Wiederkehr des Nationalismus. München, Leipzig: List Verlag, 1994.
- Lüscher K. K.** Time: A Much Neglected Dimension in Social Theory and Research // Sociological Analysis and Theory, 1974, v. 4, no. 3, p. 101—117.
- Machlup F.** Equilibrium and Disequilibrium: Misplaced Concreteness and Disguised Politics // Economic Journal, 1958, v. 68, no. 1, p. 1—24.
- Mackenzie R.** The Ninetienth Century — a History. L., etc.: Thomas Nelson & Sons, 1891.
- Maddison A.** Phases of Capitalist Development. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 1982.

- Maddison A.** Dynamic Forces in Capitalist Development: A Long-Run Comparative View. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 1991.
- Maistre J. M., de.** Œuvres complètes. 14 vol. Lyon: Pelagaud, 1884—1886.
- Malcolmson R. W.** Popular Recreations in English Society, 1700—1850. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1973.
- Malinowski B.** Lunar and Seasonal Calendar in the Trobriands // Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1926—1927, v. 56—57, p. 203—215. Reprinted as: Time Reckoning in the Trobriands. In: J. Hassard (ed.). The Sociology of Time. L.: Macmillan, 1990, p. 203—218.
- Mandel E.** Late Capitalism. L.: New Left Books, 1975 [Germ. ed. 1973].
- Mandel E.** Long Waves of Capitalist Development: The Marxist Interpretation. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1980.
- Mandrou R.** Introduction to Modern France, 1500—1640: An Essay in Historical Psychology. N. Y.: Holmes & Maier, 1976.
- Mann G.** Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland. Frankfurt am Main: Fischer, 1991 [1986].
- Mann G.** Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Fischer, 1992 [1960].
- Mann M.** The Sources of Social Power. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986, v. 1.
- Mannheim K.** The Problem of Generations [1928]. In: K. Mannheim. Essays on the Sociology of Knowledge. L.: Routledge & Kegan Paul, 1952.
- Manuel F. E., Manuel F. P.** Utopian Thought in the Western World. Cambridge (MA): Belknap Press, 1979.
- Maravall J. A.** Culture of the Baroque: Analysis of a Historical Structure. Manchester; Univ. of Manchester Press, 1986.
- Marchand O., Thélot Cl.** Deux siècles de travail en France. P.: Inst. nat. de la statistique et des études écon., 1991.
- Marcuse H.** Five Lectures. Psychoanalysis: Politics and Utopia. L.: Penguin Press, 1970.
- Marglin S., Schor J. (eds.)** The Golden Age of Capitalism. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Martin K. C.** De fontibus Zosimi. Berlin: n. s., 1866.

- Martins H.** Time and Theory in Sociology. In: J. Rex (ed.). Approaches to Sociology. L.: Routledge & Kegan Paul, 1974, p. 246—294.
- Marvell P.** Factory Regulation: A Reinterpretation of the Early English Experience // Journal of Law and Economics, 1977, v. 20, no. 2, p. 379—402.
- Mathias P.** The First Industrial Nation: An Economic History of Britain, 1700—1914. L.: Methuen, 1969.
- Mathis R.** La loi des trois états. Nancy: Société d'impressions, 1924.
- Matthews R. C. O.** The Business Cycle: A Lucid Analysis of the Business Cycle in the Light of Contemporary Theory. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1962.
- Mauro F.** Le Portugal et l'Atlantique au XVII^e siècle (1570—1670). P.: SEVPEN, 1960.
- Mauro F.** L'Expansion européenne (1600—1870): aspects économiques. P.: Presses univ. de France, 1964.
- Mauss M.** Sociologie et anthropologie. P.: Presses univ. de France, 1966.
- McCarthy E., McGaughey W.** Nonfinancial Economics: The Case for Shorter Hours of Work. N. Y.: Praeger, 1989.
- McCloskey D. N.** Economic Maturity and Entrepreneurial Decline: British Iron and Steel, 1870—1913. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1973.
- McCloskey D.** The Rhetoric of Economics // Journal of Economic Literature, 1983, v. 21, no. 2, p. 481—517.
- McKibben B.** The End of Nature. N. Y.: Random House, 1989.
- McLaughlin T. P.** Teaching of the Canonists on Usury // Medieval Studies, 1939, v. 1, p. 81—147; 1940, v. 2, p. 1—22.
- McNeill W.** The Rise of the West: A History of the Human Community. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1964.
- McRae D.** A Political Model of the Business Cycle // Journal of Political Economy, April 1977, v. 85, no. 2, p. 239—263.
- McTaggart J. M. E.** The Unreality of Time // Mind, October 1908, v. 17, no. 68, p. 12—27.
- Mead G. H.** Mind, Self and Society. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1934.
- Mead G. H.** The Philosophy of the Act. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1938.
- Meek R.** Studies in Labor Theory of Value. L.: Lawtence & Wishart, 1956.
- Meinecke F.** Die Entstehung des Historismus. 2. Aufl. München: Leibniz, 1946.

- Melbin M.** The Colonisation of Time. In: Carlstein et al. *Timing Space and Spacing Time*. L.: Arnold, 1978, v. 2.
- Melges F. T.** *Time and the Inner Future*. N. Y.: John Wiley & Sons, 1982.
- Meller H.** *Leisure and the Changing City, 1870—1914*. L.: Routledge & Kegan Paul, 1976.
- Mensch G. O.** *Stalemate in Technology. Innovations Overcome the Depression*. Cambridge (MA): Ballinger, 1979 [Germ ed. 1975].
- Mentré F.** *Les générations sociales*. P.: Ed. Bossard, 1920.
- Merton R.** *On the Shoulders of Giants*. N. Y.: Harcourt, Brace & World, 1965.
- Metz R.** 'Long Waves' in English and German Economic Historical Series from the Middle of the Sixteenth to the Middle of the Twentieth Century. In: R. Fremdling, P. K. O'Brien (eds.). *Productivity in the Economies of Europe*. Stuttgart: Klett-Cotta, 1983, p. 175—219.
- Metz R.** Long Waves in Coinage and Grain Price-Series from the Fifteenth to the Eighteenth Century: Some Theoretical and Methodological Aspects // *Review*, 1984, v. 7, no. 4, p. 599—647.
- Mewes R.** *Kriegs- und Geistesperioden im Völkerleben*. Leipzig: Altmann, 1896.
- Meyerhoff H.** *Time in Literature*. Berkeley: Univ. of California Press, 1955.
- Meyerhoff H. (ed.)** *The Philosophy of History in our Time*. Garden City (NY): Doubleday Anchor, 1959.
- Michelet J.** *Histoire de France*. 17 vol. P.: Chamerot, 1833—1867.
- Milham W. I.** *Time and Timekeepers*. L.: Macmillan, 1923.
- Millard E.** *Le destin de l'Allemagne d'après le déterminisme historique*. Beaugency: Barrillier, 1918.
- Mincer J.** *Schooling, Experience, and Earnings*. N. Y.: NBER, 1974.
- Minkowski E.** *Lived Time: Phenomenological and Psychopathological Studies*. Evanston (Ill.): Northwestern Univ. Press, 1933.
- Mintz I.** *Dating Postwar business Cycles: Methods and Their Application to Western Germany, 1950—1967*. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1969.
- Mintz I.** *Dating United States Growth Cycles // Explorations in Economic Research*, 1974, v. 1, no. 1, p. 1—113.
- Mirowski P.** *Macroeconomic Instability and the «Natural» Processes in Early Neoclassical Economics // Journal of Economic History*, June 1984, v. 44, no. 2, p. 345—354.

- Mises L., von.** *The Theory of Money and Credit*. New Haven (CT): Yale Univ. Press, 1953 [1912].
- Mitch D. F.** *Rise of Popular Literacy in Victorian England: Influence of Private Choice and Public Policy*. Philadelphia (PA): Univ. of Pennsylvania Press, 1992.
- Mitchell B. R.** *European Historical Statistics, 1750—1975*. 2nd ed. L.: Macmillan, 1981.
- Modelski G.** *The Long Cycles of Global Politics and the Nation-State // Comparative Studies in Society and History*, 1978, v. 20, no. 2, p. 214—238.
- Modelski G.** *Long Cycles and United States Strategic Policy // Policy Studies Journal*, 1979, v. 8, no. 1, p. 10—17.
- Modelski G.** *Long Cycles, Kondratieffs and Alternating Innovations: Implications for U. S. Foreign Policy*. In: Ch. W. Kelley, P. McGowan (eds.). *The Political Economy of Foreign Policy Behavior*. Beverly Hills (CA): Sage Publications, 1981, p. 63—83.
- Modelski G.** *Long Cycles in World Politics*. L.: Macmillan, 1988.
- Modigliani F.** *Fluctuations in the Saving-Income Ratio: A Problem in Economic Forecasting // Studies in Income and Wealth*, 1949, v. 11, p. 87—115.
- Modigliani F., Brumberg R.** *Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data*. In: K. K. Kurihara (ed.). *Post-Keynesian Economics*. New Brunswick, etc.: Rutgers Univ. Press, 1954, p. 135—161.
- Molseed M. J.** *The Problem of Temporality in the Works of Georg Simmel // Sociological Quarterly*, 1987, v. 28, no. 3, p. 357—366.
- Momigliano A.** *Time in Ancient Historiography // History and Theory*, 1966, Beiheft 6: *History and the Concept of Time*, p. 1—23.
- Mommsen W.** *Die Geschichtswissenschaft jenseit des Historismus*. 2. Aufl. Düsseldorf: Droste, 1972.
- Moore B.** *The Social Origins of Dictatorship and Democracy*. L.: Allen Lane, 1967.
- Moore G. H.** *Business Cycles, Inflation, and Forecasting*. 2nd ed. Cambridge (MA): Ballinger, 1983.
- Moore G. H., Zarnovitz V.** *The Development and Role of the National Bureau of Economic Research's Business Cycle Chronologies*. In: R. J. Gordon (ed.). *The American Business Cycle: Continuity and Change*. Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1986, p. 735—779.

- Moore W. E.** *Man, Time and Society*. N. Y.; L.: John Wiley, 1963a.
- Moore W. E.** *Social Change*. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1963b.
- Moore W. E.** *Time-Theory, Ultimate Scarcity* // *American Behavioral Scientist*, 1963c, v. 6, no. 1, p. 49—74.
- Morasé Ch.** *Essais sur la civilisation d'Occident*. V. 1: L'homme. P.: Presses univ. de France, 1949.
- Morgenstern O.** *Descriptive, Predictive, and Normative Theory* // *Kyklos*, 1972, v. 25, no. 4, p. 699—714.
- Morineau M.** *Juglar, Kitchin, Kondratieff, et Compagnie* // *Review*, 1984, v. 7, no. 4, p. 577—598.
- Mueller J. E.** *Presidential Popularity from Truman to Johnson* // *American Political Science Review*, March 1970, v. 64, no. 1, p. 18—34.
- Mumford L.** *The Story of Utopias*. N. Y.: Viking, 1926.
- Mumford L.** *Technics and Civilization*. N. Y.: Harcourt, Brace, 1934.
- Muth R.** *Rational Expectations and the Theory of Price Movements* // *Econometrica*, 1961, v. 29, no. 4, p. 315—335.
- Myrdal G.** *Monetary Equilibrium*. L.: William Hodge, 1939 [1934].
- Namenwirth J. Z.** *Wheels of Time and the Interdependence of Value Change in America* // *Journal of Interdisciplinary History*, 1973, v. 3, no. 4, p. 649—683.
- Namenwirth J. Z., Weber R. Ph.** *Dynamics of Culture*. Boston: Allen & Unwin, 1987.
- Nardinelli C.** *Child Labor and the Factory Acts* // *Journal of Economic History*, 1980, v. 40, no. 4, p. 739—755.
- Naville A.** *Nouvelle classification des sciences*. P.: Allen, 1888.
- Nelson B. N.** *The Idea of Usury: From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood*. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1949.
- Nelson R. R.** *Introduction*. In: R. R. Nelson (ed.). *The Rate and Direction of Invention Activity*. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1962, p. 4—42.
- Newman L.** *Folklore and History* // *Man*, 1954, v. 54, no. 5, p. 75.
- Newman W. H.** *The Building Industry and Business Cycles*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1935.
- Nilsson M. P.** *Primitive Time-Reckoning*. Lund: C. W. K. Gleerup, 1920.

- Nipperdey Th.** *Die Anthropologische Dimension der Geschichtswissenschaft*. In: G. Schulz (Hg.). *Geschichte heute*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1973, S. 225—255.
- Nipperdey Th.** *Unter der Herrschaft des Verdachts. Wissenschaftliche Aussagen dürfen nicht an ihrer politischen Funktion gemessen werden*. In: R. Augstein et al. *Historikerstreit*. München; Zürich: Piper, 1988, S. 215—219.
- Nipperdey Th.** *Deutsche Geschichte*. H. 1: 1800—1866; H. 2: 1866—1914 (2. Bde.). München: Beck, 1987—1990.
- Nisbet R.** *History of the Idea of Progress*. N. Y.: Basic Books, 1980.
- Noonan J.** *The Scholastic Analysis of Usury*. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1957.
- Nordhaus W. D.** *The Political Business Cycle* // *Review of Economic Studies*, 1975, v. 42, no. 2, p. 169—190.
- Nordhaus W. D.** *Alternative Approaches to Political Business Cycle* // *Brookings Papers on Economic Activity*, 1989, no. 2, p. 75—92.
- North D. C.** *Growth and Welfare in the American Past. A New Economic History*. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1966.
- North J. D.** *Monasticism and the First Mechanical Clocks*. In: J. T. Fraser, N. Lawrence (eds.). *The Study of Time II*. Berlin: Springer Verlag, 1975, p. 381—398.
- Nowotny H.** *Time Structuring and Time Measurement: On the Interrelation Between Timekeepers and Social Time*. In: J. T. Fraser, N. Lawrence (eds.). *The Study of Time*. Vol. II. N. Y., etc.: Springer-Verlag, 1975, p. 325—342.
- Nyland C.** *Capitalism and the History of Work-Time Thought* // *British Journal of Sociology*, 1986, v. 37, no. 4, p. 513—534.
- Oakeshott M.** *On History*. Oxford: Basil Blackwell, 1983.
- O'Driscoll G. P., Jr., Rizzo M. J.** *The Economics of Time and Ignorance*. N. Y.: Basil Blackwell, 1985, ch. 4, p. 52—69.
- Olson M.** *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities*. New Haven (CT); L.: Yale Univ. Press, 1982.
- Opie R.** *Marshall's Time Analysis* // *Economic Journal*, 1931, v. 41, no. 162, p. 199—215.
- Organski A. F. K.** *World Politics*. N. Y.: A. Knopf, 1958.
- Organski A. F. K.** *The Stages of Political Development*. N. Y.: A. Knopf, 1965.

- O'Rourke K.** Did the Irish Famine Matter? // *The Journal of Economic History*, March 1991, v. 51, no. 1, p. 1—22.
- Ornstein R. E.** *On the Experience of Time*. Baltimore: Penguin Books, 1969.
- Paldam M.** Is there an Election Cycle? A Comparative Study of National Accounts // *Scandinavian Journal of Economics*, 1979, v. 81, no. 2, p. 323—342.
- Paldam M.** An Essay on the Rationality of Economic Policy: The Test-Case of the Electional Cycle // *Public Choice*, 1981a, v. 37, no. 1, p. 287—305.
- Paldam M.** A Preliminary Survey of the Theories and Findings on Vote and Popularity Functions // *European Journal of Political Research*, 1981b, v. 9, no. 2, p. 181—199.
- Paldam M.** The Distribution of the Election Results and the Two Explanations of the Cost of Ruling // *European Journal of Political Economy*, 1986, v. 2, no. 1, p. 5—24.
- Pamico C., Petri F.** Long-Run and Short-Run. In: J. Eatwell et al. (eds.). *The New Palgrave. A Dictionary of Economics*. L.: Macmillan, 1987, v. 3, p. 238—240.
- Pareto V.** *Les systèmes socialistes*. P.: Giard, 1926 [1902].
- Parker G.** *Europe in Crisis, 1598—1648*. Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1979.
- Parry J. H.** *The Age of Reconnaissance: Discovery, Exploration and Settlement, 1450—1650*. L.: Wiedenfeld & Nicolson, 1963.
- Parsons T.** Evolutionary Universals in the Society // *American Sociological Review*, June 1964, v. 29, no. 3, p. 339—357.
- Perez C.** Structural Change and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social System. In: Ch. Freeman (ed.). *Design, Innovation and Long Cycles in Economic Development*. N. Y.: Basic Books, 1986, p. 27—47.
- Perrot M.** *Les ouvriers en grèves*. 2 vol. P.: Mouton, 1974.
- Petersen L. E.** *The Crisis of Danish Nobility, 1580—1660*. Odense: Odense Univ. Press, 1967.
- Phelps Brown E. H.** A Non-Monetarist View of the Pay Explosion // *Three Banks Review*, March 1975, no. 105, p. 3—24.
- Phelps Brown E. H., Browne M. H.** *A Century of Pay. The Course of Pay and Productivity in France, Germany, Sweden, the U. K., and the USA, 1860—1960*. L., etc.: Macmillan, 1968.
- Phelps Brown E. H., Hopkins S. V.** Seven Centuries of Building Wages // *Economica*, 1955, v. 22, no. 87, p. 195—206.

- Phelps Brown E. H., Hopkins S. V.** Seven Centuries of the Prices of Consumables, Compared With Builders' Wage-rates // *Economica*, November 1956, v. 23, no. 92, p. 17—41.
- Phythian-Adams C.** Ceremony and the Citizen: The Communal year at Coventry, 1450—1550. In: P. Clark, P. Slack (eds.). *Crisis and Order in English Towns, 1500—1700*. L.: Routledge & Kegan Paul, 1972, p. 129—141.
- Piaget J.** *The Child's Conception of Time*. N. Y.: Basic Books, 1969 [Fr. ed. 1946].
- Platt D. C. M.** *Foreign Finance in Continental Europe and the USA, 1815—1870*. L.: Allen & Unwin, 1984.
- Plumpe W. und Resenkranz J.** Forschungsbibliographie zum Problem der langen Wellen Wirtschaftlicher Entwicklung. In: D. Petzina und G. van Roon (Hrsg.) *Konjunktur, Krise und Gesellschaft: Wirtschaftliche Wechsellagen und Soziale Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert*. Stuttgart: Klett-Cotta, 1981, S. 379—411.
- Pocock J. G. A.** The Origins of Study of the Past: A Comparative Approach // *Cambridge Social Science History*, 1961, v. 4, p. 209—246.
- Pocock J. G. A.** *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*. Princeton (NJ); L.: Princeton Univ. Press, 1975.
- Polak F.** *The Image of the Future*. Leyden: Sythoff; N. Y.: Oceana, 1961.
- Pollard S.** Factory Discipline in the Industrial Revolution // *Economic History Review*, 1963, v. 16, no. 2, p. 254—271.
- Pollard S.** *The Genesis of Modern Management*. L.: Edward Arnold, 1964.
- Pollard S.** *European Economic Integration, 1815—1870*. N. Y.: Harcourt, Brace, 1974.
- Pomian K.** The Secular Evolution of the Concept of Cycles // *Review*, Spring 1979, v. 2, no. 4, p. 563—646.
- Ponsford C. N.** *Time in Exeter: A History of 700 Years of Clocks and Clock-Making in an English Provincial City*. Exeter: Heapwell Vale Books, 1978.
- Porter R.** *Mind Forg'd Manacles: A History of Madness in England from the Restoration to the Regency*. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1987.
- Price P.** *Bells and Man*. Oxford: Oxford Univ. Press, 1983.
- Pronovost G.** Introduction: Time in a Sociological and Historical Perspective // *International Social Sciences Journal* // 1986, v. 38, no. 1 (107), p. 5—18.

- Quénée B.** Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval. P.: Aubier-Montaigne, 1980.
- Quigley C.** The Evolution of Civilization: An Introduction of Historical Analysis. N. Y.: Macmillan, 1961.
- Ranke L. von.** Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535 [1824]. In: L. von Ranke. Hauptwerke. Wiesbaden, 1957, Bd. 1.
- Ranke L., von.** Universal History: The Oldest Historical Group of Nations and the Greeks. L.: Paul, French, 1884 [Germ ed. 1860].
- Rapp W. V.** The Many Possible Extensions of Product Cycle Analysis // Hitotsubashi Journal of Economics (Tokyo), 1975, v. 16, no. 1, p. 22—29.
- Rasler K. A., Thompson W. R.** War Making and State Making: Governmental Expenditures, Tax Revenues, and Global Wars // American Political Science Review, 1985a, v. 79, no. 2, p. 491—507.
- Rasler K. A., Thompson W. R.** War and the Economic Growth of Major Powers // American Journal of Political Science, 1985b, v. 29, no. 3, p. 513—538.
- Ratzel F.** Anthropogeographie. Stuttgart: Engelhorn, 1899.
- Reid D.** The Decline of Saint Monday, 1766—1876 // Past and Present, 1976, no. 71, p. 76—101.
- Reidlich F.** Leisure Time Activities: A Historical, Sociological and Economic Analysis // Explorations in Entrepreneurial History, 1965, v. 3, p. 3—24.
- Reisman D., Glazer N., Denney R.** The Lonely Crowd. New Haven (CT); L.: Yale Univ. Press, 1967 [1950].
- Renouvier Ch.** Uchronie: L'utopie dans l'histoire. P.: Alcan, 1901.
- Reynolds L. G.** Labor Economics and Labor Relations. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1974.
- Ricciardi J.** Class Struggle, the Classical Economists and the Factory Acts: Toward a Reformulation // Research in Political Economy: A Research Annual, 1981, v. 4, p. 91—102.
- Richardson L. F.** Statistics of Deadly Quarrels. Pittsburgh: Boxwood Press, 1960.
- Ricoeur P.** Time and Narrative. 3 vol. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1984—1988 [Fr. ed. 1983—1985].
- Rifkin J.** Time Wars: The Primary Conflict in Human History. N. Y.: Henry Holt, 1987.
- Riggleman J.** Building Cycles in the US, 1875—1922 // Journal of American Statistical Association, 1933, v. 28, no. 1, p. 174—183.

- Robbins L.** The Economic Effect of Variations of Hours of Labor // Economic Journal, 1929, v. 39, no. 153, p. 25—43.
- Rockefeller J.** The Second American Revolution. Some Personal Observations. N. Y.: Harper & Row, 1973.
- Rogers T. J. E.** A History of Agriculture and Prices in England from the Year After the Oxford Parliament to the Commencement of the Continental War (1793). 7 vol. Oxford: Clarendon Press, 1866—1902.
- Rogers T. J. E.** Six Centuries of Work and Wages. 2 vol. L.: Macmillan, 1884.
- Romani M.** Storia economica d'Italia nel secolo XIX, 1815—1914. Milano: Dott. A. Giuffrè Editoria, 1968.
- Roon G., van.** Cycles, Turning Phases and Societal Structures: Historical Perspective and Current Problems. In: C. Freeman (ed.). Design, Innovation and Long Cycles in Economic Development. N. Y.: St. Martin's Press, 1986.
- Rose A.** Wars, Innovations and Long Cycles // American Economic Review, 1941, v. 31, no. 1, p. 105—107.
- Rose H. J.** A Century of Continental History, 1780—1880. L.: Macmillan, 1895.
- Rosenberg A.** Der Mythos des 20. Jahrhunderts. München: Hoheneichen, 1930.
- Rosenberg C.** Medicine and Community in Victorian Britain // Journal of Interdisciplinary History, 1981, v. 11, no. 4, p. 677—684.
- Rossiter C.** Conservatism in America. N. Y.: A. Knopf, 1955.
- Rostow W. W.** The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge (MA.): Cambridge Univ. Press, 1960.
- Rostow W. W.** Politics and Stages of Growth. Cambridge (MA): Cambridge Univ. Press, 1961.
- Rostow W. W.** Kondratieff, Schumpeter, and Kuznets: Trend Periods Revisited // Journal of Economic History, 1975, v. 35, no. 4, p. 719—753.
- Rostow W. W.** The World Economy. History and Prospect. Austin; L.: Univ. of Texas Press, 1978.
- Roszak Th.** Person-Planet: The Creative Disintegration of Industrial Society. Garden City (NY): Anchor Press; Doubleday, 1979.
- Rothacker E.** Mensch und Geschichte. Bonn: Athena, 1950.
- Rückert H.** Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer Darstellung. Leipzig: Wiegand, 1857.
- The Rule of Saint Benedict.** Transl. by J. McCann. L.: Steed & Ward, 1970.

- Rümelin G.** Über den Begriff und die Dauer einer Generation. In: G. Rümelin. Reden und Aufsätze. Freiburg i. B.; Tübingen: Mohr, 1894, Bd. 1, S. 248—272.
- Russell J.** Astrological predictions on the Affairs of the English Commonwealth. L.: n. s., 1659.
- Sahlins M. D.** Culture and Practical Reason. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1976.
- Salzman L. F.** Building in England Down to 1450. L.: Oxford Univ. Press, 1967.
- Samuels R. J. (ed.).** Political Generations and Political Development. Lexington (MA): Lexington Books, 1977.
- Samuelson P.** Interactions Between the Multiplier and the Principle of Acceleration // Review of Economics and Statistics, May 1939, v. 21, no. 2, p. 75—78.
- Sargent T., Wallace N.** Rational Expectations and the Dynamics of Hyperinflation // International Economic Review, 1973, v. 14, no. 2, p. 328—350.
- Sargent T., Wallace N.** Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule // Journal of Political Economy, 1975, v. 83, no. 2, p. 241—254.
- Sargent T., Wallace N.** Rational Expectations and the Theory of Economic Policy // Journal of Monetary Economics, 1976, v. 2, no. 1, p. 169—183.
- Sasse E.** Zahlengesetz der Völkerreizbarkeit; Plan zu einer allgemeinen Statistik der Weltgeschichte // Zeitschrift des Königl. Preuss. Statistisches Bureau, 1879.
- Saul S. B.** Studies in British Overseas Trade, 1870—1914. Liverpool: Liverpool Univ. Press, 1960.
- Schama S.** Th Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age. N. Y.: A. Knopf, 1987.
- Schelling T. C. (ed.).** Symposium: Time in Economic Life // The Quarterly Journal of Economics, November 1973, v. 87, no. 4, p. 627—675.
- Schelsky H.** Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend. Dusseldorf; Köln: Diederichs, 1963.
- Schlegel F.** Sämtliche Werke. XV. Bde. 2. verm. Aufl. Wien: Mayer, 1846, Bd. XIII.
- Schlesinger A. M.** Paths to the Present. Boston: Houghton Mifflin, 1964 [1949].
- Schlesinger G. N.** Aspects of Time. Cambridge: Hackett, 1980.

- Schnabel F.** 1789—1919. Eine Einführung in die Geschichte der neuesten Zeit. 3. Aufl. Leipzig; Berlin: Teubner, 1925 [1924].
- Schoeps M.** Zeit und Gesellschaft. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1980.
- Schorske K.** Fin-de-siècle Vienna: Politics and Culture. Oakleigh (Australia): Cambridge Univ. Press, 1992 [1961].
- Schott R.** Das Geschichtsbewusstsein schriftloser Völker // Archiv für Begriffsgeschichte, 1968, Bd. 12, S. 166—205.
- Schultz T. W.** Economic Value of Education. N. Y.; L.: Columbia Univ. Press, 1963.
- Schultz T. W.** Investment in Human Capital: The Role of Education and Research. N. Y.: Free Press; L.: Collier—Macmillan, 1971.
- Schultz T. W. (ed.).** Economics of the Family. Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1974.
- Schultz T. W.** On the Economics of the Increases in the Value of Human Time over Time. In: R. C. O. Matthews (ed.). Economic Growth and Resources. N. Y.: St. Martin's Press, 1980, v. 2, p. 107—129.
- Schumpeter J. A.** Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. 2 vol. N. Y.: McGraw-Hill, 1939.
- Schumpeter J. A.** History of Economic Analysis. N. Y.: Oxford Univ. Press, 1954.
- Schütz A.** The Phenomenology of the Social World. Evanston (Ill.): Northwestern Univ. Press, 1967 [Germ. ed. 1932].
- Schütz A.** Collected Papers. V. 1: The Problem of Social Reality. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962.
- Schütz A., Luckmann T.** Strukturen der Lebenswelt I, II. Neuwied; Darmstadt: Luchterhand, 1975.
- Schwartz B.** Queuing and Waiting. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1975.
- Screpanti E.** Long Economic Cycles and Recurring Proletarian Insurgencies // Review, 1984, v. 7, no. 2, p. 509—548.
- Screpanti E.** Long Cycles in Strike Activity: An Empirical Investigation // British Journal of Industrial Relations, 1987, v. 25, no. 1, p. 99—124.
- Senior N. W.** An Outline of the Science of Political Economy. L., 1836.
- Shackle G. L. S.** Expectations, Investment and Income. L.: Oxford Univ. Press, 1938.
- Shackle G. L. S.** Time in Economics. Amsterdam: North Holland, 1958.

- Shackle G. L. S.** Decision, Order and Time in Human Affairs. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1961.
- Shackle G. L. S.** A Scheme of Economic Theory. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1965.
- Shackle G. L. S.** Epistemics and Economics: A Critique of Economic Doctrines. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1972.
- Sharron A.** Dimensions of Time. In: N. K. Denzin (ed.). Studies in Symbolic Interaction, vol. 4. Greenwich (CT): JAI Press, 1982, p. 63—89.
- Shorter E., Tilly Ch.** Strikes in France, 1830—1968. L.: Cambridge Univ. Press, 1974.
- Silberling N. J.** The Dynamics of Business: An Analysis of Trends, Cycles, and Time Relationships in American Economic Activity since 1700 and Their Bearing upon Governmental and Business Policy. N. Y.: McGraw-Hill, 1943.
- Silver B. J.** Class Struggle and the Kondratieff. Paper presented at the international conference «The Long Waves of the Economic Conjuncture — The Present State of the International Debate». Brussels, Belgium, 1989.
- Simiand F.** Méthode historique et science social. Etude critique d'après les ouvrages récents de M. Lacombe et de M. Seignobos // Annales: E. S. C., 1960, v. 15, no. 1, p. 83—119 [Repr.: Revue de Synthèse Historique, 1903, v. 6, no. 17].
- Simiand F.** Les fluctuations économiques à longue période et la crise mondiale. P.: Librairie Felix Alcan, 1932a.
- Simiand F.** Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement général des prix du XVI^e à XIX^e siècle. P.: Domat Montchrestien, 1932b.
- Sirianni C., Walsh A.** Through the Prism of Time: Temporal Structures in Postindustrial America. In: A. Wolfe (ed.). America at Century's End. Berkeley, etc.: Univ. of California Press, 1991, p. 421—439.
- Skockpol Th.** States and Social Revolution. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979.
- Slither van Bath B. H.** The Agrarian History of Western Europe, AD 500—1850. L.: Edward Arnold, 1963.
- Slotkin R.** The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800—1890. N. Y.: Athenaeum, 1985.
- Smelser N.** Social Change in the Industrial Revolution. L.: Routledge, 1959.

- Snell B.** Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens. Hamburg: Claaszen und Goverts, 1964.
- Solomou S.** Phases of Economic Growth, 1850—1973. Kondratieff Waves and Kuznets Swings. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987.
- Sorel G.** Reflections on Violence. N. Y.: Huebsch, 1914 [Fr. ed. 1908].
- Sorokin P.** Social and Cultural Dynamics. 4 vol. N. Y.: The Bedminster Press, 1937—1941.
- Sorokin P.** Sociocultural Causality, Space, Time: A Study of Referential Principles of Sociology and Social Sciences. N. Y.: Russell & Russell, 1964 [1st ed. 1943].
- Sorokin P., Merton R. K.** Social Time: A Methodological and Functional Analysis // American Journal of Sociology, 1937, v. 42, no. 5, p. 615—629.
- Spangenberg H.** Die Perioden der Weltgeschichte // Historische Zeitschrift, 1922, Bd. 127, S. 1—49.
- Spiethoff A.** Pure Theory and Economic Gestalt Theory: Ideal Types and Real Types [1932]. In: F. C. Lane, J. C. Riemersma (ed.). Enterprise and Secular Change. Homewood (Ill.): Irwin, 1953, p. 444—463.
- Spitzer A. B.** The Historical Problem of Generations // American Historical Review, December 1973, v. 78, no. 5, p. 1353—1385.
- Squire J. S. (ed.).** If, or History Rewritten. N. Y.: Viking, 1931.
- Stavrianos L. S.** The World to 1500: A Global History. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970.
- Stearns P. N.** European Society in Upheaval. Social History Since 1800. N. Y.: Macmillan; 1967.
- Stelling-Michaud S.** Quelques aspects du problème du temps au moyen âge // Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte. Bern: Lang, 1959, Bd. 17, S. 46—69.
- Stetson H. T.** Sunspots in Action. N. Y.: Ronald Press, 1947.
- Stieher G.** Gesellschaft und Geschichte. Köln; Berlin: Akademie Verlag, 1974.
- Stigler G. J.** General Economic Conditions and National Elections // American Economic Review, May 1973, p. 160—167.
- Stone L.** The Crisis of Aristocracy, 1558—1641. Oxford: Oxford Univ. Press, 1965.
- Stone L.** The Past and the Present Revisited. L.: Routledge, 1987.

- Stone L. (ed.).** *Schooling and Society: Studies in the History of Education.* Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1969.
- Stromer-Reichenbach F.** *Deutsches Leben. Was ist Weltgeschichte.* Hans Lhotzky Verlag, 1919.
- Sturt M.** *The Psychology of Time.* N. Y.: Harcourt, Brace, 1925.
- Swain I.** *The Theory of Four Monarchies // Classical Philosophy*, 1940, v. 35, no. 2, p. 112—130.
- Sweezy P. M.** *Notes on the Centennial of the Kapital // Monthly Review*, 1967, v. 19, no. 7, p. 25—43.
- Sweezy P. M.** *The Theory of Capitalist Development.* N. Y.: Monthly Review Press, 1970.
- Szalai A.** *The Multinational Comparative Time Budget Research Project // American Behavioral Scientist*, December 1966, v. 10, no. 4, p. 1—4.
- Szalai A. (ed.).** *The Use of Time.* P.: Mouton, 1972.
- Tarrow S.** *Struggling to Reform: Social Movements and Policy Change During Cycles of Protest.* Cornell Center for International Studies Occasional Paper No. 15, 1983.
- Thomas B.** *Migration and Economic Growth.* Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1954.
- Thomas B. (ed.).** *Economics of International Migration.* L.: Macmillan, 1958.
- Thomas K.** *Work and Leisure in Pre-Industrial Society // Past and Present*, 1964, no. 29, p. 50—62.
- Thompson E. P.** *The Making of the English Working Class.* L.: Gollancz, 1963.
- Thompson E. P.** *Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism // Past and Present*, 1967, no. 38, p. 56—97.
- Thompson E. P.** *The Poverty of Theory, or an Orrery of Errors.* In: E. P. Thompson. *The Poverty of Theory and Other Essays.* L.: Merlin Press, 1978.
- Thompson E. P.** *Plebeian Culture and Moral Economy.* L.: Methuen, 1980.
- Thompson W.** *On Global War: Historical-Structural Approaches to World Politics.* Columbia: Univ. of South Carolina Press, 1989;
- Thompson W. R., Zuk L. G.** *War, Inflation, and the Kondratieff Long Wave // Journal of Conflict Resolution*, 1982, v. 26, no. 4, p. 621—644.
- Thorndike L.** *History of Magic and Experimental Science.* 2 vol. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1929.
- Thorp W. L.** *Business Annals.* N. Y.: NBER, 1926.

- Thrift N. J.** *The Making of a Capitalist Time Consciousness, 1300—1880 [1980].* In: J. Hassard (ed.). *The Sociology of Time.* L.: Macmillan, 1990, p. 105—129.
- Thrift N. J.** *Vivos Voco: Ringing the Changes in the Historical Geography of Time Consiousness.* In: M. Young, T. Schuller (eds.). *The Rythms of Society.* L.; N. Y.: Routledge, 1988, p. 53—94.
- Thurow L.** *Investment in Human Capital.* Belmont: n. s., 1970.
- Tillman M. K.** *Temporality and Role-Taking in G. H. Mead // Social Research*, 1970, v. 37, no. 1, p. 57—72.
- Tilly Ch.** *The Vandee.* L.: Arnold, 1964.
- Tilly Ch.** *As Sociology Meets History.* N. Y.: Academic Press, 1981.
- Tilly Ch.** *Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons.* N. Y.: Russell Sage Foundations, 1984.
- Tilly Ch.** *Reflections on the History of European State-Making.* In: Ch. Tilly (ed.). *The Formation of National States in Western Europe.* Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1975.
- Tilly Ch., Tilly L., Tilly R.** *The Rebellious Century, 1830—1930.* Cambridge (MA): Harvard Univ. Press, 1975.
- Tilly R. H.** *Financial Institutions and Industrialization in the Rhineland, 1815—1870.* Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1966.
- Tinbergen J., Polak J. J.** *The Dynamics of Business Cycles.* Chicago: Univ. of Chicago Press, 1950 [1942].
- Tobin J.** *The Monetary Interpretation of History: A Review Article // American Economic Review*, 1965, v. 55, no. 3, p. 464—485.
- Toffler A.** *The Third Wave.* N. Y.: Morrow, 1980.
- Tosh J.** *The Pursuit of History.* 2nd ed. L.; N. Y.: Longman, 1991.
- Toynbee A. J.** *A Study of History.* 12 vol. L.: Oxford Univ. Press, 1934—1961.
- Tufte E. B.** *Political Control of the Economy.* Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1978.
- Turner F. J.** *The Frontier in American History.* N. Y.: Holt, 1920, [1893].
- Turner H. A.** *Geissel des Jahrhunderts. Hitler und seine Hinterlassenschaft.* Berlin: Academie Verlag, 1989.
- Ullmann B. L.** *Renaissance — The Word and the Concept // Studies in Philology*, 1952, v. 49, no. 2, p. 105—118.

- Ullrich O.** Weltniveau: In der Sackgasse des Industriesystems. Berlin: Rotbuch Verlag, 1979.
- Usher A. P.** A History of Mechanical Inventions. N. Y.; L.: MacGrow-Hill, 1929.
- Vernant J.-P.** Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de psychologie historique. P.: Maspero, 1969.
- Vernon R.** International Investment and International Trade in the Product Cycle // Quarterly Journal of Economics, 1966, v. 80, no. 2, p. 290—307.
- Vernon R. Th.** Product Cycle Hypothesis in a New International Environment // Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1979, v. 41, no. 4, p. 255—267.
- Vidal de la Blache P.** Principes de la géographie humaine. P.: Colin, 1922.
- Viel A.** Du chronique au chronologique. In: Histoire de notre image. Mont-Blanc: Chartier, 1965, p. 109—141.
- Viereck P.** Conservatism Revisited. 2nd ed. N. Y.: Free Press; L.: Collier-Macmillan, 1965 [1st ed. 1949].
- Vilar P.** La Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales. 3 vol. P.: SEVPEN, 1962.
- Voltaire.** Essai sur les moeurs et l'esprit des nations. Genève: n. s., 1765—1769.
- Voltaire F.** Œuvres complètes. En 24 vol. P.: Garnier, 1877—1885.
- Vries J., de.** The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500—1700. New Haven (CT): Yale Univ. Press, 1974.
- Vries J., de.** The Economy of Europe in the Age of Crisis, 1600—1750. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1976.
- Wagemann E.** Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft: Grundlagen einer weltwirtschaftlichen Konjunkturlehre. Berlin: Reimar Hobburg, 1931.
- Wallerstein I.** The Modern World-System. In 3 vol. N. Y.: Academic Press, 1974—1989.
- Wallerstein I.** The Three Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-Economy // International Journal of Comparative Sociology, 1983, v. 24, no. 1—2, p. 100—108.
- Wallerstein I.** The Politics of the World-Economy. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984.
- Wallerstein I.** World-Systems Analysis. In: A. Giddens, J. H. Turner. (eds.). Social Theory Today. Cambridge: Polity Press, 1987, p. 309—324.

- Wallerstein I.** The Challenge to Maturity: Whither Social Science? // Review, Winter 1992, v. 15, no. 1, p. 1—7.
- Walvin J.** Leisure and Society: 1830—1950. L.: Longman, 1978.
- Warren C. F., Pearson F. A.** World Prices and the Building Industry. N. Y., etc.: Chapman Hall, 1937.
- Wax M.** The Notions of Nature, Man, and Time of a Hunting People // Southern Folklore Quarterly, 1962, v. 26, no. 3, p. 175—186.
- Weber L.** Le rythme du progrès. P.: Alcan, 1913.
- Weber M.** Economy and Society. 2 vol. Berkeley: Univ. of California Press, 1978 [Germ. ed. 1921].
- Weber M.** The Methodology of the Social Sciences. Glencoe (Ill.): Free Press of Glencoe, 1949.
- Weber R.** The Literature of Fact: Literary Nonfiction in American Writing. Athens (Ohio): Ohio Univ. Press, 1980.
- Weber R. Ph.** Society and Economy in the Western World System // Social Forces, 1981, v. 59, no. 4, p. 1130—1148.
- Webster H.** Rest Days. N. Y.: Harper, 1916.
- Wehler H.** -U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. München: Beck, 1987.
- Weinstock U.** Das Problem der Kondratieff-Zyklen. Berlin: Duncker und Humblot, 1964.
- Weiss P.** History: Written and Lived. Carbondale: Southern Illinois Univ. Press, 1962.
- Wendorff R.** Zeit und Kulture. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1980.
- White H.** The Burden of History [1966]. In: H. White. Tropics of Discourse. Baltimore (Mds.); L.: John Hopkins Univ. Press, 1978, p. 27—50.
- White H.** Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore; L.: The Johns Hopkins Univ. Press, 1973.
- White L.** Medieval Technology and Social Change. Oxford: Oxford Univ. Press, 1962.
- Whitrow G. J.** The Nature of Time. N. Y.: Wiley, 1975.
- Whorf B. L.** Language, Thought and Reality. Cambridge (MA): MIT Press, 1956.
- Wicksell K.** Value, Capital and Rent. L.: Allen & Unwin, 1954 [1893].
- Wicksell K.** Interest and Prices: A Study of the Causes Regulating the Value of Money. N. Y.: Augustus M. Kelley, 1965 [1898].

- Wicksell K.** Lectures on Political Economy. 2 vol. L.: Routledge, 1935 [1901].
- Wiebe G.** Zur Geschichte der Preisrevolution des 16. und 17. Jahrhunderts. Leipzig: Duncker und Humblot, 1895.
- Wight M.** Power Politics. N. Y.: Holmes & Meier, 1978.
- Wiles R. C.** The Theory of Wages in Later English Mercantilism // The Economic History Review, 1968, v. 21, no. 1, p. 113—136.
- Wilson C.** The Transformation of Europe, 1558—1648. Berkeley (CA): Univ. of California Press, 1976.
- Wittram, R.** Das Interesse an der Geschichte // Die Welt als Geschichte, 1952, Bd. XII, H. 1, S. 1—16.
- Wold H.** A Study in the Analysis of Stationary Time Series. 2nd ed. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1954 [1938].
- Wolff S., de.** Prosperitats- und Depressionperioden. In: O. Jenssen (ed.). Der Lebendige Marxismus. Jena: Thuringer Verlagsanstalt, 1924, S. 13—43.
- Wright L.** Clockwork Man. N. Y.: Horizon Press, 1969.
- Wright Q.** A Study of War. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1965 [1942].
- Wrightson K.** English Society, 1580—1680. L.: Hutchinson, 1982.
- Wundt W.** Beiträge zur Theorie des Sinneswahrnehmung. Leipzig; Heidelberg: Winter, 1862.
- Wundt W.** Volkerpsychologie. 10. Bde. Leipzig: Engelmann, 1900—1920.
- Young M.** The Metronomic Society. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1988.
- Zeldin T.** France, 1848—1945. Vol. 1: Ambition, Love and Politics; Vol. 2: Intellect, Taste and Anxiety. Oxford: Clarendon Press, 1973.
- Zerubavel E.** Patterns of Time in Hospital Life. Chicago: Chicago Univ. Press, 1979a.
- Zerubavel E.** Private-Time and Public-Time: The Temporal Structure of Social Accessibility and Professional Commitments // Social Forces, 1979b, v. 58, no. 1, p. 38—58.
- Zerubavel E.** Hidden Rhythms: Schedules and Calendar in Social Life. Chicago: Chicago Univ. Press, 1981.
- Zerubavel E.** The Seven Day Circle. N. Y.: Free Press, 1985.
- Zolla D.** Les variations du revenu et du prix des terres en France aux XVII^e et XVIII^e siècles. P.: Alcan, 1893—1894.
- Zschocke A.** Kondratieff Cycles in the Pre-Industrial Period: A Statistical Investigation // Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 1984, v. 31, p. 63—84.
- Zschocke A.** Kondratieff Cycles in the Pre-Industrial Period: A Bibliography // Newsletter on Long Waves (FBC, Binghamton), 1985, no. 2, p. 14—24.

УКАЗАТЕЛИ ИМЕН¹

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Авенель Ж., д' 108 | Антиох I Сотер 182 |
| Аверинцев С. 593 | Антонин Флорентийский 516, 528 |
| Агасси Дж. 56 | Аристарх Самосский 502 |
| Адам Б. 493 | Аристотель 31, 43, 44, 45, 64, 65, |
| Адамс Г. 323, 338, 364, 368, 399 | 66, 74, 76, 100, 104, 105, 131, |
| Аделярд из Баты 296 | 287, 295, 343, 344, 345, 362 |
| Адорно Т. 121 | Аристофан 506 |
| Адриан II 181 | Арон Р. 246, 278, 326, 342, 446 |
| Азимов А. 89 | Арриги Дж. 240 |
| Айзенштадт Ш. 117, 342 | Артаксеркс II 164 |
| Акмантий 177 | Арто А. 322 |
| Актон Дж. 630 | Арьес Ф. 124 |
| Аламбер Ж., д' 47, 48, 214 | Аттила 689 |
| Аларих I 212, 674 | Ахматова А. 240, 243 |
| Александр П. 318 | |
| Александр II (Романов) 241, 663 | Байрон Дж. 610, 652 |
| Александр VI Борджиа 37 | Бакстер Р. 522, 547, 548 |
| Александр Македонский 144, 147, | Барант А. 676 |
| 182, 183, 187, 309, 336, 589 | Барг М. 64, 276, 594, 602 |
| Альберти Л. 516, 518, 522, 555 | Барт Р. 38, 66 |
| Альетта М. 445 | Батай Ж. 322 |
| Альтдорфер А. 309 | Баталов Э. 315, 416 |
| Альтюссер Л. 38 | Баткин Л. 216, 218, 228 |
| Ампер А. 34, 36 | Бахтин М. 98, 654 |
| Анаксагор 288 | Беверидж У. 108 |
| Анаксимандр 287, 502 | Беда Достопочтенный 76, 179, 193, |
| Анаксимен 287 | 333, 604 |
| Андерсон П. 330, 656 | Безансон А. 122 |
| Андре В. 205 | Бейль П. 217 |
| Андриад 503 | Беккер Говард 489, 593 |
| Андроник Родосский 44 | Беккер Гэри 489, 532, 538, 539, 540 |
| Андрэе И. 312 | Белинский В. 66, 68 |
| Анниан 191 | Белл Д. 245, 307, 342, 446 |

¹ В список включены имена, упоминаемые в основном тексте. Римские, библейские и мифологические имена даны в конце указателя.

- Беллами Э. 246
Белов Г., фон 662
Бем-Баверк Е., фон 41, 484, 530
Бенедикт Нурсийский, Св. 509
Бенедикт Р. 121, 122
Бентам И. 34, 105, 529
Бергсон А. 78, 83, 84, 90, 493
Бердяев Н. 233, 247, 318
Берк П. 69, 98, 111, 113, 121, 126, 132
Берк Э. 304, 624, 625, 626
Бернар К. 369
Бернар Клервосский 294, 309
Бернар Шартрский 294
Бернардино Сиенский 528
Бернс А. 109
Берос 502
Берри Т. 109
Бертон Р. 247
Бетман-Гольвег Т. 687
Бжезинский З. 246, 326, 342
Бикерман Э. 163
Бируни А. 179
Бисмарк О., фон 241, 689, 692
Бицилли П. 309
Блан Л. 70, 450
Бланки А. 454
Бланки О. 454
Блок М. 39, 59, 66, 112, 115, 123, 124, 149, 209, 352, 622, 664, 669
Блох Э. 314
Боден Ж. 198, 199, 206, 298, 363, 366, 377
Боккара П. 410
Бокль Г. 131, 132
Бонавентура, Св. 294
Бональд Л., де 304, 624
Борхес Х. 646
Ботта П. 205
Боулдинг К. 342
Бозций 75, 76, 90
Браге Т. 298, 377
Бранд К.-В. 415
Браун Л. 321
Брахер К. 156, 157, 158
Брежнев Л. 236, 397
Брейер Й. 122
Брейзиг К. 439
Брентано Л. 625
Брентано Ф. 41, 117, 118, 119
Бретон Р., де ля 315
Брехт Б. 646
Бродель Ф. 18, 24, 25, 42, 98, 111, 115, 129, 132, 133, 134, 148, 149, 151, 153, 157, 158, 226, 240, 307, 390, 411, 412, 413, 427, 428, 429, 432, 437, 450, 464, 576, 620, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 655, 667, 669, 674
Бруни Л. 202
Бруно Дж. 198, 298
Брэндон С. 593
Бубер М. 277
Бувье Ж. 410
Буке М. 60
Букшин М. 342
Булгаков С. 105
Бургьер А. 124
Бурдые П. 98, 125
Буркхардт Я. 114, 217, 218, 655, 657
Бурстин Д. 59, 145, 148, 198, 241, 324, 508, 565, 584, 680, 681
Буше де Перт Ж. 223
Бьондо Ф. 206
Бэкон Р. 30, 45, 294, 296

- Бэкон Ф. 18, 32, 34, 45, 46, 47, 50, 65, 206, 277, 298, 299, 313, 377
Бюлов Б., фон 687
Бюль В. 419
Бюрги из Касселя 504
Бюхер К. 23, 341, 439, 625
Вагнер Р. 611
Вазари Дж. 216
Вайгерт Э. 488, 494
Вайц Г. 60
Валентин 295
Валла Л. 13, 31, 59, 202, 205
Валленштайн А., фон 69
Вальрас Л. 436
Василид 295
Васко да Гама 197
Ваттенбах В. 60
Вашингтон Дж. 613
Вебер М. 11, 20, 51, 62, 112, 113, 121, 350, 434, 435, 439, 453, 484, 522, 526, 547, 548, 571, 572, 573, 619
Веблен Т. 539
Везалий А. 198
Вексслер Е. 366
Веласкес Р. 247
Велер Г.-Ю. 115
Верас Д. 313
Вернадский В. 34, 379
Вжозек В. 643, 644
Вибе Г. 108
Видал де ла Блаш П. 132
Визер Ф. 41
Вийон Ф. 646
Вико Дж. 277, 305, 306, 345, 350, 372
Виксель К. 484, 530, 569
Виктория Английская 158, 237
Вильгельм IV Баварский 309
Вильсон В. 674
Виндельбанд В. 51, 52, 53, 278
Винкельман И. 202
Винклер Г. 205
Винцент из Бове 30
Виньи А., де 611
Вирек П. 680
Витгенштейн Л. 248
Волатеранус (Маффеи Р.) 31
Вольтер (Аруэ М.) 102, 114, 165, 217, 241, 276, 299, 300, 670
Вольф Р. 380
Вольф С., де 400
Воронцов М. 64
Ворсо Е. 223, 234
Вулли Л. 205
Вундт В. 35, 55, 117, 118, 119, 132, 444
Вяземский П. 233
Гаджиев К. 245, 681
Гай П. 247, 646
Гайденко П. 51
Галилей Г. 70, 198, 298, 377, 426, 504
Галифакс Э. 652
Галлам Г. 208
Галлер К. 625
Галтунг Ю. 249, 326
Гамильтон Э. 452
Ганди М. 121
Гарнер Дж. 652
Гарнье Ж. 47
Гаррисон Дж. 504
Гассенди П. 30
Гаттеи Дж. 414

- Гегель Г. 30, 278, 279, 285, 305, 310, 322, 329, 336, 337, 345, 350, 372, 439, 627, 628, 629
Гекатей Милетский 586
Геллер М. 663
Гельвеций К. 105, 340
Гельдерен Я., ван 400
Гемпель К. 56, 278, 686
Генлейн П. 504
Генрих IV Французский 254, 422
Генрих VII Тюдор 212, 451, 560
Георг III 237, 454
Георг IV 237
Георгий Синкелла 179
Гераклит Эфесский 287, 362, 579
Гердер И.-Г. 131, 239, 241, 277, 278, 300, 303
Геродот 26, 31, 65, 131, 361, 362, 369, 586
Герц К. 98, 125
Гершель У. 380
Гершенкрон А. 342, 440, 455
Гесиод 229, 231, 233, 234, 286, 287, 288, 332, 361, 362, 555
Гете И. 155, 611
Гиббон А. 102, 114, 203, 221
Гидденс Э. 19, 21, 22, 24, 541, 542, 576, 583
Гизебрехт В. 60
Гизо Ф. 70, 114, 208, 354, 676
Гийом Коншский 45
Гиллель II 189
Гильгамеш 599
Гильдебранд Б. 107, 341, 439, 625
Гинзбург К. 69, 126, 693
Гинцель Ф. 180
Гиппократ 288
Гитлер А. 121, 123, 244, 651, 652, 671, 674
Гоббс Т. 47, 147, 406
Гобсон Дж. 442, 450
Гоголь Н. 129, 154, 208, 238
Голдсмит Э. 321
Голдстайн Дж. 390, 402, 408, 423, 425, 429, 430, 431
Голон А. 611
Голон С. 611
Гольбах П. 685
Гомер 73, 229, 286
Гонорий Отенский 309
Горбачев М. 663
Гордон Д. 386, 445
Горц А. 248, 249
Госсен Г. 107
Госслен Ж. 319
Гофман А. 341
Гофмансталь Х., фон 247
Гоффман И. 484, 541, 542
Грановский Т. 25, 200, 213
Грей Дж. 536
Григорий XIII 169
Григорий Назианзин 525
Григорий Нисский 525
Григорий Палама 294
Гримм В. 215, 619
Гримм Я. 215, 619
Грозный Б. 205
Грот Дж. 203
Гротефенд Г. 205
Гуго Сен-Викторский 45, 294, 296
Гудвин Б. 315
Гудвин Р. 384
Гуди Дж. 125
Гулыга А. 19, 21, 64
Гумилев Л. 306, 349, 373
Гумплович Л. 609
Гурвич Ж. 484, 486, 487, 488

- Гуревич А. 209, 556, 584, 585, 591, 595
Гуссерль Э. 41, 78, 86, 118
Гуттен У., фон 198
Гюго В. 611
Гюйгенс Х. 299, 504
Давыдов Ю. 450
Далин В. 677
Даль В. 229
Данилевский Н. 346, 347, 348, 350, 373
Данте Алигьери 294
Дарвин Ч. 34, 224, 449, 662
Дарендорф Р. 342
Дарий III Кодоман 309
Дарнтон Р. 126, 127
Даунз Э. 394
Дебидур А. 242
Декарт Р. 65, 77, 198, 283, 299, 336, 426
Деметрий I Полиоркет 164
Демокрит 288
Дерпфельд В. 204
Деррида Ж. 38, 659
Дешан Л. 315
Джевонс У. 108, 381, 391, 392, 395, 400, 537, 539
Джеймс У. 484, 486
Джексон Э. 613
Дженкс Ч. 327
Джефферсон Т. 613, 615
Джут Т. 663
Дидро Д. 18, 47, 48, 214, 303, 340
Дильтей В. 35, 51, 52, 53, 57, 119, 278, 364, 365
Димитрий 179, 189, 190
Диодор Сицилийский 188
Дионисий Малый 179, 193, 647
Дионисий Петавий 180, 194, 647
Докучаев В. 379
Доран Ч. 429
Дракер П. 342
Дрейк Ф. 548
Дрепер Д. 132
Дрерап Ф. 365
Дройзен И. 50, 203, 221, 663
Дромель Ж. 365, 399
Дрюон М. 611
Дуглас М. 125
Дьюзенберри Дж. 384
Дьяков В. 26
Дьяконов И. 177, 225
Дэвис Н. 127, 590
Дюма А. 67, 611
Дюркгейм Э. 44, 62, 85, 113, 118, 132, 484, 486, 488, 493, 593, 619
Дюэм П. 56, 358
Евгений IV 194
Евдокс из Книда 503
Евклид 684
Еврипид 288, 610
Евсевий Кесарийский (Памфил) 179, 186, 189, 190, 191, 295, 333
Екатерина II 220, 236
Елизавета I (Тюдор) 237, 254, 454, 560
Елизавета Петровна (Романова) 145
Жак Э. 86
Жамбе К. 322
Жане П. 34, 484
Жугляр К. 306, 389, 391, 392

Загоскин М. 611
 Зарновиц В. 392
 Зассе Э. 378, 404
 Зелдин Т. 124, 148, 657
 Зенон Китионский 29, 362
 Зенон Элейский 82
 Зерубавель Э. 542
 Зибель Г., фон 60, 221
 Зибер Н. 303
 Зидер Р. 22, 149
 Зиммель Г. 65, 140, 146, 151, 158, 278
 Золя Д. 108
 Золя Э. 304
 Зомбарт В. 306, 350, 434, 439, 444, 445, 450, 517, 546, 548, 565, 625
 Зосима 212
 Зосима (митрополит) 297, 334
 Ибн Сина (Авиценна) А. 44, 45
 Ибн Хальдун А. 131, 369, 421
 Ибсен Г. 304
 Иван IV Грозный 129, 237, 645, 662
 Иванов Вяч. 593
 Иделер Х. 180
 Иероним, Св. 179, 191, 333, 349—350, 525
 Изелин И. 335
 Иллич И. 321
 Иоанн I 193
 Иоанн XIII 194
 Иоанн Дунс Скотт 528
 Иоанн Скот Эриугена 295, 296
 Иоахим Флорский 294, 295, 296, 309, 334, 335, 363, 604
 Иосиф бен Халафт 189

Иосиф Флавий (Иосиф бен Матафие) 179, 186, 188, 189, 194, 558
 Исаак из Стеллы 309
 Исидор Севильский 28, 29, 30, 179, 604
 Исократ 64
 Йездигер III 170, 183
 Йор В.-А. 569
 Кавендиш Т. 548
 Кальвин Ж. 526
 Камерон Р. 390, 426, 464
 Камм Т. 152
 Кампанелла Т. 298, 312, 313, 363
 Камю А. 303
 Кан Г. 246, 326, 342
 Кант И. 32, 33, 37, 47, 51, 90, 151, 153, 241, 300, 301, 683
 Канторович Э. 623
 Капоте Т. 68
 Кардано Дж. 198
 Кардинер А. 122
 Кареев Н. 24
 Карл V 305, 306
 Карл Великий 182, 193, 300, 305, 306, 525, 556
 Карлейль Т. 154, 233, 304, 625, 627
 Карнап Р. 56
 Карр Э. 668
 Кассини Ж. 180, 194
 Кафка Ф. 646
 Кегли Ч., мл. 425
 Кейнс Дж. 108, 484, 569, 575
 Келлер Х. 207, 217, 228, 449
 Кембл Дж. 208
 Кеннан Дж. 157
 Кеннеди Дж. 681, 687

Кеннеди П. 245, 423
 Кенэ Ф. 105
 Кеплер И. 198, 298, 377, 378
 Киденас 164
 Кинг У. 109
 Киндлебергер Ч. 373
 Киплинг Р. 646
 Кирик Новгородец 179
 Кирхер А. 203
 Киссель М. 54
 Китчин Дж. 389, 393
 Кларк К. 440
 Кларк П. 561
 Клемансо Ж. 674
 Клеопатра VII 187, 651
 Клеострат 164
 Климент Г. 248
 Клинберг Ф. 417, 418, 425
 Ключевский В. 132, 220, 672
 Книс К. 625
 Ковальченко И. 26, 633, 666
 Кодрингтон Р. 484
 Козеллек Р. 55, 89, 155, 213, 309, 322, 620, 688
 Козер Л. 487
 Козер Р. 487
 Койре А. 646
 Кокка Ю. 71, 115
 Колдуэй Р. 205
 Коллингвуд Р. 51, 54, 58, 64, 70, 112, 128, 145, 158, 221, 278, 301, 303, 335, 351, 644, 647, 664
 Колумб Х. 197, 200, 212, 254, 613
 Комениус Я. 312
 Кондильяк Э., де 105
 Кондорсе Ж. 300, 315, 336, 340, 436
 Кондратьев Н. 282, 389, 400, 402, 405, 415, 417, 421, 432, 433, 472

Конрад Н. 275
 Конт О. 20, 33, 34, 37, 48, 49, 51, 112, 113, 302, 337, 338, 363, 365, 382, 626, 677
 Конце В. 25, 114, 149, 157
 Коперник Н. 166, 198
 Корнелиус Ф. 347
 Коул А. 109
 Кракауэр Э. 620, 654, 655, 656
 Краус К. 247
 Кронин Дж. 413
 Кропоткин П. 318, 320
 Кроче Б. 51, 54, 65, 143, 278, 666, 667
 Круг В. 36
 Ксенократ 29
 Ксенофонт 104
 Ксеркс 145
 Куайн У. 56
 Куайн У. 358
 Кубертен П., де 171
 Кузнец С. 109, 374, 389, 397, 398, 399, 400, 426, 432, 435, 439, 443, 455, 456, 459
 Куигли К. 349, 373
 Кун Т. 56, 385
 Курно О. 49, 106, 364
 Кьеркегор С. 247
 Кюммер Ф. 366
 Лабрусс Э. 108, 385, 401, 636, 637
 Лависс Э. 239
 Лажечников И. 611
 Лакан Ж. 38
 Ла Капра Д. 38, 659
 Лакатос И. 56, 57
 Лампрехт К. 439, 444
 Лангер У. 121
 Ланглуа П. 203

- Лангриш Дж. 420
 Ландри А. 530
 Лаплас П. 33, 686
 Лардро Г. 322
 Ларте Э. 224
 Лацарус М. 118
 Леббок Дж. 224, 234
 Лебон (Ле Бон) Г. 119, 369
 Левассер Э. 114
 Леви Дж. 407, 408
 Леви-Брюль Л. 123, 124
 Левин К. 484
 Леви-Стросс К. 94, 130, 140, 159, 484, 661, 663, 667, 675
 Ле Гофф Ж. 100, 101, 200, 210, 211, 213, 227, 294, 515, 595, 641, 642, 643, 647
 Лейбниц Г. 77, 198, 247, 299, 312, 426
 Ленин В. 221, 324, 442, 443, 611, 652
 Лео Г. 625
 Леонардо да Винчи 120
 Леруа П. 504
 Ле Руа Ладюри Э. 35, 61, 97, 122, 123, 126, 129, 145, 146, 448, 501, 514, 559, 641, 642, 643
 Лессинг Г. 300, 322
 Ли Р. 613, 652
 Ликург 145
 Лилио Л. 169—170
 Линдаль Э. 87, 569
 Линдер С. 540
 Линкольн А. 613
 Лиотар Ж.-Ф. 38
 Лисандр 194
 Лист Ф. 105, 107, 208, 340, 350, 625
 Лихтхайм Д. 342
 Ллойд К. 148
 Ллойд-Джордж Д. 671
 Локк Дж. 30, 426, 529
 Лонг Х. 613
 Лоренц А. 365
 Лоренц О. 364, 365, 369, 399
 Лосев А. 277, 450
 Лотман Ю. 59, 622, 647, 668, 691
 Лоуэнталь Д. 89, 178, 620
 Луден Г. 625
 Лукас Р. 358, 384, 570
 Лукач Дж. 156, 214, 240, 243, 249
 Лукман Т. 489, 571, 572
 Льюис Дж. 488, 494
 Лэйард О. 205
 Людовик IX, Св. 30
 Людовик XII 422
 Людовик XIV 231, 236, 237, 254
 Лютер М. 121, 299, 526
 Мабильон Ж. 60
 Маврикий, Св. 60
 Магеллан Ф. 197
 Мазарини Дж. 67
 Макартур Д. 613
 Макиавелли Н. 31, 70, 100, 198, 200, 202, 277, 298, 345, 363, 366, 369, 692
 Маккензи Р. 242, 303
 Макнил У. 354
 Маковский С. 233
 Маколей Т. 114
 Максим Исповедник 294
 Максимилиан I 309
 Мак-Таггарт Дж. 80
 Малер Г. 248
 Малиновский Б. 484
 Мальтус Т. 21, 106, 303
 Мамфорд Л. 249, 318
 Мандель Э. 410, 411, 412

- Мандельштам О. 48
 Мандру Р. 124
 Манетти Дж. 516, 521
 Манефон 179, 185, 186, 187, 191, 192, 223
 Мани 195
 Манн Г. 69, 156, 652, 671
 Манн М. 116, 117
 Манн Т. 69
 Манхейм К. 101, 198, 313, 314, 364, 366, 367, 570, 627, 677, 678
 Маньков А. 108
 Маньковская Н. 657
 Мао Цзэдун 58
 Мап У. 213
 Мариас Х. 365
 Мариет О. 205
 Мария Стюарт 652
 Марк Твен (Клеменс С.) 233
 Маркес Г. 68
 Маркс К. 21, 42, 58, 62, 105, 108, 112, 113, 121, 147, 149, 200, 220, 285, 306, 322, 324, 337, 340, 341, 372, 373, 389, 391, 392, 436, 437, 440, 441, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 531, 536, 633, 676, 677, 679, 683, 686, 689, 690
 Маркузе Г. 321
 Мар-Самуил 189
 Мартин, Св. 557
 Мартинз Г. 116, 117, 657
 Мартир П. 303
 Маршалл А. 105, 484, 530, 532, 568, 573, 574
 Маслов С. 419
 Масперо Г. 205
 Масси Дж. 529
 Масуда Й. 246
 Мах Э. 56
 Махлуп Ф. 41
 Мевес Р. 378, 404
 Медоуз Дж. 326, 342
 Мейтлэнд Ф. 664
 Мелетинский Е. 285, 576, 593, 595, 603
 Менгер К. 41
 Ментре Ф. 365
 Менцель Б. 625
 Менш Г. 375
 Мережковский Д. 611
 Мерло-Понти М. 86
 Мертон Р. 86, 493
 Местр Ж., де 303, 304, 624
 Метон Афинский 164
 Меттерних К., фон 241
 Мечников Л. 226
 Мид Дж. 484, 487
 Мид Р. 245, 571
 Мизес Л., фон 41, 105, 484
 Миллс Р. 679
 Милль Дж. 35, 105, 364, 365, 530
 Мило Д. 66, 623, 645, 646, 648
 Милютин В. 316
 Мингей Дж. 211
 Минковский Е. 484
 Минц И. 392
 Минье Ф. 114, 208, 676
 Митчелл У. 109, 392
 Михаил III 144
 Мишле Ж. 35, 122, 217, 218, 450
 Мишо Ж. 625
 Модельски Дж. 390, 423, 424, 425, 429
 Модильяни Ф. 376, 588
 Молотов В. 612
 Моммзен Т. 203
 Монкретьен А. 105

- Монлозье Ф., де 304, 625
Монтень М., де 198, 303
Монтескье Ш. 102, 131, 277, 300
Монфокон Б. 60
Мор Т. 198, 313, 315, 317
Морган Л. 303, 340
Моргенштерн О. 41, 574
Морелли 315
Морилл Дж. 653
Морозов Н. 379
Мортилье Г., де 224, 234
Мосс М. 44, 593
Музиль Р. 248
Мур Б. 116, 117
Мур Дж. 392
Мур У. 86, 446, 484, 488, 540
Мут Р. 358, 570
Мухаммед (Магомет) 58, 195
Мэддисон А. 423, 424, 439, 443, 444, 462
Мэйлер Н. 68
Мюллер А. 625
Мюллер Х. 365
Мюрдаль Г. 87, 180, 484, 569
Набонассар 185, 186, 187
Набонид 204
Навиль А. 36, 37
Найт Ф. 484, 573
Наменвирт Дж. 418, 419
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) 149, 153, 184, 204, 223, 239, 409, 430, 431, 463, 612, 652, 689
Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт) 70, 422
Нейман Дж., фон 574
Неусыхин А. 209
Нибур Б. 202, 205, 629
Николай Кузанский 298, 363
Нильсон М. 484
Ниппердей Т. 125, 692
Нисбет Р. 64
Ниццолио М. 31
Ницше Ф. 38, 119, 247, 304, 322
Нобель А. 109, 110, 383, 384, 532, 570, 573, 588
Новалис (Гарденберг Ф., фон) 304, 611, 624
Нора П. 43, 642
Нострадамус М. 377
Ньютон И. 77, 198, 294, 378, 426, 493
Озе А. 108
Ойкен В. 434
Оккам (Уильям Оккамский) 296
Окуджава Б. 229
Олег 144
Олсон М. 373
Опи Р. 574
Оппенгейм П. 56
Ориген 293, 295, 296
Ортега-и-Гассет Х. 119, 241, 304, 364, 365, 367, 368, 369, 399, 400, 608, 624, 694
Оруэлл Дж. 572, 645
Осман Ж. 623
Оствальд В. 56
Отис Дж. 680
Оттон I 334
Оттон Фрейзингенский 309, 335, 604
Оукшот М. 96
Оуэн Р. 105, 536
Оцуп Н. 233

- Павсаний 204
Панодор 191
Паоло да Чартальдо 516, 555
Папен Ф., фон 671
Парацельс (Гогенхейм Ф., фон) 198
Парето В. 364, 367, 369, 417, 436, 619
Парсонс Т. 113, 299, 387
Паскаль Б. 363
Пацификус из Вероны 503
Пачоли Л. 528
Перикл, сын Ксантиппа 288
Петерсен Й. 366
Петр I 237, 496, 662
Петр III 145
Петрарка Ф. 199, 206
Петри Флиндерс У. 205
Петров В. 419
Петти У. 529
Пиаже Ж. 118, 484, 486
Пий XII 526
Пико делла Мирандола Дж. 202
Пиндер В. 365
Питт У., мл. 507
Пифагор 28, 287
Пифодор 178
Платон 18, 27, 28, 29, 43, 44, 73, 104, 105, 131, 204, 229, 287, 311, 343, 344, 350, 362, 450, 667
Плеханов Г. 241
Плотин 74, 287
Плутарх 70, 362
Подгаецкий В. 357
Покок Дж. 71, 100, 310, 621, 692
Полак Ф. 315, 326
Полани М. 56
Полибий 186, 194, 288, 343, 344, 345, 362
Полициано А. 31, 45
Помиан К. 280
Помпадур Ж., де 651
Помпонацци П. 202
Поппер К. 55, 56, 96, 278, 324, 325, 358
Поршнев Б. 632
Постхумус Н. 108
Потемкин Г. 506
Престовиц К. 245
Пригожин И. 493
Прудон П. 536
Пруст М. 69, 694
Псевдо-Дионисий Ареопagit 294
Птолемей I Сотер 183, 186
Птолемей II Филадельф 186
Птолемей III Эвергет 166
Пуанкаре Ж. 56
Пуласки К. 613
Пушкин А. 276, 611
Пьер Абеляр 296
Райт К. 405, 408, 429
Рамбо А. 239
Ранке Л., фон 60, 102, 113, 208, 211, 219, 220, 352, 354, 364, 369, 620, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 650
Рассел Б. 65
Рассел Дж. 373
Ратцель Ф. 132
Редфорд ??? 114
Рейган Р. 236
Рейхенбах Х. 56
Ремарк Э. 371
Рембо А. 646
Ренан Ж. 303
Ренувье Ш. 653
Ретиф де ла Бретон Н. 246

- Риббентроп И., фон 612
 Ридольфи Л. 528
 Рикардо Д. 105, 106, 535
 Риккерт Г. 35, 51, 52, 53, 278
 Рисмен Д. 370
 Рише Д. 643
 Ришелье А. 67
 Робеспьер М. 300
 Родбертус И. 536
 Роджерс Т. 108
 Роджерс У. 613
 Розак Т. 249
 Розенберг А. 348, 373
 Розенберг К. 660
 Розенцвейг Ф. 277
 Рокфеллер Дж., III 681
 Роршах Г. 428
 Росситер К. 679
 Ростю У. 307, 341, 342, 435, 440, 441, 455, 460, 461
 Роттек К., фон 156
 Роуз Дж. 156
 Роулинсон Г. 205
 Рошер В. 107, 625
 Рузвельт Ф. 652, 681
 Руссо Ж. 303, 363
 Руччелли Дж. 516
 Рэймонд Дж. 425
 Рэли У. 548
 Рюккерт Г. 346, 373
 Савиньи Ф. 208, 625, 626
 Сад Д.-А.-Ф., де 322
 Саймон Г. 573
 Салинз М. 125
 Самуэльсон П. 358, 383
 Сараек Э., де 205
 Сарджент Т. 384, 570
 Сартр Ж.-П. 92, 112
 Сато С. 245
 Святский Д. 379, 396
 Селевк I Никатор 182
 Сениор Н. 530, 535
 Сен-Симон А., де 33, 317, 363, 369
 Сербин Л. 507
 Сервантес Сааведра М., де 11, 210
 Сервет М. 198
 Серто М., де 19, 89, 93, 196, 620
 Сигер Брабантский 76
 Сид Кампеадор (Бивар Р., де) 612
 Силвер Б. 413
 Сильвестр II (Герберт д'Ориллак) 503
 Симиан Ф. 108, 385, 401, 636, 637, 642
 Симон Маккавей 182
 Сисмонди С., де 676
 Скалигер Жозеф 180, 192
 Скалигер Жюль 192
 Скокпол Т. 116
 Скотт В. 68, 610, 611
 Крепант Э. 411, 412, 413
 Смелзер Н. 117
 Смит А. 21, 104, 105, 106, 300, 340, 350, 535
 Созиген 166
 Солженицын А. 68
 Соловьев С. 132
 Солон Афинский 164, 523
 Сорель Ж. 316
 Сорокин П. 86, 282, 306, 390, 484, 486, 488, 493, 540
 Соссюр Ф., де 38, 654, 655
 Спенсер Г. 37, 51, 112, 299, 301, 302, 364, 369, 626, 652, 662
 Спиноза Б., де 77, 203
 Спитцер А. 371
 Ставрианос Л. 354

- Сталин И. 236, 397, 614, 663
 Стирнз П. 115
 Стоун Л. 21, 38, 72, 113, 125, 620, 645, 653, 695
 Стюарт Д. 104
 Суизи П. 385
 Сэ Ж.-Б. 106
 Такман Б. 687
 Тард Г. 119, 120, 369
 Тарроу С. 415
 Тернер Б. 247
 Тернер Г. 651
 Тернер Ф. 132, 133
 Тертр Ж., дю 303
 Тик Л. 304
 Тилли Ч. 115, 116, 117, 429
 Тиллих П. 247
 Тимей Сицилийский 172, 186
 Тойнби А., мл. 237, 306, 307, 348, 349, 351, 369, 373, 390, 404, 406, 408, 424, 425, 429, 634, 635, 665, 688
 Тойнби А., ст. 237, 454
 Токарев С. 303, 593, 597
 Токвиль А., де 70, 112, 643, 677
 Толстой А. К. 220
 Толстой А. Н. 611
 Толстой Л. 68, 149, 153, 611, 689
 Томпсон У. 423
 Томпсон Э. 126, 353, 667, 668
 Томсен К. 223, 234
 Топоров В. 587, 593, 602
 Торо Г. 320
 Тоффлер О. 307, 321, 326, 342, 350, 446
 Тош Дж. 122
 Тревьельян Дж. 114
 Трейчке Г., фон 221
 Трельч Э. 210, 215, 275, 330, 350, 439, 453, 626, 629, 670
 Трифт Н. 537
 Троцкий Л. 121
 Тулмин С. 56
 Турен А. 342
 Тынянов Ю. 611
 Тьер А. 70, 676
 Тьерри О. 68, 114, 208, 676
 Тэйлор Ф. 541
 Тэн И. 119
 Тэтчер М. 236
 Тюнен И., фон 106, 107
 Тюрго А. 105, 106, 131, 300, 339
 Уайт М. 423
 Уайт Х. 38, 69
 Уарте Х. 45, 198
 Уилер Х. 681
 Уколова В. 634
 Улугбек М. 503
 Уоллерстайн И. 34, 55, 56, 244, 331, 390, 410, 411, 413, 423, 424, 425, 429, 641
 Уоллес А. 662
 Уоллес Н. 384, 570
 Уорнер Ч. 233
 Успенский Б. 334, 621, 651, 661
 Утченко С. 26
 Уэбер Р. 418, 419
 Уэллс Г. 89
 Фалес 287
 Февр Л. 115, 122, 123, 124, 129, 132, 142, 197, 207, 217, 351, 638, 663, 674
 Федоров Н. 587
 Фейерабенд П. 56, 58
 Фелпс Браун Г. 410, 428

- Феодосий 503
 Феон 187
 Фербэнк Д. 665
 Фергюсон Э. 102, 340, 363
 Феррари Г. 365, 422, 423
 Ферро М. 58, 609, 610, 611, 643
 Филипп II Испанский 42, 133, 237, 254, 454, 638
 Филипп II Македонский 145
 Филипп IV Арридей 183
 Филипп IV Красивый 422
 Филон Александрийский 28, 30, 179, 189, 190
 Фихте И. 153
 Фиш С. 38
 Фишер Г. 248
 Фишер И. 484, 530
 Флеминг С. 511
 Флехтхейм О. 326
 Фогель Р. 63, 109, 111, 154, 552
 Фогт И. 37
 Фома Аквинский, Св. 75, 76, 77, 100, 293, 294, 296, 518, 528, 640
 Фоменко А. 180
 Фонтенель Б. 300
 Форрест Н. 613
 Форрестер Дж. 326, 342
 Форстер Г. 305, 346, 349, 372—373
 Франк А. 227, 330, 352, 353, 656
 Франк С. 248
 Франклин Б. 516, 518, 519, 529, 548, 549, 609, 616
 Фрейд Э. 41, 62, 118, 120, 121, 122, 247, 248, 304, 322, 484, 657
 Фридмен М. 109
 Фридрих II 145, 623
 Фридрих Я. 378
 Фрике Э. 109
 Фримен К. 375
 Фробениус Л. 348
 Фромм Э. 121, 122, 301, 583
 Фуггер Я. 548
 Фукидид 26, 31, 35, 131, 177, 178, 204, 308
 Фуко М. 32, 36, 37, 38, 98, 103, 120, 124, 322, 538, 540, 541, 554, 559, 648, 660
 Фукуяма Ф. 329
 Фурастье Ж. 326
 Фурье Ш. 105, 317, 346, 363, 369
 Фьюер Л. 370
 Фюре Ф. 643, 644
 Фюстель де Куланж Н. 102, 114
 Хаберлер Г. 41
 Хагерstrand Т. 86, 542
 Хайдеггер М. 38, 41, 60, 79, 659
 Хайек Ф., фон 41, 105
 Хайлбронер Р. 246, 305, 327, 615, 684
 Хаксли Т. 50, 662
 Хальбвакс М. 484, 567
 Хаммурапи 161, 163, 235, 523, 556
 Хансен Э. 384
 Хантингтон С. 245
 Харевен Т. 588
 Харц Л. 615
 Хейзинга Й. 96, 209, 212, 695
 Хикс Дж. 108, 384, 484
 Хилдебранд К. 156
 Хиршман А. 420
 Хладениус Й. 674
 Хлебников В. 378
 Хобсбоум Э. 39, 115, 156, 237, 243, 410, 645, 668, 677
 Ходсон Т. 484
 Холл Э. 489

- Холуэлл Дж. 378
 Хопкинз Т. 424
 Хопкинз Ш. 428
 Хоукинг С. 281
 Хофстедтер Р. 680
 Хоффман В. 439, 440, 455, 459
 Хрисидида 178
 Хрущев Н. 221
 Хуан Австрийский 652
 Хубер Й. 415
 Худ У. 87
 Хук С. 653, 673
 Хэндлин О. 652
 Цвингли У. 526
 Циолковский К. 379
 Чемберлен Н. 652
 Чемберлен П. 312
 Чернышев З. 145
 Чернышевский Н. 693
 Черчилль У. 652, 670
 Чижевский А. 379, 381, 382, 395, 396
 Чижов Е. 55
 Чэмберс Дж. 211
 Чэпмен С. 538
 Шампольон Ж. 205, 223
 Шамурин Е. 27
 Шатобриан Ф., де 103, 304, 624
 Шацкий Е. 313
 Шварц А. 109
 Шекспир У. 88, 206, 210, 610, 611
 Шелер М. 42
 Шеллинг Ф. 65, 336, 439
 Шельски Х. 370, 371
 Шиллер И. 310, 611
 Шкловский В. 67
 Шкуратов В. 317, 686
 Шлегель Ф. 309, 624, 626, 683
 Шлезингер А., мл. 247, 323, 365, 368, 369, 399, 400, 420, 421, 652, 681, 688, 689
 Шлезингер А., ст. 368, 399, 400
 Шлецер А. 102
 Шлиман Г. 204
 Шмоллер Г. 112, 341, 439, 625
 Шнабель Ф. 220
 Шницлер А. 247
 Шоню П. 133, 226, 643, 644
 Шопенгауэр А. 247
 Шоу Б. 304
 Шпенглер О. 128, 222, 247, 279, 304, 306, 307, 347, 348, 349, 351, 373, 688
 Шпитгоф А. 23, 306, 434, 439
 Штайн Л., фон 221
 Штейнталь Х. 118
 Штромер-Рейхенбах Ф. 378
 Шукшин В. 492
 Шульц Т. 532, 533
 Шумпетер Й. 41, 105, 374, 389, 390, 400, 403, 440, 459
 Шэкл Дж. 87, 484
 Шюц А. 484, 487, 571, 572, 576
 Эбрамс Ф. 62
 Эван У. 371
 Эванс А. 204
 Эванс-Притчард Э. 125, 484
 Эвподем 179, 189, 190
 Эгидий из Лессине 528
 Эгидий Римский 528
 Эдуард III 560
 Эйнштейн А. 684
 Эйхгорн К. 208, 625
 Эко У. 67, 68, 85, 510, 659

Элдер Дж. 588
 Элиаде М. 285, 593
 Элиас Н. 20, 86, 98, 116, 117, 121, 484, 623
 Элтон Дж. 653
 Эмбер Г. 401, 405
 Эмерсон Р. 320
 Эмпедокл 287
 Энгельс Ф. 33, 198, 218, 325, 337, 340, 341, 391, 436, 454, 652, 683, 689, 690
 Энгерман С. 63, 111, 154
 Энесий 178
 Эпаминонд 194
 Эпиктет 30
 Эпикур 18, 29
 Эразм Роттердамский 198

Эратосфен 145, 172, 179, 188
 Эриксон Э. 121
 Эсхил 288, 610
 Этциони А. 342
 Эштон Т. 563
 Юбер А. 484, 485, 486, 493, 593
 Юлиан Толедский 193
 Юм Д. 105, 300, 363, 369, 529
 Юнг К. 122, 484
 Юст Тивериадский 179, 189, 190
 Юстиниан I 174, 181, 523
 Якоби И. 625
 Ярошевский М. 118
 Ясперс К. 91, 247, 279, 332, 338, 339, 350, 447

Римские имена

Август (Гай Юлий Октавиан, затем Цезарь Август) 168, 171, 174, 181, 183, 188, 191, 212, 232, 240, 324, 505, 664
 Августин, Св. (Аврелий Августин) 12, 28, 30, 74, 75, 76, 80, 90, 276, 293, 296, 299, 333, 335, 345, 349, 372, 491, 527, 558, 567
 Авл Корнелий Цельс 289
 Аммиан Марцеллин 332
 Антонин Пий (Цезарь Тит Элий Адриан Антонин Август Пий) 187
 Аппий Клавдий Пульхр 33
 Апулей 290
 Аттик (Тит Помпоний Аттик) 188

Брут (Луций Юний Брут) 332
 Варрон (Марк Теренций Варрон) 28, 179, 188, 230, 284, 288, 332, 339, 343, 362, 439
 Вергилий (Публий Вергилий Марон) 362
 Витрувий (Марк Витрувий Поллион или Луций Витрувий Мамурра) 289, 502, 503
 Гай Асиний Поллион 195
 Гален 289
 Гней Домитий Кальвин 195
 Грациан (Цезарь Флавий Грациан Август) 525
 Диоклетиан (Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан Август) 173, 183, 192, 193, 210, 422

Кассиодор (Флавий Магн Аврелий Кассиодор) 28, 193
 Катон (Марк Порций Катон Старший Цензор) 555
 Квинт Гораций Флакк 289
 Квинт Курций Руф 309
 Квинт Марций Филипп 502
 Квинт Фульвий Флакк 332
 Квинтилиан (Марк Фабий Квинтилиан) 65
 Климент Александрийский (Тит Флавий Климент) 189, 295
 Коллатин (Луций Тарквиний Коллатин) 332
 Колумелла (Луций Юний Модерат Колумелла) 514, 555
 Константин I Великий (Цезарь Флавий Валерий Константин Август) 144, 168, 174, 191, 202, 207, 335, 363, 523, 558, 655
 Лактанций (Луций Цецилий Лактанций) 332
 Лукреций (Тит Лукреций Кар) 231, 233, 284, 288, 289, 290, 339, 362, 439
 Луцилий (Гай Луцилий) 515, 521
 Марк Аврелий (Цезарь Марк Аврелий Антонин Август) 30, 290, 514
 Марциан (Марциан Минней Феликс Капелла) 28
 Нума Помпилий 162
 Овидий (Публий Овидий Назон) 232, 289, 332
 Орозий (Павел Орозий) 293
 Плиний Младший (Гай Плиний Цецилий Секунд Младший) 75, 204, 289

Плиний Старший (Гай Плиний Секунд Старший) 289
 Птолемей (Клавдий Птолемей) 166, 179, 187
 Публий Сципион Назика 506
 Ромул 162
 Ромул Августул 202
 Саллюстий (Гай Саллюстий Крисп) 332
 Секст Юлий Африканский 179, 186, 189, 190
 Сенека (Луций Анней Сенека) 30, 75, 290, 514, 515, 518, 521, 558, 579
 Сулла (Луций Корнелий Сулла) 184
 Тацит (Публий Корнелий Тацит) 289
 Тертуллиан (Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан) 293, 525
 Тит (Тит Цезарь Веспасиан Август) 184, 598
 Тит Ливий 188, 199, 202, 345
 Феодосий I Великий (Цезарь Флавий Феодосий Август) 173, 188, 202, 422
 Флор (Луций Анней Флор) 332, 343, 372
 Цезарь (Гай Юлий Цезарь) 81, 90, 146, 166, 168, 169, 664, 666
 Цензорин 162, 179, 230, 290, 362
 Цицерон (Марк Туллий Цицерон) 64, 65, 75, 188, 199, 289, 332, 343
 Ювенал (Децим Юний Ювенал) 289
 Юлиан II Отступник (Цезарь Флавий Клавдий Юлиан Август) 183

Библейские имена

Авраам 144, 191, 333, 363	Ирод I 194
Адам 144, 190, 192, 222, 223, 292, 333, 363, 595	Исаак 362
Давид 144, 291, 333, 363, 615	Исмаил 144
Даниил 231, 333	Каинан 222
Ева 292, 595	Ламех 222, 223
Екклесиаст 292	Лука 324
Енос 221	Малелеил 222
Енох 221, 312	Мария 127
Иаддуй 144	Мафусаил 222
Иаков 144, 363	Михаил 557
Иаред 221	Моисей 120, 144, 363
Иисус Навин 296	Навуходоносор II 144, 231
Иисус Христос 144, 154, 169, 171, 174, 190, 191, 193, 194, 195, 202, 221, 296, 333, 335, 347, 363, 578, 595, 599, 600, 647, 674	Ной 223
	Павел (Саул, Савл) 674
	Петр 297, 324
	Сиф 222, 362
	Соломон 144, 190, 291, 615
	Яхве 290, 296

Мифологические имена

Адонис 596	Персефона 598
Аид 597, 598	Прометей 287
Анубис 598	Рама 312
Афина 287	Сатурн 10, 500, 594
Ахурамазда 557	Сизиф 598
Венера 500	Сотис 165, 166, 168, 186
Водан (Вотан) 499	Тантал 598
Деметра 287, 598	Тиу 499
Дионис 594, 596	Тор 499
Елена Прекрасная 153	Тот 165, 187, 598
Зерван 594	Фебруус 163
Илья Муромец 492	Фрейя 499
Клио 64	Хронос 62, 594
Кронос 10, 594	Эон 594
Майя 162	Юнона 162
Марс 162	Юпитер 500
Меркурий 500	Янус 163, 594
Осирис (Озирис) 514, 594, 596, 598	

**Ирина Максимовна Савельева,
Андрей Владимирович Полетаев**

**ИСТОРИЯ И ВРЕМЯ
В поисках утраченного**

Издатель А. Кошелев

Редактор М. Н. Григорян
Корректор В. Ю. Гусев

Подписано в печать 10.09.97. Формат 70х90 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура «Школьная».
Усл. п. л. 64,5. Заказ № 2305 Тираж 4000.

Издательство «Языки русской культуры».
129345, Москва, Оборонная, 6-105; ЛР № 071304 от 03.07.96.
Тел. 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: mik@sch-Lrc.msk.ru

Отпечатано с оригинал-макета во 2-й типографии РАН.
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

*

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 17 ч.).
Адрес: Zubovskiy b-r, 17, str. 3, k. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order the above titles
by E-mail: Lrc@koshelev.msk.su
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).